ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. В. ВОЛКОВ-МУРОМЦЕВ

ЮНОСТЬ
ОТ ВЯЗЬМЫ ДО ФЕОДОСИИ

YMCA-PRESS



ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

1

YMCA–PRESS
11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

Н. В. ВОЛКОВ-МУРОМЦЕВ

ЮНОСТЬ

ОТ ВЯЗЬМЫ ДО ФЕОДОСИИ

(1902-1920)

1983

I.S.B.N. 2-85065-037-4



Николай Владимирович Волков-Муромцев
1953, Кент, Англия

К СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕМУАРНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Для страны, которая переживает (и, надеюсь, переживёт) так затянувшуюся, всемертвящую коммунистическую диктатуру, одна из главных духовных целей — сохранение памяти о своём истинном прошлом, без чего нельзя восстановить самих себя духовно. Усилия коммунистических властей от первого дня их господства направлены были на уничтожение вещественных памятников, подлинных исторических документов, личных свидетельств и особенно — самих носителей этой памяти, сугубо — людей выдающихся способностей, не поспешивших поддаться режиму. В СССР это планомерное жестокое уничтожение достигло зловещих успехов, но советским властям удавалось даже захватывать или раскрадывать хранилища документов, сформированные после революции за границей, либо попавшие туда из Советского Союза во 2-ю мировую войну.

В таких условиях один из существенных способов сохранить связь с прошлым — собирать письменные воспоминания старых людей, независимо от того, досталась ли им в жизни заметная историческая роль или рядовая. Всякий человек, кто долго жил, был непременно свидетелем или участником неповторимых событий, происшествий, обстоятельств, и доносит до нас какую-то хоть частицу, а часто целые пласты — эмоционального воздуха эпохи, языка, быта, людских наружностей и психологии.

Внутри СССР такие воспоминания немало писались и, безусловно, некоторые сохраняются по сегодня, сохранятся для будущего, однако множество их сожжено самими авторами в страшные годы. В эмиграции таких воспоминаний совсем не мало. Часть их уже напечатана — иных известных лиц, также и малоизвестных. Но, по скудости эмигрантского житья, большинство мемуаристов писало просто для своих детей и внуков. Многие же эмигранты не находили в том цели, или времени для того — и вообще ничего не записали, и умерли так.

Мы дважды обращались к эмигрантам с призывом писать и присылать мемуары: в 1974 — к свидетелям революции и гражданской войны, в 1977 — и к тем, кто моложе, о разных периодах советской и эмигрантской жизни. Для старых поколений это было уже поздно: большинство видных и невидных участников почили. Но и то, что удалось собрать, несколько сот больших и малых рукописей, — составляет большую ценность при наших прежних провалах и потерях. Всероссийская Мемуарная Библиотека предназначена сохранить эти рукописи для будущей России, где получит, конечно, новый прилив их.

Некоторые присланные рукописи выделяются своей яркостью, даже увлекательностью, неожиданным углом зрения или описанием полностью утраченного ныне, — и мы уже теперь начинаем публиковать их в серии „Наше недавнее". Она будет выходить непериодически, каждый том — отдельного автора, иногда двух-трех вместе. Наряду с эмигрантами мы будем печатать и воспоминания людей, живущих в СССР или живших там безвыездно до смерти. В серию будут включены также и давно написанные, но никогда не напечатанные воспоминания видных деятелей дореволюционной России (либо напечатанные только на иностранных языках).

Разумеется, читатель простит мемуаристам безыскусность языка, несовершенство композиции, весьма разную степень подробности или общности в отрезках времени, при смене тем, даже разрывы повествования — как складывалась жизнь и как вспоминалась потом. Беспритязательность и честность воспоминателей, простота их речи — лишь оттеняют достоверность и содержательность сообщаемого и вызывают в ответ благодарность, что они оставили нам эти свидетельства.

А. Солженицын

Август 1983

Ч А С Т Ь   П Е Р В А Я

ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ

РАННЯЯ ПАМЯТЬ

Моя память начинается с 1905 года. Помню отрывисто, что летом 1904 года мы, дети, были у бабушки Софии Михайловны Гейден в имении Глубоком, Опочецкого уезда, Псковской губернии.

Следующее, что я помню, как мы остались на зиму в Глубоком из-за Японской войны. Помню деревянную и ледяную горку, построенную перед домом, и катание на коленях наставника моего старшего брата, англичанина Halward'a. Хотя нам, детям, всегда нравилось быть у бабушки, я даже тогда любил Хмелиту, наше имение в Смоленской губернии, такой глубокой любовью, что все спрашивал, отчего мы не возвращаемся домой. Ответ моей гувернантки англичанки Mrs. Tidswell был всегда тот же: „railway strike". Мысленно я переводил это на русский – „железнодорожный удар", и никак не мог понять, кто „бил" железную дорогу.

Помню, что бабушка, ее сестра Мария, моя тетка Катя Яковлева и все окружающие плакали. Единственное, что я помню, – слово „Цусима" было на всех устах. Отчего все плакали, я не понимал, только много лет спустя узнал, что бабушкин любимый племянник князь Сергей Владимирович Дондуков-Корсаков, был лейтенантом на броненосце „Князь Суворов" и погиб при Цусиме.

Но наконец весной мы вернулись в Хмелиту. Первое, что я сделал, побежал к стаду во время дойки.

С самого детства у меня было два неразлучных друга: Васька, сын скотника Андрея, на год старше меня, и – тоже Васька – Савкин, на два года старше меня, сын Ивана Савкина, нашего кучера. Мы постоянно играли, придумывая игры, где сами были коровами или лошадьми.

Моего деда Петра Александровича Гейдена я мало помню. Летом 1907 года мы снова были в Глубоком, вероятно, как всегда шесть недель, с конца мая до начала июля. Помню одну прогулку с

дедушкой на большой двор перед конюшней, где паслось „ангельское" стадо коров, которым он очень гордился. Подошел скотник говорить с дедом. Когда он ушел, я помню, дедушка обратился ко мне и сказал:

– Ты очень неучтивый. Когда подошел скотник, ты должен был снять шапку и ему поклониться раньше, чем он тебе. Он тебя старше, кто бы он ни был. Разница между людьми только в том, что они или управляют или служат, и те, кто управляют, должны уважать тех, кто им служит, в особенности, если они их старше. Помни всегда, что вежливость твой долг. Это твоя единственная привилегия.

Хотя мне не было и 5 лет, эти слова отпечатались в моем уме навсегда. Моя английская гувернантка очень уважала моего деда и всегда мне долбила, что дед был исключительный человек и что я должен быть им горд.

В ту осень дедушка умер от воспаления легких. Моя мать, боготворившая деда и единственная дочь его, очень горевала. После его похорон в Глубоком мы все уехали за границу, в Рим. Очень хорошо помню часть поездки. Помню, как в Швейцарии поезд шел вдоль речки, по ту сторону которой бежала дорога. На дороге вдруг появился автомобиль, первый в моей жизни. Он был белый, двухместный, открытый, в нем сидели два человека в больших очках. Окно вагона было открыто. Я высунулся, чтобы лучше видеть, – и при криках гувернантки, что мне попадет уголь от паровоза в глаз, ее не послушал. У меня на голове была соломенная летняя шляпа английских матросов. Автомобиль вдруг нырнул под мост и я высунулся еще дальше. Ветер подхватил шляпу, она сорвалась с моей головы и медленно спланировала в речку. Меня побранили и гувернантка заставила меня надеть ночной колпак. Это было ужасное оскорбление.

Помню, ночью меня разбудила гувернантка и заставила посмотреть в окно. До сих пор помню впечатление от наклонной башни Пизы. Против темного неба башня казалась мне будто сделанной из белого сахара.

Русских тогда в Риме было много: Родзянки, Исаковы, Урусовы, Барятинские и т.д. Мы каждый день гуляли в саду в Пинчио. Моя любовь к камням набивала мои карманы кусочками мрамора всех цветов. Помню, по пути домой – мы жили на виа Систина, у церкви Тринита дел Монте – была маленькая лавочка, где старик полировал камни. Помню, как я мечтал, чтобы он отполировал мои куски мрамора. Гувернантка сказала, что я должен сам к нему пойти и попросить, и узнать, сколько это будет стоить. Как видно, я тогда говорил по-итальянски, теперь ни одного слова не знаю. Я со стариком подружился и он полировал все камни, что я ему приносил, и не хотел брать денег. Это очень сердило мою гувернантку.

В то время мой дядя Сережа Сазонов был посланником при

Ватикане. Поэтому нам разрешалось играть в Ватиканском саду. Там в огромной клетке разгуливали два льва. Они меня очень интересовали. Я раз смотрел на них, когда ко мне подошел человек в белой рясе и тюбетейке и спросил, как нравятся мне его „тигры". Я ответил: „Это совсем не тигры, а львы". — „Отчего тогда у них нет гривы?" — „Потому что это абиссинские львы." У меня была книга с фотографией абиссинских львов, у которых не было грив. — „Ах, ты прав, мне их подарил негус абиссинский Менелик." В этот момент подбежала моя гувернантка, которая, как многие англичане, терпеть не могла католиков, но имела уважение к власти. Она сказала мне по-английски: „Как ты смеешь противоречить Папе, стань на колени и целуй ему ногу." Я стал, но он меня поднял и сунул мне кольцо поцеловать и, кажется, благословил. Это, оказалось, был Папа Пий X. По дороге Mrs. Tidswell сказала: „Папа думает, что он всегда прав, это неверно, но не тебе ему это говорить."

Мои родители тогда занимались модным спортом — полетами на воздушных шарах. Однажды нас разбудили на рассвете, чтобы видеть первый полет летчика de la Grange над римским ипподромом. Помню, что аэроплан его напоминал мне бумажного змея. После нескольких неудачных попыток он наконец снялся и пролетел не выше 50 футов над землей полтора раза кругом поля. Мой отец потом нам говорил, что летчик должен был спуститься потому, что хотя было так рано и холодно, мотор почти его сжарил.

Из Рима весной мы через Зальцбург и Берлин вернулись прямо в Глубокое и остались до осени, потому что ожидалось много гостей на поминную в годовщину смерти дедушки. Наехало масса народу, между ними Столыпин с женой (он был другом моего деда), Петрункевич, граф Фредерикс. Помню только, что Столыпин показался мне великаном и напугал меня, подняв на руки и сказав: „Ты на своего дедушку будешь похож, не забывай его!" На следующий день почти все уехали, осталось только человек тридцать. В Глубоком было два дома: летний, очень большой, деревянный, построенный пра-прадедушкой князем Никитой Ивановичем Дондуковым-Корсаковым, и второй, поменьше, каменный. Кроме того, в парке был третий дом, который почему-то назывался „Николаевский". Когда было много гостей, то некоторые жили в третьем.

Ночи были холодные осенью и бабушка велела затопить печки в большом доме. Мой дед, оказывается, предупреждал никогда не топить печки в большом доме, потому что трубы старые, печки уже десятки лет не топились, и это было опасно.

На второй день после панихиды мы, дети, сошли в столовую к раннему завтраку. Там уже сидели за столом тетя Катя Яковлева и тетя Наташа Фредерикс. Мы уселись за столом. Дверь в большую гостиную была открыта, и вдруг тетя Наташа сказала: „Отчего в гостиной дым?" Тут вбежал камердинер, крича: „Пожар! Горит дом!"

Нас, детей, сейчас же выпихнули на большую песчаную площад-

ку перед домом. Был прекрасный солнечный день. Я увидел нашу очень миленькую горничную, до сих пор ее помню, Агни (она была финнка), стоящую в окне нашей детской комнаты на третьем этаже, с умывальником в руках. Ясно помню его летящим. Я был убежден, что он разобьется, но умывальник упал на песок и ничего не случилось. Меня не умывальник беспокоил, а Агни. Я наверно в нее был влюблен, потому что до сих пор помню, как я волновался, что она сгорит!

Глубоковский дом стоял на крутой горе над Глубоковским озером. Гора эта была по крайней мере 200 футов в вышину. Озеро было с версту поперек и 2,5 версты в длину. Ближайшая деревня была Паново на другой стороне озера, версты 2,5 от дома. Другая деревня – Нечистое, в конце озера направо, верстах в 3-х.

Я совершенно не знаю, кто и как дал тревогу. В Глубоком, как и в большинстве деревень, был только один ручной насос. Внизу под горой был насосный домик, который качал воду из озера для дома. Конечно, спасти дом было совершенно невозможно. Но через полчаса или немножко больше все из Панова и Нечистого – мужчины, женщины и дети, все глубоковские рабочие появились с ведрами и баграми. Крестьяне устроили две гусеницы от озера, и передавали ведра от одного к другому по невероятно крутому обрыву.

Но самое замечательное, что эта масса крестьян и рабочих без наставления и без суеты кидалась в дом и выносила мебель, картины, вещи.

Дом горел как свеча. Не зная глубоковского дома, трудно понять то чудо, которое они совершили.

В начале столетия было два больших двухэтажных дома. В сороковых годах мой прадед соединил эти два дома третьим и затем прибавил третий этаж. Повсюду были лестницы, не только внутри, но и снаружи, было четырнадцать балконов. Комнаты были на разной высоте, со ступеньками между ними. Это было похоже на лабиринт.

Тем не менее – ни одного стула, ни дивана, ни картины, ни миниатюры, ни книги не сгорело. Колоссальный рояль вынесли два человека. В бывшем кабинете моего деда были четыре резные деревянные колонны, которые поддерживали потолок, и их спасли. Единственное несчастье была горящая балка, которая упала на рояль, и повар, скидывая ее, опалил себе волосы и усы, но даже рук не обжег.

К вечеру от дома остался только пепел. Большая лужайка через подъезд в парке была завалена вещами. Все деревья в соседстве с домом обгорели. Бабушка была в отчаянии, она винила себя за пожар. Против дома на лужайке стояла большая береза. На верхушке было укреплено колесо, там аисты устроили гнездо. Они прилетали несколько десятков лет, ежегодно. Они были там в 1907 го-

ду, но в 1908 их почему-то не было в первый раз. На следующий год они вернулись.

После пожара всю картинную галерею в 130 картин отвезли в Хмелиту. Картины были собраны пра-прадедушкой, князем Никитой, когда он был Председателем Академии Художеств. Они в большинстве были Голландской, Фламандской и Итальянской школы 16-го и 17-го века, но из знаменитых художников было только три: сцена из греческой мифологии, писанная Джорджоне, „Святая Цецилия" Гвидо Рени и портрет старика Рафаэля Менгса. По теперешним временам, и все остальные картины, вероятно, были бы очень ценными. Был также один Коро, купленный позднее. У меня до сих пор осталось четыре миниатюры начала 19-го века, копии со знаменитых картин Рафаэля и Луиджи, а также семейные миниатюры предков.

Мебель свезли в колоссальный амбар. Бабушка в благодарность Панову и Нечистому раздала всю ее этим двум деревням.

Мы вернулись в Хмелиту.

ХМЕЛИТА

Чтобы понять, как и почему мы жили в разных деревнях, нужно объяснить историю семьи, по крайней мере начиная с прадедов и прабабушек.

Мой пра-пра-прадед Николай Степанович Волков был женат на Грибоедовой. Пра-прадед Степан Николаевич Волков был женат на Муромцевой. Его сын Николай Степанович женился на Наталии Дмитриевой-Мамоновой. Николай Степанович начал свою карьеру в лейб-гусарском полку, служил под Паскевичем в Польше и кажется на Кавказе. Он отличился и был произведен в генерал-майоры, когда ему было 32 года. В 1835 году он был назначен Пензенским губернатором и в 1846 году Наместником Польским.

Его такт и шарм угомонили поляков. Говорят, что его жена была тоже очень популярна. Он оставался в Польше до 1862 года, когда его жена заболела, подал в отставку и уехал к себе в Псковское имение Сычево. За 16 лет в Польше он совершенно разорился. Расходы были колоссальные, а государственное пособие маленькое. Он должен был продать свое имение в Ярославской губернии и московский дом Юсуповым. Дом этот и до сих пор стоит на Харитоньевском. Построен он был как охотничий дом Михаилом Волковым, охотничим Ивана Грозного, в 1576 году. Его сын Василий много пристроил.

В Псковской губернии прадед был избран губернским Предводителем. Жена его умерла в 1865 году. У него было три сына, средний из которых — мой дед, Александр. Мой дед был студентом

в Юрьевском университете, который в те времена был очень популярен. Дед был на физическом факультете. Тогда университет этот называли почему-то „фешенебельным”, и туда съезжались все семьи и местных и дальних помещиков.

Там мой дед Волков ухаживал за Надеждой Дондуковой-Корсаковой, сестрой моей бабушки по матери. Но она ему наотрез отказала. Там же Лев Толстой ухаживал за моей теткой Катей Яковлевой. Она ему отказала несколько раз, и Толстой тогда сказал, что уедет в Севастополь и там его убьют. Тетя Катя не смягчилась. Он ее вписал как Китти в ,,Анну Каренину”, и в семье все ее дразнили, что своим отказом она превратила Толстого в писателя.

Мой дед затем влюбился в девицу Самсонову, единственную дочь очень богатого черниговского помещика. Он повез ее на бал в Дворянское собрание во Пскове, и она тут же влюбилась в его отца. Они женились и, несмотря на то, что прадеду было тогда 64 года, а ей 18, были очень счастливы. Она родила ему сына Евгения.

Дед мой поссорился с отцом и уехал в Гейдельберг, где работал знаменитый профессор Robert Wilhelm Bunsen. Дед стал его учеником и сотрудником. В Гейдельберге он женился на дочери Вильяма Гора, Алисе. Когда прадед умер, он ему оставил Сычево, 32.000 десятин леса и болот. В те времена оно почти что ничего не приносило, и дед взял место профессора физики в Новороссийском университете в Одессе.

От отца он унаследовал талант к живописи и вдруг решил стать художником. Все художники, с которыми он дружил, как Millais, Rossetti, Burne Jones, уверяли, что он никогда не заработает себе достаточно на жизнь. Но ему посчастливилось. Он в Лондоне устроил выставку, продал все свои картины и стал очень известен как художник. Вскоре он купил в Венеции палаццо на Большом канале.

Тем временем двоюродный брат его отца, Матвей Муромцев, поссорился со своим сыном и оставил моему деду Баловнево, приносившее большие доходы, — как майорат, с условием, что он прибавит к своему имени — Муромцев.

* * *

Мой отец Владимир, братья его и сестра воспитывались в Англии у своих деда и бабушки, были в английских школах, потому что родители постоянно уезжали то в Грецию, то в Египет, где дед писал картины.

Летом все дети ездили в Глубокое к Дондуковым-Корсаковым. В те времена мой отец очень плохо говорил по-русски. Достигши 18-ти лет, он поступил в Рижский университет изучать архитектуру. Но по-прежнему все каникулы он проводил в Глубоком.

Когда ему стало 22 года, он должен был отбывать воинскую повинность и поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Кон-

ный полк. После двух лет мой отец прошел офицерский экзамен и в 1895 году был произведен в корнеты.

Он женился на моей матери в 1894 году. Она была единственной дочерью графа Петра Александровича Гейдена и княжны Софии Михайловной Дондуковой-Корсаковой.

Два мои деда друг с другом не ладили. Когда мой отец женился, дед Волков ничего не дал ему, кроме денег, а Сычево дал своему второму сыну, Николаю, который был морским офицером. Мой дед Гейден очень этим был разозлен.

Он хотел дать моей матери имение. У него было два: Крюково на Днепре, Вяземского уезда Смоленской губернии, и Упорой — очень доходное имение в Дмитровском уезде Орловской губернии.

Но ни в Крюкове, ни в Упорое не было дома, подходящего для большой семьи. В Упорое был замечательно красивый дом „ампир”, построенный моим прадедом-адмиралом, графом Александром Логиновичем Гейденом. Он был женат на Варваре Петровне Милорадович, племяннице генерала 1812 года. Он с ней не ладил и наконец поссорился. Поэтому он выстроил дом в Упорое так, чтобы она не могла бы там жить. Я никогда ничего подобного не видел. Дом был большой, но в нем было всего четыре комнаты. Колоссальная зала, столовая, с одной стороны залы — спальня, с другой — кабинет. Было, конечно, множество других комнат и на первом этаже, и в двух флигелях, но они были маленькие, совершенно не соответствующие достоинству чопорной его жены.

Дед Гейден как-то был в Крюкове и услышал там, что в 20-ти верстах продается имение под названием Хмелита. Он туда поехал и влюбился в него. Дом был в ужасном состоянии, никто не жил в нем уже много лет. Все было запущено. Северный флигель снесен, верхний этаж южного флигеля разрушен. В зале на полу сушилось зерно, из скважин паркета росла рожь. Но дом был очень красивый, ампир, с четырьмя колоссальными колоннами, старинный парк, великолепные скотный и хлебный дворы и масса других построек. Кроме этого было 5.000 десятин полей и леса, два озера, пруд. Хмелита стояла высоко на возвышенности.

Однако, все было в разрухе. К этому времени таких имений было много. Помещики в большинстве своем разорились. Дед купил Хмелиту. Мои родители тоже влюбились в нее и поселились там в 1895 году. Отец восстановил верхний этаж южного флигеля. Вся мебель из дома была распродана, и родители годами собирали ее опять. В нынешние времена никто не мог бы жить в доме такого размера. С восемью детскими и картинной галереей — было пятьдесят три комнаты.

В этом доме я и родился в 1902 году, 24 ноября по старому стилю. Дом еще был не закончен.

Когда дед купил Хмелиту и подарил моим родителям как свадебный подарок, он не знал ее истории.

Оказалось, что Хмелита в 18-м веке и в начале 19-го принадлежала Грибоедовым. Дом был построен в 1753 году Грибоедовым, прадедом моей пра-пра-прабабушки Екатерины Алексеевны Волковой (Грибоедовой). Внук его, Алексей Федорович Грибоедов, был родным дядей поэта А.С. Грибоедова, который в детстве и в юности проводил в Хмелите каждое лето. В Хмелите он написал большую часть „Горе от ума". Дядя послужил „Фамусовым". У А.Ф. Грибоедова было две дочери, двоюродные сестры поэта. Одна, кажется звали ее Елена, вышла замуж за Паскевича-Эриванского („Скалозуб"), она сама была „Софьей", а другая, Екатерина, вышла за Николая Степановича Волкова, моего пра-пра-прадеда. Хмелиту Грибоедов оставил своим двум дочерям. Во всяком случае, обе жили в Хмелите после смерти отца. Но когда у Паскевичей умер единственный сын (он был похоронен в Хмелитской церкви), то сестры решили Хмелиту продать. Екатерина уехала в Ярославскую губернию в имение своего мужа, а Паскевич – в Гомель, в имение Паскевича.

Насколько я знаю, дом и остальные постройки, и вторая прелестная круглая церковь Святого Алексея за озером были построены не архитектором, а крепостным зодчим. Кто бы он ни был, он был великолепный мастер, с редким чувством пропорций.

* * *

Нам посчастливилось. У нас был водовоз по имени Прокоп. Он родился в 1799 году, и когда я его помню, ему было за сто лет. Он возил воду из одного из озер и наполнял большой бак у прачечной. Это было совершенно не нужно, так как была водокачка и вода по дому была налажена. Но Прокоп уверял, что это необходимо, потому что „вода из озера мягче, чем из колодца." Отец мой очень любил Прокопа и, когда мать говорила, что он должен быть отставлен на пенсию, мой отец отвечал: „Если я его отставлю, он решит, что он никому не нужен и умрет." Прокоп умер в 1911 году, 112 лет.

Память у него была замечательная. Прокоп родился крепостным А.Ф.Грибоедова и хорошо помнил барина, и обеих дочерей, и племянника. Про „Фамусова" он говорил: „Строгий был барин, но справедливый, кого нужно было наказать, он наказывал, но кто хороший был, он тех вознаграждал и те любили его." Про племянника он говорил: „Часто к нам приезжал, чудак он был, все над всеми подтрунивал, говорили, писал он что-то, но он своих двоюродных сестер сильно изводил."

Прокоп рассказывал про Хмелиту, какой она была. У дома было тогда два флигеля. В верхнем этаже южного флигеля был театр. Было два подъезда. Со стороны парка был „пандус", серповидный подъезд прямо к зале. В мое время остался только фундамент от этой постройки. Когда были балы, подъезжали через парк, через один из прудов, был там, он говорил, мраморный мост.

Прокоп уверял, что два здания, контора имения и почта, были соединены постройкой. Они были так далеко друг от друга, что никто не верил. Но в 1912 году, когда копали, чтобы построить силос между двумя зданиями, наткнулись на фундамент. Он говорил, что в этом здании жили актеры и цыгане, хор которых пел в театре.

Когда Хмелиту продали, то цыгане были выселены в деревню Гридино, верстах в семи от Хмелиты. Действительно, Гридино была цыганская деревня.

Прокоп рассказывал, что Хмелите принадлежали 80.000 десятин. Правда ли это, я не знаю. Он говорил, что Хмелита тогда была – „э, братец, не то, что теперь, это был дворец, мы всей округой правили". Прокоп смеялся, когда крестьяне говорили, что курганы в Спасском лесу были могилы французов. „Они, брат, были там, когда я еще за юбку матушки моей держался."

Рассказы Прокопа о развале Хмелиты после того, что она была продана в двадцатых годах прошлого столетия, были плачевные. Купили имение какие-то две сестры, забыл, как их звали. „Ну, к этому времени распродали большую часть земли, но еще Барсуки, Черемушники, Авдеево да Спас были хмелитские, а потом и тех пораспродали. Черемушники сами выкупились."

Он рассказывал, что в Хмелите „мастерские были; и мебель, и все, что нужно было, в них делали, мой отец столяром был".

Он был очень рад, что Хмелита опять ожила. „Ну, такого, как раньше, никогда не будет, тогда мы ходили как павы, никто с нами не равнялся, ни Нарышкины в Богородицком, ни Волконские в Сковородкине."

Про последние 30-40 лет он мало что помнил, или не любил рассказывать. Он отмахивался рукой и говорил: „Да что тут говорить, халдей какой-то купил да разорил." „Халдей" этот был оказывается какой-то господин Ланге, спекулянт, который распродал всю мебель и стал разрушать дом.

Самые интересные рассказы Прокопа были об Отечественной войне. Он помнил приход французов в 1812 году и настаивал, что „сам Наполеон" ночевал в доме. Это была единственная его ошибка. Наполеон по Смоленской дороге шел. Прокоп его описывал в подробностях: „Он был высокий, с черными кудрявыми волосами и баками, и одет был в гусарский мундир." Точное описание Мюрата. Мюрат действительно с кавалерийским корпусом шел через Белый по Бельскому большаку, перешел Днепр в Каменце и как видно свернул в Хмелиту на ночевку.

Прокопу тогда было 13 лет и он замечал все: „Вон там были коновязи гусарских полков, а, видите, вон там стояли уланы, но не французы они были, а поляки." – „Сколько их было?" – „У, много, тысяч тридцать. А офицеры все в дом набились, и Наполеон. А наутро они все выступили и пошли вон туда." – „Куда это туда?" – „Да на Гжацк, говорили."

Мой отец все это записал и проверил. Все оказалось верно, за исключением самого Наполеона.

И про отступление Наполеона Прокоп рассказывал. Появился отряд французской пехоты. В Хмелите в это время стояли партизаны Бегичева, „что за Днепром его правнук живет". Это был конный отряд. „Все в синем одеты были и кивер черный, их Бегичев так одел, пики у них, да шашки и пистоли. Наскочил Бегичев на французов под Барсуками и перебил почти что всех, а пленных и раненых в Хмелиту привезли. Вот Мишки Жамова дед был один из раненых, так и остался в Хмелите, супротив маленькой церкви жил. А потом, как барин вернулся, в дом взяли камердинером."

Я часами слушал воспоминания Прокопа о жизни, о 1812 годе и массе другого. Были и другие крестьяне с невероятными воспоминаниями, как солдат Николаевский. Он носил ту же шинель, в которой переходил Дунай в 1853 году, – как видно из хорошего сукна были пошиты шинели. Он был стройный прямой старик и всегда кончал свои рассказы: „Да, подсидели нас австрияки, вот сволочь."

Был из деревни Хмелиты такой Борис Гач. Он был местный угольщик и хорошо зарабатывал, всем был нужен древесный уголь. Он служил сперва в каком-то линейном полку, кажется Перновском или Выборгском. Потом перевелся в лейб-гвардии Измайловский полк. Он был под Плевной в 1877 году и рассказывал, как по приказу Драгомирова они пошли в атаку на турецкие позиции и не дойдя повернули и побежали назад. Турки тогда бросились за ними в контратаку. Но в резерве стояла свежая бригада, которая атаковала наступающих турок и на их спинах ворвалась в Плевну.

Он рассказывал тоже про великого князя Владимира Александровича: „Вот, братец, был человек! Память у него была такая, что он каждого солдата, с которым говорил, помнил. Помнил не только имя его, но откуда он был, как звали жену, если женат был, и имена его детей.

Перед тем как перевелся в гвардию за Дунаем, я на часах стоял. Подходит великий князь: „Эй, брат, холодно на часах стоять, ты откуда будешь и как зовут?" Я ему отчеканил, он пошел дальше, а мне смену прислали. Двенадцать лет прошло, парад нашему полку делают. Великий князь проходит мимо меня, остановился. „Постой, ты Борис Гач из Хмелиты. Да когда это ты, братец, в гвардию перевелся? Женился с тех пор?" – „Да." – „А дети-то есть?" – „Да, – говорю, – сын да две дочки." – „А звать-то их как?" – „Сына Владимиром, а дочек Иринка и Анютка." – „Э, брат, это хорошего святого выбрал, он мне часто помогал." И пошел дальше.

Семь лет прошло, я уже подпрапорщиком был. Проходит великий князь. Вдруг меня увидел. „Э, Борис, как твои дети? Моему тезке 14 лет будет. А как дочки? Старшей уже замуж пора. Сколько теперь лет Анютке будет? Восемнадцать?" – „Да, – говорю, – восемнадцать. Весной свадьбу будем справлять." Поворачивается он

к адъютанту, говорит: „Дай мне 100 рублев." Тот ему бумажки дал. „Нет, – говорит, – достань мне золотом." Тот побежал, а князь говорит мне: „Ты это дай Анютке на приданое." Вот какой великий князь был, не то что некоторые другие."

В деревне Черемушники жил крестьянин Городецкий. Он был большим другом моего отца и часто приходил с ним разговаривать. Мой отец говорил, что он был человек великого ума. Он интересовался астрономией. Он купил довольно большой телескоп и построил себе в огороде обсерваторию. Это была хата, в которой дощатая крыша открывалась. Телескоп был как-то устроен на колесе брички. Он изучал созвездия, предсказывал затмения и вместе с моим отцом наблюдал за кометой в 1910 году. Городецкий переписывался с Пулковской обсерваторией и вел какие-то записи. Мой отец мне говорил, что старый Городецкий только в сельской школе учился, и все знание высшей математики добыл сам, из книг. Отец с ним очень дружил, и старик часто заходил к нам в Хмелиту. Сын его Сергей был в Вяземской гимназии, когда я был в 3-м классе, он был в 7-м. Во время войны он вышел в офицеры одного из гренадерских полков. Последний раз я его видел в 1916 году, он был капитан со св. Анной и Владимиром с мечами. Я его в Белой армии не видел, но кто-то мне сказал, что встретил его подполковником.

В тех же Черемушниках был такой Прохоров. Он оказался очень талантливым пейзажистом. Мой отец ему всегда привозил холсты и краски. Но помню, как он раз пришел страшно довольный собой, он натянул свои собственные холсты. Мой отец устроил ему выставку в купеческом клубе и он тогда распродал все свои картины.

* * *

У нас в Хмелите был замечательный дьякон, отец Леонид Романов. Он был очень любим и крестьянами, и нами. Он всегда был веселый, жену его я не помню, но у него было много очень милых детей. Он был раньше штаб-ротмистром 4-го Харьковского уланского полка.

У нас тогда жила в собственной квартире в доме тетя Фразя, бывшая воспитательница моей матери, ставшая как бы членом семьи. С нею жила ее сестра Варвара Николаевна и их мать Анна Сергеевна. Старушка Анна Сергеевна, ей было за 90, тоже была веселая, и ее все очень любили. Отец Леонид постоянно приходил играть с нею в пикет. Он ее немилосердно дразнил и приглашал с ним танцевать. „Да что вы, отец Леонид, это же непристойно дьякону в рясе танцевать." – „Помилуйте, отчего нет, это же не грех." – „Да вы, наверно, и не умеете." – „Как не умею!" – он поднимал свою рясу, под которой были кавалерийские рейтузы и сапоги и отплясывал мазурку, и Анна Сергеевна каталась со смеху.

Покойный муж ее был доктором в Порховском уезде Псков-

ской губернии. Он, говорят, был самодур, но очень хороший доктор. С крестьян он никогда денег не брал, но с помещиков и купцов брал здорово и всегда золотом. Бумажки он просто не принимал. Жили они просто, и никто не знал, что он делал со своим золотом. Когда он вдруг умер, то ничего семье не оставил. Анна Сергеевна умерла, когда ей было 96 лет, но не в Хмелите, а в Глубоком, где бабушка построила им дом. Умерла она не от старости, а от того, что никогда не ходила, а всегда бегала. Поскользнулась на скользком полу и сломала себе бедро. В постели у нее сделалось воспаление легких, от которого она умерла.

Хмелитским домом заправлял камердинер Иван Михайлович. Его все страшно уважали и никто не смел его называть иначе как по имени-отчеству. Я его очень любил. Если кто-то хотел что-нибудь делать, все говорили: „Нужно спросить Ивана Михайловича." Без его позволения ничего в доме не делалось.

Иван Михайлович был замечательный человек. Давно когда-то, когда он был мальчиком, он был, что называлось, „казачком" у дедушки Гейдена. Я не знаю, что „казачки" в то время делали, кажется чистили сапоги и бегали по посылкам. Но он был невероятно талантливый человек. Он все мог делать: чинить электричество, чинить автомобиль, набивать патроны для охотничьих ружей и т.д. Он меня научил бесконечным разным искусствам.

Когда мы были в Риме, он ездил с нами и там научился по-итальянски.

У моей матери тогда была личная горничная итальянка Алида. Она ни на каком языке, кроме итальянского, не говорила. Я помню, как отец мой говорил, когда моя мать привезла Алиду из Рима, что ей будет очень скучно в Хмелите. Моя мать уверяла, что она скоро научится по-русски, но она ошиблась.

В то время у нас был повар-француз, с невероятными претензиями. Он считал себя выше всех слуг, за исключением Ивана Михайловича, которого он боялся. Иван Михайлович выучился и французскому и обкладывал повара за его республиканство. Он его называл „этот французский фанфарон". Когда француз уехал, то поваром стал Тихон, бывший под-повар из села Семеновского. Тихон был милейший, совершенно шальной молодой человек. К несчастью он много пил, но тем не менее, он оказался гораздо лучшим поваром, чем француз.

Под ним был под-повар, тоже из Семеновского, которого он почему-то не любил, хотя сам его выбрал. Помню, бывали случаи, когда Тихон напивался, хватал нож и гонялся за под-поваром по кухне вокруг центрального большого кухонного стола: „Зарежу тебя, скотину!" И тогда только Иван Михайлович мог его успокоить.

Но Тихон выучился от Алиды по-итальянски и говрил совершенно свободно. За год вся людская столовая лепетала по-итальянски.

У Тихона был невероятный талант. Он был художник. Ему эти художества никто не заказывал. Он вдруг решал сотворить какое-нибудь необычайное блюдо. Первое такое блюдо было сделано из легкого сырного теста, то, что называлось „соломки". Это была изба с резными ставнями. Крыша была соломенная из того же „матерьяла". Перед крыльцом стоял мужик в зипуне и папахе, который колол дрова. Это была такая красота, что мой отец сказал: „Да это есть невозможно, это в музей нужно поставить." Но Тихон обижался, если не ели его произведения. Помню, тоже на масляницу, он из „соломок" сделал крестьянина с санями и лошадью, а на санях были навалены дрова. Из сахара он тоже делал невероятные изделия, от которых все ахали, но нужно было есть. Мой отец все говорил, что Тихон должен был в Академию поступить и стать скульптором, но Тихон отмахивался: „Что вы, Владимир Александрович, я повар, а не скульптор."

Однажды у нас гостили Ольга Шувалова и „Ласточка" Шереметева, приехали и несколько соседей. Тихон решил пустить пыль в глаза и к супу испек невероятные пирожки в виде красивых корзиночек с белыми грибами, тоже искусно сделанными. Все удивлялись и хвалили. Был оживленный разговор и никто не заметил, что жаркое не появлялось. Прошло довольно долгое время и моя мать наконец позвонила маленьким звонком спросить, отчего задержка. Вдруг дверь приоткрылась и появилось очень красное лицо Максима-дворецкого: „Простите, но жаркое в помойное ведро упало." И лицо Максима исчезло. Все раскрыли рот от удивления и затем разразились смехом. Решили ждать последствий. Наконец, дверь отворилась и появился взамен окорок со всеми надлежащими овощами. Кто-то сказал: „Да у вас повар гений!"

Оказалось потом, что Тихон, как всегда, поссорился с подповаром, схватил у него блюдо и жаркое соскользнуло в помойное ведро. Долго после этого смеялись и, когда случалась какая-нибудь задержка, говорили: „Наверно, что-нибудь в помойное ведро упало."

Когда я был еще очень маленьким, дворецкими в Хмелите были два брата, бывшие конвойцы, по имени Зацоевы. Они были очень высокие и красивые, ходили всегда в синих черкесках с газырями, с черными с серебром верхушками, и с очень красивыми кинжалами, отделанными серебром. Оба были очень элегантны и покоряли сердца всех местных девиц. Когда они выходили из дома, они зачем-то прицепляли к поясу какие-то невероятные пистолеты, тоже отделанные серебром. Никто никогда не думал, что пистолеты были заряженные.

В те времена управляющий у нас был маленький, очень толстый человек, забыл, как его звали. Раз он стоял перед скотным двором, разговаривая с одним из Зацоевых. Вдруг из ворот скотного двора появился бык Витязь. Он бросился на управляющего,

который стоял к нему спиной, подбросил на воздух и будто бы закинул его на крышу. Зацоев выхватил свой пистолет и выстрелил в воздух. Бык так испугался, что бросился обратно в свое стойло. После этого, говорят, его оттуда не могли выманить целую неделю. У управляющего пострадало только его самолюбие. Эту историю повторяли еще много лет спустя.

Когда были обеды, Зацоевы надевали свои парадные черкески с черными с золотом газырями и золотом отделанными кинжалами. Черкески эти были алые. С синими черкесками они носили белые бешметы, с алыми — черные.

Оказывается, когда конвойцы уходили в отставку, то перед тем, как возвращаться домой на Кавказ, они года два служили где-нибудь в России, зарабатывая лишние деньги. Они были не то кабардинцы, не то ингуши или осетины. Их все очень любили.

Мы, дети, знали до последней детали все коляски, сбрую, лошадей и кучеров наших соседей. Раз произошел невероятный случай. В Хмелите от ворот до подъезда и дальше, к конюшне, земля была покрыта песком. Каждое утро, рано, несколько девушек из деревни приходили с граблями и чистили песок. Это делалось, кажется, чтобы давать девушкам заработок, иначе смысла в этом никакого не было. Результатом было то, что даже если бы кошка прошла по дороге, видны были бы ее следы.

Помню раз летом, мы, дети, с гувернантками, учителями, сидели в столовой за утренним завтраком. Было 8 часов. Вдруг послышался скрежет колес об гравий в воротах. Все окна были открыты. Мы были очень строго воспитаны и никто из нас никогда не смел вставать из-за стола без специального разрешения. Но приезд коляски в такое время был так необыкновенен, что, несмотря на крики гувернанток, моя старшая сестра и я вскочили и бросились в картинную галерею, откуда был виден проезд от ворот почти что до главного подъезда. Мы ни слова не сказали, а просто побежали.

По двору ехала маленькая коляска с коренником и одной пристяжкой. На облучке сидел кучер и в коляске какой-то господин. Мы ни коляску, ни лошадей, ни кучера не узнали. Заинтригованные гувернантки кричали нам: „Кто это приехал?"

Мы бросились через залу, синюю столовую к главной лестнице и через прихожую к главным дверям и остановились в недоумении. Там никого не было. Не было и следов коляски на чистом песке. Сестра и я не могли понять: чья это могла быть коляска и куда она исчезла, не оставив никаких следов? Когда мы вернулись в столовую, все нас стали спрашивать, кто приехал. „Никто не приехал." — „Как никто, мы все слышали подъезжающий экипаж." Они нам не поверили, и, забыв наше непослушание, все пошли смотреть несуществующие следы. Их слышали также горничная Анна и дворецкий Максим.

Как ни странно, я в подробностях помню до сих пор и коляс-

ку, и сбрую и т.д. Единственное, что не помню, это господина, который сидел в коляске. Подробности и мои и сестры были совершенно одинаковые.

Все те, кто слышали коляску, охали и ахали, говоря, что это плохое предзнаменование. Но абсолютно ничего не случилось, разве что революция шесть лет спустя.

Мне рассказывала тетя Наташа Фредерикс, что в 1878 году, когда пришло известие в Петербург о перемирии в Турецкую войну, Стенбок-Ферморы дали бал, чтобы это отпраздновать. Муж был на войне под Адрианополем. Вдруг камердинер вошел в залу и донес графине, что приехал граф. Через несколько минут дверь открылась и вошел Стенбок-Фермор в сильно запыленной шинели, улыбнулся гостям, махнул рукой и прошел в частную часть дома. Жена сейчас же побежала за ним. Он вошел в спальню детей, посмотрел на них улыбаясь и вдруг исчез. Через день пришла телеграмма, что он был убит под Адрианополем именно в это время какими-то турками, которые не слышали о перемирии. Его видела масса народу и отец тети Наташи.

* * *

В это время приезжала к нам крестная мать моего старшего брата Петрика, княгиня Долгорукая. Я помню разговор за обедом, какую коляску послать в Вязьму ее встретить.

Когда приезжали гости издалека (она жила в Тульской губернии), всегда посылали какую-нибудь коляску. Я княгиню никогда не видал, так что был удивлен разговором. Моя мать сказала: „Пошлем за ней желтую коляску." – „Желтую? Да она в нее никогда не поместится, да и рессоры ее не выдержат. Нужно послать большую," – сказал мой отец. Мне сейчас же причудился какой-то слон, но я вдруг вспомнил ее сестру княгиню Барятинскую. Когда мы были в Риме, мы ходили гулять к памятнику Гарибальди. Возвращаясь оттуда, мы зашли чай пить к княгине Барятинской, у которой была вилла на горе. Помню, как наша гувернантка предупреждала мою сестру и меня не разевать рот, когда мы ее увидим, такая она была толстая.

Мы пришли. Княгиня сидела в колоссальном кресле и извинилась перед Mrs. Tidswell, что не встает ее приветствовать. Мы сидели пили чай, она с нами много разговаривала и была очень мила. Она объяснила Mrs. Tidswell, что ей очень трудно подыматься.

Когда мы шли домой, я, помню, спросил Mrs. Tidswell, „что – стоять она может?" – „Конечно может, не говори глупости."

Мой отец рассказывал, что когда две сестры Барятинская и Долгорукая ездили поездом, то в обыкновенный вагон они не могли пролезть, нанимали товарный вагон, ставили в него кресла и их туда подымали долгоножкой. Моя мать всегда отвечала: „Не гово-

ри глупости, они в обыкновенных вагонах ездят." — „В таком случае их домкратом через двери втыкают."

Но послали большую коляску, и когда княгиня приехала, мы увидели, что она занимала все сиденье. Я ожидал, что принесут долгоножку ее из коляски подымать. Но к моему удивлению она выскочила из коляски совершенно легко. Она действительно была также толста, как и ее сестра, но ходила с невероятной легкостью. Обе, как и третья сестра, „товарищ Варвара", графиня Бобринская, были не только толстые, но и высокие. Она была очень веселая и ходила с нами смотреть весь парк и озера.

В 17 верстах от Хмелиты было „Высокое", имение дяди Саши Шереметева. Дядя Саша, у которого были великолепные имения по всей России, включая Останкино под Москвой, отчего-то любил Высокое больше всего. Он там построил великолепный госпиталь на 35 кроватей и пожарную станцию с каланчой. Это конечно был его главный интерес. Недаром он назывался „брандмайорский граф". Он даже устроил с Государем так, что если он был на каком-нибудь приеме или бале в Зимнем Дворце, а где-нибудь в Петербурге был пожар, его сейчас же уведомляли. Он тогда бросал все, переодевался в пожарный костюм и в коляске или автомобиле несся на пожар. Когда он приезжал в Хмелиту, у него всегда в коляске была каска, мундир и какие-то багры и секиры.

Мой отец его дразнил: „Ты, Саша, пожарную машину и лестницу дома забыл."

Часто приезжал к нам „светлейший" Волконский. Его все любили. Он был невероятно рассеянный. В Хмелите к обеду в час было три звонка. Первый звонок за четверть часа до обеда просто собирал всех в дом, второй — за пять минут — давал время вымыть руки, а третий звонок значил обед. Гриша Волконский обыкновенно исчезал после первого звонка. На второй звонок все спохватывались — „куда Гриша исчез?" Мы, дети, обыкновенно знали. Он наверно ушел к озеру в парке. Так и было, он сидел на корточках на берегу и смотрел на стрекоз, или лягушек, или карасей. „Князь, обед подают." — „Ах, я забыл, недаром я голоден." — „Следующий раз я тебя привяжу перед обедом", — говорил мой отец. — „Мм-да, а какие замечательные стрекозы, ты за ними наблюдаешь?" На Гришу никто не мог сердиться. У него, кажется, было 9 детей. Когда кто-нибудь его спрашивал, сколько у него детей, — „не спрашивайте Гришу, он сам не знает", — говорил мой отец.

Мой интерес к коровам, который появился с тех пор, что я себя помню, все усиливался и усиливался. Если я вдруг пропадал, все знали, где меня искать, на скотном дворе. Хотя мне тогда было 7 или 8 лет, мы вдвоем с моим лучшим другом Васькой, сыном скотника Андрея, разрабатывали, как улучшить хмелитское стадо.

Я помню, как на меня произвело невероятное впечатление стадо в Родине у Самариных. Возвращаясь из Глубокого, мы вылезли

на полустанке Александрино, не доезжая до Вязьмы. Там встретили нас коляски. Проезжали через Торбеево Лобановых-Ростовских. Мы остановились на дороге. Там стоял старый князь и мой отец вылез с ним поговорить. До сих пор помню худую, высокую фигуру этого эксцентрика. Он был одет в белый чесучовый костюм с очень широкими штанами и в шляпе-панаме. Мой отец с ним говорил довольно долго, пока мы, дети, сидели в колясках. Помню, как наша английская гувернантка сказала: „Это брат Фафки Лобановой и Lady Edgerton (которых мы знали в Риме). Он такой же сумасшедший, как Фафка."

Но Лобанов совсем не был сумасшедшим, он был великолепный помещик, очень популярный среди крестьян. Он может быть и был самодуром, например отвел реку Вазузу в парк Торбеева и любил волов, которые у него работали в имении вместо лошадей. Он завещал, чтобы, когда умрет, его гроб везли на кладбище на телеге, запряженной 8 волами. Но мой отец всегда говорил: „Побольше бы у нас было таких самодуров, он отвел Вазузу, когда была засуха и мог бы быть голод. Он дал работу всем соседним крестьянам, кормил их семьи и дал образование всем их детям."

Его старшая сестра вышла за английского дипломата, а младшая Фафка была действительно оригиналкой. До сих пор помню, когда она приезжала в Хмелиту, то сейчас же ложилась почему-то на пол в гостиной и разговаривала страшно быстро, смотря в потолок. Моя мать ей говорила: „Фафка, хочешь я дам тебе подушку под голову?" — „Совсем не надо, я и так потолок вижу." Все над ней смеялись, но она никогда не обижалась. Мой отец ее дразнил: „Фафка, твои предки наверно римлянами были, они тоже всегда на носилках пластом лежали." — „Глупости, это гораздо лучше для спины."

Затем, после Торбеева, проезжали мимо Высокого дяди Саши Шереметева и через плотину на Вазузе в Родине. Никогда не забуду первый раз, что я видел Родино. Это было какое-то вдохновение.

Мы остановились на плотине. На нее по лестнице поднялся красивый, высокий седой старик с белой бородой. Мой отец опять слез с ним разговаривать. Это был Самарин. Нам, детям, разрешили слезть тоже. Я подошел к перилам плотины и посмотрел вниз.

Я безумно любил Хмелиту и считал, что красивее ее ничего не было, но тут, я помню, я захлебнулся от красоты Родина. Водопад от плотины падал в бурлящий затон, белая пена кипела под ногами и превращалась в тихую зеркальную реку. Лужайка, ярко зеленая, спускалась от прелестного ампирного дома с шестью колоннами к песчаной мели на реке. Плакучие ивы и березы вдоль берега и с той и с другой стороны за лужайкою отражались в зеркальных водах. На лужайке перед домом паслось штук 30 сизых, замечательно красивых коров. Я смотрел на эту картину, захлебываясь.

Часто проезжая через Родино, я настаивал, чтобы мы останавливались вновь посмотреть на эту дух захватывающую картину.

Иногда там коров не было, но в моем воображении они всегда паслись перед этим очаровательным домом, между ним и рекой.

Меня всегда притягивали ампирные дома. Кроме Хмелиты и Родина, был у нас только один такой дом у Хмаро-Борчевских в Каменском. Были, конечно, и другие красивые дома, например, большой квадратный дом в Липицах у Хомяковых и уютный белый дом у Нахимовых в Волочке. Да и Торбеевский дом был тоже красивый. Что-то чисто русское было в этих домах. Ампирные дома, липовые парки, белоствольные березы и тишина, ничего подобного я нигде потом не видел.

ГЛУБОКОЕ

В конце мая мы обыкновенно отправлялись в Глубокое к бабушке на несколько недель. В Вязьме у нас был нанятой дом на Бельской, где мои родители ночевали, когда были в Вязьме. Там постоянно жили муж с женой, которые смотрели за домом.

Мы выезжали из Хмелиты целым караваном. Ландо с четверкой, красная коляска (только колеса были красные) с четверкой, желтая коляска (желтые колеса) с тройкой – мест 12, а если нужно и 15. Наши родители редко ехали с нами. Четверо детей, позднее пятеро, гувернантки, гувернер, горничные, няня и конечно камердинер Иван Михайлович, самый важный человек в хмелитском штате. Приезжали в Вяземский дом, пили чай с „чайной колбасой", только в Вязьме она появлялась на столе и я ее очень любил. После чая грузились опять в коляски и ехали на вокзал. Тут нас встречал Шапыгин, который выезжал из Хмелиты раньше нас на подводе с сундуками и чемоданами.

Шли по платформе на запасной путь, где стоял трехосный вагон 1-го класса. Это был наш зафрахтованный. Часов в семь вечера вагон прицеплялся к петербургскому поезду. Вязьма была начальной „Николаевской" железной дороги, которая шла на Ржев в Лихославль, где она присоединялась к настоящей „Николаевской" дороге Петербург-Москва. Тянули поезд почему-то два паровоза-экспресс типа „А", которые, кажется, были построены в 1885-1890 годах в Сормове.

Было еще светло, когда поезд уходил, и было светло до Сычевки. Проезжали мимо Дугина, имения Мещерских. Мой отец терпеть не мог князя и говорил: „Если он посмеет приехать в Хмелиту, я его ни за какие коврижки не приму, а пошлю к чертовой матери." Отчего отец так его не любил, не знаю, я его только раз видел в эмиграции, он был в самом деле препротивный. Но брат его жены, конногвардеец Ширков, был очень милый и часто приезжал к нам в Хмелиту.

Проезжали и Сковородкино, имение „светлейшего" Волконского.

Поезд в темноте приходил в Ржев на Николаевский вокзал. Тут нас отцепляли. В наш вагон всегда влезал обер-контролер Василий Васильевич Вознесенский, большой друг моих родителей. Он был милейший человек, мы его страшно любили. Я с ним подружился и он меня водил смотреть паровозы в их сараях, пока мы ждали поездов.

Ржев – красивый городок на Волге. Меня всегда забавляло видеть офицеров и солдат Петербургского лейб-уланского полка, которые разгуливали по платформе со своими возлюбленными барышнями, щеголяя красивыми и опрятными формами. Моя мать, когда была с нами, говорила: „Нам в Вязьме нужен кавалерийский полк, это оживит город." Мой отец отвечал: „Так ты это устрой, Варя, насядь на военного министра, он нам каких-нибудь гусар или улан даст."

Наш вагон прицепляли к местному поезду, который шел обратно через Волгу на Московско-Виндавский вокзал кругом города. Поезд этот был замечательный. Его тащил маленький паровозик типа „Т", который жег дрова. С момента, что он уходил со станции, до прихода на другую он посвистывал каждые две минуты. Мы его прозвали „кукушкой", но кроме свиста из трубы паровоза сыпались точно водопад искры. Было очень красиво, точно фейерверки. Василий Васильевич с нами оставался, пока не приходил московский поезд и нас прицепляли.

В детстве я отчего-то объяснял себе разницу между днем и ночью очень примитивным способом. Хмелита была центром мира. Она была в картонной коробке, в которой были проделаны дырки. Я даже знал, что коробка была из дешевого желтого картона с кусочками соломы. Это можно было видеть только снаружи, где всегда светило солнце в голубом небе. Кто-то днем крышку коробки снимал, тогда было светло, а ночью опять закрывал, и звезды были – свет через дырочки. Как луна в коробку попадала, я не знал. За Вяземским лесом были деревни – Ломы, Спас, Авдеево, далее сама Вязьма – но это почему-то не нарушало гармонии. Если я ехал в Глубокое, коробка двигалась со мной, так что, по-видимому, центром тогда был я, а не Хмелита. Хмелита оставалась вне коробки и там всегда светило солнце.

У меня вообще были какие-то причудливые идеи. Я например считал, что таких детей, как мы, нигде не существовало. Дети были, конечно, я их видел, но они были другого рода. Помню, как наш поезд пришел на станцию Нелидово. Я смотрел из окна и вдруг увидел около станции коляску с тройкой. На облучке сидел кучер, одетый, как и наш, в темно-синий зипун, с круглой шапкой с тремя павлиньими перьями. Но что меня совершенно возмутило, что в коляске сидела дама в белом платье, большой шляпе, и с ней девочка лет две-

надцати, одетая, как моя старшая сестра, и мальчик, одетый в матросский костюм, как я. „Кто это такие?” – спросил я гувернантку с возмущением. – „Почем я знаю, помещики какие-нибудь.” – „Как этот мальчик смеет носить мой костюм?” – „Да многие мальчики носят матросские костюмы.” Это меня обидело. „Да у них даже сбруя как наша!” – „Да у всех такая сбруя.” Это меня не успокоило.

Но вот проезжали Великие Луки, Новосокольники, через две станции Пустошка.

В Пустошке, которая была исключительно еврейским местечком на железной дороге, жили два брата „антрепренеры” Мойша и Айзик Леви. Они были удивительные люди. Они поставляли в Глубокое что угодно и когда угодно. Если что было нужно, звонили братьям Леви. Это могли быть какие-нибудь части для машин на фанерном заводе, или какие-нибудь кружева, или фрукты. Леви все поставляли, привозя в Глубокое на своей бричке или телеге нужное.

В Пустошке Иван Михайлович принимал командование. Все его слушались. Когда Иван Михайлович бывал с нами в Глубоком, бабушка тоже ничего не делала, не посоветовавшись с Иваном Михайловичем.

Через Пустошку проходило замечательное, прямое как стрела Петербург-Варшавское шоссе. Ехали до Зуйкова, там сворачивали на Глубокое. Оставалось 12 верст. Дорога шла через наш лес, который назывался „Равная Дубрава”. Нигде и никогда не видел такого леса. Сосны были мачтовые. Стволы их подымались, чистые, на невероятную высоту. Наверху сине-зеленые иглы закрывали небо. Внизу не было ни одного куста. Земля была гладкая, покрытая мхом и брусникой. Казалось, что въезжали в природный собор. Песчаная дорога под колесами шипела, как будто кто-то шептал. Помню чувство благоговения, когда проезжали через эту дубраву.

В Глубоком бывали и другие дети. Комиссионер моего деда Гейдена, который был с ним много лет, когда он еще был судьей, а потом обер-прокурором, Викентий, в иные годы приезжал со своей семьей по приглашению бабушки на лето. У него было две дочери и два сына, младший – мой ровесник. Приезжал и мой старший брат Петрик из школы в Германии Biberstein.

Мой отец купил большую лодку с килем и парусом. С парусом нам не позволяли ее употреблять, но на веслах было позволено. Мы катались по озеру, пикниковали на острове на другой стороне и вообще веселились.

Когда-то во времена юности моей бабушки, а потом моей матери и моего отца, когда было много молодежи, Волковы часто приезжали на лето в Глубокое. Они прозвали разные мысы и заливы на озере какими-то греческими именами. При прадедушке на этих мысах были построены руины в виде греческих храмов. Был мыс „Матапан”, мыс „Акритас”, мыс „Суньон”, остров назывался „Эт-

на" и т.д. Руины многие развалились, и стояли то тут, то там две или три колонны и отесанные камни.

Глубокое озеро было действительно очень глубокое. Около купальни с нашей стороны было не более 12 сажен сравнительно мелкого песчаного дна, но оно вдруг исчезало в глубь. Мой отец говорил, что в середине, напротив Панова, было намного более 100 футов в глубину, может даже 150 футов. На другой стороне, позади острова, было футов 20-25 глубины, вода была такая прозрачная, что видны были большие глыбы гранита, лежащие на песчаном дне. Было много всякой рыбы, между прочими – „селява", которая, как мы думали, была специальностью Глубокого. Это была пресноводная сельдь. Но позднее узнали, что такая же селява была в каком-то озере в Ярославской губернии.

В тридцатых годах моя мать гостила в Ирландии у Lady Leslie. Имение стояло на берегу озера. За обедом Lady Leslie сказала моей матери: „Эта рыба, которую вы едите, существует только в нашем озере, вы никогда не угадаете, что это такое." – „Это пресноводная селедка." – „Откуда вы это знаете?" И моя мать расказала о селяве в Глубоком. Рыбные эксперты никогда не могли объяснить, как селява попала в Глубоковское озеро.

Перед деревней Нечистой, саженях в 50-ти от берега, были вбиты в дно какие-то жерди, они торчали футов пять или шесть над поверхностью. Их использовали для какой-то рыболовли. Рыболов нам говорил, что это не жерди, а макушки деревьев, вбитых в дно. Как это было сделано, мы никогда не понимали, да и рыболов не знал. Они там были по крайней мере 70 или 80 лет. Крестьяне обыкновенно удили удочками с лодки, но два раза летом выезжали со многими лодками и удили сетью. Улов всегда был колоссальный.

Перешеек, между озерами Глубоким и Синовцом, на котором стояла деревня Паново, был когда-то прорезан каналом, через который был каменный мост. В наше время канал зарос. Кругом озера стоял сосновый лес.

На южном конце озера Глубокого был высокий вал, который кончался площадкой. Когда этот вал был построен, никто наверняка не знал. Он как видно был укреплением, но в какую сторону, на север или на юг, нельзя было сказать. Некоторые говорили, что он был построен Стефаном Баторием (1575-1586), другие говорили, что гораздо раньше. Во всяком случае, площадка была занята когда-то какими-то католиками, это конечно могли быть тевтонские или ливонские рыцари.

Когда мой пра-прадед Никита Иванович решил на площадке построить церковь, то он сам перевернул первый дерн и его лопата ударилась во что-то твердое. Когда откопали, то оказался большой 6-футовый филигранный железный крест, католический, с распятием в эмали на одной стороне и ягненком с крестом на другой.

Крест подняли и, так как он стоял в правильном направлении, он остался за алтарем в новой церкви.

Я точно не знаю год постройки ни Глубоковской церкви, ни остальных построек, конюшен, скотного двора и многих других. Был ли это вкус Никиты Ивановича или его жены Веры Ионовны, не знаю, но безвкусица была ужасная. Это было какое-то подражание Царицыну под Москвой, не то готика, не то барокко, красная с белым.

Тогда же была построена оранжерея. В мое время это была руина. Она была футов 150 длиной и футов 35 или 40 высоты, вся стеклянная. Во всю длину в середине была сводчатая стеклянная возвышенность, точно вокзал какой-то. В этой постройке росли большие апельсиновые и лимонные деревья, но в наше время они не цвели и фруктов не было. Много стекла было разбито.

На подъеме к церкви стоял каменный дом дьякона. Где жил священник, я не помню. Дьякон был человек образованный, но претенциозный. Говорил тоненьким голосом и постоянно вставлял в обыкновенный разговор цитаты из древне-греческого, которые никто не понимал. У него было три дочери, довольно миленькие, которых он окрестил невероятными именами: Митрадора, Минадора и Нимфадора. Когда кто-нибудь удивлялся, он отвечал: „Да помилуйте, я не знал, когда они родились, будут ли они красивыми, так я их золотыми назвал."

Бабушка нас, детей, очень баловала. Мы любили пикники и бабушка их всегда устраивала. Любили ездить на Каменное озеро. Тогда запрягали в шарабан, открытый, очень высокий, с местом для двух рядом с кучером, местом для трех спиной к кучеру, для трех смотря вперед и висящим в воздухе сзади сиденьем для трех, которое мы называли „Камчаткой". Этот невероятный экипаж был привезен из Вены моим пра-прадедом Никитой Ивановичем Дондуковым-Корсаковым, когда он был флигель-адъютантом Александра I на Венском конгрессе. В него впрягали шестерку, четыре и две лошади спереди. Кроме того запрягали венскую коляску, тоже оттуда же, четверкой. Это была замечательно красивая коляска на восьми рессорах. Она была очень длинная, мелкая и широкая. Было три места рядом и три напротив. Капор подымался, только покрывая главное сиденье. Чтобы влезать и вылезать, спускалась трехступенная лестница. Если людей было больше, запрягали еще тарантас.

Каменное озеро было очень большое и на нем было 12 островов. „Большой" был верст пять кругом и покрыт лесом. Глубоковская земля подходила к Каменному только в узком месте в южном конце. Там был хутор Мариинский и большой сосновый лес. В этом лесу на берегу мы любили пикниковать. В том лесу было много курганов. Мы хотели их раскапывать, но в России раскопки не позволялись без члена Археологического Общества. Бабушка все-

гда обещала получить позволение. Но только в июне 1914 приехал археологический инспектор.

Однажды мы все поехали в Зуйково, где глубоковская дорога выходила на Петербург-Варшавское шоссе, смотреть „всероссийский автомобильный пробег". Он начинался в Петербурге, шел через Псков, Остров, Опочку, Невель, Витебск, Могилев, Киев, Одессу, Ростов-на-Дону, Харьков, Орел, Москву и кончался в Петербурге. Было очень интересно. Автомобиль за автомобилем проезжали по шоссе. Мы были страшно горды, потому что полковник Свечин, брат жены дяди Жени Волкова, остановился с нами разговаривать. Он ехал на „Русско-Балтийской карете" и, между прочим, первый вернулся в Петербург. На том же автомобиле он, кажется, в 1912 или в 1913 выехал из Петербурга в Берлин, Париж, Мадрид, Танжир, Тунис, Бенгази, Кипр, Иерусалим, Эрзерум, Тифлис, Ростов, Москву и обратно в Петербург. Наш шофер Яков выписывал журнал „Автомобильные Новости", в которых были фотографии путешествия Свечина. Яков говорил: „Русско-Балтийский мотор лучший в мире, хотя и топорной работы."

Шоссе было замечательное, построенное в конце царствования Екатерины и в павловские времена. Оно стрелой шло мимо Глубокого, от Острова на Опочку, Невель и Витебск.

Мощенное битым камнем 20 футов в ширину и с 10-футовыми, травой покрытыми обочинами с каждой стороны, оно рассекало горы глубокими прорезами, мчалось через реки и озера по колоссальным насыпям с огромными трубами для прохода воды. Местами с шоссе были видны только макушки огромных строевых сосен с обеих сторон под насыпью. Каждые 15 верст были построены станции для почтовых лошадей.

По шоссе ходили автобусы два раза в день в оба направления. Назывались они „ореховые автобусы". Брали по 15 пассажиров, 14 внутри, по 7 друг против друга, и один рядом с шофером. На крыше была решетка, на которую наваливали ящики и сундуки. Автобусы эти были немецкой постройки „Гагенау" и кряхтели по шоссе верст 15-20 в час. Когда встречались коляски или телеги, их поворачивали на траву спиной к подъезжавшему чудовищу, иногда даже набрасывая мешок на головы лошадям. „Ореховая линия" была открыта моим дедом, то есть, значит, не позже 1907 года. Думаю, что это была первая автобусная линия в России. Начиналась она в Острове и кончалась в Невеле. Была ли она компания или принадлежала Земству, не знаю. На станциях стояли бензинные бочки.

В мое время, кажется, почтовых лошадей на станциях не держали. Помню, почему-то мы раз остановились в Балашах по дороге в Пустошку. Станционный смотритель с женой поставили самовар и мы пили чай. Шины у колясок тогда были железные и, когда выезжали на шоссе, разговаривать было почти невозможно от невероятной трескотни.

Станции были очень красивые, из кирпича и кремня, с двух сторон были великолепные железные решетчатые ворота во двор и конюшни. По-видимому, они были построены в павловские времена, потому что на воротах были павловские орлы с длинными узкими крыльями.

* * *

Я уверен, что приезжие, будь они горожане или иностранцы или даже русские из других губерний, побывав в Хмелите и в Глубоком, предпочли бы Глубокое. Безусловно, в Глубоком были виды замечательной красоты. Место было гористое по нашим понятиям, было много озер, и сравнительно маленьких, как Глубокое и Синовец, которые были с версту поперек и 2-3 версты в длину (в Европе они может быть даже считались большими), и большие, как Каменное и Велие, которые были на картах России даже среднего масштаба. Вся эта местность была моренная, песочная, с колоссальными глыбами гранита, порфира и разных других пирогенных камней. Господствующий лес был сосновый, хотя конечно были и березы, осины и разные другие лиственные.

Из 12.000 десятин имения более 10.000 было леса. Лесоводство было в России налажено задолго до европейского, за исключением, может быть, частей Германии. Лес был разбит на „дачи", в каждой из которых жил лесник. Где опасность пожара могла повредить лес, были проложены просеки. В Глубоком было два лесничих землемера, которые разбивали леса на делянки. Рубка леса была положена еще в середине 19-го столетия. Лес не сажали, а оставляли „семенники" и потом вырубливали подлесник, оставляя лучшие деревья. В результате, например в Глубоком – были тысячи десятин строевого леса.

Такие леса почему-то назывались „дубравами". Почему „дубравы"? По звуку это происходило от слова „дуб", но диких дубов в лесах не было.

В Глубоком были большие замечательно красивые болота, где было масса дичи, росла морошка и калина, бугры, покрытые мхом, точно бархатные.

И все же в Хмелите было лучше. У нас не было таких лесов, или гор, или озер. Но дышалось свободнее, веселее, легче. У нас мало было сосен, да и те было сравнить с глубоковскими невозможно. Лес был еловый, березовый, осиновый. Озера маленькие. Но трава росла высокая, сочная, реки были веселые, с заливными лугами. Никогда я не видел такого разнообразия диких цветов, бабочек, птиц, как у нас. Недаром Смоленскую губернию называли „садом России". Нигде я не видал такого количества и разнообразия стрекоз.

Хмелита конечно была меньше Глубокого. Она состояла из

500 десятин пахотной земли, 4.500 десятин леса и лугов. Но земля, не так, как в Глубоком, где был песок, была суглинистая.

Таких прекрасных дорог, как шоссе, – у нас не было. Самая большая дорога от Вязьмы на Белый проходила в шести верстах, это был большак. Ясно, что с нашим суглинком весной и осенью или когда был сильный дождь, была глубокая грязь. Когда было сухо, то дороги раскатывались в прекрасный, точно глиной мощенный, ровный тракт.

Помню, как меня дразнили. Брат нашего главноуправляющего Виктор Иванович Рапп, которого мы, дети, очень любили и который редко приезжал гостить в Хмелиту, но каждое лето гостил в Глубоком, говорил, когда мы его спрашивали, отчего он к нам не приезжал: „Да помилуйте, к вам же в Хмелиту невозможно проехать, у вас дороги по ось грязны." – „Неправда, у нас дороги великолепные, только в распутицу грязь." – „Ну, у вас всегда распутица." – „Только когда дождь." – „Ну вот, приедешь, пойдет дождь и выехать нельзя."

В Глубоком вид был только один – на запад через озеро, перешеек, Синовец и леса за ним.

Виды из хмелитского дома были замечательные. На юг в двух верстах расстилались леса, на юго-запад, верстах в десяти, лежал хребет покрытых лесом Шипулинских высот над рекой Вязьмой. На запад в семи верстах лежало село Михаево, а за ним леса, Днепр и за Днепром на горе Холм-Жарковский, с имением Уваровых, в тридцати трех верстах от нас. Солнце играло на кресте колокольни Холма. На северо-запад подымались в двенадцати верстах лесом покрытые Настасьинские высоты, самое высокое место Центральной России после Валдайских гор.

Наверное, я был пристрастен. Но не было для меня в мире места лучше Хмелиты.

ПЕТЕРБУРГ

В 1912 году у меня жизнь совершенно переменилась. Мне было почти что десять лет. С тех пор, что я помню, у нас была гувернантка Mrs. Tidswell, мы ее отчего-то звали Диди. Я ей очень благодарен за то, чему она меня научила. Она была дочь известного английского государственного деятеля Вильяма Бойер-Смита, который был правой рукой Дизраели. Она была одна из десяти его детей и вышла замуж за господина Tidswell, который разорился и скоро умер. Она осталась одна с маленькой дочерью, без средств, и стала пить от горя. Ее сестры, которые были все замужем и очень богаты, решили отправить ее гувернанткой в Россию. Так она и попала к нам.

Девицы тех времен были хорошо образованы. Она и ее сестры

окончили свое образование сначала в Дрездене, потом в Эрфурте. В результате она говорила и по-немецки, и по-французски.

Мы, дети, ее очень любили, и она стала частью нашей семьи. Но в 1912 году, я не знаю почему, она решила возвратиться в Англию.

Вместо нее сперва приехала молодая девица Miss Holland. Она была очень красивая, стройная, но, приехав в Хмелиту, сразу же заперлась в своей комнате и отказалась выходить к обеду. Ни моего отца, ни матери в это время не было дома. Моя крестная, тетя Наташа Фредерикс, которая у нас гостила, попробовала с ней говорить через дверь, но убедить ее выйти не могла. Ей ставили поднос с едой перед дверью и она, как видно, ела. Помню, как тетя Наташа в недоумении разводила руками и в конце концов на второй день послала куда-то телеграмму моим родителям.

На третий день Miss Holland заявила через дверь, что она уезжает домой. Паника охватила всех наших, не знали, что делать. Моих родителей не ожидали еще несколько дней. Держать гувернантку насильно было невозможно. Заказали коляску и она уехала в Вязьму.

Когда вернулись мои родители, они были в недоумении. Оказалось, что отец Miss Holland был профессором в Оксфорде и сам настоял, чтобы она ехала к нам. Ей было 20 лет, и моя мать обещала за ней смотреть.

Но тут эта привлекательная девица вдруг исчезла. Мой отец сейчас же дал знать полиции в Вязьме. Часа через два полицмейстер позвонил по телефону сказать, что она взяла билет в Москву. В те времена иностранцы должны были показывать свои паспорта в отелях. Мой отец сразу же позвонил графу Леониду Муравьеву, который тогда, кажется, был московским градоначальником, прося его найти Miss Holland. Начался розыск пропавшей девицы. Телефон не переставал звонить.

Мы, дети, были в восторге от этой драмы. Только моя мать беспокоилась. Муравьев позвонил, что он нашел след Miss Holland в какой-то гостинице в Москве, но она уже уехала куда-то. Он говорил с Треповым в Петербурге, но и там полиция ее найти не могла. Мой отец тогда позвонил кому-то в Министерстве Внутренних дел. Через день пришел ответ, что она ни через какую границу в Европу не проехала, значит, она где-то в России. Начался всероссийский розыск.

Я помню, мой отец смеялся за обедом: „Может быть у нее какие-нибудь друзья есть, которые ее скрывают, это год может пройти, пока ее найдут." Но моя мать была очень обеспокоена. Она написала профессору об ее исчезновении. Тот ответил, что считает мою мать ответственной за его дочь. Почти что три недели разыгрывалась эта драма. Вдруг телефон от Муравьева разрешил всю тайну. Miss Holland была найдена, но она была уже не Miss Holland, а с ка-

кой-то другой фамилией. Она, оказывается, уехала из Англии под предлогом, что хочет быть гувернанткой, потому что ее отец запретил ей выходить замуж за какого-то молодого человека. Они договорились оба уехать за границу и там жениться. Встретиться они должны были в Одессе. Там они как-то обвенчались, и там их полиция нашла.

Тем кончалось романтическое приключение Miss Holland. Через месяц мои родители уехали в Англию и вернулись с новой гувернанткой Miss Benham.

Miss Benham была лет 45. Она тут же по приезде хотела нас к себе привязать и настаивала, чтобы мы ее называли тетя Фани. Результат был обратный тому, что она ожидала. Мы упорно называли ее Miss Benham и вообще держались очень отдаленно. Она всякими способами старалась нас обольстить, но ничего не выходило. Дети могут быть невероятно жестокими. Miss Benham была, в общем, дура. Кроме того, она была какая-то заштопоренная, не только в манерах и взглядах, но и в одежде. Ее одежда была вся на кнопках, которые как пулемет растрескивались, когда она вздыхала. Она была страшно шокирована моими друзьями Васькой-скотником и Васькой Савкиным и попробовала запретить мне с ними играть. Я это совершенно игнорировал. Она пожаловалась моему отцу, который ответил, что ничего против моих дружеств не имел, но это ее не угомонило.

К счастью, но и к несчастью, кто-то решил, что у меня должен быть гувернер, и появился эстонец господин Якобсон. Это был невероятный господин, лет 35-ти, толстоватый, в засаленном сюртуке, с длинными растрепанными красными волосами. Он был какой-то помешанный. Кажется, он был когда-то студентом Рижского университета. Во время уроков он на меня галдел и лягал под столом мои ноги. Я его тут же возненавидел. Как это ни странно, я никому на него не жаловался и вел какую-то частную с ним войну. Только случайно кто-то заметил его сумасшествие и его рассчитали.

Тут я должен благодарить Mrs. Tidswell. С самого раннего детства она меня учила не жаловаться ни на людей, ни на судьбу. „Почти все, что случается с тобой, зависит от тебя самого. Учись на себя надеяться и учись от несчастий, которые на тебя падают. Никогда не бойся признаваться, что чего-нибудь не знаешь. Спрашивай других и учись. А главное, действуй так, как ты сам полагаешь, и не подпадай под влияние других потому только, что это легче."

Надежда на самого себя и поговорка „на Бога надейся, а сам не плошай" сослужили мне большую службу.

Мой личный мир переменился с этого времени. Раньше моя жизнь была связана с детской, хотя детская была довольно свободная, безо всяких вокруг нее изгородей. Теперь я был сам по себе.

* * *

Весной 1912 года меня в первый раз повезли в Петербург на экзамены. Я ни тогда, ни теперь не знаю, отчего нужно было ехать в Петербург для этого, но думаю, что это просто было предлогом меня туда свезти, может быть, показать друзьям. Во всяком случае, поездка на меня произвела большое впечатление. Я, кроме Рима и Берлина, никогда больших городов не видел. Меня поразила красота Петербурга и простор.

В Петербурге мы всегда останавливались у графини Софьи Владимировны Паниной. У нее была квартира на Сергиевской, на первом этаже. Я помню свое первое впечатление. Это было в мае. Встав рано, я сошел в гостиную, которая выходила на Сергиевскую. Солнце ярко светило, но улица была в тени. Окна были открыты, и меня удивила свежесть воздуха. Попахивало немножко дегтем, одним из самых приятных и чистых запахов. Проехала коляска на резинах, звук лошадиных копыт был глухой по торцовой мостовой. Проехал автомобиль, но слышно было только шипение шин о мостовую. Я сидел у окна и подумал: как странно, большой город, а все звуки глухие, не то что у нас в Хмелите, залает собака где-то далеко, а ее слышно.

Это впечатление оказалось совсем неверным. После утреннего завтрака вышли с моей матерью на Литейный и взяли извозчика ехать в гимназию на экзамен. Шум на Литейном был резкий, но я уже мало обращал на это внимания, меня тревожил экзамен.

Три дня подряд я был в какой-то полупанике. Я раньше никогда не сидел в большой классной с 30 другими мальчиками, которые на вид совершенно не волновались. Двое или трое подходили ко мне во время перерывов разговаривать, и я помню, каким дураком себя чувствовал. Их разговор был мне совсем чужд и я, как улитка, скрылся в моей раковине.

Я смотрел на вопросы экзамена, где-то внутри знал ответы, но не мог их выразить. На второй день я вдруг решил, что это все равно: провалюсь – что может случиться? И стало немного легче.

Я даже не знаю, прошел я экзамены или нет, никто мне не сказал. Во всяком случае, пытка эта кончилась. Все эти три дня я думал только о Хмелите, где даже самые неприятные уроки с Якобсоном награждались скотным двором. Тут некуда было убежать.

Но экзамены прошли и появился мой троюродный брат, Володя Фредерикс. Я его раньше не знал и был удивлен, когда вошел маленький молодой человек, ковыляя на двух палках. У него, оказывется, в детстве был полиомиелит. Он ходил с трудом, но был очень веселый. Он приехал в автомобиле своей матери тети Лены и повез меня смотреть Петербург. Показал мне Исаакиевский собор, Медного всадника, Зимний дворец, зоологический музей, где я в

первый раз видел мамонта. До сих пор помню впечатление, которое он на меня произвел. Володя мне сказал, что этот мамонт был найден замороженным в льдине. Он был гораздо меньше, чем я ожидал по книжным описаниям.

Восемнадцать лет спустя, будучи студентом в Кембридже, я встретил там старого профессора Dylon, который, рассказывая о своем посещении Петербурга, вдруг сказал: „Я туда поехал по приглашению Императорского Географического общества на обед. Никто мне меню не объявил и я был очень удивлен, когда подали жаркое, такое жесткое, что было даже трудно есть. Я подумал – вот странно, великолепный обед, и такое жаркое. Когда мы кончили, президент встал и объявил: „Вы, господа, только что съели котлеты, которым, должно быть, тысячи лет. Они приготовлены из мамонта, не жалуйтесь, что они такие жесткие. Вы первые, кто ел, как наши предки, мамонтовое мясо. Может, они лучше знали, как его готовить."

Володя повез меня на Острова. Помню, как сейчас, мое удивление при виде Невы. Я никогда не видел такой широкой реки. Волга в Ржеве, Великая в Опочке и Тибр в Риме были только речонками по сравнению с Невой. Какая красота были Острова!

Володя за мною приезжал почти каждый день. Но были и другие визиты, с моей матерью. Меня эти визиты смущали. Я чувствовал себя каким-то неотесанным. Был „нужный" визит к госпоже Абаза. Она была, как мой отец говорил, „некоронованная царица Петербурга". Оказывается, она ожидала от всех, кто приезжали в Петербург с детьми, чтобы являлись к ней на поклон показать детей.

Я думаю, такое могло случиться только в России. Мадам Абаза была женой сенатора, не знаю, жив ли он был или нет. Сенатор молодым человеком в Риге женился на служанке из трактира, вроде Петра Великого, который женился на такой же служанке и сделал ее Екатериной I. Не знаю, Абаза ли ее выучил или она сама себя образовала, но она явилась в петербургском обществе гран-дамой. Говорят, она была очень умна. Она великолепно говорила на языках. Детей у них не было и они удочерили в Италии какую-то беспризорную, которую великолепно воспитали, и она сделалась знаменитой певицей (Alicia Barbi).

Во всяком случае, мы приехали к мадам Абаза. Я увидел чопорную гордую старуху, которая, сидя в кресле, протянула мне два пальца поцеловать. Не помню, что она сказала, но к счастью Alicia Barbi взяла меня за руку и дала мне шоколаду. Ясно помню, как я вздохнул, когда мы вышли оттуда.

Были и другие визиты, но менее страшные. Помню, как мы приехали к Голицыным. Это была двоюродная сестра бабушки. Я ее только знал по посылкам, которые она присылала бабушке в Глубокое, всегда невероятно изящно завернутые в рисовую бумагу и завязанные ленточками. Это было от „ma cousine Sophie". Она ока-

залась такой же изящной маленькой седой старушкой, в опрятном сером платьи с кружевным воротником, от нее пахло лавандой. Но там была еще высокая рыжая дама, которая говорила очень громко и оказалась подругой моей матери, княгиней Васильчиковой. Она меня сразу же напугала своими громкими вопросами.

Родители вообще имеют странные понятия о своих детях. Они отчего-то решают, что если они дружны с кем-нибудь, то их дети и дети их друзей будут тоже дружны. Но это редко случается. Помню, как меня отвезли к Сандре Шуваловой, у нее было бессчетное количество детей. Я оказался каким-то бобылем, дети говорили о вещах, которые я совершенно не знал, у них были собственные шутки, которые я не понимал и т. д. Также было и у Лили Уваровой, и в разных семьях. Было очень скучно. Только раз я помню, как был оставлен с тремя детьми и должен был с их гувернанткой немкой идти гулять в Летний сад. Пошел дождь, и мы остались дома. Я забыл, во что мы играли, но вдруг эти дети стали просить гувернантку показать им ее фокусы. Я был ими ошеломлен. Она стояла у довольно большого круглого стола и держала руки в нескольких дюймах над ним. Очень медленно она стала подымать руки и, к моему удивлению, стол поднялся с пола чисто. Это, как видно, гувернантку утомило. Дети настаивали, чтобы она двинула от стены большой тяжелый шкаф, она долго отказывалась, наконец согласилась. Опять, с распластанными руками дюймах в шести от шкафа, она попятилась и шкаф двинулся за ней. Меня это поразило, но я пришел к заключению, что это какой-то специальный дар немецких гувернанток.

Петропавловская крепость, Казанский собор, дом Петра Великого – меня все интересовало, но больше всего мне хотелось посмотреть наш флот и гвардейские полки. Ни того, ни другого я не увидел. Полки или уже выступили, или приготовлялись идти в Красное, ни одного военного судна на Неве не было.

Володя предложил поехать на Лахту смотреть восход солнца. Надо было вставать ночью и ехать через Острова. Петербург был пуст. Было гораздо светлее, чем я ожидал. Был легкий туман то тут, то там. Мы проехали по Каменноостровскому проспекту, через Новую Деревню и повернули к Финскому заливу. Море было как зеркало. Я никогда таких цветов не видал, и море и как будто воздух были светло-голубого молочного цвета. Мель и сосны были точно кто-то их писал акварелью и решил слить их, и оставил жидкие остатки опаловых цветов.

Мы стояли на берегу недолго, когда далеко на горизонте, за морем, появилась точно какая-то звезда. „Смотри, смотри, – сказал Володя, – смотри на эту точку света." Звезда росла... и вдруг как будто взрыв. Звезда мелькнула, и струи яркого света, яркие красные лучи засверкали во все стороны. „Это крест на Андреевском соборе в Кронштадте." Солнца еще не было видно. Опаловые цвета стали ярче, но продолжали быть молочно-голубого цвета. На-

конец солнце взошло, туманец поднялся, но сказочное освещение продолжалось.

Эта картина произвела на меня колоссальное впечатление. Мы вернулись через Каменный, Елагин и Крестовский остров на Каменноостровский проспект. Петербург уже ожил. Телеги, коляски, автомобили, трамваи шумно катили по улицам, но хотя я встал так рано, спать не клонило.

Мне вдруг захотелось быть обратно в Хмелите. Все в Петербурге было очень интересно, но это было не по мне.

БАЛОВНЕВО

В 1911 году умерла бабушка Волкова, мать моего отца, которую я только раз видел в Риме. В 1912 мы всей семьей поехали в Баловнево, Данковского уезда Рязанской губернии, к моему деду Волкову-Муромцеву на две недели.

Отчего-то мы поехали не через Калугу и Тулу, а через Смоленск, может быть потому, что была только одна пересадка. Мы остановились в Смоленске на день и ночь у Суковкина, он тогда был губернатором. Помню губернаторский дом с красивым садом, который кончался у Смоленской стены. Нас водил на стену какой-то адъютант, мы прошли довольно далеко по стене, вид оттуда был великолепный.

Я настоял пойти в музей. Должен сказать – не потому, что я хотел изучать древности, а чтобы удовлетворить свое самолюбие. Лет семи, разбирая кучу камней, – они все были кремневые для починки дороги, – я нашел расколотый камень, в котором была впадина, покрытая довольно большими кристаллами. Я в энтузиазме и незнании решил, что это бриллианты. Мой отец меня разочаровал и сказал, что это кристаллы кремнозема. Но они были настолько красивы, что я стал разбивать кругловатые кремни молотком. Я разрезал себе кончик пальца на левой руке осколком кремня до кости. Это меня не угомонило и я продолжал разбивать кремни. Вместо кристаллов я нашел впадины, соединенные какими-то винтами. Эти винты разнились друг от друга и длиной и диаметром. Но были одинаковой толщины по всей длине. Самые длинные были 2,5 дюйма длиной и 3/8 дюйма в толщину. Они были белые, с великолепной и очень острой нарезкой. Я набрал штук 50 этих винтов. Самый для меня ценный был маленький винт в 1,5 дюйма длиной и немножко больше 1/8 дюйма толщиной. Он был единственный не белый, а молочно-голубой, как кремень, и с широким нарезом.

Мой отец, как видно, описал их палеонтологу в Смоленске, во всяком случае, этот господин приехал специально в Хмелиту их посмотреть. Он был изумлен, когда их увидел, и сказал, что понятия

не имеет, какого морского существа эта окаменелость. Он попросил меня подарить ему для музея несколько винтов. Я ему выбрал штук шесть.

Теперь я хотел посмотреть их в музее. Они были в витрине, и под ними было написано: „Дар Николая Владимировича Волкова. Найдены в селе Хмелите Вяземского уезда." Гордости моей не было предела. Я всем указывал: „Смотрите, смотрите, я их нашел."

Как ни странно, с тех пор я бывал во многих палеонтологических музеях и никогда моих винтов не видел.

Мы приехали в Данков, там нас встретили коляски. Баловнево было только в семи верстах от Данкова. По дороге была плоская степь, стояла пшеница, сахарная свекла. То тут, то там были маленькие рощи дубов. Подъехали к имению. В России было, говорят, 12 имений, которые назывались „дворцы", никто не знал, почему. Баловнево называлось „дворец".

Въезд был через триумфальную арку, построенную Растрелли. Были еще две такие арки в других въездах через парк. Проехали через часть парка и выехали на передний двор дома. Дом был колоссальный. Главный дом был соединен аркадами с двумя флигелями, образующими букву „П". Перед мощенным булыжниками подъездом была круглая травяная площадка с бьющими фонтанами, окруженными грядками цветов. Напротив стояла высокая каланча, помоему, очень некрасивая, построенная Растрелли, — это была водяная башня с часами, которые били в часы и получасы. Прямо напротив была широкая каменная лестница, ведущая в парк, с двух сторон которой были какие-то квадратные крепости с зубчатыми стенами. Это были ледники. Дом был, говорили, тоже построен Растрелли, но мне кто-то сказал, что его строил Жуков, ученик Растрелли-старшего.

Баловнево было построено Матвеем Муромцевым, который был личным секретарем и любовником Екатерины. Говорили, что он его построил, чтобы принимать Екатерину. Мне кажется, это не могло быть правдой. В Баловневе была картина Боровиковского, на которой Екатерина, одетая в амазонку, стоит у мраморного моста в баловневском парке. Деревья в парке уже большие.

Я помню, что, посмотрев на картину, мы решили найти то место, где стояла Екатерина, нашли и деревья, они еще были там.

В кабинете дедушки в стеклянном колпаке была амазонка Екатерины, сапоги и перчатки. Как видно, Боровиковский приезжал писать в Баловнево. Что более странно, это поясной портрет Екатерины в той же или такой же амазонке письма Левицкого. То, что Екатерина гостила в Баловневе несколько недель, было в ее письмах к Муромцеву. Мы с моим двоюродным братом читали их с интересом (писем было 30 с лишним), и я даже в те юные годы был поражен, что никак не было бы возможности по этим письмам сказать, что они были написаны любовнику.

Дом был грандиозный, более 100 комнат, но, по моему мнению, он не был красивым. Должен сказать, что мало комнат помню, может быть, я в них никогда не был. Мы жили во флигеле. Было очень странно: на втором этаже, где мы жили, было 10 квартир, по 3 комнаты в каждой, и даже были номера на дверях, точно отель.

Парк был разбит замечательно. От лестницы шла очень широкая аллея, которая пересекала „реку" через мраморный мост и продолжалась сперва через парк, потом через какой-то насаженный, ясно планированный лес, и кончалась лужайкой, на которой месяцеобразно были посажены 15 дубов. Таких дубов я ни раньше, ни позднее никогда не видел. Они были все ровные, 4-5-ти футовой толщины, стволы подымались без ветвей футов на 40, и вышина дубов была невероятная, думаю, 150 футов, может, больше.

Меня озадачило: такие старые дубы должны были быть по крайней мере в два или три раза старше Баловнева.

От той же лестницы расходились веером аллеи. Были всякие пересечные аллеи, лужайки обыкновенно с колоссальным развесистым дубом, но все же обычным, не таким, как в конце главной аллеи.

„Река", которая извивалась через парк, оказалась прудом. Концов ее я никогда не видел. Парк был сам более 400 десятин. На мысах, выдающихся в реку, были какие-то беседки, в виде греческих храмов. Было, насколько я помню, два каких-то вычурных деревянных моста.

В начале каждой аллеи были прибиты к деревьям доски, на которых было написано: „Главная Николаевская аллея", „Александровская аллея", „Екатерининская аллея" и так далее. Это было странно.. По ту сторону реки крутились дорожки, за каким-нибудь поворотом вдруг беседка или скамейка. Это нам, детям, все было очень интересно, но почему-то мне Баловнево совсем не понравилось.

Церковь, тоже красная с белым, была построена Растрелли и какая-то была нерусская на вид. Она стояла глубоко в парке.

За парком было 3.600 десятин, почти все пахотные, разбитые на десять хуторов, каждый со своим собственным хозяйством. Земля была чернозем. В Баловневе я в первый раз видел гадюк, их там было много.

Дедушка только летом жил в Баловневе, а управлял имением некто Соколов. У меня сохранились счета Баловневского управления, которые я получил из Венеции, где у дедушки был дом на Большом Канале. Судя по ним, Баловнево приносило ему очень много.

Дедушку за время нашего там пребывания я видел только два раза. Раз – на террасе по ту сторону дома, где были какие-то холмы, покрытые цветами, с пальмой наверху, и которые мы с Сандриком прозвали „Витязевы могилы", и один раз был официальный визит в его кабинет, где он нам читал какую-то лекцию.

С другой стороны дома был сад и кажется еще один парк. Нас туда не пускали и мы только раз пробрались туда, но были изгнаны.

Нам приходилось делать все секретно и мне это очень не нравилось. Помню, мы провели с Сандриком два часа, читая письма Екатерины, но должны были сгинуть, когда услышали чьи-то шаги.

Все это было совершенно не по-нашему. И я уже на первой неделе стал считать дни, когда мы вернемся в Хмелиту. Да и Баловнево само мне не нравилось. Для меня это было не имение, а какая-то „резиденция".

Помню, как мы были счастливы, когда сели в вагон по дороге обратно в Смоленскую губернию.

Но наконец Хмелита, и мы все ожили.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

С раннего детства я многое видел в цветах. В моем воображении исторические лица, деревни, города, губернии и даже целые страны были окрашены определенными красками. Не знаю почему, например, Святослав представлялся мне белым, нет, более того, ярко-солнечным. Святой Владимир был, и до сих пор, — светло-желтый. Так и места, многие из которых в те времена я даже не видел, были для меня цветными. Откуда возникали передо мной такие картины, я понятия не имею. Даже совершенно обыкновенные люди, которых я видел каждый день, представлялись мне в цветах.

Хмелита наша была ярко-белая, даже светилась. Ничего не было важнее Хмелиты, затем Вяземского уезда и наконец — Смоленской губернии. Смоленская губерния была моя, самая важная губерния в России. Все то, что было в Хмелите и в округе, — было лучшее в мире. Это не мешало мне любоваться великолепными видами в Глубоком, красивыми зданиями в Риме и т.д. Но сравнивать с Хмелитой мне не приходило в голову. Это было чужое.

Климат у нас, по моему понятию, был великолепный. Месяц за месяцем.

Январь — погода морозная. Градусов между десятью и двадцатью пятью. Сухой холод. Солнце обыкновенно светило из ясного голубого неба. Тепло на солнце в полдень, безветренно, снег таял на поверхности, а к вечеру морозило и превращало в наст. В хороший январь наст держал лошадь и сани. Дороги были гладкие и раскаты начинались только к концу месяца, когда дороги подымались над полевым снегом. Вехи, саженях в трех от дорог, стояли еще прямо, точно елочки посажены. Только к концу месяца дорога желтела от навоза. Редко метелило, снег падал чаще ночью, к заре, покрывал все белой пеленой. Всходило солнце и все сверкало, что алмазы.

А в лесу снег днем не таял, мягко лежал, глубоко от морозу

потрескивал. Повсюду следы беляков. Там лисы. Вокруг елок растрепанные следы белок. Редко прямые следы волков. Присмотришься, да это не один след. Тут прошли пять волков, ступая в следы вожака. Иногда и больше. Знакомые они. Если семь, то с Семеновского болота забрели. Там их одно время вел белый волк, но давно уже его не видели. А в Ломовской стае была черная волчиха.

Пойдешь на финских лыжах. В лесу широкие лыжи уходили дюйма на два в снег, не то что в поле по насту, где они почти не оставляли следов. Там и следы русаков трудно увидеть, только, видно, лиса, ища мышей, прокатывалась через наст и ничего не нашла. Мышьи дырочки то тут, то там, точно воронки.

А дороги-то еще широкие. Сани на железных полозьях поскрипывают на твердом снегу. Полозья розвален уже отполировали дорогу, и то тут, то там начались раскаты.

Кто-то придумал новую забаву. Говорят, из Швейцарии пошла, называлась „тейлин". Англичане, наверно, придумали, звучит от слова „тейл" – хвост. К саням привязывали на длинной веревке салазки, одни за другими, штук пять, шесть. Лошади шли быстрой рысцой и салазки извивались по дороге, точно змея. Нелегко было каждому сидящему на салазках удержаться на дороге. Попадали в раскаты, тянули за собой следующие салазки и все валились в снег.

Иногда расчищали снег со льда на озерах. Можно было кататься на коньках. Все ребятишки из деревни выкатывались на лед. У многих были коньки – „снегурочками" назывались. Носы у них заворачивались, точно „запятая". Были и мастера. Заложив руки за спину, выделывали восьмерки.

Январь хороший месяц был для всех. Ускорял поездки почти вдвое, перевозка грузов была легкая. Дороги выпрямлялись.

Иногда были, конечно, и мятели. Сухой пушистый снег легко подымался ветром и сбивался в сугробы. Редко в открытом поле. Встречались сугробы у деревень, в каком-либо овраге или в подлесках. Иногда нужно было прокапывать сугробы, но обыкновенно пробивались, лошадь по брюхо в снегу прокладывала дорогу, и скоро дорога шла через ущелье со снежными глыбами с обеих сторон.

Но ветру было мало в январе, погода обычно стояла ясная. Дым из труб подымался мирно к небесам.

При встрече на узкой дороге было установленное правило. Однолошадные сани сворачивали в снег при встрече двухлошадных. Двухлошадные сворачивали при встрече троек или трех гуськом, и все сворачивали, чтобы пропустить воз. При встрече розвален с санями – розвальни сворачивали. Это было логично и принято.

Летом из Хмелиты в Вязьму 35 верст проезжали в коляске приблизительно за 3 часа, зимой по той же дороге проезжали за час и три четверти.

Были деревни, не у нас в Вяземском, но рядом в Бельском уезде, которые стояли на островах, посреди болот. Только зимой

могли оттуда крестьяне приезжать за покупками, или привозить лен. Летом же – только в засуху, да и то пешком.

Горожане все думали, что зима в деревне время отдыха. Много работы было зимой на овинах и ригах, молотили, веяли, сушили. Срубленный лес, сложенный осенью, легко было вывозить зимой.

Кто охотился (в каждой деревне было три или четыре настоящих охотника), выходили, когда время было, на охоту. Кто по русакам или по белякам, или по лисам специализировался, кто по белкам и куницам, а другие по рябчикам, тетеревам или глухарям.

В лунную ночь, в сильный мороз, светло что днем, русаки посещали фруктовые сады. Как видно, любили огрызать кору с яблонь. Засев в шалаш, хорошо было подсвистывать зайцев.

Были конечно и волки, лоси, косули, рыси и, редко, вепри, но на них никто не охотился. Волков не трогали, они никому вреда не приносили и их в покое оставляли.

Медведей было много, но они в это время были в зимней спячке. Я никогда не натыкался на их берлоги.

Хороший был обыкновенно месяц январь, тихий, светлый. И трескучий мороз.

Февраль был совсем другой. Он был мятельный, бурный, температура разнилась между оттепелью и 30 градусами мороза. Дороги портились и поднимались на три, четыре фута над окружающими полями.

Февраль был для меня грязно-охренного цвета, как дороги, которые теперь тянулись желто-коричневые средь белых полей. На дорогах стаи „овсянок" клевали навоз. Сугробы теперь были повсюду. Местами в полях они превращались в „заструги", точно белое, разбушевавшееся море. Наст редко стоял более двух, трех дней подряд.

К ночи потрескивал мороз. Редко были совершенно тихие ночи. Да и в тихие – откуда-то ветерок – и мятелица подымала пушистый снежок и несла его с аршин над полями. Точно туманец какой-то.

В феврале лучше было удлинять поездки, съезжать с обыкновенных дорог на реки, они продолжали быть гладкими. Мы, дети, десяти-одиннадцати лет, когда ездили к соседям, сажали кучера в сани и сами на облучке правили лошадьми. Мы с раннего детства выучились править не только тройками, но и гуськами в две или три лошади. И я, и моя старшая сестра Сандра гордились этим.

Конечно, сбивались с дороги иногда, да и кучера сбивались тоже.

Помню раз, я ехал с кучером к Тугариновым в Печулино, верст 12 от Хмелиты на запад, по направлению к Днепру. Была на днях сильная мятель. Первые шесть верст дорога была видная. Кучер Василий, завернувшись в доху, сидел в санях, а я, стоя на облучке, правил тройкой гуськом, нашими черными орловскими

рысаками. Весело было быстро скользить по пробитой дороге, иногда щелкая двенадцатифутовым пакленым кнутом. Солнце светило в какой-то полудымке.

За Черемушниками появились сугробчики на дороге. Как видно, тут сильнее была мятель, чем у нас. Вдруг перед деревней, кажется Васильевой, дорога совсем исчезла. Я остановился. Трудно зимой, когда все засыпано снегом, точно знать, где дорога. В одну лошадь это легче. Лошадь чутьем знает под ногами твердую дорогу. Но гуськом – передняя лошадь сбивается, почему – не знаю.

Я посоветовался с кучером. „Не знаю, кажись тут налево нужно взять." Лошадь уже по колено утопала в снегу. „Да смотри, вишь, крыша там, мы к ней слева подъехать должны." Я повернул налево. Проехали через сугроб, тут снег помельче стал, как будто опять на дороге. „Ух, Василий, смотри, какой сугроб впереди!" – „Да, занесло тут дорогу здорово." Я щелкнул кнутом. Передняя лошадь хватилась вверх по сугробу и как будто легко сани поднялись на сугроб, но вдруг передняя лошадь исчезла, и я остановился.

„Куда это мы заехали!?" – удивился Василий. – „Не знаю, твердо под полозьями." – „Да это солома, мы на скирду наехали!" – Василий вылез и зашаркал ногами в снегу. – „Эй, братец, да это крыша!" – Мы засмеялись. – „Это гумно какое-то."

Занесло гумно с одной стороны. Мы оба стояли на краю крыши. „Ну не знаю, отпрячь, что ли, гуськовую, или рискнуть спрыгнуть санями?" Мы распрягли обеих гуськовых, повернули сани и съехали обратно. Впрягли опять, объехали сугроб и наконец нашли въезд в деревню. Много смеялись.

„Обратно по реке поедем, к Шипулину, это дальше, но по крайней мере крыш нет", – сказал Василий. Уже стемнело, когда выехали обратно. Мы ехали по гладкому, заснеженному льду реки Вязьмы. Лошадь рысила легко. Василий, закутавшись в доху, заснул сзади в санях. Версты две спустя лошадь стала фыркать. Я посмотрел направо, налево. Направо был отлогий берег с заливными полями. Налево над нами подымался отвесный берег, футов пятнадцать в вышину. Я заметил зеленые огоньки и присмотрелся. Вдоль высокого берега, рядом с нами бежали семь волков гуськом.

Я разбудил Василия. „Смотри, волки за нами." – „Да, верно, семь их, что ли, должно не наши, Шипулинские, должно быть." Поднял воротник и заснул.

Я всегда любил волков, с детства, был очень горд, что герб наш поддерживали два черных волка. Под гербом было написано хвастливо нашими предками: „Господа храбрые и славные волки". А тут они что конвой наш. Весело мне стало.

Люди, не жившие в деревне, рассказывают невероятные истории про волков. Что они нападают зимой на людей, что даже летом уносят детей, и всякую другую ерунду. Я, за одним только исключением, когда одинокий волк напал на женщину, никогда не слыхал,

чтоб волки кого-нибудь трогали, даже детей. Одинокий зверь, кто бы он ни был, волк или слон, по какой-либо причине выкинутый из стаи, всегда ведет себя иначе, чем обыкновенные, они шальные и опасные, но это редко бывает.

Меня многие спрашивали, отчего они нас сопровождали, если не хотели напасть. Ответ простой: волк очень любопытный зверь. Им всегда интересно, что в мире делается, они для забавы, вероятно, бежали, насмотрелись и ушли. Мы для них были чужие, заехавшие в их округ.

В феврале иногда мятели ревели по два, по три дня. Дороги поднимались все выше и выше и раскаты делались все больше и больше.

Но была и хорошая сторона февраля. К концу февраля ходили на „ток" глухарей. В лесу снег был пушистый, часто лежал густо на еловых ветвях. Когда он падал с ветвей, глухим шумом раздавалось по лесу. Глухарь обыкновенно сидел высоко на сухой ветви сосны. Внизу на снегу сидели глухарки. Расправив хвост, точно индюк, глухарь начинал свой ток. Слух у глухарей выдающийся, но в момент тока они совершенно его теряют. Потому их и зовут глухарями.

На охоте подобраться к глухарю очень трудно. Можно двигаться, только пока он токует. Хрустни веткой, и все пропало. Но во время тока двигаться можно свободно. Если повезет, можно подойти на выстрел.

У нас было три гончих „костромича", порода популярная в нашем округе. Они были рыжие с черной спиной, размера немножко меньше „сеттеров", с небольшой головой. Не знаю, тренированы они были когда-нибудь или натурально так себя вели.

Пойдешь в подлесок или на какую-нибудь просеку и пустишь гончих. Держались они всегда вместе. Они сами находили свежий след русака или лисы, иногда им его указывали. Вожак у нас была сука „Пальма". Когда гончие исчезали в лесу, Пальма вдруг появлялась на опушке, смотрела, где я стоял, и снова исчезала. Скоро слышался гон, замечательный звук всех трех гончих. Всегда можно было сказать, что они подняли. Если высокий гон, был русак, если глубокий, значит лиса.

Интересно, гончие часто пересекали свежие следы беляков, но не обращали на них внимания. Гон уходил все дальше и дальше, начинался где-то справа, затем несся вперед, переходил налево, все громче и громче, и вдруг русак или лиса перебегали просеку на ружейном расстоянии. Промахнешься, появлялись в недоумении гончие и опять заворачивали зверя второй раз.

Для беляков у нас была одна гончая „Лилька", она была совсем другой породы. Называлась почему-то „англо-русом". Она была меньше, тоньше, и гон ее был еще выше, с визгом. Сизая она была, с рыже-черными пятнами и белым брюхом. Беляк – не то что

русак, крутил все в том же месте. Обскакивал тот же куст два, три раза. Останавливался, подпрыгивал в воздухе, падал футов семь, восемь в обратном направлении. Лилька, по-видимому, знала его трюки и сама медленно шла за ним, подводя его все ближе и ближе к охотнику.

Были и рябчики, сидящие на безлистой березе. Я знал, где они, только по их перекликанию, свисту. Тетеревов же я никогда зимой не видел, они забивались в еловую чащу и к ним подойти было почти что невозможно.

Иногда в лесу вдруг слышалось стрекотание многих соек. Я тогда останавливался, прислушивался и поворачивал обратно. Это значило: там был лось. Отчего-то лося всегда сопровождали сойки. Встречаться с лосиным быком было опасно, никогда не знаешь, в каком он настроении. У нас в Хмелите старик Саврасий поехал в лес за дровами. Он нагружал дровни, когда появился лось. Он был глуховат и не слышал соек. Без всякой причины лось бросился на его лошадь и забодал. Саврасий вскарабкался на ель и просидел там целую ночь. Лось добил лошадь, но не уходил. К счастью, крик соек услышал наш лесник, случайно проходивший недалеко. Пошел посмотреть и застрелил лося. Старик промерзший слез. Отец мой купил ему лошадь, но он один по дрова не ездил больше и посылал сына с ружьем.

Встречались редко рыси. Я раз здорово испугался. Проходя под большой елью, я случайно посмотрел вверх и увидел рысь, лежащую на толстой ветке почти что над моей головой. Она быстро спрыгнула в другую сторону и исчезла. У меня долго билось сердце.

В начале марта чаще токовали глухари. Рябчиков видать было реже, но лисиц больше. Были и куницы и, конечно, белки, но я редкую куницу видел и ни разу не застрелил.

В марте быстро появлялась оттепель. Дороги теперь стояли все выше и выше, становились темно-коричневыми. Овсянок на них было все больше. Снег редко выпадал. Снег на полях начинал оседать и вдруг тут и там, на пригорках, появлялась зеленая мокрая травка.

К девятому, „день жаворонков", уже были пятна травы. Я никогда не слыхал жаворонков в этот день, но говорили, что они к этому дню прилетали. Дома пекли „жаворонков" из сдобного теста, с изюмными глазами и клювом. Начинало пахнуть весной.

Вдали лес березовый оставался лиловатым. Появлялись почки. Ехать по дорогам нужно было осторожно, появлялись дыры, лошадь могла провалиться и ноги сломать. Солнце днем было теплое, ночью морозило, но уж не так, как зимой.

После февраля все веселело. Снег начинал синеть и засахаривался. Со дня на день ожидали настоящую весну. Много было работы теперь, приготовляли плуги, бороны, чинили телеги и сбрую. Готовились к распутице.

Вдруг к концу марта проснешься утром, вчера еще была зима,

а тут под снегом слышишь журчанье. Двинулся снег! Весна! Березы становились еще лиловее, зелень елей бледнела. Легкие ветерки теплели. А тут и скворцы прилетали. Больше и больше зеленых пятен по полям. На солнечных буграх на опушке зацвела медуница. Это был первый цвет настоящей весны. Уже ночные морозы ничего не останавливали. Лед на ручьях синел, трескался, и тут и там появлялась вода.

Только дороги еще стояли высоко. Бывали и бури. Шквалы налетали с запада, безлистые деревья гулко шумели под порывами ветра. Трудно было теперь двигаться по полурастаявшим дорогам, и тяжелые возы льна, сена на городскую ярмарку, бревен на лесопилку – уже прекратились. Все это было свезено зимой.

Даже по лесам снег снижался, переставал быть таким рыхлым. Птички чирикали и посвистывали. Охота, кроме как на глухарей, прекращалась, да и та становилась труднее. Все двигалось к распутице.

Были года, но редко, когда к концу марта начинался ледолом. Но он не продолжался. Вдруг на льду рек появлялись лужи воды, которые опять по ночам замерзали.

Две-три недели спустя „мартовского дня" появлялись жаворонки и звенели в синем небе. К Благовещенью уже высоко по небу тянулись журавли и гуси. Это, конечно, зависело от года.

И вот апрель, очень светло-голубой по моим понятиям. Снег исчезал, вдали березы переходили из лилового в светло-зеленое. Ручьи журчали громко. Дороги становились все хуже и хуже. Местами начиналась распутица. Птицы чирикали и пели повсюду. Мокрая трава высыхала и лед на озерах синел и исчезал. Подходила Пасха. Она обыкновенно выпадала в апреле, хотя помню год, когда была в марте. Заутреня: церковь и колокольня обвешаны разноцветными плошками, красные, зеленые, синие, желтые мигали в легком теплом ветерке. Воскресенье Христово возобновляло надежды всех. Весело всю неделю трезвонили колокола. Всякий мог влезть на колокольню и оттрезвонить. Были у нас специалисты, как хромой Федул. Он один влезал на колокольню. Большой колокол был ножной, „язык" привязан к качающейся балке. Колокол большой, пять футов в вышину. Второй, „набатный", фута три с половиной в вышину, был на ручной веревке. Еще два поменьше да четыре маленьких все были ручные. Как Федул справлялся с восемью колоколами, никто не понимал, но он оттрезвонивал веселую „Ах ты сукин сын комаринский мужик" прекрасно и иногда часами. Трезвонили колокола, и все веселились.

Ох, хороший месяц апрель. Обыкновенно к середине месяца было достаточно травы, чтобы выпускать стадо на паству.

Ночью слышалось глухое рокотанье. Это был ледоход на реках Вязьме и Днепре. Днем это как-то не доносилось. Зрелище, захватывающее дух: льдины подымались, грохотали друг на друге, би-

лись в подпоры мостов, громоздились и вдруг рвались вперед по сильному течению. Вода подымалась и заливала поля.

В лесу точно снегом покрыто, острова белых ветрениц, а там желтые ветреницы и ярко-синие печеночницы, липкие молодые листья берез и светло-зеленые кончики на темных ветвях елей. И воздух свежий, легкий ветерок. Ах, хороший месяц апрель!

Уже с конца марта по вечерам тянут вальдшнепы. На реках и болотах появляются кряквы и почанки и всякие утки и чирки. На полях куропатки, ноздрики, чибисы и кроншнепы. Все оживлялось.

23-го апреля Георгиевский день. День, когда благословляют скот и будто бы первый день, когда скот выходит на паству. Так может быть и было в прежние времена, но в мое время скот обыкновенно уже пасся недели две. Это было замечательно красивое богослужение. Весь скот, и наш и крестьянский, собирали на площади перед скотным двором. Погода обыкновенно стояла хорошая. Приводили и лошадей, и овец.

Это было как будто утверждение, что пришла весна. Озимые уже зеленели на полях. Весенний посев еще не начинался, земля еще была холодная, но уже днем температура подымалась до 15-18 градусов. К концу апреля было жарко. Цвели яблони, груши, вишни, сливы. В лесу расцветала черемуха, дикая яблоня, жимолость. Далеко разносился запах черемухи.

И вдруг май. Пели соловьи. Стояла жаркая погода. Все цвело. Легкие ветерки несли клубчатые белые облака высоко, высоко по ярко-голубому небу. И вдруг гроза, не знаешь откуда. И свежестью веет от листвы, сверкают дождевые капли на листьях, и вновь жара.

В лесу, на полянах, среди сочной травы белеются любки. Их некоторые называют ночными фиалками, не знаю почему. Это просто белые орхидеи. Сильный и замечательный запах их разносится кругом, и еще сильнее ночью. Мы, дети, когда темнело и не видно было любок, ходили в лес и соревновались — кто сколько соберет. Находили их по запаху, как пчелы находят цветы.

В авдеевском овраге точно кто-то золотом мазнул. В высокой сочной траве ковер кувшинок. Как золотые маленькие кочны капусты на высоких стеблях. И в спасском лесу кусты белого, лилового и сливочного цвета, василисник, точно большие подушки разбросаны по лесу.

По направлению к Днепру в лесах высокие лилии, ярко-малиновые, с черными, точно из бархата, пятнышками. Повсюду высокий темно-синий и лиловый шпорник, который некоторые называют живокость. Нет конца множеству диких цветов.

9-го мая наш второй знаменитый храмовый праздник, Николы Вешнего. Приезжают отовсюду ремесленники, строят шалаши и перед ними выставляют свои изделия. Кто горшки кирпичного цвета с покрытой глазурью верхушкой, кто тарелки да миски темно-зеленые, с разными рисунками. Там — кто ситцы привез и вышитые

ткани, кто атлас да бархат, а тут целый шалаш ожерелий, яркие стеклянные бусы да сережки, целый шалаш игрушек, кукол, лошадок деревянных, белых или серых, с большими черными пятнами. Чего, чего не было. Картузы, сапоги, конфеты, рогожа. Приезжали и музыканты с гармониками и балалайками, шарманками. Люди пели, плясали, пили целый день там. Да и гридинские цыгане появлялись продавать своих коней. Девки разгуливали в лучших сарафанах. Их дразнили и толкали локтями парни. Весело проходил день.

Май обыкновенно был жаркий месяц. Иногда черные тучи собирались за Днепром. Грохотал вдали гром, подымался западный ветер и налетали проливные дожди. Большими каплями падали на пыльную дорогу, фонтаны пыли поднимались, оставляя мокрую воронку, и вдруг сухая дорога покрывалась жидкой грязью. Ручьи бежали под гору, оставляя точно в миниатюре реки с песчаными мелями, маленькими утесами и затонами. И вдруг так же быстро выходило солнце, дорога высыхала и маленькие пыльные смерчи кружились при утихающем ветре.

К концу мая можно было начать сенокос, но почему-то ждали июня. Ночью на западе играли зарницы. Дойдет до нас или нет? Редко доходило. Это еще не было июльских воробьиных ночей. Красивые они были, почти что всю ночь светло. Нет, в мае зарницы играли редко, как будто устало.

К концу апреля, в начале мая прохладный ветерок иногда дул с севера, дня четыре, пять. „Ледоход пошел на северных реках", — говорили крестьяне. — „ Двина, аль Ладога и Онега двинулись."

А у нас березы да осины лепетали новой листвой. Вода уж давно отхлынула с заливных полей и сочная высокая трава покрывала недавние озера разлива. Стада паслись на них вдоль Вязьмы, Вазузы и Днепра. Уже мальчишки с гиком угоняли табуны коней в ночное.

И вот пришел июнь. Никто никогда не знал, что будет за погода. Первые дни еще туда-сюда, погода держалась майская, но скоро серело небо. То дождь, то моросит, но тепло.

Часто к концу мая — Троица, нарубали березок и втыкали их по сторонам дорог. Дня через два, три они увядали, но не всегда. Июньский дождь некоторые из них оживлял. Они продолжади стоять что посаженные. Помню, многие такие березки разных годов укоренялись и стояли уже большими березами вдоль дорог.

Июньский сенокос всегда беспокоил всех. Пройдет ли дождь вовремя, чтобы набить сараи душистым сеном? Беспокоились, но редко не удавалось скосить довольно до Петрова дня. Как только дождь переставал, выходило солнце и сушило луга. Тогда дружно все кидались на сенокос. Много было лесных лугов. Косилки там были неподходящие: много кустарника, где орешник, где можжевельник. Только косами удавалось. И катили с этих лугов телеги и арбы, наваленные сеном. Веселое было время.

Но налетали ливни. Помню раз, наш управляющий и я были на сенокосе в Большом Шашлыковском лугу, версты две-три от Хмелиты. „Эй, смотри", – воскликнул какой-то парень, – „ой, туча, сейчас нас хватит." Уже утром „хватила" нас такая туча и сено, привезенное на двор, нужно было раскидать, высушить перед тем, что грузить в сарай. Оно, наверно, было еще раскинуто. Я косил, когда управляющий мне крикнул: „Николаша, валяй домой, скажи, чтобы сбивали в копны!" Я вскочил на лошадь и поскакал. Только что выскочил из леса в поле, меня нагнал проливной дождь. Я скакал во весь опор и вижу – передо мной саженях в двух сухая дорога, а за мной все мокро. Я пришпорил лошадь. Думаю – опоздал все равно, но досадно мокнуть, перегоню дождь. Но не удалось. Впереди сухо, а я до костей промок. Прискакал, а там сами тучу заметили и половину сена в копны сбили. Только остановился я, дождь прошел. Мне говорит какой-то старик: „Эх, дурак, что ты в лесу не помаялся, сухим бы приехал." Действительно, налетевший дождь был не более нескольких саженей в ширину, не скакал бы так быстро, он бы меня перегнал. „Да ты что, братец, с ветром состязаться взялся?" Мы все смеялись. Я часто видел: дорога грязная, а рядом – как ножом отрезало, сухая, точно Святой Илья кран закрыл.

Июнь был для меня светло-светло-желтый и отчего-то, как месяц, казался очень коротким.

Но тут приходил июль. Красный месяц. Жаркий, безветренный месяц, с жаркими ворбьиными ночами, за Днепром зарницы всю ночь, даже читать при свете можно.

Про урожай никогда заранее сказать нельзя, всегда мог быть градом побит. А лен: если хороший год, количеством берет, да цена поменьше, плохой год – качеством, и цена подымалась.

Коровы весной отелялись, разве что одна, две осенью, чтобы побольше молока на зиму было, а большинство весенней отелки. К лету много молока на сыроварню возить можно, да и корму вдоволь. Уж летом и домой гонять скот не нужно, к деревне подгонят, тут в поле и доят. Поутру опять доят, перед тем что в поле погонят. А яловых и нетелей в лес пускали, там трава сочная, и до осени оставляли.

В июле мало на что лошади нужны были, лишь поехать куда-нибудь. А так в ночное выгоняли, только раньше опутывали.

У нас рожь первая созревала к концу июля или началу августа. Озимь почти всегда в июле. Да весенних посевов у нас по малости было, разве что овес.

В лесах повсюду земляника, иногда столько, что в одном месте можно было набрать корзинки две, а глубже в лес дикая малина, поменьше, чем садовая, но слаще. Ни черники, ни брусники, ни клюквы у нас близко не было. А морошки и совсем не видел. Но зато терн рос в лесах, горькие сливы его собирали и делали настой-

ки. В это время уже появлялись ярко-желтые „лисички", которые очень вкусны были в сметане.

В фруктовых садах поспевали яблоки, сливы, — вишни уже в июне были. Белый налив, по моему понятию, самое вкусное яблоко, — уже в середине июля висел на деревьях, светло-желтый. Посмотришь на свет, прозрачный, как будто видны семячки. Потрясешь, точно погремушка, семячки дребезжат. Были всякие яблоки. Некоторые любили „коричные", говорили, что вкус корицы имели, другие красные „бабушкины". У нас 11 десятин фруктового сада, всякие яблоки, но „корабовок" не было. Это, говорят, самое старое русское яблоко. Они были маленькие, плоские, зеленые с красными полосками и самые вкусные из всех яблок. Нам их из Глубокого присылали.

Много было ягод. Малина, ежевика, красная, черная и белая смородина, садовая земляника, клубника.

Садовник о клубнике говорил: „самый старый прирученный русский фрукт". Я помню, как мы, дети, смеялись: как будто кто-то поймал дикую клубнику и ее „приручил".

В саду была масса сирени, лиловой, темно-лиловой, белой и розовой, а еще — большие кусты жасмина и садовой калины.

А вот жатва. Почему-то крестьяне всегда жали на неделю позже нас, а может и больше. У нас жатками жали. Возили снопы или в шоху, или на хлебный двор.

С весны озера в парке оживлялись несметным количеством разных стрекоз. Желтые, красные, синие, зеленые шныряли, останавливались в воздухе, точно вертолеты, и опять кидались за добычей. Водяные жуки, караси, лягушки и чего-чего не было. К вечеру летом вылезали лягушки на листья водяных лилий и начинали свой концерт. Не знаю, отчего — во время сочетания лягушки становились лазоревыми. Было очень красиво, на темно-зеленых листьях точно бледные сапфиры. Кряквы с утенышами коричневыми и желтыми, черные чирки с утенышами малюсенькими, точно комочки черной ваты, иногда почанки с оперенными головами. Да и цапли прилетали. Тихо на окруженных парком и лесом двух озерах. Веяло оттуда осокой.

А тут и август. Все живее и живее становилось в поле и на усадьбе. Жали ячмень, начинали запашку на озимь, возили навоз, скоро и лен дергали, косили клевер, уже второй раз. А к концу молотьба. Молотилка гудела то гулко, когда снопы кидались в машину, то высоко, певуче, когда бежала пустая. Ритмически отвечал паровик и шипел паром. Ах, замечательный звук несся с хлебного двора. А копны соломы все росли и росли. Точно апогей всего земледельческого года и начало нового. Много еще нужно было делать, косить овес, сеять, но конец августа был перелом.

Погода обыкновенно стояла хорошая. Жарко было. В лесу на выборных делянках звенели топоры и визжали пилы. В лесах повсю-

ду грибы. Много их было, белые или боровики, подберезовики, подосинники, грузди, опенки.

Ночи, как и в июле, жаркие, температура иногда не падала ниже 20 градусов Реомюра. Небо казалось высоким и созвездия ярко светили почти в черноте. Но уже дни становились короче.

Леса засыпаны вереском да иван-да-марьей. В Загребене у нас, на водяной мельнице на реке Вязьме – высокий правый берег сине-лиловый от больших кустов вероники. Река обмелела и посередине длинные песчаные мели вокруг островов, заросших ивняком.

На хлебном дворе продолжает гудеть молотилка, а на риге уже складывают лен.

Но вот и сентябрь. Странный месяц. Сперва еще тепло, даже иногда жарко, и вдруг перемена. С Днепра набегают серые тучи и начинает дождить.

И вот растворяются наши дороги в глубокую грязь, разливаются реки и начинается распутица. Сентябрь для меня всегда был серый месяц. Но серый не потому, что беспрестанно идет дождь и моросит, много и хороших дней было, а Бог его знает почему, может быть, что никогда не знаешь, какая будет погода.

С первого сентября опять охота начинается. Гончие быстро находят следы русаков и лис. На жнивье спускаются стаи перелетных гусей. На болотах и озерах собираются кряквы, а по опушкам тетерева и куропатки. Бывают и солнечные дни между дождями, но дороги не высыхают.

Как и в июле и в августе, налетали грозы. Реки подымались, но не так, как весной. Течение бурлило, несло иногда бревна. В Каменском, на большаке, понтонный мост через Днепр отцепляли с того берега и были дни, что не было переправы. Мало кто в эти дни двигался, лишь, если нужно, верхом. Все ждали октября.

И вот приходил октябрь. Сперва мало разницы было, разве что ночные заморозки на утро тонкой пеленой покрывали лужи, да и грязь покрывалась коркой, но не надолго. Уже к десяти часам утра была все та же распутица.

Но к концу первой недели выходило солнце, сперва как-то нечаянно, но скоро тучи исчезали, небо лазурилось, становилось все выше и выше. Ночью морозы были сильнее. Ветерки сушили грязь, и вот был настоящий октябрь.

Для меня октябрь был ярко-коричневый. Художник назвал бы это „жженой сиеной". На небе тянулись косым углом журавли. Поздние гуси спускались на жатвы. Ласточки и стрижи, обыкновенно запоздалые, сидели не телефонной проволоке. Дороги, сперва корявые, с крепкими колеями, утрамбовывались проезжающими телегами. Солнце ярко светило, но не было тепла. Листья на березах желтели. На кленах, как будто мазнул кто-то суриком, рдели ярко-красные листья. Ох, красивый был месяц.

Тетерева разгуливали по опушкам. В паршевнике подымались,

точно трещотки, запоздалые вальдшнепы. На болотах зигзагами взвивались бекасы. Русаки лупили по межам. Весело все было в ясном, холодном воздухе.

С балкона ясно было видно белую церковь за Днепром, в 35-ти верстах, уваровского Холма-Жарковского. Летом только крест на ней мерцал в дрожащем от жары воздухе. Были дни и затишья, когда дым из избяных труб лениво взвивался прямым столбом к небесам. Озимые уже зеленели на полях. Но к концу месяца из-за Днепра подымались серые тучи. Днем набегал дождь, дороги опять растворялись в грязь. Опять появлялись колеи, которые ночью замерзали, превращая дорогу в рифленую, остроконечную, копыторежущую западню. Все ждали снега. Редко выпадал настоящий снег в октябре. Оттепель, заморозки, и опять оттепель, и опять морозило — все последние дни октября и начала ноября.

И вдруг просыпаешься утром — а все покрыто снегом! Мягкий, чистый белый снежок, дюймов в шесть глубиной. Улыбка у всех на лице. Да, наконец снег. Пришел ноябрь. Температура не ахти холодная, может три, пять градусов мороза, но снег уже лежит. А вот розвальни появляются, лошади весело бегут по снегом покрытым дорогам.

Ноябрь непостоянный месяц. Погода — неизвестно, какая будет. Помню ноябри, когда в начале еще зеленые листья вперемежку с желтыми были. На реках и озерах лед еще не крепкий. Осторожно нужно переезжать. Но морозы и днем и ночью утолщают лед. Скоро на лыжах можно ходить. В ноябре иногда озера и реки замерзают после выпадки снега. Тогда лед стоит синий. Мальчишки бросали плоские камешки по льду, они прыгали, как по воде, и замерзали на поверхности. А там уже на коньках кто-то решился попробовать. Да, держит, кряхтит, но держит.

Повсюду заячьи следы, глубокие еще в мягком снегу. И вот вьюга, мятель, обыкновенно к ночи засыпает лед на озерах, но на открытых местах ветер сносит снег к берегам. Легко смести, и катанье продолжается. Уже на горках санки, ребятишки катаются.

Но странный месяц ноябрь. По каким-то старым преданьям, к 14 ноября оттепель. Может начаться и в ночь с 13-го на 14-е. Продолжается, говорят, три дня, и опять мороз. Насколько помню, это так и было. Отчего это случалось, Бог его ведает. Но уже после 16-го — вихри, мятели, вьюги. К концу ноября настоящая зима.

Я родился в Хмелите 24-го ноября (старого стиля), в мятель. Была такая мятель, что доктор Валенков, который должен был приехать из Высокого, 17 верст от Хмелиты, заблудился, и меня принял мой отец, по книжке. Да, мятелей многие боялись, но жившие в деревне, если нужно, все же ездили и пробивались, поздно, может быть, но доезжали. По сторонам дороги ставили вехи, еловые ветви, редко они заметались.

Я родился под знаком „Стрельца" и отчего-то думал, что

поэтому я буду хороший охотник, но стрелять из дробовика никогда не научился, зато хорошо стрелял из винтовки. Охотиться я страшно любил, хотя обыкновенно возвращался с пустой ташкой. Это меня мало беспокоило. Как только выпадал снег, я часто ходил на лыжах к нашему леснику Зейме, на Ломовской хутор, через лес. От него я многому научился. Он все знал о зверях, птицах, деревьях. Часто с ним на лыжах натыкались на волчьи следы и он меня учил разбирать, сколько прошло волков и какие. Легко это было на мягком снегу. В полях воронки мышиных норок, в паршевнике – точно кружевной узор, следы беляков. Посвистывали рябчики на березах. Небо светло-лазурное высоко, и по нему, точно барашки, белые облачка. На еловых ветвях тяжелые насыпи снега. Да, хороший месяц.

Но вот заморозки становились сильнее. Выходило солнце, снег таял на поверхности и ночные морозы превращали его в наст, подходил декабрь.

Декабрь обыкновенно был солнечный, холодный, редко, но сильные мятели. Обыкновенно к ночи. Дороги еще были хорошие. Часто безветренные дни, и мороз сильно потрескивал в лесу.

Теперь поездки все сокращались на треть. Начинался перевоз льна в Вязьму, бревен из лесу на лесопилку. Куда ни поедешь – встречаешь или возы или пустые сани. Все как будто оживало. Еще хорошо было ездить тройкой. Было много работы на риге. Жужжали веялки. Кто чесал лен. Да и сбрую чинить нужно.

А тут и Рождество. Говорили, что прежде ряженые по деревням ходили, но в мое время этого уже не было. Крестьяне мало справляли Рождество, не то что Пасху. Меня это в юности не удивляло, конец года, да и все. Да и дни рождения часто не сбывали, зато именины – это другое дело. Праздновали святого, в честь которого ребенок назван.

Среди помещиков праздновали Рождество, украшали елки в домах, но это был иностранный обычай. Он пошел из Германии, да и не так давно. Да и ряженые, думаю, пошли из Украйны, может быть, от католиков. У католиков на Рождество в церквах ясли с куколками Христа, Иосифа и Богородицы, да целый зверинец коров, ослов, овец. У нас я никогда ничего такого не видел.

У нас в Хмелите 26-го всегда был бал. Приезжали все, и соседи и дальние, кто на ночь, а кто поближе – уезжали домой. Катались с гор, веселились, 28-го бал в Григорьевском у Лыкошиных, 29-го еще где-нибудь, а 31-го опять у нас. Не было никаких специальных блюд на Рождество, не то что блины на масляницу и пасхи, куличи, бабы и крашеные яйца на Пасху. Часто в Рождественскую неделю бывали мятели, но короткие. Заносило дороги, стояли сильные морозы. Но молодежь везде веселилась. В деревнях девки с парнями катались на розвальнях.

К Новому Году веселье кончалось.

СНОВА ПЕТЕРБУРГ

В 1913 году моя мать опять повезла меня в Петербург на экзамены. Остановились мы, как всегда, у графини Паниной. Моя мать носилась по Петербургу к своим друзьям и оставляла меня дома. Володя Фредерикс меня подбирал и возил показывать Петербург.

Помню, я сидел в гостиной, его ожидая. Софья Панина, ее секретарша г-жа Петрункевич, которую я страшно боялся, и какая-то другая дама пили чай. Я сидел в стороне с чашкой чаю и пряником. Я слушал их разговор, но мало понимал. Они говорили о каком-то спектакле.

Госпожу Петрункевич, женщину лет сорока, с остриженными в скобку серыми волосами, в пенсне, одетую в костюм, который мне казался более мужским, я боялся потому, что она на меня прикрикивала и говорила со мной, точно я был какая-то собачка. Да она и со всеми так говорила.

Вдруг отворилась дверь, появился камердинер и громко сказал: „Его высочество Великий Князь Николай Михайлович." Мне сразу же пришло в голову, что войдет человек в мантии, с лентой через плечо, со звездами на груди и т.д. Вместо этого вошел высокий, довольно крупный человек в кителе без погон и в темно-зеленых штанах. Я отчего-то думал, что все вскочат и начнут делать реверансы. Во всяком случае я вскочил, но никто не двинулся.

„Ах, Софья, я как всегда попадаю к тебе к чаю." – „Вы это нарочно делаете", – довольно сердито сказала Петрункевич. Он усмехнулся, поцеловал руку графине и другой даме и взял руку г-жи Петрункевич, но она ее оттянула. „Что вы (забыл, как ее звали) на меня всегда огрызаетесь? Что я вам сделал?" – „Да вы опять наверно забыли, что обещали." – „А вот не забыл, а вы уже на меня кричите." Он вдруг заметил меня: „А это кто молодой?" – „Это Николай Волков", – сказала Петрункевич. – „Что, Володин сын?" – „Да, Варя в городе", – сказала графиня. – „А! вот как раз!" – и схватил мою руку колоссальной своей рукой. – Где твоя мать?" – „Я не знаю", – сказал я, испугавшись. – „Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, потерял свою мать!" Но он отвернулся, сел на стул: „Неужели вы мне чашку чаю не дадите? Я вам Качалова достал."

Я до тех пор ничего о Народных Домах не знал. Мне потом Володя сказал, что Народный Дом был построен Софьей Паниной для рабочих Охты и другой строился ею в Москве. Там было 2 театра, концертная зала, библиотека, кинематограф, спортивные устройства и т.д. Вход стоил несколько копеек и там давались пьесы и концерты с лучшими актерами и музыкантами. Оказалось, что

Софья Панина устраивала сезон комедий Островского и ей нужен был Качалов. Николай Михайлович во всем этом играл большую роль. Он был историк и коллекционер русских портретов. Я сидел, как мышь, и надеялся, что про меня забыли, но вдруг Николай Михайлович повернулся ко мне: „Скажи твоей матери, что я не забыл миниатюру Милорадовича. Если она мне ее не продаст, я к вам в Хмелиту за ней приеду, ты ей погрози!" – И прибавил графине: „Варя такая упрямая, я ей 6.000 за нее предложил, а она говорит – предков не продаю, а у меня Милорадовича нет", – и засмеялся.

У меня было какое-то сказочное представление о членах Императорской фамилии и меня потрясло не только то, что он не был в мантии, но что с ним обращались как с обыкновенным человеком.

Миниатюра Милорадовича и до сих пор висит у меня в гостиной, она теперь никому не интересна, кроме меня.

Моя мать взяла меня с собой делать какие-то покупки. Мы шли по Невскому и я вдруг увидел в окне пирамиду очень больших желтых с румянцем плоских яблок. Под ними было на белом картоне напечатано: „Ново-привезенные знаменитые упоройские яблоки". Я остановился в недоумении. „Мама, смотри, упоройские яблоки!" Упорой было наше имение в Орловской губернии. Я никогда не слыхал об упоройских яблоках. „Ах, да, в Упорое очень хороший яблочный сад." – „Отчего мы их никогда не видим?" – „Я не знаю, как видно, нам их не присылают." – „Отчего не присылают и отчего они знамениты?" – „Ах, я не знаю, у нас самих хорошие яблоки."

Мы пошли дальше. Вдруг я заметил, что на широких тротуарах, где разгуливало много народа, у многих собачки на привязях, стало какое-то смятение, особенно среди собак. Вдруг впереди нас появился высокий офицер в кавалергардском мундире с двумя, мне сперва показалось, немецкими овчарками на своре. Увидев мою мать, он подошел к нам. К моему удивлению, собаки оказались парой волков. Они спокойно стояли, разглядывая желтоватыми глазами собачек, которые, поджав хвосты, прятались за своими хозяевами. Офицер поцеловал моей матери руку и стал с ней разговаривать. Все мое внимание было обращено на волков. Офицер заметил это и сказал: „Они совершенно ручные, хотите их погладить?" Я был поражен этим элегантным офицером с моноклем и двумя волками. „Кто это?" – спросил я мать, когда мы пошли дальше. „Это граф Менгден, кавалергард."

Мы проходили мимо магазина „Уральских камней", и я настоял в него зайти. Я с детства собирал камни, у меня была довольно большая коллекция. Отец мне подарил большой плоский ящик, разделенный на маленькие квадратики, в которых на вате лежали кусочки всех сибирский камней, их было, кажется, 48. На них были приклеены номера, а на крышке была бумага с названиями по-русски и по-латински всех камней. Помню, что первый номер был бе-

лый кварц с кусочком золота. Были всякие яшмы, малахиты, турмалины.

Мы вошли, и я просто ахнул от невероятного количества и красоты камней. Это была какая-то Алладинская пещера. В витринах на первом этаже были ценные камни, сапфиры, изумруды, бриллианты... Они меня мало интересовали, я даже отчего-то не любил бриллианты и до сих пор не люблю. А полуценные камни я обожал. Мы пошли по широкой мраморной лестнице, где около первой ступеньки на тумбе стояла большая плоская ваза из яшмы, полная полуобработанных полуценных камней. Топазы, аквамарины, гранаты, аметисты, турмалины – все смешаны вместе. Помню, как я опустил в них руку и они пробегали между моими пальцами. Ничего подобного я никогда не видел.

На втором этаже были большие чашки, полные полуценными камнями, но тут они были разделены: чашка топазов, чашка бирюзы и т.д. Помню, как я робко спросил молодого человека за прилавком, сколько они стоят. „Да это зависит от качества, вот эти аметисты, например, стоят от 5 копеек до 20-ти." Мне перед отъездом в Петербург мать дала 5 рублей. Я ахнул – я мог купить для моей коллекции целое множество камней. Я выбрал из каждой чашки по одному, молодой человек положил их на белую бумагу.

За три рубля семьдесят пять копеек у меня была коллекция более 30 разных камней, которые он положил в замшевый мешочек. Кажется, никогда в жизни я не был так доволен покупкой, как в тот день.

В этот год Володя свез меня на Петербургский ипподром. Там была выставка аэропланов. Мы приехали. Над нами летали два аэроплана, один из которых поднимался очень круто, переворачивался на спину и затем нырял. На ипподроме стояло штук сорок аэропланов, перед которыми на досках были написаны их марки. Самый большой, с двумя моторами, назывался „Илья Муромец", постройки Русско-Балтийского завода по планам Сикорского. Внизу было написано: „Пассажирский аэроплан на 22 пассажира".

К моему удовольствию, среди многих людей, его окружавших, был полковник Свечин, брат тети Веры Волковой, жены дяди Жени. Володя сразу же его попросил показать мне внутренность аэроплана. Мы полезли по лестнице. Места в нем было довольно много, с каждой стороны коридора было одиннадцать очень легких плетеных стульев, привинченных к полу. В конце коридора выходили на открытый балкон, на котором было два стула для пилотов и всякие инструменты. В фюзеляже были окна. Это был большой биплан, который, как Свечин сказал, предназначался для пассажирского сообщения с Москвой, а потом с Киевом.

Мы пошли смотреть спустившийся аэроплан, который только что делал мертвую петлю. Там мы встретили Павла Родзянко и его сына Павлика, который был на два года моложе меня. Он собирал-

ся лететь с французом Пегу и делать мертвую петлю. Я тоже хотел попробовать, но Володя наотрез отказался меня пустить. Павлик был страшно горд, а я – очень рассержен, что мне не удалось.

Кажется, первый полет с пассажирами „Ильи Муромца" в Москву и обратно и был в 1913 году. В следующем году было уже два „Ильи Муромца", и они летали не только в Москву, но и в Киев. Насколько я знаю, они останавливались несколько раз по дороге, чтобы набирать бензин.

Весной 1914 года мы ехали в автомобиле с нашим шофером Яковом, и, подъезжая к Вязьме, увидели в поле „Илью Муромца". Мы остановились и пошли к большой толпе, которая собралась вокруг аэроплана. Стояли часовые, чтобы не подпускать слишком близко. Оказалось, что-то случилось с одним мотором. Они летели в Брянск и Киев. Пассажиры все были высажены и помещены в гостинице Немирова, а инженер работал на лесах. На следующее утро пассажиры вернулись и аэроплан улетел.

Свечин, который был президентом и Российского Автомобильного клуба и Российского Аэропланного клуба, был человек невероятной энергии. После Японской войны и революции 1905 года правительство, сперва Витте, а потом Столыпина, экономило на всем, за исключением индустриализации и земледельческих дел, то есть реформ Столыпина. Но богатство России росло с такой ошеломляющей быстротой с 1906 года, что частные состояния промышленников, купцов и банкиров росли по дням. Даже и помещики (очень немногие) и крестьяне воспользовались этим процветанием. Но правительство еще было в долгу.

Очень непопулярные реформы Ванновского (военного министра) и Авелана (морского министра) по перевооружению Армии и Флота были после 1905 года прекращены. Оружейные заводы еще производили новые трехдюймовки и шестидюймовые гаубицы, но остальные расходы на армию были совсем недостаточные. Флот, который почти что не существовал после Порт-Артура и Цусимы, был заброшен.

Корабли, строящиеся на верфях, были задержаны. Два броненосца „Андрей Первозванный" и „Павел I" были перепланированы и работа на них остановлена, чтобы включить все уроки Японской войны. Три броненосных крейсера „Баян" (новый), „Паллада" и „Адм. Макаров", решили закончить по старому проекту. Они, во всяком случае, были почти готовы. Строительство двух легких крейсеров типа „Новик", а также 12 миноносцев, строящихся на частных верфях, были прекращены.

Верфи закончили миноносцы, но правительство отказалось их купить. Тут вступил Свечин. Он знал, что частных денег было много, но патриотизм после войны пал. Во флот никто не верил.

Хотя он был преображенцем, а может быть именно поэтому, помня заветы Петра Великого, – он верил в сильный флот. Он

основал в 1908 году „Всероссийское общество флота" и в 1911 году прибавил к нему „и авиации". Он нашел много энтузиастов, в особенности капитана 2-го ранга Миклуху-Маклая.

Общество было организовано, чтобы собрать частные деньги на постройку нового флота. Деньги быстро стали приходить от имущих. Но Свечин хотел втянуть не только почетную публику, но в особенности молодежь. Всякий мог стать членом общества с подпиской в один рубль в год. Он убедил Суворина („Новое Время"), издателя Сытина и сильного журналиста Немировича-Данченко примкнуть к организации.

Первые миллионы, которые влились в общество, были сейчас же истрачены на покупку 12 миноносцев. Адмиралтейство не особенно долюбливало общество, но ничего не могло сделать. Свечин убедил генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича его поддержать. Сейчас же после этого накопились деньги купить 8 миноносцев в Германии и с финляндских верфей. Адмиралтейство думало, что он с ума сошел, в особенности, когда он вдруг заказал в Германии супер-миноносец в 1250 тонн по проекту молодых морских инженеров, которых он собрал в обществе. Это был новый „Новик" со скоростью в 36 узлов.

Но Свечин на этом не остановился, он заказал 12 подводных лодок, а в 1912 году открыл экспериментальную школу морской авиации в Сестрорецке, во главе которой стал Миклуха-Маклай.

Члены общества получали жетон, чтоб носить в петлице: Андреевский флаг, окруженный эмалевой лентой, на котором было написано „Член Всероссийского общества флота". Все члены были равноправны, подписывали ли они рубль или, как инженер Перцов (он купил целый миноносец), 450.000 рублей. Городам было предложено, если они подписывались на целое судно, выбирать имя.

Популярность общества была колоссальная. Помню, в Хмелите видел много мальчиков с жетонами. Когда я был в гимназии, то из 29 в моем классе 14 были членами. Если подписывали три рубля или больше, члены получали иллюстрированную книгу со всеми судами и аэропланами и счета прихода и расхода.

В 1913 году Миклуха-Маклай полетел из Сестрорецка через Россию на гидро-аэроплане в Севастополь, спускаясь на реках и озерах по дороге. Энтузиазм морских офицеров в Севастополе был таков, что Миклуха организовал гидро-аэропланную школу.

К 1909 году правительство проснулось и заказало 7 броненосцев, 4 в Балтийском море и 3 в Черном, и 9 крейсеров. Один из них, „Рюрик", был заказан и построен еще раньше, в Англии.

Когда в 1914 мы снова приехали в Петербург, на Неве лежали, к моему невероятному удовольствию, новый броненосец „Гангут" и два истребителя „Гайдамак" и „Амурец". Я попросил моего дядю адмирала Александра Гейдена, который был тогда начальником мор-

ского штаба, свезти меня на „Гангут". Он сказал, что занят, но если я хочу, то могу поехать с ним на верфи. Мы поехали, и я был в восторге. Там заканчивались три броненосца, „Петропавловск", „Полтава" и „Севастополь", заложены были четыре громадных броненосца – „Кинбурн", „Наварин", „Измаил" и „Бородино", четыре крейсера и большое число истребителей и подводных лодок.

Дядя Саша был очень милый человек. Хотя мне тогда было только 11 лет, он говорил со мной, как со взрослым. Флот наш возобновлялся, но дядю беспокоило Адмиралтейство, все менявшее планы построек, чем задерживало окончание судов. Помню, как он мне сказал: „Все адмиралтейства одинаковы, сидят в них пешие адмиралы, которые забыли, что суда плавают не на бумаге, а на море." Я тогда уже был членом Общества Русского Флота. Мой отец был большой энтузиаст общества и тоже жалел, что в Адмиралтействе сидели, как он их называл, „суконные болваны". Он огорчался, что наш Государь – „пацифист" и „идеалист", верит в основанный им Гаагский Международный суд, который, мой отец настаивал, никакой войны остановить не может. „Никакой судья человеческой натуры не переменит, и теперь существуют такие же Каины и Авели."

ОБИТАТЕЛИ И ГОСТИ ГЛУБОКОГО

По возвращении из Петербурга в мае 1913 мы опять поехали в Глубокое. Опять Викентий с женой и детьми приехал туда на лето. Было много и других гостей, между прочими Мария Алексеевна Конокотина, директриса 2-й женской гимназии в Вязьме. Она была замечательный человек. Ее энтузиазму во всем не было границ. Она знала названия всех диких цветов, бабочек, жуков, птиц. В Глубоком от ледникового периода были колоссальные глыбы гранита, гнейса, порфира, раскиданные по полям и лесам. Они были всех цветов – серо-черные, белые с розовыми венами, темно-зеленые с черными кристаллами. Я давно на них смотрел с интересом, но они были такие колоссальные и крепкие, что я никак не мог прибавить их к своей коллекции. Мария Алексеевна попросила кузнеца сделать ей специальный молоток и долото. С ними мы ходили по полям, ища эти глыбы, и откалывали куски камней. Коллекция моя увеличилась на сорок с лишним экземпляров. Но ее интересовало все, и мы, дети, заразились ее энтузиазмом. Она увлекалась историей, археологией, литературой.

В Глубокое каждый год приходил старый слепой Баян. Его вел маленький мальчик. Он садился на крыльцо, играл на гуслях и пел былины. Мария Алексеевна их записала. Многие были известные, как былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, но другие – об Иване Грозном, где Иван Грозный всегда был героем и за-

щитником народа. Одна, помню, была о Петре Великом и рыболове. Мария Алексеевна говорила, что на Севере было еще довольно много баянов.

У бабушки был друг, крестьянин Прокофий из какой-то дальней деревни. Когда еще дедушка был жив, Прокофий пришел к нему с каким-то прошением, но дедушки не было дома и приняла его бабушка. С тех пор они подружились. По смерти дедушки он приходил в Глубокое четыре-пять раз в лето. Помню их сидящих вдвоем на ступеньках старого дома, а после того как он сгорел — в креслах на веранде каменного дома. Бабушка говорила, что он был замечательный философ. Он был маститый старик лет семидесяти, а может и больше, с белой бородой, в поддевке и темно-коричневой шляпе, наподобие низкого цилиндра. Материал был вроде того, из которого катали валенки. На ногах у него были портянки до колен, перепоясанные веревочками, и лапти. Шаровары были синего сукна. У него был замечательно красивый холстяной пояс в полтора дюйма шириной, вышитый его невесткой красным и синим шелком, он им очень гордился.

Бабушка говорила, что он все четыре Евангелия знал наизусть, был очень умен, и у него была масса оригинальных идей.

Я очень дружил с управляющим Глубокого, а потом и Хмелиты, Николаем Ермолаевичем Ямщиковым. Впервые он появился в Глубоком в 1909 году как студент-землемер. Он мне потом рассказывал и смеялся, что приехал, будучи левым эсером и с предубеждением, что работать у „графини" было предательством его революционных идей. Он почему-то думал, что „графиня" с ним не будет разговаривать. Когда он приехал и бабушка тотчас пригласила его обедать, он был поражен, подумал, что это какая-то шутка. Во время обеда бабушка расспрашивала о его семье. Николай Ермолаевич потом смеялся, что он довольно резко объявил, что его отец — крестьянин-дровосек. Бабушка, оказывается, сейчас же сказала: „Отчего вы не пригласите ваших родителей на несколько недель в Глубокое, места в Николаевском доме масса, я бы их очень хотела видеть."

Николай Ермолаевич был удивлен. Бабушка постоянно приглашала его пить чай или обедать и много разговаривала с ним о его детстве и будущей карьере. В течение нескольких месяцев он совершенно переменил свои мнения и бабушку очень полюбил. В конце первого года занятий хозяйством он вдруг понял, что интересы помещиков и крестьян были совершенно те же. Что без имений положение крестьян было бы гораздо хуже и что имения подымали быт крестьян из года в год. Крестьяне это знали.

Дома, в Вятской губернии, где он жил до Технологического Института, имений не было, были только лесопромышленники-спекулянты, многие из них даже не были местные. Тут, в Глубоком, и потом в Хмелите порядок был совершенно другой. Интересы

крестьян с имением не сталкивались, а и те и другие полагались друг на друга. Политики в этом никакой не было, это было просто сожитие.

Было ли так повсюду, я конечно не знаю. Мой отец всегда злился, когда помещики не жили в своих имениях, а назначали управляющих без всякого надзора. Появление Опекунского Совета намного исправило положение. В таких имениях управляющие попадали под надзор Предводителя дворянства. Все жалобы крестьян разбирались и всякое плохое управление каралось очень строго. Я даже знал случай, когда Опекунский Совет разжаловал управляющего, назначил своего и оштрафовал помещика, так что он за два года не получил никакого дохода.

Наверное, бывали несправедливости даже под этим надзором. Как Николай Алексеевич Хомяков говорил: „Лучшей реформой было бы уничтожить всех негодяев, но это только Господь Бог мог бы провести."

В Глубоком была очень важная семья, три сестры. Старшая была Ольга Семеновна, экономка. Она царствовала в доме, без ее разрешения ничего в доме делать нельзя было. Вторая сестра — Фекла Семеновна, повариха. Третья — Мария Семеновна, главная прачка. Они были дети кучера князя Михаила Александровича Дондукова, моего прадеда. Все три сестры родились крепостными. Фекла и Мария были замужем, у первой было 9 детей, у второй 8. Старший сын Феклы Володя был главным бухгалтером Глубокого, второй сын, Петя, был лесником, Катя была нашей подняней, Дуня и Лена были горничными в Глубоком, из младших сын и дочь были в гимназии в Острове, а маленькие были дома. У Марии Семеновны старший сын был студентом в Петербурге, Зина и Клавдия были горничными в Хмелите, остальных я не помню.

Ольга Семеновна была очень красивая и очень образованная. Когда она была моложе, она сперва была личной горничной тети Ольги, одной из старших сестер бабушки, а потом бабушки.

С дедушкой и бабушкой она ездила по Европе и была в 1868 году в Париже. Там с ней произошел случай, который она вспоминала с возмущением, а бабушка очень смеялась. Каким-то образом ее увидел Наполеон III и сделал ей „неприличное предложение". Она сейчас же пожаловалась дедушке. „Я графу сказала: как смеет французский узурпатор приличной русской девушке делать такие предложения, вы ему скажите, граф..." Дедушка ее успокаивал и говорил, что она должна быть очень польщена, что Император, хотя и узурпатор, в нее влюбился, но она не успокаивалась.

Она знала замечательные сказки и песни, которые Мария Алексеевна записала. Ее рассказы о Глубоком в прежние времена были очень интересны. Но главный интерес мой в Ольге Семеновне был — ее рассказы о крепостном праве. Она была очень против его отмены, говорила: „В те времена мы все были одной большой семьей.

Крестьяне знали: если что случалось – плохой урожай, дырявая крыша, корова сдохла или что, всякий мог придти в контору, князь всегда поможет. Знали, что князь всегда за ними постоит и никогда своих не выдаст."

Я был воспитан считать крепостное право пятном позора на щите русского правительства. А тут вдруг бывшая крепостная мне говорила: „Вдруг всех выкинули на свои собственные средства. Это хорошо, графиня всем помогает, но многие этого не делают, только рады были от ответственности избавиться. Да графиня помогает и тем, которым не нужно, часто говорю ей: „Надувает вас Ерем", граф всегда разбирал, нужно или не нужно."

Стал думать. Крепостное право, ясно, было плохо. Не всякий помещик смотрел за своими крестьянами. Стал спорить. Но Ольга Семеновна разрушала мои возражения. Она соглашалась, что крепостное право было далеко от идеальной системы. Соглашалась, что не все помещики были „как ее князь". Но отвечала: „Не выкидывают целую корзинку грибов, оттого что в ней два-три гриба с червяками."

Читая позже историю того времени, я не раз вспоминал ее: для многих, как Лорис-Меликов, великий князь Константин Николаевич, Милютин, это все была теория, они не думали о благосостоянии крестьян, лишь хотели показать себя либералами. Для большинства помещиков это было спасение. Времена переменились, ответственность помещиков за благосостояние крестьян по Павловским законам их разоряла, а тут вдруг само правительство пришло на помощь.

Ольга Семеновна, которая боготворила дедушку, считала, что он „зря с этими самодурами кшается. Они все горожане, ничего о мужиках не понимают. Да и батюшка Государь теперь никакой силы не имеет, все теперь за него челядь какая-то решает".

В Глубокое раз в год летом приходил человек лет 60-ти с мальчиком. Он нес на спине большой квадрат. Этот квадрат разворачивался в красивый кукольный театр. Он стоял на ножках, покрытых спереди занавеской. Насколько я помню, было только две кулисные сцены. Одна была внутренностью дворца, в центре на возвышенности стоял золотой трон. Слева и справа были золоченые коринфские колонны, и все стены расписаны очень красиво, с бесконечном количеством золотых украшений. Вторая сцена была снаружи: слева золотые колонны какого-то дворца или храма, а на заднике пейзаж – горы, кипарисы и вдали белые здания с плоскими крышами. Нам, детям, эти кулисы казались замечательно красивыми. Пьес было только две и обе из Старого Завета и Евангелия, но истории были какой-то невероятной смесью.

Куколки были сделаны великолепно, из чего, не знаю, но думаю, что из воска, а может быть из фарфора. Они были не более 5 дюймов высотой, одежда их была очень правильная и красивая. Двигались эти фигурки снизу, вероятно, на проволоке. Помню, что бы-

ло в полу много скважин и фигуры двигались по этим скважинам. Разговор между актерами был иногда очень смешной. Старик говорил многими голосами.

В первой пьесе на троне сидел Понтий Пилат и кругом стояли римляне и римские солдаты, на переднем плане стояла группа фарисеев. Справа появлялся святой Петр. Он спорил с Пилатом и с фарисеями. Пилат ему грозил и приказывал солдату его выгнать. Солдат пикой тыкал св. Петра. В это время слева появлялся козел с золотыми рогами, бодал солдата сзади и солдат падал. Появлялись другие солдаты и козел их сшибал, фарисеи тогда в панике убегали. Появлялся вдруг Моисей, который грозил Пилату жезлом. Моисей был с длинной белой бородой, одет в белую рясу, держал в одной руке дощечки, в другой жезл. Он спорил с Пилатом, говорил, что Бог его накажет, ударял жезлом – и Пилат падал с трона. Мы все очень смеялись. Во второй пьесе было еще больше смешения.

На сцене появлялся Ирод, Саломея, которая танцевала, входил на сцену солдат с блюдом, на котором была голова Иоанна Крестителя. Появлялась откуда-то египетская колесница с фараоном. Опять появлялся Моисей, римские солдаты. Все друг с другом спорили и кончалось появлением козла, который всех бодал и сбивал с ног, за исключением Моисея.

Пьесы обыкновенно занимали полчаса. Мы были всегда в восхищении, и когда мы аплодировали, козел повторял свое бодание. Я никогда нигде такого театра, кроме Глубокого, не видал и даже не слышал о таком. Мария Алексеевна, которая была в экстазе от этого представления, говорила, что это был вероятно последний такой театр, но что они были очень популярны в 17-м и 18-м веке.

* * *

Тетя Мери Дондукова-Корсакова жила в Глубоком у своей сестры, моей бабушки. Она жила там каждое лето, а после смерти моего деда, кажется, постоянно. Умерла она в 1911 году.

Мой дед, который очень любил тетю Мери, ее постоянно дразнил. Она отмахивалась и говорила: „ты все преувеличиваешь", краснела немножко, улыбалась и прибавляла: „совсем я не такая".

Тетя Мери была маленького роста, худая, и должно быть в молодости красивая. Она родилась в 1831 году, так что, когда я ее помню, ей было более 70-ти лет. Она была седьмым ребенком моего прадеда и прабабушки, князя Михаила Александровича и княгини Марии Никитишны Дондуковых-Корсаковых.

Пять сыновей и пять дочерей были на вид все разные. Я изо всех десяти знал только трех: тетю Мери, тетю Надю Янович и бабушку. Так что я сужу остальных по портретам, фотографиям и рассказам. Сыновья были все красивые, но некоторые маленькие, а другие высокие. Дочери, за исключением тети Мери, были тоже вы-

сокие, но некрасивые, хотя говорили, что все были очень привлекательные. Девять из них были женаты и замужем, и опять исключением была тетя Мери.

Тетя Мери в Глубоком много гуляла, ходила далеко в деревни Паново и Нечистое, и после этих прогулок дразнил ее дедушка: „Мери, ты когда-нибудь голая вернешься, сколько ты сегодня раздала с себя юбок и кофт?” Был такой случай в Петербурге зимой, когда она вернулась с прогулки, кажется на Охту, без нижней юбки и шубы. Оказалось, что она отдала их какой-то старухе, „потому что она мерзла”. Она сама вернулась замерзшая и в оправдание сказала: „Да я на двадцать лет ее моложе.”

Помню тоже, как мой дед ей говорил: „Мери, ты кого сегодня напугала?” – „Не говори глупостей, я никого не пугаю.” Но в жизни своей она действительно людей пугала.

В юности, когда ей было 16 или 17 лет, она поступила в Общину Императрицы Марии Феодоровны учиться быть сестрой милосердия.

Это и тогда было очень модно: молодым девушкам из общества иметь какую-нибудь профессию. Ольга Семеновна говорила с гордостью, что „наши барышни все были служилые, все чему-нибудь учились. Кто историю или философию учил и детей наших образовывал, или, как Мария Михайловна, сестрами милосердия были. Все работали на славу отечества.”

Она была права. Еще при Екатерине Великой, по ее наущению, девицы, которые кончали институты, продолжали свое образование. Мария Феодоровна поощряла девиц становиться сестрами и даже докторами. Образование в женских школах было очень высокое, и многие из девиц, которые не выходили замуж, имели профессии.

Во всяком случае, тетя Мери, поступив в Общину, загорелась таким энтузиазмом, что это осталось ее целью на всю жизнь. Она посвятила себя работе для других.

Тут можно сказать, что она была любимая сестра своего старшего брата, князя Александра Михайловича. Александр Михайлович после Пажеского корпуса был три года в Петербургском университете на юридическом факультете, а затем поступил офицером в Гатчинский синий Кирасирский полк. В это время начались стычки с персюками и с племенами на Кавказе. Ему скоро наскучило служить в Гвардейском полку в столице и он перевелся в Нижегородский Драгунский полк на Кавказе. Полк действовал в Кубанской и Терекской областях против кабардинцев и карачаевцев. Как видно, он там отличился. Он получил Георгия 4-й степени и золотое оружие и скоро командовал эскадроном.

Он родился в 1820 году, но уже в 1848 году стал полковником и принял командование полком. По-видимому, когда он возвращался в отпуск, в Полоное, он рассказывал маленькой Мери о действиях своего полка и о том, что потери в нем были большие от отсут-

ствия госпиталей, которые были далеко за фронтом. Тяжелораненых должны были везти в Ростов-на-Дону, за 300-400 верст. Многие умирали в пути.

Трудно сказать, чья это была мысль, его или сестры, во всяком случае, у тети Мери появилась идея, что нужно организовать „полевой госпиталь", который был бы прикомандирован к полку или дивизии. Из писем тети Мери ясно, что идея эта была у нее в голове уже в 1849 году. Переписка тети Мери хранилась в фамильном архиве в Хмелите. Я ее читал во время Первой войны с большим азартом, потому что меня интересовала история Дондуковых. Тетя Мери писала своему брату Александру и многим другим. К каждому полученному письму она прикалывала копию своего ответа.

Дондуковы дружили с Воронцовыми. Воронцов был русским послом в Лондоне, и одна из его дочерей вышла замуж за графа Пемброк. Как было видно из переписки разных членов дондуковской семьи, дети Воронцовых были их друзья и в следующем поколении. В Хмелите была переписка тети Мери с сыном графини Пемброк, Сиднеем Гербертом.

В этой последней переписке, начиная с 1849 года, тетя Мери часто упоминает о своей идее „полевых госпиталей". Она писала ему, что и Англия, и Россия в постоянных войнах с кем-нибудь, и поэтому необходимо, чтобы были передвижные госпитали, которые бы следовали за армией. Женщины могли бы быть научены их обслуживать. Она ему описывала полевой госпиталь, который намеревалась устроить. Сидней Герберт в ответ писал, что это сделать невозможно, потому что нужны подходящие самоотверженные женщины, которые физически могли бы перснести такую опасную и трудную работу. Таких женщин в Англии нет. Тетя Мери уверяла его, что это неправда, что во всех странах есть такие женщины. Конечно, в России уже два поколения были сестры милосердия, большей частью из общества. В Англии этого еще не было.

В 1851 году она пишет Герберту, что полевой госпиталь уже устроен ею и что он размещается в палатках с докторами, сестрами милосердия, своим собственным транспортом и медицинскими припасами. Был ли он тогда уже обмундирован или еще нет, из писем трудно было понять.

Но в письмах своему брату Александру она пишет, что все зависит от разрешения министра двинуть ее госпиталь на Кавказ. Александр отвечает, что он писал Воронцову и Ермолову, но что ответов еще не получил.

В конце 1851 года тетя Мери пишет, что она в отчаянии. „Министры" (я думаю, что она имела в виду Киселева и Канкрина) очень любезны и милы, но они над ней посмеиваются, говорят, что „непристойно барышням ехать на Кавказ, где фронта нет, части двигаются в дикой местности..." и т.д. Что предложили ей отвести свой госпиталь в Ростов. Она пишет: „Они совсем не понимают цели мо-

его полевого госпиталя. Он уже готов в Рощинском парке: палатки, доктора, сестры и все нужное."

Читая эти письма, я поражался независимости тети Мери. Ей тогда было всего 20 лет. Мне всегда говорили, что ее отец князь Михаил Александрович был невероятным тираном, что все дети его боялись. Она о нем в письмах брату никогда не упоминает, как будто он и не существует. Рощинское около Ораниенбаума принадлежало ее деду князю Никите Ивановичу Дондукову-Корсакову. Может быть, он ее поддерживал. Кто-то, как видно, снабжал ее деньгами, и если это был не ее отец, то вероятно дед. Но переговоры с министром она вела сама.

Отчего-то ее переписка с Сиднеем Гербертом в 1852 году прерывается. Последнее письмо от него было в июне этого года. Он писал, что идеи ее о госпитале очень интересны, но что он не видит, как они могут быть приведены в исполнение.

Между прочим, в этих письмах Герберта кажется дважды упомянуто о Florence Nightingale, но не в связи с госпиталем, а как о друге.

В 1853 году тетя Мери писала брату, что возможность войны с Турцией заставила ее нажать на министров. „Если будет война, никто не сможет сказать, что нет фронта." Но, как видно, ее усилия ни к чему не привели.

Война началась, и армия наша двинулась к Дунаю. Тетя Мери пишет своему брату, который теперь уже произведен в генерал-майоры и командует бригадой: „Ты меня погладишь по голове. Я получила аудиенцию с Государем и попросила его лично заступиться за меня перед министрами." Император Николай I был с ней очень любезен и сказал, что „попробует убедить Киселева, но он упрямый". Она пишет, что Государь сдержал свое обещание и что ей разрешили перевести свой госпиталь в Кишинев, но не на фронт. „Я согласилась, это по крайней мере ближе."

К сожалению, она не упоминает, как она перевела свой госпиталь в Кишинев из Петербурга. Во всяком случае, путешествие должно было быть нелегким.

Следующее письмо уже из-под Силистрии. Она пишет: „В Кишиневе никто обо мне не знал. Я погрузила весь госпиталь на подводы и мы ночью выступили по направлению к Дунаю." Она почти не описывает 300-верстный переход, а только говорит, что „нас тут встретили очень хорошо. Завтра перевожу госпиталь через Дунай, все в восторге".

Как видно, командование в Кишиневе не знало, что ей не было разрешено двигаться дальше, во всяком случае, ее не остановили.

Под Силистрией о ней тоже никогда не слыхали, но радовались, что пришел полевой госпиталь на 200 кроватей.

Пишет ее брат: „Молодец! Только что получил извещение из Петербурга, что Военное Командование на Дунае в восторге от тво-

его лазарета на 200 коек. Правительство очень недовольно тем, что ты туда двинулась, но теперь ничего сделать не может. Государь очень доволен. Я теперь командую дивизией."

Не знаю отчего, но тут совершенный пробел. Ни одного письма от тети Мери, ни от ее брата нет. Следующее письмо брата адресовано в „Придунайскую армию", но видно тети Мери там уже нет, потому что оно переадресовано в Рощинское. Это уже в 1854 году. Он пишет из Ахалцыха о том, что он идет на Карс.

Следующее письмо тети Мери не ответ на это. Она говорит: „Вернулась в Петербург на почтовых, заезжала в Полоное, там все по-старому. Очень устала, но принялась устраивать второй госпиталь для Крымской кампании. Правительство теперь помогает. Государь меня принял и был очень мил. Написала Меншикову, что посылаю ему второй госпиталь."

Как видно, она чувствовала себя теперь гораздо более уверенной. Судя по ее письмам, набор докторов, сестер и санитаров был легок, потому что „добровольцев стало столько, что я могу выбирать самых подходящих".

Но Меншиков решил, что какая-то девченка вмешивается не в свои дела, и ответил ей очень невежливо. Она пишет своему брату: „Меншиков мне написал, что женщин ему в армии совершенно не нужно." В ответ Александр пишет: „Меншиков, как и многие, дурак."

Совершенно случайно, читая письма моего прадеда графа Александра Логиновича Гейдена, я нашел заметку о тете Мери. Он пишет своему брату, тоже моряку, Логину Логиновичу: „Алеша Дондуков меня попросил написать Нахимову насчет лазарета в случае осады Севастополя, который образовала его сестра Мария Михайловна. Написал Лазареву, знаю его лучше."

Каков был результат, я не знаю, он об этом вновь не упоминает. Во всяком случае, госпиталь выехал из Петербурга и дошел до Севастополя.

Следующее письмо было трудно разобрать, несмотря на то, что почерк у тети Мери был неплохой. Она несколько раз меняла выражения, вычеркивала, надписывала, опять вычеркивала. Это был черновик ответа на письмо Меншикова, написанное, ясно, не им, а секретарем, и только подписанное Меншиковым. Как видно, тетя Мери считала это неучтивым. Адресовано оно было наверху „Генералу князю Меншикову", но начиналось просто „Князь", не дорогой, не милый, а просто „Князь".

„Получила от вашей квартиры..." и т. д. В середине короткого письма: „... и женщины имеют право жертвовать своей жизнью так же, как мужчины... "

Тетя Мери по-видимому уехала обратно на Дунай еще до отъезда второго госпиталя. Следующее письмо брату было написано из Плоешты: „Нас, как всегда, предали австрийцы и мы должны отхо-

дить...", и затем: „Получила письмо от Кати, она говорит, что Николаша уехал в Севастополь." Это был ее брат, который со Львом Толстым откомандировался от кавалергардов и уехал в Крым. Про госпиталь она только говорит: „У нас раненые и турки из-под Силистрии."

В следующем письме из Браилова она пишет: „У нас ранило двух сестер и убило санитара. Одну из них ты знаешь, Доли Оболенская, ей сломало руку и ногу. Из-за той же гранаты на меня упал шкап и разрезало голову. У меня обвязана голова, как у раненого. Мы много смеялись." Где это случилось, она не говорит.

Тем временем второй госпиталь дошел до Севастополя, но ни в одном письме тетя Мери о нем не говорит, за исключением: „Слава Богу, они до Севастополя добрались, мы их снабдили всем нужным. Они там будут необходимы." Об этом втором госпитале писал Толстой в Севастопольских рассказах.

Как я уже говорил, тетя Мери в переписке с Сиднеем Гербертом с 1849 по 1852 год излагала свои идеи о полевых госпиталях. Я не знаю, пришла ли та же идея Florence Nightingale, когда началась Крымская кампания, или она получила ее от своего друга Сиднея Герберта. Но в Англии не было того штата сестер или даже подходящих докторов, какие были в России. В английском обществе иметь профессию, за исключением армии и флота, считалось унизительно. В России, наоборот, мужчины и женщины без какой-нибудь тренировки считались необразованными. Конечно, такие были, но они были в меньшинстве. Образование в России вообще стояло на гораздо более высокой ступени, кроме того женщины в России играли несравненно большую роль, чем в Англии, и были гораздо более эмансипированы.

По окончании войны тетя Мери вернулась в Полоное. Ее письма продолжают быть интересны, но — совсем с другой точки зрения. По-видимому, вопрос „полевых госпиталей" был взят из ее рук Общиной и Обществом „Русский Инвалид". Она о нем упоминает, но, вероятно, к нему не принадлежала.

В нескольких письмах она говорит, что довольна: „военное начальство теперь считает необходимым иметь во время войны при армии полевые госпитали." Следовательно, ее идея была принята.

Ее письма теперь интересны с точки зрения карьер ее братьев и вообще истории семьи, а также описания тогдашнего быта.

Помню, как я думал, читая, что найду в них ее мнение об освобождении крестьян, но, как ни странно, почти ничего об этом не было.

По смерти своего деда князя Никиты Ивановича в 1857 году она финансово оказалась совершенно независима. Он ей оставил дом на Офицерской в Петербурге и довольно большое состояние. Она жила иногда в Петербурге, иногда в Рощинском, или в Полоном, или в Глубоком. С родителями ездила за границу.

Когда умер ее отец в 1869 году, она вдруг вторично расцвела. Она пишет моему деду Петру Гейдену в 1870 году о том, что ее беспокоит состояние Шлиссельбургской тюрьмы. Что говорила с Милютиным и Левашовым, но „они заняты другими делами". Дед мой советует ей обратиться к Лазареву и прибавляет: „Тем не менее, много зависит от Николая Алексеевича (Милютина?), если ты хочешь чего-нибудь достичь. Я ему напишу."

Следующие 10 лет тетя Мери занимается тем, что она сама называет „переустроительством тюремной системы". Главная переписка об этом с дедушкой, но были письма Милютину, Левашову, моему прадеду Николаю Степановичу Волкову, который тогда был псковский Предводитель дворянства.

Все они принципиально согласны с идеями тети Мери, но все предупреждают ее, чтобы она настаивала на своих реформах по очереди. Мой дед ей даже писал: „Моя дражайшая Мери, твои замыслы напугают всех. Тюрьмы существуют для заключения преступников, ты же хочешь превратить их в курорты."

Тем не менее она ездила по России и посещала тюрьмы. Как видно, кто-то ей давал разрешения для этих посещений. Она сама говорит в письмах, что тюремное правление принимает ее учтиво, что соглашается с ее идеями и во многих случаях проводит их.

Она настояла на учреждении в тюрьмах библиотек. Она пишет моему деду, что она в отчаянии от плохого отопления тюрем. „Несчастные мерзнут зимой, что-то нужно сделать." Если не ошибаюсь, в 1882 году она пишет: „Только что видела новый способ отопления, „калорифер". Это нужно ввести во всех тюрьмах." (Я видел это центральное отопление в Бутырках, когда я просидел пять месяцев в этой тюрьме в 1918 году. Оно, конечно, при большевиках не действовало.)

Судя по письмам, она провела разные реформы для облегчения быта заключенных. Самая выдающаяся была „парольная система", которая выпускала заключенного на определенный период в случае смерти ближнего или тяжелой болезни в семье. Опять-таки, судя по переписке, это возбудило много протестов среди юристов. Но она как видно настояла.

Мне рассказывали бабушка и тетя Фразя, как дедушка Гейден в шутку грозил тете Мери, что если она не перестанет мутить насчет своих преступников, то разорит курорты и в России и за границей, все будут ездить лечиться в шлиссельбург. Он ей говорил, что зря тратят деньги на министра внутренних дел, когда она заворачивает всем без оплаты, и что министры так ее боятся, что когда она в Петербурге появляется в министерстве, то министр запирается в уборной, боясь, что она настоит на уничтожении тюрем.

Я помню тетю Мери в Глубоком, когда ей было уже под 80 лет. Она была маленькая тихая старушка в черном или темно-сером платьи с маленьким кружевным воротником. Говорила она тоже

очень тихо. Помню ее сидящей в гостиной и читающей французский роман в желтой обложке.

Никак нельзя было вообразить, что эта женщина спорила с Киселевым, Милютиным, Победоносцевым, убеждала Николая I, возила свой полевой госпиталь на Дунай и носилась по тюрьмам от Шлиссельбурга до Одессы.

У нее была невероятная энергия и сильная воля. Кроме того, у нее был талант к организации. Она любила порядок во всем, что делала. Ей помогал брат Александр и вероятно дед Никита Иванович, но „пружиной" была она. Она умела влиять своим энтузиазмом на многих людей, без этого она не могла бы набрать столько докторов, сестер и помощников, которые подвергали себя всяким трудностям и жертвовали жизнью.

Те, кто лично ее знали, говорили, что она всегда была скромная, тихая и даже застенчивая женщина. Никто бы никогда не мог угадать, что в ней было столько энергии и настойчивости. Друзей у нее было много, но в большинстве случаев намного старше ее. Дома она никогда не развивала своих идей и никогда не говорила о своих достижениях. Ее братья и сестры всегда узнавали о них от других и, за исключением Александра, всегда были поражены. Говорили в недоумении: „Ах, Мери опять, как это странно."

Я спросил раз тетю Фразю, отчего, если Мери была красивее остальных четырех сестер, она не вышла замуж? — „Я не знаю, милый, тетя Катя была тоже красавицей и у нее была масса поклонников, и она замуж не вышла. Думаю, что тете Мери было просто некогда."

Тетя Мери знаменитой не стала, не то что Florence Nightingale, которую окрестили „The Lady with the Lamp", хотя она гораздо меньше сделала, чем тетя Мери. Конечно, тетя Мери не искала известности, да у нас в России мало кто обращал внимание на достижения. Тем не менее, она оставила после себя полевые госпитали и гуманные перемены в тюрьмах.

ХОЗЯЙСТВО

Хмелита была моим миром. В детстве единственное, что меня беспокоило — что может придти время, когда Хмелита будет не „моя". В 1913 году я случайно переслышал разговор моей матери с кем-то. „Хмелита, конечно, будет принадлежать Николаю..." После этого все мои кошмары исчезли. Я мог планировать свою жизнь. Я отслужил бы воинскую повинность в Конном полку, как мой отец, потом пошел бы в Петровско-Разумовский Земледельческий Университет и вернулся бы в Хмелиту навсегда, развивать все мои планы.

Уже много было сделано. На нашем хуторе Вазуза мой отец построил новый коровник, для нетелей. Там же была лесопилка. На нашей мельнице на реке Вязьме, в 15 верстах от Хмелиты, была плотина. Я ее хотел перестроить и поставить генератор, чтобы провести электричество в Хмелиту и в деревни в нашем соседстве, но не в дом. Я, как видно, унаследовал эту оригинальность от моего деда Гейдена. В Глубоком был генератор, который обслуживал все машины на фанерной фабрике и в имении, но в доме все освещалось спиртовыми лампами. Представить себе хмелитский дом, освещенный электричеством, я не мог. Единственное электричество вне Вязьмы, в деревне, было в Высоком у дяди Саши Шереметева, в 17 верстах от нас. Но там оно испортить ничего не могло. Дом был кирпичной коробкой.

С самого раннего детства я был помешан на коровах. Меня даже дразнили, что моя цель в жизни – стать скотником. Играя с четырех лет стеклянными шариками, каштанами, гальками, бобами, я все их превращал в коров. Я был дотошный мальчуган, собирал жуков, окаменелости, камни, заполнял бесконечные тетради всякими заметками о вещах, которые меня интересовали, изучал военные суда из книги моего отца „Fighting Ships of the World" и выработал схему будущего стада чистокровных „швицов".

В скотном дворе стоек было на 38 коров, я считал это недостаточным. Если перестроить, можно было прибавить еще 12. Нашим стадом я тоже был недоволен. У наших соседей в Липицах, у Николая Алексеевича Хомякова, и в Родине у Самариных были великолепные стада „швицов" и „симменталов". Наше стадо было далеко не идеальное. Скот крестьянский и у многих помещиков был неизвестной породы. Маленькие многомастные коровы, дающие мало молока, хотя великолепного качества. Дедушка Гейден называл их „тосканской" породой. Кто-то спросил его, как они попали из Тосканы в Россию. „Ах, они тут всегда были." – „Почему же они „тосканские"?" – „Просто потому, что они такие маленькие, что их одной рукой за хвост можно из коровника вытаскивать." Мой дед основал в Глубоком чистокровное „ангельское" стадо. „Ангели" из Шлезвига были маленькой породой. Поэтому быки были не слишком большие для крестьянских коров. Мой отец, как видно, этого не учел, да и понятно: у нас паства в Хмелите была гораздо лучше, чем в Глубоком, „ангели" были слишком малы для наших великолепных лугов. Отец сначала завел „алгаузских" коров, но в 1902 году, под влиянием нашего швейцарского сыровара Шильдта, перешел на швейцарских „швицов", великолепная порода, но большая. Перемена делалась медленно. Покупали первоклассных быков, но стадо из-за этого было не чистокровное. Однако, к 1914 году уже большая часть была записана в Кровяную Книгу. Но быки эти были слишком большие для крестьянских коров. Мой отец хотел учредить в Вяземском уезде скотоводный пункт, где стояли бы быки.

Вопрос был – какой породы? Мой отец думал, что „ангельской”, как в Глубоком, многие считали, что лучше всего были бы „ярославки”, великолепная русская порода.

Пункт, который должен был быть под земским управлением к 1914 году, так и не устроили. Мой отец сердился: „Переговаривать с Земством, как говорить в пустое ведро.” И говорил, что после войны он устроит „пункт” в Хмелите.

С овцами было легче. У нас было очень маленькое стадо овец, всего 25-30. Их держали, главным образом, чтоб ощипывать озимые, если был поздний снег. Они были „романовской” породы, и мы всегда держали лишнего барана, которого давали крестьянам для случки. У многих крестьян было по сотне или больше овец, но уже к 1913 году мало кто занимал барана, крестьяне стали покупать баранов на выставке.

Мой отец ввел девятипольную систему посева, разбив 540 десятин на девять одинаковых полей. С увеличением стада нужно было все больше и больше зимнего корма. Поэтому: 1 – рожь, 2 – подсевной клевер, 3 – второгодний клевер, 4 – пасочный клевер, 5 – овес и ячмень, 6 – картофель и брюква, 7 – лен, 8 – черный пар, 9 – зеленый пар.

Результат был тот, что подсевной клевер косился два раза, иногда три, второгодний клевер иногда два раза, третьегодний клевер был тогда полу-паствой, овес и ячмень сеялся без удобрения, картофель и брюква росли лучше на более истощенной земле, лен для качества должен быть на истощенной земле, черный пар удобрялся, зеленый пар был хорошей паствой. Но главной паствой были лесные луга после сенокоса, где росла сочная трава. Стадо проходило на лесные луга через второгодний срезанный клевер. Летом доили в поле за ригой. Табуны лошадей уходили в ночное на другие лесные луга. Льняное семя давало жмых, а лишние покосы – силос. Пшеница у нас плохо росла, зиму она не выдерживала и весенний посев давал поздний урожай. А урожай ржи поднялся с сам-6-7 на сам-12 и продолжал подниматься с появлением рядовых сеялок.

В Хмелите была сырная фабрика. Принадлежала она старому швейцарцу Шильдту. Кто пригласил в Смоленскую губернию сыроваров из Швейцарии, я не знаю, но первые приехали в 80-х годах. Они все, кажется, были родственники. Шильдт начал свое дело у Лобановых-Ростовских в Торбееве. Когда он переехал в Хмелиту, не знаю, но кажется до моего рождения. Он был старшиной всех смоленских сыроваров, которых было более 20 в Вяземском, Бельском, Сычевском, Дорогобужском и Духовицинском уездах. У старого Шильдта было много сыновей и племянников, его дочери, за исключением младшей Софки, все были замужем за сыроварами. Софка младшая была немного глумная и вышла за крестьянина хмелитской деревни.

Много времени в детстве я проводил в сыроварне. К 1910 году мой отец отстроил новый дом для Шильдта и сыроварню с сырным складом на первом этаже.

Это была колоссальная выгода для окружных крестьян и для нас. Шильдт утроил производство грюера, крестьяне удвоили количество коров и стали интересоваться качеством. Шильдт скупал все молоко, которое ему привозили. Недалеко, в четырех верстах, в Григорьевском у Лыкошиных, был сыроваром его сын Карл, в Старом селе, в десяти верстах, сын Рудольф. Как ни странно, пятипудовые круги смоленского грюера Шильдт вывозил в Швейцарию. Оттуда он, вероятно, возвращался в Россию и в другие страны как швейцарский грюер. Сыр был великолепный. И нам, и крестьянам сыр продавали за полцены.

В 1909 году мой отец купил автомобиль. Это был открытый фаэтон вишневого цвета, бельгийский Metallurgique, 20 лошадиных сил. У него был радиатор красной меди и ацетиленовые фонари. Мы, дети, конечно, были в восторге. В нашем соседстве и в Вязьме было до войны только 5 автомобилей. У светлейшего князя Григория Волконского в Сковородкине был Ford. У Герасимова в Бельском уезде был большой американский Mitchell. В Вязьме у купца Михаила Ивановича Лютова был лимузин Berliet, а у Строганова ландолет Rex Simplex. Но самый замечательный автомобиль был у инженера Котова. Он построил его сам. У него был только один колоссальный цилиндр. Когда он ехал, было слышно по всему городу. Взрывы в цилиндре были отдельные, точно из пушек кто-то стрелял.

Мне позволяли только сидеть в автомобиле перед домом. Прошло три года, пока я стал ездить в нем куда-либо. Мой отец выучился им управлять, но раз наскочил на пень и сломал переднюю ось, которую починил наш кузнец, а второй раз, меняя скорости на Мартюховской горе, каким-то образом повредил коробку передач и пришлось послать в Москву за новой.

Автомобиль очень интересовал крестьян. Многие приходили просто на него посмотреть. Когда встречались телеги на дороге, автомобиль останавливался и выключался. Тогда пускового прибора на автомобилях не было и приходилось вылезать и опять его заводить. Поэтому поездки были довольно долгие. Лучшая скорость из Хмелиты в Вязьму (35 верст) была 1 час 50 минут вместо 3 часов в коляске. Конечно, ни в распутицу, ни зимой на автомобиле никуда не ездили. Лучи от ацетиленовых фонарей были гораздо сильнее современных электрических. Когда мой отец или мать возвращались из Вязьмы ночью, мы задолго знали, что они приближались. Когда автомобиль проезжал наш хутор Вазузы, в 7 верстах от Хмелиты, то над лесом появлялось зарево.

Я не знаю наверное причин, почему у нас в машинном сарае стояли без употребления два паровика-трактора. Там же стояли три сноповязалки, которые на моих глазах тоже не употребляли. Мне

казалось дикостью не использовать современные машины. Но Николай Ермолаевич мне объяснил, что мой отец тоже хотел все новшества, как я теперь, и прежде купил паровые тракторы, а потом уже понял, что от них более вреда, чем хорошего. Земля у нас суглинистая. Когда земля сухая, то такой трактор может тащить четырех или даже пяти-отвальный плуг. Но во время пахоты часто, если не всегда, земля сырая. Трактор очень тяжел и колеса, проходя по борозде, сжимают землю. Вода, подымающаяся к поверхности по капиллярам, останавливается этим слоем сжатой земли. Минералы в воде сгущаются против этого слоя и производят подпочвенный пласт. В результате подземная вода не может дойти до корней, а дождь, если сильный, наводняет поверхность.

Но Николай Ермолаевич называл и другую причину. Он говорил, что мой отец прекратил пользоваться паровиками, потому что это отнимало заработок у наших крестьян. Во время пахоты многие местные крестьяне приходили приработать лишние деньги. Они пахали однолинейными плугами с двумя лошадьми. Лошадей на рабочей конюшне было приблизительно 40, так что 16 или 18 плугов могли работать одновременно. Вывоз навоза оставлялся исключительно крестьянам с их собственными „навозками" и лошадьми, это давало выгодный заработок на неделю или две.

Наша пахота, сенокос, уборка урожая, дерганье льна – никогда почти не совпадали с крестьянскими, потому что они всегда сеяли на неделю или две позднее, так что это выходило очень удобно и для них и для нас. Эти две недели оставляли крестьян свободными. Отец купил сноповязалки, не подумав. Это значило, что не нужно было нанимать женщин вязать снопы, и следовательно бабы теряли 75 копеек в день, что для них значило очень много. В мое время это поднялось на рубль и рубль пятьдесят. Поэтому мой отец решил сноповязалок не употреблять. Увеличил количество лошадей, что тоже давало больше заработка.

Иногда все же случалось, что наш урожай и крестьянский совпадали, тогда выписывали „мананок". Человек 30 девок в разноцветных сарафанах и платках приезжали из Рязанской губернии на урожай, недели на две. Парни очень любили, когда это случалось. Мананки были веселые, задорные девки, многие красивые.

В имении рабочих было только 7, и все они были специалисты. Остальные работы делали крестьяне по найму. Рабочий вопрос никогда не поднимался, это было частное соглашение с местными крестьянами, удобное и для них, и для нас.

Крестьяне тоже знали, что всегда рядом имение, в которое они могли обратиться за помощью в случае неурожая.

Иногда были мокрые урожаи. И у нас, и у крестьян были „риги" для сушения зерна. Это было не особенно практично и занимало много времени. Мой отец выработал сушилку и построил ее. Многие крестьяне приходили ее смотреть. Он хотел их убедить, что сушилка

спасет им много времени и работы, что, если были бы сушилки в каждой деревне, это увеличило бы доходы. Но сперва это медленно крестьян убеждало. В 1913 году Черемушники первые пришли просить моего отца планы сушилки. Они ее тут же выстроили и к 1914 году были сушилки в 4-х деревнях. То же произошло и с маслобойкой. Крестьяне все привозили свое льняное семя на нашу маслобойку. Мой отец советовал им построить свои маслобойки. Опять Черемушники построили первую. За ними стали строить и другие.

Мой отец много занимался кооперативными союзами. Большие земледельческие кооперативы в южных губерниях были основаны моим дедом Гейденом и Бехтеевым в 90-х годах. Причиной их основания было очень неудовлетворительное положение украинских крестьян. Все зерно для вывоза скупалось купцами (большинство из которых были евреи). Они диктовали цены и иногда отказывались покупать урожай, чтобы цены падали. Бывало, что дело кончалось погромом.

Мой дед был убежден, что если бы были крестьянские кооперативы для скупки зерна, погромы бы прекратились. Кроме того, после невероятного в те времена голода 1891-92 годов, когда сначала необычно разлились реки, а потом ударила засуха, правительству нужно было скупать зерно в тех краях, где голода не было, что взяло много времени. Тогда мой дед убедил Победоносцева, что должны быть устроены склады зерна на три года.

Новые кооперативы стали строить зерновые силосные башни на нижней Волге, на Дону, Днепре и Днестре. В нашей части России они были не нужны, но нужны были сушилки, маслобойки, новые плуги, дисковые бороны, веялки, молотилки. Мой отец серьезно занялся организацией кооперативов.

На моей памяти многое переменилось. Столыпинские реформы, Крестьянский банк, кооперативы сильно изменили земледелие. Крестьяне стали растить люцерну, свекловицу и т. д. Столыпинские реформы, хотя хорошо обдуманные, выдвигали много проблем. Однодворцев у нас было и так довольно много в Вяземском уезде. Крестьяне сами признавали, что чересполосная система, которая существовала тысячу лет, была плохая. Но было понятно, что семьи боялись выселяться на хутора, хотя пример хуторян был хороший. Они не хотели оставлять деревню и потому что привыкли, и потому что потеряли бы помощь соседей, а кроме того, потому что боялись обузы 300 или больше десятин. (Зависело, конечно, от семьи.)

Земли было много. Недалеко от нас было шесть разоренных имений, где и помещики и все постройки исчезли. Земля тысячами десятин была на продажу. По столыпинской реформе в наших краях цена на полевую десятину была установлена как максимум 80 рублей, выплачивать надо было по закладной на 20 лет,

это выходило по 4 рубля в год Крестьянскому банку. Проценты на заем были 1.5%, что вместе выходило дешевле аренды. Оценка делалась землемерами Крестьянского банка и представителями волости.

Где были земли кругом деревень на продажу, большинство уже было раскуплено хорошими хозяевами на отдельные участки. Мой отец говорил, что с 1909 года по 1914, то есть по начало войны, только еще 26% крестьян выехали на хутора, но что процент увеличивался каждый год. Так что к 1914 году четвертая часть крестьян-общинников закрепили за собой землю или даже выехали на хутора – это не считая переселенцев в Сибирь.

Ввиду того, что на менее 500 десятин крестьяне налогов не платили, да и тогда только 1 рубль в год на полевую десятину и, кажется, 1р. 75 коп. на лесную десятину, это роли почти не играло, и все больше крестьян выезжали на хутора.

В нашей округе крестьянам было экономически трудно покупать земледельческую утварь. Вложенный капитал был бы слишком велик на среднего размера деревню в 21-22 двора, следовательно – капитал должен быть кооперативный, который мог бы давать напрокат нужное оборудование на несколько деревень. Было трудно убедить крестьян, что это было бы им на пользу. Но кооперативные магазины и лавки в селах скоро стали успевать и крестьяне мало-помалу стали склоняться и к наему оборудования. Мой отец на сходе предложил, чтобы кооперативы купили бы веялки, молотилки всякого рода, паровики. И в 1911 году крестьяне решили попробовать. Первым стал покупать машины кооператив в деревне Хмелите, а за ним и другие. Поддержали первыми, конечно, однодворцы. Их становилось все больше и больше после столыпинских реформ, и тогда дело, конечно, ускорилось.

Для крестьян главным доходом кроме молока был лен. Было конечно очень удобно, что Вязьма была центром льняной промышленности, а Хмелитская, Григорьевская и Старо-Сельская сыроварни брали все молоко.

В июне, между первым сенокосом и первым урожаем было три-четыре недели. В это время случалось большинство деревенских пожаров. Все об этом знали наперед. Какой-нибудь крестьянин приходил к моему отцу или управляющему и говорил, что дом его старый, что нужно бы построить новый дом, да денег у него сейчас нет. Разговор был теоретический, крестьяне говорили „в общем". Но и отец мой знал, и крестьяне понимали, что мой отец знал: такой разговор был просто предупреждением, что дом мог сгореть.

Тогда случался пожар. „Ах, несчастье, выгорел я, да и сарай захватило." Это значило, что ему нужны были бревна и на дом и на сарай, да доски и жерди. „А крыть-то чем будешь?" – „Да не знаю. Черепицей думал покрыть." – „Не успеешь, брат, черепицей, да и черепицу негде достать. Да у тебя же солома подходящая есть?" –

„Есть." – „Так ты на Вазузу поезжай. Сколько тебе нужно бревен и досок? А солому тут подберешь." – „Ну спасибо, я как-нибудь это отработаю."

Но никто никогда не ожидал, что это будет оплачено. Это было традиционно. Сгорел, значит помещик все материалы на отстройку даст. Крестьяне никогда не эксплуатировали этого. Если горел, то значит, действительно, дом был старый.

Иногда только по неосторожности и ветру выжигал соседа. Тогда были ссоры. Приходили жаловаться моему отцу: „де, Иван поджег меня нарочно". Мой отец старался их мирить и оба ездили на Вазузу подбирать бревна. Это в конечном счете не было несчастье, дома отстраивали быстро и лучше старых. И никто это поджогом не считал.

Преступления у нас были так редки, что когда что-нибудь случалось, как воровство или даже драка, все об этом говорили месяцами.

В соседнем имении Григорьевском у Лыкошина, в 4-х верстах от Хмелиты, ночью, зимой, со скотного двора исчез чистокровный симментальский бык. На снегу утром нашли три следа валенок, идущих в коровник, из коровника был только один след. Все стояли и чесали себе головы. Как могло быть, что три человека вошли, а вышел только один, и бык исчез, не оставив никаких следов. Спрятать колоссального быка было невозможно и стражник нашел его в сарае крестьянина Семена. Тот сразу признался. Зачем он его украл, он не мог объяснить. Оказалось, он взял с собой две пары валенок, надел их на ноги быка задом наперед и просто его вывел. Как видно, бык был смирный.

Семена осудили на шесть месяцев тюрьмы за кражу. Он вышел из тюрьмы и пришел к моему отцу. К тому времени он уже был известен повсюду как „Семен-бычачник". „Нехорошо мне будет теперь жить, все на меня пальцем показывать будут – вон пошел Семен-бычачник. Что мне делать?" – „Да ты что, место хочешь?" – „Да, если ты мне место дашь, перестанут может говорить."

Мой отец назначил его ночным сторожем. Все ахнули. Крестьяне говорить стали: „Да ты что, Владимир Александрович, вора сторожем назначаешь, ему это подходяще будет, и тебя и нас обкрадывать станет." – „Нет, – говорил мой отец, – все знают теперь, что он вор, да и хитрый вор, так не посмеет воровать. Если что пропадет, на него указывать будут, так он сторожить лучше станет." И действительно, Семен-бычачник был великолепным сторожем. Он так „бычачником" и остался, но про григорьевского быка уж только посмеивались.

За всю мою молодость только два более серьезных преступления случились. Два друга, пьяные, возвращались со свадьбы около Константиновского, одному из них захотелось пить. Он лег у ручейка, но до воды дотянуться не мог. Его друг ему помог да утопил

его. Не помня, вернулся домой. Наутро пошел в дом друга, а тот не вернулся. Стали искать, нашли, а тот утоплен. Судили за убийство, но оправдали.

Второе произошло в Хмелите в деревне на храмовый праздник и ярмарку. Несколько друзей напились, и у одного загорелся дом. Так хозяин обвинил соседа и спьяна пырнул его в живот рогатиной. Того отвезли в госпиталь и он через три недели выздоровел. А пырнувшего арестовал стражник за буйство. Его судили, просидел месяц в тюрьме и домой воротился. Тем и кончилось „преступление". И соседи помирились.

До моего времени были братья Зимочата из Мокрова. Они были разбойники, грабили купцов на дороге и раздавали деньги соседям. Мой отец их раз встретил на дороге в Вязьму, но они его не тронули. Их ни разу не поймали. Один умер, тогда его брат уехал в Сибирь и там поселился. Мой отец про них говорил: „Хорошие были ребята, никого, кроме купцов, не обдирали и сами состояние не сделали." Это, может, было не очень морально, но все их любили за лихость и никто в округе их не боялся.

Мой отец был выбран Предводителем дворянства вскоре после приезда моих родителей в Хмелиту. Я не знаю, было ли какое-нибудь правило об этом или это просто была традиция, но обыкновенно предводителей выбирали только на три года, на следующий срок выбирали другого. Но почему-то мой отец был выбран два раза подряд, с 1899 года по 1905. Затем предводителем был Миронов, до 1908 года, а потом был опять мой отец, на этот раз три срока подряд.

Я, конечно, не знаю, отчего его выбирали против правил, но думаю, что он был очень популярен не только у помещиков, но и у крестьян. Как предводитель он был ответственен за очень многое. Правительство возлагало на предводителей ответственность за набор. Он был ответственен Опекунскому совету за помещиков, которые плохо управляли своими поместьями, и назначал управляющих в такие имения. Он также был ответственен за вдов, которые не знали, как управлять своими имениями. Ответственен был и за помещиков, которые какими-нибудь мероприятиями вредили крестьянским хозяйствам, — в таких случаях он был ответственен волостному управлению.

Когда появились реформы Столыпина, предводитель отвечал перед правительством за их проведение. Когда был основан Крестьянский банк, предводитель становился представителем в нем от Дворянского банка, который его основал. Работы было много. Отец мой работал неуставаемо.

Мать моя, которая унаследовала от своего отца невероятную энергию, была поглощена тем, что теперь называется „социальны-

ми делами". Она занималась госпиталями, школами, библиотеками и т.д.

Ее энергией в Вязьме была построена библиотека. Она убедила вяземских купцов построить вторую женскую гимназию и уже проектировала вторую мужскую гимназию и задумала основать в Вязьме университет, говоря, что это подымет важность Вязьмы как центра, привлечет интересных людей и т.п., — когда это было прервано войной. Тогда мать бросилась на постройку и организацию госпиталей, было много сделано, так что Вязьма превратилась в этапный госпиталь на 30.000 коек для всего Западного фронта.

Оглядываясь в прошлое, я понимаю теперь, отчего, при безусловно необходимой ее работе, моя мать не была так популярна, как отец. Разница была та, что мой отец никогда не делал ничего, не посоветовавшись с теми, кого перемена касалась. Крестьяне говорили ему, если им что-нибудь не нравилось, и он с ними рассуждал, что и как можно было сделать или отложить.

Моя мать была более уверена в своей правоте. Если она считала, что в Вязьме нужна была 2-я женская гимназия, а правительство не соглашалось, она садилась в поезд и ехала прямо к министру и, как граф Игнатьев говорил, когда он был министром просвещения: „Когда Варя приезжает, она мне даже обедать не разрешает, пока я с ней не соглашусь."

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

ЛЕТО 1914

Это было последнее лето, что я был в Глубоком с семьей. Как всегда, мы поехали туда в мае. Погода в тот год была великолепная. В Глубокое съехалась масса народу, как обычно. Бабушка наконец получила в Департаменте археологии разрешение устроить раскопки на Каменном озере. Археолог должен был приехать из Пскова в июне.

Жара, которая началась в апреле, так быстро растопила снег, что реки и реченки разлились быстрее, вода в озерах поднялась выше, чем в обыкновенные годы. У фанерной фабрики был сделан затон, чтобы мочить березовые и осиновые бревна. Вода поднялась выше изгороди, и много бревен уплыло в озеро. Мы заметили это в первый же раз, что поплыли на лодке. Как ни странно, бревна плавали вертикально и видны были только срезы. Эти футовые кружки плавали как раз над поверхностью. Мы зацепили первый багром и потянули обратно к фабрике. Мой старший брат Петрик решил, что было бы и занятно и нужно выловить как можно больше бревен. На следующий день мы взяли с собой железные крючки на веревках и поехали ловить бревна. Через день мы стали такими специалистами, что возвращались каждый раз с десятью или больше бревнами на буксире. Таким манером мы выловили более 200 бревен, их становилось все меньше и меньше.

Бабушка предложила нам поехать на пикник к Бабиненскому озеру. Это озеро, версты две длиной, сравнительно узкое, было по дороге к Опочку. Оно лежало между крутых гор, покрытых сосновым лесом, и почему-то всегда было ярко-синего цвета. С нашей стороны лес был срублен несколько лет тому назад, только высокие семенники, как щетки, стояли то тут, то там. Подлесник сосновый и березовый уже поднимался футов на 15-20 и был густой, еще не подчищенный и не прореженный.

О Бабиненском озере и горе была легенда. Будто бы на ней жил какой-то разбойник по имени Лапин. Так и гора называлась: „Лапина гора". Когда он там жил, никто не знал, но крестьяне говорили, что в лунную ночь Лапин на своем сером коне спускался с горы поить коня в Бабиненском озере.

Мы поехали, разложили пикник на берегу озера. Мне вздумалось полезть на верхушку Лапиной горы. Она была очень крутая. Тропинки по ней были только звериные, крутящиеся то вправо, то влево, пересекаемые такими же тропами. Говорили, тут были и лоси и косули, и даже туры, но я их никогда не видал. Волков и медведей было много, да и рыси попадались. Это меня совсем не тревожило, само привидение Лапина меня гораздо больше пугало, но его, говорят, днем никогда не видели. Я вскарабкался наверх. Оттуда вид был замечательный. Внизу – ярко-синее озеро, а далеко направо заливные луга. По другую сторону горы – лежащее в полукруге сосновых лесов Гарусово озеро, точно из красной меди. На юг извивалась далеко внизу ярко-зеленая долина, по которой змеилась реченка, а по обе стороны ее – ярусами стояли горы синеватых сосновых лесов. Ах, подумал я, недаром Лапин выбрал эту гору.

Посидел, посмотрел, решил идти обратно. Да труднее спускаться, чем лезть вверх. Стал зигзагами по тропам идти. Вдруг вышел на плоскую лужайку. Я сперва не заметил, но внезапно увидел мхом поросший сруб, точно изба там когда-то стояла. Он только на четыре-пять бревен подымался. Странно, подумал я, вероятно лачуга лесника была, обошел и оцепенел. На другой стороне – крест каменный, низкий, заросший. Боже, Лапина могила!

Я бросился вниз, покатился, вскочил и опять покатился. Наконец выбежал в лес, который стоял вокруг озера. Отдуваясь, я вернулся к другим. „Что с тобой?" – спросил кто-то. – „Да ничего, запыхался." Почему-то я не хотел о моей находке говорить. Только потом я рассказал Николаю Ермолаевичу и он мне поверил. „Да слыхал, что крест и сруб где-то есть там, но никогда не мог найти."

У Николая Ермолаевича гостила его жена. Она тоже была из дровосеков Вятской губернии, но в то время училась в Москве на медицинском факультете. Она была очень стройная, красивая женщина, лет 25-ти, с рыжими, почти красными волосами, и веселая. Мы, дети, ее очень полюбили. После того как поели сухарей, мы с ней побежали по берегу. Была невероятная жара. Добежав до песчаного пляжа, мы уселись отдохнуть. „А ну-ка давайте искупаемся", – сказала она. Все разделись и бросились в студеную воду. Никого из нас нисколько не смущало то, что мы все были голые. У нас в Хмелите все купались голыми, и мужчины и женщины вместе. Единственное, что я заметил, совершенно без всяких задних мыслей и с одобрением, – какая у нее была красивая фигура. Покупались, вылезли на песок, от жары скоро высохли и оделись. Пошли об-

ратно пить чай. „Где вы были?" – спросил кто-то из гувернанток. – „Мы купались", – ответила жена Николая Ермолаевича. – „Купались?!" – заголосили все гувернантки. – „Голыми?!" – „Конечно." Ужас охватил компанию. Они все зашевелились, назревал, ясно, скандал.

Я никак не мог понять, отчего они так взъерошились. Сперва подумал, что после сухарей не должны были купаться, но вдруг сообразил, что эти иностранки и городские никогда не купались голыми и это их шокирует. Я совершенно не был невинным младенцем и знал прекрасно разницу между телами мужчин и женщин, но купание никто из нас не ощущал шокирующим и неприличным. Вспомнил ужас тех гувернанток, когда узнали, что я присутствовал на отелении коров, и шокированное молчание, когда я с удивлением спросил: „Вы что думаете, что телят аист приносит?" И про себя решил, что они все невежи.

К этому времени начались лесные пожары. Все уже к этому были готовы. Стояли телеги, в них навалены плуги, лопаты, топоры и веники. Вышки всегда торчали на делянках, но теперь на них дежурили с утра до ночи подлесничие. Весь Глубоковский лес, более 11.000 десятин, был разбит на делянки. Просеки были широкие, и вереск по ним вычищен. Но деревенские леса, тысячи десятин, не были подготовлены к пожарам. Еще хуже были казенные леса, только за последние три года их стали очищать. Совсем опасны были леса „антрепренеров", которые только строили лесопилки в лесу, а за лесом совсем не смотрели. Это были казенные леса, сданные на сколько-то лет, и официальные землемеры только и настаивали, чтоб оставляли семенники.

Первые пожары начались именно в таких лесах, далеко от Глубокого, за рекой Алолей. Все были начеку.

Пришел июнь. Приехал наконец археолог. Устроили пикник на берегу Каменного озера. Запрягли венский шарабан, венскую коляску, еще коляску и два тарантаса, мест на 31 человека. Каменное озеро было только в 7 верстах от Глубокого. Поехали рано утром с самоварами и всякими припасами на Мариинский хутор на берегу озера.

Мы с энтузиазмом показали археологу в лесу целое собрание маленьких курганов. Он на них посмотрел и сразу же сказал: „Да в них же ничего нет, кроме горшочка с пеплом." Все наши ожидания, что в каждом мы найдем какой-то клад, вылетели в трубу. Не хотелось верить. Чтоб доказать нам, он решил раскопать один курганчик. Действительно, в нем ничего не было, кроме горшочка с пеплом. Мы совсем приуныли.

Возвращались угрюмые через вереск. Археолог вдруг остановился: „Ну, это совсем другое дело!" Сперва, помню, я никак не мог понять, на что он указывает. Перед нами булыжник. Таких булыжников в лесах была масса. Но он показал нам, что булыжники

лежат футах в двух друг от друга и образуют овал. „Вот это мы раскопаем."

Стали копать между булыжниками. Фута три выкопали, все песок, и осыпается. Послали на хутор за досками подпереть песок. Прокопали еще фута два и вдруг оказался скелет. Археолог осторожно стал сметать песок. Скелет был мужчины, более 6 футов роста. Вокруг шеи его лежали, как будто было ожерелье, тонкие треугольники из бронзы. На груди какая-то бляха, тоже из бронзы, рядом с правой стороны не то кинжал, не то короткая сабля, дюймов 18 длиной, заржавленная, сказал археолог – железная, а ручка из бронзы. В ногах горшок и плошка. Археолог долго рассматривал полуторадюймовые треугольники. На некоторых нацарапаны какие-то иероглифы. „Кто они были?" – стали мы все спрашивать. – „Понятия не имею, никогда таких не раскапывал." По каким-то приметам археолог только гадал: „Думаю, что до 6-го века после Рождества Христова, но это я гадаю, может быть гораздо раньше." Он говорил, что только когда вернется в Псков, он сможет приблизительно их оценить. Но он был поражен.

Стали раскапывать дальше. На этот раз оказалась женщина, тоже довольно высокая, но тут к нашему удовольствию было гораздо больше: кругом ее шеи были такие же треугольники, но еще бесконечное количество бус всех размеров, красные, синие, зеленые. Пропускали песок через решето, бус было больше 150. Археолог рассматривал их. „Некоторые как будто бирюза, но большинство не то стеклянные, не то из какой-то мастики." Цвета были яркие. Но самое интересное: с обеих сторон головы бронзовая спираль и проволоки дюймов 5-6 в диаметре.

В третьей могиле опять женщина, моложе, сказал археолог. Опять спирали, опять треугольники и бесконечное количество бус. На правой руке ее было кольцо. Археолог очень осторожно его снял. Оно почернело так, что сказать, из чего оно сделано, он не мог. Оно было, по-видимому, слишком велико, потому что с одной стороны оно было обернуто какой-то довольно грубой материей. Археолог осторожно положил его в спичечную коробку.

В четвертой могиле оказалась тоже женщина, но маленькая и какая-то искорявленная. У нее, кроме спиралей на голове, ничего не было, но через грудь был вбит кол. Археолог его осторожно вытянул. Он замечательно сохранился. Рабочие, которые не менее нас были заинтересованы раскопками, посмотрев на кол, все согласились, что он ясеневый. „Это ведьма должно была", – сказал один из них. В пятой могиле опять мужчина. Тоже высокий, с такими же треугольниками, но кинжал или сабля немного длиннее. Около головы две маленькие не то бляхи, не то брошки.

Археолог был совершенно ошеломлен. Он говорил, что никогда таких людей не видел. Больше всего его поражали великолепно сделанные бусы и спирали.

Он обещал, как только узнает после лабораторных розысков, кто были эти люди и когда они жили, – сообщить нам с подробностями. Но не суждено было: в июле мы уехали в Хмелиту, а тут война и все было позабыто.

Вокруг Глубокого вообще было довольно много чего-то странного. На запад, на острове Велие, было несколько деревень, жители которых называли себя латгалами. Никто не знал, откуда они были. Говорили по-русски, но вмешивали много слов и названий не славянских и не латышских. Они держались обособленно, мало сносились с русскими деревнями. На вид они мало разнились от русских, но были в среднем дюйма на два ниже очень высоких псковичей.

Были две деревни на северо-восток, в Порховском уезде, где все жители были „князья косторские". Называли друг друга „князь Иван", „княгиня Марья". Они, как видно, все были Рюриковичи, но где был „Костор", никто не знал. Может, Костор и был тем самым „Городищем", которое лежало в лесу в нескольких верстах от этих деревень. Городище это состояло из довольно большого вала, окружающего какие-то полу-курганы. Было невозможно оценить размер этого „города" из-за леса. Это могло случиться, когда шведы или тевтонцы, ливонцы, поляки или кто-нибудь уничтожил город, и правящие князья скрылись в лесах. Такие вещи случались в истории России. Были и семьи княжеские, которые в прежние времена управляли городами, как например Звенигородом, но теперь никто не знал об их существовании. Я сам видел на Пресне в Москве сапожника. Над его лавкой была надпись золотыми буквами на голубом: „Сапожник князь Звенигородский". Я спросил генеолога Ельчанинова, с которым тогда работал в архиве, правда ли это? „Да, он действительно князь Звенигородский. Звенигород был занят Юрием Долгоруким, с тех пор о князьях Звенигородских мало что слышно, и уже с Пятнадцатого века они в летописях не появляются." Он думал, что они обнищали. Во всяком случае, он нашел доказательства, что прадед этого сапожника был крепостной Измайловых и тоже звался князем Звенигородским.

У нас в Вяземском уезде был такой однодворец Лопухин, у которого была грамота Ивана III, жалующая его предкам поместье. В Смоленском уезде был крестьянин князь Долгорукий, дед которого был крепостной семьи Чернота-да-Бояро-Боярских. Откуда такое невероятное имя пошло, непонятно! И, напротив, у многих старых фамилий, как Нарышкины, Свиньины, Кобылины, такой же старины, как и Рюриковичи, титулов никогда не было, хотя они были помещики, может быть, гораздо более важные, чем местные князья. С другой стороны, были семьи, как Дмитриевы-Мамоновы, которые когда-то были князья Смоленские, но затеряли где-то „княжество". Даже, когда была хорошо основанная документация.

За пять лет до этого, в 1909 году, где-то около Бабиненского озера пастушок сидел на гранитной глыбе и вырезал дудку. Он

вдруг заметил, что на глыбе белое пятно, как будто известка. Стал царапать ножом, известка оказалась очень мягкая. Он копал-копал и нашел боченочек, дюймов 8 в вышину и дюймов 6 поперек. Он был полон монет. Принес своему отцу, а тот привез в Глубокое. Монеты все были черные, очень тонкие и маленькие. Бабушка купила боченок за хорошие деньги и отправила его в Псковский музей. Оказалось, что все эти черные монеты были серебряные. Самые старые были времен царствования Ивана Калиты, то есть 1328-1341, а последние Алексея Михайловича (1645-1676), значит собранные более чем за 300 лет. Такая коллекция, как видно, собиралась многими поколениями, и отчего ее последние вдруг замуровали, было совершенно непонятно. Мой отец предполагал, что это было церковное имущество, украденное и спрятанное вором. Псковский музей выбрал все лучшие монеты, а остальные вернул бабушке. Она превратила их в два ожерелья и дала одно моей старшей сестре Сандре, а другое младшей сестре Марине.

* * *

Известие об убийстве Франца-Фердинанда и его жены пришло, когда еще мы были в Глубоком. Помню, как оно произвело печальное на всех впечатление, как всякое убийство. Они были так редки в те „нецивилизованные" времена, что всякое убийство вызывало разговоры на недели. Мой отец говорил: „Убили их, ясно, анархисты или какая-нибудь другая мразь, но австрийцы, как всегда, это раздуют и обвинят сербское правительство. А сербы как дураки заартачутся, и кризис будет. Зависит от дипломатов, успокоится это или нет. Не знаю, зачем мы гарантировали независимость „братушек", которые могут втянуть нас в войну из-за их местных интриг."

Тем не менее, никто не думал тогда, что будет из-за этого война. „Многое зависит от Англии. Если они опять станут крутить и нашим и вашим, как во время Босно-Герцеговинского кризиса, дураки австрийцы полезут в Сербию, их поддержит негодяй Бетман-Гольвег, и тогда действительно война." Но большинство считали это только местным инцидентом.

В Глубоком были свои опасения, весьма далекие от убийства в Сараеве. Горели из-за засухи леса. С утра до ночи солнце стояло в дымке, как красный шар. Пахло гарью. Но в самом Глубоком, кроме пожара на Губиненском болоте, который начался еще в мае и который тушили, прорезая глубокие канавы, леса еще не горели. Я говорю „тушили", но в действительности это было совсем не так. Было невозможно сказать, куда огонь прорвется. Изолировали часть болота – но вдруг снаружи подымались тонкие струйки дыма, значит торф горел еще ниже глубоких канав или уже там горел, не показывая дыма. Работали и день и ночь. Николай Ермолаевич, закопченный, возвращался в Глубокое, только чтобы опять быть вызван-

ным на болото. Он был эксперт по болотным пожарам, но качал головой: „Черт его знает. Как нарочно проклятое болото нас надувает. Думали отрезали пожар, а он еще глубже лезет."

Гарь несло от лесов, горящих верстах в сорока от Глубокого, да вероятно и с болота.

Вдруг загорелись леса за шоссе, где-то у озера Велие, потом еще ближе, крестьянский лес, верстах в шести. Покатились из Глубокого телеги, бросили тушить болото, поехали тушить лес, болото все равно прогорит год, а может и больше. Рабочей силы никогда недохвата не было, если пожар. Люди за пятнадцать-двадцать верст приезжали помогать, чей бы лес ни был. Под умной рукой пожар повернуть можно к реке или озеру, окопать, да поджечь вереск навстречу пожару. Ветру было мало, только где уже разгорелось на длинном фронте – ветер собственный поднимался.

В начале июня поехали мы обратно в Хмелиту. Ехать к Зуйкову на шоссе почти что все лесом, но пожаров в наших лесах нигде не было. Помню, перед отъездом посмотрел на градусник, было 40 градусов Реомюра, барометр отчего-то показывал на „землетрясение". Выехали на шоссе, здесь была другая картина. Дым подымался от озера Велие. Горели казенные леса около Балашей. Между реками Великой и Алолей на обочине дороги разбиты палатки, стоят закопченные солдаты у полевой кухни какого-то саперного батальона.

Кучер спросил про пожары. „Да тут ничего. До Пустошки пожаров нет." – „А вы где были?" – „Да там!" – унтер-офицер указал на запад. – „До Великой дошел, потух, а сюда мы отрезали." Гарью тут несло очень сильно. Впереди нас шоссе – трудно сказать, далеко или нет – серое облако дыма на голубовато-сером небе. „А это что?" – кучер указал на облако. – „Да коли дальше Пустошки не едешь, то и беспокоиться незачем."

В Пустошке все были начеку. Жители высыпали на улицу и явно беспокоились. Стояли кучками, посматривая на затусклевшее небо. Солнце тут совсем было красное.

На вокзале нас встретили наши пустошские „антрепренеры", Мойша и Айзик Леви. Они сильно тревожились. „Да ви же приехали, а поезда даже еще не сигнализировали. Все горит. Ай-яй-яй как горит." Мойша и Айзик говорили в два голоса. Мы были единственными пассажирами на станции. Как видно, пожары задержали всех дома.

Московско-Виндавско-Рыбинская железная дорога не отличалась „фешенебельными" поездами, как говорил наш Иван Михайлович. Я даже не знаю, были ли „экспрессы" или „скорые" поезда на этой дороге, я их никогда не видел и даже не видел больших паровозов, хотя, вероятно, много народу должно было ездить из Москвы в Ригу. Единственный тип паровоза, который я на этой дороге видел, был типа „Р", просто увеличенный типа „О" паровоз,

вездесущий товарный, который встречался на наших дорогах от Архангельска до Одессы и от Варшавы до Урала. Эти паровозы „Р" были замечательны только тем, что на трубе их было что-то вроде кастрюльки – новинка, которая будто бы тушила искры.

С опозданием более часа появился поезд, „почтовый". Спереди на паровозе сидели два солдата. На ступеньках вагонов висели солдаты с секирами, кирками и лопатами. Все были закопченные, по их черным лицам полосками вниз прокатывался пот. Поезд остановился, с подножки вагона соскочил какой-то штаб-ротмистр с черным лицом и оторванным полуобгорелым рукавом кителя и крикнул: „Слезайте, ребята, тут вода есть."

Солдаты и унтер-офицеры, в белых летних запачканных рубашках с воротниками нараспашку, посыпались с подножек. Какой-то молоденький корнет подбежал к своему ротмистру и громко сказал: „Разрешите умыться, очень уж запачкался." – „Да ты времени не теряй, таким же арапом будешь, когда нас в Великих Луках сменят." К моему удивлению, это были те же петербургские лейб-уланы, которые так нарядно прогуливались по платформе в Ржеве. Теперь они выглядели кочегарами.

Пассажиры опускали окна вагонов и вдыхали чистый воздух. Братья Леви с носильщиком быстро нашли заказанное для нас купе. В вагонах была духота. Я спустил окно и высунулся на платформу. Проходящий ефрейтор сказал: „Как тронемся – закрой окно, малец, а то обгоришь." В вагоне сильно пахло гарью.

Солдаты весело бегали по платформе, шутили, как будто это был какой-то праздник. После второго звонка штаб-ротмистр крикнул: „По вагонам, ребята, и живей!" На третьем звонке поезд медленно двинулся. Он скоро увеличил ход, но ненадолго. Стал опять ползти. Я вышел в коридор и ахнул. Где весной стоял лес, теперь была какая-то черная пустыня с обгорелыми стволами то тут, то там. На земле лежали кучи пепла. Я спросил проходящего контролера, почему мы так ползем. – „Может шпалы обгорели, лес-то близко к дороге подходит."

В этой пустыне вдруг появлялись обгорелые трубы лесопильных заводов. Насколько было видно – тянулась эта пустыня, еще дымящаяся, хотя выгорело уже несколько дней тому назад.

Остановились в Майкове. Тут начальник станции бегал взад и вперед по платформе, что-то говорил солдатам, в ответ они только смеялись. Поползли опять. В вагонах становилось все жарче и жарче, и вдруг в первый раз я увидел огонь. Горел подлесник вырубленного когда-то леса. Огонь змейками бежал по земле, обжигая вереск и чернику, доходил до куста или деревца и как будто затухал. И вдруг куст вспыхивал огнем, дым поднимался лениво кверху и гудел сверх мерного звука колес. Я бегал из коридора в купе и обратно.

Было все больше и больше дыма: вентиляторы, которые дол-

жны были очищать воздух в вагонах, начали всасывать дым, и он расстилался под крышей. И вдруг мы въехали в пожар. Гул от него был ясно слышен. С левой коридорной стороны горел лес. Огненные языки шныряли по земле, иногда сбивались в пламенные костры и вдруг как какое-то зверище карабкались вверх по стволам, взрываясь в верхушках и осыпая тысячи искр кругом. Я не первый раз видел лесной пожар, но впервые обозревал его как будто из ложи. Пламя скакало, останавливаясь на секунду, и затем точно подстреленное бросалось вперед. Стояла большая ель. Пламя лизнуло ее ствол и вдруг как змея спиралью полезло вверх, и вся ель вспыхнула как свеча, объятая дымом.

Невероятный треск вдруг послышался, мне показалось, что ударило в наш вагон. Поезд сразу же остановился, и я из купе видел, как бежал ротмистр и человек шесть солдат куда-то назад. Я слез со столика, на котором сидел, и, чтобы удержать равновесие, тронул стекло окна — и отдернул руку. Стекло было горячее, точно кастрюля на печке. Вышел в коридор. И с другой стороны горел лес. По коридору шел контролер: „Да ничего, телеграфный столб упал на вагон за этим. Слишком близко их ставят." И пошел дальше. Следующий столб тоже горел. Становилось все жарче и жарче. В первый раз увидел людей, тушивших пожар. В пролесине копошилось человек сорок солдат и крестьян. Лошади попарно оттаскивали деревья и солдаты жгли вереск.

И вдруг мы выехали из пожара. Поезд ускорил ход, как будто хотел убежать от огня, и мы втянулись в Новосокольники. Все окна теперь были открыты, и 35-градусная жара снаружи казалась прохладой. Дышать в вагонах было трудно, пассажиры высыпали на платформу. Вид поезда снаружи был совершенно невероятный. Краска на вагоне поднялась пузырями, некоторые из них лопнули, и вагон выглядел, как какой-то синий леопард. Я хотел посмотреть поближе, но меня остановил солдат: „Не подходи, обожжешься." Солдаты и офицеры были как негры, с оборванными рубахами и кителями и завязанными тряпками руками. Но все были веселы, точно пожар был забавной экспедицией. Стояли вокруг штаб-ротмистра и все хохотали. Хотя в Новосокольниках тоже сильно пахло гарью, но пожара не боялись. Буфет был набит пассажирами и солдатами, пили чай и галдели.

В Великих Луках наш обгорелый конвой слез и их заменили офицер и солдаты того же уланского полка, другого эскадрона. Нам разрешили спустить окна. Говорили, что пожары теперь дальше, за Старой Торопой. Конвой наш теперь был чистенький, командовал им какой-то веселый и толстый поручик.

Хотя теперь вблизи дороги пожаров не было, солнце продолжало висеть в дымном тумане и было такое же красное, и гарью несло отовсюду. Поезд теперь шел быстро. Между Торопой, Двиной и Нелидовым опять горели леса, но далеко от железной дороги.

Столбы дыма поднимались то тут, то там. Подняли верхнюю койку, и я крепко заснул на ней. Проснулся только, когда стояли в Оленине. Тут уже природа менялась и была больше похожа на Хмелиту. Наконец – Ржев, мы пересаживались на „кукушку”, которая нас везла на нашу Николаевскую дорогу и вокзал. Солнце садилось, такое же красное и здесь. Стало немного прохладнее.

Наконец пришел петербургский поезд, с чистыми вагонами и двумя паровозами типа „А” скорых поездов нашей Вяземской Николаевской ветки. Я опять заснул и меня разбудили, когда мы были уже в Вязьме.

Совершенно не помню наш приезд домой. Как видно, было решено, что мы устали, и нам велели лечь спать до чая. Я сразу заснул на своей кровати, не раздеваясь.

Когда я проснулся – долго не мог понять, где я. Через щель в затянутых занавесях падал яркий луч солнца. Жара снаружи пробралась в отененную комнату. Спросонья я не сразу понял, что я дома, и оттянул занавесь. В открытое окно пахнуло сильно настурциями, и я вдруг понял, что я в Хмелите. Меня озарило невероятное полное наслаждение жизнью. Я никогда не забуду мое счастье в этот момент. До сих пор помню луч света и тяжелый запах настурций.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

В день рождения моего отца, 15 июля, у нас в Хмелите всегда бывал бал. Накануне съезжались издалека соседи и знакомые. Дом набивался за день и, если не хватало места, приезжие ехали в Григорьевское к Лыкошиным. Все ближние соседи приезжали прямо к балу. Ближними считались все те, которые жили в 30 или 40 верстах от Хмелиты. В этот год дом был набит. В июле служилые люди были в отпуску от своих полков. Поэтому было много офицеров и молодежи – студентов и юнкеров. Наши местные девицы наряжались в свои лучшие платья, пленять возможных женихов. Приезжали с ракетками для тенниса, привозили белые холстяные платья и башмачки без каблуков.

Гости отца нам казались в то время „стариками”, как пятидесятидвухлетний генерал Мезенцев или пятидесятипятилетняя толстая Бегичева из Дорогобужского уезда. К нашему удивлению, Мезенцев играл в теннис, а не ковылял как почтенный генерал. Приезжал, к нашему большому удовольствию, Гриша Волконский из Сковородкина.

В день праздника подкатывали коляски из Вязьмы с офицерами 3-го Тяжелого артиллерийского дивизиона и их женами. Всегда бывал невероятно толстый командир дивизиона полковник Зайончковский и младший брат его, капитан, с кучей молодых офицеров.

Погода в этот год была замечательная и странно было видеть артиллеристов в их темно-зеленых кителях.

Я совершенно не знаю, говорили ли старшие о возможности войны. Судя по веселости всех, вряд ли.

На балу я, конечно, не присутствовал. Он вероятно шел до раннего утра. К раннему завтраку пришли только немногие из молодежи. У моей старшей сестры была завязана рука. Оказалось, что во время мазурки ее руку зацепил шпорой лейб-улан Драшусов, с которым она танцевала. Уже к одиннадцати играли в теннис.

Обыкновенно празднества продолжались два или три дня. Но после раннего завтрака позвонил телефон. Я до сих пор помню недоумение всех. Полковник Зайончковский собрал всех своих офицеров и они ушли в кабинет к отцу.

Они, как видно, сразу заказали свои коляски, потому что коляски тут же появились у подъезда. Никто не ожидал, что они уедут. Но телефон звонил не переставая, приносили телеграммы разным людям с почты. Не дожидаясь обеда, в час дня все офицеры стали уезжать. Уехал и мой отец. Краем уха я поймал разговор о мобилизации. На другой день, 17-го, стали разъезжаться и дальние соседи. Я слышал, как молодой Бегичев разговаривал с братьями Печелау. Бегичев был студентом, но говорил, что поступит вольноопределяющимся в Ахтырский гусарский полк. Федя Печелау говорил, что пойдет на ускоренный курс Михайловской Академии и потом в конную артиллерию, а Дима говорил, что пойдет в Николаевское кавалерийское и выйдет в харьковские уланы. Наш сосед Беклемишев, который был в отставке, уехал в свой бывший 7-й Белорусский гусарский полк в этот день. К вечеру почти что все разъехались.

Тем не менее у оставшихся настроение было бодрое. Остались четверо молодых Раппов, сыновей главноуправляющего, и трое молодых Кузнецовых, братьев нашего управляющего. Они все были 18-23 лет, студенты, и все говорили, в какие полки они пойдут. Но все же никто не верил, что дойдет до войны. Молодежь после обеда разбилась на две партии. Обыкновенно играли по всему парку и в лесу в ,,казаков-разбойников", но на этот раз разбились на ,,союзников" и ,,противников". Каждый представлял собой одну из наций, а так как было больше восьми – Россия, Франция, Англия и Сербия, а с другой стороны Германия, Австрия, Италия и Турция – прибавили всякие другие нации.

И игра переменилась. Кто-то нашел в оранжерее длинные трости, собрали гниющие на земле яблоки и стали бомбардировать друг друга, насаживая яблоки на трости. Яблоки летели очень далеко. Я, как младший, был сделан ,,Италией", – считали ее самой слабой. Все это казалось шуткой.

Но 18 июля была объявлена мобилизация. Подъем духа был высокий. Объявилось много добровольцев, даже среди крестьян-

ской молодежи. Красивый малый Сергей Городецкий из Черемушников, бывший вяземский гимназист, сын сельского астронома, набрал 8 молодых крестьян и убедил их идти добровольцами в 13-й Военного ордена драгунский полк. Он сам пошел в Михайловское артиллерийское и вышел в конную артиллерию. (Последний раз, что я его видел в 1916 году, он был капитаном.) Обыкновенно рекруты перед отъездом справляли попойку, но на этот раз отправлялись в Вязьму трезвыми и веселыми.

Мой отец вернулся и почти сейчас же снова уехал. Он был в очень серьезном настроении. Все запасные из деревень и запасные офицеры уже уехали. Отец рассказывал нашему управляющему, Ивану Александровичу Кузнецову: „Мобилизация идет замечательно гладко. Наш дивизион уже удвоился с двух батарей на четыре и уже погрузился."

В Императорской Армии было, насколько я знаю, положение против территориальных полков, рекрутов отправляли в полки подальше от своей губернии. Но тут наши офицеры и солдаты все оказались в 13-м армейском корпусе в Смоленске.

19 июля Германия объявила войну России. Тотчас Франция объявила войну Германии. Через несколько дней вступили Австрия, Англия – все произошло так быстро, что мало кто увидел в этом начало великой европейской войны.

Моя мать сразу же уехала в Вязьму организовывать госпитали. После первого недоумения все вдруг заговорили о том, что война более шести месяцев не продлится, что немцев и австрияков раскатаем и скоро будем в Берлине. Настроение было всюду повышенное. У нас только французская гувернантка заливалась слезами. Ее брат, она говорила, был офицером в крепости Belfort. Она „знала наверняка", что немцы подкопались под Belfort и что его взорвут „avec mon pauvre frère". Сколько раз мы ни показывали ей на карте, что Belfort был в 18 километрах от немецкой границы, и что если она знала, что немцы подкопались, вероятно и французский гарнизон это знал, она продолжала всплескивать руками и говорить, что ее брат, наверно, на том свете.

Не зная, что отца моего нет, пришел наш местный урядник Александр Савкин – просить, чтоб отец помог ему вернуться в его бывший 7-й Белорусский гусарский полк. „Нужно мне вернуться в полк, я просил ротмистра Беклемишева это мне устроить, да он говорит, меня полиция не отпустит, и он теперь сам уехал в полк, может Владимир Александрович устроит." Мой отец ему устроил. На весь Вяземский уезд остался один стражник в Старом Селе. Действительно, „полицией управляемая страна"! Всего только 110 верст в длину и 85 верст в ширину на одного, ну да ведь он же был верхом.

Сразу же стали приходить известия об успехах нашей армии в Восточной Пруссии. Пал Гумбинен, пал Инстербург. На юго-западном фронте армия Иванова перешла австрийскую границу в Бродах.

Мой отец вернулся на один день в Хмелиту. Он был совсем не в том возвышенном настроении, как другие. Приехал к нам почти что прямо из Берлина Сергей Свербеев, бывший посол наш в Германии. Его разговоры с моим отцом за обедом были очень интересны. Я сидел развесив уши. Он рассказывал, что за две недели до войны была оживленная переписка между министрами иностранных дел и послами Яговым, Сазоновым, Делькассе, Лихновским и Свербеевым. Но канцлер Бетман-Гольвег не верил Лихновскому (немецкому послу в Лондоне), что Англия вступит в войну на стороне России и Франции. Он говорил: „Англия предала Россию и Францию во время Боснийского кризиса, поддержала Австрию, хотя уже принадлежала к Антанте. Она никогда не войдет в войну спасать русских и французов." Лихновский писал Ягову, что если начнется война, Англия вступит, – но не мог убедить сэра Эдуарда Грея объявить это официально, тот говорил, что это зависит не от него, а от парламента.

Австрийцы не обращали внимания на протесты России и Франции. Англия молчала. Ни Свербеев, ни Татищев, личный представитель Государя, снестись с Вильгельмом не могли. Бетман-Гольвег наотрез отказался сказать, где находится Вильгельм. Он был на своей яхте где-то в Норвегии, но Бетман не желал употребить беспроволочный телеграф. У Татищева было письмо от Государя к Вильгельму, умоляющее его повлиять на австрийцев и предупредить войну. Ягов, с которым говорил Свербеев, боялся Бетмана и уверял, что он ничего не может сделать. Свербеев поступил против всех дипломатических правил и поехал к главнокомандующему Мольтке. Он его хорошо знал и надеялся, что тот сможет повлиять на Бетмана. Мольтке его принял как друга. Он был страшно удручен. Он качал головой и говорил, что война будет самое большое несчастье его жизни. „Это просто преступление, но я ни австрийцев, ни Бетмана убедить не могу, мы даже не готовы к войне, да она и не нужна." Он говорил со слезами на глазах.

Свербеев рассказывал, как он три часа старался добиться аудиенции с Бетманом. Когда он наконец был принят, Бетман ему нагрубил. Императрица Мария Феодоровна была в Германии на курорте. Он просил Бетмана дать ей поезд в Данию. Бетман сказал: „Да у нас обыкновенные поезда ходят, пусть купит билет." – „Вся дипломатия пошла к черту, я никогда не чувствовал себя более бессильным, с Бетманом разговаривать было нельзя."

Позже нам рассказывал о начале войны и дядя Сережа Сазонов, тогда министр иностранных дел. Его вызывал Государь, страшно взволнованный. Он настаивал, что никакой войны из-за сербов не должно быть, надо нажать на Австрию. – „Ваше Величество, у нас с Австрией очень плохие отношения из-за Марченского эпизода." – „Это все пустяки. Марченко отозван. Насядьте на Ягова."

Государь, он говорил, был настолько против войны, что хотел

даже ехать увидеть Вильгельма, умолять его отречься от Австрии и австрийцев прижать. Несчастьем было то, что генерал Марченко, русский военный атташе в Вене, наладил с помощью какого-то польского офицера в австрийском Генеральном Штабе извещать о всех движениях австрийских войск и о всем, что случалось в армии. Это хотя и было дело военного атташе, но такого совершенного шпионства никто не ожидал. Австрийцы обнаружили, что русское командование знает обо всех их движениях, но не понимали, через кого. Это могло быть только через кого-то высокопоставленного. Они начали систематический контршпионаж, выдавая приказы, каждый раз исключая одного из своих штабных, и наконец открыли офицера-предателя. В тот самый день на приеме у Императора Марченко заметил, что Франц-Иосиф отвернулся от него и не поздоровался. Тут же с приема Марченко сел в поезд и уехал в Россию, до того, как быть объявленным персоной нон грата. Наш штаб сейчас же его отозвал, но его уже в Вене не было. Произошел неопубликованный кризис в сношении двух правительств и всякое влияние на австрийское правительство было потеряно.

Теперь, когда война началась, мой отец беспокоился о другом. Он говорил: „Куда мы лезем? Зачем нам лезть в Восточную Пруссию и Галицию? Отошли бы мы из Польши и оставили бы немцам поляков с нашей широкой железнодорожной колеей, это бы сразу же немцев и австрийцев ослабило. Государь обещал Польше независимость, поляки знают прекрасно, что ни от Германии, ни от Австрии они ее не получат, и станут мутить в тылу у неприятеля. А у нас уже построена оборонительная линия от Шавли до Каменец-Подольска."

Но все думали только о победах и взятиях немецких и австрийских городов. Все говорили, что война будет кончена захватом Берлина к Рождеству. „Ерунда! – говорил мой отец. – Увидите, затянется на три-четыре года."

И вдруг всех как обухом хватило – бой под Алленштейном и гибель Самсонова. В сражении участвовал наш смоленский 13-й корпус, наш вяземский дивизион. Знали только, что это было в Восточной Пруссии, в каких-то Мазурских озерах, и что корпус наш пропал.

„Зачем?! Зачем?! – кричал мой отец, – этот проклятый Жилинский спасает своих друзей французов. Ну и взяли бы немцы Париж, ну и что?" Вокруг винили Самсонова, но мой отец говорил: „При чем тут Самсонов? Ему приказано было наступать, что он мог сделать? Жилинский прекрасно знал, куда он его послал со Второй армией."

Известий от 13-го корпуса не было. Несколько дней никто об этом громко не говорил. Все были наши, все знакомые. Может быть, это неправда, может быть, просто потеряли сношение.

В те дни проездом заехал Суковкин, наш губернатор. За обе-

дом Суковкин говорил: „Я не понимаю, что Самсонов делал в Восточной Пруссии? Это же против всех наших планов войны.” Мой отец только сказал: „Его туда бросил этот негодяй Жилинский.” – „Да зачем?” – „Жилинский рука в руку с Жоффром.” – „А что ж Николай Николаевич?” – „Да он первостатейный дурак, а начальником штаба у него Янушкевич.” Суковкин покачал головой: „Неужели у нас хороших генералов нет?” – „Да есть, тот же Самсонов. Или Левицкий, Эверт.” – „Я больше всего уважаю Алексеева, он умница.” – „Да, он наш, вязьмич, начал свою карьеру как босоногий мальчишка, продавал газеты. Он великолепный генерал.” – „Ах, я этого не знал, он что – из рядовых?” – „Да, в Памирскую кампанию под Скобелевым отличился, произвели, а теперь генерал-лейтенант. У нас легко из рядовых в генералы попасть.”

Я слушал напряженно. До тех пор с алчностью читал „Русское Слово” и считал все наше высшее командование героями.

Прошло немного дней и гибель нашего корпуса была подтверждена. Из семнадцати офицеров 3-го дивизиона и соседей, бывших у нас на балу 15-го июля, четырнадцать были убиты и трое в плену. Из деревень вокруг много было убитых и раненых, а кто жив – в плену. Самсоновская катастрофа удручила всех.

* * *

Почти сейчас же после начала войны была мобилизация лошадей. У нас взяли приблизительно половину наших лошадей. Правда, лошадей брали свыше стольких-то вершков (не помню теперь, сколько). Мой отец давно уже хотел исправить качество лошадей не только наших рабочих, но и крестьянских. Он устроил еще в 1907 году наемку жеребцов с казенной конюшни. С тех пор у нас всегда стоял один жеребец битюг. Он менялся каждые два года. Это был, по правде сказать, не всегда удачный эксперимент. Мой отец хотел показать на наших кобылах повышение качества жеребят. Хотя случка крестьянам ничего не стоила, они долго не были убеждены. Да и у нас только 50% было удачных. Зато уж это были великолепные лошади. Наконец, с 1911 года крестьяне стали приводить кобыл.

Теперь именно этих удачных лошадей забрали по мобилизации. Крестьяне понимали военную нужду, но у немногих было больше трех-четырех лошадей, потеря двух из них была серьезным делом. На собрании решили сложить все полученные деньги и выбрали трех крестьян ехать скупать лошадей в Орловской и Воронежской губерниях. С ними поехал и наш староста. Мой отец дал ему кредитный билет на случай, если цены там были выше наших. Они вернулись через две недели с лошадьми.

Урожай 1914 года был великолепный. Иван Александрович Кузнецов, наш управляющий, заболел чахоткой и должен был уехать

лечиться. На его место из Глубокого приехал Николай Ермолаевич Ямщиков, к большому удовольствию всех в Хмелите. Были выписаны мананки, и девушек 30 приехали, как всегда, в многоцветных сарафанах и увешанные бусами. Однодворцам трудно было находить помощь с урожаем, и Николай Ермолаевич отправлял мананок к тем, кому нужно было помочь. Погода была настолько хорошая, что уборка шла легко.

В волостном совете было решено ввиду войны засеять на двадцать процентов больше озимого. Крестьяне правильно рассудили, что если железные дороги заняты военными припасами, то чем больше будет местного зерна, тем лучше. Когда вернулся мой отец, то крестьяне пришли обсуждать этот вопрос. Николай Ермолаевич сказал, что в Хмелите можно было бы увеличить площадь посева взамен второгоднего клевера, но надо заранее обдумать, какова будет рабочая сила во время будущего урожая. Крестьяне были оптимистично настроены, мол, война к тому времени кончится. Мой отец так не думал.

После несчастья в Мазурских озерах — военные удачи в Галиции подняли у всех настроение.

Я поступил в 3-й класс Вяземской гимназии. Когда начался семестр, я должен был жить в Вязьме. Жизнь там совсем переменилась. Вязьма и никогда особенно сонным городом не была, но теперь она превратилась в город, трепещущий энергией.

ВЯЗЬМА

Дома в Вязьме были такие же, как в других уездных городах. Все особнячки, со своими садами, с широкими досчатыми воротами во двор. Некоторые побольше — купеческие, другие поменьше — мещанские. Дома были почти все деревянные, а крыши железные, выкрашенные зеленым или красным. Большей частью в один этаж, но бывали и двухэтажные, как наш наемный дом Подберезких на Большой Бельской. Мои родители наняли его уже в начале столетия.

Некоторых моих одноклассников я знал еще до поступления в гимназию. Миша Векшин, сын купца-кожевника, часто бывал в Хмелите. Из соседних с нами деревень было два мальчика, Алеша Семенов из Барсуков, три версты от Хмелиты, я его знал, и Володька Щукин из Ломов, по дороге в Вязьму, — я его не знал, но знал его отца. Еще было два мальчика из Мартюхов, на полдороге в Вязьму, я их тоже не знал раньше, но все равно мы все были земляки. Яшка Ястребов, сын железнодорожного инженера, был седьмым в нашей группе. Ястребов был вожак и самый энергичный из нас. Он был энтузиастом „Всероссийского Общества Флота" и набирал членов. В нашем классе было 14, в старших еще больше.

Должен сказать, что учителя были очень хорошие, в особенности истории, географии, естественной истории и русской литературы. Раз в неделю приходила из 1-ой женской гимназии, которая была напротив нашей, Мария Александровна Рыбникова, говорить о литературе, особенно о поэзии. Ее энтузиазм заразил весь класс, и мы состязались друг с другом, выучивая дома наизусть Пушкина, Тютчева, Алексея Толстого. По математике я хромал и помню только раз за все мои годы в гимназии получил „4". Обыкновенно я был доволен и „3". Алгебру я совсем не понимал, геометрию немного лучше.

Классы были двойные – 3А и 3Б – по два в каждом классе.

Все, конечно, были алчными читателями газет, в особенности Немировича-Данченко в „Русском Слове", у всех были карты, в которые мы втыкали маленькие флажки, отмечая движения наших войск. Наши газеты (да иностранные тоже, мой отец получал из Англии „Times" – конечно, очень запоздалым) описывали войну каким-то „лубошным" языком. Это было странное порождение издательств – Сытина, Суворина и других. Им представлялось, что только так „простой народ", то есть крестьяне, могут понять этих интеллектуалов. Они печатали обыкновенно очень плохо нарисованные в ярких красках картины какого-нибудь происшествия. Под ними печаталось большими буквами краткое описание инцидента. Например, „Кузьма Крючков, донской казак, отбивающийся от 18 немцев, которых он зарубил, и получил Георгиевский крест." Или: „Лейтенант Свиньин, штурмом берущий немецкий крейсер „Магдебург" у Аландских островов." И картины представляли Крючкова верхом, размахивающего шашкой, одетого в довоенную форму, среди группы немецких пехотинцев, тоже в мирных формах, стоящих, падающих и лежащих. Или Свиньин, ведущий матросов с кортиком в руках, а матросы, отчего-то с винтовками со штыками, перелезают с нашего миноносца через борт немецкого крейсера (с тремя трубами вместо четырех).

Оба инцидента были, конечно, правдой. Крючков действительно отличился и получил Георгия. И действительно Свиньин и князь Вяземский захватили немецкий крейсер „Магдебург" после того, что наши крейсера „Богатырь" и „Олег" загнали его на мель и Свиньин захватил немецкую сигнальную книгу. Но на этих картинках все просто разделялось на наше геройство и немецкую пакость. Нас в них никогда не били, мы отступали только потому, что нам скучно стало там быть, или по какой-нибудь другой „хорошей" причине, и всегда на „заранее приготовленные позиции".

Кто этому верил, не знаю, во всяком случае – не „темные" крестьяне. Они обыкновенно говорили в таких случаях: „Шибанули нас там здорово немцы, небось наши драпанули, что пяток не видать." Но это нисколько их не поражало. Все драпают, и наши и немцы, когда их „шибанут".

Вдруг пришло письмо из германского плена от одного из ав-

деевских крестьян, и надежда, что остальные может быть тоже в плену, всех взбодрила. Моя мать хлопотала через Красный Крест узнать об остальных, но эти запросы шли через Швецию и это тянулось долго.

Дела в Галиции были удачны. Говорили, что тысячи австрийских пленных проходили через Вязьму. Мы с моим другом Мишей Векшиным ходили на вокзал посмотреть этих австрийцев. Действительно, пришел поезд, набитый пленными. Между ними, к нашему удивлению, был вагон, полный венгерцев. Не венгерцы нас удивили, а то, что они были в „венгерках", некоторые с ментиками. Наша конница вся была в защитных рубахах, а тут — венгерские гусары в нарядных довоенных формах.

* * *

Вязьма была довольно красива. Были остатки Кремля, обнесенные полуразрушенной стеной, в мое время там был женский монастырь. В 17-м веке в течение двух лет Вязьма была столицей России, когда царь Алексей Михайлович перевел ее сюда из Москвы, где свирепствовала чума. Здесь он построил себе дворец, от которого теперь ничего не осталось, кроме дворцовых конюшен и названия „Дворцовая площадь". Конюшни были низкие кирпичные, выбеленные, с маленькими окошечками и крутой щебняковой крышей. Они были очень длинные, шагов сто длиной, и занимали целиком одну сторону площади. На других трех сторонах стояли маленькие особнячки, окруженные садами и огородами. Площадь была травяная, некошеная, росли ромашки, колокольчики. Немощеная дорога обегала площадь перед домами. Весной дома тонули в цветущих яблонях, вишнях, сирени и жасмине. Там всегда было тихо, не помню ни телег, ни колясок, да и прохожие редко встречались.

Я часто бывал на Дворцовой площади, потому что был бешено влюблен в прелестную девочку, гимназистку 1-й женской гимназии. Ее звали Нина Щедрина, она была дочь машиниста паровоза-экспресса типа „Б" Московско-Брестской железной дороги. Он был замечательный человек, мать — очень гостеприимна и мила, были и младшие дети. Я постоянно ходил к ним пить чай.

В Вязьме было 27 церквей, разбросанных по всему городу. За площадью в фруктовом саду стояла маленькая Дворцовая церковь, белая с зелеными куполами. Очень старая церковь была в Кремле, но там был женский монастырь, и я никогда ее не видел. На Торговой площади под горой Большой Московской стояла Богородицкая церковь, совсем провинциальное „барокко", выкрашенная синим да коричневым, а купола — темно-синие со звездами. Была Никитская церковь на горе в конце Большой Московской. В ней с обеих сторон Царских Врат стояли какие-то нерусские деревянные статуи. Говорили, что это с того времени, как поляки заняли Вязьму

и превратили церкви в костелы. Отец Алексей говорил: „Не по порядку в православных церквах статуям стоять, но уж давно они там, теперь убрать нельзя." За Смоленским мостом — миленькая Смоленская церковка, была и большая Троицкая церковь, очень красивая, красная с белым, — да много, много было церквей, всех не перечесть.

В Вязьме было 35 тысяч населения, она была центром льняной промышленности, имела два спичечных завода и три кожевенных. Улицы были вымощены булыжником, и только богатые купцы перед своими домами вымащивали сами, кто торцами, кто асфальтом.

Купцы вяземские были исключительные. Нигде, думаю, в России не было собрания таких древних купеческих семей. В 1478 году великий князь Иван III завоевал Новгород, но новгородцы не угомонились. Много других походов на Новгород было и при Василии III и при Иоанне Грозном. После какого-то из этих походов москвичи решили, что Новгород никогда не угомонится, пока там сидит старое новгородское купечество. И выслали его в Вязьму. Достаточно было взглянуть на лист вяземских купцов, чтобы вспомнить древний Новгород, — Строгановы, Калашниковы, Лютовы, Синельниковы, Ершовы, Колесниковы, Ельчаниновы и т.д. В Вязьме семьи эти не долго сидели сложа руки — и снова разбогатели, торгуя льном и кожами с Ганзейскими городами.

Большие вяземские купцы стали льняными царями. Странно это было, потому что лучший лен рос в Псковской, Новгородской и Тверской губерниях на песчаной легкой почве. В Смоленской был суглинок, лен рос грубее. Но свозили его отовсюду, и Вязьма стала не только русской, но европейской льняной биржей.

Вдоль изгиба реки Вязьмы один за другим стояли кожевенные заводы. Вонь от них шла невероятная, но люди привыкли и как-то не замечали. С реки были видны огромные кучи сандальных стружек, точно красные пирамиды.

За Смоленской заставой было два спичечных завода, Ельчанинова и Синельникова. Они были очень разные. Ельчаниновский завод был, что называется, „последний крик". Его перестроили за несколько лет до войны. На вид — точно большущая оранжерея, вся стеклянная. Все машины новые, половина их автоматические. Внутри тихий гул электрических машин, всюду центральное отопление, рабочие в белых халатах — что твой госпиталь. Вокруг завода — новое поселение для рабочих, особнячки в садах.

Недалеко — Синельниковский спичечный, точно барак. Кругом в беспорядке разбросано дерево, какие-то тележки. Все неопрятно. Рабочие Синельникова жили в городе, кто где.

Ельчаниновские спички были в элегантных малинового цвета квадратных коробках, 2 на 2 дюйма и менее полудюйма толщиной. На них было написано „Фабрика Ельчанинова. 48 спичек". Синельниковские — в самых обыкновенных коробках.

И вот — непонятно — синельниковские рабочие очень гордились своей фабрикой, дружное было управление, никогда не жаловались на судьбу, а ельчаниновские постоянно корячились.

Льняные и кожевенные купцы были очень богаты. Присутствие этих семей было полезно для города, купцы состязались друг с другом, кто отличится благодеяниями. Михаил Иванович Лютов построил один из лучших в России госпиталей, Строганов — школы, Синельников оборудовал пожарную команду. Когда моя мать затеяла вяземскую библиотеку, все хотели строить ее своим именем и не могли согласиться. Только уже купив место, с трудом моя мать убедила всех купцов выстроить библиотеку совместно и заполнить ее. Вяземские купцы были не только богатые, но и щедрые, частый в России тип людей.

„Лютовский Госпиталь" стоял между городом и вокзалом. Лютов достал для него превосходного архитектора, послал в Швейцарию за новейшими медицинскими аппаратами. В палатах и операционных все углы были скругленные, чтобы не собиралась пыль. Из Италии выписал специалистов по каким-то особым полам. Стены были изразцовые. И уж конечно раздобыл Лютов лучших докторов и сестер.

На базарной площади была одноэтажная постройка — „Торговые ряды". Это была аркада с крытым проходом и лавками в глубине. Торговали там разные купцы и лавочники. Все эти купцы были или мануфактурщики или кожевники, но каждый день сидели у своих лавок, ничего общего ни со льном, ни с кожами не имевших. Торговали они всем нужным, в лавках висели сапоги, топоры, косы, сбруя, рогожа, молотки, гвозди, деготь, стояли бочки с селедкой, огурцами, да чего-чего не было. Там были рядом лавки Строганова и Калашникова. Один из братьев Строгановых всегда сидел на бочке перед своей лавкой и играл в карты с Калашниковым, тоже на бочке вместо стола. Придешь — „Ты зачем пришел?" — „Да мне гвоздей нужно." — „Да поди найди себе гвоздей, какие нужны, поменьше — те в ящиках, скажешь потом, что взял." В лавке люди ходят сами по себе, выбирают, сапоги натягивают, а хозяева и не смотрят. Тогда в России можно было так торговать. Знать, честный народ был.

Но старший брат Строганов, которого из года в год выбирали городским головой, был человек замечательно образованный, естествовед с европейской репутацией. Он был почетным доктором естествоведения Эдинбургского и Лондонского университетов, доктором университетов Гейдельберга и Лейпцига.

Кажется, в 1912 году он поехал надолго в Лондон. Брат его и Калашников решили его там навестить. Адреса у них не было, только знали, что он в Лондоне. Поехали, приехали, спрашивают — какая лучшая гостиница. Говорят им — Риц. Взяли комнаты, сели у окна на улицу и принялись играть в карты. Прожили там две недели

и решили возвращаться в Вязьму. „Черт его знает, что за город, две недели просидели у окна и ни разу брата не видели."

Носили вяземские купцы всегда темно-синие зипуны, такие же шаровары, сапоги и картузы. Подпоясывались шелковым плетеным кушаком. А если поддевка нараспашку — под ней белейшая из белых, шелком вышитая рубаха. А из лавки несет дегтем, рогожей, селедкой, но чисто все подметено.

В Вязьме, как и в других городах, были артели. Не знаю, с каких времен они пошли в России. Это были добровольные объединения 30-40 человек, но бывало и больше 50, и — поменьше артели, человек 12. Были „Строительные артели", „Курьерные артели", „Специальные" — которые занимались постройкой мостов, дорог, всякой механикой, судостроением. У них были невероятно строгие правила честности и высокое знание своего дела. Все знали: если артель взялась — все будет сделано, как подрядились. Мой отец говорил, что артель самая замечательная организация в России. Что артельщик — синоним честности и безупречности.

Кому нужно из Германии машины или из Сибири кедрового лесу — вызывали артель. „Вот, де, 500 сажен кедрового леса, по 12 футов на 9 дюймов, по дюйму в толщину, — знаешь, где достать?" — „Знаю." — „Так первого класса, смотри." Соглашались, сколько может стоить, и купец давал артельщику деньги без всякой расписки, а тот привозил из Сибири кедровые доски, да по лучшей цене. Никто никогда не беспокоился, что артельщик надует, такого не случалось. Большинство артельщиков были из крестьян, умные и честные. Уже в Англии старик-англичанин Стэнли Хогг рассказывал мне об артелях. Он 50 лет торговал в России, а до этого — его отец, у них были мебельные мастерские в Москве и Харькове, и все дерево и материалы они покупали через артели. Ни разу за свои 50 лет в России он не подписывал контракт. Он говорил, что Россия была единственная страна, где контракты заключались не на бумаге, а на словах. Сделки на 20-30 тысяч рублей делались за чашкой чаю. „Ни с меня, ни я — никогда расписок не брали. Сорок тысяч я раз дал артельщику, которого прежде не знал, и он мне привез заказ и дал отчет до последней копейки. Только в России можно было так торговать." Он лишь раз слышал, что какой-то купец был подведен артельщиком. Имя этого артельщика было опубликовано, и все деньги, которые купец потерял, артель вернула. Артельщика этого больше ни в одну артель бы не приняли.

На базарной площади в Вязьме стоял один городовой. Что он там делал, никто не знал. Второй был на Никитской площади, да на Сенной по четвергам, в торговый день, прогуливался городовой. Иной полиции я в Вязьме никогда не видал, но говорили, что городовых всего было 14. Сын одного был в моем классе.

Вязьма была вне черты оседлости, но евреев было много. Я точно не знаю, что позволяло тогда евреям жить вне черты оседло-

сти, но мне кажется, было правило, что любой еврей, если он имел какую-нибудь профессию, мог жить где угодно. В Вязьме, например, все три аптекаря, все шесть дантистов, не знаю сколько докторов, окулисты, нотариусы, многие лавочники, почти все парикмахеры, портные, сапожники были евреи. Я помню, на Троицкой было четыре дома рядом, на которых были медные бляхи — скажем, „Фельдман — дантист", но ни один из них дантистом, ни портным в действительности не был. Вероятно, они чем-то торговали, все это знали, никто им не мешал. В Вязьме было около 2000 евреев. В моем классе из 30 мальчиков 8 были евреи, и 7 из них сидели в первом ряду, потому что хорошо учились.

Учебных заведений в Вязьме было много. 1-я Александра III мужская гимназия, 1-я женская (напротив), 2-я женская на углу Московской, Реальное училище, Техническое училище, 1-е и 2-е Городские училища, да несколько простых школ. Я уже говорил, что моя мать все университет хотела в Вязьме устроить, да война пришла.

А что же сам город? Только в России могли быть такие контрасты. Мостовые были никуда не годные. Только в центре города тротуары были выложены плитами, на остальных же улицах — земляные, поднятые фута на два над мостовой. Река Вязьма была заброшена. Набережных нигде не было, берега в городе заросшие. Жалко было. Только на Бельской стороне, под обрывом, на котором стоял Собор, был лодочник, а так ни пристани, ни лодок не было, даже в Городском Саду. Весной Вязьма разливалась широко-широко по заливным лугам. Какая была красота — смотреть с соборного утеса на это огромное озеро, версты 2-3 в длину и с версту шириной. Между кожевенными заводами впадал в Вязьму Бобер. Мосты через реку были деревянные, старые.

Зато ночью Вязьма освещалась великолепно. Над улицами на канатах висели колоссальные электрические фонари, освещавшие улицы ярко, как днем. Город гордился электрическими афишами. Ночью на Московской над гостиницей Немирова крутилось колесо многоцветное. Над Немировским кинематографом мигали какие-то электрические перья и цветы. Над аптекой Краковского большая бутылка лила будто красную жидкость в стакан, который никогда не наполнялся. Над сапожным магазином Изразцова вспыхивал то желтый, то черный ботинок. Да много было причудливых афиш.

Ночью город сиял, как столица. Весенними и летними вечерами в Городском Саду до войны играл в раковине оркестр Тяжелого артиллерийского дивизиона. Под электрическими лампочками, свисавшими как груши с деревьев, гуляла вяземская молодежь. Под руку прогуливались гимназисты с гимназистками, подмастерья, солдаты, продавцы, чиновники со своими дамами. Сад мне казался слишком маленьким для Вязьмы. Я все мечтал, когда выросту, устроить парк, с большими аллеями, беседками, пристань и лодки для гуляющих.

Было и несколько замечательно красивых домов, сохранившихся при пожаре во время отступления французов и боя под Вязьмой. Были и новые кирпичные дома в три и даже в четыре этажа. Но это были дома квартирные, с хорошими квартирами, высокими воздушными комнатами.

Пожары в городе были редки. Может быть потому, что дома стояли далеко друг от друга, и между ними большие сады. Пожарная команда с высокой каланчой, против Городского Сада, на вид всегда была закрыта. На самом деле на каланче днем и ночью дежурил пожарный. Но я ни разу не видел пожарных, скачущих куда-нибудь, ни пожарных машин.

Во всех дворах были конюшни, коровники и сараи. Не знаю, Вязьма ли отличалась своими коровами, или это вообще так было в уездных городах, только коровы вяземские были одно загляденье. Часам к пяти возвращались стада с паствы. Я часто висел на окне, заглядевшись на коров. Ох, какие были великолепные! В Вязьме было четыре стада, насколько я помню, по ста пятидесяти, может и больше, коров. Бельское, Смоленское, Калужское, Московское. Пастухи собирали коров по утрам и пригоняли для дойки вечером. У всех к зиме сараи были набиты сеном и жмыхом. Лошадей, кроме рабочих, было немного. У некоторых – брички или дрожки, только у более богатых – коляски, обыкновенно в дышло, красивая пара коней. В них восседали разодетые дебелые купчихи, едущие на визит. Были и колясочки в одну лошадь у богатых магазинщиков.

По четвергам на ярмарку на Сенной площади тянулись отовсюду крестьянские возы с сеном и разной снедью. Иногда бывали и большие ярмарки на Торговой площади.

На Сенной стоял Городской Клуб. К нему принадлежало все купечество, банковские директоры, чиновники и т.д. Я там никогда не был, конечно, но отец мой бывал, когда решались важные вопросы, касающиеся города.

На той же Сенной на углу Калужской стояла центральная телефонная станция. У многих, многих были телефоны, и в городе, и в деревне. Позвонишь, барышня спрашивает: „Вы кого хотите – Петра Петровича или Марью Николавну?” – „Да Петра Петровича.” – „Так его дома нет. Подождите, спрошу. Даша, куда Петр Петрович шел, ты говорила? Ах, к отцу Алексею, иль может быть в аптеку. Подождите, я вам его найду, соединю.” Все знали. Кто где, кто у кого пьет чай, кто вечерком в клубе будет, да и все новости. На удобном месте телефонная станция стояла, все из окон видно. Да и вообще все друг друга знали, и – кто обручился, у кого дойная корова высохла, или кто ногу вывернул. Зла от этого никому не было.

Вокзал был с версту от города. Много народу приезжало в Вязьму по делам. Важная была станция, главная между Москвой и

Смоленском на Московско-Брестской железной дороге. Да кроме того в Вязьме кончалась ветка Николаевской дороги Лихославль-Ржев-Вязьма и начиналась Сызрано-Вяземская железная дорога. Пассажиры из Европы, едущие через Сибирь в Китай или Японию, пересаживались в Вязьме на Транс-Сибирский экспресс. В Челябинске поезд встречался с Петербургским экспрессом и, соединясь, шел через Сибирь. На вокзале был хороший ресторан, ну и, конечно, все проезжие покупали знаменитые вяземские пряники.

В Вязьме было много извозчиков. Стояли на Торговой колясок пять, да на Никитской пять или шесть. Остальные все — на вокзале. Извозчики были неплохие, а некоторые и отличные. Все они были большие психологи. Приедет кто, возьмет извозчика, а тот тут же разговорится, всегда они хотели знать, зачем кто пожаловал. Неинтересных — прямо в гостиницу Немирова везли, а кто поинтереснее, говорит извозчик: „Да вы, барин (или барыня), чем в гостинице останавливаться, к Колесниковым (или Строгановым или Синельниковым и т.д.) поезжайте, они вас гостеприимно примут." И правда, купчихи любили принимать приезжих. Любили побалагурить с кем-нибудь из столицы, да и просто из другого города. Извозчики никогда ошибок не делали, всегда хороших привозили. Тот же старик Хогг говорил мне: „По всей России ездил — кроме как в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе никогда в гостинице не ночевал, и ничего мне это не стоило, извозчик всегда кого-то знал, предлагал. Привезет — а тут что заблудшего брата тебя принимают. Очень гостеприимный народ."

Летом только офицеры со своими дамами на извозчиках катались. Но зимой те же извозчики запрягали пару или тройку в сани, и вся молодежь носилась по городу, как стемнеет. Гимназисты, гимназистки, чиновники, купчики — все катались под меховыми коврами.

У нас был постоянный извозчик Степан. Он нас всех хорошо знал, коляска у него была на резиновых шинах и лошади прекрасные. Нужен извозчик, звоним Немирову: „Что, Степан свободен?" — „Сейчас приедет." И сани-то у него были отличные, с лихой тройкой.

Извозчики все были монархистами и патриотами. Всех в городе знали, молодежи нашей лекции читали. Их слушали, умные они были.

В 1812 году авангард Милорадовича и Ермолова пробился после Малоярославца наперерез французам в Вязьму. Кутузов не хотел давать боя, но крыло армии дошло до Вязьмы, и Перновский полк под командой полковника Жеребцова перехватил французов в городе. Завязался жестокий бой. Целый день бились. Сильно пострадали французы, но и перновцев много перебило. Был убит и Жеребцов.

Были все перновцы похоронены на кладбище мужского мона-

стыря на Смоленской части. Красивые им поставили памятники, а самый красивый был полковнику Жеребцову. Невысокая бронзовая колонна, на которой сложены ружья, сабли, полусвернутое знамя, а надо всем этим кивер Перновского полка.

Не знаю, отчего была поговорка „глупая Вязьма, бестолковый Дорогобуж". (Смолян и вовсе звали „жженые оглобли" – никто не мог мне объяснить, почему.) На гербе Вязьмы была пушка и пирамида ядер – значит, шестнадцатого столетия герб.

Работы в Вязьме было много, и плата неплохая, бедности не было. Знал я много рабочих семей, учился с их сыновьями в гимназии, бывал у них в домах. Жили небогато, но сыто и опрятно. Всем хороший был город, богатый и живой.

* * *

И все же всякий свободный день я стремился из Вязьмы в Хмелиту. Мне еще не было и 12 лет, но мне уже поручали дела по хозяйству, потому что мои родители редко могли оставить Вязьму. Я был очень горд этим. Николай Ермолаевич теперь заправлял и Хмелитой и Глубоким. Он оставлял меня ведать скотным двором, выбором телят и нетелей. Крестьяне сперва относились ко мне с улыбкой, я просто был посыльный между ними и моим отцом, но скоро стали обговаривать со мной свои вопросы. Теперь мне смешно, что кто-либо мог считать меня в 12 лет достаточно испытанным, чтобы слушать мои мнения. Конечно, это случалось только когда не было Николая Ермолаевича.

Охотиться теперь почти не приходилось. Помню, в конце октября я приехал из Вязьмы, был какой-то праздник. Взял свою двустволку и пошел в Григорьевский паршевник. Паршевником у нас назывался тогда снесенный лес, где вырос кустарник из березняка, ольховника и елок. Накануне порошило. Дорога после распутицы замерзла и на лужах был лед. Облака высоко плыли по синему небу. Все ждали снега. Может быть и улежит. Были места в Бельском уезде, где приход зимы значил сообщение целых деревень с остальным миром. Они стояли на больших островах, окруженных болотами. Ну, пройти пешком еще туда-сюда, но на лошади – никак. Только зимой, когда все замерзало, сообщение возобновлялось. В селах вне болот по воскресеньям служили обедни на каланче в направлении отрезанных деревень. Эти деревни были маленькие, может по 10-15 дворов, далеко друг от друга, так что школ там не было. Но они сохранили свою древнюю культуру, крепостного права не знали, писали и говорили каким-то старым языком, но не церковно-славянским, а что твой Державин или Сумароков. Наши местные крестьяне говорили про них: „Да они чудаки какие-то!" Они пахали сохами и косили рожь и овес косами, а не серпами. Таких мест в России было много, в особенности на Севере.

Я шел с лягавой. Вдруг поднялся запоздалый вальдшнеп, и я – сам не ожидая – сбил его первым выстрелом. Лягавая его быстро нашла, и я вышел на лужайку. Вдруг выскочили из кустов два русака. Я поднял ружье, но за ними выскочили две тяфки, и я стрелять не посмел.

„Э, братец, я тебе оставил двух русаков, а ты их проштрафил," – из кустов вышел старик с одноствольным шомпольным ружьем. Я его раньше никогда не встречал. – „Ты что, хмелитский барчук?" – „Да, хмелитский, а вы откуда?" – „Я александровский", – он махнул, указывая на пень, и я сел. Он присел на другой пенек и взял у меня ружье. Это была хорошая 16-калибровая легкая двустволка. – „Э, братец, ты этим ничего не убьешь, рассыпает ружье, разве что одной дробинкой зацепит." – Я вытянул из ташки вальдшнепа и с гордостью ему показал. – „Так такую птичку и камешком сбить можно. Ты посмотри на мое ружье. Я им белку в глаз ударить могу." – Ружье было тяжелое, думаю, лет сто ему было, ствол привязан веревочкой да кремневый курок. – „Я просто плохо стреляю." – „Научишься." – Он долго смотрел на моего пойнтера, который разлегся на траве. – „Да и собака у тебя никчемушняя, в поле это еще туда-сюда, а тут в паршевнике, что рыбе на суше." Он, конечно, был прав.

Разговорились. Оказалось, что он старый матрос Черноморского флота. „Я еще мальцом во флот попал, под Нахимовым служил, вот был человек." – „Так вы в Севастополе были?" – „Да и в Севастополе, да и раньше. Мы еще до Севастополя с турками сцепились. Нахимов-то наш, его правнуки в Волочке живут, знаешь их? Он дома не сидел, как турки войну объявили, мы к Варне пошли. Там только мразь турецкая была, не то бриги, не то шлюпы. Их наш фрегат затóпил, да по форту дал несколько выстрелов. Пошли мы тогда к Босфору. Никого не нашли. Пошли вдоль берега. Эх, красиво было смотреть, как наши корабли да фрегаты растянулись на всех парусах. Обошли мыс, а тут что на параде, весь турецкий флот. Хорошие у них были суда.

Еще не успели повернуть в бухту, как заревели прибрежные батареи. Засыпали нас гранатами, точно закипело море. Кажись, „Параскеву" первую по марсу ударило. А наши ни гу-гу, повернули прямо на башибузуков. Загремели и турецкие корабли, и запылали некоторые из наших, так их турецкий огонь передернул. Но мы уже в бухту вошли, развернулись бортами и как ахнули по турецким судам, страшно было. И команд не слыхать было от шума. У нас лейтенант Изыметьев был такой, ему осколком руку левую по локоть снесло, а он кричит: „Ребята, по мачтам лупи нехристей!" Сам пушку наводит правой рукой, а кровь хлещет из пол-рукава. Вот какие ребята были. И загорелись турецкие корабли, а не перестали стрелять. У нас морская пехота по бортам рассыпалась, да все залпами по туркам бьет. А батареи призатихли, боялись небось по

своим дернуть. И, брат, жарко было. Кто насосы качает, кто порох в мешочках к пушкам несет, кто огонь тушит, всех осколками рвет, но не останавливает. Капитан наш прошел за нами, вся морда его в крови, кричит: „Не унывай, ребята, корабли их горят хуже наших!" Вот какой был, и убили бедного на бастионе, не прошел год."

Он свернул и закурил козью ножку и покачал головой. „Много они нам вреда наделали, но мы им хуже. Стали взрываться и корабли и фрегаты их, другие горели что соломенный сноп. Несколько, что поменьше были, выкинулись на берег, но им не посчастливилось, наши фрегаты и бриги разбили их, и все, что осталось в бухте, были балки да мачты. И сигнал взвился „Перевести огонь на батареи". Недолго они отвечали. Так и кончился Синопский бой, а мы ни одного судна не потеряли, но побиты корабли были здорово." Запах махорки, такой едкий в доме, приятно расходился в морозном воздухе. „Рей много перебило, паруса висели что тряпки, да и пробоин много было. Морскую нашу пехоту сильно звякнули да и у нас потери большие были. Много офицеров побило, они все по палубам разгуливали, ясно их сшибали", – он покачал головой. – „А адмирала нашего, весь в отрепьях остался, Бог сохранил как-то. Да ну... мы оттуда домой пошли, раненых на берег свозить. Вон, смотри, мне осколком палец оторвало", – он снял левую рукавицу и показал мне руку с четырьмя пальцами. – „Ну, пора этих двух русаков искать, что ты промазал", – он встал и ушел в кусты...

* * *

К Рождеству 1914 года лубочная картина войны начала исчезать. Уже никто не говорил о шести месяцах, о вступлении в Берлин... Изображения великого князя Николая Николаевича, бьющего жалкого карапуза Вильгельма сковородкой по голове, – ни на кого не производили впечатления. Войну стали принимать серьезно. Но газеты продолжали даже несчастья представлять победами. Пропаганда возносила Николая Николаевича почти в Суворова. Мой отец говорил: „Откуда Николай Николаевич вдруг мозги взял? Всегда был дураком и интриганом. Не понимаю, кому пришло в голову его назначить Главнокомандующим. Наверно, эти две черные ведьмы наинтриговали."

Кто-то спросил отца, кого бы иного могли назначить Главнокомандующим. „Да я не знаю, даже Иванов был бы лучше или Куропаткин вместо этой камарильи – Николай Николаевич, Янушкевич и Жилинский." И о генерале Гурко: „Он по крайней мере умный."

В Вязьме было не так легко с подходящими зданиями для госпиталей. 2-я женская гимназия, в которой училась моя младшая

сестра Марина, была переселена в несколько сравнительно маленьких домов, а здание превращено во 2-й госпиталь. Моя мать конечно сейчас же привезла из Москвы самых лучших докторов.

Векшины жили напротив нас на Бельской. Старший брат Миши был ротмистром в 4-м Мариупольском гусарском полку. Он вернулся в Вязьму перед Рождеством, раненый в плечо.

Он рассказывал, как их дивизия прорвалась под Калишем в самом начале войны и, не встречая почти никакого сопротивления, глубоко прошла. Помню, как мы спрашивали, почему они не пошли на Берлин. Векшин смеялся: что ж, мы думаем, что кавалерия с двумя конными батареями может пройти через целую линию фортов? „Это мы только лавировали между немецким ландштурмом. Мы много вреда им наделали и так, повзорвали много мостов и складов. Немцы скоро спохватились, и мы боялись, что никогда не сможем пробраться обратно. Да удалось около Ченстохова."

Пришли еще три письма от пленных до Рождества. Одно из них из госпиталя. Надежды поднялись. Моя бабушка подписалась для меня на так называемый „Детский Журнал", кажется, он назывался „Заря". В нем, как ни странно, военные действия описывались гораздо лучше и были великолепные фотографии, рисунки и даже карты.

Война с Турцией разыгралась на границе около Карса. Турки начали наступление, но были отбиты. Меня очень интересовала морская война в Черном море. В самом начале войны с Германией немецкий линейный крейсер „Гебен" и легкий крейсер „Бреслау" прошли под носом у англичан в Эгейское море и через Дарданеллы в Константинополь. У нас в Черном море ничего такого быстроходного не было. Теперь они выходили в Черное море и бомбардировали Одессу. Черноморский флот старался их отрезать, но немцы были слишком быстроходны. Только раз тихоходные броненосцы на короткое время столкнулись с „Гебеном" и, говорят, ударили его двумя снарядами.

В Балтийском море, после потопления немецкого крейсера „Магдебург" и гибели нашего крейсера „Паллада" от немецкой подводной лодки, мало что происходило. Говорили, что немцы несколько раз пробовали прорваться в Финский залив и будто бы потеряли несколько миноносцев.

Были и удачи и неудачи в Четырнадцатом году и у нас и у союзников. Тем не менее, дух поднялся опять к Рождеству. Верили еще в силу союзников. Письма с фронта были еще полны надежд.

Рождество 1914 и Новый год провели как всегда. Съехались соседи, катались с гор, танцевали и, хотя оставшиеся молодые веселились, горько чувствовалось отсутствие многих.

1915

Вскоре после Рождества Александр Савкин, наш бывший урядник и теперь старший унтер-офицер 7-го Белорусского гусарского полка, вернулся домой в Хмелиту с двумя ранами. Раны должно быть были легкие, потому что по приезде он сразу же стал говорить, что волонтировал в специальный корпус в Одессу. Никто не мог понять, зачем этот корпус формировался в Одессе, да и сам Савкин не знал. Когда я его спросил, почему он туда записался, он ответил: „Ну, если специальный, то значит что-нибудь интересное будет делать." Мой отец старался его убедить пойти на ускоренный курс в кавалерийское училище, но он наотрез отказался. „Что вы, Владимир Александрович, какой смысл, пока я там – война кончится." – „Увидите, не кончится, по крайней мере два года еще будет продолжаться." Но Савкин не верил.

В Вязьме все три госпиталя были полны ранеными. Моя мать сейчас же стала устраивать четвертый госпиталь на Малой Московской. За иключением „Первого" госпиталя, как теперь называли Лютовский, остальные три были земские. Работали все дружно.

В феврале англо-французская эскадра бомбардировала форты в Дарданеллах. Это произвело на всех большое впечатление. Все отчего-то думали, что союзники прорвутся через проливы в Черное море, и у нас установится прямое сообщение с союзниками через Средиземное море. Газеты были полны рассказами, как союзные суда разбили турецкие форты и вот-вот прорвутся в Мраморное море. Это казалось тогда дружественным действием союзных держав против Австро-Германии и Турции. Никто, конечно, не знал еще, что это была одна из самых дурацких операций за всю войну, и что ею союзники разодрали соглашение с Россией. Хотя правду об этой операции мы узнали только летом, лучше ее описать теперь.

Дядя Сережа Сазонов, тогда еще министр, приехал отдыхать в Хмелиту, кажется, в июле. Он был сильно разочарован. Помню, как он сказал моему отцу: „Я всю свою жизнь был в дипломатии и хотя я всегда знал, что „La diplomatie c'est un sale métier", никогда не ожидал, что поверхностно приличные люди могут так легко нарушать свое слово", и что „из союзников единственный человек, на кого можно было положиться, был Делькассе".

Оказывается, еще в 14-м году, когда началась война с Турцией, он подписал соглашение с французами и англичанами о захвате проливов и Константинополя. Вся операция была выработана нашим генеральным штабом и принята союзниками.

План состоял в том, что в начале апреля 1915 русский корпус под командой генерала Щербачева, собранный в Одессе, высадился бы в Мидии на турецком европейском берегу, и в то же самое вре-

мя англо-французский корпус должен был высадиться в Эносе на Эгейском море. Для дивертисмента должны были высадиться две дивизии союзников, на азиатском берегу у Сакарии и у Кум-Кале на азиатской стороне Дарданелл. Русские и союзники, встретившись около Адрианополя, должны были повернуть на Константинополь. Было две цели: не только захват Константинополя и проливов, но и изоляция Болгарии, которая клонилась к германской стороне. В Одессе и Крыму были уже собраны все нужные транспорты и 4 специальные дивизии.

И вдруг в феврале англо-французские военные суда подошли к Дарданеллам и внезапно начали бомбардировать турецкие форты.

Это известие было получено в Петербурге даже не официально от союзников, а случайно. Оно как бомба разорвалось в иностранном министерстве и в генеральном штабе. Сазонов немедленно запросил английское и французское правительство, отчего без всякого предупреждения союзники разорвали соглашение. Он получил только уклончивый ответ, что это было решение английского адмиралтейства. Дядя Сережа был разъярен этим и послал сильную ноту обоим правительствам. Протест, конечно, к тому времени не имел никакого значения. Помню, как мой отец сказал: „Ни англичане, ни французы не хотели нас в Константинополе, из-за этого и предали. Теперь они высадились в Галлиполи и бьются мордой в стену.” Эта глупость или скорее подлость стоила англичанам тысяч убитых, а проливы остались за турками. Ответственен за эту выходку был Черчилль.

То, что произошло, как будто в зеркале отразило такую же историю, бывшую на 108 лет раньше.

Тогда, в 1806 году, русский флот под командою адмирала Синявина был в Средиземном море. По соглашению графа Мордвинова с английским правительством Синявин и английский адмирал Коллингвуд должны были прорваться через Дарданеллы, высадиться под Константинополем и его взять.

Синявину эта операция совсем не нравилась, но приказ пришел из адмиралтейства и должен был быть выполнен. С десятью кораблями, фрегатом „Венус” и корветом „Шпицберген” он подошел к Тенедосу, куда через три дня должен был подойти английский адмирал Коллингвуд с тремя кораблями и фрегатами. Вместе они должны были на рассвете войти в Дарданеллы и прорваться в Мраморное море. Синявин погрузил в Корфу кроме своей морской пехоты еще 2000 солдат и снабжения на три недели. С ним шли пять транспортов.

Синявин знал, что турецкий флот состоял из 25 кораблей, и 14 фрегатов, но адмиралтейство ему сказало, что более половины этого флота было в Черном море и что черноморский флот адмирала Пустошкина его там удержит. Синявин этому не верил.

К своему удивлению, подходя к Тенедосу он вдруг увидел на

якоре флот, который он сперва принял за турецкий, но подойдя ближе увидел, что флот был английский. Он был ошеломлен видом этих судов. У многих были сбиты мачты, корабли были продырявлены. Сейчас же к нему с флагами приехал адмирал Дукворт. Он сказал, что заменил Коллингвуда и с большой неловкостью объяснил, что ему было приказано английским правительством прорваться самому, не ожидая Синявина. Он это сделал, подошел к Константинополю, к счастью там турецкого флота не было, но было затишье. У него не было ни десанта, ни свежей воды. Он послал лодки за водой, но они не вернулись, и, когда поднялся ветер, он вернулся к Дарданеллам. Здесь турки уже были готовы и только сильный ветер спас его корабли от полной гибели. Форты с двух сторон совершенно разбили его корабли.

Синявин спросил, согласен ли он попробовать опять прорваться, но Дукворт наотрез отказался. В своем рапорте адмиралтейству Синявин заметил: „Операция с самого начала была невыполнима. Англичане хотели выполнить без моей помощи. Мой флот в три раза сильнее английского и у меня десант, но я рисковать свои суда теперь не намерен, с тех пор, что англичане предупредили турок."

Совершенно то же произошло и в этот раз. Дядя Сережа сказал моему отцу: „Это бомбардировка была сделана нарочно, чтобы предупредить нашу высадку. Я думал, что на этот раз союзники видели дальше своего носа. Я сделал ошибку, что им поверил, и попросил Государя принять мою отставку". Но тогда, в феврале 1915, Государь не принял.

Наши войска продолжали наступать в Галиции. Как раз оттуда, с фронта, приехала весной Машенька Хомякова, младшая дочь Николая Алексеевича. Она была сестрой милосердия в полевом госпитале. Она была очень удручена, только что убили под Тарновым троюродного брата моего отца, Мишу Дмитриева-Мамонова, который тоже был на балу в Хмелите как раз перед войной. Оказывается, она была с ним обручена. Мы, дети, Мишу очень любили, он был забавный и простой.

Машенька рассказывала, что бои на Карпатах были очень тяжелые и потери были велики, особенно под Перемышлем и у тех войск, что спускались в Венгрию. Снег выпал рано в предгорьях Карпат. Наши войска захватили перевалы, но окопаться даже не смогли и должны были строить блиндажи из бревен, засыпанных снегом. Она была на перевязочном пункте на Дуклинском перевале, где редко было теплее 15 градусов мороза. Раненых отправляли на санях в Галицию как можно скорее. Но настроение армии все еще было бодрое.

Несмотря на войну жизнь в Вязьме текла по-старому. Первая женская гимназия, которая продолжала занимать свое собственное красивое здание, давала на масленицу бал, на который девочки приглашали своих друзей. Я надеялся, что меня пригласит Нина Щедри-

на, дочь машиниста, в которую я давно был влюблен. Она была на два года меня старше, весной я ее вечерами катал на лодке и дома у них бывал часто. Она меня пригласила. Молодежь очень веселилась.

Мы устраивали сбор на Красный Крест и с криками носились по городу. Переписывались с девочками довольно оригинальным способом. И нам и Первой женской гимназии преподавал Закон Божий отец Михаил. Он был очень строгий, очень большой и толстый, с большой белой бородой. Мы его прозвали „Бог Саваоф". Он носил огромную шубу с большими лисьими обшлагами. В эти обшлага мы и совали наши записки. Это называлось „Саваофова почта". Девочки отвечали тем же манером. Отец Михаил конечно не подозревал, что был купидоном.

Весной река Вязьма до входа в город разливалась почти на версту по заливным лугам. Только плакучая ива то тут, то там указывала настоящие берега реки. Мы любили брать лодки и с нашими возлюбленными гребли по разливу к лесам вверх по течению – собирать анемоны и фиалки. Земля в лесах была сырая и сильно пахла мхом и почками березы. Молодежь была романтична и наслаждалась свежестью весны. Трудно теперь представить современную молодежь, так невинно наслаждающуюся весной. У всех была тогда веселая надежда на будущее.

Мы с Мишей Векшиным постоянно ходили на вокзал смотреть паровозы. Во время войны поезда приходили отовсюду, с паровозами разных линий. Мы оба интересовались типами паровозов дальних линий, которых обыкновенно в Вязьме не было. Помню приход поезда с сибирскими стрелками, с колоссальным паровозом типа „4". Сибирские стрелки славились своей дисциплиной и упорством. Двигался весь корпус, поезд за поездом, шли через Челябинск и Сызрань на варшавский фронт. Стрелки были веселые. Вяземские дамы потчевали их всякими сластями и папиросами.

Паровозы были всякие – „4", „Ш", „Щ", с низкими трубами на огромных высоких котлах, сравнительно маленькими колесами, по шесть в ряд, что давало им колоссальную силу. Редко появлялись еще большие паровозы типа „Ф", с четырьмя колесами с каждой стороны, – все Сибирской железной дороги. Мы таких мощных паровозов раньше не видели.

Скоро в газетах появились сообщения о геройской защите Варшавы сибирскими стрелками.

Пока мы наступали в Галиции, вытягивались из Восточной Пруссии, немцы стали наступать на Варшаву, прорвались на реке Варте к Лодзи. Тут произошел один из тех невероятных счастливых случаев, которые редко выпадают командованию, но оно не сумело его использовать. Немцы прорвались на довольно узком фронте, и бросили в прорыв большие силы, больше дивизий, чем могли развернуться, к тому же не успели наладить снабжение. Наши армии на

Варте отрезали прорыв. Но мешок не был затянут. Командование Северо-Западного фронта оцепенело. Всеми резервными частями оно загородило дорогу на Варшаву, но оставило открытым северо-восточный выход. Немцы бросились на Плоцк-Новогеоргиевск, где никого не было. Спохватившись, русское командование бросило в пробел гвардейский корпус из-под Млавы, но поздно.

Так была пропущена возможность Мазурского сражения в обратном направлении. Это могла быть победа, игравшая роль в решении войны. А вышло, наоборот, что едва не попала в окружение крупная группа русских войск. Немцы нанесли невероятные потери гвардейскому корпусу. На обратном пути они совершенно расстроили и разрушили Вартенский фронт.

Тут впервые сказался наш недохват в снарядах и вообще в снабжении. Пала Варшава. И началось общее отступление, а попросту говоря — драп.

Количество раненых все увеличивалось. Моя мать решила построить пятый госпиталь, барачный, около товарной станции. Она вызвала нашего главного управляющего Андрея Ивановича Раппа и поручила ему постройку. Бараки строились с невероятной быстротой.

Во время войны в Вязьме появилась новая индустрия. Почти что все помещики, мужчины и женщины, имели какую-нибудь специальность, кто медицинскую, кто инженерную или архитектурную, женщины учились на докторов, или сестер милосердия. Ломоносов, один из наших помещиков, был инженер, но, как и большинство, профессией своей не занимался, а просто был сельский хозяин. Но когда началась война и он увидел, как задерживались военные действия, если неприятель взрывал железнодорожные мосты, он изобрел временные деревянные мосты, чтобы быстро восстанавливать железнодорожное движение. Мост представлял собой клетку, построенную из отесанных окреозотенных балок, в ширину одноколейной железной дороги и в длину двух железнодорожных платформ, на которые мост подымался подъемным краном. В начале войны Ломоносов представил свои планы Военному министерству, которое заказало ему постройку. Их строили в Вязьме около товарной станции. Первый из них был употреблен на реке Сан в Галиции. В России их называли „ломоносовские". Почти два года спустя английский инженер Бэйли изобрел такие же временные мосты и теперь они ходят под его именем, „Bailey bridge".

Уже к концу мая начались слухи о недостатке на фронте снарядов и патронов. Газеты винили Сухомлинова, называли его предателем. Винили и всех поголовно в правительстве. Обвиняли почти всех с иностранными фамилиями, говоря, что они немцы и что они нарочно тормозили снабжение армии. Говорили, что Ренненкампф немецкий шпион. Ренненкампф не только по-немецки не говорил, но кроме русского языка никакого другого не знал, и большую часть жизни провел в Сибири.

Летом наше отступление из Польши и Галиции продолжалось. Остановилось, только когда мы отошли к Риге на линию Западной Двины, Молодечно, Огинского канала и реки Стыри. У немцев продолжать наступление сил не было.

Настроение и в Вязьме и в деревне хотя было подавленное, но не отчаянное. Говорили многие – „давно надо было выпрямить линию". Никто не считал, что положение угрожающее. Армия отходила на расстояние, где немецкое снабжение не могло поддержать свою наступающую армию. Наш генеральный штаб до войны, предусматривая силу немецкой армии и правильно рассчитав, что немцы бросят против России 3/4 своей армии, действительно приготовил позиции, куда наша армия должна была отступить с самого начала. Эта линия шла от Шавли-Ковно-Гродно на Буге к Брест-Литовску на запад от Ковеля, к австрийской границе. Были приготовлены районы среди болот, как например Осовец, которые было сравнительно легко защищать, пока армия наша не была полностью мобилизована и вооружена.

Все это пошло к черту из-за глупости командования и желания во что бы то ни стало спасать наших союзников. Ворвались в Восточную Пруссию, полезли в Галицию, защищали Варшаву, вместо того чтобы следовать планам своего же генерального штаба.

Когда началось отступление, было уже поздно следовать плану. Только такие места как Августов, Осовец замедляли немецкое наступление.

В это время мои родители редко бывали в Хмелите. Оба были заняты в Вязьме и приезжали, вместе или отдельно, на день раз в неделю. Но тем не менее дом был полон.

Как и раньше, летом появлялся гувернер. Гувернантки жили постоянно. Они нас учили вне школы литературе, французскому, английскому, немецкому, истории, математике. Летом занятия были по два, по три часа в день.

В 1915 году должен был приехать студент по имени Найденов. В ожидании моя старшая сестра и я написали на бюваре в его комнате „Правила Хмелиты". „Во-первых, все в Хмелите сумасшедшие." „Во-вторых, никто ничему не удивляется." „В-третьих, мы всех принимаем радушно, и от них самих зависит, счастливы они у нас или нет." И под конец – „У Волков жить – по-волчьи выть."

Мы решили, что в зависимости от того, как Найденов это все примет, мы узнаем, какой он человек. Он приехал – очень большой, сильный малец, с бельмом на одном глазу и добродушным выражением лица. Пошел в свою комнату, вышел и сказал: „Принимаю все условия и буду выть по-волчьи." Мы сразу его полюбили. Он был прекрасный человек, веселый и предприимчивый.

Я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я скучал. Мы всегда были заняты чем-нибудь с раннего утра до позднего вечера. Если я не был занят коровами и скотным двором, то – засева-

ми, уборкой урожаев, молотилкой, лесничеством, охотой, изучением истории, собиранием камней, марок, жуков, запоминанием наизусть стихов, чтением. Меня интересовали истории полков и военных судов разных флотов.

К нам приехала на лето семья Белевских. Они были москвичи. Граф не приезжал, а графиня (тетя Маруся) с тремя дочерьми и сыном моих лет провели лето. Я никогда себе не представлял, что дети, жившие в городах, были столь наивны. Для них деревенская жизнь была так же непонятна, как мне городская. Они были воспитаны гораздо строже, чем мы, и даже отеление коровы для них было „открытием". Я думаю, что сперва они нас считали какими-то „варварами". Разговоры мои с моими сверстниками, деревенскими мальчиками, им, я думаю, казались неприличными. Это были две совершенно разные культуры.

Кроме них, проводил лето у нас дядя Сережа Сазонов и приезжала графиня Бобринская („товарищ Варвара"). Она, кажется, была эсерка и несла, как всегда, невероятную ересь, которой всех веселила. Мой отец ее страшно дразнил: „Варвара, ты забыла привезти с собою спицы." – „Да зачем они мне, я ж не вяжу." – „Как зачем? Чем ты будешь вязать, сидя у эшафота?" Она была сестрой милосердия, большая, толстая, и не замужем. Я не знаю, что с ней случилось, когда началась революция.

В то время приезжало много народу, на день, на два. Я слушал все разговоры за столом, не упуская ни слова.

Дядя Сережа рассказывал о довоенных переговорах, которые шли с Англией из-за Персии. Это было до войны. Немцы строили железную дорогу из Константинополя в Багдад и оттуда в Басру. Они договорились с турецким и персидским правительствами построить ветку из Моссула в Тегеран. Англичане этого страшно боялись. В Персии влияния двух держав – России и Англии, разделяли страну на северную русскую и южную английскую. Тегеран был в русской сфере влияния, и эта железная дорога касалась больше России. Россию это тоже волновало, боялись немецкого влияния в Персии. Поэтому Сазонов стал переговариваться с Германией и наконец уговорился с ними, что железную дорогу от турецкой границы до Тегерана будут строить русские. Англичане сейчас же обвинили Россию в том, что она вступила в сговор с Германией. Отношения между Англией и Россией сильно пошатнулись. Дядя Сережа говорил, что это было неудобно из-за Антанты. Чтобы улучшить отношения, устроили визит английского флота в Кронштадт. Он очень не любил английского посла Бьюкенена, который, он говорил, интриговал с кадетами и эсерами в Думе.

За обедом обсуждали разных политических деятелей. Мой отец, например, очень не любил Извольского, говорил, что он был „своекорыстный карьерист". Дядя Сережа его защищал и говорил, что он был очень умен и хороший дипломат. Мой отец говорил, что

он „мог быть и тем и другим". Мой отец считал несчастьем, что так внезапно умер Лобанов-Ростовский, в конце века бывший министром иностранных дел. „Был бы он жив во время Боснийского кризиса, он бы так англичан скрутил, что они не посмели бы после этого разрывать с нами соглашение." Дядя Сережа соглашался насчет Лобанова, но возражал, что у англичан и французов всегда извинение, что у них „демократия" и правительства меняются каждые четыре или пять лет, и они всегда ссылаются на перемену мнения публики. Мой отец говорил: „Договор, договор, и при чем тут мнение?" О Горемыкине отец говорил: „Он честный человек без всякого воображения и настойчивости." Про Хвостова-племянника: „Он умный прохвост." Много говорили о Столыпине. Оба соглашались, что Столыпин был единственный после Витте государственный человек. Мой отец даже говорил, что он был единственный великий деятель в Европе за последние сто лет. Дядя Сережа говорил: „Ты забыл Бисмарка." – „М-да, – отвечал мой отец, – но я его ставлю на третье место, после Сперанского."

Летом 1915 года первый раз случился недохват: отчего-то в течение месяца почти исчезла соль. Кооператив и лавка Синельникова продавали не больше одного фунта соли на семью в неделю. „Куда к чертовой матери соль исчезла, это поганые немцы все устроили, как будто моря высохли", – ворчал старик Семен Калинин. Все над ним посмеивались, но к третьей неделе стали ворчать и другие. Затем вдруг соли стало масса и все забыли о ворчании.

В 1915 году урожай был не ахти какой, но не плохой. Сравнивали его с исключительными урожаями 1911 и 1914 годов. Зато картофеля и свеклы было масса и лен был лучше, чем за многие годы, но цены на него упали, потому что не было вывоза за границу. Как ни странно, единственное, на что цены поднялись, было молоко, поставляемое в сыроварню. Крестьяне были очень довольны этим. Не знаю, как это случилось, вероятно сыр стали больше покупать в городах. Наш сыровар Шильдт сам стал больше платить, как видно приходы его увеличились. К осени подняли цены и на зерно, которое стали закупать государственные поставщики. Но в общем цены почти что не изменились с довоенного времени.

Как ни странно, хотя было меньше рабочей силы, хозяйство продолжало расти с той же скоростью, если даже не быстрее. Экономическая жизнь крестьян повышалась ежегодно с 1910 года приблизительно на 5-6%.

В Пятнадцатом году еще больше крестьян выселялись на хутора. Мой отец говорил, что со Столыпинских реформ к лету 1915 года 37% крестьян переселилось в нашем уезде, и запашка поднялась более чем на 30%. Многие деревни закупали лес и у помещиков и у казны. Большая часть земли вокруг деревень была закуплена крестьянами. Тем не менее продолжали выезжать на хутора, и за последние годы некоторые деревни уменьшились с 40 дворов на 25. В та-

ком случае общинная полосная земля деревни по новому закону продавалась тем в деревне, кто хотел увеличить свое поместье, и давало деньги тем, кто выезжал на хутора. Этими довольно сложными операциями заправляли Крестьянский банк и Волостное Управление. Конечно, это не проходило без жалоб, и тогда мой отец должен был людей мирить. В этом году кооператив говорил о постройке лесопильного завода на реке Вязьме, но кажется это было отложено до конца войны. В этом же году построили две сушилки и маслобойку. Вообще, во время войны кооператив оправдал себя в полной мере. Он закупал большими количествами все, что было нужно. Но все же земледелие пострадало. Многие из наших ушли на войну, и крестьяне и помещики.

Кто-то, приехавший из Петербурга, с ужасом рассказывал, что в какой-то булочной вместо белого хлеба был только черный! Остальное все было по-старому. Мой отец говорил: „Вот идиоты, как будто не могут есть черный хлеб. Поезда с юга нужны на военные припасы, а не на калачи." В смысле еды в деревне ничего не изменилось. Только не было ни вина, ни водки с начала войны. У нас это было незаметно, потому что никто не пил ни того, ни другого. Как было в трактирах, я не знаю, кажется пиво можно было покупать.

Магазины были так же полны, как и всегда, недостатка ни в чем не было. У нас, детей, все равно денег было по малости. От родителей мы никогда денег не получали, но иногда присылала бабушка. Раз только мы были богаты, не помню в каком году, но приехал дедушка Волков и каждому из нас дал по 25 рублей. Мы были потрясены! Три рубля мы считали богатством. Обыкновенно больше 25 копеек у нас никогда не было.

Пришла осень, я вернулся в Вязьму. В нашей гимназии был „Дискуссионный Клуб", к которому принадлежали ученики из всех классов от 4-го до 8-го. Теперь, когда я перешел в 4-й класс, я к нему примкнул. Встречались после уроков и иногда приглашали одного из учителей, обыкновенно Никитина, учителя естествоведения, или отца Алексея Афонского, который был очень популярен среди учеников. „Решали" всемирные вопросы, еврейский вопрос, говорили о политике, иногда о литературе. В мое время президентом был Краковский, сын одного из аптекарей. Никто никогда не вмешивался в наши дебаты. Я помню, раз пригласили Строганова, городского голову, дебат был о мостовых в Вязьме, очень плохих.

Отступление принесло из Польши много беженцев. До Вязьмы эта волна докатилась осенью, большинство были евреи, люди образованные, всякие специалисты. Но вдруг и в Хмелите появился какой-то польский граф с женой-испанкой и тремя детьми, на двух автомобилях. Я забыл, как их звали. Имение их было где-то по ту сторону Огинского канала. Они были невероятно чванные. Приехала моя мать и решила им дать весь верхний этаж крыла. Нас выселили

в комнаты для гостей. Я мало бывал дома, уже шли занятия в гимназии, но когда бывал дома, я их почти не видел. Детям их не разрешалось с нами играть. С места в карьер они стали жаловаться на наше устройство, говорили, что не привыкли жить в таких примитивных условиях, избегали встреч с нами. Слава Богу, они недолго пробыли в таких варварских обстоятельствах и уехали, кажется, в Москву. Мы над всем этим очень смеялись и были довольны их отъездом.

Но кроме людских беженцев появились звериные. Первое, что я слышал об этом, рассказывал мой друг Васька Савкин. Где-то за Дамановым, верстах в 20 от Хмелиты, стая волков напала на табун крестьянских лошадей. Ни я, ни Васька этому не верили. С каких пор волки стали атаковать лошадей, да к тому же осенью? „Это кто-то врет", – сказал Васька. Я с ним согласился. Но слухи об этих волках продолжались. Где-то они затравили двух нетелей. К нам в Хмелиту еще не появлялись.

В ноябре пришла делегация к моему отцу в Вязьму просить его устроить облаву. Мой отец объяснил, что во время войны ни у него, ни у соседей времени на охоту не было. Но крестьяне из дальних деревень настаивали. Тогда мой отец сговорился с докторами и офицерами запасных войск в Вязьме устроить облаву. На облаве убили двух волков, и я их видел. Совсем они на волков не были похожи. Они были какие-то поджарые, с большой щетиной на шее, задние ноги у них были гораздо короче передних и клыки гораздо больше, чем у наших волков.

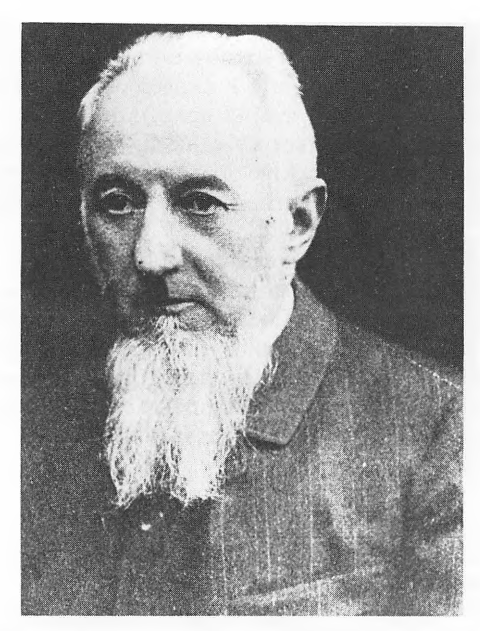
Появилось у нас в лесах тоже много вепрей, которые редко встречались до войны. Появились и туры, какие-то большие олени, да и лосей стало намного больше. Кто-то из крестьян застрелил рысь с круглыми ушами без кисточек, шерсть ее была покрыта большими пятнами. Таких рысей у нас тоже раньше не было.

Зейме, наш лесник, говорил, что они из Польши, а волки из Галиции и называл их „карпатские волки". К счастью, они куда-то ушли дальше после облавы. Из-за войны настоящих охотников осталось мало, и дичи стало гораздо больше.

В 1915 году летнего бала не было, но к Рождеству решили собрать в Хмелите всех оставшихся. Из военных дома были только Беклемишев, в отпуску, и Сергей Нахимов, который был ранен. Из неженатой молодежи никого не было, да и девиц-то почти не осталось, большинство были сестрами милосердия.

Из нашей семьи в этом году был убит Миша Дмитриев-Мамонов и сестра милосердия Варвара, дочь Александра Александровича Волкова, ярославского предводителя, была убита под Брест-Литовском. Многие погибли раньше, в 1914 году.

К концу года фронт остановился на линии далеко позади той, которая была приготовлена на случай отступления до войны.



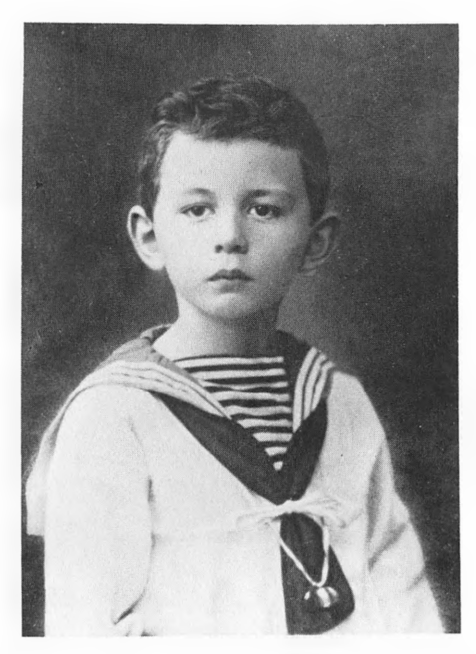
Граф Петр Александрович Гейден, дед автора



Владимир Александрович Волков, отец автора, вольноопределяющимся лейб-гвардии Конного полка в 1894



Варвара Петровна Волкова, урожд. Гейден,
мать автора, 1912



Автор в 1908, 6-ти лет



Старый дом в Глубоком,
сгоревший в 1908



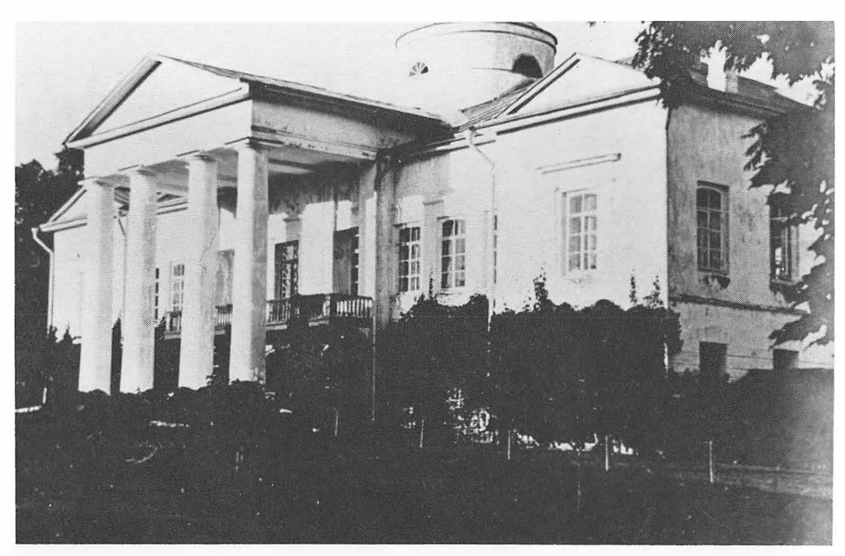
„Ангельское" стадо в Глубоком



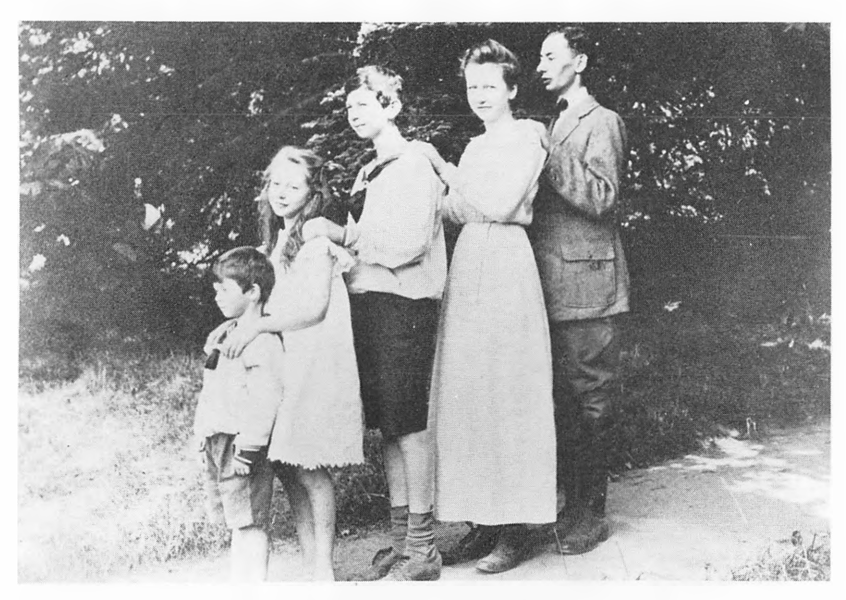
Сенокос. Глубокое, 1913



„Святые ворота", въезд в Глубокое.
Ярмарка в Панове



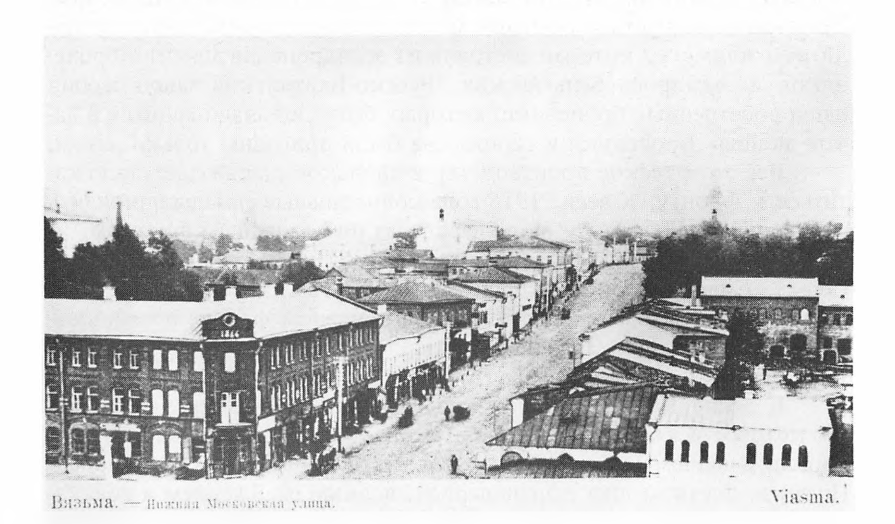
Дом в Хмелите



Дети в Хмелите в 1914:
Петр, Александра, Николай, Марина, Владимир



Раскопки в Глубоком в 1914



Вязьма. Нижняя Московская улица

1916

Когда начался 1916 год, никто еще не мог знать из газет, что та „неподготовленность к войне", о которой кричали газеты и в Думе, уже была на дороге к исправке. Нужно сказать, что эта „неподготовленность" вообще никогда не существовала. Никто – ни Россия, ни Германия, ни Франция не ожидали такой большой войны. Никто не ожидал армии в миллионы вместо сотен тысяч. Результат был тот, что все воюющие страны растратили боевой припас в первые шесть месяцев войны и оказались на бобах. Но немцы, французы и англичане, с их колоссальными инженерными заводами, быстрее нас пополнили свои зарядные ящики.

Еще в начале столетия Ванновский предостерегал, что так могло случиться в случае великой войны. Но его тогда высмеивали те же газеты, которые теперь критиковали отсутствие снарядов. Говорили, что он паникер, что никогда такой длинной войны не будет. Летом 1915 года наша армия отступила под давлением немцев. У нее не было ни снарядов, ни патронов. Но вдруг произошло чудо, которое мало кто оценил. Каждый маленький завод по всей России был превращен в завод для производства снарядов, патронов, пушек, пулеметов и винтовок. Даже в Вязьме, где были только маленькие инженерные мастерские, стали выделывать снаряды и патроны.

Правительство также стало закупать винтовки и амуницию в Японии. Говорили, что союзники будут нам присылать снабжение. Это оказалось пустым обещанием. Союзники действительно прислали нам подмогу, которая состояла из эскадрона английских броневиков и эскадрона бельгийских. Русско-Балтийский завод строил наши собственные броневики, которых было довольно много и в начале войны. Броневики в те времена были пригодны только летом.

Все это русское производство и японское снаряжение стало катиться к фронту. К весне 1916 года колоссальные склады появились за Западным фронтом у Молодечно и за Юго-западным фронтом.

Но в начале 1916 года фронт застыл. Ни мы, ни немцы не двигались. Сидели в окопах друг против друга и ничего не предпринимали. Теперь было три фронта. На Северном фронте командование часто менялось. Западным командовал Эверт, Юго-западным – Брусилов.

К весне 1916 года, несмотря на немецкое наступление на Ригу, которое в конце концов было отбито, дух у всех поднялся. Говорили о нашем наступлении в мае и все ожидали каких-то побед. Поезд за поездом шел с артиллерией, всяким снабжением и войсками в направлении на Смоленск. Все ожидали наступления на Западном фронте.

В мае произошел Ютландский морской бой. Все были в недо-

умении. Потери англичан были колоссальные, о немецких ничего не было слышно. Впечатление было, что немцы разбили англичан. Как это могло быть? Английский флот был в два с половиной раза больше немецкого. Английские тяжелые орудия были 13,5 -дюймовые и четыре броненосца даже имели 15-дюймовые орудия, а у немцев самое большое орудие было 12 дюймов, а у большинства 11. Неужели немцы стреляли настолько лучше?

У нас в Балтийском море и в Рижском заливе произошло довольно много маленьких морских столкновений. Но потери не печатали в газетах. Говорили, что потопили несколько немецких миноносцев.

В мае началось Брусиловское наступление. В то же самое время началось наступленис на Вильну. Никто не ожидал быстрых успехов, но вдруг наши войска перешли через Стырь. Австрийцы стали откатываться.

Полковник Смердов, который часто у нас бывал в вяземском доме, был вне себя от того, что происходило. Успехи на Юго-западном фронте развивались с невероятной быстротой. „Куда Брусилов лезет? – говорил Смердов. – Он опять, дурак, в Галицию. Его направление было на север, к Брест-Литовску, а он ринулся на запад, где легче. Уже перекидывают войска из-под Молодечно ему на помощь, когда главное наступление должно быть там, в тыл немцев под Барановичами, и на север, в тыл немецкого рижского фронта."

Мой отец тоже недоумевал: „Какая польза лезть в Галицию? Только никчемушних австрийских пленных брать, они и нам, и австрийцам обуза, чехи, венгры."

Действительно, поезда с пленными катились через Вязьму, и австрийцы из вагонов кричали – „братушки!". Их стало так много, кажется 400000 за лето взяли, что их некуда было девать. Уже, говорили, больше 2-х миллионов немецких и австрийских пленных было. Этих новых стали предлагать помещикам и крестьянам как рабочую силу. Прислали в Хмелиту шесть австрийцев. Крестьяне очень неохотно взяли двух, нам оставили четырех. За ислючением двух словен, которые были деревенские, – один у нас, один в деревне, – они были никудышные. Отправили четырех обратно. Они и косить даже не умели.

Мало-помалу молодечненский фронт застыл. Прорыв в направлении Вильны оказался совершенно напрасным. Все резервы были переброшены на Стоход. И немцы стали перебрасывать войска на юг.

Газеты, конечно, галдели о победах. Победы и были, но какую они пользу приносили, никто не знал. Перешли Золотую Липу, дошли до Гнилой Липы, взяли опять Станиславов, Черновицы, тем и кончилось.

* * *

В это время я первый раз прочел „Войну и мир". С одной стороны, я был совершенно поглощен романом. С другой стороны, он меня как-то беспокоил. Я себе твердил, что то, о чем Толстой писал, случилось 100 лет тому назад. Может быть, люди вообще себя так вели в те времена? – но я многих из них не понимал. В конце концов, такие же люди существовали в мое время. Те же Болконские-Волконские, Курагины-Куракины, Друбецкие-Трубецкие и т.д. Я их не узнавал. Никого, подобного Пьеру Безухову, я никогда не встречал. Я сказал это моей матери. „Ах, я конечно этих людей не знала, но Толстой принадлежал к поколению старших братьев бабушки. Михаил Александрович Дондуков, мой дед, был тоже самодуром." Это меня немного успокоило. Может быть, действительно, люди в те времена так странно себя вели. Некоторых я, конечно, встречал, Анна Павловна была чистый портрет многих дам, которых я видел в Петербурге. Мадам Архарова могла быть княгиней Васильчиковой и т.д. Но мужские портреты меня озадачивали. Особенно меня беспокоили описания военных действий. Мне отчего-то казалось, что Толстой армию не любил. Конечно, судить об этом я тогда не мог, я сам не знал человеческой реакции на страх. Но и не мог я себе представить Николая Ростова в панике, думающего о своей няне, матери, своем детстве и т.д. Самое описание боев было какое-то спутанное, как будто автор путался в действиях военных частей и не знал, например, описания Аустерлица. Австрийцы в его описании не играли роли. Но ведь нас разбили французы не только потому, что главное командование (австрийское) выбрало неподходящие позиции, а потому что не было никакой координации между частями и нашими и австрийскими, да еще при быстром движении французов.

Я часто думал о том, как быстро и без особенных причин меняются обычаи и мораль людей. Меня поражало многое в поведении людей прошлого поколения. Прочитав „Анну Каренину", я сказал моей матери, что, мне кажется, Толстой преувеличивал, люди так странно себя в жизни не ведут. Моя мать ответила: „Да в те времена предрассудки такие были, это теперь странно звучит."

У моей матери в общем был довольно широкий взгляд на вещи. Но и тут я вдруг наскочил на какой-то странный случай.

В 1913 году на летнем балу появились первый раз в Хмелите три старшие сына Печелау: Миша, Федя и Дима. Помню, как я был потрясен их появлением. Я никогда о них раньше не слышал, а они, оказалось, жили только в семи верстах от Хмелиты в Дулове и были племянниками подруги моей матери Евгении Юльевны Верден из Дернова. И никто никогда о них не говорил! Как это могло случиться?

Только много позднее я узнал причину и сперва ей не поверил. Отец Печелау был женат первым браком на мистической для меня Хмаро-Барчевской из Каменского. Она никогда нигде не появлялась. Печелау с ней разошелся и взял любовницу, Анну Юльевну, сестру Евгении Юльевны. Я отца Печелау никогда не видел, мой отец его отчего-то не любил, может быть из-за его взглядов, не знаю.

Но это в общем не могло быть причиной, у нас бывали всякие люди, с разными политическими идеями. Также не могло быть причиною, что Печелау жил в незаконном браке с Анной Юльевной. К нам приезжали разные люди со своими любовницами, и никто на это не обращал внимания. Так почему же тогда? Оказалось, что у Анны Юльевны с каким-то из ее пяти детей были очень трудные роды. Об этом услыхала Хмаро-Барчевская и сейчас же приехала в Дулово за ней смотреть. Анна Юльевна выжила, и жена и любовница остались друзьями. Что могло быть более гуманного и замечательного таких отношений? Но нет! Это был скандал!

„Это совершенно неприлично, чтобы жена и любовница дружили, а муж еще жив", – сказала моя мать. Печелау с женой развелись, и он женился на Анне Юльевне. Когда он умер, оказалось все приличным, и четыре сына и дочь появились в Хмелите.

При этом рассказе я вспомнил ужас моей матери, когда наша родственница Марианна Пистель-Корс, дважды разведенная, обедала в ресторане „Медведь" со всеми тремя мужьями вместе. Это страшно шокировало мою мать. „Да что ты говоришь, Марианна очень милая, а три мужа ее друзья, что тут плохого?" – говорил мой отец. – „Это совершенно неприлично!"

С тех пор мы видели Печелау часто. Какие странные бывают предубеждения.

* * *

С весны казалось, что урожай 1916 года будет хороший. Как ни странно, крестьяне боялись, что если будет хороший урожай, цены на зерно и лен падут. Когда мой отец приезжал в Хмелиту, крестьяне приходили с ним советоваться, что делать, если спроса на зерно и лен не будет. Мой отец с ними обсуждал эту возможность, и решили, что зерно нужно сушить, а лен, если не будет спроса, сложить на ригах. Кооператив согласился скупить лишнее зерно, и мой отец договорился с Дворянским и Крестьянским банками выдавать крестьянам пособие в залог льна. Это оказалось почти не нужным, потому что ввоз зерна с юга задерживался из-за недостатка поездов, нужных для армии. Мельники скупали рожь и мешали с пшеницей. Лен стали закупать все больше и больше морозовские фабрики в Твери и Богородицке на военное снабжение.

Я стал много заниматься хозяйством и часто ездил из Вязьмы в Хмелиту. Когда не было отца, крестьяне обговаривали со мной

свои вопросы. Большинство горожан и иностранцев совершенно не понимали крестьянскую жизнь. Они считали, что крестьяне все были бедные, жили в каких-то грязных, полуразвалившихся лачугах. Да, я видел лачуги. Почти что в каждой деревне был какой-нибудь крестьянин, который жил плохо. Это зависело от разных причин, по несчастью плохого здоровья, или от пьянства, а бывали и просто неумелые крестьяне, но это были исключения. Бывали и неумелые помещики. Все бывало.

Но большинство крестьян жило не плохо, а иные даже хорошо, лучше обеднелых помещиков. Со столыпинскими реформами таких становилось все больше и больше. После революции они все оказались „кулаками" и мало из них уцелело. Крестьяне отстраивались по традиции многих поколений. Раз какой-то иностранец сказал мне: „Бедные, бедные крестьяне, они живут в деревянных лачугах." Чего он ожидал? Каменных или кирпичных? И в тех и в других он бы мерз зимой и задыхался летом. У нас дурак-крестьянин в Хмелите отстроил себе кирпичный дом в 7 комнат, не продумал отопление и заморозил свою семью. Жаловался, что и летом дышать трудно.

Нет, избы строились продуманно и хорошо. Они были срубные, из 9-дюймовых бревен, у нас обыкновенно еловых. Конопатили мхом или паклей. Нижние бревна обжигались на костре, или клались в длинные корыта с креозотом, или вымазывались дегтем. Самое лучшее было первое. Полы и потолки были обыкновенно досчатые, из 2-дюймовых досок, и тоже законопаченные. Перед избы выходил на улицу в два-три окна. Сруб подымался выше потолка в треугольник, в котором тоже могло быть окно. Крышевая балка соединялась со стенами жердями. Крыши крыли или соломой, или щебняком, то есть досочками по футу длиной, пяти дюймов шириной и 3/8 дюймов толщиной. Чердак редко употреблялся.

План большинства изб был одинаков. Крыльцо чаще было во двор, а не на улицу, обыкновенно крытое и в три ступеньки. Дверь открывалась в небольшие сени, откуда направо вела дверь в „избу", так называлась передняя комната. В ней по внутренней стене была печь и лежанка. Обычно подле печи было еще окно на огород или фруктовый сад. Никогда не видел окон, выходящих на двор. Рядом с лежанкой дверь в „горницу", это была такого же размера вторая комната. Лежанка проходила через стену в горницу, печь, конечно, тоже. Отсюда была дверь на двор под навес. Еще две двери выходили из горницы, одна в кладовую, а вторая в „запон". Это был и склад для всего нужного и лишняя комната. Иногда в „запоне" бывал люк в полу, в который зимой набивали лед, — ледник. Двор обычно заключал в себе открытую площадку с колодцем, навес, сараи, скотник, конюшню.

В нашей губернии избы были замечательно чисты и опрятны. Окна открывались наружу и кругом окон были резные рамы, иногда очень красивые. Бывали и раскрашенные.

У каждой деревни были свои особенности. Например, в Марьино, по дороге в Вязьму, избы были поставлены саженях в двух от дороги. Перед избами были маленькие заборчики, за которыми летом росли громадные маки, красные, лиловые, почти что черные. В Мартюхах, тоже по дороге в Вязьму, почти у всех изб перед окнами висели ящики с красными и розовыми геранями. Черемушники славились своими штокрозами. В Барсуках и многих других деревнях гордились замечательными подсолнухами. В Хмелите была мода на львиные зевы и турецкую гвоздику.

В фруктовых садах у всех были яблоки, не ахти какие, но вишни и сливы были великолепные, и малина хорошая. В огородах чего-чего не растили, кроме картофеля и капусты, — брюкву, морковь, цветную капусту, черный корень и т. д. Квас выделывали великолепный. Кашу ели больше всего гречневую, но гречиху у нас не сеяли.

В каждой деревне была одна или две бани. Некоторые были отлично построены. Все зависело от старосты. Если выбирали хорошего, энергичного, деревня и бани были хорошие. В Черемушниках, например, всегда все в порядке было, даже мосты прекрасные. А в Марьино, с его красивыми садами, дорога и мосты были ужасные.

Дороги, за исключением „большаков", были на попечении тех, через чью землю проходила дорога. Например, в Григорьевском мост через речушку с одной стороны принадлежал Лыкошиным, и эта половина моста была новая и хорошая. Другая половина принадлежала деревне Александровское, и ее никто не чинил. Так что с александровской стороны мост в середине был на фут выше лыкошинской. Это была плохая система. За большаками смотрел земский союз, не ахти как хорошо. Мой отец много хлопотал о дорогах, хотел, чтобы постоянная артель была ответственна комитету волостных сходов за все дороги и мосты. Вопрос был, как эту работу оплачивать. Так как большинство крестьян прямых налогов не платило (земельный налог начинался только свыше 500 десятин), то пришлось бы за все дороги платить только помещикам и однодворцам. Городское управление деревенскими дорогами не интересовалось. Крестьяне и согласны были платить дорожный и мостовой налог, но очень трудно было справедливо его разделить. Поверстно — было несправедливо, полошадно тоже не выходило. В Гридине, цыганской деревне, у каждого было по 10 или 15 лошадей, но деревня была бедная. Так проговорили до самой войны, и ничего не было решено.

Споры среди крестьян очень редко бывали. И редко кто напивался, обыкновенно всегда те же. Почти в каждой деревне был пьяница. А так пили только в храмовые праздники да на Пасху с разговлением. Крестьяне были очень независимы, они были сами по себе. Помещик был для них только подсоба. У них не было ни чувства подчиненности, ни комплекса неполноценности. Они были просто люди, такие же, как, скажем, мой отец. У всякого человека были свои преимущества, кто был богаче, кто ученее, но это не поднима-

ло его на высшую ступень. Если бы это поняли наши либералы, которые жалели, а кто и презирали крестьян, и оставили бы их в покое, Россия никогда бы не голодала и не просила хлеб у иностранцев.

Чтобы пояснить крестьянский характер и наши отношения, я расскажу один эпизод, бывший еще до войны. В Хмелите скотный и хлебный двор были построены еще в 18-м веке. Это были кирпичные выбеленные постройки, и оказалось, что их возвели без фундамента. Это узнали только случайно. В стене хлебного двора появились две трещины, кусок стены между ними стал выгибаться наружу все больше, и мой отец, боясь, что стена может кого-нибудь придавить, решил свалить ее. Кусок был сажени две с половиной. Поставили изнутри две большие балки и толкнули. Стена рухнула, но только кирпича два-три отлетело. Это было удивительно. Стена оказалась кирпичной насквозь, 20 дюймов толщиной. Стали смотреть то место, где она стояла, а фундамента нет, стояла стена прямо на земле. Заинтригованный этой постройкой, отец очистил нижнюю часть стены, чтобы посмотреть, была ли стена построена ступеньками, потому что она стояла на склоне. Оказалось, совсем нет. Все нижние кирпичи были положены горизонтально и по склону просто прибавляли один кирпич. Все, кто это видели, были страшно заинтересованы. Кто-то предложил прочистить место, где стояла стена, залить бетоном и поднять упавшую стену на место.

Но к этому времени слух об удивительной стене разошелся по округе. Стала собираться толпа, не только хмелитская, но приехали из Барановичей да Барсуков. Ничто не собирало толпу у нас быстрее какой-нибудь трудной задачи. Сразу же пошли рассуждения да споры. Чем поднять? Как поднять? Треснет ли стена? не треснет? Мой отец очень любил такие случаи, он всегда оставлял толпе выбрать своего вожака. На этот раз наш кузнец, умный и умелый малый, выдвинулся вперед. „Два домкрата надо, веревок и лебедку." Но тут спор пошел, сколько стена весит. Никто согласиться не мог. „Да что ты, дурак, о весе рассуждаешь? Веревки или выдержут или нет, ну тогда новые достать нужно." У крестьян никогда ничего невозможного не было. Если не таким манером, так другим.

Откуда-то притащили два деревянных домкрата и лебедку. „Э, братцы, эти винты никогда не выдержут, а лебедка эта и твоей бабы с лежанки не стащит." Опять разгорелся спор. „Рычаги нужны." — „Это ты, брат, правду говоришь." — „Да где же лебедка большая есть?" — „Да на лесопилке на Вазузе есть, ты, брат, им позвони, може, там и большие домкраты есть." Тут крестьяне решили, что на Вазузе нет больших подвод, надо из Хмелиты послать. Все это делалось под предводительством кузнеца. Мой отец всегда любил видеть инициативу крестьян и рабочих. Какой-то крестьянин посмел сказать, что проще починить стену новыми кирпичами. На него все обрушились: „Да что ты, дурак, несешь, такой стены теперь не по-

строишь, а эта и стоить ничего не будет. Поднимем, да только заштукатурить."

За границей это трудно было бы понять. Сорок, пятьдесят крестьян, которых эта стена совершенно не касалась, которых никто не просил, сами пришли и проводили целый день, не ожидая никакой платы, морочась чужой стеной. Тут была интересная проблема „стена", и они о себе не думали.

Пока за лебедкой съездили, больше трех часов прошло. Все понемногу разбрелись, и мы тоже пошли домой. О времени возврата никто не говорил. Кто придет, кто не придет, об этом не беспокоились. Часа в 2 прикатили подводы с лебедкой и домкратами. Толпа уже собралась с веревками и рычагами. Когда мы пришли, кузнец объяснял, как обвязывать, где поставить домкраты. Человек 20 рычагом приподняли стену, пропустили веревки, подложили все четыре домкрата под доску. Уже никто не разговаривал, все дружно работали. „Владимир Александрович, вы за лебедкой присматривайте, да медленно подымайте."

Очень медленно стена стала подниматься, рычаги обратились в подпоры и наконец стена была почти что вертикальна, когда вытянули веревки и человек 30 двинули стену на место. Пока поднимали, месили известковый раствор и обмазывали наружные стены. Когда стена остановилась, подпертая с обеих сторон, все отошли и молча на нее смотрели. „Ишь ты, как строили, это известкой складывали, не то что теперь цементом." „Да, умелые мужики были", — сказал другой. „Ну, еще 200 лет простоит", — добавил третий.

Мой отец хотел заплатить за работу, но все наотрез отказались. „Да что вы, Владимир Александрович, мы жс забавились, да кой-чему и поучились." Долго после этого говорили о „стене". Стали говорить — „это до стены было" или „после стены". Люди были независимые. Они от моего отца ожидали такой же подмоги, когда им что нужно было, и деньги тут были не при чем. Нужны бревна или доски на отстройку — помещик даст, это было принято, и никто платы не ждал. Так и „стена". Общежитие.

* * *

В гимназии, в нашем „дискуссионном клубе" говорили все больше и больше о политике. У нас в 7-м и 8-м классах были всяких направлений ученики. Самые правые были из деревенских и из евреев, самые левые из местных вязьмичей, сын, например, директора Государственного банка был эсер. Сыновья рабочих были в большинстве кадеты. Яшка Ястребов из нашего класса, сын инженера, был ультра-правый поклонник Пуришкевича. Я лично и некоторые из наших крестьян никого не поддерживали, главное потому, что все направления несли невероятную ересь о „притоптанных крестьянах" и о „темных деревенских". Нас самих считали, наверное, ка-

кими-то „зубрами". Но все это было более в шутку и никто не обижался.

Многие из восьмиклассников еще весной пошли в ускоренные офицерские училища и возвращались в отпуск, щеголяя в прапорщичьих формах. Между прочим, Краковский, сын одного из наших аптекарей, еврей и страшный патриот. Помню, когда он приехал прапорщиком, все удивились. Наши все левые уверяли, что еврей офицером быть не мог. Я был сам удивлен и спросил моего отца. „Да что ж тут удивительного? И в мое время генерал Адельберг, флигель-адъютант, был евреем, генерал Базак, киевский губернатор, еврей, и смотри сколько в гвардии евреев, Мевес – конноартиллерист, барон Гинсбург – лейб-драгун, Шафиров и масса других. Если кто хотел идти в офицеры, то шли."

Помню, какие невероятные споры у нас были в клубе из-за того, что евреям мало отведено мест в университетах. „Да евреев в России только 4,5%", – говорил Петр Рыс, сам еврей и студент юридического факультета в Москве. „Врешь, 6%!" – „Ну 6%, так что же тут несправедливого?"

Осенью опять приехал в отпуск Александр Савкин. Он уже был подпрапорщиком со всеми четырьмя Георгиями. Брат его Борис был ранен и был в госпитале, кажется, в Рыбинске. Мой друг Васька, его младший брат, пошел добровольцем, и от него ничего не слышали.

В первый раз Александр был в довольно минорном настроении. Мой отец старался его убедить пойти в кавалерийское училище, но он отвечал: „Да что вы, Владимир Александрович, во-первых, теперь уже поздно, а во-вторых, я теперь наравне с эскадронным командиром, со мной теперь и дивизионный советуется, а вышел бы я прапорщиком, чем бы я командовал? Может быть взводом, младшим был бы во всем полку." Мой отец должен был согласиться. Подпрапорщик играл большую роль и в эскадроне и в полку. С ним полковой командир говорил как с равным по опыту, от него зависела дисциплина и традиция полка. – „У нас все в порядке, мы теперь в окопах сидим, но наши соседи – не солдаты, а какая-то мразь. Офицеры у них – у нас бы в ефрейторах не прослужили бы. Эх, довоенные бы полки были! „1088 запасной батальон", откуда они взялись?"

Это, я думаю, больше всего влияло на какое-то неопределенное настроение в Вязьме. Солдаты гарнизона были не настоящие солдаты. Будто бы стояла не то бригада, не то дивизия, никто наверное не знал. Имен у полков не было, все какие-то нумерные батальоны. Запасные чьи? Они сами не знали. Командовал ими какой-то генерал князь Вадбольский.

„Откуда его выкопали? – говорил мой отец. – Он последний раз служил в Тмутаракани в Турецкую войну, наверное." Начальник штаба полковник Смердов, настоящий офицер гренадерского корпу-

са, сильно израненный в начале войны, вздыхал: „Офицеры у нас тут – или калеки или военного выпуска. Половина из них и команд не знает."

Одеты и вооружены они были хорошо. Винтовки у них были все японские. Но когда выходили из города на тренировку, вид у них был какой-то невоенный.

„Нужно из старых унтер-офицеров производить, а не из этих студентов да учителей. Офицеры эти новые думают, что они какие-то привилегированные, а что солдаты темные и дураки. Произвел я старшего унтер-офицера недавно, а офицерье им гнушается! Не из нашего сословия, говорят, вот какая шваль пошла."

Встретил Городецкого из Черемушников, приехал в отпуск, приходил обедать с нами. Он уже был капитаном в артиллерии, командовал батареей. Он был в довольно хорошем настроении, говорил, что и на их фронте настроение хорошее, что пехота не ахти какая, но когда весна придет, все оправится.

Вступление Румынии в войну произвело именно то, что дядя Сережа Сазонов пророчил. Не прошло месяца, румыны покатились обратно, на Прут. Это открыло не только Румынский фронт, но и фронт против болгар в Добрудже. Нужны были войска теперь не только на нашем 2000-верстном фронте против австро-германцев, но и на эти новые фронты. Винили союзников. Это они насели на Румынию вмешаться в войну.

Приехала с фронта Машенька Хомякова. Говорила, что на фронте, где она была, на Стоходе, – хотя наступление остановилось, настроение было гораздо лучше, чем раньше. Снабжение хорошее, окопы и блиндажи построены хорошо, амуниции много. Только, говорила, пришли какие-то запасные батальоны, с какими-то псевдоофицерами, почти что без унтер-офицеров. „Совсем не похожи на бывшие полки." Потерь же было сравнительно мало.

В общем, впечатление было, что фронт остановился, но говорят о будущем большом наступлении весной 17-го.

Газеты постоянно кого-нибудь поносили. Говорили и говорят, что в России была сильная цензура. Как было до войны, я не знаю, я тогда газет не читал. Во время войны цензура была военная, это безусловно. Но о делах внутри России – чего только не печатали! Наш управляющий получал кадетскую газету „Речь". Наш сельский учитель, который был открыто социал-демократом (меньшевиком), получал газету „Труд", голос социал-демократов, которую он всем показывал и уверял всех, что Россией правило „3-е Отделение". Мой отец говорил, что он хороший учитель, но что он немножко помешан. Он постоянно был в панике, что его арестуют жандармы. Его ночной кошмар был генерал Курлов, который приедет в Хмелиту и его арестует. Тем не менее, он как-то выжил в Хмелите с 1910 года по 1918 год, когда его арестовали его единомышленники. У нас в доме было только три газеты – „Новое Время", „Русское Слово"

и „Русские Ведомости". Последние две за 3 рубля 50 копеек в год присылали подписчикам каждый месяц напечатанный Сытиным том по выбору, Достоевского, Тургенева, Чехова и т.д. Они были в бумажных обложках и на довольно плохой бумаге. В домах крестьян часто встречались эти тома, да и я сам собирал их в мою „частную библиотеку", которой был страшно горд. Выбирал всегда авторов, которых не было в нашей библиотеке, „Комедии Григорьева", „Романы Чирикова", Аверченко, Андрея Белого.

Политика, которой я мало интересовался, заполняла по крайней мере половину каждой газеты. Уже весной 1915 года стали появляться статьи, критикующие военное командование, Сухомлинова и правительство вообще. Кампаний против министров и генералов было много. Если и была цензура, то она их легко пропускала.

Но в конце 1916 года пошли другие жертвы. Появились намеки на царскую семью и ее окружение. Поползли слухи. Откуда они шли и кто их распространял, невозможно было сказать.

„Распутин назначает министров." „Государыня – немка и в связи с Вильгельмом." „Войну ведут Государыня и Распутин, а Государь делает все, что они ему говорят." „Государыня и Распутин сместили героя Николая Николаевича и сослали его на Кавказ" и т.д. и т.д. Многие намеки в газетах и слухи были даже хуже этих.

Я помню, еще в 1915 году мой отец спросил дядю Сережу Сазонова, какую роль играет Распутин? Тот подумал и сказал: „Роль, которую он играет, очень плохая. Но то, что о нем говорят, абсолютная ерунда. Он – умный прохвост. Он собрал кругом себя бабью свору, большинство приживалки, среди них некоторых ты знаешь. Откровенно говоря, я не удивляюсь, они всегда были дурами. Но большинство, Бог их знает, кто они, какой-то деми-монд. Плохо то, что среди этой камарильи некоторые прицепились к Императрице, это к несчастью все знают. Правда или нет, что Распутин помогает Цесаревичу, я не знаю. Он бывает во дворце только во время такого кризиса. Да там еще какие-то ворожилы есть, я даже не знаю, кто они. Во всяком случае, то, что Распутин играет какую-то роль вне этого, просто ерунда. Его Государь не переносит и послал бы к чертовой матери, если бы он попробовал вмешаться в политику и в военные дела. Но, – он обратился к моей матери, – у твоей подруги Зинаиды Юсуповой идиот сын, а его друзья, с позволения сказать, шваль. Они распускают слухи, мутят, ты сама знаешь интриганов в обществе, и этот прохвост Кирилл Владимирович, и Грабе, и эти две ведьмы Черногорки, и другие – повторяют всю эту ерунду. Нужно было бы сослать Распутина и всю эту камарилью на Сахалин. Но никто ничего не делает."

К осени 16-го Распутин, к несчастью, был катализатором всех сплетен, и этим сплетням многие верили. Почему после недавних „побед", которые так подняли дух всех, стали распускать такие слухи, я объяснить не могу.

Судя по Вязьме, это брожение было среди членов Земского и Городского союза. Моя мать отчего-то не беспокоилась, говорила, что „это все разговоры". Отец мой был более обеспокоен.

На Казанскую были в Хмелите, и приехал Алексей Николаевич Хомяков из своих Липец. Помню, как он говорил за обедом: „Был в Москве, там Земский Союз ужасную ересь несет. Львов, Шингарев, Рябушинский и другие говорят о каком-то „ответственном правительстве". Что они под этим подразумевают, я не понимаю. Отчего они не могут подождать конца войны? Все равно реформы будут. А теперь они такую кашу заварят, не дай Бог."

Мой отец соглашался: „Говорят, в Петербурге Бьюкенен с кадетами интригует, а Родзянко, я всегда говорил, дурак."

В декабре 16-го года пришла весть об убийстве Распутина. На меня она не произвела большого впечатления. Потому ли, что я был убежден, что Распутин, кроме как в царской семье, и то только у Императрицы из-за Цесаревича, не играл никакой роли. Многие из старших были ошеломлены, но никто сперва не выражал своего мнения.

Первый, кто заговорил со мной об этом, был Иван Михайлович, камердинер. Он вообще очень интересовался политикой, читал все газеты и выражал свои мнения очень свободно. У него был уравновешенный и спокойный взгляд на политику. По его мнению, Дума была „говорилка". „Им нечего делать, только брешут." Он говорил, что в Думе ни одного государственного человека не было, только брехуны. „Ну, кадеты и эти земгородники московские — это же прямая сволочь, только о себе думают, как бы в правительство попасть." Про эсеров и эсдеков — „это интеллигенты, начитались всякой дребедени, а в башке-то у них пусто". (О большевиках тогда никто не говорил, я думаю, даже их не знали.) Об убийстве Распутина Иван Михайлович выразился ясно: „Ну что такую скотину было бить, его нужно было в Сахалин отправить. Теперь вся думская сволочь к этому прицепится, победу бишь над Царской Семьей одержали, своими харями полезут еще чего требовать." Он был озабочен последствиями. „Нехорошо, ох, нехорошо."

Я поехал на день в Хмелиту. Яков, наш шофер, звал поохотиться с ним: „По снежку во фруктовом саду, зайцы да лисы, следов, что писцы расписались. Приезжайте, мы их стукнем."

Я часто с ним охотился и дружил. Автомобиля теперь не было, но Яков с семьей продолжал жить в Хмелите. Он тоже много читал и интересовался политикой. У него были очень определенные политические мнения. Он был невероятный патриот. Его не призвали, потому что он был единственным сыном. Тогда он хотел пойти добровольцем, но ему отказали по какой-то медицинской причине, и это ему было досадно. „Если я шофером быть могу, мог бы и броневиком управлять." У него были свои герои. Они все принадлежали Императорскому Автомобильному Обществу или Воздушному

флоту. Полковник Свечин, князь Оболенский, капитан Миклуха-Маклай, Сикорский, Северский, Нестеров... Он знал все их достижения и подвиги и был необычайно ими горд. В чистой политике у него было только одно убеждение: „За Царя и Отечество."

Когда я приехал, он был удручен вестью об убийстве Распутина. „Ох, нехорошо. Как могли будто бы преданные Государю и России люди опуститься до такого преступления? Если бы они были какие-нибудь каторжники, это можно было бы понять, но князь Юсупов да еще великий князь Дмитрий Павлович – это срам. Варваре Петровне это тяжело будет, подруга же ее княгиня Юсупова, матушка этого преступника. Видел его, когда мы три года назад в Архангельское ездили, никогда не подумал бы, что он такой развратник." Он считал, что это преступление против Государя и России, и что будут плохие последствия. Я отчего-то думал, что это только неприятный инцидент и что этим и кончится. Но Яков махал головой. „Вы подождите, это только начало, у нас предателей много сидит в Думе."

В гимназии мальчики думали, что „поделом" Распутина убили и считали Юсупова и Дмитрия Павловича героями. Думаю, что многие думали то же. Но этот инцидент разнуздал как будто всех. Стали говорить о переменах, все вдруг заговорили об „ответственном правительстве". Что это значило, никто не объяснял.

Приезжие из Петербурга говорили о каких-то реформах, о том, что Думу скоро преобразуют в подобие английского парламента и что правительство будет выбираться партиями, что оно будет ответственно только Думе. Шарапов, вяземский депутат в Думе, был на „правом фланге", намного правее Пуришкевича, скалил зубы с досады и говорил: „Эти мерзавцы хотят погубить Россию." Но таких в Думе было мало, – „нас, патриотов, всего шесть." Все остальные, он говорил, заразились какой-то „ревизионной болезнью". Мой отец ничего не говорил, только качал головою. Моя мать уверяла всех, что там было много умных людей.

Слухи об Императрице, о корыстности Протопопова, о том, что будто бы великий князь Николай Николаевич критикует командование Государя и т.д., росли не по дням, а по часам.

Мой отец говорил: „Ерунда, не Государь командует, а Алексеев. Он знает, что он делает, только Брусилова нужно сместить и назначить Гурко."

Все и думать забыли о весеннем наступлении, о котором так много говорили в октябре.

Рождество 1916 года было у нас совсем тихое. Мало кто приезжал даже из соседей. В хмелитской книге, где все приезжающие расписывались и записывали свои впечатления, – полный пробел на это Рождество, ни одной подписи нет. Только 4 января 1917 года пять подписей, и то все офицеров запасного эскадрона 18-го Нежинского гусарского полка, который стоял в то время в Хмелите. Он скоро ушел на фронт.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РЕВОЛЮЦИЯ

„ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ"

В январе 17-го года, за день или два до моего возвращения в гимназию, пришли два крестьянина говорить с моим отцом, но он сразу после Рождества вернулся в Вязьму. Они вошли в усадебную контору, где я сидел, просматривая дойную книгу. Уселись, стали разговаривать. Они пришли просить о каких-то бревнах, которые Шугинин, заведующий лесопилкой, отказался распилить им без согласия нашего управляющего. Управляющий им тоже отказал. „Всегда распиливали нам бревна, а тут новый управляющий с нами даже и говорить не хочет." Я знал, что мой отец рассердился бы, это услышав, позвонил по телефону Шугинину и просил пилить их бревна, сказал, что поговорю с управляющим. Шугинин возразил, что управляющий запретил ему пилить крестьянские бревна. Я ответил, что он еще, как видно, не знает и что я ему объясню.

Новый управляющий только недавно приехал заместить Николая Ермолаевича Ямщикова, который уехал на фронт. Он какой-то был странный, и хотя агроном, совсем деревенскую жизнь не знал.

Разговор зашел о политике. Крестьян волновало то, что они читали в газетах. „Да что ж это во время войны перемены какие-то делать, к чему это? Ваш батюшка что говорит?" — „Моего отца это тоже волнует." — „Нехорошо все это."

Мнение крестьян было, что „только наладили все, а тут стали опять в Питере варганить." Я, откровенно говоря, мало понимал, как вся эта катавасия в Петербурге могла касаться жизни в деревне. Но крестьяне думали иначе. Мнение их было, что если переменится правительство, прекратят столыпинские реформы. Один из крестьян, Гаршин из Баранова, говорил: „Вот сельский наш учитель говорит все, говорит: имения нужно разделить да мужикам раздать, а помещиков-то выгнать. Если такие там засядут люди, так разорят нас совсем. Скажут, что у меня больше земли, чем у Хорькова, отбе-

рут. А Хорьков-то пропил свою землю, всегда пьяницей был, что же ему еще давать?" По его мнению, столыпинские реформы и Крестьянский Банк дали всем возможность прикупить себе землю, если „человек хозяйственный". „Да у меня и сейчас хутор 545 десятин, больше этого мне не справиться. Один сын в плену, другой на фронте, а с младшим я и так только со дня на день справиться могу."

Это был вопрос экономический, а не политический. „А что мы без имений делать-то будем? Батюшка твой, когда я прикупил 90 десятин лесу, спросил меня, что я с ним делать буду. А я и не подумал. По его совету разделил на десятинные делянки, да после войны стану каждые два-три годы вырубать их, по делянке-то что стоит вырубить. Лет через сорок подлесник вырастет, опять лес будет. Ну, если дело пойдет, мои сыновья еще прикупить смогут."

Земли было везде достаточно. Маленькие имения, да иногда и большие, банкротились, земля продавалась. Только хорошо налаженные имения оплачивались, и без них второстепенным и плохим крестьянским хозяйствам было не прожить. Всегда был лишний заработок, да и в плохие года, в плохой урожай всегда за помощью в имение пойти можно.

Пока мы разговаривали, пришел управляющий. Он мне очень не нравился. Я не привык к подлизыванью и мне казалось, что он фальшивый. Я ему сказал, что позвонил Шугинину о бревнах, объяснил, что у нас всегда так делалось.

„Да, конечно, если вы разрешили, так это другое дело." Это меня разозлило. „Не я разрешил, это так у нас всегда делалось." – „Ну, я понимаю, такие уступки мужикам очень похвальны, это доброта..." – „Какие уступки, какая доброта? Никакой тут доброты нет. Это по общему согласию." Мне стало стыдно за него и неудобно перед крестьянами. Гаршин мне мигнул, оба встали и ушли.

„Тупой народ, даже не поблагодарил." – „Кто тупой? Они прекрасные хозяева и умнее вас." – Я со злобы ему нагрубил и тут же раскаялся. – „Простите, вы просто не понимаете." Я спорить с ним не хотел, он был в три раза старше меня, но по моей оценке дурак. И я сам почувствовал, что дураком буду с ним связываться и выходить из себя. И мне было приятно, что крестьяне со мной говорили, как со взрослым.

После убийства Распутина все как будто замерло. Все вдруг замолчали, будто испугались. У нас в Вязьме было несколько социал-революционеров и социал-демократов, и они тоже замолчали. Недели три о политике никто не говорил.

В феврале 1917 года в газетах появились рассказы о стачках в Петербурге, потому что не хватало хлеба и он стал по пайкам, будто бы 2 фунта на человека в день. (Через несколько месяцев это показалось бы смешным. Даже в Вязьме к лету появились пайки и хлеб упал до 3/4 фунта на человека. Мясо просто исчезло, но еще никто не голодал.)

Вдруг началась революция в Петербурге. В Вязьме даже социалисты сидели с открытыми ртами. Никто не верил. Газеты были полны известиями о том, что Государь отрекся, что в.кн. Кирилл во главе гвардейского экипажа с красными розетками шел к Думе ей присягать.

В Вязьме был основан комитет для управления городом и уездом. Состоял он из городского головы, директоров четырех гимназий, главных врачей госпиталей, моих отца и матери и многих других. Полиция переименовалась в милицию (их всего было 16 на город и уезд), и все будто осталось по-старому.

Приказ №1 по армии произвел удручающее впечатление на всех. Мой отец говорил: „Уже четвертый год не было правительства, заседали в Петербурге какие-то расхлябанные мешки, а теперь еще хуже: расхлябанные либеральные идиоты!" Действительно, результатом приказа была разруха в армии. Потянулись поезда, полные дезертиров. В Вязьме, как и везде, образовались Советы солдатских и рабочих депутатов. Начались митинги, на которых кричали о „мире без аннексий и контрибуций". Никто, конечно, не понимал, что это значило. Все меньше и меньше людей ходили на эти митинги, и Советы состояли из каких-то неизвестных, не вязьмичей, и не играли никакой роли.

После Пасхи я поехал в Хмелиту. Сразу же по приезде моем пришло много крестьян из Хмелиты и соседних деревень. Я знал почти всех. Четверо были отцы моих одноклассников, с которыми я дружил, потому что мы были из деревни и говорили, и думали, и пели тем же языком. Из горожан в моем классе я дружил только с Мишкой Векшиным и Ястребовым, но в старших классах у меня было довольно много друзей, среди них Петр Рыс, сын маленького портного-еврея. Крестьяне пришли просить, чтобы мой отец вернулся в Хмелиту, мол, приехали какие-то три типа, высадили старосту сельского и образовали Совет. Они все были вооружены и диктовали крестьянам, что и как делать. Я объяснил, что отец мой никакой власти не имел и ничем им помочь не мог, но они мне не поверили. Говорили, что нам гораздо безопаснее в деревне, чем в городе, и что в случае чего они нас защитят. Это мы все знали. Помещики, те, которые не были в армии, все жили в своих имениях, как и раньше.

По приказу Временного правительства крестьяне могли требовать от нас землю, сколько им вздумается. Но и это никакого влияния не имело. У нас было 5000 десятин, но только 18 десятин крестьяне Гридинской деревни, в 10 верстах от нас, потребовали, и то все лес. Конечно, у нас Столыпинские реформы шли довольно удачно. Почти все крестьяне, которые хотели стать однодворцами, уже стали ими до войны. Мой отец, который поддерживал реформы, отделил более 900 десятин однодворцам. Большинство предпочитали оставаться в деревнях с межевой системой. В наших краях земли у крестьян было довольно много, а также и леса.

Через неделю после моего приезда какие-то два типа из местного Совета пришли ко мне и потребовали, чтоб я немедленно уехал. Это так напугало моего гувернера, что он ночью сдрапнул в Вязьму. Крестьяне как-то узнали об этом визите и пришли меня уверять, что Совет не посмеет что-либо сделать, и уговаривать, чтобы я остался.

Скоро я должен был вернуться в гимназию. К этому времени Керенский стал премьером. Начал формировать „ударные батальоны" из добровольцев. В конце летнего семестра я как-то был на вокзале и увидел поезд, набитый солдатами, совершенно не похожими на тогдашних. Солдаты в Вязьме были совсем недисциплинированные, стояли кучками на улицах, реквизировали крестьянские подводы, приезжавшие с провиантом и сеном, и ничем за это не платили. Солдаты в поезде были как регулярные войска, как в старое время. Оказалось, это были части Кавказской кавалерийской дивизии, ехавшие с кавказского фронта в Галицию. Я пошел с ними разговаривать и сразу же решил убежать на фронт. В поезде находился 3-й эскадрон 17-го Нижегородского драгунского полка, полка, в котором я всегда хотел служить. Это был полк имени моего прадяди, бывшего главнокомандующего на Кавказе. Я быстро побежал домой, оставил записку и вернулся на вокзал. Меня приняли солдатом в полк, и мы покатили в Галицию. Военных действий я видел немного за пять недель, что я там был, ходили раз шесть в разведку, сидели в окопах. Раз ходили в контратаку. Справа от нас был какой-то 1019 запасной батальон, который отказывался принимать участие в войне, слева был эскадрон Тверского драгунского. Это уже была не война, а фарс. Австрийцы нас иногда крыли артиллерией. Как видно, мой отец что-то сделал, и меня вернули в Вязьму. К моему удивлению, ни отец, ни мать меня не ругали, как я ожидал. Отец только сказал: „Подожди, когда будет настоящая война. Ты успеешь попасть".

Из-за этой авантюры мне нашли нового гувернера, с которым меня отправили в поездку в Черниговскую губернию. Он был рекомендован моей теткой Фредерикс, был болгарин и, как она, очень религиозен. В Глуховском уезде была коммунальная организация имени Нечаева, как видно, толстовца. Коммуна занимала имение Нечаева, которое он им подарил. Мы туда приехали, и мне сразу же не понравилось. Они были совсем не православные. Жили очень удобно каждый в своем доме, называли друг друга „брат" или „сестра". Мы остановились в их доме для приезжих, там было человек десять.

По дороге обратно, в Тихоновой пустыни, где мы должны были пересаживаться на Сызрано-Вяземскую дорогу, было очень много крестьян, возвращавшихся домой. Многие были в Москве, говорили все друг с другом шепотом, явно беспокоились. Я подошел к одной группе и стал слушать. Что-то случилось в Москве. „Что-то случилось" стало выражением того времени, когда не знали, что именно

происходило. Как всегда, в толпе появился „всезнайка", молодец лет восемнадцати, говорил громко: „Вы, дурье, подождите, они вас прижмут, последнюю корову отберут, они вас так ахнут, что не очнетесь", и т.д. Все слушали испуганно. Тогда уже „они" и „мы" вошли в язык. „Они" были керенщина, социал-демократы, советы, которые притесняли крестьян. Меня это очень забеспокоило, стал расспрашивать. Говорили, что в Москве дерутся, но кто с кем, никто не знал.

В это время подошел поезд с юга. Оказалось, не наш, а военный. Один пассажирский вагон, теплушки и платформы. Из теплушек выскочили очень чистые солдаты с ведрами. Унтер-офицер крикнул им: „Шевелись, брат, смотри напой лошадей быстро!" Солдаты бросились к крану. В вагонах стояли отхоленные лошади. На платформах укреплены чистые, заново выкрашенные черные орудия. Из пассажирского вагона вышел штаб-ротмистр. Унтер-офицер стал во фронт. Офицер ему что-то сказал, тот отчеканил: „Так точно, ваше благородие", повернулся и побежал к концу поезда. Все это было так нетипично в то время, что из любопытства я подошел к теплушке и спросил солдата, кто они и куда едут. „Запасной эскадрон 18-го Тверского драгунского полка с нашей батареей." – „Да куда вы едете?" – „В Москву." – „Зачем в Москву?" – „Там сволочь мутить стала." – „Какая сволочь?" – „Красная сволочь. Мы им морды набьем, когда приедем."

Все это мне показалось странным. Откуда эта „красная сволочь" вдруг появилась? С революции повсюду был беспорядок, все так называемое „правительство" считалось „сволочью", но беспорядок был как будто просто хаос. Съедобного в лавках было все меньше. На что и как люди жили, было совершенно непонятно.

Странно было видеть солдат – дисциплинированных, веселых и чисто одетых. Все же было непонятно, кому они набьют морды.

В Вязьме тоже было много слухов. Один из извозчиков, большой друг мой Степан, рассказал мне всякие слухи о Москве и что теперь, мол, „не знаю что там делается, но что-то случилось, поездов оттуда нет уже второй день".

Дома оказалось, что мать уехала в Москву за моей старшей сестрой, которая там была в гимназии. Отец беспокоился, они должны были вернуться два дня тому назад.

Вдруг на пятый день моего возвращения появилась Дуня. Она была раньше горничной в Глубоком, а сестра ее Катя была у нас. Еще в 1915 году Дуня стала сестрой милосердия и уехала на фронт. Когда Керенский основал женские батальоны, будто бы для устыжения солдат на фронте, Дуня записалась, была на фронте под Вильной. Батальон их перевели в Петербург и поставили гарнизоном Зимнего дворца. Несколько дней тому назад крейсер „Аврора", который лежал на Неве, открыл по Дворцу огонь. Женский батальон, когда матросы стали атаковать, защищался, но у них были большие поте-

ри. Матросы ворвались, был рукопашный бой. Женщин некоторых перебили, и почти всех изнасиловали. Дуня и несколько ее подруг как-то спаслись. Дуня была ранена в плечо, но легко. Она пробралась на Николаевский вокзал, в Лихославле пересела в поезд на Вязьму. Мы все очень рады были ее видеть, нашли ей платье, и она переоделась из мундира.

На восьмой день после того, что моя мать должна была вернуться, она вдруг появилась с моей сестрой. Оказалось, что они на извозчике выехали из гимназии на Остоженке, и, когда доехали до Арбата, там была сильная стрельба. Они вылезли, извозчик ускакал. Они скрылись в каком-то частном доме и провели там целую неделю в коридоре, где прятались от стрельбы, кроме хозяев, еще шесть незнакомых. Все передние окна были опасны, все стекла разбиты и стены исчирканы пулями. Наконец угомонилась стрельба, и они както добрались до Александровского вокзала. Что произошло в Москве, моя мать не знала, и кто в кого стрелял, она тоже не знала.

Четыре дня спустя приехал наш бывший управляющий, Николай Ермолаевич Ямщиков. Он был в армии и находился в отпуске в Москве во время восстания. Когда началась стрельба, он пошел в штаб на Арбате. Командовал тогда гарнизоном полковник Рябцев, его адъютантом был капитан Яхонтов. Ямщиков нашел последнего и спросил, чем он может помочь. Оказалось, что большевики возбудили войска, и прислали со стороны, в том числе латышских стрелков. Латыши ни русских, ни немцев не любили и были очень довольны очутиться хозяевами положения. Большевики в Москве захватили телефонную станцию на Мясницкой, бараки и несколько других зданий. Рябцев вызвал гарнизон, но они отказались защищаться. Тогда он вызвал три кадетских корпуса и Александровское офицерское училище на Знаменке. Кадеты отбили латышей и вновь захватили телефонный дом. Латыши захватили Кремль, но были выбиты оттуда юнкерами. Яхонтов послал Николая Ермолаевича для связи с юнкерами. С большим трудом он добрался на Знаменку. Латыши держали „Прагу" на Арбатской площади. Оказалось, что у юнкеров почти не было боеприпаса. Николай Ермолаевич вернулся в Штаб, чтобы доложить. Пока он там был, произошла очень странная история. Оказывается, кто-то из правительства Керенского приказал Кавказской кавалерийской дивизии ехать с фронта в Москву. Их поезда дошли до Можайска, и командир запросил Рябцева, куда ему идти и что делать. Рябцев приказал им оставаться в Можайске. Тем временем Яхонтов по своей собственной инициативе нашел генерала Брусилова, который жил в Москве, и попросил его принять командование всеми войсками, кадетами, юнкерами и добровольцами, так как он думал, что его имя объединит всех. Брусилов отказался. Рябцев совсем потерял голову, послал кого-то в Можайск, вызывая дивизию, и сейчас же послал другого отменить приказ.

Тем временем кадеты остались вовсе без патронов. Большеви-

ки захватили Арсенал. Тогда командир юнкеров вспомнил, что был оружейный склад в Андрониковом монастыре. Он послал несколько грузовиков с юнкерами прорваться в монастырь. С ними поехал Николай Ермолаевич. Они туда прорвались, нагрузили грузовики и опять должны были сражаться на обратном пути. Тем не менее они привезли припас, но доставить его кадетам не смогли.

Большевики несколько раз атаковали Кремль. На пятый день они подвезли артиллерию и открыли огонь по Успенскому собору. Они послали ультиматум юнкерам, чтобы те эвакуировали Кремль, не то они разрушат Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы. Два снаряда пробили купол Успенского. Юнкера тогда оставили Кремль. Большевики штурмовали телефонный дом, почту и разные другие здания, занятые кадетами. Эти храбро защищались штыками, но в конце концов на седьмой день их почти всех перебили и они должны были сдаться. Многих, говорят, расстреляли. У юнкеров и у добровольцев были очень тяжелые потери, и они должны были разойтись и укрыться. Рябцев, говорили, застрелился не то на четвертый день, не то на пятый.

Николая Ермолаевича я с детства полюбил и он навсегда остался моим лучшим другом. Он был человек прямой, без всякой сентиментальности, верный и прямодушный. И очень умен. От нас из Вязьмы он уехал к себе домой, в Вятскую губернию, где отец его, крестьянин, сплавлял лес по Белой, Каме и Волге в Астрахань. Каким-то образом оказался в армии Колчака и потом из Читы пешком вернулся в Вятку, боясь возвращаться железной дорогой.

В 1928 году он вдруг появился в Лондоне и пришел к моей матери. Никогда не был я более доволен видеть человека. Он приехал представителем от Главльна. Семь лет он провел в Англии, и я с ним виделся все время. В 1935 году его отправили обратно в Москву. Он обещал писать, но я ни слова от него не получил.

Временное правительство уничтожило восьмой класс гимназии. Большевики уничтожили седьмой. И мне пришлось брать аттестат зрелости весной 1918 года, 15-ти лет. Мы все еще жили сравнительно хорошо. Крестьяне продолжали ночью приезжать советоваться с моим отцом и привозили провизию, за которую не хотели брать деньги. Было очень неудобно, мой отец говорил им, что он абсолютно ничего сделать не может, чтобы им помочь. Ответ был всегда тот же самый: „Э, Владимир Александрович, мы это знаем, но по крайней мере вы понимаете, о чем мы говорим, и то помогает. А насчет провизии – у нас еще есть, а у вас теперь ничего нету. А деньги нам на что, ничего купить нельзя. Приезжайте опять домой, мы с вами как-нибудь сварганим." Это было хорошо говорить, и отец мой был очень тронут, но и в возврате в деревню выхода не было.

Мы кончили гимназию перед самой Пасхой. Тогда уже большевики правили повсюду, появилась Чека и было много арестов. Я был на заутрене в соборе и был очень удручен и напуган. Вдруг, ко-

гда двери отворились, весь собор осветился и запели „Христос Воскресе", что-то во мне переменилось. Я вдруг подумал: надежда на Воскресение должна быть у всех. Стало так радостно, – почему не может быть чуда для человека, если он в это верит?

На следующий день Миша Векшин и я пошли к отцу Алексею Алеутскому на Сенную площадь. Мы все очень любили отца Алексея, и его большая семья была веселая и гостеприимная. Молодежь постоянно собиралась у него. Когда мы проходили мимо телефонной станции, одна из девиц высунулась из окна на втором этаже и спросила нас: „Николаша, Миша, что у вас делается в гимназии?" Девицы знали всех по имени, и мы, проходя, постоянно с ними флиртовали. Они знали все, что случалось в городе. „Не знаем, а что в гимназии, Зоя?" – „Да, говорят, ее немцы заняли". – „Немцы? Откуда немцы?" – „Не знаем, они не отвечают".

Прошли к отцу Алексею. И отец Алексей спрашивает: „Кто у вас в гимназии сидит?" Мы решили пойти посмотреть. Подошли к гимназии. На тротуаре на другой стороне собралась маленькая толпа. Все говорили шепотом. У ворот в гимназию стоял часовой. За ним во дворе несколько грузовиков и автомобиль. Часовой в каком-то странном зеленом мундире и с нерусской винтовкой. „Это не немцы, – говорю я Мише, – это не немецкая форма и винтовка не немецкая".

Я вдруг, как дурак, говорю: „Пойду его спрошу", и пересек переулок. Часовой говорит по-русски, но с каким-то акцентом. „Вам кого поговорить хочете?" – Я смутился. – „Нет, я только хотел вас спросить, кто вы такие?" В этот момент вдруг появился офицер. Тоже говорит по-русски, но плохо: „Вы к генералу Бушу говорить? Ходите за мне." Я испугался. Хотел драпнуть, но поздно. Пошел через двор за офицером. Он меня провел к директорскому кабинету, постучал и открыл дверь. Я оказался против офицера лет 50-ти, сидящего за столом директора. Он на меня посмотрел и улыбнулся, и говорит на хорошем русском языке, но с акцентом: „Как вас зовут?" – „Николай Волков." – „Вижу, вы гимназист. Вы гимназию кончили?" – „Да, только что кончил." – „Что ваш отец делает?" – Я замялся. – „Понимаю, а вы что делать собираетесь?" – „Не знаю." – Он покачал головой. – „Вам тут нечего делать, да и опасно, я вам дам письмо." – Взял лист бумаги и стал писать. Сложил, положил в конверт и дал мне. – „Это рекомендация, я бы на вашем месте время не терял. Передайте письмо, ну и с Богом." – Я взял письмо, замялся и поблагодарил. – „Ну, идите, идите." Я вышел, меня тот же офицер довел до ворот, я его поблагодарил и присоединился к Мише. В толпе все стали меня спрашивать, что случилось. Я сказал: „Да ничего, спросили, кто я такой, и отпустили." – „Да что, это немцы?" – „Нет, не немцы, не знаю, кто они." Мы тогда с Мишей быстро отошли. „Что случилось?" – „Да не знаю, какой-то генерал или кто-то дал мне письмо

рекомендательное, не успел посмотреть, к кому." За углом я вытянул из кармана письмо. Оно не было запечатанным. На конверте написано: „Господин Дэвис. Y.M.C.A. Американский. Новинский бульвар. Москва." В письме: „Дорогой господин Дэвис, рекомендую Вам Николая Волкова, он Вам может пригодиться. Уважающий Вас генерал Буш." Мы с недоумением прочли и ничего не поняли. „Что это значит – „Y.M.C.A."? – Учреждение Московского Социалистического, а что „А" может быть?" Пошли домой. По дороге встретили нашего гимназического сторожа. Он, конечно, все знал. „Это швецары приехали к нам." – „Швецары?" – „Да, из Швеции приехали." – Он почесал себе голову и прибавил: – „Они датчане, что в Швеции живут." – „Зачем они приехали?" – „А это вам не нужно знать, это секрет." Мы нашего сторожа знали хорошо: он всегда все знал и всегда неверно.

Пришел домой, показал отцу письмо и рассказал. К моему удивлению, отец сказал: „Поезжай сегодня ночью, остановись у Печелау на Живодерке и пойди туда завтра. „Y.M.C.A." – это латинские буквы, что это точно значит, не знаю. Это американская организация. Кажется, „Young Men's Christian Association". Что они делают, не знаю, но если тебя возьмут, то это место. Мы скоро тоже в Москву переедем."

Y. M. C. A.

Таким образом я попал в Москву. На утро пошел на Новинский бульвар, нашел особняк, который раньше принадлежал каким-то Толстым, и меня представили Дэвису. Он прочел письмо, посмотрел на меня с удивлением и спросил по-английски: „Вы по-английски говорите?" – „Да, говорю свободно." – „Кто этот генерал Буш?" – „Я не знаю, я думал, что вы его знаете."– „Никогда не слыхал. Отчего он вас рекомендует?" – „Я не знаю, я надеялся, что вы мне объясните." – „Я совершенно не представляю, кто он и кто вы."

К счастью, там была секретарша, которая меня привела, русская. Она Дэвису говорит: „Я знаю, кто он. – И обратилась ко мне: – Вы из смоленских Волковых или ярославских?" – „Я из смоленских." – „Вы кого – Владимира Александровича сын?" – „Да." – „Я знаю, кто он, нам нужен переводчик, как раз подойдет." Дэвис на нее с изумлением посмотрел. „Я совершенно ничего не понимаю. Минуту тому назад вы этого молодого человека никогда не видели, а теперь вы вдруг говорите, что его знаете. Вы, русские, совершенно сумасшедшие!" – „В России все друг друга знают. Все кого-нибудь знают, кто знает кого-нибудь третьего, всегда есть какие-нибудь связи." Дэвис посмотрел на нее безнадежно: „Я русских совершенно не понимаю."

Секретарша оказалась Ухова, дочь московского купца. Говорила по-английски очень свободно. Она меня свела в их столовую, где было много молодых людей и девиц. Она меня им представила. Ни с кем я раньше не был знаком, но знал нескольких по имени. Затем представила меня Адисону и сказала, что я буду его переводчиком.

Таким образом я вдруг оказался на месте. Мне дали пришпилить на рубашку красный треугольник с буквами „Y. M. C. A.". Что меня удивило больше всего, это то, что ни один из 16-ти американцев не говорил по-русски. Чем они занимались? Что они делали в Москве? Я так никогда и не понял точно.

Адисон был очень милый. Через два дня он мне объявил, что он ответственен за обмен военнопленных и что мы должны ехать в Барановичи. Приехали на Александровский вокзал. У Y. M. C. A. были свои автомобили. К моему удивлению, в распоряжении Адисона оказался целый вагон первого класса. На каждом окне наклеены бумажки: „Вагон занят Y. M. C. A.", а нас всего двое. Все остальные вагоны набиты как селедки в бочке. Мне было очень стыдно, но Адисон отчего-то этого не понимал.

Ночью проехали Вязьму и к утру доехали до Смоленска. Тут на запасном пути стоял поезд с немецкими пленными. Я пошел его посмотреть. Спросил по-немецки, откуда они приехали. Через минуту я был окружен немцами, они почему-то решили, что я немец. Оказалось, что они из Самары. Ехали уже пять дней, последний раз ели в Самаре, и воды им не давали. Вид у них был ужасный, лица серые и истощенные. Я вернулся к Адисону, объяснил. Он ужаснулся. Пошли к коменданту. Тот объявил, что никакой пищи для немцев нет. Он пошлет несколько ведер воды. Адисон настаивал без всякого результата. Тогда он потребовал, чтобы его соединили по телефону со Свердловым, с Центральной комиссией Красного Креста. Свердлов, с которым Адисон хотел говорить, был братом президента. Комендант испугался, вероятно думая, что Адисон будет говорить с самим президентом, и сейчас же послал за армейскими кухнями, и немцев накормили.

От Смоленска до Барановичей почему-то ехали более 30 часов. Приехав туда, мы пошли искать наших пленных. Я совершенно был ошарашен. Офицеры и солдаты все были в старых формах с погонами, у некоторых были кресты и медали. Они были веселые, чистые и откормленные. Они иногда посматривали с недоумением на чекистов в их черных кожаных мундирах, которые стояли вдалеке. У меня сжалось сердце. Я подошел к брустверу. Артиллерийский капитан и унтер-офицер крепко пожали мне руку, как будто мы были давно знакомы. Я к ним обратился осторожно.

– Простите, вы, вероятно, не знаете, что случилось в России?

– Нет, мы мало слыхали, до нас новости и письма не доходили. В немецких газетах всякая ложь о России, да мы редко их читали.

– Тогда вы знаете, что была революция?

– Да, да, цесаревич теперь император.

– Нет, Государь отрекся и за себя и за цесаревича, было Временное правительство, а теперь большевики правительство захватили.

– Большевики? Кто они такие?

– Они коммунисты.

– Коммунисты? А это что?

– Вроде социалистов, диктаторство, они всем заправляют.

– Да кто они такие?

– Не знаю, как объяснить. Во всяком случае, лучше погоны и Анну снимите, этого теперь нет. Это очень опасно. И, пожалуйста, объясните всем вашим, что говорить очень опасно теперь. Еды почти что нет, даже в деревнях по малости. Землю у всех теперь отобрали, все принадлежит правительству...

– Постойте, постойте, что вы это говорите, как нет еды? Что случилось?

– Да это трудно объяснить. Видите за мной людей в кожаных куртках, это новая полиция, называется Чека, они очень строги, могут вас обвинить в контрреволюционной деятельности и арестовать.

– Да что же нам говорить, мы домой приехали, уж четвертый год мы маялись...

– Слушайте, послушайтесь меня, скажите всем вашим, что я сказал, не говорите с чекистами и снимите погоны.

За моими двумя собеседниками собралось довольно много солдат. Они все слушали с посеревшими лицами, как будто их обухами по голове хватили.

– Никак поверить не могу, я симбирец, что в деревне нет еды, – сказал унтер-офицер и прибавил: – За что же мы дрались?

Я покачал головой, мне стало так же досадно, как и им, но объяснить больше я ничего не мог. Несколько минут тому назад все они были веселые, а теперь все приуныли.

Подошли пять чекистов. Один из них обратился к пленным:

– Эй вы, шваль, чтобы разделись, снимай погоны, не на царский парад приехали!

Кто-то позади громко сказал:

– Вот-те, бабушка, и Юрьев день, у немцев просидели, вернулись, а нас мордой об стол!

Чекист разозлился и стал их всех матом крыть, кричать, что они, сволочь, должны быть довольны, что их домой пускают. Лица их посерели хуже, чем у немцев в Смоленске. „Вот действительно, домой приехали", – подумал я. Я отошел, меня мутило видеть лица пленных, так ожидавших привета, а встреченных действительно „мордой об стол".

Я надеялся, что мне не будет суждено еще один раз такое пережить, но через девять дней после нашего возвращения в Москву

опять поехали в Барановичи. На этот раз я опоздал предупредить несчастных пленных. Я их видел только после того, как их обработали чекисты. Они были какими-то ошарашенными, с недоумением осматривались, как будто попали во внезапный кошмар и не могли проснуться.

Мы уже все привыкли к тому, что народ был не люди, а какое-то стадо испуганных овец, боялись говорить громко, сходили с тротуара на мостовую, когда встречали чекиста или милиционера, осматривались, когда входили в дверь.

Тем не менее, эта весна и лето 1918 года были совсем не то, что воображают иностранцы. Русские как-то приспособились. Иностранцы полагают, что наша революция была вроде французской, да Бог ее ведает, может, и французская была совсем другой, чем ее описывают. Мне часто говорили за границей: „Это должно было быть ужасно для вас, когда толпа крестьян схватывала помещиков, била их. Это понятно, конечно, что рабы возмутились" и т. д. – Какая ерунда! Я ни одной толпы не видел, никого толпа не била, помещики или „аристократы", как их иностранцы называли, были в гораздо лучшем положении, чем крестьяне и рабочие. Они были нужны советчикам. Большевики притесняли больше всего крестьян и арестовывали интеллигентов. Их они считали гораздо опаснее бывших помещиков. Мне кажется, что если бы какой-нибудь господин с Марса вдруг спустился в Москву в это время, единственное, что он заметил бы, это хвосты у пустых лавок, отсутствие движения экипажей на улице и – молчание. А все остальное было нормально, на вид, по крайней мере. Да, забыл – повсюду красные флаги и невероятные, плохо сделанные, бетонные какие-то памятники, кому и чему, никто не знал. Если бы он прислушался к шепотным разговорам, то услышал бы бесконечные слухи, часто фантастические. Если бы он зашел в одно из бесчисленных учреждений, то был бы ошарашен количеством плохо напечатанных каких-то бумажек, с лиловыми штемпелями, которые грязные, оборванные машинистки и приказчики носили из комнаты в комнату и которые из этих домов никуда не уходили. Это была бюрократия par excellence.

Помню, как до войны мой отец смеялся, посмотрев фильм, который назывался „Вова приспособился", он тогда еще говорил: „В Европе никто не понимает, что бы ни случилось у нас, русские приспособятся." Действительно, люди приспособились и еще смеялись над несчастьями.

По возвращении из Барановичей Адисон сказал, что мы должны ехать в Вологду. К этому времени меня ничто не удивляло, я не понимал действий Y. M. C. A. – но и не удивлялся. Опять на Николаевском вокзале, к поезду прицеплен вагон 1-го класса. Два купе нагружены жестянками с разным провиантом. Откуда эти жестянки появились, неизвестно. В Москве ни жестянок, ни вообще съедобного фактически не было. К нам присоединился студент по имени

Огнев. Поехали в Петербург. Адисон сказал, что мы там проведем день. Я был очень рад, в Петербурге не был с весны 1914 года, хотел посмотреть. Но на вокзал пришел какой-то американец, поговорил с Адисоном, и оказалось, что в Петербурге „что-то случилось". Английский морской атташе убит большевиками на крыше бывшего английского посольства. Как и почему, он не знал. Поехали в Вологду.

Мне не спалось, я сидел у окна. Сердце у меня заныло при виде лесов, рек, пашен, деревень. Люди с ума сошли. Зачем все эти дурацкие перевороты, когда жизнь без войны у всех бы исправилась. Она уже много поправилась за последние годы перед войной. Только правительства дельного не было. Жалко, что Столыпина убили. Если бы он был жив, ни войны бы не было, ни революции. Россия была бы такой богатой, крестьяне бы утроили свой доход, все бы исправилось. Если бы он был жив, Государь не слушал бы дураков и либералов, да и окружающие его не имели бы влияния. Да теперь поздно об этом вздыхать, — подумал я. — Посмотрим, может быть, появится другой патриот, который понимает Россию.

Ночью приехали в Тихвин. Это имя меня всегда привлекало — город Новгородской земли. И тут под луной лежит Тихвин. Чудотворная Тихвинская Богоматерь. Там ли она сейчас или какой-нибудь археолог взял ее в музей? 600, 700 лет была икона в соборе, к ней на поклон приходили, а теперь, может быть, люди на нее глазеют и даже не знают, что Чудотворная.

На утро рассказал Адисону, что проезжали через Тихвин и что там Тихвинская чудотворная икона. Он заинтересовался, говорит:

— Она старая, должна быть в музее на сохранении.

— Так она уже семьсот лет в соборе, к ней на паломничество ходят.

— Да христиане могут и в музей ходить на нее смотреть.

Объяснить я не мог, он бы это все равно не понял, да и я его не понимал. Он, как и, мне казалось, все протестанты, делил людей на христиан и остальных. Христиане были только те, которые ходили в церковь и принадлежали к благотворительным учреждениям. Остальные были просто люди. Когда я сказал, что все православные — христиане, некоторые — хорошие, некоторые похуже и, вероятно, некоторые плохие, и что только Бог может это рассудить, он на меня искоса посмотрел.

— Как может человек, который не делает добро, быть христианином?

— Да у нас всех детей православных крестят, я не богослов, но я не понимаю, как можно разделять людей на христиан — хороших и не христиан — плохих, это, мне кажется, высокомерие. Все православные — христиане, хорошие, плохие или ни то ни се. Люди, которые объявляют себе христианами, не отдельное племя.

Ни он, ни я друг друга не поняли, а он был очень хороший доб-

рый человек. Он, например, в чудеса не верил, считал, что Воскресение Христово — сказка, что святым не надо молиться, тем не менее он был очень хороший, добрый человек и делал много добра.

Наутро приехали в Череповец. Адисон меня послал на станцию. Там будто должны быть ящики с жестянками сгущенного молока череповецкой фабрики „Альма". Никаких ящиков не оказалось. Он тогда послал меня на фабрику. Вагон наш отцепили. Я пошел в город. Погода была солнечная, было жарко, на улице никого не было. Прелестный городок. У одного двора человек чинил подводы. Я его спросил, где фабрика „Альма". „Это отсюда подалече, я вам покажу." Он нашел извозчика и настоял ехать со мной. Он знал директора фабрики. Директор извинился, сказал, что ожидали нас на следующий день, и сейчас же приказал грузить подводу.

Мой спутник настоял, чтобы я ехал к нему: „Очень жена и дети будут обижены, если я вас домой не свезу. Чужестранцы у нас редко. Мои любят послушать, как и что делается на земле."

Приехали. Жена красивая, краснощекая, полная — что малявинская баба, дочь лет 17-ти такая же, сын моих лет, гимназист. Веселые, гостеприимные, и сам мой хозяин — очень милый человек. Пригласили покушать. А у них тут окорок, фаршировка, жаркое, колбаса чайная, пряники, чего-чего только нет, точно революция никогда не случалась. Я стал рассказывать про Москву, что там хвосты и пустые лавки, что даже и хлеба нет, что говорить нужно осторожно, что аресты, что многих, говорят, расстреливают, но что я сам никого не знал, кого расстреляли, и т.д. Они в ответ ахали и охали и, боюсь, мне не поверили. Спросил: „У вас что, большевиков нет?" — „Да есть какая-то рухлядь из Питера, но они тут в Исправе заседают, на улицу не показываются. Их никто не слушает."

Странно показалось — несколько часов от Петербурга, еды сколько угодно, фабрика частная и большевиков не видно. Поблагодарил, вернулся на станцию. Там уже молоко в вагон погрузили.

Ночью нас к товарно-пассажирскому поезду прицепили, поехали в Вологду. На каждой станции останавливались. Богатая часть России. Деревень мало. Дома красивые, большие, двухэтажные, с резьбой, что терема.

Приехали в Вологду. У-ух какой город! Улицы широкие, немощеные, песчаные. Дома большие, деревянные, тоже с резьбой, каждый стоит, окруженный фруктовым садом. Богато тут живут. Тротуары на три фута выше дороги, досчатые. У извозчиков лошади откормленные. В центре города дома каменные, красивый собор, что Успенский в Кремле. Хороший город, богатый, все как будто лесом торгуют и кружева плетут. Лавки открыты и съедобного много. Большевиков тоже не видать. Накупил съедобного. Я тогда у Голицыных жил в Георгиевском переулке, семья большая, а есть нечего. Я лично мало в это время замечал отсутствие еды. В Y.M.C.A. была столовая, и хотя еда была скучная, ее было много. Я не был

гурман, ничего не понимал в хорошей кухне, ел что попало и был доволен.

Поехали в английское консульство. Послов союзников уже нет, только генеральный консул. Адисон объяснял, почему мы привезли все эти жестянки англичанам, но это было так нелогично, что ни я, ни Огнев не поняли. Были слухи, что англичане не то высадились в Архангельске и Мурманске, не то будут высаживаться. Мне показалось это глупым. Архангельская губерния больше Франции и Германии вместе, что они высадкой хотели доказать? Никуда оттуда они через тундру и тайгу пойти не могут. Это как комар на заднице вола!

Поехали обратно в Москву. Огнев, набравшись слухов, вдруг решил бежать в Мурманск. Я думал, что он с ума сошел, и сказал ему, что от Звонкой до Мурманска 600-700 верст. Поездом проехать нельзя, а пешком он, как городской, через глушь, где нет и деревень, не то что городов, пройти не сможет. Он мне не поверил, соскочил с поезда ночью перед Звонкой и исчез.

В Москве, когда приехали, как видно, „что-то случилось". Атмосфера была напряженная. Я купил „Правду", но ничего в ней особенного не нашел. Чехи взбунтовались и будто заняли какие-то города на Урале. Это до нашего отъезда уже случилось. Где-то на Кавказе появились какие-то шайки „бандитов". Это тоже не очень меня интересовало. Но было и что-то другое. На Ярославском вокзале, против Николаевского, грузились латышские стрелки. На площади стояли две батареи легкой артиллерии и по крайней мере два батальона стрелков. На вокзале ходили слухи, что крестьяне возмутились в Ярославской и Костромской губерниях и будто бы заняли Ярославль и шли на Сергиевскую лавру. Кроме того, ходили слухи, что крестьяне восстали в Смоленской и Калужской губерниях. Большевики явно были испуганы. Грузовики и автомобили, полные чекистов и солдат, носились по Москве. Говорили, что было восстание рабочих на Морозовской фабрике в Богородске. На Новинском все эти слухи были еще настойчивее. Говорили, что немцы заняли Украину и что будто бы Украина объявила себя независимой. Что за чехами, за Волгой, какая-то Белая армия, что на Дону генерал Краснов тоже объявил Донскую область независимой, и т. д. Я тогда мало чему верил. Все упорно говорили, что в Москве было восстание левых эсеров. Но видно, было очень плохо организовано: чекисты и латыши их быстро окружили и расстреляли.

Адисон что-то доложил Дэвису, и тот потребовал меня к себе в кабинет. Я логики американцев совсем не понимал. Он меня спросил, знаю ли я Нижний Новгород? Я сказал, что никогда там не был. Он тогда спросил: если бы я там очутился, смог бы я узнать, что происходит за Волгой? Я пожал плечами: „Я не знаю, может быть, там знают больше, чем в Москве, а может быть и нет."

Так или иначе, Дэвис решил послать Адисона и меня в Нижний.

Я был очень доволен – всегда хотел посмотреть Нижний и Владимир. Поехали под предлогом видеть норвежского консула. На этот раз заняли купе 1-го класса. Доехали до Владимира. Я убедил Адисона посмотреть город. Очень мне хотелось видеть древние соборы и дома 12-го века. Чего бы я ни ожидал, но когда увидел, дух захватило. Соборы, ворота, дома и вид с отвесного левого берега Клязьмы – потрясающие. Фрески в соборах лучше даже, чем в Успенском в Москве. Во владимирском Успенском фрески 12-го века, в 15-м реставрированы Рублевым, какая красота! Адисон, который не знал русского искусства, был поражен. Меня это все с ног снесло. С детства любил Андрея Боголюбского, а здесь его создание меня поразило. Весь день провели во Владимире. Вернувшись на вокзал, узнали, что поезда на Нижний не будет до утра. Пошли в станционный ресторан. К моему удивлению, в меню жаркое, котлеты и т.д. Как это может быть? Всего 175 верст от Москвы, в Москве голодают, а тут котлеты пожарские? Непонятно. Стали ждать до утра. Адисон не привык спать на твердой лавке, почти всю ночь расхаживал по платформе. Я сел на лавку и сразу же заснул.

На утро поезд. Адисон опять взял купе и проспал до самого Нижнего. А я с удовольствием смотрел в окно, сперва Клязьма, затем Ока. Милая красота! Деревни богатые на вид, да и отчего же, здесь ремесленничество, писали иконы, здесь где-то Лукотины работали свои замечательные ящики... За год с лишним революции не могли уничтожить такие деревни.

Нижний. На обрывистом берегу Кремль. Да какой Кремль! Знали как строить в те времена. И Волга, Ока, точно море какое-то. Взяли извозчика, поехали в гостиницу „Россия”. Гостиница была полна закамских татар – лесопромышленники, приехавшие уже месяц назад продавать лес. Покупателей не было. В рассказах о том, что происходило за Камой и Белой, они друг другу противоречили. Некоторые говорили, что чехи заняли Уфу и наступают на Самару, другие говорили, что это не чехи, а оренбургские казаки атамана Дутова, третьи – что „белые” заняли Екатеринбург и Пермь. Последний приехавший говорил, что белые наступают на Казань и что заняли Чистополь. Такие слухи и в Москве были.

Я пошел в Кремль посмотреть здания, и с высоты – на Волгу, Оку. Взглянул и замер – такая красота! Лето, а полноводье, другой берег только в дымке виден. Посмотрел вниз на Волгу, 300 с лишним футов высоты. Под утесом лежат в кильватерной колонне 4 эскадренных миноносца типа „охотник”. Каким макаром они сюда попали из Балтийского моря? Вспомнил, что до войны видел на Неве нефтяники побольше этих миноносцев, пришедшие из Баку. Я улыбнулся: где, кроме России, можно увидеть миноносцы за тысячу с лишним верст от моря? Но что они тут делали? Может быть, правда, белые или чехи подходят к Волге, и миноносцы тут, чтобы помешать им перейти?

После завтрака пошел в порт. Несколько пароходов „Кавказа и Меркурия". Много народу шатается по набережной. Заговаривал с некоторыми. Здесь говорят свободно, как встарь. „Э, брат, сюда скоро белые придут, всю эту большевицкую сволочь выгонят." Группы рабочих кроют большевиков, точно их тут нет. Спросил, где же эти белые? Один говорит – в Бугуруслане, другой – под Казанью, и т. д.

На ящике сидит калмык. Подошел к нему, заговорил. Он в Астрахани был. Там, говорит, большевиков по морде бьют. А в Царицыне их хотя много, да потрусывают. Был три месяца спустя в Армавире. Там, говорит, на Кубани – Белая Армия. Генералы Корнилов и Алексеев. Сейчас их еще мало, но туда тянутся отовсюду люди – офицеры, унтер-офицеры и солдаты „настоящие", что до войны были. На Дону атаман Каледин, донцы большевиков перебили и их к себе не пускают. Да и горцы восстали... „Далеко это все", – я подумал. Но по крайней мере этот калмык сам их видел.

Пошел дальше, сидит рыболов на каких-то маленьких бочках. Спрашиваю, что у него в бочках? Икра осетровая. Говорит: „Все к черту пошло, как большевики пришли. Никто ничего не покупает, и рыболовить не стоит." Спросил, сколько в бочке? „Пуд." – „А сколько стоит бочка?" – „Да 85 рублей возьму." Подумал – дешево, и до войны полтора рубля фунт в лавке стоил. Говорю: „Дороговато." У меня таких денег не было.

Вернулся в гостиницу, рассказал Адисону все, что слыхал, и про икру заметил. Он мне: „Да вы с ума сошли, отчего вы не купили?" – „У меня денег не было." – „Вот вам деньги, берите извозчика, купите две бочки, одну для меня, одну для вас."

Вернулись в Москву, Адисон мне говорит: „Вы Дэвису прямо доложите." Стал рассказывать, а Дэвис только наполовину слушает, как будто чем-то другим занят. Только когда до рассказа калмыка дошел, он вдруг встрепенулся: „Это интересно."

Часа два спустя вызвал меня опять.

– Я хочу, чтобы вы в Воронеж съездили, у нас контракт с датской фирмой там на яйца. Хочу, чтобы вы датскому консулу деньги отвезли.

„Странно, – подумал, – что это он мне разъясняет. Да и какие там яйца, в Москве уже несколько месяцев никто яиц не видел." Спрашиваю, отчего он это мне говорит, а не Адисону?

– Да я хочу, чтобы вы один туда съездили.

– Сколько денег везти буду? (Думал, тысячи две.)

– Да 450 тысяч.

Я побледнел.

– 450 тысяч?!

– Вы что, боитесь ехать?

– Я не ехать боюсь, а 450 тысяч напугали. Что, если меня арестуют или деньги украдут, как я смогу доказать?

— Я потому вас и прошу, кто подумает, что 15-летний мальчик 450 тысяч везет.

Я пожал плечами. Интересно Воронеж посмотреть, отчего же нет, страшно, но интересно. Согласился.

Я спросил, как я эту сумму повезу? В чемодане невозможно, могут украсть или потеряю.

— Нет, мы вам в подкладку куртки вошьем.

— Да я каждый раз, что руку подниму, потрескивать буду, билеты-то вероятно новые.

— Нет, мы их смяли.

У меня была зеленая охотничья куртка с шестью карманами, да жарко ее носить летом. Взяли у меня куртку, рейтузы кавалерийские и сапоги, а я два часа в комнате Адисона в подштанниках сидел. Вернули мою одежду, оделся, чувствую себя, как фаршированная курица, но действительно не потрескиваю. „Ассигновки все, — говорят, — николаевские, большого размера."

Жарко в куртке, но ничего не поделаешь. Поехал на трамвае на Курский вокзал. Народу там масса, крутятся, никуда не идут. Спросил поезд на Курск. Нет, говорят, поездов на Курск, только до Серпухова. Отчего? Говорят, дальше „зеленые". Зеленые? Что такое зеленые? Никогда не слыхал. Там, говорят, крестьяне бунтуют, поезда не пропускают. Это меня не поразило. Крестьяне повсюду бунтуют, потому что у них Чека все отбирает, но кто такие зеленые? Я пошатался в толпе, стал думать, как еще в Воронеж проехать можно. Вижу солдата в толпе, на регулярного унтер-офицера похож. Спросил: „Вы куда?" — „Да в Курск, а вы?" — „Я в Воронеж." — „Так это через Курск ехать. Мы тут ничего не добьемся, пойдем на Брянский вокзал, на Льгов поедем."

Поехали на Брянский. Оттуда шел поезд на Льгов и Харьков. Было очень жарко, вагоны переполнены, устроились на ступеньках. Разговорились. Имя его было Жлобин, оказалось, старший унтер-офицер 12-го Белгородского уланского полка. Служил с 1910 года. Я никого в полку не знал, но знал 12-й Ахтырский гусарский полк, двоюродный брат мой там служил. Жлобин обрадовался, знал корнета графа Гейдена, да еще больше обрадовался, когда я ему сказал, что дядя мой Изъединов был предводитель курский. „Э, брат, так мы с вами почти что земляки." Как и всегда в России, любые двое кого-нибудь сообща знали.

Прохладный ветерок дул от движения поезда. К вечеру приехали в Брянск. Я боялся, что чекисты в Брянске будут спрашивать документы и, может, даже обыскивать. Жлобин меня успокоил. Говорит: „Я эту сволочь знаю, старого воробья мякиной не поймаешь, вы со мной держитесь, нас никто не тронет!" И действительно, вагоны обыскивали, документы спрашивали, но нас не тронули: Жлобин с одной стороны поезда пробрался на другую, и мы втиснулись в вагон, который уже осмотрели.

Ночью поясом к перилам пристегнулись, хорошо, прохладно было ехать. „Если задремлем, не свалимся." К утру приехали в Льгов. Платформа набита народом, все поездов ожидают.

Тут утром на платформе бабы появились, продают пироги да всякие фрукты. После разговорились с бабами о том, о сем. Граница украинская тут недалеко. Баба говорит: „Что это дурье хохлы новое государство выдумали, такие же русские, по-русски говорят, а теперь свой язык выдумывать стали." – „А ты там была?" – „Была, батюшка, у них там еды сколько угодно, говорят, немцы там, да я не видала, а живут как встарь, не то что у нас, нет у них нашей швали."

Наконец пришел курский поезд, поехали. Я раньше раз только через Курск проезжал, но город далеко от станции. У Жлобина в Курске была двоюродная сестра, поехали к ней. Барышниковы оказались милые, гостеприимные. Приняли меня как старого друга и заявили, что я почти что „курский соловей". Спрашивали про Левушку Изъединова, но я им ничего сказать не мог. Что случилось с ним и тетей Надей, я не знал. Он, оказывается, был очень популярен в Курске.

Пошел смотреть город. Красивый, опрятный. Пошел в Кремль и по дороге купил два фунта черешен. Сел на скамью над обрывом, стал любоваться и, как дурак, все два фунта съел.

Хорошо выбирали места для городов наши предки. Курск, что корабль, стоит в „Диком Поле". Нос корабля – Кремль – высоко стоит на утесе над степью.

Вернулся и почувствовал результат моих черешен. Меня сейчас же стали кормить крошеным мелом. К вечеру все прошло. Провел еще день в Курске с Жлобиным, ходили по городу. Поймал поезд на Воронеж. Жлобин меня провожал. Прощаясь, спросил, не собираюсь ли я на Кубань. Я сказал, что уже думал об этом, но сейчас не могу. „Ну, я скоро туда поеду. В Ростов не так трудно пробраться, а оттуда к белым. Много наших офицеров и солдат там, наверно и полк сформировали. Ну, прощайте, увидимся, может, на Кубани."

В Воронеже была совсем другая картина. На вокзале и в городе – масса красноармейцев и чекистов. Меня это немного напугало, и я был доволен, что быстро нашел датчанина. Он изумился, когда я стал распарывать мою куртку, снимать рейтузы и сапоги. Везде были вшиты пачки ассигновок. Я раньше в жизни своей не видел 500 и 1000-рублевые бумажки. На что они могли быть нужны? Впрочем, это меня не касалось.

Поговорив с консулом, я совершенно спутался. Города и места, которые, я думал, были еще русские, как например Харьков, оказались на Украине, никаких поездов туда не было. В Москве говорили о каком-то фронте „против бандитов". Консул же говорил, что никакого фронта не было, по крайней мере тут, на юге. Все, что

он знал о Донской области и о Белой армии, я уже слышал в Нижнем. По дороге в Воронеж я все думал проехать Лиски или Борисоглебск, поближе к Донской области, где надеялся узнать, что происходит, но, послушав консула, струсил. Да и оставаться в Воронеже невесело. Жена консула вшила мне расписку на деньги под подкладку.

Странно, в Курске сколько угодно съестного, а в Воронеже, как и в Москве, ничего нет. Город, как видно, был богатый, судя по зданиям, но не симпатичный. Да я в центр не посмел пойти. Только и думал, как оттуда выбраться. После чаю пошел на станцию. Поезда обратно в Курск не было до следующего дня, но через час уходил поезд на Грязи. Решил ехать новым путем.

Подошел поезд, набито, что сардинки. Места ни в вагонах, ни даже на ступеньках нет. Я устроился на одном из буферов, прицепился ремнем к железной лестнице на крышу и часа через два задремал. Поезд полз, пешком обогнать можно было. Останавливался то в поле, то на каких-то станциях, о которых я никогда не слыхал. Когда наконец проснулся по-настоящему, уже рассветало. Поезд стоял в поле. Через час, а может и больше, доползли до Умани. Жена консула дала мне кусок хлеба и сала. Закусил и слез, ноги застыли. Посмотрел, тут опять красноармейцев и чекистов много, полез обратно. От Умани на Грязи поезд шел быстрее. Доехали, а тут говорят, поезд на Липецк идет, а не в Москву. Стал спрашивать. Говорят, скоро будет поезд в Москву, но неизвестно когда. На платформе крестьян много, было с кем поговорить (я интеллигентов и горожан побаивался). Многие на Рязань ехали.

Пришел поезд, опять набит. Я снова на буфер сел. Тут было прохладно, да задница обомлела. Доехали до Богоявленска. Слез ноги размять да что-нибудь поесть купить. Сидит баба, из-под полы муку и пирожки продает. Спросил, что еще есть. Говорит: „Сало да крынка меду." Купил мешок, фунтов десять, муки, 3 фунта сала и мед. Подошел ко мне крестьянин и говорит: „Ты куда, брат, едешь? В Москву? Никогда не провезешь, отберут сукины дети. Ты лучше мне дай, я эту сволочь знаю, в Москве передам." Только в России можно было поверить незнакомому, если из крестьян. Я ему дал мешок и поблагодарил. Он ехал в Москву искать брата. Говорили, что брат в армию забран был и что он где-то в Воронеже. Искал его там, но не нашел. Теперь будто кто-то в Москве видел.

Разговорились. Он из-под Тарусы был. „У нас, брат, большевиков перебили. Они наши деревни обокрали, девченок да жен изнасиловали. Некоторые деревни сожгли, так мы по лесам разошлись. Там нас зелеными называют. Как появятся красные — баста, мы их бьем. Боятся к нам сунуться."

Вернулся к своему буферу, а там старуха расположилась. Полез на крышу. Там уже человек десять сидит. Мой друг куда-то исчез, но это меня не беспокоило. Устроился у вентилятора. Я доста-

точно пирожков накупил и бутылку с водой, до Москвы хватит. Поехали. Ночь прошла, а мы еще до Рязани не дотянули. Пристегнул себя к вентилятору и заснул. Удобно тут после буфера.

Проснулся, уже солнце высоко над горизонтом. Подходим к станции, вижу – Коломна, Рязань проспал. Отсюда поезд пошел быстро, даже станции проходил без остановки. Но остановились в Люберцах. Тут всех из поезда и с крыши выгнали. Чекисты повсюду. Старухи плакали. У них отбирали мешки, всех обшаривали. У меня ничего не было, билет да пирожок, и тот отобрали. Многие на платформе остались, я в вагон влез.

Приехали в Москву на Рязанский вокзал. Я так был потрясен обыском, что и про моего друга забыл. Вышел на площадь перед Казанским вокзалом, а он ко мне подходит.

– Вот твой мешок, говорил тебе, обыскивают.

Я его поблагодарил, хотел заплатить.

– Да что ты, ты тоже деревенский, если мы друг другу помогать не будем, кто же нам поможет? Ты что, из помещиков?

– Да, – говорю, – смоленский.

– Да нас всех в деревне эта сволочь не любит.

Распрощались, я ему пожелал всего лучшего и пошел на трамвай.

Я наивно считал себя каким-то героем, за тысячу верст тысячи денег свез и вернулся с распиской. Но в Y. M. C. A. меня встретили, точно я только на Арбате был. Все возбужденно носились, я ничего не мог понять. Вытянул расписку и пошел к Дэвису. Он на меня взглянул без интереса, взял расписку и говорит:

– Ах, вы вернулись, я ожидал вас раньше.

– Что со всеми случилось? – спрашиваю. – Атмосфера напряженная. Что за мое отсутствие произошло?

– Говорят, что больше бензина на автомобили не дают. Кругом Москвы „cordon sanitaire" большевики устроили, мешочников арестовывают, да и в Москве многих арестовали и обыски сделали.

– Отчего?

– Никто не знает. Думают, что восстания зеленых. Говорят, что Государя и всю его семью расстреляли. Говорят, что на Морозовской фабрике в Богородске расстреляли тысячи две рабочих, потому что они бастовали и Свердлова побили. Про какую-то Белую армию на юге говорят. Как видно, в Москве знают больше, чем в Воронеже.

Адисона уже никуда не посылают. Странно все это. Жара невероятная в Москве. Получил письмо из Вязьмы, что семья наша собирается переехать в Москву, чтобы я нашел им, где жить. Голицыны приглашают приехать к ним на Георгиевский. Дом большой. Почти все москвичи жили еще в своих домах. Знал я теперь много народу, не только прежних знакомых, понаехавших из деревень, и бывших в армии, но и москвичей – Трубецких, Гагариных, Осор-

гиных, Оболенских. У них у всех были особняки. С ними я не ахти как ладил, они, правда, были очень милые, но говорили и жили кликой какой-то особой. Они как будто не видели, что всем русским нынче плохо, и считали, что только их отчего-то Бог карает.

Я вдруг стал посыльным мальчиком. По телефону никто говорить не смел, и письма по почте тоже не решались американцы посылать. Как пуганая ворона кустов боялись. Я никак не мог себе это объяснить. Русские, я понимал, побаивались, но почему американцы вдруг так струсили?

Меня посылали в Американский Красный Крест, в Английскую Военную миссию, к французам и т. д. с разными совершенно безвредными сообщениями. В Английской миссии почти что все офицеры были давние москвичи. Говорили по-русски, как русские.

Я получил письмо от моей сестры из Вязьмы. Просила ее встретить на вокзале 26 августа. Встретил. Она привезла два больших сундука. Извозчиков не было. Сдал их на хранение, взял расписку и на трамвае отвез сестру к Голицыным.

На следующий день послан был с каким-то совершенно неважным сообщением в Английскую миссию. Передал и стал ждать ответа.

Мимо прошел лейтенант Тамплин. Спрашивает, завтракал я или нет. Говорю, что нет. „Когда вы получите ответ, пойдемте в „Народную Харчевню”, у меня довольно пайков.” В эти рестораны тогда только большевики да высокие чиновники ходить могли, у других пайков не хватало.

Вышли на улицу. Стоит у тротуара французский желтый автомобиль с поднятой крышей и слюдяными занавесками, французский флаг на радиаторе. Тамплин решил, что присхали из французской миссии знакомые офицеры. Нагнулся к окну. Дверь вдруг отворилась и вылез чекист. Говорит: „Ваши документы?” Обыкновенно англичан не трогали. У меня был специальный американский документ, который в Москве давал мне привилегии. До тех пор меня никто не останавливал, но другие русские в Y. M. C. A., которых спрашивали, все говорили, что как предъявишь американский документ, всегда сразу же и отпускали.

Мы стояли, ожидая, что нам документы возвратят, но чекист долго их просматривал и вдруг сказал: „Ваши документы должны быть проверены, садитесь в автомобиль.”

Помню, что я не слишком взволновался в тот момент. Поехали и оказались на Лубянке. Прошли в большую комнату с прилавком. „Наш” чекист передал наши документы чекисту за прилавком. Тот посмотрел. „Выверните все ваши карманы.” Неохотно мы вывернули. У меня взяли бумажник и часы, и всякую дребедень. Взяв все, что у нас было, повели по лестнице на третий этаж, открыли дверь, и мы оказались в пустой комнате без стола и стульев.

Какой-то рыжий человек, перед тем как чекист закрыл дверь,

стал кричать визгливым голосом: „Вы все с ума сошли! Вы знаете, кто я? Я знаменит, я Гре-ча-ни-нов! Я написал „Степь"! Все меня знают!" Он был одет в ярко-клетчатый костюм английского гольфиста. На нас не обратил никакого внимания. Он стоял у единственного окна с видом на большой двор.

Кроме него в комнате сидел в углу какой-то странный тип и дремал. В другом углу была солома. Мы на нее сели и стали ждать. Часов в пять принесли нам две кружки мутной воды. Мы все ждали, что нас вызовут, но никто не приходил. Было душно, и мы задремали.

ЛУБЯНКА

Когда я проснулся, то увидел, что Гречанинова уже не было, только небритый тип дремал в другом углу. Почему-то мы говорили шепотом. Ни Тамплин, ни я не могли понять, отчего нас держали.

Нас, как видно, что-то разбудило. В комнате горела электрическая лампа, висящая с потолка без абажура. Судя по окну, была ночь. Вызвали Тамплина. До тех пор я почему-то не беспокоился, но оставшись один, стал переворачивать в голове самые невероятные предчувствия. Я думаю, прошло больше часа, когда дверь открылась и Тамплин вернулся. Вид у него был сумрачный, но он не успел ничего сказать, так как меня тут же вызвали. Очутился в каком-то длинном, плохо освещенном коридоре с хорошим, мягким ковром. За мной шел чекист с револьвером. Вдруг передо мной открылась дверь и я оказался в темной комнате с одной хорошо защищенной лампой на столе, от которой падал свет только на часть стола. Кроме этого острова света я ничего не видел. Из темноты голос мне сказал: „Садитесь". Передо мной стоял в полутемноте стул, и я на него сел. Мало-помалу я стал разбирать разные предметы. Большая чернильница, бювар, бумаги и на краю освещенного круга – бельгийский браунинг. За письменным столом увидел лицо. Оно было с какими-то странными тенями, которые, я решил, были щербины, как видно, у него была оспа. Когда он нагнул голову, оказалось, что волос у него было мало, макушка как будто изъедена молью.

Мы долго, показалось, сидели в молчании. Он вдруг спросил:

– Отчего вы были в английской миссии?

Я ему ответил правдиво.

– Зачем вы ездили в Вологду?

Я ему попробовал объяснить, но по существу я и сам причины не знал.

– Отчего у вас расписка на сундуки на Александровской станции?

На это легко было ответить, я ему объяснил о моей сестре. Он долго смотрел на какие-то бумаги и вдруг сказал:

– Вы лжете!

Я ответил, что они могут мои слова проверить. На это он ничего не сказал и как будто забыл о сундуках. Стал спрашивать о чем-то, что произошло в июне.

– Когда это случилось?

– Точно не помню, думаю 16-го или 17-го.

– Вы врете, это было 18-го.

Я, как дурак, сказал: „Вы лучше меня знаете, там у вас все это записано."

До тех пор его голос не повышался. Вдруг он стал истерически кричать:

– Вы лжете! Вы все лжете! Знаете, что это?!

Он подхватил револьвер и стал стучать им о стол. Да я уж так был напуган, что отвечал как автомат. Я не смел прибавлять объяснений к своим односложным ответам. Он отчего-то вернулся к расписке на сундуки. И на каждый мой ответ прибавлял: „Это ложь." Он меня совсем запутал.

Затем вдруг все кончилось. Я оказался в коридоре, потом и в прежней комнате. Тамплин меня спросил, о чем меня допрашивали. Я сперва не мог ему толком сказать.

– Вы знаете, кто нас допрашивал? Сам Дзержинский. Отчего нам такая честь?

Я совершенно ничего не понимал. Что им от меня нужно? Я был переводчиком и посыльным мальчиком, я абсолютно ничего не знал. Тамплин мне сказал, что вопросы ему были тоже ни к селу ни к городу. „Я не знаю, какие сведения они предполагают от меня получить."

Мы были голодны и устали. Духота была невероятная. Мы оба заснули. На утро нам принесли две крынки мутной воды и два кусочка, в палец, хлеба. Хлеб, как и по пайкам, тогда был из мякины и соломы. В моем маленьком кусочке было две соломинки. Суп, как видно, где-то и как-то видел рыбу, потому что Тамплин нашел в своей кружке рыбью косточку.

Мы оба были уверены, что нас, продержав ночь, выпустят, но не тут-то было. Второй раз, часов в шесть, дали нам мутной воды. Ели и пили мы очень медленно, чтобы протянуть время.

К вечеру наш оптимизм пропал и мы перестали раскидывать, выпустят нас или нет. Ночью опять вызвали, только на этот раз сперва меня. Та же комната. Когда глаза привыкли, различил, что человек по ту сторону стола был другой. Говорил очень мягко, но угроза в его голосе была хуже, чем у Дзержинского. Он был настойчивее, повторял один и тот же вопрос разными словами. Опять почему-то вернулся к расписке на сундуки. Начал спрашивать про людей. Знал ли я X или Z? Говорил ли я с ними? Что они сказали?

Почти всех, о ком он меня спрашивал, я не знал даже по имени. Некоторые, которых я знал, будто бы сказали что-то и будто бы я ответил им еще что-то и где-то, когда на самом деле я там и не был. Все это маленький человечек с козьей бородкой будто бы читал в бумагах, которые лежали на столе. Я чувствовал себя прескверно. Единственное, что меня утешало, – что я действительно большинства людей не знал, а от тех, кого знал, никогда не слыхал о том, что чекист спрашивал. Я ему говорил правду, но он мне не верил.

Опять прошли ночь и день. В третью ночь опять был новый допросчик. Молодой, лет 35, с пухлым лицом, бритый. Он сперва был очень вежлив. Вдруг разъярился и стал кричать. Вопросы его сыпались как водопад. Опять о каких-то людях, которых я не знал. Затем вдруг он успокоился и стал уверять меня, что я уже сознался в том, в сем. Когда я это отрицал, он мне говорил, что я лгу. По-русски он говорил с каким-то акцентом. Сказал между прочим, ни к селу ни к городу, что его имя „товарищ Петерс". Это мне совершенно было ни к чему, потому что я о нем никогда не слыхал.

Когда Тамплин вернулся с допроса, он мне сказал, что этот Петерс наверное англичанин. „Он говорит по-английски, как англичанин из Северной Англии."

В четвертую ночь – тот же Петерс. Опять те же вопросы, та же расписка, о которой я ничего не мог прибавить. Вдруг дверь отворилась и появился Тамплин. Петерс ему объявил, что я сказал на допросе о каких-то словах Тамплина. До этого он Тамплина даже не упоминал. Тамплин пожал плечами, я сейчас же сказал, что о Тамплине до сих пор не было ни слова, и Петерс засмеялся.

Затем он обратился к Тамплину очень учтиво и сказал:

– Когда вы вернетесь в Англию, передайте моей жене привет. Она живет в Ньюкастле. – И дал ему адрес. – Вас променяют на наших, которых ваши держат в тюрьме.

Когда мы вернулись в нашу комнату, Тамплин мне сказал:

– Если бы это была правда, он никогда бы этого не сказал. Врет, сукин сын, но я был прав, он или англичанин, или жил в Англии долгое время где-то на Севере.

На пятую ночь и меня и Тамплина допрашивал опять Дзержинский. Все было то же, те же люди, та же расписка, ничего нового. Все эти допросы ничего никому не дали.

– Я не понимаю, – сказал Тамплин, – ни вы, ни я ничего собой не представляем, отчего нас Дзержинский допрашивает? Как будто мы какой-то переворот задумали вместо завтрака в их дурацкой харчевне!

На шестой день после крынки мутной воды появился чекист и повел нас по коридорам. „Вот идиоты, – сказал Тамплин, – продержали нас тут пять дней, а теперь выпускают!" Я тоже думал, что мы шли на волю.

Вместо этого мы стали спускаться по какой-то бетонной лестнице, открылась дверь, и мы оказались на пороге колоссальной комнаты. На нас в молчании смотрели десятки глаз. Железная дверь брякнула за нами, и стоящая толпа ринулась к нам: „Что происходит снаружи? Когда вас арестовали?" Мы объяснили, что уже шесть дней сидим на Лубянке, и интерес их сейчас же пропал.

Комната была огромная, на вид какой-то склад. Слева у потолка были окна, по крайней мере 12 футов от пола. Комната была освещена рядом электрических ламп с потолка, без абажуров. Койки, четыре ряда, стояли поперек по две, не более фута друг от друга. Койки были в две доски по 9 дюймов шириной, на нескольких была солома. Вдоль трех стен тянулись полки в 18 дюймов шириной. В комнате было человек 70 и были свободные койки. К нам подошел маленький человек со светло-русыми усами и очень вежливо обратился:

– Господа, добро пожаловать в самый благородный клуб в Москве. Мы тут все каэры, нас удостоили, как видите, великолепной комнаты. Рядом со мной пустые койки. Пожалуйста, примите мое приглашение. Разрешите представиться, полковник Фриде, гренадерского Фанагорийского полка, а это мои сотрудники, мой брат (и затем представил еще четырех, имен которых я не помню).

Мы его поблагодарили и заняли койки.

Между пленниками был еще один офицер Английской миссии и четыре офицера Французской миссии. Никто из них не понимал, за что они арестованы.

К нам подошел высокий, очень элегантный священник лет 45-ти и, думая, что Тамплин по-русски не говорит, обратился к нему по-английски.

Мы скоро устроились и разговорились.

В пять часов появилась опять мутная вода и кусочки хлеба. Затем в шесть стали выводить по десять человек за раз в сортир. Это, нам объяснили, случалось только утром и вечером.

Фриде оказался очень интересным человеком. Рассказывал о войне, шуточно заметил, что был четыре раза ранен и „почти что убили", но тогда было за что умереть. „Теперь, вероятно, расстреляют, а смысла нет." Он был веселый, много смеялся, рассказывал смешные анекдоты. Священник Никон тоже был веселый. Он был очень образованный человек, хорошо говорил на языках, и очень милый.

Приблизительно в 2 часа ночи дверь раскрылась, появился чекист на ступеньках. За ним, в полутьме, стояли человек шесть с винтовками. Чекист держал бумагу и стал вызывать имена в алфавитном порядке. Вызвал человек 25 или 30. Они со всеми прощались и выходили. Я не знал, что происходило, смотрел безо всякого страха. Затем дверь с шумом захлопнулась. Вскоре заревели моторы грузовиков за стеной. Рев продолжался минут десять. Потом было слышно, как грузовики выезжали, и все затихло. Все это время

все в нашей комнате стояли и многие, я заметил, крестились. Когда шум кончился, все опять уселись и гул разговора возобновился.

Я наивно спросил Фриде, куда их увели. „На расстрел, дорогой, на расстрел." У меня замерло сердце. Подошел отец Никон и стал рассказывать мне какую-то историю, наверно, чтобы меня успокоить.

На следующий день утром дверь открылась и вошли человек тридцать. К ним бросились с вопросами. И опять все уселись, и разговор пошел в каждом углу отдельно. Насколько я помню, большинство вновь арестованных были военные, судя по изношенной форме, конечно, без погон. Держались все кучками, мало друг с другом разговаривали. Только отец Никон всех обходил и беседовал. Он, во всяком случае на меня, имел удивительное успокоительное влияние.

Только два человека – один студент, высокий, в очках, с головой, остриженной под ежика, и какой-то маленький человечек в штатском, сидели совсем отдельно. Мне Фриде не велел с ними разговаривать. Почему-то думали, что они провокаторы. Никто, конечно, точно не знал. Изо всех, кроме англичан и французов, я знал раньше только одного, Николая Львова. Он был корнет Сумского лейб-гусарского полка и пропал еще в октябре 1917 года. Говорили, что его арестовали во время восстания в Москве, и это оказалось правдой. Почему он оказался на Лубянке в это время, не знаю.

Появление чекиста и вызов по списку происходили каждой ночью. Вызывали всегда человек 25-30. Та же процедура, те же ревущие грузовики. Мне посчастливилось одно, моя фамилия начиналась на „в", и как только доходило до „г", я был в безопасности на эту ночь. Несчастные, как Фриде, должны были ждать почти до самого конца.

У меня потом спрашивали, что я чувствовал во время этой переклички? Как мне ни стыдно, должен сказать, что как только доходили до „г", я чувствовал прилив крови к голове и облегчение. По крайней мере, на этот раз меня миновало. Несколько дней спустя страх начал как-то меня оцепенять, я замерзал и страх выше шеи не поднимался. Голова будто замерзала. Привык? – не думаю. Как будто все чувства окаменевали.

Кажется, это было 8 сентября утром, дверь открылась и вместо обыкновенных 30, в нашу комнату вогнали более сотни человек. Коек на хватило, и многие поместились на полках. Все полки были заняты. Фриде с усмешкой сказал: „У нас тут целая рота, человек 200 или 250." В ту ночь вызвали более ста человек. Слух прошел, что какая-то эсерка или меньшевичка Каплан попробовала убить Ленина.

Это было начало террора. С этого дня комната была всегда набита и вызывали по сто, сто пятьдесят человек в ночь.

В те дни я познакомился с господином Виленкиным. Он был

бывший адвокат из евреев. В начале войны пошел добровольцем в армию, был произведен в офицеры. Фриде его и до Лубянки знал. Он был очень милый человек. Фриде мне сказал, что на фронте он был герой. Когда его вызвали, он откуда-то вытянул св. Владимира с мечами и офицерский Георгиевский крест и прицепил их себе на куртку. Остановился и громко сказал:

– Ребята, пока прощайте, мы скоро все встретимся на том свете, это не так страшно, вы все под огнем были.

Результат был совершенно невероятный. Все выпрямились. Кто-то крикнул:

– За Россию с Богом!

И комната загудела: „За Россию с Богом!"

Виленкин как на параде пошел, и за ним таким же твердым шагом пошли другие.

Это меня совершенно потрясло. Мне вдруг показалось, что мы все герои, что мы все умрем за славу России. На ступеньках Виленкин повернулся и крикнул: „За Царя, за Родину, за Веру!", и все единым голосом его поддержали.

После этого несколько дней люди говорили громче, подбодрились, даже новые, которые приходили, и даже те, которых ночью вызывали.

И все это было нелогично. Многие из арестованных были или эсеры или меньшевики, отчего они вдруг, свергнув царя и запродавши немцам пол-России, кричали теперь: „За Царя, за Родину, за Веру"?

Должен сказать, что мало кто из арестованных и приговоренных проклинал судьбу.

В середине сентября вдруг появилась партия англичан. Майор Фрезер и пять унтер-офицеров. Они оказались просто военнопленные. Какая-то не то рота, не то батальон взбунтовался где-то под Архангельском, арестовали офицеров и унтер-офицеров и перешли к большевикам. Они сидели, так и не понимая, что случилось.

К этому времени мы с Фриде и его друзьями очень подружились. Я стал спрашивать, как их арестовали? Фриде сперва неохотно говорил. Оказалось, что он и другие устроили заговор, который, он считал, был бы успешен. Фриде был москвич. Его полк до войны стоял в Москве, и он знал Москву как свои пять пальцев. В Москве тогда было около десяти тысяч бывших офицеров, унтер-офицеров, да еще регулярные солдаты бывшего Гренадерского корпуса и разных других полков. Фриде и его сотрудники организовали ячейки по четыре или пять человек. Из ячейки только один знал кого-либо одного из другой ячейки и т. д. Он сам знал только небольшое количество заговорщиков. План, оказывается, был очень простой. К какому-то дню ячейки собрались бы в разных районах. Наибольшее количество вокруг Лубянки. Другие вокруг Телефонной станции, Почты, Арсенала, бараков, тюрем и т. д. Вооружены были плохо, но

достаточно, чтобы неожиданным ударом захватить все назначенные цели.

Единственное, чего не было, это денег, нужных, чтобы пустить заговор в ход. Тут Фриде сказал, что вина за провал была исключительно его. Он как-то связался с Английской и Французской миссиями. Главы обеих обещали нужные деньги. Остальные в миссиях ничего об этом не знали.

Но тут произошел несчастный случай. Ллойд-Джордж прислал в Москву дипломата Брюса Локкарта, будто бы специалиста по России, говорящего по-русски. Он с места в карьер взял себе в любовницы баронессу Бенкендорф, вдову русского посла в Лондоне. Те, кто ее знали, подозревали, что она работала в Чека.

Теперь как нового главу миссии Локкарта, видимо, осведомили о заговоре. Никто, конечно, не знал, подвел ли он заговорщиков нарочно или просто по надменной глупости. Я его только раз видел в миссии и, слушая его разговор, решил, что это самоуверенный дурак.

Тогда Ллойд-Джордж, как многие английские либералы, предпочитал в России разруху. Они думали, что Россия под большевиками не будет играть роли в Европе, что будет хаос и что они (либералы) смогут диктовать красному правительству свои собственные идеи. До революции они поддерживали Милюкова, Гучкова и т.д. Может быть, это и объясняет отчасти поведение Локкарта?

Но то, что произошло, скорее показывает, что Локкарт был высокомерный идиот. Многие иностранцы, европейцы и американцы, были убеждены, что все в России „подкупные". На самом деле в России было гораздо меньше „продажных", чем в других странах, но иностранцы верили легендам, а не опыту.

Локкарт решил, никому не говоря, подкупить Э.Берзиня. Предложил ему миллион, чтобы он своих латышей придержал в бараках. Разумеется, Берзинь сообщил это в Чека.

Все это произошло в конце августа. Чека тогда арестовала не только всех вожаков, но и поголовно всех, которые могли бы быть замешаны в таком заговоре. Многие были, а многие и не были. Мы с Тамплиным просто попали в облаву. Аресты продолжались месяца три, и большинство было расстреляно, сами большевики говорили, что семь тысяч, по принципу французской поговорки: „Если это не ты, так твой брат."

Так, например, в нашу комнату вогнали однажды более сотни человек, из которых 27 были Борисовы. Говорили, что Чека искала какого-то Борисова. Не знали, кто он, и арестовали всех Борисовых по телефонной книге. Когда они появились у нас и это выяснилось, все стали хохотать. Это было, что называется, „une sale histoire". Думаю, что только русские в таком положении нашли бы это смешным. Даже Борисовы смеялись. Позднее их всех расстреляли.

Каждый день вызывали до ста зараз, иногда меньше, иногда

больше, но комната никогда не опустевала, на следующее утро пополняли ее опять. Фриде и его друзей вызывали, но отдельно от тех, которых увозили на расстрел. Он горько иногда говорил: „Нас в конце концов расстреляют, но больно, что из-за меня столько народу погибло."

Еще до конца сентября полковника Фриде и его товарищей вызвали на расстрел. Он, прощаясь, улыбнулся: „Странно, сколько раз мог быть убит на фронте... судьба решила иначе. Был рад со всеми вами познакомиться." Подошел к священнику за благословением, пожал нам всем руки и ушел.

Меня очень удручила гибель Фриде и друзей. Никон перешел на его место и меня утешал.

До нас дошли слухи, что Локкарт арестован, но не Чекой, а сидит в Кремле. Это, оказалось, правда. Я думаю, вряд ли он был под арестом, просто был гость Советского правительства, и почему же нет — он его спас!

Утром 30 сентября вызвали меня и двух других. Хотя и говорили, что если вызывают утром, то это или на волю, или в другую тюрьму, у меня сжалось сердце. Мне кажется, я больше был напуган в этот момент, чем за все время на Лубянке. Нас вывели во двор, посадили в грузовик. В нем уже сидели 4 человека. Влезли 8 чекистов.

Прощаясь с отцом Никоном и иностранцами, я почувствовал, что весь промерз, хотя было жарко.

Наш грузовик въехал в ворота Бутырок, и я оказался на втором этаже, в камере №5, где уже были 24 арестанта.

БУТЫРКИ

Меня в камере встретили гостеприимно, задавали вопросы, но я на них не мог ответить, потому что уже более месяца сидел.

Состав камеры был очень типичен, я этого тогда еще не знал. На Лубянке, кроме „каэров" (контрреволюционеров), никого не было. Здесь же была смесь всего, и все эти разные группы держались отдельно. Во-первых, было четыре московских купца и лавочника. Они отличались от других тем, что были хорошо одеты, у одного была даже шуба с меховым воротником. Я не сразу понял, что они собой представляли, мне сказали, что они не каэры, а „заложники". Они держались отдельно, ни с кем не говорили и посматривали на всех искоса. Затем было два мальчишки, лет 14-ти или 15-ти, страшно худые, один сифилитик. Они выглядели как преступники, оказалось, что ими и были. В первый раз слышал название „беспризорные". Они были карманники невероятной квалификации. Арестовали их за грабеж и, говорили, убийство. Они были „с-п", то есть

спекулянты. Мальчишки эти были препротивные. Затем было двое взрослых, тоже арестованных за спекуляцию. Все мое сидение в Бутырках эти двое вели войну с беспризорными. Это было для нас очень хорошо, потому что война эта поглощала их и держала от нас в изоляции. Было два студента, которые тоже держались отдельно. Они ни с кем не говорили, лежали почти все время на койках и говорили друг с другом полушепотом. Был один английский офицер из миссии, по фамилии Хилл, который совсем хорошо говорил порусски, что не особенно странно, ибо мать его была Хвостова. И было 13 рабочих, все железнодорожники. Эта последняя группа была веселая, гостеприимная, и я сразу к ним примкнул. Рабочие все были „каэры", говорили тем же языком, что я, и мы сразу подружились. Интересно, что нас презирали и купцы, и студенты. Нас считали „темными". Единственный раз, что я говорил с одним из студентов, он мне сказал:

– Не понимаю, вы образованный человек, а якшаетесь с рабочими...

Меня это обозлило, и я ему ответил:

– Они гораздо культурнее, чем остальные, они понимают, в чем дело, мы говорим на одном языке.

После этого я превратился, по его мнению, в идиота.

По сравнению с Лубянкой Бутырская тюрьма была очень удобная. Правда, отопление было отрезано. Один длинный радиатор центрального отопления был разъединен, в трубу была вбита деревянная пробка. Койки были сделаны из двухдюймовых железных труб, между которыми была натянута парусина. Они подымались днем и прицеплялись к стене. Конец их лежал на ящике, в который можно было положить имущество. Мне нечего было в него положить, все было на мне. Эти ящики пододвигались днем к длинному столу посреди камеры. Окно было большое, и в камере было светло. На окне – решетка. Три из оконных стекол были разбиты. Вид через окно был на двор, окруженный такими же зданиями, как и наше.

Дверь выходила в широкий коридор, в конце которого был сортир и умывальники. Тюремщики были старые, бывшего режима и, когда не было в коридоре чекиста, были очень милые. В углу у двери стояла „параша".

Лучше всего, что были подушка и одеяло и на койке тонкий матрас. Все это было „люкс" по сравнению с Лубянкой.

Когда я пришел, рабочие и Хилл играли в карты, сделанные из картона. Играли в „очко" на бумажки разорванной газеты. Каждый день двое ходили на кухню, где-то внизу, и приносили на палке огромный медный котел, полный мутной воды, в которой иногда попадались листья капусты, косточки какой-то рыбы и даже крупинки ячменной каши. Хлеб, как и на Лубянке, был из мякины с соломой, но порция немного больше.

Я скоро привык и в хорошей компании мало тревожился.

Каждый день, независимо от погоды, выводили на прогулку во двор. Ходили по два в хвосте, говорили шепотом. И котел, и прогулка давали возможность видеть других арестованных. На кухне можно было даже поговорить с кем-либо из других коридоров и камер. Еще лучше были встречи и разговоры в библиотеке, куда водили раз в неделю, по средам. Разрешалось брать две книги. Из камеры водили в неделю по пять человек. Но мне тут посчастливилось: кроме меня, двух рабочих и двух купцов, никто в библиотеку у нас ходить не хотел, так что я бывал там каждую неделю. Библиотека была великолепная, много тысяч томов. Кроме классической и современной литературы, были книги по разным специальностям, и даже „Капитал" Карла Маркса. В первый же раз, что я пошел в библиотеку, я узнал одного из библиотекарей. Это был Александр Самарин. Я помнил, как он приезжал к нам в Хмелиту. У его брата было имение Родино в 15 верстах. Он меня, конечно, не узнал. И еще один библиотекарь показался мне знакомым на вид. Спросил старого тюремщика, кто он. „Э, брат, не поверишь, это Щегловитов, бывший министр юстиции. А смотри, чем теперь занимается."

На одной из прогулок увидел на другой стороне двора Петра Арапова. Я его знал с детства, и мы были друзья, хотя он был на три с половиной года старше меня. Он был корнетом лейб-гвардии Конного полка. Я не знал, когда его арестовали. Видел его в начале августа в Москве. Увидев меня, он притворился, открыл книгу, стал перелистывать ее и показал в направлении библиотеки. Я понял, что он хочет меня там встретить, и кивнул головой. В следующую среду мы там встретились. Мы условились о книгах и системе переписки и стали переписываться, отмечая карандашом слова. Встречались также в кухне. Это было нетрудно, никто не стремился носить тяжелые котлы и уступали мне место, если я хотел видеть Петра. Он мне указал свою камеру, которая была налево от нас, на третьем этаже, и мы еще и через стекло знаками переговаривались.

Хилла, а также одного из железнодорожников выпустили через две недели. На их место через день посадили двух новых. Один был поручик Колесников, а другой поручик Гайда. Их появление совсем переменило дух камеры. Они были веселые шутники и рассказчики. Их невероятные истории слушала не только наша группа, но и вся камера.

Колесников в особенности был занятен. Правду ли он говорил, или выдумывал, было безразлично, рассказы его всех занимали. Это он окрестил Бутырки „Бутырки Les Bains", и имя это разошлось по всей тюрьме. Он придумал новое название для „мутной воды". Он уверял нас, что зря мы большевиков обвиняем, будто нас кормят только помоями. Он говорил, что суп сварен из сухой комсы. Комса, по его мнению, должна быть заранее намочена. Тот факт, что комса растворяется и вода становится мутной, — не вина большевиков. Это — тех вина, кто изобрел комсу, никому не известную ры-

бу, и того дурака, который ее высушил. Итак, суп – комсовый, значит нас добрые большевики кормят рыбой! Он прозвал мутную воду „comme ci comme ça", то есть „ни то ни се". Это тоже разошлось по всей тюрьме.

Он уверял всех, что Бутырки сейчас – самое лучшее место в России. „На воле могут арестовать и расстрелять, все боятся, а здесь, друзья, мы сидим, что в Карлсбаде, диета выработана так, что мы не можем стать тучными, нас заставляют гулять, самые лучшие доктора не могли бы придумать лучшее лечение."

Его шутки размягчали тюремщиков, даже чекистов. Он убедил какого-то чекиста, что мы будем мерзнуть и нам нужно дать лишнее одеяло. „Послушайте, товарищ, если мы до смерти замерзнем, – подумайте, как трудно мертвое тело носить. Гораздо проще дать нам одеяла, тогда бы мы сами в могилку могли пройти." Как ни странно, нам выдали по одеялу. Он же откуда-то получил картон, которым починил разбитые окна.

Его рассказы, может быть, были выдумкой, но мы слушали и хохотали. Он, например, все повторял, что сидит в Бутырках из-за верблюда. Он служил в бронированном отряде в Персии. „Послали нас из Тегерана на юго-запад. Говорят, валите в Багдад. Поехали, 16 броневиков. Доехали до Керман-шаха. Нам говорили, что за нами бензин пошлют. А тут у нас бензин кончился, и никакого бензина не прислали. Сидим в каком-то сарае, ждем. Нас и персюки не особенно любят, а тут вдруг через границу турки появились. Стали нас снарядами обкладывать. Мы выкопали ямы, поместили туда наши броневики и отстреливаемся. Вдруг приходит из Тегерана бригада кубанских казаков. Командует ею генерал Бичерахов. Говорит: „Что ж вы, идиоты, ваши броневики угребли?" Мы ему отвечаем: „Бензину нет." – „Так я вам верблюдов да волов дам, вы их впряжете и они вас до Багдада довезут." Наш командир отказался, говорит – глупо в Багдад входить и быть тащимыми верблюдами. Кубанцы пошли на Багдад, а мы сидим, все бензин ждем. Шесть месяцев сидим, приезжает из Тегерана ординарец. Говорит: „Что вы тут делаете? Багдад уже шесть месяцев тому назад взяли, возвращайтесь в Тегеран." – „У нас бензина нет." – „Подождите, мы вам пришлем." Просидели еще три месяца. Нет бензина. Командир говорит: „Запряжем верблюдов, в Тегеран не так стыдно на верблюдах возвращаться." А тут зима пришла. Верблюды медленно нас тащат. И персюки начали постреливать. Перебили много верблюдов, да и наших поранили. Командир говорит: „Мы никогда броневиков до Тегерана не довезем. Снимем, что можно, а броневики взорвем." Так и сделали. Сели на верблюдов, пошли. Нас все обстреливают персюки. Как метели закрутили, мы повернули на Табриз, там у нас гарнизон был. В одной из перестрелок я как-то отбился от других. Пошел один с моим верблюдом на Табриз. А он, скотина, как задремлю, все на юг заворачивает. Шатался я, шатался, персюки, слава

Богу, в деревнях кормят, дошел до Табриза, а там наших нет. Пошел на Нахичевань. Верблюд мой все на юг тянет. Наконец дошел. Прихожу, какие-то беспогонные солдаты спрашивают, кто я такой. Объяснил. Они говорят – я английский шпион, и арестовали, повезли сперва в Тифлис, откуда во Владикавказ и наконец в Москву. Привезли на Лубянку. Говорят мне: „Вы шпион." Я говорю: „На кого ж я шпионил?" – „Не знаем, – говорят, – все равно шпион", – и сюда засадили. Если бы подлый верблюд до большевиков не вернулся, они бы меня никогда не поймали."

Эту историю с разными прибавлениями он много раз рассказывал, и мы все хохотали.

Придумал Колесников и разные способы переговоров со знакомыми в других камерах и вообще нас развлекал.

В ноябре меня вдруг вызвали, говорят, что навещатель ко мне пришел. Это меня испугало. Кто мог меня навестить? Никто же не знал, где я. Пошел. Привели в комнату, разделенную решеткой. Смотрю, гувернантка наша, мисс Фергюссон. Она притворилась, что по-русски мало понимает. Стала говорить по-английски. Тюремщик говорит, что это не позволяется. Я ему объясняю:

– Да она англичанка, русского языка не знает.

– Ну, – соглашается, – говорите с ней на собачьем языке, эти немцы все сумасшедшие, православного языка не знают.

Она мне принесла полушубок, портянки и английскую книгу. Говорит:

– Отметьте слова карандашом незаметно, будем переписываться. Приду опять через две недели.

Принесла и двухфунтовый хлеб, купленный на черной ярмарке. Тюремщик взял хлеб и раскрошил, так что пришлось мне нести его в фуражке.

Она стала приходить каждые две недели. Я возвращал книгу, она мне давала новую. Из переписки я узнал, что отец и мать мои, сестра и младший брат – были в Москве. Живут все в квартире, Трубниковский переулок 17. Сундуки, которые привезла моя сестра, они получили без расписки, и никто не докучал расспросами.

Прошло Рождество. В январе вдруг появились новые чекисты и стали допрашивать некоторых арестованных почему-то в коридоре. Вызвали железнодорожников, Колесникова, Гайду и меня, по очереди. Когда Колесников вернулся в камеру, вид у него был в первый раз удрученный. Я его не успел расспросить, как меня вызвали. Меня охватила дрожь. В коридоре стоял стол, за ним сидела белобрысая чекистка. Глаза у нее были очень светлые, холодно-голубые. Думаю, была латышка. Она на меня холодно посмотрела и сразу же спросила, отчего у меня была расписка на сундуки. Я ей дал то же объяснение, которое давал прежде, но про себя подумал, что теперь мне никак этого не доказать, сундуков на вокзале больше нет.

За чекисткой стояли четверо вооруженных чекистов, что мне

очень не понравилось. Она продолжала спрашивать, и вопросы были те же, что задавали на Лубянке. Я, поскольку помнил, ответил в тех же словах. Наконец она меня отпустила, испуганного и удрученного.

Когда я вернулся в камеру, Колесников уже повеселел.

– Вы знаете, мы должно быть очень важные контрреволюционеры, они специально к нам с визитом приезжают.

Несколько дней мы беспокоились, потом все пошло по-старому. Колесников заявил:

– Господа, что они могут с нами сделать? – мы уже под арестом. Расстрелять нас теперь было бы глупо. Подумайте, сколько мы их комсы съели, даже большевики не такие дураки.

В феврале по тюрьме пошли слухи, что террор вдруг утроился. Что Таганка набита и что превратили в тюрьмы даже кадетские корпуса. Кто-то новый, попавший в одну из камер, говорил, что и расстрелы утроились. Атмосфера стала тяжелая, все беспокоились. Затем мисс Фергюссон, которую я ожидал в начале февраля, не пришла. Даже Колесников затруднялся все это объяснить.

26 февраля утром вдруг вызвали меня, Колесникова, Гайду и двух железнодорожников и повели нас вниз. Мы оказались в большой комнате, где было еще человек 20, и среди них – Петр Арапов.

– Ну, братья, вы на свободу. С Богом! – сказал тюремщик, который нас привел.

Мы стали в хвост, и нам по очереди выдавали кусочки желтой бумаги. На них было напечатано: „Товарищ (скажем) Николай Волков арестован 27 августа 1918 года, выпущен 26 февраля 1919 года. К-р. (Штемпель Бутырки и подпись)".

Никто ни слова не говорил. Открыли дверь в какой-то проход. Собралось нас там человек 25, затем открыли калитку, и мы оказались на улице. Был солнечный день, и снег сверкал. Почему-то все сбились в кучу и медленно пошли по направлению к Садовой. Только когда мы прошли с полверсты, все разговорились.

Один из железнодорожников, с которым я дружил, вдруг сказал:

– Э, брат, дали нам „волчий билет", куда мы с ним? Остановят, затребуют документы. Вот, пожалуйста, я контрреволюционер, даже на документе написано. Да вы что на воле делаете? Пожалуйте на Лубянку! А там крышка.

Это, действительно, был вопрос. Кто-то сказал: „А ты, брат, им не попадайся." Это было легко сказать. Ничего не переменилось, трамваи ходили такие же набитые, люди висели гроздьями, а прохожих на улице было мало. Мы все еще шли толпой, как будто боясь друг друга оставить. Петр Арапов, увидев трамвай, вдруг бросился к нему, крикнув: „Николай, увижу тебя у Оболенских!", и на ходу вскочил на ступеньку.

Мы пятеро держались вместе, расспрашивая друг друга, куда

каждый намерен идти. Я оказался один, который целил на Кудринскую площадь.

В те времена мало кто платил за поездку на трамвае, все почти ездили зайцем. Были билетчики, но в такой толкотне трудно им было собирать деньги. У меня денег не было. Но я не рискнул. Дошли до Садовой и разошлись.

С ВОЛЧЬИМ БИЛЕТОМ

В прежнее время три или четыре версты я бы даже не заметил. Но тут у меня вдруг стали подкашиваться ноги. Сел на скамью на бульваре. Глупо это было. Прошел несколько сот шагов – устал и опять сел. Более двух часов шел до Трубниковского.

Позвонил. Открыла дверь моя сестра. Спрашивает:

– Вам кого нужно?

Я ей говорю:

– Ты что, с ума сошла? Меня не знаешь?

Она спохватилась, узнала меня, обняла. Пошел к зеркалу и сам себя не узнал. Никого, кроме нее, дома нет. Она мне говорит:

– Ты, наверное, голоден? Я тебе что-нибудь сварю.

Сварила. Я сел на обитый стул, почувствовал, будто на пуховую кровать сел, так отвык от мягкой мебели. Стал рассказывать, что со мной случилось. Подчерпнул ложкой суп и вдруг вскочил как ужаленный. Как будто я огонь в рот налил. Стал бегать по комнате, держа ладонью рот. Сестра с ужасом на меня смотрела, решив, наверное, что я с ума сошел. У меня так дух захватило, что я не мог говорить. Оказалось, что сухие овощи, выглядевшие как коричневые деревянные стружки, были сплошной перец.

Когда я наконец смог говорить, я ей объяснил, и мы долго хохотали. Действительно было смешно, просидел шесть месяцев, пришел домой и с места в карьер обжег себе рот.

Мой отец, оказывается, служил в Шведском Красном Кресте. Мать служила в департаменте статистики, младший брат был в гимназии. Мисс Фергюссон давала уроки английского языка, а моя сестра работала машинисткой в отделе „Охраны художественной старины", не помню, как это называлось точно. Во главе отдела стояла товарищ Троцкая, жена Льва.

Как прежде в Вязьме, мы и теперь жили лучше москвичей, потому что крестьяне из Хмелиты продолжали каким-то макаром обходить советский кордон вокруг Москвы и привозить кто муку, кто гречиху или ячменную крупу, сало и т.д. Было это, конечно, редко. Москва уже голодала. Крестьяне оставались у нас по нескольку дней и все приглашали моего отца и Сандру обратно к ним. Отец, конечно, не мог ехать, но Сандра провела в деревне несколько раз по не-

деле, по две. Не хотели отпускать обратно в Москву, пока она у всех в деревне не погостила. Бывший шофер наш откуда-то дрова привез, „чтобы не мерзли".

Дружно тогда люди жили, все тогда друг другу помогали.

Я очень похудел и ослаб, и моя мать хотела, чтобы я немножко откормился. Моя бывшая учительница литературы в Вяземской гимназии Мария Александровна Рыбникова жила в Малаховке, недалеко от Москвы, на Рязанской железной дороге. Она была в то время очень известна как литераторша. Как раз в это время она собирала и выбирала стихотворения для Антологии. Она помнила, как я любил поэзию, и была очень рада пригласить меня к себе ей помочь. Я тоже был очень доволен и поехал в Малаховку. Стали работать. У нее была великолепная библиотека. Мы перечитывали вслух, спорили, выбирали, писали заметки. Мария Александровна настаивала, чтобы я ходил гулять, чтоб усилить мои ноги. Весна была ранняя. Зная, как я интересовался живописью и архитектурой, Мария Александровна послала меня посмотреть разные имения. Мне в особенности понравилось Быково, которое раньше принадлежало Воронцовым-Дашковым. Мария Александровна убедила меня поехать и в Раменское, бывшее имение Голицыных-Прозоровских.

Я поехал дачным поездом и пошел смотреть. Дом был небольшой, но довольно красивый. Во всех старых имениях были сторожа. Было нетрудно их убедить показать дом. Я пошел искать сторожа.

Прошел перед фасадом, как вдруг из дома выскочил молодой парень с винтовкой. Он меня тут же обвинил в шпионстве и арестовал. Оказалось, что в доме местное Чека. Потребовали документы, а у меня, кроме „волчьего билета", ничего нет. „Значит, – говорят, – шпион." Допрашивают. Говорю, „отдыхаю" в Малаховке. После двухчасового допроса посадили в какую-то темную конурку под лестницей. Я решил, что на этот раз мне не выбраться.

На следующее утро решили меня отправить на Лубянку. Голодного посадили в поезд, под конвоем старика с револьвером. Мы разговорились. Стали говорить о земледелии. Он мне говорит:

– Да вы деревенский!

– Да, – говорю, – деревенский.

– Ох, много накрутили эти горожане, у нас в Раменском даже осенью посева не было.

– Да они не понимают.

– Дурье все, понаехали в деревню, все испортили.

Он стал очень дружелюбно рассказывать про свою жизнь до войны, и трудно было себе представить, что он конвоир, а я арестованный. Милый был старик. Когда мы приехали на Казанский вокзал, я ему говорю:

– Родители будут беспокоиться, если вы меня сразу же отвезете на Лубянку. Если мы возьмем извозчика, могли бы мы заехать в департамент, где служит моя сестра?

— Отчего же нет? Никогда на извозчике не ездил. Заедем.

Поехали. Отдел моей сестры был в доме Маргариты Кирилловны Морозовой. До войны она была некоронованной королевой Москвы. Ее покойный муж собирал картины Врубеля, она — французских современных художников, у нее бывали вечера поэтов, философов. Дом ее в Мертвом переулке был невероятной вульгарности. Колонны из разноцветного мрамора, какие-то золоченые купидоны, повсюду бархат и т.д. Все было колоссального размера.

Приехали туда. Старик мой ахнул, когда вошли в прихожую:

— Да это, брат, дворец!

— Нет, — говорю, — не дворец, но денег много потрачено, так только купцы строить могли.

— Да, — говорит старик, — наш князь точно в халупе жил.

Я кого-то попросил вызвать мою сестру, а тут вдруг Миша Фокин проходит. Спрашивает:

— Что ты тут делаешь, Николаша?

Он наш сосед по Хмелите был. Я ему объяснил.

— Э, брат, подожди, я тебе устрою.

Тут моя сестра появилась. Фокин ей что-то быстро объяснил, и они вместе куда-то побежали. Сидим мы в прихожей. Я извинился перед стариком, что так долго сидим.

— Э, братец, я здесь наслаждаюсь, ничего такого никогда не видел.

Прошел почти час. Выходит Фокин с сестрой и дает мне бумагу. Напечатано: „Николай Волков отправлен в село Раменское, чтобы осмотреть дом, бывший Голицыных-Прозоровских, для сего департамента... " и еще что-то. Подписано — „Товарищ Троцкая". И штемпель.

Поехали на Лубянку. Та же комната, в которую меня ввели шесть месяцев тому назад. Старик протянул чекисту какую-то бумагу. Чекист осторожно ее прочел. Посмотрел на меня. Я ему говорю:

— Ошибку они сделали, я туда официально был послан, а они не слушали.

— Какую ошибку?

— Да вот смотрите! — Показываю ему свою бумагу.

— Кто это — товарищ Троцкая?

— Как кто? Жена товарища Льва Троцкого.

Он покраснел:

— Да чего же они вас арестовали? — И обрушился на несчастного старика.

— Подождите, подождите, он тут совсем не при чем, его послали.

— Вот канальи! Провинциальные дураки, что они время наше тратят! Они и читать не умеют!

К счастью, мой старик, которого я заранее поблагодарил и дал деньги на извозчика, юркнул куда-то и исчез.

– Ну, это ошибка, зря вас сюда привезли. – Вернул мне бумагу, и я вышел.

Я вернулся к Фокину, и он мне сварганил документ, который будто бы меня причислял к „отделу старины". Теперь у меня были две бумаги, новая и „волчий билет". Это давало мне некоторую свободу ходить по улице, не боясь быть остановленным милиционером. Но в случае облавы Чекой такая бумага была ни к чему. Чека сейчас же бы стала справляться, а моего имени в списке работающих в отделе не было.

Облавы теперь стали еженощные. Но, слава Богу, Чека была методична. Облавы были по районам, скажем, между Арбатом и большой Никитской, затем Никитской и Тверской и т.д. Иногда были вдруг неожиданные районы, скажем, Пресня. Кроме того, бывали специальные обыски какого-нибудь дома. Все эти облавы происходили каждую ночь, обыкновенно после 10 часов вечера. Появилась новая часть населения – „бегуны". Это были люди с „волчьим билетом", или офицеры, которых Троцкий искал для Красной армии.

Невероятно холодная зима 1918-19 года послужила „бегунам" хорошо. Дело в том, что в Москве повсюду дома стояли более или менее особняком. Даже и те, которые стояли рядом друг с другом, имели сады. Почти все сады были окружены деревянными заборами. В ту зиму дров не было. Люди по ночам срывали заборы и жгли. К началу 1919 года заборы почти вовсе исчезли. И тогда открылись большие сады прямо на улицу. В годы войны и революции мало кто ухаживал за садами, и к этому времени они разрослись, превратились в какую-то полутайгу или что у нас в Смоленской губернии называлось „паршевники".

По этим „паршевникам" протоптаны были тропы. Чека никогда не смела в них соваться. Можно было, если хорошо знал Москву, пробраться, скажем, от Остоженки на Лефортовскую сторону, только перебегая улицы, из паршевника в паршевник. Если кого встречал на тропе, наверняка был „бегун". Редко разговаривали с такими встречными. Обыкновенно просто говорили: „Скатертью дорога!" – „И вам, брат!". Но, конечно, предупреждали друг друга, скажем: „На Спиридоновке облава." – „Спасибо, все чисто до Сретенской." – „С Богом!" – „Вам тоже."

Говорили, что в Москве тогда было двадцать-тридцать тысяч бегунов. Некоторые считали, что больше.

Каждую ночь все эти бегуны, как кочевники, шатались по паршевникам. Все стремились ночевать в уже обысканных районах. Развилась какая-то подпольная система. Незнакомые предупреждали друг друга о безопасных местах и опасных. У всех были свои „ночлежки" у знакомых и полузнакомых. Все друг другу помогали.

Были, конечно, и подозрительные ночлежки. Например, в нашем доме, в верхней квартире, жила старуха Екатерина Петровна

Ермолова. У нее было два внука, 16-ти и 17-ти лет, бароны Штекели. Все подозревали, что они служили в Чека. Сама Екатерина Петровна меня предупредила. Их нужно было опасаться. К этому времени никто никому, кроме верных друзей, не верил и ни с кем не разговаривал. О политике вообще никто не говорил, да даже и не думал.

Люди иногда пропадали. Трудно было сказать, были они арестованы или каким-нибудь образом бежали из Москвы. Выбраться из Москвы в дачные места было не так трудно, но дальше было очень опасно. Во-первых, был кордон Чеки, его еще можно было проскочить, но дальше были „зеленые". Они считали, что все, кто из Москвы, – коммунисты. Попасться им было не легче, чем попасть на Лубянку. Они без всякого разговора расстреливали каждого с севера. Легче всего было выбраться из Москвы как раз на север, но к чему? Оттуда куда?

Некоторые потом мне рассказывали, что выбрались сперва в Ярославскую губернию, потом в Тверскую, оттуда в Смоленскую, Могилевскую, а затем на юг. Это отнимало иногда больше года очень опасной поездки.

Мне повезло. Во главе Исторического архива, который подчинялся, кажется, Комиссариату иностранных дел, был назначен граф Павел Шереметев. Его брат, дядя Саша Шереметев, был наш родственник и сосед: женат на тете Мане Гейден и жил в Высоком. Павел не был женат. Как только я узнал о его назначении, попросил взять меня в Архив. Он меня назначил в помощники генеологу Ельчанинову. Таким образом, у меня появился новый документ, на этот раз не поддельный.

В Архиве была масса исторических бумаг, переписка послов, письма князя Курбского, боярина Матвеева, бесконечное число каких-то указов, записи переговоров и т. п. Отдел Ельчанинова тонул в выписях из департамента Герольдии. Раньше это был отдельный департамент, но при переезде из Петербурга в Москву его „разжаловали" в отдел исторического Архива. Ельчанинов часто посылал меня в Исторический Музей за справками. Там тогда служил некто Рыбников. Сам Ельчанинов был маленький старичок, ярославский помещик. Он взялся писать родословную ярославских дворян задолго до 1-й войны. Говорил мне, что в черновике дошел до буквы „М" и бросил, потому что понял, что ему понадобилось бы жить 200 лет, чтобы такую работу закончить. Он решил ограничиться родословной семьи Волковых, которых в Ярославской губернии было, он говорил, „как собак нерезаных". Много позже я узнал, что книгу эту он кончил и даже напечатал в Гельсингфорсе.

Жизнь в Москве в то время была странная до фантастичности. Днем люди жили совершенно обыкновенно. На улицах было безопасно, люди ходили друг к другу в гости и т.д. А ночью шныряли, как крысы, по паршевникам и на ночевку входили в дом со двора.

Например, у Сабуровых на квартире, недалеко от Собачьей площадки, каждый четверг собиралась масса людей. Приходили поэты, музыканты, художники. Дочери хозяйки, Елизаветы Владимировны Сабуровой, „тетя" Маня и Саша Шидловская — были подругами моей матери. У Саши было много детей, один из них, Юрий, был моим другом в детстве. Я всегда ходил на эти „четверги". Поэты читали свои стихи, мне было страшно интересно, я любил поэзию. Иногда приходил Игорь Грабарь. Я с ним несколько раз говорил, потому что я очень интересовался русским портретом.

Были и собрания молодежи у князя Алексея Дмитриевича Оболенского, дом был гостеприимный. Никого, конечно, тогда не кормили, но поили чаем из сушеной моркови.

К нам тоже приходило на „чай" множество народу. Например, полковник барон Притвиц, замечательный человек. Он всегда ходил в форме стрелков Императорской Фамилии, только погоны снял. Мой отец ему говорил:

— Притвиц, ты дурак, тебя арестуют.

— Может быть, но что они могут со мной сделать? Они знают, что я гвардейский офицер, что я монархист, а вреда им никакого не делаю, — ну что, расстреляют, только пули тратить.

Приходил товарищ Лундберг с женой. Он был товарищ Комиссара по просвещению, помощник товарища госпожи Коллонтай. Старый большевик и идеолог, он при том был премилый человек. Но удивительно наивный: он не верил, что люди голодают, что Чека расстреливает невинных. „Конечно, сейчас время трудное, это понятно, мы еще не устроили все..." Только позднее он вдруг понял, что всеобщий голод был частью советской политики, что голодные ни на какие баррикады не лезут, и голод вместе с террором держит всех в ежовых рукавицах. Но тогда он оправдывал правительство, мол, крестьяне удерживают съедобное... Мой отец ему говорил:

— Да вы оставьте крестьян в покое, перестаньте их притеснять, они вам навезут сколько угодно съестного.

— Да они же темные, они не понимают блага социализма.

Но стал иногда приносить в подарок белый хлеб или десяток яиц.

— Видите, все есть!

— Так это в ваших лавках, где только коммунисты могут покупать.

Странно было, что такой хороший человек был так слеп.

Мои родители переехали в Москву в то самое время, как меня арестовали. Никто не знал наверняка, что со мной случилось. Я просто пропал. Видел сестру в то утро, пошел на работу, послали в Английскую миссию — и баста. Справлялись — ничего. Тут старая графиня Шереметева говорит моей матери:

— Пойди к Каменеву. Я у него была, справлялась о моих сыновьях и о Саше Сабурове. Пришла, там много народу сидит, запол-

нила анкету. Не успела сесть, приглашают, открыли дверь, а тут Каменев вскочил, подошел, поцеловал мне руку и кресло подставил. Спрашивает – что он может сделать? Рассказала, а он говорит – это не от него зависит, но узнает. До сих пор не узнал.

Моя мать все-таки решила пойти к Каменеву. Пришла. Комната набита, некоторые уже второй день сидят. Заполнила анкету. Тогда анкеты были с полверсты. Имя, кто был отец, кто мать, где раньше жил и т.д., и т.д. Смеялись тогда, что если идти на прошение, то заранее нужно было разузнать, „кто был дантист твоей бабушки". Но тут выскочил какой-то господин и говорит моей матери: „Простите, товарища Каменева нет, вас примет товарищ комиссара товарищ Крутиков." И повел в его кабинет. Вошла, Крутиков вскочил, поцеловал ей руку и говорит:

– Простите, что заставил вас ждать.

Моя мать ему говорит:

– Меня сразу же провели, у вас там комната набита людьми, которые пришли задолго до меня.

– Да вы, Варвара Петровна, совсем другое дело. Я вашего батюшку очень хорошо знал и уважал. Когда он был обер-прокурор, я в его конторе служил маленьким чиновником. Всегда он со мной разговаривал и поощрял. Все, что я знаю в юстиции, от него научился. Граф был замечательный человек. Что я могу для вас сделать?

Моя мать объяснила, что я пропал и что меня, вероятно, арестовали. Он говорит:

– Варвара Петровна, это не от нас зависит, это Чека, но я все, что могу, узнаю и сделаю.

Моя мать его поблагодарила, а он говорит:

– Варвара Петровна, у меня автомобиль, я вас домой отвезу.

– Нет, спасибо, я сама пешком пойду, у вас тут много людей ждут.

– Ах, они пускай ждут!

– Нет, – говорит моя мать, – я в вашем автомобиле ехать не хочу.

– Да, – говорит Крутиков, – понимаю, вам неудобно.

Через неделю приехал с визитом и дал знать, что я теперь в Бутырках сижу и что сделает все возможное, чтобы меня оттуда вытянуть.

По крутиковскому прошению или просто потому, что Чеке нужно было место в Бутырках, меня выпустили – не знаю. Я об этом забыл и, как дурак, почти что влип. Однажды, когда уже работал в Архиве, пришел домой, вхожу в комнату – сидит какой-то господин. Говорит:

– Вы, вероятно, сын Варвары Петровны. Это вы были арестованы?

– Да, меня эти идиоты из Чеки арестовали.

– За что вас арестовали?

– Не знаю, они сами, вероятно, не знали. Большевики, идиоты, арестовывают людей, расстреливают, морят, только потому, что трусы, пуганая ворона куста боится.

– Да может быть – против них заговоры? Вы, может, этого не знаете?

– Да кто на пустой желудок заговаривать станет?

– Ну, их противники!

– Это ерунда, какие теперь противники, конечно, их все терпеть не могут, но это не значит, что будут бунтовать.

Поговорили о том, о сем. Вдруг смотрю через окно, подъезжает большой черный автомобиль, остановился. Я испугался. А он говорит:

– За мной автомобиль приехал. А вы, молодой человек, слишком много говорите. Вам посчастливилось, что это я, я вашего дедушку очень уважал, а также вашу мать. Держите язык за зубами. Скажите вашей матери, что приезжал, но ждать не мог.

И ушел. Меня схватила паника, но уж делать было нечего. Рассказал матери, а она мне говорит, что это был Крутиков и я должен быть осторожнее. Слава Богу, ничего не случилось.

Между прочим, те, кто откровенно заявляли себя монархистами, почти всегда были в безопасности. Очень немногих помещиков расстреляли, и то большинство не в Москве. Вероятно, они были нужны в разных комиссариатах. Да и как Лундберг говорил: „Монархисты заговаривать не умеют, им никогда не приходилось. Социалисты и либералы – это другое дело, они против царского правительства подкапывались, а теперь против нас." Это была правда, но не совсем. Молодежь не верила в то, что можно было опрокинуть Советы изнутри, и думала, что только снаружи можно их высадить, то есть Белой армией. Взрослые приспособились и говорили: „Подождите, дайте большевикам достаточно веревки, сами повесятся." У всех была неуверенность. Говорили, что Белую армию поддерживают иностранцы и что в ее правительстве – социалисты. Боялись, что социалисты продадутся иностранцам, если выиграют. Из патриотизма некоторые из старших, даже генералы, предпочитали большевиков. А молодежь хотела выкинуть и большевиков, и социалистов, и кадетов, и иностранцев. Никто о будущем правительстве всерьез не думал, лишь бы отделаться от нынешних бандитов. О монархии тоже не думали, никто из оставшихся Романовых никого не привлекал. Говорили: „Выгоним – посмотрим, что будет." Хотели сохранить только традицию старой армии, гордость русской историей и Церковь. Для большинства политика совершенно не играла роли.

Так или иначе, я и все мои друзья мечтали добраться до Белой армии на юге, но в тот момент это было несбыточно. Выбраться из Москвы, пробраться через зеленых – было вне всякой возможности.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВ-САХАР

ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ

В конце апреля погода была очень хорошая, были мы все в воскресенье утром у Оболенских. Кто-то сказал: „Давайте пикник устроим после завтрака." Решили пойти на Воробьевы горы. Встретились на Зубовской площади: моя сестра, Ксения Сабурова, Сандра Мейендорф, Ася Любощинская, Петр Арапов, Борис Сабуров, Володя Любощинский и я. Пошли через предместья к Новодевичьему монастырю, а оттуда по заливным лугам к реке Москве. Тут был паромщик, который перевез нас на ту сторону, и мы полезли в гору. Вся гора лесом покрыта, дубы, липы, клены, прохладно. На верхушке – поляны, окруженные лесом. Разложили костер. Кто-то принес восемь картошек, купленных на Смоленском рынке из-под полы. У кого-то были печеные морковные лепешки. Лучше всего, что кто-то принес в кулечке настоящего чаю. Откуда такой люкс, не говорили. Принесли и котелок.

Вид Москвы оттуда был замечательный. Над городом стояла дымка – от жары, а не от фабрик, трубы которых не дымили. Ни одна из фабрик не работала в то время. Солнце мерцало на куполах храма Христа Спасителя, Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Кто-то сказал:

– Отсюда Наполеон на Москву смотрел.

– Как ты знаешь?

– Да Верещагин его писал, на барабане.

– Не отсюда он к Москве подошел, а по Можайскому шоссе.

Я сказал:

– Он с Поклонной горы Москву оглядывал.

Борис прибавил:

– Поклонная гора – это где москвичи кланялись городу, когда уходили.

— Дураки москвичи были, что навстречу Наполеону эвакуировались.

Борис — он меня не любил с детства, и я его недолюбливал — сказал злобно:

— Совсем москвичи не дураки были, они эвакуировались во все стороны и уходили до прихода французов.

Петр меня защитил. Он тоже Бориса не любил.

Но разговор перешел на то, как москвичи теперь ухитряются бежать из Москвы. Борис, который всегда знал, что, где и как в Москве происходит, вдруг сказал:

— Знаешь Изразцова? — он на прошлой неделе уехал на юг.

— Как он на юг мог уехать, что он — пошел на Курский вокзал и сказал: „Дайте мне билет в Белую армию?", — саркастически спросил Петр.

— Совсем нет, — Борис обиделся. — Он поступил в Глав-Сахар, и те послали его в Орловскую губернию. Туда многих посылают.

— Ты что это выдумал, как ты знаешь, что в Орловскую губернию, а не на тот свет? — спросил Петр.

— Я знаю, ничего я не выдумал.

Мы с Петром и Николаем Татищевым уже недели две как вырабатывали способ драпнуть из Москвы, но о Глав-Сахаре никогда не слыхали. У нас был очень опасный план: пробраться в Гжатский уезд, где у Татищевых было имение; там крестьяне, даже если были зеленые, нам бы помогли; оттуда взяли бы проводного и прошли бы в Вяземский уезд, в Хмелиту; взяли бы оттуда проводника в Ярославский уезд и т. д. Глава нашей тройки был Петр Арапов.

Мы вдруг спохватились, что забыли наполнить котелок водой. Это была моя вина, я его нес.

— Вот-те дурак, были на реке, а ты забыл, — сказал Борис зло.

— Я источник найду, лучше, чем речная вода.

— Ха! Какие тут источники? Ты своим деревенским носом, думаешь, вынюхаешь?

— У него, во всяком случае, нос лучше твоего, московского, — Петр прибавил.

Я пошел в лес искать источник. Хорошо там было — прохладно, почти что деревня. Сел на пень, стал думать.

Вдруг за мной хрустнула веточка, я повернулся, стоял Петр Арапов.

— Хотя я Борису не верю, он всезнайка, но иногда может и правду сказать. Между прочим, черт его знает, может, он с Чекой дружит, будь осторожен. А теперь слушай. Если это правда, что Главсахар отправляет почему-то людей на юг, нужно узнать наверняка. Где ты ночуешь?

— Еще не решил, вероятно, у Львовых.

– Нет, ты будешь ночевать у Насти.

– Что, у Анастасии Михайловны? Я ее не знаю.

– Не дурачи, это все равно. Твой отец был конного полка, и твои двоюродные братья все в полку. Ты знаешь, где она живет, № 43. Как только вернемся, потемнеет, махни туда.

– Да я ее не знаю, она...

– Делай, что я сказал, понял? Володя хочет выбраться или нет? Если да, дай ему адрес и заставь его ночевать там же, понял?

С Петром спорить было невозможно, да я во всяком случае согласился его слушать как командира нашей маленькой шайки. Настю я знал только по слуху. Она была, что называлось, „полковая дама". Ее знали все офицеры и очень любили.

Источника я не нашел, пошел на реку, зачерпнул воды и взобрался обратно. Спекли картошки, выпили чай с лепешками, пошли домой. По дороге я отстал с Володей Любощинским. Я его спросил:

– Хочешь из Москвы драпнуть?

Любощинские были тамбовские помещики, но у них был дом на Зубовском бульваре и жили они там более восьми месяцев в году. Володя был очень милый, но не деревенский. Воспитан он был очень хорошо, был серьезный, но, будучи горожанином, не имел независимости нас трех, деревенских „провинциалов". Решения он принимал медленно, продуманно, и действовал медленно. Он был на два года старше меня, но обыкновенно меня слушался. Его легко было шокировать. Его никто никогда не арестовывал, и он мало понимал тогдашнюю опасность. Многие, вероятно, посчитали бы его снобом, но это у него было не качество, а просто неумение говорить с людьми менее образованными, чем он сам. Он просто был застенчивый.

Теперь он никак не мог решить. Говорил „подумаю".

– Хочешь ты или нет из Москвы драпнуть? Если да, скажи сейчас же.

– Да я эту даму не знаю, как я к ней могу пойти ночевать?

– Я ее тоже не знаю, но пойду.

– Ну, хорошо, пойду.

Я дал ему адрес и велел подходить к дому через сад.

– Да как я его найду?

– Пошевели мозгами, ты не дурак.

Он, конечно, бегуном не был, и мне пришлось ему объяснять всякие детали процедуры.

Солнце уже спускалось к горизонту, когда проходили Новодевичий. Какая красота его розоватые стены, зубчатые башни, отражающиеся в темной воде рва с плакучими ивами и березами.

В предместьи разошлись. Петр куда-то исчез в полутьме, остальные пошли на Зубовский бульвар, все, кроме меня. Я пошел какими-то переулками, которые совершенно не знал. Стемнело. Фонарей не было. Только в дали моего переулка видно было пло-

хо освещенный бульвар и иногда проходящие трамваи. Я осторожно шел вдоль какого-то оставшегося забора и был шагах в ста от бульвара. Я вдруг решил рискнуть выйти на бульвар и, если повезет, перебежать к толпе у остановки и смешаться с ней. Настя жила у Земляного вала, это было далеко. Думал, соскочу где-нибудь у Красных ворот и шмыгну в паршевник.

Вдруг автомобиль повернул в переулок и за ним грузовик. Их фонари осветили переулок, и я прижался к подворотне. Автомобиль остановился у трехэтажного дома. Выскочили несколько человек и стали стучать в дверь. Сперва никто не отвечал. Затем послышался плаксивый женский голос.

За минуту до этого, проходя забор, я заметил дыру. Тогда все замечали на всякий случай. Но я был в луче автомобиля. Послышалась какая-то кутерьма, и я решил, что это мой шанс. Повернулся и побежал к дыре. Через несколько секунд раздались выстрелы, пули завизжали по переулку, рикошеты от мостовой. Я думал, что они по мне стреляли. Успел нырнуть в дыру и вдруг слышу – кто-то бежит по тротуару. Я остановился, слышу, кто-то задыхается и между выстрелами задушенным каким-то голосом повторяет: „Господи, помилуй!". Бегун, думаю. Высунулся в дыру – кто-то бежит, сгорбившись. Когда он со мной поравнялся, я его схватил за рукав – „сюда, братец!", и он рухнул через дыру. Держа его за рукав, я нырнул в какие-то кусты. Прорвались несколько сажен, и вдруг мой спутник упал ничком. Дышит, как паровоз. Думаю, у него сердце не выдержало. Говорю: „Что с вами?", а он кряхтит. Оказался маленький старичок. Я ему расстегнул рубаху, а он хрипит: „Подождите минутку, я отдышусь".

Я одно знал, чекисты в этот паршевник не полезут. Приподнял старика, а он говорит:

– Минутку подожду, а вы идите.

Говорю: „Никуда я не пойду".

– Спасибо, спасибо, идите вы лучше.

По переулку крик, визгливый голос женщины, какая-то суматоха. Старик попробовал привстать, я его поддержал, и хрип его исчез.

– Спасибо, дорогой, вы меня спасли!

– Ничего я вас не спас, ходить вы можете? Пойдемте.

Я хотел подальше от чекистов отойти. Пошли, карабкаясь через кусты. Отошли, я его спрашиваю:

– Вас что, арестовать хотели?

– Да, батюшка, уже на службе допрашивали, думал, оставят.

– Чего они на вас насели?

– Да, говорят, сын мой, машинист, со своим паровозом к белым ушел.

– Так вы куда теперь?

– Не знаю, батюшка, подожду, домой пойду.

— Да это глупо, они вас ждать будут.

— Да куда же мне идти?

— Пойдемте со мной.

— Нет, дорогой, куда я вам навязываться буду?

Я подумал — дурак я, сам не знаю Настю, а приглашаю к ней чужого, но что с ним делать? Не могу его оставить на съедение Чека. Подумал, подумал — нужно с собой взять. Уговорил его. Он мне представился: Петр Васильевич Грачев — железнодорожник на Брянском вокзале, на товарной станции машинист. Хорошие люди были наши железнодорожники.

— Ну, — говорю, — Петр Васильевич, вы тут живете, как из этого леса на Красные ворота попадем?

— На трамвае, Николай Владимирович, вы за мной идите.

Повел. Совсем он не дряхлый старик, как мне показалось, шустрый. Провел садами, вышли прямо напротив трамвайной остановки. Подождали. Появился трамвай, Грачев шмыгнул через бульвар, я за ним в толпу. Влезли в трамвай „Б". Это была процедура не простая, как влезать в селедочную бочку, уже переполненную. Даже дышать было трудно. На каждой остановке вылезали люди, как пробки из шампанского, и на их место втеснялись другие. Если был билетчик, так его где-то внутри прижали, и если еще жив был, то вряд ли мог двинуться.

Мы на платформе остались и не двигались. Сухарева башня, Уланская, Красные ворота. Стали двигаться к выходу, по дюйму. Какая-то остановка, и вдруг мы оба оказались на тротуаре в толпе, лезущей в трамвай. Я не совсем был уверен, что слезли, где нам нужно было. Грачев говорит:

— Сюда, это я знаю, я тут раньше жил.

Я за ним пошел.

Малая Спасская была, как большинство московских улиц, длинная. Грачев велел мне подождать и исчез. Через минуту он вернулся.

— На другой стороне, восьмой дом. Сюда, Николай Владимирович, — и нырнул в чей-то сад.

Мы лезли через какие-то стенки, перебегали дворы и оказались в заросшем саду с большими сиреневыми кустами. Он велел мне опять подождать и исчез. Прошло несколько минут, он вернулся.

— Хотел удостовериться, что это тот дом, пойдемте!

Через щели ставен проникал свет и женский голос что-то рассказывал и смеялся. Я нашел в темноте дверь и постучал. Разговор затих. Прошло довольно много времени, пока какой-то задушенный голос Володи Любощинского спросил:

— Кто там?

— Открывай.

— Кто это?

— Да я, дурак, кого ты ожидал?

Он медленно приоткрыл дверь, мы оказались в темном коридоре.

— Кто с тобой? — спросил Володя шепотом.

— Не твое дело.

Направо сквозь щели был виден свет. Я оказался в большой полутемной комнате. На столе стояла керосиновая лампа с большим абажуром, и за ней в кресле сидела дама.

— Это Николай Волков? — спросил звонкий голос дамы.

— Да.

Я вошел в комнату и увидел замечательно красивую, довольно полную даму в летнем цветном платьи, лет, мне показалось, 35-ти.

— Душка, что с вами случилось?

Я нагнулся и поцеловал ей руку.

— Настасья Михайловна, простите, я задержался. Простите, но я к вам привел друга, Петра Васильевича Грачева, он за мной...

— Да где он, дорогой, ведите, ведите, добро пожаловать, Петр Васильевич, входите, входите, Володя, поставьте самовар.

Грачев вошел, поцеловал ей руку.

— Простите, я не хотел к вам навязываться, да Николай Владимирович меня убедил. Он меня спас, он герой... — и стал рассказывать, гораздо драматичнее, наше приключение.

Настя усадила нас, слушала, смеялась.

Я был совершенно поражен ее красотой, теплой натурой и, должен признаться, сразу же в нее влюбился.

Володя принес чай, на стол поставил блюдо с пряниками, белый хлеб, ветчину и еще какие-то невиданные сласти. Я раскрыл глаза. Володя, к моему удивлению, говорил и действовал, как будто он знал Настю уже давно. Через несколько минут и я, и Грачев тоже почувствовали, что мы не чужие. Голос у Насти был замечательно приятный и веселый.

Мы поели, выпили настоящего чаю. Настя сказала:

— У меня тут всегда пять кроватей приготовлено. Все мои друзья ко мне забегают. Володя, покажите Петру Васильевичу комнату. Вы, наверно, все устали, ложитесь спать. Петр придет позднее.

Мы поблагодарили, убрали чай, когда Настя меня остановила и заставила сесть рядом с ней.

— Послушайте, я вас буду называть Николаша, а вы меня Настя и на „ты". Вы из наших конногвардейцев, хотя в них еще не служили. Я о вас, лучше о тебе, все знаю, от Петра и Николая. — Она засмеялась. — Не смотри на меня такими телячьими глазами, я всю молодежь знала и их очень любила. Мало из них осталось, перебили на войне. Ты, наверно, удивлен моим столом. Мне это все приносят „бывшие", которые у большевиков служат. — Она опять засмеялась. — У них все есть, почему же я не могу друзей кормить?

Она долго мне рассказывала о полке, о тех, кого убили, о себе, о старой жизни. Я теперь знал, что я в нее влюблен, и покраснел, когда она встала, обняла и поцеловала в щеку.

– Душка, ты мне нравишься и кого-то напоминаешь, иди спать. Утро вечера мудренее.

Я пошел как будто по воздуху.

Проснулся рано, вошел в комнату, а тут самовар на столе поет, всякие сласти, Настя, свежая, веселая, с Грачевым разговаривает.

– Ах, Николаша, я Петру Васильевичу новые документы сделала, он к себе в деревню под Серпуховым к сестре поедет.

Оказалось, что ее друзья, которые у большевиков служили, ей подписанные и штемпелеванные формы дали, и только имя нужно было вписать. Я теперь понял, почему Петр Настю выбрал. Она никого не боялась.

Грачев после завтрака поблагодарил Настю и отчего-то меня и ушел тем же манером через сад. Петр и Володя появились, и Володя тоже ушел домой с разными инструкциями от Петра.

Мы остались втроем. Петр рассказал Насте о Глав-Сахаре. Она об этом ничего не знала.

– Я узнаю, Петруша, все, что смогу. Я не думаю, что это какая-то организация, которая помогает людям выбираться из Москвы. Это на большевиков не похоже. Если они действительно людей куда-то посылают, то для этого есть какая-то специальная причина, и люди, вероятно, под надзором. Как они оттуда к белым бежать могут?

Это действительно был вопрос. Все наши разговоры были чисто теоретические. Мы абсолютно ничего о Глав-Сахаре не знали.

К обеду появился Николай Татищев. У него воображение было невероятное всегда. Он сразу же превратил Глав-Сахар в какую-то таинственную организацию, прямо из Жюль Верна. Мы много смеялись. Настя ему сказала:

– Николай, ты ужасный дурак, ты скоро скажешь, что Дзержинский сговорился с белыми поставлять им людей.

Но мы все-таки все серьезно обсудили. Настя обещала узнать, что может. Она настояла, чтобы и Петр и я ночевали у нее. Единственный ее протест Петру был:

– Милый, Володя наивен, он горожанин, то, что ты предлагаешь, очень опасно, для этого нужна инициатива, а у Володи ее нет, поверь мне, я знаю. Моя профессия меня научила знать людей инстинктивно.

Петр сгримасил:

– За ним Николай будет смотреть.

– Что, Николаша? Ты с ума сошел. Как ты можешь ему навязывать на шею Володю?

– Это его научит и за собой лучше смотреть. А Володю он хорошо знает.

— Я все-таки думаю, что это напрасно.

Я решил пойти домой и обещал вернуться ночью. Кроме того я хотел днем осмотреть все подходы к настиному дому. Я вышел в конце концов на Сухаревскую-Садовую, купил „Правду" и сел на скамью. В газетах было мало тогда о Белых армиях. „Наша доблестная Красная армия уничтожила остатки белых шаек на юг от Царицына... Армия товарища Григорьева разбила белую сволочь на север от Раздольной..." Странно, подумал я, последний раз, что я читал, красные осаждали Одессу, а тут вдруг на сто верст дальше на север оказались.

Вдруг кто-то меня по имени окликнул. Я испугался. В те времена никто друг друга громко на улице не называл. Вскочил, передо мной стоит студент.

— Николай, скотина, что ты тут, сукин сын, делаешь?

Только в России от удовольствия видеть обкладывают.

— Господи, помилуй, Петр, откуда ты, стерва, взялся?

Петр Рыс был в Вяземской гимназии на два года старше меня. Он был из евреев, сын маленького портного. Кончил гимназию и уехал в Москву в университет на юридический факультет в 1917 году. Он был эсером, и я слышал еще в Вязьме, что его арестовали большевики и, говорили, убили. Стоит истощенный, но здоровый. В прошлом были большие друзья, о политике как таковой не говорили, но, конечно, как гимназисты, спорили о международных вопросах, правах евреев и так далее.

— Боже ты мой, вот не ожидал тебя видеть. Пойдем к нам, мы тут за углом живем.

Пошли под руку, полезли по лестнице на какой-то чердак. Я как-то не успел спросить, кто это „мы". Входим, лежит кто-то на кровати лицом к стене. Рыс говорит:

— Вставай, Марк, смотри, кого привел!

Повернулся, но я его не узнал сразу. Краковский, сын аптекаря в Вязьме, тоже из евреев. Он в гимназии был толстый, веселый, а тут что скелет, покрытый кожей. Он вскочил и обнял меня:

— Вот оказия, откуда ты, сукин сын, взялся?!

Разговорились. Они оба голодали, были без работы, Рыс иногда зарабатывал какими-то переводами с немецкого. Краковский был монархистом раньше.

— У, брат! Много переменилось. Помнишь, как раньше Петр все какую-то революцию поддерживал, а теперь, смотри, „поддержались", таскаемся, хлеба просим, как нищие, а в Кремле все жиды сидят! А Петр все о монархии вздыхает! Теперь плохо быть евреем!

— Я этого не понимаю, — сказал Рыс. — Как может быть так плохо, черту оседлости уничтожили; как ты говоришь, евреи занимают почти что все важные места...

— Что ты ерунду несешь, что такое была черта оседлости, в Вязьме-то более трех тысяч евреев жили, на каждом пятом доме дос-

ка „Дантист" или „Портной", или „Сапожник". Кто они все были? – евреи. Мой прадед в Вязьму приехал, аптеку открыл, а у Петра уже дед портным был. Не было бы революции, Петр адвокатом бы был, загребал бы деньги, а теперь, смотри, на что мы похожи! – Краковский плюнул от досады. – Я тебе расскажу историю. Приехала депутация из Винницы к Троцкому просить, чтобы защитить там евреев от Чеки и большевиков, а он говорит: „Убирайтесь к черту, вы все буржуи, жиды, все паразиты!" А сам Бронштейн!

Я решил попросить в архиве и у Лундберга: не могли бы им двоим места найти, – но обещать ничего не мог.

Побывал дома, к ночи пошел к Насте. Она меня встретила возбужденная, говорит:

– Садись, Николаша, я что-то интересное узнала.

Оказывается, узнала она, действительно людей на юг посылают. Посылают их на какие-то сахарные фабрики гарнизоном, защищать от зеленых. Говорят, что сахар в Москву поставляют, но идет он только коммунистам и Красной армии. Что Глав-Сахар – в Торговых рядах на Красной площади. Что Глав-Сахар набирает добровольцев ехать на эти фабрики, потому что они несут большие потери в войне с зелеными.

Я слушал, не говоря ни слова. Это было что-то совершенно несоответственное планам Петра Арапова. Настя его ожидала. Через час пришел Петр. Настя ему опять все рассказала. Я думал, что он сейчас же откажется, но я ошибся.

– Великолепно! Как раз то, что нам нужно!

Настя раскрыла рот: „Да ты с ума сошел!"

– Нет, не сошел, Николай с Володей пусть записываются добровольцами, они смогут узнать, куда посылают, что они там делают.

– Да Петруша, ты все-таки с ума сошел, как Николаша сможет тебе дать знать, если он будет где-то в Курской губернии. Да его там убьют...

– Ничего не убьют, он не дурак, найдет способ со мной снестись.

Настя рассердилась: „Если это так просто. отчего ты сам не можешь записаться?"

– Оттого, что если есть возможность оттуда драпнуть к белым, кто тут организует остальную молодежь?

Меня это совсем не убедило. У меня мурашки по спине забегали. Даже одна идея меня испугала. Но Петр настаивал. Говорит:

– Я справлялся, где находятся сахарные фабрики. Мусин-Пушкин мне говорит, что большинство в Дмитровском уезде, под Глуховым, Льговым и Фатежом. У Волковых имение в тех местах, да Николай туда на Льгов и Курск ездил в прошлом году. Он деревенский, сможет с крестьянами связаться.

— И ты хочешь, чтоб он за собой Володю таскал? — сказала Настя с недоумением.

Петр фыркнул:

— Он с ним справиться может, он уже в гораздо более трудном положении был. — (Это мне польстило.) — Пусть запишется, посмотрим.

На следующий день я решил пойти в архив. Вышел на Садовую. Жара была невероятная. Я шел садами между двумя трамвайными линиями. Дорожка, покрытая асфальтом, в местах, где не было тени от деревьев, размягчилась от солнца. Были какие-то черные пятна дегтя. У одного из них сидел на корточках мальчик, белобрысый, лет десяти, и палкой крутил деготь. Проходя я сказал:

— Размягчился асфальт.

Он на меня посмотрел с подозрением:

— А тебе какое дело?

— Да я просто сказал, что размягчился.

— Что тебе нужно?

— Да ничего, я просто так сказал.

Я уже отходил, когда он вдруг спросил:

— Хочешь девку? У меня сестренка есть, она хорошая.

— Зачем мне твою сестру?

— Как зачем? С ней что хочешь сделать можешь... — и стал рассказывать мне все ее качества с подробностями. — Она тут, за углом, я приведу.

Меня это заинтриговало, ясно — беспризорный. Я слышал и читал в газетах об этих детях, детях арестованных или расстрелянных, но кроме двух в Бутырках никогда их не видел. Говорили, что они жили шайками в подвалах, на товарных станциях и в пустых домах. Вопрос, что с ними делать, был колоссальный. Они одичали. Нападали шайками на прохожих ночью, убивали, грабили, насиловали. Советы старались их поймать, но это было не так легко. Читал в „Известиях", что окружили такую шайку на Пресне и расстреляли. Говорили, что их было несколько тысяч на окраинах Москвы. Но чтобы они появлялись днем, я никогда не слыхал.

— Сколько твоей сестренке лет?

— Двенадцать, но она большая, у нее груди большие...

Я, к несчастью, двинулся в его направлении, хотел расспросить, как они живут, но это его напугало, он вскочил, посмотрел на меня дикими, подозрительными глазами и шмыгнул в кусты, точно зверек.

Странно, подумал я, Чека ловит взрослых, а таких ребят поймать не может. Мне много месяцев спустя говорил кто-то, когда я уже не был в Москве, что Чека все эти сотни шаек выловила и „ликвидировала".

В архиве я попросил Ельчанинова взять на службу или Рыса или Краковского. Он обещал попробовать.

К ночи пришел к Насте Володя. Я ему передал, что Петр сказал, и спросил, согласится он или нет. К моему удивлению, он согласился, и я условился с ним встретиться на следующий день в 3 часа у памятника Минину и Пожарскому.

Настя была очень взволнована нашей авантюрой. Повторяла: „Будь, душка, осторожнее, и, если сможешь, приди ко мне". К этому времени я отчего-то вообразил себя героем, пионером нового движения. Жутко было, но все же, мне казалось, очень важно.

На следующий день я подошел к Иверским воротам. На стене Исторического музея был вставлен камень и на нем написано: „Религия – это опиум для народа". Я подумал: для кого это написано? Кто знает, что „опиум" значит? Рядом часовня с Иверской Божьей Матерью. Зашел, положил 20 рублей и взял свечку. Никого в часовне нс было, я опустился на колени и стал молиться. Но молитва моя была совершенно невнятная: я просил Божию Мать за мной смотреть. Я сказал Ей, что боюсь за себя, а про Володю я даже не вспомнил. В тишине я посмотрел на икону, и мне показалось, что она улыбнулась. Я перекрестился, поставил свечку и вышел. Вдруг почувствовал, что на меня какая-то пелена опустилась, повернулся в дверях и сказал громко: „Спасибо".

Пошел на Красную площадь. Подумал: ну, что они со мной могут сделать? Расстрелять? Я тогда буду смотреть на них с неба и посмеиваться, они ничего тогда сделать не могут.

Володя появился ровно в 3 часа. Я на него обрушился:

– Я тебя уже десять минут жду.

– Посмотри на Спасскую, еще трех не пробило.

– Ну, пойдем.

Пошли вдоль Рядов. Вдруг я увидел афишу. На ней написано большими буквами: „Отделение Глав-Сахара". Под этим маленькими буквами какая-то длинная тирада и подпись лиловыми чернилами. По привычке прошел мимо. Читать советские декреты было опасно. Нарочно были напечатаны маленькими буквами, так что нужно было остановиться. Если человек читает эти декреты, значит, хочет от чего-то уклониться, следовательно, контрреволюционер. Повернул, прошел второй раз и разобрал подпись: „Главный Комиссар Глав-Сахара товарищ Янковский".

Мы повернули в арку и шарахнулись от испуга, за углом стоял солдатик с винтовкой, который тоже испугался, как мы. Я его дрожащим голосом спросил:

– Г-г-где Глав-Сахар?

И он таким же дрожащим голосом ответил:

– П-п-по лестнице.

Это невероятно некрасивое, безвкусное здание – кто его мог построить на Красной площади? – меня всегда поражало. Широкие проходы с ярусами лавок на трех этажах, когда-то, по крайней мере, были чистые. Теперь окна все грязные и разбитые, хлам лежал на по-

лу, краска повсюду лупилась, и, конечно, никого не было, все было закрыто. Снаружи этот псевдотеремовый русский фасад, серый, а где желтоватый, с какими-то финтифлюшками, был еще хуже. Как москвичи 19-го века позволили его построить, было непонятно. Да и Исторический музей был не лучше, какой-то кирпичный терем, только архитектор зыбыл, что терема были несимметричны и не отличались особенной красотой.

Мы полезли по широкой лестнице и увидели напротив дверь, на которой было написано „Глав-Сахар". Я остановился, вздохнул, перекрестился, и мы вошли. Длинная комната с прилавком. За ним сидели машинистки и стучали на своих машинках. Я подошел и кашлянул, но на нас никто никакого внимания не обращал. Я кашлянул и постучал опять. Ближняя машинистка подняла на нас темные глаза, посмотрела и стала опять печатать, только сказав „подождите".

Напротив, вдоль стены, стояли стулья. Мы уселись. В комнате было душно и жарко. Я стал осматриваться.

Забавно то — видимо, я был тогда в таком состоянии — что до сих пор, закрыв глаза, вижу этот длинный предмет: передо мной на стене висел пожелтевший от времени календарь, квадратный, дюймов 9 на 9. Календарь окружали объявления в квадратах. „Страховое общество „Маяк", „Страхуем всякое имущество"... Под этим в квадрате раздутый человек, составленный из автомобильных шин, в очках. Под ним написано: „Шины Мишлина лучшие в мире". Под этим квадрат, который у меня запечатлелся в памяти: „А.М.Остроумов и сын". Под этим было написано: „Для модных дам с изысканным вкусом лучшие духи", „Находимся рядом с гостиницей „Славянский Базар" на Никольской". Под этим большими буквами: „Покупайте Флорандж". Помню, долго смотрел, стараясь угадать, что такое „Флорандж"?

С другой стороны в верхнем квадрате — открытый автомобиль, под которым написано: „Оппель 35 лошадиных сил". Под этим: „Мы агенты на фирмы Оппеля, Паккарда, Берлие, Аргайля, Сунбима и других. Не стесняйтесь запросить Г.К.Пузырева, инженера, о подробностях. № 11 Без..." Остальная часть адреса была закрыта какой-то печатной бумажкою. Меня это заинтриговало, во-первых, что такое „Аргайл", я думал, что знаю большинство фирм, но об этой никогда не слышал. А во-вторых, где мог бы этот магазин быть. Большинство автомобильных магазинов были в прошлом на Мясницкой, что могло бы быть „Без..."?

Я вдруг услышал голос машинистки: „Заполните анкеты". Мы оба встали. На прилавке лежали две длинные бумаги, чернильница и два пера. Сперва было легко заполнять: имя, имя родителей, бывшее обитание, теперешнее обитание и т.д. Вдруг я испугался: „Были ли когда-нибудь арестованы? За что? Сидели ли в тюрьме? Сколько времени?"

Боже мой, подумал я, да это Чека, влип, дурак. Что писать?

Если написать, что не был под арестом и в тюрьме, узнают, сукины дети. Если напишу, так пожалуйте на Лубянку. Я посмотрел искоса на Володю. Он писал, вычеркивал, писал, как будто это было просто. Да он в тюрьме никогда не сидел! Ну, подумал я, не ахти, напишу правду, Богородица защитит меня.

Написал: „Был ли арестован?" – „Да." – „За что?" – „Не знаю, к-р." – „В тюрьме?" – „В Бутырках." – „Сколько времени?" – „Шесть месяцев." На остальные вопросы было легко ответить.

Машинистка взяла наши бумаги и стала читать. Дошла до моего ареста и улыбнулась. Вот, скотина, чекистка, ей хорошо улыбаться! – подумал я злобно. Она пригласила садиться и куда-то ушла. Я опять посмотрел на календарь, но у меня интерес уже прошел, только заметил „Издание Сытина, Москва". Вот, дурак, что меня сюда занесло? Сытин, вероятно, сидит на том свете и посмеивается. Это немного меня успокоило – может быть, и я буду с облаков на большевиков зубы скалить.

Машинистка вернулась и повела меня через пустую комнату в большой кабинет. Да это Чека опять! – подумал я. За большим столом сидел человек, одетый в черную кожаную куртку с красной звездой на кармане. Он даже не побрился. За ним – портрет Ленина, окруженный какой-то мертвой листвой. Чекист на меня и не посмотрел. Сказал „садитесь" и стал читать какую-то бумагу.

– Зачем вы хотите записаться в Южный полк?

– Я... я сейчас ничего не делаю, – соврал я.

– Вы что, думаете из Москвы выбраться?

– Да нет, я об этом не знаю.

– Врете! Вы думаете, из Москвы выберусь, к белым махну. Так вы ошибаетесь, такую контрреволюционную сволочь, как вы, нам не надо!

Голос у него был хриплый и угрожающий. Я молчал. Что мне на это говорить? Он вдруг разъярился и стал меня матом крыть. Я замерз. Наконец сказал:

– Убирайтесь отсюда!

Я вскочил и бросился к двери, я уже не смел ни о чем думать. Вышел в длинную комнату, а машинистка Володю ведет.

Меня подстрекало чувство самосохранения броситься прочь из этого здания, но вспомнил Володю. Уселся опять и жду. Володя вернулся почти тотчас же с какой-то дурацкой улыбкой на лице. Я разозлился:

– Пойдем!

Машинистка говорит:

– Нет, подождите!

Уселись. Злоба моя на Володю, который был совершенно не при чем, меня успокоила. Я его даже не спросил, что было с ним.

Сидим. Вдруг машинистка нас вызывает. Сунула нам по две бумажки каждому.

— Прочтите!

Удостоверение

Это удостоверяет, что товарищ красноармеец Николай Волков прикомандирован к Южному полку защиты Глав-Сахара и имеет право на красноармейский паек и вооружение.

Этот документ замещает все документы, сданные сим Николаем Волковым.

Комиссар Глав-Сахара
товарищ Янковский

Политический комиссар
товарищ Александров

На второй бумажке:

Товарищ Н. Волков должен явиться в штаб Московской команды Южного полка защиты Глав-Сахара на (тут было число, но оно было смазано и прочесть невозможно) мая 1919г. на Рыбный переулок с Варварки.

Командир Четвертого батальона
товарищ Колесников (или
Калашников)

Политический комиссар
товарищ Гауке

Я был так ошеломлен что, поблагодарив машинистку, которая опять стучала, даже не посмотрел на Володю и вышел на лестницу, на улицу и повернул к Историческому музею.

— Ты не прочел то, что на бумаге, мы идем в обратном направлении.

— Конечно, прочел, дурак, покажи твою.

У него тоже было смазано число.

— Видишь, смазано число. Иди домой и молчи об этом. Ночью — к Насте, а теперь пошел.

Володя на меня посмотрел с удивлением и ушел на Театральную площадь. Я постоял минуту у памятника и пошел к Иверским воротам. Опять взял свечку. Перед иконой стояла на коленях старуха. Не знаю, почему, я нагнулся к ней и спросил:

— Видела ты когда-нибудь чудо?

— Видала, сынок, видала, много раз, — и продолжала молиться.

Я стал на колени, но не знал, что сказать. Все крутилось в голове: „Спасибо Тебе, прости за все и смотри за мной, пожалуйста".

Только жужжание шмеля где-то в часовне прерывало тишину.

Снаружи визжали на рельсах трамваи. Пять свечей освещали икону. В дверях я повернулся и опять сказал: „Спасибо". Вот тебе „опиум", сукины дети, подумал я со злостью. Час с лишним тому назад я был бегун, а теперь вдруг „легальный" в первый раз с революции, даже лучше американской бумажки.

До ночи к Насте идти было нельзя, я пошел в архив. Ельчанинов встретил меня, как всегда, с улыбкой:

– Что, решили поработать?

– Нет, пришел вам сказать, что в Красную армию записался.

– Что это вы шутите?

– Нет, не шучу, – и показал ему бумажки.

– Может быть, вам поможет... – Но ничего не прибавил. – Между прочим, я вашему другу место устроил, пришлите его.

Я его поблагодарил и быстро пошел к Рысу. Он был доволен, но сказал, что место гораздо важнее Краковскому, он уже год ничего не делал. Краковский даже затанцевал.

Когда я в конце концов добрался до Насти, она меня встретила с тревогой:

– Ах, душка, я так о вас обоих беспокоилась, – и меня обняла.

Я помню, как я покраснел от удовольствия. К этому времени я был совершенно Настей оморочен. Я очень легко влюблялся, но на этот раз более, чем когда-либо. Я рассказал нашу авантюру в подробностях и показал ей бумажки. Она меня просила быть осторожным.

Я сначала чувствовал смущенно, что я Настю эксплуатировал. Мои ночевки у нее были сами по себе обыкновенные в то время, но она нас кормила, а мне нечем было отплатить. У меня были деньги, но на них ничего нельзя было купить, так что подарков я ей сделать не мог. Неуклюже я попробовал это объяснить.

– Душка, я понимаю, о чем ты говоришь, но ты зря беспокоишься. Всю мою взрослую жизнь я была, как называлось, полковой дамой. Меня все очень любили, и я их всех обожала. Они меня засыпали подарками, и какими подарками! Посмотри в шкапчике все эти великолепные произведения Фаберже. Меня засыпали драгоценностями, у меня это все есть. Неужели ты мне не позволишь маленькую часть за это отплатить. Вы все, молодежь, моя семья.

Пришел Петр. Я ему рассказал, что случилось.

– Хорошо, завтра ты туда явись, тогда посмотрим, что будет.

Настя вдруг на него обрушилась:

– Петруша, ты рехнулся, ты посылаешь Николашу в самые опасные предприятия и не думаешь, что с ним может случиться.

– Совсем нет. Все теперь опасно. Это великолепная школа для него. Будут в будущем гораздо более опасные предприятия, пусть привыкает.

Как я всего этого ни боялся, все же мне льстило. Петр был

прав. Я уважал его качества и его философию. Он сам рисковал многим, вероятно, боялся так же, как и я, но у него была цель, и он мне сам сказал: чтобы успеть в чем-нибудь, необходимо рисковать, но рисковать обдумавши. „Никогда не переоценивать противника и никогда не недооценивать. Всегда считай противника умным и хитрым, в таком случае ты сам должен шевелить мозгами. Но, главное, никогда не презирай и не позволяй себе ненавидеть противника, это только смутит тебя. Он — человек, такой, как и ты, только цели ваши разные." В этом он был совершенно прав, я большевиков не ненавидел, я их просто не любил, это была большая разница. Они были русские, такие же, как и я, и я их не любил, потому что они разрушали все принципы, на которых я был воспитан. Они были как будто иностранцами, как и немцы, не понимали историю России, да и не хотели ее понимать. Социализм или коммунизм их был дурацкой мечтой интеллигентов, никто из них не был из крестьян. Они презирали крестьян, как „темных" рабов, которые должны были кормить их городскую и политическую шваль.

Но я боялся, что Володя, хороший, милый человек, думал иначе, чем я. Его склад ума был городской. Я был не уверен, что он сможет приспособиться к ментальности крестьян, с которыми мы будем встречаться. Откровенно говоря, он и сам боялся, что не поймет, о чем они говорят, — не в словах, а в духе. Петр навязал мне Володю, и я заранее знал, что это поставит меня в трудное положение. Петр на это возразил:

— Конечно, будет трудно, но таких Володь много повстречаешь, привыкай!

На следующий день утром мы пошли на Рыбный. Ворота в какой-то громадный двор. В воротах на часах стоял оборванный солдатик. На вопрос, где штаб Южного полка, сказал:

— Да там где-то, поспросите у этих ребят, что на мешках валяются.

В середине двора была пирамида мешков. На них валялось человек пятнадцать. Некоторые спали, некоторые играли в карты.

— Простите, где я найду товарища Колесникова?

— Вы что, рекруты? Вам Тушина надо, а не Колесникова. Он в будке там, в том складе.

Я усмехнулся себе: кто мог даже на минуту подумать, что это какая-то контрреволюционная организация, про которую говорил Николай Татищев. Эти немытые, обтрепанные, недисциплинированные солдатики даже в тарелке супа не смогли бы заварить контрреволюции.

Влезли в склад. Направо будка, в ней сидел тучный большой человек и рассматривал какие-то бумаги. Его лицо было покрыто каплями пота. Он медленно поднял глаза, посмотрел на нас без интереса и спросил:

— Рекруты?

— Да, нас прислали из Глав-Сахара.

— Ммм... ммм... Формы? Да, подойдут.

И я и Володя были по тогдашним временам одеты в зеленоватые рубахи, я — в синих рейтузах, а он — в защитных штанах, и оба в сапогах. У обоих защитные фуражки, все более или менее подходило к солдатской форме.

— Вам красные звезды нужны. — Стал копаться в ящике, вытащил две красные звезды и дал нам.

— Вот дрянь делают, дешевщина... Ух, жарко сегодня. — Стал вытирать свое лицо большим платком. — Как зовут?

Сказали. Он взял перо и стал царапать что-то на бумаге.

— Вот, ученый, заставляют писать. Пишешь, пишешь, а никто не читает, все зря. — Поднял бумагу к свету. — Тоже дрянь, дешевщина, сквозь видно.

Взял какие-то две бумажки и стал царапать.

— На, возьмите, пригодятся. — Бумажки оказались пайки. — Дайте обратно, — и стал царапать на них опять. — И... десять... фунтов... са... ха... ра. Не нужно, его тут довольно, бери сколько хочешь.

Он встал, побарабанил по своему большому животу и спросил:

— Зачем я встал? Зря, а может быть, и нет... Пойдемте, проведу.

Он провел нас через склад к другой будке. За столом сидел человек. Этот был совсем другое дело. Опрятно одетый, в чистой выцветшей защитной рубашке, на которой были видны темные полосы от погон, и в синих рейтузах. Он явно был когда-то регулярный унтер-офицер. Долго нас осматривал молча.

— Вы вместе?

Я автоматически выпрямился и ответил:

— Так точ... да, — и после несколько секунд прибавил: — товарищ.

Он улыбнулся и мигнул мне:

— Э... э... братец, это лучше. Я — Загуменный, второй роты. Вы двое часовыми на дворе эту неделю с четырех утра до восьми вечера. — Он провел пальцем по какой-то бумаге. — Будущую неделю от полудня до четырех часов. Обед — в 11:30 утра, ужин — в 6. Начнете службу завтра. Возвращайтесь сегодня в 5:30 точно. Поняли? Котелки у взводного Васильчука. — Он вышел из будки. — Эй, Васильчук, проснись, собака! Два рекрута: Волков, Любощинский, вместе, понял?

— Хорошо, — кто-то сказал сонным голосом, — понял.

— А теперь, ребята, идите к своим девкам, обратно в 5:30. Точно.

Мы оказались красноармейцами.

ГЛАВ-САХАР

Я нашел Петра и Николая Татищева у Артамоновых. Сыновья Сергей и Юрий вышли в конный полк уже после революции. Они были очень хорошо воспитанные молодые люди, которых, откровенно, я не понимал. Их отец, генерал, тоже был очень почтенный, но выглядел, как человек, который опасается споткнуться. Петр смеялся, что бедный Артамонов „боится свалиться с лестницы, по которой он с таким трудом влез". Было легко в России подняться до генерала и выше из крестьян или рабочих, такие бывали — канцлеры, премьер-министры, главнокомандующие и т. д., но из чиновного слоя почему-то было очень мало. Артамонов был сын чиновника и как-то никогда это не мог забыть.

Я вспомнил историю, которую рассказывал мой отец про генерала Адельберга. К великому князю Владимиру Александровичу приходили многие отставные военные с прошениями. Пришел к нему какой-то дряхлый старичок, который когда-то служил в N-ском захолустном полку, просить что-то о пенсии. Великий князь его принял, выслушал и проводил в переднюю. За ним пошел и его флигель-адъютант генерал Аделвберг. В прихожей старичок стал шарить, искать свои галоши. Видел он плохо. Великий князь увидел их, нагнулся и сказал ему: „Обопритесь о мою спину." И надел старику галоши. Адельберг был возмущен: „Ваше Высочество, это бы вы должны оставить лакею, не пристойно великому князю надевать какому-то старику галоши." — „Эх, Адельберг, разница между мной и тобой: я могу кому угодно галоши надевать, а ты, брат, не можешь."

И Артамонов был такой же Адельберг. Всегда чувствовалось, что он остерегался что-нибудь сказать или сделать, что уронит его достоинство. Конечно, он был не особенно удачный командир корпуса. Получил командование по старшинству в мирное время, и никто не знал, каким он будет командиром в военное. Если добавить к этому постоянную боязнь, что его не примут в обществе, то понятна становилась его чопорность.

При Артамоновых я не смел говорить Петру и Николаю о Глав-Сахаре. Поехали к Насте. Я тогда рассказал и описал всех, кого встретил, и само место.

— Что это такое, я не знаю. Тушин какой-то расхлябанный толстяк. Загуменный, ясно, унтер-офицер регулярный, вероятно, кавалерии. Солдаты грязные, растрепанные, без дисциплины. Сахар валяется кучей на дворе, а склады пустые.

— Это ничего не значит, — заметил Николай.

— Я не знаю, кто придумал, что это контрреволюционная организация. Офицеры все на вид коммунисты.

Петр ничего не сказал.

А Настя вдруг:

– Я узнала, что в Глав-Сахаре работает Деконский, синий кирасир, кем, не знаю.

Никто из нас Деконского не знал.

– Ты от него подальше держись, если встретишь, – сказал Петр. – Продолжай докладывать.

Я вернулся на Рыбный после завтрака и сел на сахарную гору. Подо мной сидела группа солдат, играли в очко. Я притворился, что спал, но прислушивался к их разговору.

– Очко! – сказал кто-то из солдат.

– Где?

– В руке, смотри, десятка и туз.

– Эй, ты опять передернул!

– Что ты врешь!

– Вас что, в кавалерии учат передергивать?

– Молчи, Темкин, что ты взъерошился? – сказал кто-то.

– Да они ничего, кроме этого, делать не умеют, сидели в тылу, пока мы по горло в грязи...

– Молчи, дурак, видишь, карты.

Но Темкин не угомонялся:

– Что вы о колючей проволоке знаете, в окопах не сидели...

– Вот врешь, ты не на тех напал, спроси Загуменного, он тебе морду набьет! – сказал солдат неиграющий.

– Загуменный? Что Загуменный может мне сказать?

– А ты его спроси про Олай. Он тебе скажет, как полк вас, пеших дураков, спасал. Через три ряда проволоки в атаку ходил на конях, он...

– Да замолчите вы, дураки! А то я Загуменного вызову!

Разговор продолжался, но уже о картах.

Рядом со мной на мешках спал какой-то парень. Он проснулся и тоже прислушался к спору.

– О чем они спорят? – спросил я.

– Ах, дураки, нечего делать, так спорить начинают!

– Они что, старые солдаты?

– Большинство. А вы откуда?

– Я смоленский.

– Смоленский? Я сам из Вяземского уезда.

– Так я тоже оттуда.

– Я из Волочка.

– Волочка? Так я из Хмелиты.

– Да мой отец у Нахимовых кучером был.

– Так вы Жедрин? Я вашего отца знал!

– Так ты, братец, Волков, Владимира Александровича сын! Боже ты мой, земляки!

Моей радости не было конца, мы обнялись.

– Никогда бы не поверил, что встречу земляка на каких-то мешках на Рыбном!

Мы долго друг другу жали руки. Это было гораздо лучше, чем полдюжины московских друзей. Хотя мы друг друга раньше не знали, наши воспоминания, общие знакомые, да многое, были те же. С места в карьер мы сделались друзьями.

Когда я рассказал Володе, он не понял:

– Так ты его раньше не знал!

– Какая разница? Он земляк, мы говорим одним языком, мы...

– Не понимаю, он – сын кучера, что у него с тобой общего?

– Все. Больше, чем с тобой. Мы выросли в двенадцати верстах друг от друга.

– Не понимаю!

До сих пор я чувствовал себя каким-то бобылем. Теперь у меня был земляк. К моему счастью, Володя тоже встретил какого-то маленького человечка, по имени Мериватер, из московских англичан, который не говорил ни одного слова по-английски. Он с ним сразу же подружился. О чем они друг с другом разговаривали, я понятия не имею, но это было мне кстати.

В те времена никто вопросов о настоящем не задавал, говорили только о прошлом. Поэтому ни я, ни Жедрин о причинах нашего пребывания в Глав-Сахаре друг друга не спрашивали. Но мало-помалу разные подробности стали пробираться. Оказалось, что Жедрин уже был на сахарной фабрике один раз. Она была подо Льговым. Что взвод Загуменного был „специальный", хотя принадлежал 2-й роте. Что это значило, я никак не мог понять. Что большинство солдат Южного полка стояли в соседнем дворе и назывались „пополнением", и они по крайней мере два раза в неделю отправлялись на „фабрику". Эту „фабрику" я себе представить не мог, насколько можно было понять без прямых вопросов, это была какая-то территория, заключавшая несколько заводов. Там был гарнизон, который был в постоянном бою с зелеными, и потери были очень большие.

Единственное, что я понял наверняка, что „специальный" был вроде „лейб-взвода" при „макушке" Глав-Сахара. Что это очень лестно – быть у Загуменного, потому что он „знал кого-то" во главе.

Все эти обрывки известий я сообщал Насте, которая передавала их Петру. Я понял от Жедрина, что были какие-то „свои", что и он, и я, и Володя были „свои". Но что, например, Мериватер, хотя и был во 2-й роте, был „чужой". Это меня совершенно спутало.

В первую неделю приезжали какие-то грузовики, на которые мы грузили сахар из пирамиды. Но на следующей приехали четыре грузовика с новым сахаром, который мы разгружали. Приходил какой-то на вид чекист, который долго разговаривал с Тушиным

и Загуменным у входа на склад. И они указывали на солдат, валявшихся на пирамиде.

— Это наш командир, товарищ Копков, — сказал Жедрин.

— Я думал, что Колесников нами командует. Как он выглядит? — У меня мелькнула мысль: неужели мой бутырский приятель добился командовать батальоном? — но был сейчас же разочарован.

— Колесников? Он мелкая сошка, он только пополнениями командует. Он большой, толстый, лет сорока пяти...

Странно, мы — специальный взвод, отчего нас выбрали? Меня какой-то чекист матом крыл, а тут вдруг привилегированный!

Нас вызвали получать паек. Жедрин спросил меня:

— Где твой мешок?

— Мешок? Зачем мне мешок?

— Вот дурак, во что ты выдачку класть будешь?

— Я думал — в карман.

— Э, брат, ты что, с луны свалился? Ты же в Красной армии!

Я себе представлял, что так как нас два раза в день кормили, и хорошо по-московскому, то выдадут сахару и, может быть, кусочек хлеба.

— На, вот тебе два мешка, дай один Володе.

Стали в хвост. Откуда-то человек шестьдесят появилось. Я смотрел с удивлением на „паек", который интендант сыпал в мешки. На весы он сыпал все приблизительно, заметил, что гиря была иногда 2-фунтовая, иногда 3-фунтовая. Сыпал так, что гиря подскакивала. 2 фунта ячменной крупы, 2 фунта муки посыпалось на крупу, 3 фунта сахара...

Интендант посмотрел на меня:

— Ты что, новый?

Я кивнул.

— Если больше нужно, там много на дворе. — Он протянул руку, взял с полки кусок сала и бросил в мешок на сахар.

Какой-то солдат подавал ему краюхи черного хлеба, фунта 2 или 3.

Я стоял в недоумении.

— Ну, чаю хочешь?

— Да, пожалуйста.

Он взял с полки четвертушку „Кузнецова" и бросил в мешок.

Когда я отошел, Жедрин на меня посмотрел и засмеялся.

— Чего ты таким дураком смотрел на Лаврушку, что, муки раньше не видел?

— Да нас же тут кормят. У меня тут в мешке больше, чем на три-четыре месяца московского пайка, да еще сахар и чай...

— Привыкнешь, ты ж кашу варить не будешь и хлеб печь, так это ты своим раздай.

— На сколько же это дают?

— На неделю. Если больше нужно, меня спроси, я тебе достану, у меня тут, кроме девки, никого нет.

Значит, есть еда в Москве, подумал я, чего они по пайкам не раздают. Прав я был — нарочно!

Я раздал мой паек. Настя наотрез отказалась.

— Душка, я все это от моих „бывших" получить могу.

Разделил между семьей и Рысом. Трудно было крупу, муку и сахар отделять одно от другого, но никто об этом не беспокоился.

Прошло еще дня два или три. Суматоха. Я накануне видел Петра у Насти и все ему доложил. Настя остерегала Петра не придавать всему, что я рассказывал, слишком большого значения.

— Петруша, поверь мне, ты себе вбил в голову, что Глав-Сахар — способ драпнуть из Москвы, но это может быть очень опасно. Все, что Николаша рассказывает, может иметь массу объяснений.

Я тогда, конечно, не знал, что произойдет на следующий день.

Как только суматоха началась, Жедрин сказал:

— Мы, брат, с тобой на фабрику едем.

Я испугался. Как я смогу Насте об этом дать знать?

Вдруг часов в десять вызвал меня Загуменный. Я оказался один с ним в будке.

— Послушайте, мы в три часа все едем на юг, не беспокойтесь, вернемся. Ни гугу. Вы держитесь с Егоркой (Жедрин), Махровым и Болотниковым, поняли? А теперь до двух часов вы свободны. Точно до двух. Поняли?

Я кивнул головой.

— Молодец, валяйте!

Меня это заинтриговало — отчего я? Загуменный со мной почти что никогда не говорил. Почему он меня выбрал? Я, конечно, никому не сказал. Побежал к Насте. Объяснил ей, и она сейчас же сказала:

— Ну, это первое интересное событие, будь, душка, очень осторожен. Когда вернешься, расскажешь.

Она меня благословила, расцеловала к моему удовольствию, и я бросился обратно.

К трем часам собрались у ворот. К моему удивлению, собралось человек тридцать, большинство которых я раньше не видел. Они были какие-то неопрятные. У меня мелькнула мысль, что если это заговорщики, то я — „китайский император"!

Мы все толпились со своими винтовками и ранцами у ворот. Загуменный расхаживал взад и вперед.

— Где эти сукины дети? Уже время, а их нет!

Мы ожидали грузовиков.

— Как коровы без вымени, жрут, а молока не дают.

Наконец из-за угла появились два больших грузовика „паккард", стали грузиться.

— Вы что, потеряли компас, нас найти не могли?

Выехали на Красную площадь. Большие черные тучи за Кремлем превратили Кремль в какой-то сказочный замок. Главы соборов поблескивали, стены и башни казались светло-розовыми. Какой-то солдатик плюнул и сказал:

— Вот-те Москва белокаменная, много повидала в свое время, старая сука!

— Ух, нас сейчас дождем промочит! — сказал кто-то.

Две или три молнии блеснули за Кремлем, и главы соборов потемнели на минутку.

Проехали Иверские ворота, заметил, многие перекрестились. Твердые шины, которые судорожно дрожали на булыжной мостовой Красной площади, зашипели по асфальту Моховой. Листья на деревьях еще были свежие от малой пыли и отсутствия движения на улицах Москвы.

Переехали Брянский мост. Брянский вокзал, еще не оконченный, некрасивый, точно свинья, лежащая на спине и ноги к небу. Большая площадь. Стали разгружаться. Тяжелые капли дождя западали на пыльную мостовую, оставляя маленькие воронки, и капли, как жемчужины, катались по асфальту.

Под колоссальной стеклянной крышей, как табор, расселись группы, большинство — женщины с детьми.

— Ты куда, бабушка? — спросил Жедрин.

— Калужская, сынок, калужская, уж третий день сидим, все поезда нет.

— Так ты бы туда пешком прошла!

— Стара, сынок, да ребятишки не смогли бы.

— Что, у тебя кружка есть?

— Есть, а тебе зачем?

— Дай сюда.

Он окунул кружку в свой мешок, полный сахаром.

— На, бабушка, ребятам посластиться.

— Ох, спасибо тебе, сыночек!

На платформе стояло человек сто, а может и больше, солдат. Винтовки их были сложены в козлы.

— А это кто? — я спросил Егорку.

— Это пополнение.

Поезд стоял длинный. Сперва два длинных серых товарных вагона Южной железной дороги, затем очень длинный вагон „микст", полужелтый, полусиний, Владикавказской железной дороги, затем четыре зеленых вагона третьего класса Московско-Киево-Воронежской дороги, затем две теплушки.

— Пойдем посмотрим паровоз, — сказал Жедрин.

Пошли мимо пополнения к паровозу. Колоссальный зеленый паровоз типа „С", с длинным тендером, с двумя баками для нефти, пыхтел. Машинист, высоко где-то, смотрел из маленького окна.

— Эй, братец, у тебя керосину довольно нас довезти? — крикнул ему Жедрин.

— А тебе какое дело?

— Да так, пешком не хочу идти.

— А ты не в свое дело не суйся! — обиделся машинист.

— Что это поезд с разных дорог собрали? — спросил я Жедрина.

— Это, брат, наш поезд, Глав-Сахара, никто в нем, кроме нас, ездить не может. Вся прислуга наша.

Я заметил на двух вагонах какие-то мешки на крыше.

— А это для чего?

— Это гнезда для пулеметчиков. Ты заметил, мы два „Шварцлозе" с собой привезли?

Когда мы вернулись к своему вагону, первому 3-го класса от „штабного", мы вылезли опять на платформу, погрузивши все наше имущество. Болотников разговаривал с Загуменным против штабного, когда появилась процессия, на вид — прямо с Лубянки. Тот самый тип, который обкладывал меня матом, но бритый на этот раз, с ним какой-то человек повыше, за ними два типа, тоже с ног до головы в черных кожаных куртках и рейтузах, затем какая-то девица с Копковым, которого я уже видел на Рыбном.

— Кто вся эта свора? — спросил я у Егорки.

— Это, брат ты мой, не свора, а наш генеральный штаб. Сам Янковский с Александровым с Лубянки, за ними начальник штаба товарищ Кочановский с депутатом с Лубянки Курочкиным, а сзади Копков, ты его уже видел, с какой-то блядью, не знаю, кто она.

В этот момент Загуменный пошел говорить с Копковым, затем что-то сказал Болотникову, который бегом подбежал к Жедрину, что-то ему шепнул и, схватив меня за рукав, потянул к следующему перед нами вагону, по дороге сказав Махрову: „Яшка, как раньше." Все это случилось так быстро, что я даже не заметил, что Жедрин куда-то исчез. Болотников открывал ключом дверь второго 3-го класса вагона.

— За мной! — сказал он мне и быстро влез. — Когда дойдут, рассади быстро и ни гугу.

Я ничего не понимал, посмотрел сквозь обратную дверь и увидел и Болотникова и Махрова у дверей. Повернул голову в направлении штабного и открыл рот от удивления. По шпалам тянулся хвост каких-то баб с детьми. Эта гусеница, немая, сгорбленная, двигалась быстро в моем направлении, за ней, тоже сгорбившись, шел Жедрин. Меня поразило, что даже ни один ребенок не пискнул в этой процессии. Как будто механически гусеница разделялась, Болотников подхватывал старух и малышей и совал мне, они без всякого шума рассаживались в вагоне. Было много ребятишек на руках. Все проходило в полнейшем молчании, и ни один ребенок не выглядывал на платформу.

До сих пор помню мое удивление и мысль – „неужели большевики напугали даже детей, что они, как какие-то зверьки, припластовываются к земле?”

Все это заняло лишь несколько минут. Безмолвный вагон был заперт, и мы вчетвером вновь оказались на платформе. Теперь уже дождь лил как из ведра и стучал по стеклянной крыше вокзала. Только трое из чекистов влезли в вагон – Янковский, Копков и Курочкин. Поезд медленно потянулся с вокзала. Сквозь дождь трудно было видеть отходящую Москву. Но там уже светило солнце. Кто-то сказал:

– Смотри, смотри, храм Спасителя блеснул!

– Да ну ее, белокаменную, скатертью дорога!

Пошли дачные места. Какие-то причудливые резные дома под старорусский манер, построенные в прорезах лесов, окруженные белоствольными березками и низким частоколом, выкрашенным белой краской. Теперь все дома были покинуты когда-то гордящимися ими хозяевами, ставни были закрыты, и краска лупилась со всего. Я подумал: „Интересно, где теперь все эти мелкие чиновники, лавочники, которые так гордились своими „летними резиденциями”, которые они называли „своим деревенским утешением”? В Бутырках? Таганке? Или на том свете?”

Наши развалились по деревянным скамьям. В нашем отделении я занял верхнюю полку и не был особенно удивлен, что подо мной был Махров, напротив меня – Болотников, а под ним Жедрин. Никто этого не устроил, устроилось безмолвно само. Мы были в конце вагона, по соседству с вагоном 2-го класса, где в купе поместился Загуменный. Отчего-то другой конец нашего вагона был отрезан и заперт от следующего.

Дождь прошел. Дачные места сменились настоящей деревней. Солдаты наши повеселели. Стали снимать обдерганные рубахи и откуда-то вытащили чистые. Один за другим ходили к умывальнику, причесывались, и вдруг вся наша растрепанная команда стала выглядеть, как настоящие солдаты. Заговорили все громко, смеялись... Неужели, подумал я, люди действительно не переменились и только Москва на них имела такое удручающее влияние.

В конце вагона кто-то запел солдатскую песню. Какой-то парень, которого я не знал, подошел:

– Эй, Жедрин, принес свою гармошку? Дай нам Олега.

Жедрин вытянул из мешка довольно поношенную гармонику и стал что-то играть. Ребята столпились в открытом коридоре.

– Да ты нам Олега дай!

Жедрин взял несколько нот и ударил в Олега. Странно было слушать старую песню. Ребята подхватили: „Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...” Дошли до припева и вдруг: „Погромче, музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Так за царя, за родину, за веру мы грянем гром-

кое ура! ура! ура!" Что они, с ума сошли? Но они повторяли припев и продолжали песню. Двери в соседний вагон были закрыты, но они пели так громко, что, я думал, слышно было и там. В этот момент появился Загуменный. Музыка и пение остановились.

– Эй, ребята, не так громко!

Повернулся и ушел. Странно, подумал я, Красная армия поет „за царя, за родину, за веру". Спели еще несколько старых песен и разошлись. Стали разговаривать громко и смеяться.

Появился вдруг с другого конца вагона высокий, довольно красивый тип, которого я тоже раньше не видел.

– Простите, – сказал он, протягивая руку, – я переслышал ваш разговор. Вы говорили о Каменце, Волочке. Это не в Вяземском ли уезде будет?

– Да, в Вяземском, мы оба оттуда.

– Так я тоже вязьмич, у моего отца было маленькое имение на реке Вязьме. Я по малости там бывал. Мое имя Вадбольский.

Это мне абсолютно ничего не говорило.

– Так чего же вы, князь, мне этого раньше не говорили? – заметил Жедрин.

– Да я не знал, что вы вязьмич. Вы что, из Хмелиты, Владимира Александровича сын?

Я кивнул головой.

– Ваш отец моего не особенно любил, помню еще в детстве, как ваш отец на моего отца кричал и посадил опекуна за нашим имением смотреть.

– За что же это?

– Не помню точно, кажется, мой отец лес вырубил и залило какие-то крестьянские земли.

Вдруг я вспомнил. Мне тогда было не более шести лет. Какой-то тип приехал в Хмелиту. Помню, как мой отец был вне себя от досады и кричал на него. Что-то о каком-то потопе, и я запомнил одну фразу: „Мне безразлично, что ваша жена хочет зимовать в Москве и что вам нужно было деньги, вы затопили землю двух деревень и вы им за это заплатите!" Помню, как я, увидев этого типа, думал, что он Ной и что жена его была ответственна за потоп. Так это был Сим, Хам или Яфет?

Он продолжал говорить, как не важен был его отец, что я, вероятно, потому его и не помнил. „Наше имение, знаете, с Хмелитой даже сравнить нельзя, мы были только..." и т.д. Чем больше он говорил, тем меньше он мне нравился. Чего, думал я, он ко мне подлизывается? Наконец он ушел.

– С чего он мне льстить вдруг захотел?

– Это ты, брат, слишком жестоко его осудил, – ответил Жедрин. – Он хороший парень, но городской, все боится, что его не примут наши. Еще не привык, был корнетом в каком-то драгунском полку.

— Да что он ко мне подлизывается?

— Он тебя же не знает, может, подумал, что ты его не признаешь.

— Вот дурак!

— Выучится, он же не деревенский.

Несмотря на наш великолепный паровоз, поезд шел очень медленно.

Жедрин вдруг спохватился:

— Эй, братья! Нам приказано баб в Тихоновой пустыни разгрузить, а как их предупредить?

— Так один из нас туда пойдет и им скажет, — сказал Болотников.

— Вот дурак! Как?

— Что как?

— Вагон-то заперт!

— Боже ты мой, не подумал!

— Так один из нас с лестницы на лестницу сигануть может, — прибавил я.

— А ты это пробовал?

— Нет.

— Так чего же ты чепуху несешь?

— Другого способа нет, — сказал Махров.

— Ну, пойдем, — сказал мне Жедрин. — Пора.

Пошли. Все наши уже спали. Пробрались на платформу, открыли дверь на лестницу, я сошел две ступеньки. Темно. Вагон впереди кажется далеко. Я протянул руку к концу нашего вагона, пальцы только до угла дотягиваются.

— Дай мне попробовать, там за углом железная лестница на крышу, ухватимся, можно ногу на буфер поставить.

Егорка попробовал, не лучше меня.

— Дай я попробую, ты меня держи.

Протянулся, держась другой рукой за перила. Егорка держал меня за кисть. Нащупал какой-то брус и ухватился.

— Отпусти!

Через секунду я, как маятник, качнулся и почувствовал, что рука от плеча отрывается. Ухватился другой рукой и повис.

— Где ты? — услышал я испуганный шепот Егорки.

— Вишу.

Ногами я искал какую-нибудь опору и вдруг нашел. Ноги нашли перекладинку. Я был испуган и должен был отдышаться. Потом ногой нащупал другой буфер. Протянулся и ухватился за что-то. Через две минуты я был на лестнице, гораздо легче, чем я думал. Оказалось, что перекладинка доходила до самого угла.

— Эй, Егорка, перекладинка наравне со второй ступенькой.

Через минуты три Егорка был на моей лестнице.

— Эй, тетки, пора просыпаться! — Те, что ближе, вскочили, за-

суматошились. – Да не доехали, может, с полчаса еще, садитесь. – Успокоились.

– Так ты садись, братец, место есть. – По голосу молодая.

– А ты откуда?

– Из-под Алексина.

– Что тебя в Москву дернуло?

– Да ехала искать мужа.

– Нашла его?

– Нет, он убит.

– Как убит? – я спросил с удивлением.

– Расстреляли, братец, на Морозовской фабрике, бастовать стали... убили.

– Язычники притесняют нас, бедных женщин! – заголосила какая-то баба в темноте. – Некому нас защищать, не с кем спать, мужей бьют, и за что? Всю войну прошел, не тронули, домой приехал, работать пошел и убили, кто ж ее ребят кормить будет... – Она вдруг расплакалась и сквозь слезы: – Марфушку овдовили и четырех детят осиротили, кто за ними смотреть будет...

– А дома что, вас не трогают?

– И там притесняют, поле ржи не спрячешь, отнимают все, ребята наши по лесам разбрелись, там несколько уделов засеяли, а то не на что бы жить, и скотину в лес угнали. А они, язычники, женщин насилуют, не дают православным жить...

Загудел тройным гудком паровоз, я посмотрел в окно. Огоньки направо, это Сызрано-Вяземская железная дорога.

– Тихонова пустынь! – сказал я громко.

– Как остановится, слезайте, тетки, и обратно к концу поезда, а оттуда ахти! – сказал Жедрин.

Поезд остановился. Мы быстро открыли обе двери. У моей уже стоял Болотников, и бабы стали кидать узлы и малышей ему в объятия. Я тоже выскочил, бабы, как водопад, катились из дверей, выпрямлялись и бежали согнувшись обратно. Болотников вскочил в поезд, пробежал по вагону и вернулся: „Все чисто, запирай." Через минут пять поезд пополз на станцию.

Было еще не поздно. Прицепили новый паровоз, и поезд почему-то пошел полным ходом. Я проспал Сухиничи и проснулся, когда поезд стоял уже в Брянске. На платформе было много народу.

– Пойдем в буфет, может, там что-нибудь купить можно, – предложил Егорка.

Буфет был забит народом. Мы стали проталкиваться, кто-то из наших возвращался от буфета:

– Там только горячая вода продается...

Повернули и пошли обратно, а тут крик, толкание на платформе.

– Братцы, одного из наших взяли!

Протолкнулись, наши все ринулись к центру кавардака. Кричат:

– Зови Загуменного!

– Что вы нашего берете? Не знаете, кто мы такие!

– Отпусти его, черная сволочь!

Наш парень окружен пятью чекистами, что-то бормочет, ничего не понять.

– Давай дорогу! – кричит чекист. – Стрелять буду! – И машет револьвером.

Вдруг Загуменный появился.

– Кто тут старший? – сказал он громко и с авторитетом.

Какой-то чекист сказал, что он, и спросил:

– Это ваши тут толпятся?

– Кто толпится?

– Да эта мразь!

– Я тебе покажу мразь, поди сюда, сволочь!

– А ты кто?

– Я тебе покажу, кто я! Как ты смеешь солдат специального поезда арестовывать! Это конвой ВЧКа, а ты, паршивый брянский волокита, смеешь арестовывать!

Я никогда не видел такой быстрой перемены лиц, все чекисты позеленели.

– Да я не знал...

– Так мы вашу сволочь к стенке приставим, проучим вас! – крикнул Загуменный.

Чекисты попробовали протолкаться сквозь толпу.

– Нет, ты подожди, скотина, пойди доложи твоей брянской швали, что если опять это случится, так мы отряд из Москвы пришлем и вас ликвидируем!

Отпустили чекистов и они смылись, как будто их никогда и не было. Было страшно, пока чекисты были там, местные от них шарахались, теперь стали шарахаться от нас. Весь инцидент был идиотский: один из наших, выходя из буфета, отпустил пружинную дверь, и она ударила чекиста.

Вернувшись в вагон, я сказал Егорке:

– Здорово Загуменный чекиста разнес, он храбрый!

– Чего храбрый? Мы же важнее этой провинциальной сволочи.

– Как важнее, они Чека?

– Э, брат, ты не заметил, что мы после Лубянки самые привилегированные? Ни у кого, кроме нас, нет своих войск, своих поездов, своего транспорта; а у нас даже батареи есть. Мы что гвардия у Кремля, не заметил разве?

Я действительно не заметил. Я еще понятия не имел, что мы какой-то особый отдел, что большевики так на нас полагаются. Я еще не уловил, что наше отделение Глав-Сахара было единственным эффективным отделом советского правительства. Единственным,

который поставлял то, что обещал. Ни Глав-Хлеб, ни Глав-Молоко, ни Глав- все остальные, их было дюжины две, не поставляли то, что должны были, так регулярно, как Глав-Сахар. Поезда с сахаром приходили в Москву понедельно. Сахар раздавался Чеке, всей коммунистической бюрократии, коммунистам и Красной армии. Часть этого сахара появлялась на Смоленском рынке, но большевики как будто не обращали на это внимания.

Мы были близко связаны с Лубянкой, у нас сидело двое больших комиссаров, и в войсках, то есть Южном полке, который я тогда еще не знал, и Западном полке, о котором я тогда еще не слыхал, были политические комиссары при каждом батальоне.

Инцидент в Брянске открыл мне глаза. Что мне было совершенно непонятно, это как поезда проходили через части России, куда даже Чека боялась соваться. Считалось, что зеленые нас боялись, но разве они не боялись Чеки? Что-то было непонятное.

Рано утром, когда я проснулся и посмотрел в окно, я увидел Загуменного, серьезно толкующего о чем-то с высоким бородатым крестьянином. Тот что-то Загуменному говорил, указывая иногда на поезд, иногда на сигнальную будку. Станция была Навля.

Поезд опять пошел по знакомой мне дороге на Льгов. Кто-то опять запел старые солдатские песни, и солдаты подхватили. Заварили чай, поели, веселый был вагон. Прошло с час. Тут вдруг вид совершенно изменился. Как будто кто-то ножом прорезал. Центр России прекратился, пески, сосны, деревянные деревни кончились, и на место их пошел чернозем, открытые поля с лесками дубов и буков, мазанки, начало степи, пирамидальные тополя. В полях росла кукуруза, подсолнечники, сахарная свекла и пшеница. Появились арбы с громадными серыми волами. Столбы с электрическими проводами исчезали за горизонтом.

— Вот тебе Юг, точно границу переехали, — сказал Егорка. — И ива у них тут паршивая. — Он лежал на скамье и вырезал ножом свисток. — Мягкая какая-то.

Паровоз дал несколько гудков и заскрипели тормоза.

— Что он, в поле остановился?

— Зеленые, вероятно.

Егорка встал и взял винтовку.

— Что, днем?

— Да, наверное, в подсолнухах засели, — сказал он спокойно.

В эту минуту вошел Загуменный.

— Эй вы! — он махнул в нашем направлении. — Ребята к окнам, смотри стреляй высоко. Егорка, вы на крышу.

Я автоматически схватил винтовку и бросился за Жедриным. Он соскочил и побежал назад вдоль поезда. У серого вагона он остановился и полез по железной лестнице на крышу в пулеметное гнездо. Там стоял австрийский „Шварцлозе".

— Где же зеленые?

– Сейчас покажутся из этих подсолнухов.

– Да чего же мы остановились?

– Путь разобрали.

– Так мы что, застряли?

– Нет, наши уже чинят.

В этот момент появились из подсолнухов несколько человек и стали стрелять. Пули свистели над головой. Из первых двух вагонов высыпалось ,,пополнение''. Зеленые исчезли и ,,пополнение'' бросилось в подсолнухи. Егорка открыл огонь из пулемета.

– Ты по чем стреляешь?

– Так, для шума.

Стрельба в подсолнухах продолжалась. Какая-то шальная пуля шлепнула в крышу и завизжала рикошетом.

– Эх негодяи, стрелять не умеют, – процедил Егорка.

Прошло минут двадцать, шум, гам, один за другим ,,пополнение'' стали возвращаться из подсолнухов.

– Ну, ушли, – Жедрин сказал и полез вниз по лестнице.

Вернулись в вагон, а там смеются чему-то.

– Что смешного?

– А тут Алешку напугали канальи, он высунул нос посмотреть, как дорожники путь чинят, а тут шальная пуля в сторону вагона брякнула как раз под ним...

Я подумал: это какой-то фарс разыгрывают. Ни в кого зеленые не стреляли, и мы ни в кого не стреляли. Когда мы остались вдвоем, я спросил Егорку:

– Это мы что, комедию разыгрывали?

– Более или менее, наш штаб напугать.

– Сколько, ты думаешь, наших убило? – кто-то спросил в соседнем отделении.

– Да черт его знает, прошлый раз человек 15, на этот раз, может быть, дюжину.

Володя пришел довольно взволнованный:

– Там говорят – больше десятка убило, и все смеются.

– Эй, братец, ты не принимайся, это война, скоро привыкнешь! – успокаивал его Егорка.

Наконец пошел поезд опять. Из штабного вагона вернулись временные денщики. Стали рассказывать, какие они обеды штабу носили.

– Да ты не поверишь, мы им окорок носили да курицу холодную. Водку тоже и вино Кахетинское.

– Да врешь ты, сукин сын, откуда окорока в Москве?

– Ей-богу, окорок, и большой!

– Приснилось тебе, брат.

– Ей-богу, окорок, спроси Ваньку!

Поезд теперь шел быстро. Я посмотрел из окна, вдали большие здания и труба.

— Это что, наш завод?

— Нет, это зеленый, наш подальше, скоро сворачивать к нему будем.

Минут через пятнадцать появились здания, какие-то длинные насыпи, запасные пути, затем точно город: дома, склады, большие здания и платформа высокая, дощатая, длинная. На ней масса солдат, машут, кричат. Высунулся в окно посмотреть. Кто-то в толпе кричит: „Волков, здорово!" Никого знакомого не вижу. Поезд остановился. Загуменный вошел.

— Ребята, мы тут две ночи будем. Послезавтра все обратно в десять часов утра, точно, а теперь валяйте.

Мы вышли с Егоркой на платформу. Я о Володе перестал беспокоиться, он подружился с Языковым, человеком лет сорока, который, Володя говорил, был где-то в Пензенской губернии предводителем. Он был милый человек, ученый, и Володя с ним философствовал.

Меня кто-то вдруг схватил за плечи:

— Волков, добро пожаловать в нашу цитадель получше Бутырок!

Колесников!

— Как вы сюда попали?

— Да я уже месяц тут сижу.

— А Гайда где?

— Еще не приехал, он еще в Москве, все ожидаю.

— Да мы только на две ночи приехали.

— Вы что, специальная команда?

— Да, мы со штабом.

Я ему представил Егорку.

— Пойдемте ко мне, у меня здесь чудная квартира, с версту отсюда в деревне. Хозяйка как на заказ. Муж ушел, бойкая.

Мы сразу же согласились. Думал, что пешком идти нужно.

— Эй, что вы, у нас все тут налажено, все удобства, грузовик возьмем, прямо к крыльцу.

Деревня была большая и богатая. Мазанки были чисто выбелены, с хорошими приступками, стояли в фруктовых садах, и на улицу белый частокол. Как всегда, даже у нас в Смоленской губернии, перед домом грядка и колоссальные красные и темно-лиловые маки, ярко-красное „татарское мыло" и мальвы. Чистые дворы окружены коровниками, навесами, амбарами, а посереди двора — колода с журавлем. Пирамидальные тополя, раскидистые яблони, груши, черешни и сливы позади. Комнаты чистые, с битым полом, иконы в углу, постель покрыта глубокими пуховиками. У двери бочка с водой, черпак и веник. Только разнилось от наших — выбеленные стены и пуховики.

Хозяйка веселая, бойкая, гостеприимная и красивая. Поставила самовар да всякое печево на стол выложила. Двое веселых ре-

бят шныряли по комнате. Хорошо, подумал, живут тут еще без советского ига.

Поели, сели на приступок, стали разговаривать. Колесников, как и раньше, приукрашивал свои рассказы. Я еще был наивен, никак не понимал, что происходило. Деревня, оказывается, была зеленая, а жили в ней солдаты Глав-Сахара дружно с населением! Почти что каждую ночь зеленые нападали на фабрику. Почему? Колесников уверял, что, если я ему не верю, он мне покажет кладбище и могилы защитников. Потери, говорил, очень тяжелые, по 50 или 60 человек бывали убиты при каждой атаке, и усмехнулся:

– Мы их артиллерией кроем, а все лезут.

Остров, на котором стояли заводы, был версты 3 длиной и версты 2 поперек. Силы, говорил, у зеленых были большие. Я спросил о раненых: что с ними случалось?

– Да у нас госпиталь есть. Три дня тому назад политического комиссара подстрелили, при смерти лежит. Полез, дурак, в первую линию, и его хлопнуло. Обыкновенно не суются комиссары в бой, все на заводе сидят. И поделом!

Я спросил, сколько всего убито было защищавших фабрику.

– Да черт его знает, я могил не считал, но, говорят, тысячи 4 или 5 уже убили. Многие, кроме того, пропадают без вести. Скоро и меня, вероятно, убьют! – и засмеялся.

Конечно, это была какая-то игра, но как она разыгрывалась, я никак понять не мог. Чекистов на фабрике было масса. Знал тоже, что зеленые большевиков ненавидели и расстреливали, если к ним кто-нибудь попадался. Неужели какое-то соглашение было между Глав-Сахаром и зелеными? Как это могло быть, когда такой надзор? Не дураки же большевики! Единственное объяснение, которое я мог придумать, было то, что Глав-Сахар действовал безукоризненно и поставлял сахар в Москву и Чека поэтому закрывала глаза. Но как это могло тянуться, как среди этих тысяч рекрутов не было провокатора? Все это совсем было не похоже на Чеку. Я решил не гадать и посмотреть, что случится. Никто, кроме Егорки, прямых ответов никогда не давал.

В разговоре с Егоркой я спросил – это было о прошлом – что такое случилось под Олаем?

– Ах, это был кавардак. 5-я кавалерийская дивизия стояла за Двиной. Немцы смяли пехоту под Олаем и погнали ее к Двине. Какой-то корпусной приказал 5-й дивизии перейти Двину и прикрыть отступление пехоты. Перешли, а там немцев нет. Пошли дальше, первая бригада, александрийцы и литовцы, оказались по ошибке между первыми линиями. Немцы стреляют, что делать? Спешиться поздно, бросились в конную атаку. Пошли сигать через проволочное заграждение, смяли немцев. А тут каргопольцы с казаками подошли, а первая бригада через вторую линию ахнула и до третьей дошла. Немцы обомлели, никогда конницу раньше не видели, чтоб в

атаку через проволоку пошла, и сдались. Много александрийцев и литовцев перебило. Пехота наша вернулась и окопы заняла. Немцы так поражены были, что прислали через Швецию Железный крест командиру эскадрона, который дальше всего зашел, это был ротмистр фон Ромель, балтиец, в александрийцах служил. Государь ему дал специальное разрешение Железный крест немецкий с Георгием рядом носить.

– А что, Загуменный там был?

– Был, и Болотников, и Махров, и многие из наших, почти все Георгия получили. Ды ты об этом ни гугу!

Я не знал тогда, что и Егорка был „бессмертный" под Олаем.

Ночью мы расположились, кто как хотел. Колесников ушел с хозяйкой в соседнюю горницу, Егорка предпочел пуховики, а я не любил мягкие кровати и выбрал себе лавку под открытым окном. Хорошо, свежо веяло снаружи. Я посидел у окна, передумывая все, что слышал. Тополя присмирели, как будто заснули, как потухшие свечки на фоне темно-синего неба. Чудная какая-то судьба занесла меня в орловскую деревню. Да, деревня, но какая-то не наша, а все-таки хорошая. Чего люди заваривают кашу, бьют друг друга, притесняют, будто этим кому-то лучшую жизнь устроят.

Заснул, и вдруг вскочил. Где-то завыл гудок. Темно, ничего не видать. Хлопнула где-то дверь. Колесников выскочил, натягивая рейтузы.

– Что это?

– Тревога!

В темноте посыпались люди, заревел грузовик, второй, третий.

– Куда это?

– На фабрику. Хотите посмотреть? – спросил Колесников, натягивая сапоги.

Жедрин уже одевался.

– Вот канальи, спать не дают!

Мы покатили на завод. Грузовик, набитый солдатами с винтовками и бандалерами. А там суматоха. Какие-то части формируются в темноте.

– Вы здесь оставайтесь! – сказал Колесников и исчез.

Прошло минут десять. Вдруг где-то далеко ухнули пушки. Высоко где-то налево блеснули „журавли".

– Шрапом кого-то кроют, – заметил Егорка.

Затрещали вдали пулеметы и отдельные выстрелы винтовок. Мы сели на платформе, прислушивались. Какие-то люди расхаживали по платформе, останавливались, говорили полушепотом и слушали.

– Э, брат, что твой Северный фронт! – Егорка сказал и засмеялся.

Теперь уже три батареи в разных местах ухали по очереди, иногда на минуту освещая небо осветительным снарядом. Бело-голубой

свет бросал дальние постройки и тополя в темные силуэты на белом фоне.

Больше часу продолжалась перестрелка. Потом одна за другой батареи заглохли, пулеметы трещали реже. Пули на излете, которые иногда звякали по железной крыше над нами, стали реже и реже. И вдруг — тишина.

Прошел еще час с лишним, стало светлеть, появились откуда-то солдаты группами. Вдруг Колесников весело сказал:

— Ну, пойдемте спать!

Откуда он появился, не знаю.

— Что случилось?

— Да все то же, отбили.

— Как вы знаете, что они не вернутся?

— Да чего им возвращаться-то, им спать тоже хочется.

— А что, у нас потери были?

— Не знаю, я в первой линии не был. Наверно, человек 50 побило.

— А раненые где?

— Бог их ведает, кто на шип накололся, в госпитале бинтами обвязан.

Неужели действительно фарс какой-то разыгрывают?

На следующий день пошли на завод посмотреть, как сахар делают. Рабочих там много, но сахару по малости делают. Поздно, говорят, свекловица кончается. А в складах до потолка мешками набито. Теплушки да длинные товарные на запасных путях грузят.

Пока мы смотрели, пришел поезд, человек двести разгрузилось. Между ними Гайда.

— Я вас в Москве видел, не хотел подходить, вы что — специальные?

— Да, мы со штабом приехали.

Колесников Гайду ожидал, как он знал, что приедет? То мне казалось, что понимал всю эту процедуру, то опять был совершенно смущен. Тут какая-то внутренняя организация, которую я никак не мог раскусить. Никто не говорит, а все что-то знают. Или я дурак, или все как-то по какому-то беспроволочному телеграфу сносятся. Может быть, сами большевики всех научили, как бегунов в Москве, друг с другом сноситься полусловами.

На следующий день утром мы опять были в поезде. Я накупил довольно много съестного для семьи и Рыса. Купил окорок, сала, десять фунтов крупы, меду и галушек. Поезд был иначе составлен. Теплушки теперь были позади. Пулемета в конце поезда теперь не было.

— Чего пулемет сняли?

— Да нам теперь не нужен, нас останавливать не будут.

Загуменный вызвал Егорку и меня в свое купе.

— Вы денщиками будете, можете в купе рядом устроиться, да ты знаешь, Егорка?

Егорка кивнул. Мы перенесли наши пожитки в купе 2-го класса и развалились на мягких диванах.

— Эй, да тут звонок! — я заметил.

— Да, конечно, звонок, это если кому из верхушки что надо.

Удобно в купе. Стол вытянули. Егорка откуда-то карты нашел. „Давай в дурачка играть." Рессоры в этих вагонах были мягкие, только слегка покачивались. Егорку ничто не удивляло, да и я привык, что бы ни случалось, принимать без удивления. Зашел Болотников, стали играть в очко. Он из-под Самары был. Разговорились о земледелии. Разно во всех частях России обрабатывали. Овинов у них там нс было, суше, наверно, и льна не растили. Коровы у них там были ярославки, не то, что у нас по деревням, „тосканской" породы. Да и пшеница у них — „сам-пятнадцать" и больше росла, а у нас только рожь сеяли.

Вызвали нас штабные им завтрак носить. Рядом с нами в купе всякое съестное сложено, прямо рот раскрылся. Чего там только не было, да еще бутылки водки и Кахетинского. Тарелки мы в купе проводного мыли. Все трое обратно ехали. В купе, где они ели развалившись, на столе всегда бутылки водки и стаканы стояли. На нас никакого внимания не обращали.

Я заметил, что на платформе в Брянске не было ни одного чекиста. Поезд шел быстро, не останавливаясь на маленьких станциях. Первая остановка после Брянска была Сухиничи. Мы вышли на платформу, там, как всегда, было много народу. Все куда-то ехали. Русскую привычку путешествовать даже большевики не смогли изменить. На наш поезд глазели с подозрением.

Только вернулись в вагон — вызваны были подавать ужин. Я принес тарелки и все нужное. Янковский, развалившись, с воротником расстегнутым, сидел у двери. На той же скамейке развалился и Курочкин. Я первый раз видел его близко. Белобрысые курчавые волосы были растрепаны. Лицо его маленькое, слегка надутое, было красное. Глаза полузакрытые. Китель расстегнутый. Мне показалось, что он пьян. Напротив него сидел Копков. Они разговаривали, не обращая никакого внимания на меня.

Когда я вошел, Курочкин что-то старался объяснить:

— ... По... по... ложил... нет не сов... сем, оно там... уже было... — и засмеялся пьяным смехом.

Копков тоже смеялся. Разговор был почти бессвязный, и я ничего не понял. Когда я вышел в коридор, Егорка нес тарелки с балыком и ветчиной.

— Они там пьяные.

— Да товарищ наш всегда такой, он пьяница.

Принесли вино и водку, множество еды и вернулись к себе в купе.

Егорка уверял меня, что Курочкин, хотя и пьяница, хитрый. „С ним осторожно нужно быть, он каверзный."

В этом вагоне было электричество, в 3-классных тока не было и сидели в темноте. Я поднял занавесь и открыл окно.

– Потуши лампу.

– Отчего?

– Да потуши, не нужно.

Высунулся в окно. Поезд идет по насыпи. Лес шагах в пятидесяти от пути. Темно, синее небо с яркими звездами. Ветерок от движения поезда. Почему-то поезд стал утишать ход. И вдруг остановился. Я посмотрел вперед, только один огонек вдали. Полнейшая тишина. Вдруг послышался свист из леса, затем другой. Вспыхнул огонек, точно кто-то чиркнул спичкой.

– Что это? – я спросил взволнованно.

– Зеленые.

– Так чего ж мы стали?

– Они нас не тронут.

– Да почему же стали?

– Наверно, остановили.

– Кто, зеленые? Что им нужно?

Егорка засмеялся:

– Ну и дурак ты! Почему, ты думаешь, нас пропускают? Мы им сахар даем.

– А! Теперь понимаю.

– Ничего ты, дурак, не понимаешь. И чем меньше понимаешь, тем лучше.

Я стал переворачивать в голове все, что слышал и видел. Действительно, какой-то заговор, но каким манером он нам выгождал, я никак не мог понять. Ясна мне теперь была какая-то связь между Глав-Сахаром и зелеными. Но зачем? Только чтоб поставлять сахар в Москву? Нет, что-то не то.

После минут двадцати поезд опять пошел. Тихонова пустынь, а наши штабные все пьют. Малоярославец, они все пьют. Загуменный вызвал Егорку. Понесли еще бутылку водки и закуски. Курочкин совершенно пьян, Янковский с закрытыми глазами развалился, только Копков как будто трезвый. Курочкин хлопал по столу и пьяно хохотал. Выскочили из купе и Егорка побежал по коридору к Загуменному. Через минуту он вышел:

– Пойдем за мной!

Пошли в наш вагон. Егорка что-то шепнул Болотникову, тот только сказал: „ага". И он, и Махров вернулись с нами к Загуменному. Загуменный улыбался:

– Мы курочку в курятник заперли, – и засмеялся. – Ну, ребята, теперь, как остановимся, знаете, что делать.

Мы все остались у Загуменного в купе. Он угощал нас водкой и закусками. Прошел почти час.

— Кто на паровозе сейчас?

— Кузьмин и Вадбольский, — сказал Болотников.

— Как остановлю, махни туда, останови поезд перед Апрелевкой, а потом знаешь, что делать, вот ребята тебе помогут.

— Там запасной путь перед самой станцией.

— Знаю, на станции ждут?

Я был совершенно смущен. О чем они говорили?

— А там Чеки нет?

— Нет, они во Внукове.

— Ладно.

Загуменный поднялся, дернул вестингауз и поезд стал быстро останавливаться. Болотников исчез. Минут через пять поезд пошел опять. Махров что-то рассказывал о какой-то кобыле, и все засмеялись, кроме меня, я истории не понял.

Поезд остановился.

— Ну валяйте, и быстро.

Мы выскочили из вагона. На востоке небо посветлело. За Махровым мы побежали по шпалам к концу поезда. Вместо двух теплушек была только одна. Махров стал отцеплять ее от поезда. В двадцати саженях сзади были стрелки. Болотников, как только теплушка отцепилась и откатилась, переменил стрелку. Подбежали Вадбольский и Кузьмин, и мы оттянули ее на запасной путь, переменили стрелку и пошли обратно в поезд.

По дороге обратно я спросил Егорку, кому это мы теплушку оставили? Он пожал плечами. Ясно, спрашивать было некстати.

Отчего-то во Внукове простояли долго. Я дремал на мягком диване и проснулся только когда мы приехали на Брянский вокзал. Стояли на каком-то запасном пути. Рядом стояли грузовики и какие-то солдаты, вероятно, наши, разгружали длинные товарные вагоны. Напротив штабного вагона стоял большой черный американский автомобиль с красным значком на радиаторе. Но штаб еще спал. Загуменный приказал нам уложить бутылки и оставшееся съестное в два ящика и снести в автомобиль.

— Ну, мы свое дело сделали, позавтракаем и поедем, — Загуменный сказал довольно.

На Рыбном Загуменный позволил всем нам разойтись до следующего утра. Я собрал мои покупки и поехал на трамвае домой.

Дома никого не было, кроме горничной моей матери, которая настояла остаться с нами, вышла замуж за дворника и стала у нас кухаркой. При виде меня с окороком и разными другими вещами воскликнула:

— Господи, помилуй! Вы что, обокрали кого-нибудь?

— Нет, я из деревни привез.

Она посмотрела на мою красную звезду.

— Николай Владимирович, как вам не стыдно дьяволу продаваться, кого это вы обокрали?

– Да не обокрал, купил.

– Стыдно это вам так делать!

Я снес остальное Рысу, но дома никого не было. Пошел к Насте. Она меня обняла, расцеловала, обрадовалась.

– Я так за тебя молилась, боялась. Петруша и Николай позавчера в Глав-Сахар записались и, кажется, сегодня уедут. Петруша сказал, что зайдет перед этим, но не пришел.

У меня вдруг сердце екнуло. Неужели я остался один? Как видно, это отразилось на моем лице.

– Ты что, беспокоишься, душка?

– Да... да, я не знаю, я думал, Петр подождет, пока я вернусь. Теперь я один остался.

– Володя с тобой.

– Ну, Володя... он только делает, что я говорю.

– Чего ты беспокоишься? Петр тебя заставил записаться, я тогда против этого была, но ты земляка нашел и прекрасно справляешься без Петра и будешь справляться.

Это меня немного успокоило. В то же время я вдруг понял, что, если я уеду на Юг, я, может, никогда не увижу Настю, в которую я теперь был глубоко влюблен. Я вдруг почувствовал, что не хочу уезжать из Москвы и в то же самое время знал, что это было глупо со всех сторон.

Настя, заметив упад в моем энтузиазме, быстро угадала причину.

– Послушай, Николаша, и ты, и Петр, и Николай верно решили покинуть Москву и добраться до Белой армии. Я не верю, что большевиков можно высадить изнутри. Это может случиться через 50 лет, когда эта европейская мразь уже исковеркает Россию. Нет, душка, ты поезжай, как ты решил, и я уверена, что вы все вернетесь победителями. И я тебя и остальных буду ждать, со мной ничего не случится, не беспокойся. Во всяком случае, ты не завтра едешь.

В моем воображении вдруг появилась картина – колокольный звон всех церквей, конница с пиками и флюгерами, с песельниками впереди, входящая в Москву, и Настя в летнем платьи, встречающая нас в приветствующей толпе.

ПОБЕГ

Возврат с фабрики почему-то переменил наше положение. Я теперь был более или менее убежден, что кто-то в Глав-Сахаре вывозил из Москвы „бегунов" и они куда-то пропадали. Белая армия была еще очень далеко от орловских заводов, так что куда они девались, я никак не мог понять. Неужели по какому-то соглашению они примыкали к зеленым?

Все, что я видел, противоречило одно другому. Вопросы задавать даже Егорке было невозможно. „Чем меньше ты знаешь, тем лучше", – сказал Егорка. В Москве мы все это понимали. Я даже перестал гадать.

Вернувшись, мы ничего не делали, были на Рыбном, когда Загуменный приказывал, и были свободны остальное время. Кто-то другой охранял сахар. Атмосфера тоже переменилась. Июль начался большим привозом сахара, и все больше и больше „пополнений" отправлялись на Юг и в Киев. Затем вдруг „пополнение", посланное в Киев, вернулось с Брянского вокзала, и на следующий день человек 500 были отправлены в Южный полк. Настроение стало натянутое. Копков приходил на Рыбный каждый день, потом вдруг перестал.

Мы сидели на сахарной пирамиде, читая газеты, играя в карты и разговаривая о прошлом. В газетах были победы доблестной Красной армии над „шайками" белых разбойников все глубже и глубже в южной Украине. Появились замечания о каких-то шайках казаков, которые действовали уже не в Кубанской и Донской области, а в южной России. Их, конечно, всегда разбивали и уничтожали.

Я подружился с Вадбольским, который наконец перестал мне льстить после того, как однажды он мне сказал, что служил в „захудалом полку, вы об нем, вероятно, никогда не слыхали?"

– Захудалом? – спросил я. – 13-м Военного ордена драгунском полку, вы его захудалым называете?

Он перестал унижаться и оказался очень милый.

Мы сидели на пирамиде, когда разговор зашел о нашем штабе. Я как-то сказал, что Янковского я видел раньше, то есть до нашей поездки. Егорка как будто всполошился.

– Где ты его видел?

– Да когда я и Володя записывались, он меня обложил.

– Он тебя обложил? Да он на Рыбном никогда не бывает.

– Да я не на Рыбном записывался, а в Торговых рядах.

– Что тебя туда понесло?

– Как что? Там Глав-Сахар.

– Ну и чудак ты! Хочешь записываться в армию и к главнокомандующему лезешь!

– Да я не знал.

– Да ты, дурак, читать умеешь?

– Умею.

– Там написано ясно, русским языком: „записываться на Рыбном", а ты к самому главному комиссару полез, понятно, что он тебя обложил.

Все засмеялись.

– Я теперь понимаю, как ты и Володя к нам в специальный попали.

Я не объяснил, что я просто не посмел читать афишу. Подумал, спасибо Богородице, что меня туда направила.

Кажется, пять или шесть дней мы маячили на пирамиде. Все это время с соседнего двора грузовики увозили на вокзал по двести-триста человек в день.

– Откуда они все берутся?

– Да в Москве три миллиона человек живут, легко тысяч десять, двадцать набрать, харчи хорошие и вне Москвы дышать легче, каждый день более 300 и больше записываются.

– И Чека на них внимания не обращает?

– Да у нас тоже Чека сидит.

Однажды вечером Загуменный собрал нас в складе.

– Ребята, мы завтра едем, не на фабрику, а в Киев. Как, я еще не знаю. Отсюда в 12, в полдень точно. Теперь можете идти. Когда прощаться с вашими девками будете – как всегда, понимаете? Мы теперь не вернемся, но это им знать не нужно. Поняли?

Мы пошли. Егорка говорит мне:

– Ты лучше в десять сюда вернись, пайки подберем.

Простился и на трамвай, домой.

Нужно было сказать моим родителям, что уезжаю, вероятно, в последний раз. Моя мать приняла это спокойно.

– Конечно, это опасно, но по крайней мере в Москве не будешь, тут может стать опасней для молодежи.

Мой отец только сказал:

– Если проберешься в Белую армию, найди полковника Фелейзена, он со мной служил, там, наверно, конный полк сформировали.

Мать прибавила:

– Да, найди конный полк, там твоих двоюродных братьев много.

– Если они еще живы, – добавил мой отец.

Пробежал к Рысу. Он и Краковский были дома. Краковский теперь работал в архиве. Я его спросил, отчего он не запишется в Глав-Сахар?

– Не знаю, дорогой, тут плохо, я же жид, ты сам знаешь, в теперешнее время из сковороды в огонь. Подумаю.

Рысу Лундберг устроил место в свой комиссариат. По крайней мере, с голоду не помрут.

Самое трудное было для меня прощание с Настей. Я был так глубоко в нее влюблен, что не хотел ее оставлять.

На следующее утро все сидящие на пирамиде наши были очень молчаливы. Сидя рядом с Егоркой, я полушепотом его спросил:

– Как это, уже несколько дней нет проезда на Киев, а нас туда посылают?

Он пожал плечами:

– Не знаю.

– Да зачем в Киев?

– Там Западный полк.

Это я уже знал, но это ничего не объясняло. Что-то, как видно,

произошло. Если кто знал обо всем, так это Загуменный, но он ни слова не сказал.

В двенадцать подъехал грузовик, мы погрузились молча и поехали на Брянский вокзал. Тут стоял обыкновенный поезд, по сформированию товарно-пассажирский. За паровозом товарным „О" были пять теплушек, два вагона 3-го класса, один вагон 2-го, затем опять 2 вагона 3-го и теплушка. Вагоны были набиты. Двери второй теплушки были открыты, и были видны полати, железная печка и солома.

– Ну, ребята, это тебе не люкс, но мы к этому привыкли. Устраивайтесь, как можете, по крайней мере, соседей нет.

Мы погрузились. К моему удивлению, появился откуда-то Борис Шереметев.

– Ах, здорово, Николай! Я не знал, что с тобой еду.

– А ты куда?

– Да туда же, куда и вы.

Он никого из наших не знал.

– Как ты сюда попал?

– Да меня с Рыбного прислали. Говорят, вали на Брянский, быстро, там наша команда есть. Дали бумажку к какому-то товарищу Загуменному. Он здесь?

Я его повел к Загуменному. Тот на Бориса посмотрел с изумлением и спросил:

– Да вы откуда?

Борис что-то стал объяснять. Загуменный на него смотрел подозрительно. Я вмешался.

– Я его с детства знаю.

Загуменный меня отвел в сторону.

– Не нравится мне это. Я его не знаю.

– Он надежный, я за него ручаюсь.

– Ну, я ваше слово приму, но у нас этого раньше никогда не случалось.

Я подумал, странно, меня принял без разговора, а тут прислали из пополнений человека, а он на него искоса смотрит.

Поезд пошел. Меня удивило, что все молчали, совсем разно от нашей поездки на фабрику. Опять проехали дачные места, никто не говорил, только когда пошли поля и леса и деревни, все как будто проснулись.

Кто-то заголосил солдатскую песню, и вдруг все оживились. Поезд останавливался на каждой станции и полустанке. После Внукова чекистов на станциях, кроме Тихоновой пустыни, не было.

– Как это, говорят, повсюду тут зеленые, а поезд проходит?

– Да чего им останавливать, что из Москвы везти могут? Большинство из пассажиров свои. Москвичей тут нет, их бы дальше Внукова не пропустили. Там, ты сам видел, все документы проверяли.

– А нас даже не спрашивали.

– Не посмели бы. Их Загуменный бы к чертовой матери послал.

Так мы все-таки были какие-то привилегированные, хотя и в теплушке ехали.

К вечеру остановились на какой-то станции, кажется, Бабынино, не доезжая Сухиничей. Поезд почему-то поставили на запасной путь. Стало прохладнее, и мы слезли и развалились в густой траве. Хорошо было быть в деревне. Я был удручен прощанием с Настей и не мог представить себе будущее. Я в западной России никогда не бывал, и Киев для меня был что за границей. Там год тому назад хохлы какую-то независимую Украйну объявили.

На утро поезд пошел опять. Ночью мимо проходили какие-то поезда, с пушками на платформах. Постояли в Сухиничах и опять пошли. Часа через два переехали какую-то речку и остановились в лесу. Поезд стоял на низкой насыпи. Оказалось, что паровоз сжег все топливо. Остановился потому, что на опушке леса был склад дров, сажен десять. Машинист и проводной пошли выгонять пассажиров грузить тендер дровами. Мы слезли и стали помогать кидать дрова от одного к другому. Было очень жарко. Некоторые из наших разделись и стали купаться в речке.

– Это что, Десна? – кто-то спросил.

– Какая тебе Десна, смотри, куда бежит.

– Так что ж это значит, может повернуть.

– Ты дурак, Десна – река, а не ручей, она в Брянске.

– Так каждая река ручьем начинается.

Спор продолжался уже веселый.

Приехали в Брянск. Загуменный пошел к коменданту узнавать про поезд в Киев. Вернулся угрюмый.

– Этот поезд только „наверняка" до Навли доходит и то не наверно, сукины дети сами не знают. Говорят, зеленые повсюду, не пропускают.

Он стоял в задумчивости. После нескольких минут он собрал нас всех в кружок.

– Ребята, мы досюда доехали, нужно дальше ехать. Мы этого ждали и приготовились. Всем взводом мы никогда не проберемся. Вы сами знаете, как зеленые к большевикам относятся. Следовательно, нужно разбиться. По два вместе, без винтовок, по своей инициативе, и если у вас язык подвешен хорошо, пробраться можно. Трудно будет, но вы все деревенские. Я вас разделю попарно. Каким путем вы в Киев проберетесь, я не знаю, сами решайте. Я каждому дам командировку, будете ли ее употреблять, это от вас зависит, и дам вам денег, а там – с Богом!

Он дал каждому бумажку, на которой было написано, что мы были прикомандированы к Западному полку в Киеве, и запечатанный конверт. „Сейчас не открывайте." Затем стал разделять всех по-

парно. Я отчего-то был убежден, что он меня отделит с Егоркой, но когда дошел до меня, он вдруг сказал: „Волков, вы возьмете Любощинского”. Это меня ошеломило, но ничего не поделаешь.

Сдали винтовки интенданту, распрощались.

– Ты каким способом ехать собираешься? – спросил я Егорку.

– Не знаю, я с Загуменным, он решит.

Многие решили идти в город. Володя и я остались на платформе. Я оставил его сидеть на скамейке и пошел по платформе подумать. В конце платформы сидел какой-то старичок. Я к нему подошел и увидел, что это был старый еврей.

– Вы что, поезда ждете?

– Да жду, парснек, уже второй день.

– Да вы куда едете?

– Домой, молодой человек, домой, не должен был сюда приезжать.

– А это где?

– Конотоп.

– Да там, говорят, все зеленые.

– Да, молодой человек, от хутора Михайловского по самый Киев.

– Так поездов же нет, что ж вы будете делать?

– Не знаю, молодой человек, не знаю, вероятно, с голоду помру.

Из разговора я понял, что у него не было ни еды, ни денег.

– Подождите минутку, я сейчас вернусь.

– Я тут буду, куда же мне деваться.

Я пошел обратно к Володе. Посмотрел в свой мешок, там большой круглый хлеб, сало и сахар. Я разрезал хлеб и сало и черпнул кружкой сахар.

– Что ты делаешь?

– Да там старик сидит голодный.

Володя пожал плечами, он всегда подозревал, что я какой-то глумной.

– Я не знаю, вы, вероятно, сала не едите, но я во всяком случае принес.

– Ох, молодой человек, пророк Илия воронам не говорил, что ему принести. Спасибо вам, Бог меня простит.

Он с жадностью кусал кусок хлеба.

– А вы сами-то куда едете?

– Да в Киев, тоже не знаю, как туда попасть.

– Это не так трудно.

– Как не трудно?

– А вы поезжайте в Гомель, а оттуда на пароходе.

– В Гомель? Так это в другую сторону. Как я объясню чекистам, что я в Киев еду?

— Э, молодой человек, это просто. Вы поезжайте в Гомель к моему другу Борису Самойловичу Юшкевичу. Скажите, Шмуль Моршак из Конотопа послал. Он вас направит. Запоминайте адрес... — Он дал мне адрес.

Я открыл мой конверт и ахнул. В нем было на 500 рублей николаевками, рублей на 200 керенками и 300 рублей советскими. Я посмотрел на них с удивлением. Потом вынул 25 рублей: николаевку, несколько керенок и советских, и дал старику.

— Зачем вы мне это даете?

— Как зачем, у вас же денег нет?

— Ах, молодой человек, вы зря это делаете.

— Так вы же мне помогли.

— Не за плату помог.

— Это все равно, может вам будет легче домой добраться.

Я с ним распростился и пошел обратно к Володе.

— Мы в Гомель едем.

— В Гомель? Почему в Гомель? Это же совсем не в направлении на Киев.

— Потому что я так решил.

Я всегда боялся, что Володя будет спорить, когда решение нужно будет принимать немедленное. Решил сразу его приучать делать то, что я говорю.

Пошли в кассу узнать о поездах. Кассир — маленький человечек в пенсне, посмотрел на меня без интереса и спросил:

— Поезд в Гомель? Зачем вы в Гомель хотите?

— Потому что я туда еду.

— Да там только жиды живут.

— Мне все-таки туда ехать нужно.

— Почему вы в Смоленск не проедете?

— Просто потому, что мне в Гомель надо.

— Не понравится, в Могилев, может быть?..

— Да когда поезд в Гомель?

— Ну, если вы решили, первый уходит в 3:15.

Чудак какой, чего он время тратит? Пошли искать поезд, уже почти что 3 часа. На запасном пути стоит поезд с паровозом, пустой, показалось. Прошли мимо вагонов — никого не видать. Странно, подумал я, пустых поездов давно не видал. Спросил у машиниста.

— Да, в Гомель идем.

— Чего никого в поезде нет?

— Как видно, ехать никто не хочет.

Пошли обратно к вагону 1-го класса. Володя говорит:

— Наши пропуска на 3-й класс.

— А кто нас спрашивать будет?

— А если спросят?

— Так скажем, что мы из Глав-Сахара, всегда первым классом ездим.

– Так это неправда.

– Я знаю, что неправда, но они поверят.

Проходя по коридору, заметили какого-то типа в одном из купе. Он был лет сорока, в рясе, но почему-то в синей фуражке. Прошли, уселись.

Неужели правда в Гомель никто ехать не хочет, или это наш кассир всех отговаривал? Я велел Володе пойти спросить этого типа, правда ли, что поезд идет на Гомель. Володя ушел. Я разлегся на удобном диване и стал перебирать в голове, что произошло со мной с тех пор, что я приписался в Глав-Сахар. Было столько противоречий, что картины ясной не складывалось. Во-первых, верхушка Глав-Сахара были коммунисты. Но правда ли это? Может быть, Копков не был. Но в таком случае, неужели же чекисты это не заметили? Я был совершенно уверен, что у Глав-Сахара было какое-то условие с зелеными. Что многие из тех, которые будто бы были убиты, примыкали к зеленым. Но, как видно, это союзничество было только местное. Ясно было, что зеленые Полтавской, Киевской и Черниговской губерний ничего общего с Глав-Сахаром не имели. Может быть, я угадал правильно. Большевикам нужен был сахар, появилась организация, которая его доставляла, и потому Чека закрывала глаза на в сущности безвредные отъезды из Москвы нескольких тысяч подозрительных типов, которых, вероятно, расстреляют зеленые.

В нижнем эшелоне были свои загуменные, вероятно, их было много. Они действовали, как всякие хорошие дисциплинированные солдаты. Ясно, что, будучи крестьянами, они большевиков не любили, но как солдаты – выполняли то, что им приказывали. Тем не менее, у них было какое-то соглашение с кем-то выше.

Егорка отказывался много говорить про 5-ю Кавалерийскую дивизию, в особенности про александрийцев и литовцев. Но все же Егорка сказал как-то, что Загуменный, Болотников, Махров и он – все были в одном полку. Вероятно, или гусары, или уланы. Он как-то заметил, что „почти все наши”, то есть вся специальная команда, за исключением Вадбольского, Языкова, Володи и меня, были из того же полка. Может, Копков был один из них?

Как видно, так называемое „пополнение” было просто из „бегунов”. Меня забавляло то, что я уже несколько недель был в Глав-Сахаре, но никогда не видел сбора пополнения. Они будто бы были в соседнем дворе. Видел их только, когда они появлялись на вокзале. Человек 500 нелегко спрятать. Почему сахар привозили на наш двор, в склад не клали и от нас забирали какие-то грузовики?

А затем, что могло значить: „Мы курочку в курятник заперли”? Во всяком случае, отчего мы, „конвой” штаба, вдруг ринулись в Брянск, разбились на пары и зачем-то едем в Киев? С этого момента мы почему-то вышли из под зонтика Глав-Сахара. Неужели было так важно, чтобы мы добрались до Киева? Последнее, что сказал

мне Загуменный: „Ну, Волков, вы деревенский и, я заметил, не дурак, вам придется все силы напрячь и пробраться в Киев. Мы там все встретимся. Если вы проберетесь, найдите Глав-Сахар на Анненской, они вас направят."

Я подумал: чем я могу быть полезен? Слышал, в Западном полку в Киеве более шести тысяч, разве еще двое могут быть важны?

Вдруг вернулся Володя, полчаса его не было, и привел с собой типа. Он представился, не помню его имени.

– Я с вашим другом разговорился, очень интересно, такой ученый человек.

Мне сразу этот тип не понравился, чего это Володя с ним разболтался?

– Вы, – говорит, – в Гомель едете зачем?

– По делам.

Я надеялся этим кончить разговор, но он махнул в философию. Мы вдруг оказались на Льве Толстом. Он стал говорить о Толстом как о пророке, „вы его разве не боготворите?".

– Я никак такое слово к Толстому прицепить не могу. Он написал великолепные „Войну и мир" и „Анну Каренину" и плел невероятную ересь в своем „Евангелии".

– Как вы можете так о Льве Толстом говорить, это богохульство!

– Вы что – толстовец?

Он был слишком шокирован, чтобы продолжать.

– Судя по вашей рясе, вы монах, и православный, я бы думал, что лицемерие Толстого вы не должны уважать.

Он был так ужален моим мнением о Толстом, что не мог найти слов.

– Вы, между прочим, куда едете?

– В Новозыбков, – он встал и ушел к себе в купе.

Бедный Володя краснел за меня.

– Ты его обидел, он такой интеллигентный человек...

– Ты прав, он интеллигентный, но ведь чепуху несет о Толстом...

Я думал: как отучить Володю от слабости распространяться с каждым встречным и пробалтывать все наши планы? Он сам был милый и простой и почему-то считал, что если человек „культурный", то тем самым уже и надежный. Он мне твердил, что боится с крестьянами говорить, не знает, о чем.

– Они говорят иным языком!

– Ерунда! Ты просто смотришь на них сверху вниз. А большинство крестьян гораздо интеллигентнее твоих „культурных": они шевелят своими собственными мозгами, а не заемными от твоих ученых философов.

Володя определенно считал меня каким-то чудаком. Мне это

было безразлично. Единственное, что я от него тогда хотел, — чтобы он меня слушался беспрекословно.

Удивительно, что на станциях почти никого не было. Странная эта часть России — с железной дороги деревни редко видать, лес хороший, но какой-то неприсмотренный, точно тайга. Может быть, это „Брынский лес" Загоскина? Переехали Десну. Володя дулся, обиделся на меня, не хотел разговаривать. Я решил устроиться спать и скоро заснул.

Проснулся в темноте. Стояли на какой-то станции. Я высунулся в окно — Унеча, никогда не слыхал. Паровоз пыхтит, а никого на платформе нет. Подумал, население тут жидкое. Меня беспокоила наша поездка в Гомель. Вдруг друг Моршака, господин Юшкевич, нас не признает, что мы будем делать в Гомеле? Я себе представлял Гомель как что-то вроде большой Пустошки. Пустошка была чисто еврейским местечком, там жили только правоверные евреи. Когда наша коляска проезжала от станции на шоссе, стук колес вызывал старых евреев, они открывали окна и высовывались, с какими-то коробочками на лбу и с длинными пейсами. Там, по крайней мере, все знали, кто я — внук моего деда, — а тут отчего евреи будут помогать какому-то красноармейцу?

Поезд опять пошел, прошел верст пять и остановился на насыпи в лесу. Жарко было в вагоне, я вышел на платформу и сел на насыпь. Ночь была темная, жаркая и душистая, где-то был месяц, но он уже садился. Я прислушался, недалеко цокал соловей. Кто-то, шагах в двадцати от меня, кашлянул. Я посмотрел налево, разобрал фигуру, сидящую, как я, на краю насыпи. Он курил, видно было конец тлеющей папироски.

— Поздновато соловьям распеваться, — сказал он глубоким голосом.

— Да, поздно, а там второй.

— Мм... бывает.

— А вы что, местный?

— Да, только давно дома не был. Я черниговский, а вы откуда?

— Я смоленский.

— А... А я в Вязьме служил до войны. Бывали там?

— Вы что, в армии были?

— Да.

— В Третьем тяжелом дивизионе?

— А вы его знаете?

— Да, я из-под Вязьмы, знал Зайончковских.

— Да Зайончковский-младший командовал моей батареей.

— Так вы что, в плену были?

— Да, четыре года сидел, приехал домой, арестовали, только недавно вот выпустили.

В темноте мы друг друга не видели и потому говорили свобод-

но. Он мне рассказал о своей деревне. Не знал, что там произошло, уже третий год ни от кого не слышал, не знал, жива жена или нет. Много таких тогда в России было.

Паровоз дал хриплый свисток, я полез обратно в поезд. Прилег и заснул. Проснулся, уже было светло, подходили к какой-то станции. „Новозыбков! Новозыбков!" – кто-то кричал на платформе. Я разбудил Володю:

– Пойдем в буфет, станция кажется большая, может чаю найдем.

Люди на платформе говорили громко. Не похоже на советскую станцию. Бабы сидели, прислонившись к частоколу, а у ног их – корзинки, полные черными вишнями, галушками, пирожками из-под чистых белых салфеток. Вошли в буфет и остолбенели. На прилавке стоял самовар, из которого тонкой струей подымался пар. Но что поразило нас – на блюде, под стеклянным колпаком, были навалены пирожные, эклеры, покрытые шоколадом и розовым сахаром, наполеоны слоеные с битыми сливками... Наши глаза не отрывались от этого колпака.

– Это что, настоящие? – спросил я буфетчика в чистом белом переднике.

Он посмотрел с удивлением сперва на нас, потом на колпак:

– Как настоящие?

В Москве, в советских лавках за стеклом, кроме маленьких бутылок с разноцветной жидкостью, на которых было написано „земляничный" или „ананасный" сироп (они были не для продажи, просто украшали окна), иногда были еще пирожные, сделанные из разноцветного картона.

– Да их есть-то можно?

Буфетчик посмотрел пристально на пирожные, как будто боялся, что они превратятся во что-то другое.

– Да для чего ж они сделаны?

– Они для продажи?

Буфетчик решил, что мы рехнулись. Развел руками:

– Да вы что, пирожных не видали раньше?

– Уже два года не видели.

– Да вы откуда же?

– Из Брянска. – Я не хотел сказать, что из Москвы, чтобы его не напугать.

– Ну тогда понятно, там большевики.

– А у вас их что – тут нет?

– Да наехала сволочь, но не смеют показываться.

Я спросил, сколько пирожные стоят, и положил на прилавок советские деньги.

– Эти, брат, тут не ходят. Украинки есть?

– Нет. А керенки возьмете?

– Ну это еще туда-сюда.

Мы купили по эклеру и наполеону.

– Они действительно настоящие, и чай настоящий! – сказал Володя с удивлением.

Вышли на платформу, пирожками пахнет.

– Что, сынок, хочешь гречишные с грибами или мясные?

Купили и тех и других, да и вишен, тоже на керенки.

Стояли долго. Ждали поезда из Новгорода-Северского. Пришел наконец, почти что пустой. Разговорились с крестьянином.

– Э, братец, мы тут недавно под большевиков попали. Были немцы и украинцы, заграничная мразь, но и то лучше жилось, нас не трогали, да и все было. Пришли наши, точно тати какие-то. Стали притеснять... Ну, мы их по морде тут бьем. – И расхохотался.

– А в Гомеле что? они там сидят?

– Ну, Гомель другое дело, то город большой, там сволочи много.

Вернулись в вагон. Нехорошо мне все это показалось. Подумал, не лучше ли нам тут слезть... А дальше что? Я географию здешнюю не знал, куда из Новозыбкова идти? Да еще примут за красных, морду набьют. Нет, лучше ехать в Гомель.

Поезд наконец пошел. Я сидел у окна. Какая-то река, человек в лодке удит, на той стороне стадо коров, все как будто в старое время, а что на самом деле? Какой-то остров – не красный, не зеленый... может быть, и то и другое, захолустье, где друг друга по морде бьют. У меня сердце сжималось, когда я думал о Гомеле. Полтора дня на свободе, без постоянной опасности, и я уже отвык от брони, в которой все время был, и она защищала меня, в советской России.

Наконец появились предместья. Посмотрел на Володю, вижу, он не беспокоится.

– Послушай, в Гомеле Чека, я не знаю, что произойдет. Пропуски наши на Гомель, а едем мы в Киев, это как „мимо Киева в Торжок". Нам никто не поверит.

– Я не понимаю, при чем тут Торжок?

– Брось! Торжок я просто к слову. Если что скажу или махну, делай, что я говорю, сразу, не препирайся, понял?

– Да почему же ты вдруг будешь приказывать?

– Не знаю, только делай то, что я говорю, сразу, понимаешь?

Володя пожал плечами. Этого ли я больше всего боялся?

Поезд подошел к станции, у меня сердцо екнуло. На платформе попарно расхаживали чекисты. Мы прошли в третий класс. Вылезать из первого класса показалось бы подозрительным. Как только слезли, появились чекисты:

– Ваши документы!

Я вытянул документы, как будто все было в порядке.

– Зачем вы сюда приехали?

– Да нас брянский комендант сюда послал.

– Отчего?

– Потому что нет поездов из Брянска в Киев.

– Почему нет?

– Потому что линия от хутора Михайловского до Киева занята зелеными.

– Это вы врете, никаких зеленых нет.

– Да позвоните коменданту брянскому, спросите.

– Вы все врете.

Я вдруг решил попробовать блеф.

– Да товарищ, отсюда железная дорога идет на Бахмач. Мы туда могли бы проехать, а оттуда на Киев.

– В никакой Бахмач вы не поедете, туда поездов нет, обратно в Брянск.

– Ну хорошо, когда следующий поезд в Брянск?

– Завтра.

В этот момент нам посчастливилось. Второй чекист заспорил с кем-то, и наш чекист повернулся, протянув руку с нашими документами. Рядом была толпа. Я лягнул Володю, указал на толпу, выхватил документы и мы нырнули. Кто-то кричал, но мы уже потерялись в толпе. Впереди была площадь, подводы, люди ходят. „Встреть меня в той улице", – махнул я Володе и нырнул за подводу.

Запыхавшись, мы оба встретились за углом.

– Молодец, видишь, как быстрое исполнение приказа вывозит.

Володя только улыбнулся.

Теперь нам нужно было найти улицу, на которой жил Юшкевич. „Сними красную звезду, иначе мы всех напугаем." Жители были очень учтивы, и мы скоро нашли дом. Он стоял за изгородью в фруктовом саду. Мы вошли в ворота и подошли к крыльцу. Я был неуверен. Бог его ведает, может, Юшкевич нас не примет, тогда что?

Постучали. Долго никто не отвечал. Вдруг послышался испуганный голос женщины:

– Кто там будет?

– Нас прислал Шмуль Моршак из Конотопа к Борису Самуиловичу Юшкевичу.

За дверями какой-то шепот. Вдруг дверь приоткрылась и за ней появилось круглое лицо еврея.

– Вы говорите, Шмуль Моршак?

– Да, мы его на платформе в Брянске встретили.

– Ах, входите тогда, входите, все друзья Шмуля мои друзья!

Мы вошли в светлую горницу, перед нами стоял толстый маленький еврей и толстая маленькая еврейка, оба лет 50-ти. Они оба улыбались и приглашали нас в соседнюю комнату.

Я попробовал объяснить Юшкевичам, как мы к ним попали. Не зная их, я не смел признаться, что мы красноармейцы, и боялся сказать, что мы бежим из Москвы. К счастью, Борис Самуилович не

спрашивал деталей и принял как старых знакомых. Сара Исаковна куда-то исчезла и минут через двадцать появилась со всякими угощениями, накрыла стол, и тут вдруг появилась высокая, стройная девица, несшая самовар. Борис Самуилович ее представил: „Ах, дочка моя, Раиса." Раиса тут же покраснела, ни слова не сказала и скоро исчезла из комнаты. Я заметил только, что у нее было легкое косоглазие, которое то появлялось, то исчезало. Во время еды она не показывалась.

Юшкевичи не могли быть более гостеприимными. И в конце еды мы уже разговаривали совершенно свободно. У них, оказывается, был сын, студент Киевского университета. Когда пришли большевики, они осадили университет. Сын как-то выбрался и вернулся домой. Здесь с друзьями он сразу попал у большевиков в опалу, потому что они ночью украсили статую графа Румянцева венками. Кто-то на них донес, они должны были бежать. Сын их бежал в Могилев и надеялся пробраться в Польшу.

Я наконец дошел до дела, касающегося нас. Мы должны были добраться до Киева. Господин Моршак сказал нам, что ходят пароходы из Гомеля в Киев. Как на них попасть? Мы уже были в стычке с чекистами на вокзале. Борис Самуилович охал и ахал, но в конце концов сказал, что он это может устроить.

– Вам, господа, нужны „фаршированные" документы, с новыми именами и местожительством где-нибудь под Киевом.

Я заметил, что это все великолепно, но несчастие в том, что ни я, ни Володя никогда в тех местах не были и что, если нас будут расспрашивать о, скажем, Белой Церкви или Фатеже, мы ответить ничего не сможем.

– Это ничего, есть места, где ничего нет примечательного, просто улицы и дома, как везде.

Я решил оставить это все Борису Самуиловичу. Но это возьмет дня два-три. Я тогда попросил устроить нас куда-нибудь – мол, деньги у нас есть и мы сможем заплатить. Он и слышать не хотел.

– Да что вы, молодые люди, разве вам тут неудобно? Вы меня и Сару Исаковну не будете обижать, мы вас тут приютим, места у нас много, дом большой, и никаких денег нам не надо. Вы наши гости.

Я его поблагодарил. Уютно тут было и хорошие люди.

Володя, как всегда, завел с Борисом Самуиловичем какой-то философский разговор. Я вышел в фруктовый сад. Хорошо тут было, прохладно под большими яблонями. Сад оказался большой. Я должен был нырять под раскидистыми ветвями, которые были покрыты множеством яблок.

Вдруг я почти что наткнулся на Раису Борисовну. Она сидела на траве, читая какую-то книгу.

– Ах, простите. Тут так хорошо в саду, так тихо, только пчелы жужжат.

Она испуганно подняла на меня глаза.

– Да, тут хорошо в тени.

– Разрешите мне присесть, я давно уже в таком саду не сидел.

– Конечно, садитесь, – и покраснела еще глубже.

– Что это вы читаете?

– Роман Чирикова.

Наш разговор был отрывистый, она отвечала на вопросы несколькими словами. Она была очень привлекательна, лет может быть 25-ти, прекрасно сложена. Легкая косоглазость как-то прибавляла ей шарму. Разговор наш перешел на литературу. Она мало-помалу перестала краснеть и начала говорить гораздо свободнее. Мы говорили о Пушкине, Баратынском и Блоке. Я сидел против нее, и, чем больше я на нее смотрел, тем более она мне нравилась.

Она стала мне рассказывать о времени ее гимназии... Я спросил, много ли молодежи осталось в Гомеле и что они теперь делают? Она вдруг отвернулась.

– Да... нет... я никого не вижу теперь.

Не думая, я спросил:

– Почему?

Она посмотрела на меня секунду, и слезы потекли у нее по щекам.

– Ах, простите, Раиса Борисовна, я никак не хотел вас расстраивать. Простите, пожалуйста!

Она прикрыла свое лицо руками и стала плакать. Меня это страшно огорчило, я вскочил, сел с ней рядом и положил руку на ее плечо.

– Пожалуйста, не плачьте, я никак не хотел вас расстраивать... – и как дурак прибавил: – Вы такая привлекательная, простите меня.

Вместо того, чтобы успокоиться, она теперь рыдала. Я не знал, что делать. В панике я ее обнял, и она зарыла свое лицо в моем плече. Совершенно уже потерявшись, я сказал:

– Раечка, милая, скажите, как я вас обидел?

Не поднимая головы, она пробормотала:

– Вы меня совсем не обидели, это не ваша вина.

Никогда еще я не был в таком положении и понятия не имел, что делать дальше. Вдруг она перестала плакать, подняла заплаканное лицо и сказала:

– Это не ваша вина, что я косая.

– Вы косая?! Я этого даже не заметил, у вас легкий перекос, который вас делает еще более привлекательной.

– Вы мне льстите.

– Ей-Богу, не льщу. Это правда!

В первый раз она посмотрела мне в глаза.

– Когда вы вошли в комнату, первое, что я подумал, вот красивая девица. Я же проезжий, зачем я буду вам льстить, мы, может,

никогда не увидимся опять, а сейчас, когда вы расплакались, я хотел вас обнять и расцеловать, какая же тут лесть?

В первый раз она улыбнулась:

— Я только могу вам принести несчастие.

— Отчего?

— Потому что я косая.

— Вот ерунда!

Я был тронут, что она не пробовала вывернуться из моих объятий.

— Нет, не ерунда. У нас говорят, что косые приносят всем несчастье.

— Я никогда такой ерунды не слышал, да вы даже не косая, и как косость может принести несчастье? — совершенно непонятно.

— Ну, тут в это верят, и со мной никто не хочет встречаться.

— Это такая глупость, вот я вам докажу, — и поцеловал ее в губы.

Она на меня уставилась большими открытыми глазами.

— И вы не боитесь?

— Боюсь чего? Поцелуя красивой девицы?

Она на меня долго смотрела с изумлением.

— Меня никто никогда не целовал, а мне уже 26 лет.

— Чтоб доказать, что это чепуха... — я ее обнял, прижал к себе и опять поцеловал в губы.

Она вдруг заплакала опять.

— Я принесу вам несчастье, я это знаю...

— Чепуха, это местное суеверие, поверьте мне, Раиса, дорогая. Мне теперь нужно все возможное счастье, чтоб пробраться в Киев, если бы это суеверие имело какую-нибудь почву, поцеловал бы я вас? — Я спохватился. — Простите, ради Бога, я вдруг стал называть вас Раисой, без отчества.

— Я очень рада, вы первый, который от меня не отшатнулся. Может быть, это переменит мое счастье.

— Я только могу сказать, что ваша молодежь здесь — дурье. Красивая, привлекательная барышня, и от нее отшатываются! Мне только жаль, что я должен отсюда уезжать!

Она совсем успокоилась, уселась по-прежнему, и мы стали говорить уже без робости о ее жизни, о будущем.

— Я знаю, вы вероятно не хотите ваших родственников оставлять, но вы должны отсюда уехать туда, где нет этого суеверия, выйти замуж и вырастить свою собственную семью.

Она повеселела, стала смеяться и шутить.

Когда мы вернулись в дом, Володя был углублен в какую-то книгу, а Бориса Самуиловича не было, ушел в город.

Возвратившись, он сказал, что заказал у знакомых наши новые, „фаршированные" документы. Раиса засмеялась: „папочка, фаршируют только курицу и кабачки". Борис Самуилович посмот-

рел на нее с удивлением. „Знаю, душечка, знаю.” Как видно, удивлен был ее смеху.

Юшкевичи нам дали каждому чудную комнату, моя смотрела в сад. Спать наконец между чистыми и свежими простынями было замечательно. Давно я так не спал. Гостеприимству Юшкевичей не было конца. Сара Исаковна расспрашивала, что каждый из нас любит есть. Борис Самуилович вытаскивал всякие книги для Володи. Раиса, теперь веселая и не застенчивая, бегала со мной по саду, ища спелых яблок. Я вдруг почувствовал, будто я опять в Вязьме, в гимназии, и наслаждаюсь жизнью. Москва и последние два года были каким-то миражом.

Из дому мы, конечно, не выходили и в городе не были, но то, что я видел по дороге к Юшкевичам, могло быть в любом великорусском провинциальном городе.

Я все же беспокоился, вспоминая нашу цель. До Киева пароходом 550 верст. Борис Самуилович говорил о восстании крестьян вокруг Чернигова и по ту сторону Днепра. Что если зеленые не пропустят пароход в Киев?

Может быть оттого, что мы были чужие и этим прервали их обыкновенную рутину, Юшкевичи были теперь веселые. Борис Самуилович рассказывал много о прошлом. Он был делец, покупал и продавал кожу. Не зная этой части России, я его спросил о погромах. В нашей части России еврейских погромов никогда не было. Евреи считались русскими, как и татары, и цыгане. На Украине и в Польше дело было другое. Там евреев было много. В Гомеле, например, из 100 тысяч населения 65 тысяч были евреи. В Бердичеве и Виннице, Борис Самуилович рассказывал и смеялся, – „православные, если видят друг друга на улице, переходят и руки жмут, так редко они попадались”.

Я его спросил, отчего случались погромы. Он сказал:

– Да об этом больше говорят, чем случается. Про Польшу я не знаю, но у нас это все из-за урожая.

– Как из-за урожая?

– Да это просто. Если урожай хороший, цены на зерно падают. Скупают всю пшеницу евреи, они зерном торгуют. На следующий год урожай не такой хороший, может быть. Цены должны подниматься, а торговцы говорят: „У нас с прошлого года много пшеницы осталось, нам ваша пшеница не нужна.” – „Как, – говорят, – не нужна?” – „Да так, мы, чтобы вам помочь, возьмем ее дешевле, чем в прошлом году”. Мужики говорят: „Вы нас надуваете!” А они говорят: „Не хотите продавать – не нужно!” Ну, мужики злятся, напиваются и идут бить евреев.

– Да что же полиция делает?

– Ну что полиция может сделать? В Дарнице 15 тысяч евреев живет, а всего 4 полицейских. Что они могут сделать против 400 пьяных мужиков?

— Да могли же откуда-нибудь больше полицейских прислать?

— Да посылают, но к тому времени мужики уже стекла побили, пуховики распороли и кому-нибудь морду набили. Вот вам и погром!

— Да говорят, многих евреев убивают и дома жгут.

— Э, вы только в газетах это читаете.

— Разве это не правда?

— И правда, и не правда, бывали случаи, где кого-нибудь убили и дом чей-то сожгли. Но я никогда не слышал, чтоб даже в больших погромах больше шести человек пострадали. Евреи тоже драться умеют.

Меня это поразило. Я всегда думал, что в погромных беспорядках много евреев погибало. Отчего ж тогда газеты их так раздувают?

— Ах, милый Николай Владимирович, неужели вы евреев не знаете? Мы хорошие публицисты. Мы вот не любим в армии служить, так мы за границу убежим, где набора нет, а там говорим, что мы от погромов бежим. И там нас принимают, говорят, в России всех евреев бьют. А вот теперь, может быть, и действительно побьют. Мы же капиталисты.

— В таком случае я не понимаю, отчего столько евреев было среди социалистов и разных революционеров?

— И это просто. Никто не думал, что революция до большевиков дойдет. Все думали — получим свободу, — а не так вышло.

Как ни странно, это было то же, что Рыс и Краковский мне говорили, а я им не верил.

На третий день Борис Самуилович вернулся с новыми документами. Я превратился в Ивана Кашкина, а Володя в Петра Голенко, оба были из местечка Бровары. Пароход уходил на следующий день в 2 часа.

На меня вдруг нашло уныние. Я сперва не понимал, отчего. До этого времени я горел доказать Загуменному и Петру Арапову, что у меня есть инициатива и что я, несмотря на все препятствия, проберусь в Киев. Теперь мне вдруг стало безразлично. Я попробовал это себе объяснить и понял, что как-то не заметил и влюбился в Раечку. Я подумал: какая ерунда, я же влюблен в Настю. Неужели я так непостоянен, что за неделю второй раз влюбился? Я старался себя убедить, что на самом деле влюблен только в Настю. Но может, можно быть влюбленным сразу в двух? Ответа я не нашел, но пришел к заключению, что дело не во мне, а просто вокруг все менялось так быстро, и будущее было совсем, совсем неизвестно, — и оттого я любил всех привлекательных женщин.

Борис Самуилович и Сара Исаковна наотрез отказались взять за наш постой и цену новых документов:

— Да Николай Владимирович, как вы можете об этом говорить? Вы наши друзья, неужели вы нам не позволите вам помочь?

На следующий день мы должны были оставить этот приютный уголок и милых людей. Вечером, когда мы разошлись, было уже поздно, а я никак не мог уснуть. Я уселся у открытого окна в сад, передумывая все наши приключения и сумрачно гадая о будущем. Я, вероятно, просидел часа два, когда вдруг услышал скрип двери. Повернулся, в темноте стояла белая фигура.

– Николаша, я пришла с вами проститься, завтра при всех я не смогу.

Раечка протянула мне руки, и я ее обнял.

– Я пришла вас поблагодарить за все, что вы сказали.

– Да что же я сказал, чего бы вы сами не знали, это все ведь правда. Я не хочу от вас уезжать, но необходимо.

– Оставайтесь, поездка очень опасная, и красные, и зеленые. Мы за вами тут будем смотреть, я буду.

– Раечка, душка, это бы замечательно, но это невозможно.

Мы долго говорили, я ее старался убедить пробраться в Киев, где никаких суеверий. Она плакала и смеялась, и оставила меня только когда стало светлеть.

Юшкевичи решили проводить нас на пароход. Перед выходом Сара Исаковна попросила меня на кухню. Она приготовила для нас еды по крайней мере на неделю. Но оказалось, позвала не для этого. Она заплакала, обняла меня и сквозь слезы сказала:

– Спасибо вам за Раечку!

Я сперва не понял:

– Почему?

– Вы ее совершенно переменили, она теперь смеется.

– Сара Исаковна, это просто случай. Если она переменилась, то это... я верю в чудеса, она замечательная девушка, красивая, милая, у нее прекрасное будущее...

– Не говорите, спасибо вам все же, вы ее убедили.

Я был страшно тронут, и сердце у меня заныло – их, и в особенности Раечку, оставлять.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

В ЦАРСТВЕ ЗЕЛЕНЫХ

ОЛЕШНЯ

Мы заранее пробрались через город малыми переулками. На набережной было много народу. Ходили, сидели на узлах группами. Пароход у пристани был крупнее, чем я ожидал. Сходни уже стояли, но два милиционера никого не подпускали к ним.

Борис Самуилович с женой и Раечкой нашли какую-то группу, половина была евреи, и мы примкнули к ним, сев на ящики. Прошел почти час. Вдруг толпа стала подыматься и двинулась к сходням. К испугу своему, я увидел группу чекистов, стоявших у сходен и, как издали мне показалось, проверявших документы.

Я возбужденно заметил это Борису Самуиловичу. Он сказал: „подождите, посмотрю", и нырнул в толпу. Скоро он вернулся: „не беспокойтесь, здесь к этому привыкли". Я не понял, при чем тут привычка. Мы двигались медленно, и толпа становилась все тесней и тесней.

Борис Самуилович сказал, что пора прощаться. Это было тяжело. Я вновь разблагодарил Юшкевичей. Мы все расцеловались, Сара Исаковна и Раечка плакали, и даже у меня слезы появились на глазах. Раечка меня обняла и всхлипывала. Тяжело было на сердце.

Но тут какой-то спор и крики начались в толпе, чекисты бросились туда, как видно, разбирать, что случилось. Тогда человек двадцать ринулись на сходни, и все крутились там, как будто кто-то хотел пробраться на пароход, а другие толкались, чтобы слезть, — в этот водоворот ныряли люди и исчезали. Как только чекист появлялся у сходен, суматоха начиналась где-то в толпе, чекист опять кидался ее угомонять, и больше народу перло на сходни.

Так и мы оказались на пароходе. В конце концов, по-видимому все, кто хотел, были на палубе, сходни спустили, и минут через пять пароход отчалил. Толпа на набережной продолжала кричать и крутиться. Чекисты стояли как будто в недоумении. Очень медлен-

но пароход отошел, и толпа на набережной сразу рассыпалась. Мы пробрались к перилам. Юшкевичи стояли уныло, отдельно и махали. Через несколько минут их уже не было видно.

Мы перешли на другую сторону. Высоко на обрыве стоял большой дом, полуразвалившийся, перед ним – конная фигура памятника.

– Кому это памятник? – спросил я соседа.

– Это князю Паскевичу.

– Это не Паскевичу, а Понятовскому. Дворец был Паскевича, – перебил кто-то другой.

Завязался спор. Я так и не понял, как Паскевич и Понятовский оказались в Гомеле.

Когда мы отплывали, мне казалось, что на палубе столько народу, что и сесть будет невозможно. Но я ошибся. Все расселись на своих узлах, группами. Мы с Володей сели спиной к борту.

Скоро пошли леса и заливные луга. Табуны лошадей и стада коров кормились на лугах. Но что меня поразило: не видно было деревень по берегам. Может быть, Сож сильно разливался.

Прошел час или больше. Все на палубе были крестьяне. Вдруг появился очень высокий маститый старик с белой бородой. Я заметил, что он ко всем нагибался, спрашивал что-то и проходил дальше. Дошел до нас.

– Вы куда, парни?

– В Бровары.

– Это что под Киевом?

– Да, под Киевом.

– Если что, смотрите на меня, я на середке по ту сторону буду, – и прошел.

– Что он тебе сказал? – спросил Володя.

– Не знаю, сказал – если что, смотреть на него.

– Да что это значит?

– Понятия не имею, но как видно важно.

– Кто он такой?

– Да как я могу знать, наверно, зеленый.

Володя испугался:

– Так мы от него подальше должны держаться!

– Совсем нет, наоборот, если он зеленый, да нас примет – так слава Богу.

Я это сказал, чтобы успокоить Володю, но сам был не так уверен. Борис Самуилович говорил, что по Сожу и по Днепру все зеленые. Если это так, то все эти крестьяне с их бабами и ребятишками – зеленые? На верхней палубе, над каютами, иногда появлялись красноармейцы. Стало быть, охрана парохода красная, а пассажиры зеленые? Ясно было, что нам лучше примкнуть к зеленым.

– Подожди здесь!

Я встал и, медленно пробираясь между ногами сидящих, по-

шел к носу корабля. Одет я был, как все остальные, — в полувоенную форму, это теперь стало национальной одеждой России. На меня никто не обращал внимания. Добравшись до носа, я повернул и стал пробираться по обратной стороне. Мне хотелось посмотреть, где сидит старик. Нашел его в группе крестьян и баб, как он и сказал, посередине. Немного подальше, спиной к каютам, сидели три девки. Одна из них — миленькая и бойкая. Я остановился, посмотрел на нее и улыбнулся.

— Да ты что на меня глазеешь, девок раньше не видал?

— Видал, много, но ты красивая.

— А ты что, любишь девок?

— Конечно, люблю.

— Да что ты стоишь тогда? Подсаживайся. Как тебя зовут?

Я минуту подумал и вспомнил:

— Ванька, а тебя как?

— Анютка. Посторонись, Фенька, пусти сесть.

Я устроился между Анюткой и Фенькой, и разговорились. Они были из какой-то деревни Олешня, ехали в Любеч. Ездили в Гомель с вишнями и черешнями. Я спросил Анютку, кто этот старик, которого видно было от нас.

— Ах, это дядя Аким, он наш староста.

Я ей объяснил, что еду в Бровары под Киевом и что со мной приятель Петя.

— Так приведи его сюда. Может с Фенькой сидеть.

— Да это не так просто, он застенчивый, девок боится.

— Да Фенька сама робкая, два сапога пара.

— Ну, я пойду его спрошу.

Я знал, что трудно будет Володю убедить. Володя побелел от страха.

— Да что ты, с ума сошел?! Как я буду с незнакомой барышней говорить, я ее не знаю.

Я разозлился.

— Да брось ты свои претензии! Говорить-то ты умеешь!

— Да, но я не знаю, о чем с ней разговаривать.

— Ну говори о погоде, о цветах, о чем хочешь, но перестань жеманиться!

— Ну хорошо, но ты мне помогай.

— Помогу, она тоже робкая.

Взяли вещи, пошли. Уселись. Анютка забавная, слов не жалеет. Я напомнил Володе, что он „Петя”, и сказал: „Поменьше говори о нас.” Они с Фенькой больше молчали, но иногда перекидывались несколькими словами. Заметил, что и Фенька, и Володя краснели от разговора моего с Анюткой.

Перед закатом остановились у какой-то пристани. Это было помостье, высокое над окружающими лугами. На нем стояла будка, сложены были дрова. Пассажирам приказали грузить дрова на паро-

ход. Мы все слезли и кидали дрова друг другу. Я отсидел себе ноги, приятно было в прохладе грузить дрова.

Пошли дальше. Как темнота пала, остановились, спустили якорь на середине реки.

К этому времени я совсем с Анюткой подружился. Она сказала мне, что от Любеча хотя и дальше до их деревни, чем от Сожа, но дорога хорошая и подводы ходят. Что в Киеве никогда не была. Что ребята их редко домой приходят.

— В деревне теперь все бабы да старики остались.

Ясно было, что и их в покое не оставляют. Она большевиков называла просто „красные".

— Они с Остра и Чернигова к нам лезут.

— Да Остер же далеко.

— Далече, да красные повсюду шатаются.

— А на Днепре-то их много?

— Пока что только по ту сторону, у нас с этой стороны леса да болота, побаиваются наших ребят. Да никогда не знаешь. Девок насилуют, а то и убивают.

Теперь я знал наверняка, что все эти — зеленые. Как-то нужно было связаться через них с зелеными по ту сторону Любеча.

Мы устроились спать, как могли. Я Анютку обнял, и она заснула, головой на моей груди. Проснулся я на рассвете, все еще спали. Туман колыхался над водой и зелеными лугами, только вдали темнели деревья леса. Цапля медленно пролетела, где-то крякали утки и каркнула лысуха.

В голове кружились мысли о Насте, Раечке, о моей деревенской юности, и что все это куда-то ускользнуло. Года два тому назад, да даже и неделю — никак бы не мог представить себя сидящего на палубе парохода, обнявши миленькую „зеленую" девицу. Логично ничто не следовало из предыдущего. С другой стороны, какие-то связи были между всеми инцидентами. Я вспомнил Иверскую Богоматерь и мое прошение к ней за мной смотреть и направить.

Вдруг все зашевелились и стали просыпаться. Кто-то что-то кричал с мостика. Зазвякала цепь. Загудели машины, и пароход медленно пошел вниз по течению. Я старался себе уяснить жизнь этих зеленых, которые на красных пароходах ездили продавать свои товары в Гомель. Пароходы останавливались у зеленых пристаней. Какие-то красные разъезды наезжали на деревни и насиловали девок, таких же, как те, что сидели рядом со мной. И все зачем? Не иноземцы же они были. Я был убежден, что все эти разбойники ни в какую политику не верили. Ими командовали явные преступники, которые несколько лет тому назад или прятались за границей, или сидели в тюрьмах, или в Сибири на каторге. Никто из них не думал об улучшении жизни русских.

Туман поднимался, вновь появились луга и леса. Я случайно посмотрел направо: колонна черного дыма вставала над лугами.

– Что это, Анютка, пожар?

– Да что ты, это пароход на Днепре.

Я встал. Как-то повеяло прошлым. У нас в пятнадцати верстах, в Каменце, был Днепр, по правде, не большой еще, но все же эта самая река. Я посмотрел вперед. Сож, уже широкий тут, казалось вливался в какое-то озеро. Где-то вдали торчали пирамидальные тополя.

– Неужели это Днепр?

– Да ты что думал, Днепр – ручей?

Я покачал головой.

Налево на Соже была пристань. Опять высокие помостья, но обитаний никаких. Пароход причалил. Человека два или три слезли. Пароход пошел дальше. Вышли в Днепр. Широко тут. Я стоял, наслаждался видом. Где-то вдали загрохотал как бы гром. Я заметил, что все стали прислушиваться. Рядом со мной стоял молодой парень.

– Это, брат, не гром. Это пушки.

У всех напряженные лица. Все стоя смотрели вдаль. Столб дыма поднялся впереди.

– Пароход, – заметил кто-то.

Он приближался довольно быстро. Уже была видна белая пена у его носа.

– Лупит здорово, – сказал мой сосед.

– Да это не пароход, а канонерка, смотри, серая.

Уже видно было орудие на передней палубе. Канонерка с нами поравнялась. Капитан ей кричит через рупор:

– Поворачивайте! Поворачивайте скорее!

Через две минуты мы повернули на правый борт и стали возвращаться к пристани, которую только что оставили. Капитан наш не знал, что делать. Мы причалили, и сразу же дядя Аким сошел и целая группа последовала за ним на помостья. Наши девки и мы тоже пошли за ними. Было видно, что на мостике спорили. Все слезшие стали разгуливать по помостьям, все ближе и ближе к задней стороне. Вдруг капитан начал кричать в рупор:

– Возвращайтесь, мы уходим!

Никто не двинулся. Кричали с верхней палубы солдаты. Никто как бы внимания не обращал.

– Идите назад, сволочи! – закричал капитан. – Будем стрелять!

Никто не шевельнулся.

Пароход вдруг двинулся от помостьев. Мы продолжали стоять. Пароход отошел сажен на десять, и я вдруг увидел, что солдаты подымают винтовки. В этот момент дядя Аким крикнул: „Прыгай!", и как горох все с помостьев бросились на скат травяной, футов десять ниже, и покатились вниз. Я лежал на спине рядом с Володей. Треск винтовок и визг пуль высоко над нами показали, что капитан не шутил. Оттуда, где мы лежали, парохода было не видать, конечно.

Первый встал дядя Аким.

– Ну вставайте, ребята! Эй, Аксинья, ты ногу сломала?

Недалеко от нас кряхтела старуха, свернувшись в ком.

– Нет, батюшка, не думаю.

– Эй, Сашка, пойди подними Аксинью!

Аксинья ногу не сломала, но повредила.

– Ты ее, Сашка, неси, она легкая.

Все уже стояли кучкой. „Ну, пойдем!" – сказал Аким и все вытянулись в хвост. Было человек тридцать: две старухи, двое ребятишек лет 8-10, остальные все взрослые. Впереди был лес, с версту. Я повернулся посмотреть на пароход, было видно только два столба дыма.

Шли медленно. Я шел рядом с Анюткой. Спросил:

– Что, деревня ваша далеко?

– Да должно быть верст сорок с гаком.

Первый раз слышал это выражение.

– Что значит „гак"?

– Как что? Не знаю, с лишним, что ли.

Я потом привык к „гакам", это могло быть и две версты, и десять. Когда шли пешком или на телеге, версты мало считали, время прохода было важнее.

– А как зовут пристань, где мы слезли?

– Пески.

– Вы что, редко на нее ходите?

– Да на Любеч проще, там народ есть.

Я теперь абсолютно не знал, что мы будем делать дальше.

– Анютка, как мы теперь на Киев пробраться сможем?

– Да дядя Аким устроит тебе что-нибудь, а пока у нас посидишь.

В лесу дорога была песчаная. Иногда из леса появлялись мужики, обменивались несколькими словами с Акимом и уходили обратно в лес. Хотя стояла жара, идти по лесу было прохладно. Останавливались несколько раз отдыхать и поесть. К моему удовольствию, Володя, как видно, подружился с Фенькой, я заметил, они разговаривали.

Мало-помалу, говоря с Анюткой, я стал понимать, как зеленые действовали. Они, видно, инициативу не брали, ждали красные экспедиции и, когда те неосторожно попадали в засаду, уничтожали их. У зеленых, оказывается, было мало оружия и еще меньше припаса. То и другое они захватывали у красных. Были деревни, куда красные вовсе не совались. Они боялись лесов и в особенности болот. Зеленые очищали участки в лесу и засевали их. В деревнях „для виду" только засевали несколько полей, и то большинство отбирали красные. Да и скот и лошадей – только часть в деревнях держали, остальных угоняли в лес. Мужского населения в деревнях было мало, одни старики, остальные нахаживали из леса, но редко. Сообще-

ние между деревнями и лесом было хорошо налажено. Ребятишки шныряли туда и сюда. Зимой красные редко появлялись, и тогда мужики приходили в деревни, да и летом на сенокос, где луга были в лесах, тоже приходили помогать.

К вечеру пришли в какую-то маленькую деревню. „Мы тут ночевать будем." Меня удивило, что нас явно ожидали. Володе и мне указали дом. Мы пошли. Встретили нас хозяева ласково, наверно, приняли за зеленых. Как-то они знали о нашей высадке в Песках. Угощали галушками и квасом и дали на выбор спать в доме или в сенном сарае. Я выбрал сарай, Володя дом. Во время ужина разговорились. Оказалось, что два дня тому назад красные высадились в Любече и двинулись по дороге на Рейки, но их остановили в какой-то деревне.

– Сколько отсюда до Киева?

– От Любеча верст 200 по реке, да теперь не пробраться.

О других путях в Киев они ничего не знали.

Меня заинтересовало, что Володя вдруг перестал задавать бесконечные вопросы – зачем? почему? Оттого ли, что я на него огрызался, или он просто понял, что ответа на эти вопросы не было, он стал гораздо спокойнее. На утро мы опять выступили по дороге в Олешню. Нас уже было меньше. Как и накануне, мы шли довольно медленно, с остановками. Какие-то парни или ребятишки появлялись из лесу, говорили что-то Акиму и исчезали. Пошли поля, овраги и кустарники. Было очень жарко, к полудню дошли до какой-то речонки. Был брод, но довольно глубокий. Парни взяли старух и ребятишек на плечи. Я снял сапоги и портянки. Девки задрали юбки, и все пошли в воду.

Как всегда в деревне, парни дразнили девок выражениями и словами, которым я по привычке смеялся, бедный же Володя, я думаю, даже не понимал большинства выражений, но краснел. На другой стороне все уселись на песчаном берегу. Стали раздеваться и сушить платья.

– Пойдем купаться! – позвала Анютка.

Две или три девки и несколько парней разделись догола. Я тоже разделся, и мы побежали в воду. Володя, красный как свекла, наотрез отказался раздеваться.

– Да это неприлично, как могут барышни так себя вести?

– Ты дурак, ничего неприличного тут нет, в деревне все купаются голышами.

Но это его не убедило.

Дно было песчаное, вода чистая, прозрачная, мы поплыли к ивой покрытому островку и легли на песке. Хорошо было, свободно. Вспомнил детство, когда все, кроме гувернанток и гувернеров, купались голыми. Они тоже это считали неприличным. А мы смеялись над ними. Эти купания так приучили меня к голым женским телам, что сама голость никакого на меня влияния не имела.

Когда мы возвратились и оделись, бедный Володя был так потрясен, что отказывался разговаривать.

– Привыкнешь, дорогой, по-деревенски жить.

– Никогда не привыкну. Как ты можешь себя так отвратительно вести, я не понимаю.

Перешли какое-то шоссе. Тут между лесками когда-то вспаханные поля, но на них было прошлогоднее жнивье, новых посевов никаких не было.

Мы шли вдоль глубокого оврага, покрытого на другой стороне кустарником. Я заметил, что четыре парня от нас откололись и исчезли.

В этот момент впереди поднялась пыль. Аким остановился, повернулся к нам и сказал Володе и мне:

– Вы – мои внуки из Гомеля.

Пыль скоро превратилась в шестерых верховых. Они были в каких-то неопрятных формах, с винтовками за спиной. Остановились перед Акимом:

– Вы кто?

– Мы из Олешни, домой идем.

– А где были?

– В Гомеле.

– Зачем?

– Хлеб да вишни возили.

– А это кто? – всадник указал на нас с Володей нагайкой.

– Это внуки мои.

– Документы есть?

Я вдруг замерз, документы наши показывали, что мы не из Олешни, а из Броваров, верст 200 на юг.

Другой всадник вдруг спросил:

– А вы зеленых не видывали?

– Видал, они в тот овраг ушли.

– Когда?

– Да только что.

Всадники всполошились и пришпорили коней. Через минуту они спускались в овраг. Мы пошли дальше. Через несколько минут за нами раздалась трескотня винтовок. Никто даже не повернулся.

– Они нас не будут больше трогать! – сказал Аким громко.

Минуту спустя появилась из оврага лошадь без ездока и ускакала в поле. И на нее никто не обратил внимания.

– Они оттуда живьем не вылезут, – сказала Анютка спокойно.

Через час мы входили в Олешню. Володя уже давно хромал. Я его спросил, почему.

– Это ничего, я себе натер ноги.

– Я говорил тебе, дурак, носить портянки.

– Да это пройдет.

— Ничего не пройдет.

Мы остановились в деревне. Аким обратился ко мне.

— Вы, братцы, в Киев отсюда пойдете?

— Да, в Бровары. Но говорят, теперь красные Любеч взяли.

— Я устрою. Анютка, ты их к себе возьмешь?

— Да, к нам.

Все, как видно, устраивалось без консультации с нами. Я решил, что это и лучше.

— Да милая, что мы будем к тебе навязываться.

— Что ты, я что ли тебе не нравлюсь?

— Конечно, нравишься, сама знаешь!

— Так чего же ты перечишься?

Пошли к ним. Дом хороший. Мать красивая, лет сорока, гостеприимная. Кроме Анютки еще трое детей: Дюнка пятнадцати лет, Васька одиннадцати, и Санька восьми. Муж или убит на войне, или в плену, никто не знал.

Мария Козырева была довольна нашим приходом. Беспокоилась, что Володя хромал, заставила его снять сапоги. Я ахнул. Когда он снял чулки, пропитанные кровью, ноги у него были, как куски сырого мяса.

— Да ведь говорил же тебе носить портянки!

— Да я не знаю, как их надевать.

— Научу. Что же ты мне раньше не сказал, а теперь смотри что! Никуда мы идти не сможем.

Оказалось, что в деревне, на другом конце, есть доктор. Анютка предложила, что отвезет его туда на лошади. Я ее поблагодарил, сам запряг лошадь в телегу и отвез Володю.

Доктор, похожий на Чехова, с бородкой и пенсне на кончике носа, посмотрел на Володины ноги и замычал.

— Сколько времени возьмет залечить?

— Не знаю, неделю, две, трудно сказать.

— Это никаким образом. У нас максимум три дня, может четыре.

— Вы что, шутите?

— Нет, не шучу.

Он обмыл Володе ноги и покачал головой.

— Ну, если он у меня останется, тут четыре госпитальные кровати есть, попробую.

Перед уходом я напомнил Володе: о нас не говорить, кто мы такие и куда идем. Доктор мне очень не понравился. Черт его знает, кто он, может быть, с большевиками якшается. Когда я прощался, доктор вдруг пригласил меня выпить чашку чаю.

За чаем разговорились о прошлом. Он, оказалось, был меньшевик, уверял нас, что знал Плеханова и Клару Цеткин. Говорил, что был арестован за кидание бомбы в 1905 году. Был на суде и его оправдали: он сказал, что не он бомбу бросил, а другой, и указал

молодого человека, который тоже был в заговоре. Того арестовали и сослали в Сибирь на шесть лет.

— А кто действительно бросил?

— Да я, конечно.

— И как же вы указали другого?

— Так он был неважный в партии.

— Я думал, царский суд был вернее, чем послать в Сибирь невинного.

— Так он тоже в заговоре был, только бомбы не бросил.

— А что, если бы бомба кого-нибудь убила, его по закону могли бы повесить, вы и тогда свалили бы на него?

— Ну, не знаю, но он был неважный.

— Вот те мораль!

— Так вы сами понимаете, в таких случаях надо думать, кто важнее для партии.

Я ушел, чувствуя, что человек этот сволочь, и на прощание сказал Володе: „Смотри, не проговорись!"

Нужно было дать знак Акиму, что мы не готовы еще продолжать путь. Поговорил с Анюткой, она обрадовалась.

— Да зачем тебе уходить-то? Оставайся здесь, мы вас приютим. Вокруг Киева дерутся, а здесь мы тебя спрячем.

Не мог ей объяснить, что нам надо в Киев. Она обещала дать Акиму знать.

Весь следующий день я провел, подмазывая оси и шворни телеги, чиня сбрую. Назавтра собирались на лесной луг на сенокос. Искал везде, не мог найти гнета. Нашел где-то длинную дубину.

— На что это тебе?

— Как на что, сено привязывать.

— Да у нас веревка есть.

— Так лучше гнетом.

— Ну как хочешь.

На следующее утро рано поехали в лес. Взяли косу и грабли. Коса какая-то корявая, точно как наши австрийцы пленные во время войны косили. Я ничего не сказал, а никогда такой косой не косил. Приехали, там уже парни косить начали. Попробовал косу, сгибаться надо, не то что у нас с прямой косой. Стал косить не сгибаясь, не выходит у меня. Какой-то парень мне говорит:

— Да ты, брат, видно, никогда не косил.

— Косил, да не кривой косой.

— Где же косы прямые?

— Да в смоленской губернии.

Он посмотрел на меня искоса, и я сейчас же спохватился, что проговорился.

— Да ты, говорят, из Броваров.

— Да, из Броваров, — сказал я медленно, чтоб дать себе время подумать. — Но у бабки жил в смоленской деревне несколько лет.

Парень ушел косить, поверил он мне или нет, я не знал. Стал грузить сено на телегу, они возили его недосушенным и сушили перед сараем. Опять подошел тот же парень.

– Ты и грузить-то не умеешь!

– Почему это?

– Да ты перегрузил, никогда не довезешь.

– Довезу, посмотришь!

Я поднял мой гнет и швырнул его на сено. Парень стоял сложивши руки, с усмешкой посматривал на меня.

– Эй, братья! Смотри, как этот броваровский сено привязывает!

Подошли несколько косцов.

Я привязал веревку к переду телеги, завернул ее кругом гнета и кинул назад. Никогда раньше так не привязывал. У нас всегда было две веревки, первая петля, а вторая сзади, отдельная веревка. Зацепил под телегой и кинул через гнет. Притянул гнет и завязал под телегой. Косцы смотрели на меня с насмешкой.

– А ну толкни сено теперь!

Тот же парень подошел, облокотился на сено и стал толкать. Подозвал еще двух, и все трое общими усилиями стали толкать. Сено не двинулось.

– Эй, брат, где это так делается?

– Говорил уже, в Смоленской губернии.

– Да ты же из Броваров.

– Ну да, да жил у бабки в Смоленской.

– Научи, как это.

Показал.

– Умно там делают.

Все это время Анютка стояла слушала. Влезли на воз, поехали.

– Да чего ж ты мне солгал, говорил, из Броваров.

Я покраснел:

– Да я из Броваров, только несколько лет у бабки жил.

– Так чего ж ты мне этого не сказал?

– Так ты не спросила, только куда я еду.

Она успокоилась.

Я вдруг понял, как легко поскользнуться. Нужно быть более осторожным. Эти зеленые были очень подозрительны.

Когда вернулись, Васька сказал, что Аким заходил, еще не устроил ничего, думал, что дня через два, три. Нужно было узнать про Володю.

На следующий день опять поехали на сенокос. Этот раз две подводы привезли. Косцы уже достали себе жерди и не особенно удачно привязывали сено. Пришлось опять показать. Стали расспрашивать, как и что. Лгал я немилосердно, но они мне теперь верили.

Пошел вечером Володю проведать. Доктор говорит, ноги чинятся, дня через два сможет Володя сапоги надеть. Говорит:

– Петр Маркович мне рассказывал про Москву. Плохо там живется. Зря мы революцию заварили...

Я испугался. Что это ему Володя наболтал? Когда доктор вышел, я наскочил на Володю:

– Что это ты, дурак, ему наговорил?

Володя покраснел:

– Да это как-то нечаянно вышло.

– Вот идиот, говорил тебе держать язык за зубами!

Вернулся доктор. Я попробовал от него узнать, что ему Володя нарассказал. Чем больше он говорил, тем больше я пугался. Если этот доктор станет рассказывать все это по деревне, может дойти до Акима, тогда нам крышка.

– Вы говорите, что вы меньшевик? Большевики очень вас не любят, они большинство меньшевиков расстреляли. Знают здешние большевики, что вы меньшевик?

Я увидел, как он побледнел.

– Да нет, слава Богу, не знают.

– Так вы ни слова, что вам Петр Маркович говорил, не повторяйте, не то я узнаю и большевикам скажу, кто вы такой.

– Да... да... вы не будете говорить... я клянусь никому не говорить!

– Ну смотрите, узнаю, они вас ликвидируют.

Напугал его бедного, а сам удивляюсь: не думал раньше шантажом заниматься.

Пошел прочь разозленный на Володю и вдруг подумал, что я и сам проговорился! Ни к черту все это, нужно быть более осторожным. Может быть, наши общие промахи сойдут. Досадно было, что в таких лгунов превратились.

На пятый день прибежал Васька, говорит, что Аким позднее зайдет. Анютка осунулась.

– Да чего вам обоим отсюда уходить? Пусть Петруша пойдет, а ты тут оставайся!

– Да мы тебя тут приютим, нет у нас защитников, оставайся! – прибавила мать.

– Не могу я Петю одного отпускать, он безыскусный, никогда не проедет.

– Да что он, глумной?

– Нет, не глумной, да мало жил по себе.

Пришел Аким. Говорит:

– Послезавтра поутру пойдете в деревню (забыл, как называлась, кажется, Лихово или Ляхово) к Сергею Малахову, он вас направит. Васька вас проведет.

Васька закорячился:

– Никогда там не был, – сказал он, надувшись.

– Ты со мной не шути, я тебе уши оторву.

Значит, мы опять в путь пускались. Жалко мне было оставлять

гостеприимный дом с милыми хозяевами. Опять куда-то в неизвестную бездну ныряли.

Анютка приуныла. Хорошая девушка. Я бы с удовольствием тут остался, может даже зеленым стал, но нельзя.

Весь день мы сено переворачивали, в сарай складывали. Вечером пошел к доктору. Володя, как видно, тоже не хотел уходить. Ноги его зажили. Я его научил наматывать портянки. Сказал, чтобы он к утру был у Козыревых. Заплатил советскими доктору и напомнил, чтобы он молчал.

Уныиво провел последний вечер. Простился на ночь и пошел спать, как всегда на сене в сарае.

Но не спалось. Большие двери сарая открывались на запад. Я их оставлял открытыми. Ночь была светлая, только на западе, над Днепром, черные тучи. Гром где-то далеко колыхал, и зарницы сверкали на горизонте. Я лежал на спине и смотрел через дверь.

В двери появилась фигура.

— Ты спишь, Ванька? — спросила Анютка.

— Нет, не сплю.

Она влезла на сено и легла рядом со мной.

— Хорошо, что сено убрали, гроза там, на вид сюда идет.

— Это пушки, на нашей стороне, — сказала Анютка.

— Где эти пушки?

— По сю сторону Любеча.

— Как ты знаешь?

— Да говорили сегодня.

Она вдруг прижалась ко мне.

— Оставайся, душка!

— Да не могу, Аким уже устроил.

— Поцелуй меня.

Я совсем был не прочь ее поцеловать. Она мне очень нравилась, но я боялся, что этим не кончится.

— Анютка, милая, я давно хочу тебя целовать, но я же завтра ухожу. Подумай, что если... мы с тобой...

Я не успел кончить.

— Не бойся, я не боюсь. Никогда не знаешь теперь... придут, все равно изнасилуют, а то убьют.

— А может не придут.

— Это все равно, сейчас не придут, придут завтра. Я не боюсь, ты меня возьми.

— А что, если...

— Ничего не будет, я за этим присмотрю.

Душисто было сено. Мы лежали обнявшись, пока не стало светать.

— Не забудь меня, — сказала Анютка, встала и ушла.

Черные тучи посветлели или ушли куда-то. Запели петухи. Слез с сена, пошел к колодцу умываться чистой, свежей водой.

Солнце скоро появилось над горизонтом. Мария и Анютка копошились в доме. Анютка вытягивала из печки ухватом горшки. Помолились, сели к столу, самовар поет, а никто не разговаривает. Пришел Аким, еще раз сказал Ваське, куда нас вести.

– Смотри, шустренок, отдеру тебя, если сплошаешь!

Мария Козырева наотрез отказалась брать деньги за постой. Пришел Володя, застенчиво всех приветствовал.

Все Козыревы расплакались, прощаясь. Мария дала мне завернутую в холщевую тряпку еду на дорогу. Только Васька сидел надутый. Я обнялся со всеми, и пошли.

Хотел еще раз с Анюткой проститься, но она куда-то исчезла.

Пошли из деревни той же дорогой, которой пришли.

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Мы шли вдоль какой-то речонки. Васька будто не хотел нас знать. Он поминутно исчезал в ивняке, растущем вдоль речки. Опять появлялся, саженях в пяти-десяти перед нами. Когда мы его догоняли, он отчего-то на вопросы не отвечал.

Дорога отошла от речки и пошла низким кустарником. Было очень жарко. Солнце пекло наши спины. Прошли верст десять, когда дорога вдруг вышла в открытое поле. Вдали за ним был лес. Направо от нас, шагах в двухстах, тянулся высокий кустарник, за которым тоже лежал лес. Мы уже перешли почти полполя, когда я заметил пыль на опушке. Васька шел недалеко.

– Эй, Васька, что это за пыль?

Он остановился, поглядел с минуту и вдруг бросился бежать к кустарнику, не сказав ни слова. Я понятия не имел, что там такое, но не теряя времени крикнул Володе:

– Беги в кусты, и подальше!

Мы повернули за Васькой и бросились бежать. Володя бежал быстрее меня. На бегу я обернулся и с ужасом увидел, что за нами скачут человек десять всадников, к счастью, еще далеко.

Я ускорил бег. Васька уже исчез. Один всадник был шагах в пятидесяти от Володи. В этот момент раздались выстрелы и, запыхавшись, я врезался в кусты. Не останавливаясь, я слепо прорывался через них, и вдруг земля куда-то исчезла, я захлебнулся воздухом, ухнул в какой-то ольшаник, потерял свой рюкзак, перевернулся и грянул обземь. Ударился ли головой о что-нибудь, не знаю, но по-видимому потерял сознание.

Когда я пришел в себя, надо мной стоял человек с винтовкой, дуло было в трех дюймах от моего носа. Я замер.

– Кто ты? – спросил человек.

Я попробовал открыть рот, но язык мой прилип к небу.

— Ты откуда?

Я решил, что это один из всадников. Через минуту я ответил:

— Из Олешни.

— Отчего ж ты тут?

— Потому что ты загнал меня сюда, — сказал я в отчаянии.

— Я загнал? — он удивился. — Я ничего не делал, — прибавил он.

Тогда кто же он? Зеленый?

— Кто ты?

Он не ответил и отвернулся. Опять ко мне:

— Зачем ты сюда пришел?

— Я сюда не пришел, меня загнали, мы шли в Лихово все трое.

— Это ты от красных бежал?

— Если знаешь, так чего ж глупые вопросы задаешь?

— Мы их обклеили... Но ты не из Олешни, я там всех знаю.

— Да из Олешни идем, дядя Аким нас направил в Лихово. Спроси Ваську Козырева.

Человек положил винтовку на землю и сел рядом со мной.

— Аким, ты говоришь?

— Да, мы шли в Лихово к Сергею Малахову, ты его знаешь?

— Может быть, и знаю.

— Ну, мы должны туда идти.

— Ты ходить-то можешь?

— Не знаю, попробую.

— Ну, пойдем к нашим.

Я вдруг опять испугался, кто эти „наши". Ясно, зеленые, они наверно поймали Володю и Ваську. Черт его знает, что они там наговорили. Я привстал. Как будто ничего не сломал, только ноги застыли.

— Я мешок потерял.

— Пойдем поищем.

Оказалось, я в какую-то яму упал, полезли наверх. Мешок зацепился за куст. Скоро мы нашли трех других зеленых и Володю, который сидел неподвижно, как будто оцепенел.

— А где мальчишка? — спросил я.

Все трое переглянулись изумленно. Володя, как видно, так запыхался, что еще ничего не сказал.

— Какой мальчишка?

— Да Васька Козырев, который нас вел.

— Никакого мальчишку я не видал, — сказал один из трех.

— Так вы его найдите, мы не знаем, где Лихово.

— Это недалече.

— Как недалече?

— Да два часа с гаком.

Все четверо зеленых теперь замолчали. Мне это не понравилось.

— Кто эти всадники были?

– Да красные, мы их отбили.

– Так если знаете, где Лихово, направьте!

– Конечно, знаем!

Опять молчание.

– Ну, Алешка вас проведет, – сказал один из парней, как видно, старший.

Алешка оказался „мой" зеленый.

Пошли. Володя отдышался. Когда мы прошли лесом с полверсты, Алешка разговорился. Он, оказывается, был из деревни где-то между Олешней и Любечем. Не зная географии этих мест, я его стал расспрашивать. В двадцати верстах от Любеча дорога на Репки разделялась, огибала болота и шла на Чернигов. Это было на юг от нас. Насколько я мог понять, мы были в каком-то треугольнике со сторонами по 20 или 25 верст, где царили зеленые. Красные только на днях заняли Любеч и прошли верст 15 по Репкинской дороге, где их отрезали. Я спросил, откуда эти красные, которые нас гнали, пришли?

– Да, вероятно, из Чернигова.

Мы остановились у какого-то ручья и позавтракали. Алешка стал совсем дружным.

– Эх, красное дурье, лезут, куда их не просят, а мы им морды бьем!

Как он был ни дружен, а не хотел бы я ему попасться ночью или даже днем, он всех чужих считал красными.

Наконец мы вышли на опушку леса.

– Смотри, видишь те кусты? Пройдешь – увидишь деревню. Ты осторожно, смотри, когда входить будешь!

Простились, пошли.

На краю кустов мы остановились. Я долго присматривался к деревне, никакого в ней движения не было. Прошли через баштаны, выглянули из-за угла на улицу. Деревня точно вымерла, даже собаки не видно. Подумал: всадники с этого направления шли, что если они сюда вернулись? Пошли вдоль заборов. Ни в первом, ни во втором дворе никого нет.

– Подожди тут, я сейчас вернусь!

Зашел во двор. Посмотрел в открытую дверь дома – никого. Стал обходить сарай, вижу – за сараем, в крапиве спрятался мальчишка. Я к нему подкрался и ухватил за шиворот. Он попробовал несколько раз выдраться.

– Где твоя семья?

Не ответил. Наконец я ему пригрозил, и он меня свел в овощной подвал. Там, прижавшись к стене, сидели баба, старуха и трое детишек. Долго я не мог их заставить говорить. Наконец понял из отрывистых ответов, что красные были в деревне несколько часов тому назад и здесь боятся их возврата.

– Где же все мужчины?

— В лес ушли.

Они все плакали. Я с трудом убедил бабу приказать сыну отвести нас к Малахову. Неохотно он нас провел и сейчас же исчез.

Пошли в дом. На лавке сидела старуха, рыдая и качаясь. Долго не мог ничего от нее добиться. Наконец я ей сказал, что Аким нас прислал к Сергею Малахову. Она пуще зарыдала.

— Да где он?

— Ах сыночек, мой сыночек, убили его черти, убили сегодня утром!

Это меня хватило как обухом. На минуту я закрыл глаза от отчаяния. Все, на что я надеялся, вдруг рухнуло. Мы были далеко от Олешни в какой-то чужой деревне, и вся устроенная Акимом связь пропала.

Я стал утешать старуху, да что ж, я ей сына вернуть не мог. Думал, если расскажет, может, успокоится немножко. Стал спрашивать, как убили? Говорит, красные пришли, хотели корову отобрать, а Сережа ее стал спорить, и они его в живот прострелили, до крылечка не дошел и умер, и корову увели.

Я ее спросил, знает ли она, что Аким из Олешни с сыном ее устроил, чтоб нас направить. Она опять залилась слезами. В конце концов я понял, что Малахов с какой-то Марфой Овчинниковой уговаривался. Старуха показала через окно дом.

Ничего я для старухи сделать не мог, положил 30 рублей николаевками на стол и пошли к Марфе. Нашли испуганную Марфу, оказалось, Малахов уладил с ее братом Герасимом, чтоб он нас провел. Но Герасим забегал с час назад и уехал к себе в лес на пасеку. Герасим знал о нас, но в деревне боялся оставаться и уехал.

Я сел в унынии, не зная, что делать. Подумал было расспросить Марфу, как пробраться на пасеку. Но сам не верил, что мы смогли бы найти пасеку в этих громадных лесах. Вдруг дверь отворилась и появился человек. Оказался Герасимом, который случайно вернулся, увел Марфу в соседнюю горницу и говорил с ней минут пятнадцать. Появился опять, сказал только „пойдем!" и вышел во двор. Тут стояла телега. Мы уселись и быстро выехали из деревни, повернули влево и покатили в лес.

Он ни слова не сказал, пока мы не проехали по крайней мере версту лесом.

— Я вас утром ждал.

Я ему объяснил, что случилось. Он молчал. Долго мы ехали какими-то тропами. Я подумал: никогда бы мы не нашли его пасеку. Стало темнеть. Володя уснул, и меня клонило ко сну. Я, вероятно, сдремнул, потому что меня разбудил лай собаки. Через деревья проблескивал свет.

В темноте дом казался большой, какие-то другие постройки стояли недалеко. Я разбудил Володю. Герасим повел нас в дом. В горнице нас встретила молодая женщина, красивая, белокурая,

волосы туго сплетены в косу и обернуты кругом головы как корона. За ее юбку держалась девочка лет трех, и на руках у нее был младенец.

Герасиму было лет пятьдесят, жена его казалась лет двадцати трех-двадцати четырех.

– Жена моя Дуня, – сказал Герасим и пошел расседлывать лошадь. Дуня ушла, наверно, положила дитя в колыбель, да и девочку уложила, потому что вернулась одна. Стала хлопотать и разговаривать весело в то же время. Она, видно, не знала, что случилось в деревне. Поставила самовар, выложила на стол сдобные пряники, покрытые маком, и разную другую снедь.

Прошло довольно много времени, пока Герасим вернулся. Он что-то сказал Дуне, и они вместе пошли в другую комнату. Когда они опять вышли, у Дуни лицо было заплаканное. Все сели к столу. Я решил, что, может быть, Малахов был родня Дуне. Говорили мало. Вдруг Герасим сказал:

– Мы на рассвете уходим. Не беспокойтесь, я вас направлю.

У Дуни медленно покатилась слеза, она встала и ушла.

Герасим, глядя пристально в свою тарелку, сказал тихим голосом:

– Я лучше вам объясню. Дунька, жена моя, была за моим сыном. Он ее бил. Взяли его на войну и, говорили, убили. Я тогда взял Дуньку к себе. Это мои дети. Мы счастливы. Ан сын мой жив, вернулся сегодня с красными. Боюсь, он лес знает, может придти сюда, так мы решили уйти подальше, к зятю моему, туда не сунется. – Он говорил неторопливо. – Проведу вас часть дороги и направлю. А сейчас лучше спать ложитесь.

Странно, подумал, как жизнь складывается. Некоторые, может, скажут – поделом, за грех платят. Не так мне показалось. Господь Бог хороших людей не карает, это люди жестокости делают.

Я предложил Герасиму помочь укладывать.

– Спасибо. Ты доить знаешь как?

– Знаю. Сколько коров у тебя?

– Три. Да одна из них яловая. Возьму с собой только бурую, другая с теликом, выпустим их в лес, в это время никто не тронет.

– А что с ульями будешь делать?

– Оставлю, буду приходить.

Мы погрузили из кладовой несколько мешков муки и крупы, бочку селедок, две бочки меда и разные другие припасы. Меня удивило разнообразие еды, которой, по крайней мере в Москве, уже не видали с 1917 года.

Володя первый раз в жизни заснул на лавке. Герасим ходил с фонарем по хозяйству. Горько, я думал, ему все это оставлять. Когда мы вернулись в дом, Дуня уже укладывала вещи. Поставила самовар, и еще при свете лампы поели. Я пошел подоить коров и выпустил их в лес, оставив буреную. Зашел в свинарник, там было

семь свиней, боров и восемь поросят. А с этими что же? Вернулся к Герасиму:

– А со свиньями что будешь делать?

– Да выпустим, что же иначе, они одичают, ну ничего не поделаешь.

Досадно было разбивать хозяйство.

Скоро после рассвета запрягли лошадь, Дуня с младенцем и девочкой сели в телегу, и тронулись. Герасим вел лошадь, к телеге была привязана корова, большой черный пес бежал у телеги, а мы шли сзади, заключая шествие.

Я заметил, что Герасим положил на подводу два ружья: двуствольное, хорошее, Ижевского завода, и винтовку Винчестер. Я спросил насчет патронов. „Это, брат, у нас все есть". Странно, подумал я, в такой глуши патроны на Винчестер можно достать.

Я тогда совсем не понимал разницу между Великороссией и Украиной. Украина была занята немцами, и даже после прихода большевиков еще были связи с Германией и Австрией. Да и не успели еще большевики обеднить эти части России.

Володя шел насупившись. Я его спросил, в чем дело. Он долго не отвечал. Наконец он сказал:

– Je ne te comprends pas, tu es amoral.

– Почему?

– Потому что у тебя нет никаких принципов.

– Отчего ты думаешь, что у меня нет принципов?

– Герасим говорит, что живет со своей невесткой, называет ее своей женой, а тебе это как с гуся вода.

– Что ж ты хочешь, чтоб я его назвал греховодником и ушел бы из его дома?

– Да по крайней мере, мог бы показать, что ты этим шокирован.

– Ну, тогда я действительно „аморален", как ты говоришь. Я этим совершенно не шокирован. Какой я судья? Сын бил свою жену. Отец ее приютил. Они счастливы, ну и слава Богу!

– Да ты не понимаешь, что я говорю. Наконец, это против православной религии.

– Ты вероятно прав, но я не епископ, я понятия не имею, что Господь Бог об этом думает. Гораздо страшней, что какой-то прохвост убил Малахова из-за коровы.

– Так ты признаешь, что это грех?

– Нет, я судить не могу. Пусть Бог судит.

Часа через три мы шли по песчаной дорожке по краю глубокого оврага. На склоне росли сосны, и вдали синел сосновый лес. Володя вдруг остановился:

– А это что?

На мягком песке был отпечаток медвежьей лапы.

– Так это медведь проходил.

– Медведь?

– Да, я думаю их тут много.

– Медведь? – повторил Володя.

– Да что ты всполошился? Медведь что заяц или лиса, он тебя не съест.

Володя, как многие горожане, думал, что медведи и волки опасны в лесах. Живши все мое детство в деревне, я гораздо больше боялся вепрей и россомах, чем медведей и волков. Да и те были только тогда опасны, когда их загоняли в тупик и они старались выбраться.

Разница между мной и Володей была та, что я больше боялся людей, чем зверей, а он наоборот.

Часам к одиннадцати дорога раздвоилась. Герасим и Дуня с нами простились.

– Ну, теперь слушайте. Вон тропа вниз по откосу. Идите в овраг. Перейдите речонку и поверните вправо. Верстах в двух будет деревня. Вас, вероятно, остановят парни. Не бойтесь. Скажите, что я вас прислал, Герасим Голубец, и чтоб провели к Артемию Честакову. Он вас дальше направит.

Я разблагодарил Герасима, пожелал им всего лучшего, и мы расстались. Володя в первый раз выказал неуверенность и какую-то нервность. Я сам чувствовал, что мы совершенно беззащитны. Чтобы себя и Володю успокоить, я срезал два посоха. К чему они были, я сам не знал, от людей бы не защитили, а от зверей не нужно. Но почувствовал себя вооруженным. Откровенно, я очень боялся встречи с „парнями".

Мы спустились в овраг, перешли речку и очень медленно пошли вперед. Я ждал парней из-за каждого куста. Но никто не появлялся до самой деревни. А тут мы увидели двух парней с винтовками. Они вышли вдвоем, держа винтовки наперевес.

– Вы кто?

Я объяснил, кто нас прислал и к кому мы шли. Это не произвело на них никакого впечатления. Они грубо нас толкали своими винтовками и повели, как видно, под арестом, в кооператив.

На веранде лавки сидели человек шесть очень страшных на вид мужиков. Прошли внутрь. Лавочник на нас взглянул сердито и стал допрашивать, затем вышел на веранду.

Мы сели на бочки. Лавка пахла рогожей, дегтем и всем тем, что продается в деревенской лавке. С потолка свешивались на веревке баранки, сушеные грибы, сапоги, мочало. На полу стояли бочки с огурцами, селедкой, медом. Полки были набиты всякими вещами, как в старое время, как будто революции никогда не было. Больше часу никто нас не тревожил.

Когда нас вели в лавку, я заметил большой кирпичный дом, стоящий в фруктовом саду. В конце деревни, окруженная деревьями, стояла белая церковь с синими куполами.

Наконец вернулся лавочник.

— Эй вы, что к Честакову пришли, вас этот паренек проведет.

Ну, слава Богу, опомнились о нас.

Мальчишка лет десяти, в синих холстяных штанах и белой рубашке, повел нас в тот самый кирпичный дом, который я заметил. Нас встретил большой, широкоплечий человек, лет сорока пяти. Одетый в темно-синий суконный кафтан и шаровары, обутый в сапоги мягкой кожи, он мне показался каким-то сказочным, будто купец из царства царя Гвидона. Белизна его рубашки и холеные руки совсем не вязались с захолустной деревней в глуши черниговских лесов.

Горница была светлая, окна открыты нараспах, в углу киот, кругом полированного стола обитые стулья. Пол выкрашен охряной краской и навощен.

Богатый крестьянин, подумал я, чем разбогатился?

Артемий Михайлович Честаков говорил глубоким звонким голосом, что соборный дьякон.

Вошла жена его, Авдотья Семеновна, как с малявинской картины. Полная, высокая, краснощекая и черные брови дугой, черные косы заплетены разноцветными лентами. Сама в синем сарафане и расшитой рубашке.

Я ошалел. Точно вышел на сцену какой-то пьесы Островского.

— Вас как по имени-отчеству зовут?

Я забыл, что я „Иван Фомич", и говорю — „Николай Владимирович", спохватился, но уж поздно. „А это Владимир Маркович", — я добавил, решив, что все равно документов спрашивать не будет.

Гостеприимству не было конца. Оказалось, что наш хозяин разбогател торговлей коноплей и лесом.

— Нет ни одного судна на Днепре, которое не употребляет честаковых канатов и веревок, у нас тут хорошая конопля растет.

Стол был полон яствами, которых не видывали с начала революции. Даже водка с закусками. Авдотья Семеновна, как пава, разливала чай, говорила звонким грудным голосом. Я рассказал о нашем плавании с высадкой в Песках, о смерти Малахова и о Герасиме, который ушел с пасеки из-за своего сына. Артемий Михайлович, к моему удивлению, почти все это знал, даже как мы убегали от всадников.

— Мы, Николай Владимирович, тут на острове живем, никого к себе не подпускаем, кроме рекомендованных, а эту красную шваль за шиворот держим. Мало из них живыми выбираются.

Мне показалось, что он царит на этом „острове". Я не знал, куда нас направят. Отчего-то думал, что нам проводника дадут, вдоль левого берега Днепра провести. Поэтому я был ошарашен, когда Артемий Михайлович сказал:

— Я вас на Любеч направлю, оттуда вы рекой до Киева доберетесь.

— На Любеч? — я спросил, испугавшись. — Да там красные!

— Эта сволочь вам не помешает. Я вам имя друга дам, он вас посадит.

Он взял кусок бумаги и карандаш и стал чертить.

— Мы тут, — он поставил крест. — Тут, на запад, болото, обойти его нельзя, — он нарисовал овал. — Здесь дорога от Комарина, перейдете тут лес, поле обойти придется. Как перейдете, повернете на север, — он опять нарисовал овал. — Тут дорога из Любеча на Репки, полем идет. Тут деревня, красные заняли. Переходить поле лучше ночью. А тут горы, небольшие, пройдете по ним версты две, три. Любеч налево от вас будет. Спуститесь в лес, к садам подойдете. В них красные окопы вырыли. Повернете к Днепру, к заводи, тут плавни. Вы по плавням разберетесь. Это ночью лучше. Тут мель, помостья к реке идут. Тут дом, второй, это дом Ивана Калинина. Он знает о вас.

Я рассматривал бумагу.

— Вы это запомните.

— Сколько ж верст будет?

— Да дня два и полторы ночи. Может быть, верст сорок, пятьдесят.

Я давно так не ел, да и прошлой ночью не спал, стало клонить ко сну.

— Вы прилягте до чаю, устали, наверно. Я вам комнаты покажу, — сказала Авдотья Семеновна.

Подумал — посчастливилось нам, нить почти что лопнула, да повезло. Что дальше пойдет, не знаю, но спасибо, Иверская Богоматерь.

Помылся. Настоящий умывальник, кровати пуховые, чистые белые простыни. Лег и сразу заснул. Проснулся, судя по свету — часов пять утра. Умылся опять, надел чистую рубаху. А тут уже самовар на столе поет.

Разблагодарил хозяев.

— Это ничего. Своим всегда помогаем, чем можем.

Хозяйка нам съестного на неделю приготовила.

— Никогда не знаешь, может, где застрянете.

Дала нам две бутылки квасу.

На дворе стоял парень, лет восемнадцати, Аркашка по имени. Не понравился мне он сразу. Глаза подозрительные, очень светло-голубые, и смотрит исподлобья. Он нас только через болото провести должен.

Пошли. На краю болота Аркаша вырубил три дубины восьмифутовые, и мы спустились через ольшаник. Болото на краю упругое и держит хорошо. Верст десять поперек. Я перед отходом Володю наставлял. Я еще не знал, какое болото, но на всякий случай велел ему держаться гуськом. Сказал, что если трава тонкая и ярко-зеленая, то чтобы он на нее не ступал. Держал бы дубину поперек.

Что если провалится, опирался бы на дубину, не бился бы, а медленно вытягивался в лежачее положение, двигая дубину вперед. Бедный Володя, который никогда болот не видал, боялся идти. Я его старался успокоить. Я обожал болота. С детства я любил их простор, замечательную красоту их покрасок, богатство всякой дичи.

На этом болоте сосновника сперва не было, ольха да береза местами. Потом пошло открытей. Камыши группами, кочки с морошкой и наконец тут и там зеркальная гладь озерца, точно из красной меди. Дикие утки – ярко-зеленые головки селезней, красноголовые нырки, сизые поганки; порфирные и серые цапли, журавли. Там вдали одинокая сосна – семенник, тут куст калины, покрытый белыми цветами, филигрань березок с их нежно-зеленой листвой и красноватые листья морошки. У меня дух захватило. Русак поднялся из-под ног, проскочил сажен десять и встал на дыбы. Жужжали шмели, бабочки порхали с цветка на цветок, стрекозы стремительно метались то туда, то сюда, останавливались в воздухе и вновь стремились в пространство.

Мы шли мерно, обходили кустарник и озерки, когда вдруг с испуганным криком Володя провалился в топь. Он шел за мной, Аркашка и я быстро повернулись и, просунув дубины ему под мышки, медленно вытянули его на твердую землю. Как это случилось, было непонятно, и Аркашка и я прошли по тому же месту, трава была обыкновенная. Это потрясло Володю. Мы сели под куст, пока он отдышится. Черная грязь сразу же стала высыхать на его штанах под жгучим солнцем. Пока сидели – перекусили. Аркаша был неразговорчив. Отвечал на вопросы неохотно.

– Смотри, смотри, аисты! – сказал я с удовольствием.

– Ах да, – ответил Володя без интереса.

Отчего-то его не интересовала природа и он не замечал красоты. Жалко, что не было Егорки со мной.

Пошли дальше, теперь Володя шел за Аркашей, а я в хвосте. Становилось все красивее. Появились сосны, смешанные с березами.

– Это что, та сторона? – спросил Володя с надеждой.

– Нет, это остров, – неохотно ответил Аркашка.

Уже близко от острова Аркашка провалился одной ногой и растянулся на траве. Остров был песчаный, с огромными глыбами гранита, между ними росли деревья и кусты. Вереск покрывал открытые места и темнозеленый, как бархат, мох.

В первый раз Володя заинтересовался:

– Это морена! Но как это тут может быть?

– Не знаю, брат, но думаю, что ты прав, иначе откуда такие глыбы?

Мы разлеглись на мху, поели, и вдруг я заметил, что Аркашка куда-то пропал. Отчего-то я этого ожидал. Я вскочил и увидел Аркашку, исчезающего за куст – назад по нашей тропинке. Я бросился за ним.

— Ты куда дернул?!
— Да я домой! — Аркашка остановился.
— Никуда ты не домой, пойди сюда!
Аркашка не двигался.
— Ты пойди сюда, сукин сын, если не доведешь — Честаков узнает, повесит тебя как собаку!
Аркашка неохотно повернул обратно.
— Да ты же сам можешь найти.
— Может и смог бы, но тебя Честаков нарядил.
Вернулись, уселись опять. Вдруг Аркашка тронул мой локоть и кивнул головой. Я повернулся. Шагах в десяти от нас из кустов появилась лосиха, бесшумно прошла с теленком и исчезла.
— На что вы смотрите? — спросил Володя, не подымаясь.
— Лосиха с теленком.
— Какая лосиха?! — он спросил испуганно.
— Да она уже ушла.
— Никогда не видел лосей без соек, — сказал я удивленно.
— Да это при лосях сойки, — ответил Аркаша.
— И при лосихах тоже бывают.
— Возможно, но вряд ли с теленком.
— А! Пожалуй.
— Да и время, я думаю, не то, сойки позднее будут.
— Какие сойки? — спросил Володя.
Аркашка в первый раз засмеялся:
— Да что с лосями.
— При чем тут сойки? — Володя настаивал.
— Не знаю, почему-то сойки держатся с лосями и кричат. Если сойки в лесу кричат, обыкновенно там лоси, — я сказал.
Этот разговор, который совсем смешал бедного Володю, переменил отношение Аркашки ко мне.
Солнце уже перешло за полудень, когда Аркашка остановился, прижал палец к губам и полушепотом сказал:
— Теперь молчите. Тут дорога бежит, патрули красные.
Еще было далеко до края болота, но в этой тиши всякий звук слышен был далеко.
Аркашка теперь шел очень осторожно.
— Я пойду посмотрю, — сказал он и исчез впереди.
Мы сели под куст. Вдруг слева от нас кто-то засвистал песню и сейчас же другой голос крикнул:
— Юрка! куда ты залез? Поди сюда, там тебя дьявол в зыбь засосет!
— Да тут твердо под ногой!
— Поди сюда, мы и так отстали!
„Юрка” был так близко от нас, что я каждую секунду ждал, что он появится, но, к счастью, он прошел за кустами. Через минуту появился Аркашка.

– Говорил, патрули! – прошептал он.

Мы просидели еще минут десять, Аркашка опять исчез, но когда вернулся, сказал, что ушли.

Я ему дал 25 рублей николаевками. Он на них посмотрел.

– Э! Да это настоящие деньги!

– Их что, берут тут?

– Конечно берут, и украинки тоже.

Мы распрощались. Аркашка совсем размяк.

– Ты, смотри, осторожно, перейдешь дорогу, по косе иди. Там поле за косой, обойди.

Я его поблагодарил, велел кланяться еще раз Честакову, и Аркаша ушел.

Мы влезли по крутому обрыву к дороге. Никого в виду не было. Перешли в косу и пошли по ее опушке вдоль поля. Дубины нам теперь были ни к чему, нужно было себе опять вырезать посохи.

Володя первый заметил какой-то хутор на опушке леса. Он слился с листвой и деревьями. Параллельно косе на той стороне поля шел лес.

– Нам туда нужно, – Володя сказал. – А обходить придется мимо хутора.

Посередине поля шли столбы, значит дорога.

Пошли косой. Вдруг откуда-то на нас выскочила белая с черным собака, зарычала и залаяла. Володя попробовал ее угомонить, но она оскалила зубы. В тот же момент я увидел старика, сидящего на пне.

– Это твоя собака? Отзови ее!

Но старик встал и поднял ружье, какое-то старое одноствольное с длинным дулом.

– Что ты, старик, нам ружьем грозишь? – сказал я полуиспуганно.

У него вид был какой-то дикий, и я испугался, что он нас обложит картечью просто с испуга. Но он вдруг повернулся и как коза сиганул в кусты. Это меня еще больше испугало, он, может быть, был не один? Пока Володя отбивался от разозленной собаки, я бросился за стариком. Я ошибся, думая, что он хилый, он бежал, как бойкий мальчишка. Я наконец его нагнал и ухватил за шиворот. Отнял ружье.

– Куда ты, старина, драпнул? – сказал я строго. – Отзови свою паршивую собаку.

Но старик дрожал как осиновый лист и не открывал рта. Подошел Володя, отбиваясь от собаки посохом. Я разозлился и стал старика трясти.

– Отзови собаку, скотина, а то я ее пристрелю твоим ружьем!

Старик что-то сказал, чего я не понял, и собака вдруг повернула и исчезла в кустах.

– Откуда ты?

Старик не ответил.

– Ты с того хутора?

Старик промычал что-то и закивал головой.

Он вдруг показался дряхлым, и я отпустил его воротник. Он опять как коза нырнул в кусты. На этот раз его поймал Володя.

– Э, да ты, брат, живучий!

Пошли косой к хутору. Каждый раз, что я выходил на опушку косы, старик тянул обратно.

– Чего ты боишься?

В первый раз он заговорил:

– Дьяволы там.

Единственные „дьяволы", которых я мог себе представить, были красные. Мы осторожно подошли к хутору. Маленький мальчишка, увидав нас, подбежал, но остановился шагах в пятнадцати.

– Кто эти? – он спросил старика.

– Не знаю.

– Что, красные на хуторе есть? – спросил я.

Он покачал головой и бросился бежать. Очень осторожно, ведя старика за шиворот, мы пробрались на хутор. Вошли в дом. Там молодая баба, двое ребятишек держатся за ее сарафан и наш мальчишка.

Старик развел руками.

– Мы только проходом, старик на нас собаку натравил.

– Он глумной, – сказала баба тихим голосом.

– Да мы вам вреда не хотим. Я у него ружье отнял, вот оно, – и отдал бабе.

– Он глумной, – она повторила.

– Мы отдохнем, пойдем дальше.

– Вы куда идете-то?

– Нас Честаков в Любеч направил, да мы красных остерегаться хотим, они сюда заходят?

– Приходят. – Она повернулась к окну. – Еще не были сегодня.

– Так теперь уже поздно.

– Не знаю, может и придут.

Я не знал уверенно, что делать. Честаков сказал, что пройдя этот лес и перейдя дорогу на Любеч, мы пройдем и Гаршинскую водяную мельницу. Это было единственное название, которое я знал.

– Гаршинскую мельницу ты знаешь или нет?

– Да эта мельница далече, – сказала она.

– Как далеко?

– Часа четыре, а может и пять отсюда.

– Дорога через лес к ней есть?

– Можно пройти, как знаешь тропинку.

– Нас провести кто-нибудь сможет?

– Да дядя Гаврил знает.

Я посмотрел на старика. Он прижался в угол и что-то бормотал. Я зачерпнул из бочки черпаком воды и стал пить, когда вдруг мальчишка оцепенел, стал слушать. Я застыл с ковшом в руке.

– Что ты слушаешь?

– Идут.

– Кто идет? – спросил я по глупости, зная, что это только и могли быть красные. Опомнившись, я схватил старика за шиворот, пихнул его в дверь, и мы трое через минуту были в лесу.

Я протолкал старика, пока мы не стали вне слуха.

– Ну, старче, веди нас к Гаршинской мельнице.

Он не противился. Я вдруг вспомнил Ивана Сусанина и улыбнулся. Черт его знает, подумал я, заведет, глумной, куда-нибудь.

Честаков сказал „повернетс на север". Я поднял глаза к небу. Если и были уже звезды, их в этом лесу не видать.

Старик шел передо мной по тропинке, которая крутила то вправо, то влево. Стало смеркаться.

Мы шли уже более часу, когда вдруг Володя, шедший позади, сказал:

– Никола, за нами что-то белое идет.

– Какое белое? – сказал я испуганно и остановился посмотреть.

И вдруг все замелькало с невероятной быстротой. Старик нырнул в кусты, я нырнул за ним и поймал его за ногу. Он рухнул на землю, и я тоже, а паршивая собака ухватила меня за рукав. Я попробовал отбиться от нее посохом, она завизжала и укатилась в сторону, но я отпустил ногу старика, и когда я вскочил – ни старика, ни его пса не было. Они исчезли в темноте.

Несколько минут спустя раздался высокий хохот где-то позади.

– Что это? – Володя ухватил меня за рукав.

У меня мурашки по спине побежали.

– Это скотина старик, точно леший.

– Он на лешего и похож. А теперь что?

– А теперь пойдем, направление приблизительно на север, когда выйдем на просеку, посмотрим на звезды.

У меня в детстве часов не было, привык, как крестьяне, время по солнцу знать. Когда мне подарили часы, я для забавы всегда сперва гадал, а потом смотрел на часы. Даже когда солнца не было видно, бывал обыкновенно прав. Затем стал гадать ночью. Не выходило у меня сперва, пока не спросил одного из наших лесников. Он стал меня учить не только время гадать ночью, но и направление. Говорил: „Точно не сможешь, но достаточно, чтоб не потеряться. Помни, что звезды движутся все, кроме Полярной." Теперь было приблизительно минут пятнадцать после девяти. На звезды я смотрел две ночи тому назад, тоже около девяти. Разница была бы небольшая. Нужно только выйти в открытое место.

Прошли еще с час и вышли на делянку. Туманец затянул небо, звезд почти что не видно.

– Вот не повезло.

– Давай посидим, – Володя сказал. – Который, по-твоему, час?

– Думаю, что десять приблизительно. До рассвету еще часов пять с гаком.

Володя засмеялся.

Посидели. Пошли. Я был очень доволен Володей. Он, может быть, и беспокоился, что мы не знали дороги, но не говорил ничего. Он до сих пор не проявлял никакой инициативы и ничего не предлагал. Он, правда, иногда спорил или хотел объяснений, когда действие должно было быть моментальное. Но теперь он решил, что я какой-то чародей во всем, что касалось деревенской жизни.

– Что, мы сегодня спать будем? – Володя устал, меня тоже клонило ко сну.

– Подожди, пока не выйдем ближе к опушке.

– Да как ты это знать будешь?

– Тут лес сосновый, как только появится осина и береза, можешь быть почти уверен, что или речка или опушка. Когда ольховник пойдет, наверняка опушка.

Вдруг из-под наших ног с криком поднялся козодой. У меня сердце екнуло от испуга. Бедный Володя оцепенел.

– Что это?

– Да козодой, он меня напугал.

– Что такое козодой?

– Птица, большая как стриж, тольку в лесу на земле живет. Значит мы близко к опушке.

– Отчего?

– Они редко в глуши бывают.

Действительно, лес стал редеть, появились осины.

– Ну, брат, отдохнем. Ветерок, тоже значит к утру.

Устроились на мху. Я тотчас задремал.

Как видно, спал я легко, потому что проснулся как только стало светлеть, было еще темно.

Разбудил Володю, поели и пошли. Мы оказались на опушке через полчаса. Перед нами лежало поле, затянутое низким туманом. На западе черные тучи. Мы долго смотрели на них.

– Сюда идет, – сказал Володя.

Светать стало скоро.

Я никак не мог решить – пуститься через поле или нет. Где была деревня, будто бы занятая красными? Ветер с запада стал усиливаться.

– Володя, видишь эту березу? Можешь на нее влезть? Посмотри направо через туман, видно ли что.

Володя снял рюкзак и полез.

– Ну, что видно?

– Да там какие-то крыши направо, а напротив, не знаю, кусты, не то лес.

– Как далеко?

– Крыши с версту, а кусты подальше, я думаю. Эй, смотри налево, там дождь идет.

Действительно, черные тучи посерели и стали какими-то полосатыми. Когда Володя слез, листья на кустах и деревьях зашевелились порывисто от поднявшегося ветерка. Туман зашевелился.

– Пойдем и быстро, пока туман еще не исчез.

Мы бросились через поле, через минуту хлестал дождь и трудно было видеть более, чем на несколько шагов. Под ногами суглинок, скользкий и местами клейкий. Мы полубежали. Казалось, полю не было конца. Несмотря на проливной дождь, стало светло.

– Сюда, Николай, сюда!

Налево были не то кусты, не то камыши. Оказалось, камыши. Под ногами стало мягко. Мы остановились.

– Тут или болото или озеро, – сказал Володя.

Через несколько шагов открылось озеро. Мы дошли до его болотистого края. Дождь уже прошел.

– Смотри, плотина.

В конце небольшого озера была плотина.

– Так мы на мельницу наткнулись! – сказал Володя с удовольствием.

– Да где же мельница?

– Она может по ту сторону плотины быть.

– Подкрадемся посмотрим.

Мы шли камышами, утопая иногда в иле. Насыпь подходила к плотине. Мы до нее дошли, вскарабкались и посмотрели. У меня застучало сердце. Действительно мельница, но во дворе привязаны четыре оседланных лошади.

Я посмотрел на плотину. На другом конце ее земля подымалась. Там рос можжевельник, а за ним кустарник и лес.

– Нам придется по плотине перейти, она длинная, – прошептал я.

– Смотри, сваи с этой стороны, можно по ним пробраться, а потом по концу плотины пробежим. Лес-то не так далеко.

Мы осторожно полезли по сваям, перешли проток по шлюзу и вдруг сваи кончились.

– Придется на плотину выбираться.

Выглянули – никого не было. Вылезли и быстро пошли. Вдруг на плотину позади нас выскочила белая с бурым собака и залаяла. Мы бросились бежать вверх по откосу. К собачьему лаю прибавились голоса. Я оглянулся. На плотине стоял человек с винтовкой и кричал. Мы ускорили бег, но стали запыхиваться. Лес еще был далеко. Когда я обернулся следующий раз, на плотине было два

всадника. Мы поравнялись с можжевельником. „Сюда!" Мы оба нырнули в колючий притон. Он оказался больше, чем я думал. Кусты были густые – смесь калины, ольховника и можжевельника. Мы залезли вглубь и притаились.

Через минуту голоса двух людей:

– Они в эти кусты ушли.

– Да ты собаку туда пусти, она их вытравит.

– Эй, Белка, тут, ищи, ищи.

Послышалось фырканье собаки. Сквозь листву я увидел что-то белое, и вдруг сбоку появилась ее голова. Не думая, я поднял посох и изо всей силы хватил ее по голове. Она взвизгнула и голова пропала.

– Ты ее убил? – прошептал Володя.

– Не думаю.

Но звука от нее не было.

– Ну где ж Белка? – послышалось с другой стороны кустов.

– Да ты пусти несколько пуль туда!

Раздалось несколько выстрелов, и над головой расщепило ствол жимолости.

– Осторожно, собаку убьешь!

В этот момент что-то зашуршало перед нами и поднялся русак. Через минуту он, как видно, выскочил из кустов.

– Эй, смотри, заяц! Улю! улю! улю! – закричал один из верховых и поскакал за ним.

Я решил, что это наш шанс. „Ползи за мной." Я думал, что другой всадник остался у плотины, и мы поползли. Но тут сердце чуть не прыгнуло мне в рот от испугу: я поднял глаза – прямо передо мной был круп лошади. Я замахнулся посохом и изо всей силы хватил лошадь по крупу. Она рванулась вперед, и шагах в десяти всадник слетел, но вскочил на ноги и бросился за лошадью.

– Бегом! – и мы ринулись с Володей через пространство к опушке леса. Мы уже не останавливались. Земля тут круто подымалась, и мы карабкались, цепляясь за кусты, пока не поднялись на какой-то откос.

– Ну, сюда они за нами не пойдут. Отдышимся.

ЛЮБЕЧ – КИЕВ

Что случилось со мной тут, я не знаю, но я вдруг почувствовал, что моя прежняя боязнь большевиков исчезла. Это не значило, что я стал считать большевиков и чекистов не опасными или что красноармейцы, которые им служили из-за пайков или возможности громить и насиловать, меня больше не пугали. Нет, это было что-то другое, у меня появилось ощущение, что большевики не такая уж непо-

бедимая сила. Они были люди, такие же, как я и Володя, да пожалуй зеленые и мы были гораздо коварнее их. Они действовали по каким-то заранее уложенным правилам и не отступали от них, когда изменялись обстоятельства.

Странно, что я испытал это чувство в момент, когда мы дошли до самого опасного этапа нашего побега. До сих пор мы избегали большевиков – чем дальше мы были от них, тем лучше. Теперь мы лезли прямо в их гнездо!

– Ну, дорогой, пойдем! Солнце, тепло, мы не более шести верст от Днепра.

– Да, и вероятно в шести верстах от Любеча, где большевики, – сказал Володя приунывши.

– Ну что из этого? До сих пор пробрались и опять проберемся!

„Горы", о которых нам говорил Честаков, были просто хребтом, не особенно высоким, круто спускавшимся на юго-запад. Склон был вырублен, но внизу простирался лес. За лесом виднелась дымка, это должно быть Любеч.

Мы прошли с версту по откосу и уселись. Спешить теперь не нужно было. По солнцу, было часов семь утра, а в Любеч пробираться велено, когда стемнеет.

Я решил, что лучше всего нам проспать несколько часов, до сумерек, а тогда идти к садам Любеча. Мы закусили. Еды у нас было еще масса, только нужно было наполнить бутылки. Квас мы уже выпили. Хотя вид был далекий, ничего особенно красивого не было, только простор.

Вдруг Володя потянул меня за рукав:

– Смотри направо, что это отблескивает?

Я посмотрел. Ничего не видно.

– Да нет, правее.

– Э, да это Днепр! Ничего другого не может быть. Вот те, бабушка, и Юрьев день! Прошатались почти что 150 верст и обратно к Днепру пришли!

По откосу зигзагились звериные тропы.

– Тут какие-то люди ходят, – сказал Володя.

– Да наверно ходят, но это звериные.

– Как ты знаешь?

– Да посмотри, вон отпечаток оленя или косули.

Мы нашли плоское место в тени и устроились спать.

Проснулся я, судя по солнцу, часов в пять. Даже отсюда можно было видеть блеск Днепра. Я разбудил Володю, и мы стали спускаться.

– Как ты знаешь, что мы идем в правильном направлении?

– Точно не знаю, но потеряться не можем.

– Почему?

– Сам подумай. Направо от нас что?

– Днепр.

– А налево что?

– Не знаю.

– Нет, знаешь, ручей, через который мы перешли по плотине. Ручей безусловно впадает в Днепр, значит мы в треугольнике, а Любеч вероятно в его углу.

– А, я не подумал.

Мне очень хотелось Володю научить – не географии, которую он знал лучше меня, но способу определять местонахождение. Это была не наука, а просто память того, что ты видел или знал.

Мы нашли источник, наполнили бутылки и не спеша пошли, клонясь направо. Мне хотелось посмотреть на Днепр до Любеча.

Вдруг мы оказались на берегу. Днепр расстилался перед нами. У меня захватило дух. Вот река! Что твоя Волга!

– Посмотри, это еще до притока Припяти и Десны! – даже Володя был поражен.

Вероятно, мы не более чем в двух верстах от Любеча. Теперь пошли осторожно. Неожиданно наткнулись на плетень. За ним старые развесистые яблони с маленькими зелеными яблоками.

– Это начало садов. Давно их тут не подрезали.

Я пригнулся к земле и посмотрел под низкие ветви. Ничего не было видно. Честаков сказал, что красные в садах вырыли окопы, но, как видно, дальше.

Мы шли вдоль плетня по направлению к Днепру. Большие были сады, но на вид уже лет пять не обрабатывались. Плетень кончился и пошел ивняк. Я оставил Володю с нашими мешками и осторожно полез через ивняк. Это были плавни. Вдруг я оказался у заводи. Она была неширокая, может, 15-ть сажен поперек. На той стороне песчаная отмель. Остров? Полез через кусты вдоль заводи. Узкий рукав заводи поворачивал влево, а в конце – открытая вода. Вверх по рукаву – навес для лодки. Рукав не больше сажен двух-трех поперек. Попробовал посохом, дно вроде песчаное. Решил идти вброд. Снял сапоги и пошел. Глубже, чем я думал. Пришлось сапоги над головой держать. Вылез на ту сторону в ивняк, слышу – голоса от навеса идут. Я притаился. Кто-то в лодке плывет по рукаву. Посмотрел, четыре солдата. Выехали в заводь, с острова кто-то кричит. Вытянули лодку на мель и исчезли куда-то в кусты. Я решил подождать. Скоро из кустов вышли три солдата, отчалили и назад в рукав погребли. Как видно, на острове пост какой-то, сторожевое охранение. Посчастливилось, что я раньше прошел.

Полез дальше. Наконец дошел до края кустов. Передо мной мель и шагах в ста помостья. Налево, можно сказать, набережная: сваи высокие и на них как будто дощатая пристань. Наверно, в половодье употребляют. За ней дом, только крыша видна, а второй дом у начала помостьев. Ну, так Честаков и говорил. На мели у воды вытянуты несколько лодок. Осмотрел, нужно обратно к Володе идти. Хорошо, что разведал, подумал я.

Полез обратно и только тогда сообразил, что продираться нужно будет с мешками, да и брод в темноте. Это будет не так легко.

На обратном пути пробрался ближе к навесу. Подумал, если ночью там никого не будет, может быть, лодку можно будет спереть.

Прокарабкался к самому навесу. Никого нет. Тропа к навесу идет. Очень осторожно прополз вдоль тропы. Вышла она на лужок, за ней сарай. Не посмел дальше лезть. Перешел тропу и перелез кусты по их садовому краю. Вдруг увидел свежую взброшенную землю. Э, вот где окопы! Ну и дураки же, ничего не видно, зеленые могут подкрасться прежде, чем красные их увидят.

Добрался наконец до плетня.

– Откуда ты, дурак? – сказал Володя, захлебываясь. Я, не думая, появился со стороны сада и напугал его.

Уже начинало темнеть. Я объяснил Володе диспозицию и предложил украсть лодку.

– Ты с ума сошел! Мы можем наткнуться на красных!

– Не думаю, смена, вероятно, каждые четыре часа. Лодка привязана плохо. Могла оторваться и уплыть.

– Да ты сам говоришь, что течения в затоне нет.

– Да, это правда, но если лодка пропадет, они об этом не подумают.

– Ну зачем рисковать?

– Просто потому, что продраться с мешками почти невозможно. Ивняк такой густой, что будет слышно как бурелом.

Стемнело. Мы пошли по краю кустов со стороны сада, в случае чего могли бы нырнуть в ивняк. Останавливались каждую минуту и слушали. Были звуки, но далеко. Дошли до навеса. Лодка даже не привязана, фалинь просто брошен на подмостки. Мы положили наши мешки в лодку и отчалили. Тут было мелко, и я стоя отпихивался одним веслом от песчаного дна. Скоро стало слишком глубоко и пришлось грести. Уключины скрипели, я поднимал весла очень медленно и опускал их осторожно. Вышли из рукава в затон, повернули вдоль берега. Наконец вылезли в кусты. Я положил весла в лодку и отпихнул ее. Как видно, было какое-то течение, потому что вскоре лодка была на середине затона и медленно двигалась к Днепру.

Как мы ни старались, последние несколько сажен через кусты были шумные. Нервы были натянуты. Наконец мы были на краю мели. Володя очень правильно сказал, что нам нужно пробраться к сваям, а не пробовать переходить мель. Сгорбившись, мы дошли до свай и смогли выпрямиться. Песок хрустел под ногами. Наконец добрались до помостьев. Оставив Володю с мешками, я пополз к дому. У крыльца я постучал в дверь и замер. Казалось, очень долго никто не открывал.

– Иван Калинин? – я спросил шепотом.

– Где второй? – он ответил.

— У помостьев.

— Проходите в дом, — а сам вышел.

Через минуту он вернулся с Володей и мешками. В комнате было темно. Калинин зажег лампу. Ему было лет шестьдесят, сгорбленный, но на вид сильный.

— Вы нас ожидали? — я спросил с изумлением.

— Ожидал.

— Да как вы знали, что мы сегодня придем?

— Э, брат, мы все знаем.

Я никак не мог понять, как они друг с другом сносились, но спрашивать было нельзя. На столе стояли две миски с ячменной кашей, в которую были разбиты яйца с кусками сала. Стояли два стакана и бутылка кваса.

— Поешьте теперь, нужно будет ждать.

Он сел на лавку против нас.

— Часа через три будет проходить буксир с баржами, я вас на них посажу. Баржи нагружены досками с лесопилки. Влезете и укройтесь. Между досками и бортом пространство, там места достаточно. У вас пищи хватит на три дня? Я вам воды и яблок дам. Наверх не выходите, пока не услышите, что баржи друг о друга бьются и не движутся. Это будет Киев. Остановятся у Подола. Как вы на берег слезете, не знаю. Может, лодки какие-нибудь будут проходить, вы их окликнете. Красные вряд ли там будут, да сами увидите. Команда вся наша, но вы с ними не якшайтесь.

Мы поговорили о Честакове.

— Когда красные Любеч-то заняли?

— Да уж несколько дней. Они нам тут мало мешают, всех боятся, да мы им покою и не даем. Недолго тут будут. Думали с Черниговом связаться, да не вышло, мы их пришпилили.

— В Олешне слышна была канонада.

— Это их канонерки, ночью больше, лупят да вреда мало делают.

— Что, их много тут?

— Да с тысячу, наверное, высадили, да они неумелые. Их командиры все какие-то интендантские чиновники, не понимают военного дела.

Ставни были закрыты и душно в доме.

— Что, к вам-то сюда не заходят?

— Заходят, днем. Они ночью боятся двигаться.

Я спросил про остров.

— Ну, там у них охранение.

Я ему сказал, что мы лодку из-под навесу взяли и пустили ее по течению.

— Это некстати, зря вы это сделали. Они ее искать будут. Ну, теперь уж поздно.

Да, Володя был прав, глупо я это сделал.

Несколько раз Калинин уходил куда-то и, возвращаясь, говорил: „Нет, еще нет". Сперва он денег брать не хотел, но когда я ему дал николаевки, десять десятирублевок, он стал их перевертывать под лампой. Долго ими любовался.

– Ах, давно таких не видел. На это раньше дом купить можно было, а теперь что? Ну, возьму, да не за что.

Наконец, вернувшись, распорядился:

– Вот вам яблок да две бутылки квасу. Пора идти.

Он нас вывел во двор, затем на сваи, слезли на песок и пошли вдоль помостья к реке. Было светлее теперь, где-то была луна. Днепр был покрыт туманом. Пока он спускал лодку, я прислушался. Сверху по течению глухой стук какой-то машины. Мы отчалили. Уключины его были хорошо смазаны, почти не было звука от весел, только легкий плеск на носу.

Казалось, что по крайней мере полчаса гребли в тумане. Вдруг перед нами прошел буксир, как темная тень, глухо стуча.

– Вторую или третью, – раздался глухой голос с буксира. – Как у вас там?

– Да живем, Осип, живем, – Калинин сказал глухо.

Первая баржа медленно прошла.

– На третью, – сказал Калинин и повернул лодку.

Прошла вторая.

– Ну, готовьтесь, и храни вас Бог.

Третья баржа медленно проходила.

– Ну, лезьте!

Я кинул мешки на баржу. Мы вскарабкались и через минуту были на досках.

– Спасибо большое. Всякого счастья.

– Не за что.

И лодка отвалила. Через минуту мы слышали разговор Калинина с кем-то, но его уже не было видно.

– Подожди тут! – я пошел искать дыру, через которую спуститься в трюм. Нашел две, одну побольше. Спустился и посмотрел. Места между досками и бортом было фута два. Позвал Володю, и мы оба спустились в коридор.

Я должен объяснить, что верхний слой двухдюймовых досок был нагружен вплотную к борту и только там, где борт скруглялся к носу, оставались дыры. Но борт был выпуклый и под верхним слоем между бортом и досками был оставлен проход, сверху не видный.

Мы устроились под верхними досками недалеко от дыры. Сквозь нее было видно небо. Скоро мы заснули.

Когда я проснулся, пятно света на полу баржи освещало и нашу конуру. Я посмотрел в дыру, но солнца не было видно. Коридор был длинный, и, чтоб ноги не заснули, мы оба по очереди прохаживались. Времени было много, торопиться было нечего. Мы поели,

поговорили, становилось очень жарко, клонило к дремоте. Мы сперва ходили к дыре подышать свежим воздухом, но в конце концов решили вздремнуть.

Володя проснулся первый и разбудил меня: „Что происходит?” Баржа качалась, и вода снаружи иногда хлестала в ее бок.

– Понятия не имею. Попали в какое-то течение, может, приток?

– Вероятно, Припять.

Качание продолжалось недолго, вдруг что-то звонко ударило в борта, и звук загремел в коридоре, точно мы сидели в пустой бочке. Через минуту кто-то пробежал по доскам. Воротился.

– Эй, у вас дыра!

– Так это так грузят.

– Ты, товарищ, не ври, вы, наверное, людей возите.

– Да честное слово, зачем нам?

Мы оба перестали дышать, разговор был над самой дырой.

– Знаю тебя, стерва, врешь, как сивый мерин!

– Нас же осматривали в Лоеве.

– Да они что знают!

Но голоса удалялись. Я только заметил, что баржа перестала двигаться.

– Ух! Это было близко.

– Он даже в дыру посмотрел, – прибавил Володя.

Вдруг откуда-то послышались опять голоса. Кто-то кричал, только отрывками было слышно. Женский голос, плаксиво: „Да товарищи... он здешний... мы только...” Голоса удалялись.

– Это что, Киев? – спросил Володя.

– Нет, еще рано.

Баржа не двигалась еще более часу. Наконец опять пошли, баржа покачивалась, и вода снаружи тихо бурлила. Хотя было душно, но хорошо пахло смолой.

Прошло еще часа два, когда вдруг дно баржи заскрипело, она накренилась, выпрямилась, какие-то глухие звуки, скрип, и баржа остановилась.

– Теперь что?

– Черт его знает! Сели на мель?

Кто-то опять пробежал над нами: „Хорошо, хорошо, да ты...” Прошло еще несколько минут, баржа задрожала, покачнулась, послышался плеск воды, и баржа выпрямилась, качаясь из стороны в сторону.

Судя по беготне, наша баржа была не единственной на мели. Прошло довольно много времени, пока двинулись опять.

Вдруг Володя спросил:

– Который час?

– Не знаю, половина четвертого, четыре.

– Отчего так темно вдруг стало?

Я встал посмотреть на небо и остолбенел. Наша дыра куда-то исчезла. Володя, наверно, почувствовал мое волнение, потому что вскочил и подошел.

– Что случилось? – сказал он придавленным голосом.

– Я не знаю.

– Куда она исчезла?

Я пожал плечами.

– Ты знаешь, что? Доски наверху сдвинулись, когда мы сели на мель, – сказал Володя спокойно.

Я был поражен его спокойствием. Меня охватила какая-то внутренняя паника. Не одна доска, а все верхние три слоя, а может даже четыре, сдвинулись вперед. Я полез кверху, убедился, что невозможно было протиснуться далее четвертой с верха доски.

В моей голове пролетало, что нужно поднять верхнюю доску и как-то ее пихнуть в сторону, затем попробовать сделать то же со вторым ярусом, но я тут же понял, что это невозможно. Я спустился, но продолжал смотреть вверх. Володя, как видно, понял наше положение.

– Теперь что? – спросил он глухим голосом.

– Попали, брат, как зайцы, в западню.

Нужно было обдумать. Мы сели опять. Я этого никак не ожидал. Вдруг Володя сказал:

– Послушай, если доски двинулись, может, они открыли дырку сзади. Там была дыра небольшая.

– Ты прав, пойду посмотрю.

Я пошел по коридору. В конце первого слоя досок проходил свет, но дырки не было. Дальше то же самое.

– Ну, брат, придется попробовать как-то наши доски двинуть.

Небольшие уступы между досками были как маленькие ступеньки. Я поднялся по ним, сгорбился и попробовал спиной поднять доски. От напряжения у меня затряслись ноги и мне пришлось слезть. Доски не двинулись.

Опять сели и стали обдумывать.

– Знаешь что, попробуем двинуть их рычагами, посохи наши крепкие, – предложил Володя.

– Попробуем.

Опять я полез. Володя держал мои ноги. Употребляя оба посоха, как рычаги, я напряг все свои усилия, но, насколько я мог видеть, без всяких результатов. У меня тряслись теперь не только ноги, но и руки. Пришлось слезть. Вдруг Володя сказал:

– Смотри, пятно света стало больше.

Я не заметил, как что-то сдвинул.

– Говорят, что если можно просунуть голову, то и тело пройдет, – сказал он неуверенно. – Это правда?

– Не знаю, никогда не пробовал. Сейчас и голова новорожденного на прошла бы.

Я стал снимать сапоги.

– Что ты делаешь?

– Когда лезешь, голыми ногами лучше держаться.

Полез опять. Действительно, босиком было легче. Я продолжал работать рычагами и плечом. Вдруг неожиданно где-то двинулось, и я почувствовал сильную боль. Конец какой-то доски врезался мне в плечо. Но свет не увеличился. Я слез опять.

– Дай я попробую! – Володя разулся.

Он поработал несколько минут, но судрога связала ему ноги, и он спустился.

Мы оба вытянулись отдохнуть. Мы уже проработали более четырех часов с почти что незаметным результатом.

– Сколько весят эти доски? Ты математик, подсчитай.

– Я же не знаю, сколько их.

– Притворись, что знаешь.

– Да к чему это?

Я говорил, лишь бы не молчать, потому что заметил, что Володю опять объяло отчаяние. Но он вдруг как будто проснулся.

– Это все ерунда, но знаешь, что я подумал, рычаги наши слишком длинные, они должны быть на фут короче.

– Ну давай отрежем.

У меня так тряслись руки, что мне было трудно держать нож.

Уже было темно. Мы поели. Было приятно есть яблоки, кислые, они утоляли жажду. Мало-помалу мы отдохнули. Я опять полез с укороченными рычагами. Сперва ничего не получалось, затем внезапно доски двинулись с такой быстротой, что я, только судорожно ухватившись за что-то, удержался от падения. Я был так ошарашен, что не выдавил не звука. Я вылез наверх и распластался на досках. Голос Володи снизу заставил меня опомниться.

– Что случилось? Где ты?

Я заслонял свет, и Володя не мог понять, куда я делся.

– Мы победили, я снаружи! Лезь сюда.

Володя появился из дыры. Мы уселись на досках, скрестивши ноги.

– Ты молодец, мы никогда бы не выбрались, если бы ты не подумал о коротких рычагах.

Мы стали глубоко дышать. Теплый ветерок дул с реки. Берег был далеко. Только тополя возвышались, указывая правый берег.

– Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух...

– Что ты вдруг в Пушкина ударился? – Володя спросил.

– Не знаю, у Пушкина к каждому случаю что-нибудь есть.

– Ну, слава Богу, что выбрались! – сказал Володя с чувством.

– Да, и святому Николаю, и Иверской Божей Матери! – прибавил я.

Нам не хотелось спать. Мы разлеглись на досках и смотрели на звезды. Стало светать.

– Нехорошо. Придем в Киев днем. Слезать будет трудно.

Но нам посчастливилось. Стали замедлять ход. Нам страшно было снова лезть вниз, вдруг опять доски сдвинутся. Я заметил, что на носу баржи борт подымался и была глубокая тень. Показал Володе.

– Пойдем к носу и спрячемся в тени.

Проползли к носу с мешками. Баржи шли медленнее и медленнее и вдруг стали стукаться одна об другую.

– Это, должно быть, Киев, – я сказал неуверенно.

– Смотри, что-то сверкает вдали, – Володя показал пальцем.

– Что это может быть?

Ни я, ни Володя Киева не знали. Потом оказалось, что отблеск был от креста Андреевского собора.

– Как мы слезем?

– Не знаю, может быть, можно скинуть две доски, положить на них наши мешки и пустить вплавь? – предложил Володя.

Я не успел отклонить, как послышался скрип уключин. В низком тумане вдруг появилась лодка с одним человеком, медленно гребущим по течению. Я отчего-то решил, что это кто-то из команды, друг Калинина. Когда он поравнялся, я окрикнул негромко:

– Эй, там!

Человек перестал грести, обернулся:

– Это кто кричит?

– Друзья, наши!

– Чьи друзья?

– Да ваши!

– У меня нет друзей! – он поднял весла.

– Отвезите на берег – заплатим!

Он подумал.

– Зачем вам на берег? Содом и Гоморра, вот что это!

– Он сумасшедший! – процедил Володя.

– Мы из твоей Гоморры всегда уйти можем!

– Лот из нее ушел, а жена в соляной столп превратилась.

– Да тебе какое дело, что мы в соляные столпы превратимся, мы ж тебе заплатим.

– Что ты ему чепуху мелешь? – сказал Володя обиженным голосом.

– Молчи, он чудак, – прошептал я. – Ну, Лот, сколько возьмешь?

Человек повернул лодку и подгреб к барже. Он оказался дряхлым старичком. Глаза у него разбегались. Володя был прав, он действительно был не в себе. Он что-то бормотал, и мы слышали только отрывки: „и храм наполнен был чадью... и голос Всевышнего... и семь бедствий...”

Он подвел лодку к барже, и пока он не успел передумать, мы прыгнули в лодку.

— Ну, если хотите в Гоморру ехать... Деньги есть?

— Говорил тебе, что заплатим. Сколько хочешь?

Он не ответил. Стал поворачивать лодку и ударил кормой в баржу.

— Это кто сделал?

— Да ты сам!

Он продолжал бормотать себе что-то под нос с каким-то припевом: „и на дне сих вод живет ужасное зверище, и зверь, который был и коего нет, и он восьмой...” Он щелкнул языком: „из Ефизцев”.

Володя вдруг ощетинился:

— Совсем нет!

— Ну тогда из другого Послания.

Старик греб плохо, то одним веслом, то другим.

— Все равно откуда, смотри, куда плывешь! — я рассердился.

Старик сгримасил:

— Ага! а кто ехал на бледной лошади?

— Не знаю, какие тут лошади, греби!

— Я посмотрел и узрел, что имя его было Смерть. Апокалипсис!

— Совсем нет! — взъерошился Володя.

— Ну тогда что-нибудь другое.

Лодка наконец стукнулась о набережную. Мы вылезли, за нами старик.

— Сколько тебе?

— Пять копеек божьих и 30 копеек диавольских.

— Он совершенно сумасшедший! — прошептал Володя.

— На тридцать рублей!

Он посмотрел на советские бумажки, плюнул на них и сунул в карман. Вдруг разозлился на свою лодку. Дернул веревку, лодка ударилась о набережную.

— Что ты, мать всех блядей и отвращение земли! Римлянам!

Он мигнул Володе и потянул за веревку.

— Пойдем, блядь!

Мы отошли.

— Он над нами смеется, — сказал Володя.

— Пускай. Тебе что за дело.

— Ну, пойдем в город.

— Смотри, никого нет, ты что, хочешь быть единственным на улице?

— Что ж мы будем делать?

— Пойдем, кого-нибудь встретим.

Но никого не было.

— Что такое „Цукерня”?

Володя пожал плечами.

– Это что, от немецкого „цукер"?

Володя отчего-то был так потрясен сумасшедшим стариком, что ничем не интересовался.

– Постучим, может откроют?

– Да который теперь час?

– Часов шесть.

– Рано их будить.

– Не думаю, если они пекут свои пирожные и пирожки.

Я постучал. Открыл дверь кругленький еврей.

– И что я вам могу сделать? Мы еще закрыты.

– Да мы только что приехали, никого на улицах нет, думали, вы, может быть, нам чаю дадите?

– А вы откуда приехали?

– Из Гомеля.

Он всплеснул руками:

– Из Гомеля? Как вы приехали?

– Да на барже.

– Ох, какое приключение! Сарочка! Тут два господина из Гомеля приехали! Вы лучше входите.

Мы вошли в лавку, оттуда хозяин нас провел в большую комнату, где суетилась похожая на него кругленькая еврейка. Это была кухня. Хозяин представился: „Израиль Борисович Темкин, а это жена Сара Карловна". Они всплескивали руками от удивления, что мы приехали из Гомеля. Сара Карловна сейчас же поставила самовар и накрыла стол. Я рассказывал о нашей поездке под аккомпанимент их „ай-яй-яй" и „ой-ой-ой". Кормили они нас невиданными сластями. Мне хотелось узнать про Киев. „Ох, господин, тут очень-очень плохо. Тут всех бьют и морят." Из его рассказов получалось, что хуже, чем в Москве. Но судя по тому, чем они нас кормили, еды было много. Да эта сторона меня мало интересовала. Я хотел знать насчет Чека. Я сказал, что нам надо на Липки. Слово „Липки" так их испугало, что Темкин даже вскочил.

– Вы на Липки? Ой-ой-ой-ой-ой, да это как в пасть льва туда идти! Там все большевики сидят.

Я стал расспрашивать. Темкин рассказывал живо. Жена его повторяла за ним самые окрашенные фразы. Все, по их рассказам, было хорошо, пока немцы были, но когда немцы ушли, тогда „ох, какое несчастье нас схватило". Они говорили об „украинцах", и тут я совершенно запутался.

– Не те украинцы, что с немцами были.

– Да я слыхал, что при немцах был гетман Скоропадский, тогда была независимая Украина?

– Ох, совсем не то, тогда немцы правили.

– А какие же украинцы? Когда немцы ушли, большевики пришли.

– Совсем не пришли.

– Да кто же?

– Австрийцы пришли, ох, как плохо было.

– Австрийцы? Вы сказали – украинцы.

– То ж самое – австрийцы, украинцы, ох, как они нас били!

– Да кто они такие?

– Ах, украинцы, что из Австрии пришли.

– Как украинцы из Австрии?

– Да Петлюра их привел.

– Кто такой Петлюра?

– Не знаю, он из Австрии пришел.

– Да вы мне объясните, кто он?

– Да я уже сказал, он красный украинец.

– Куда ж он делся?

– Он никуда не делся, он в Виннице и Жлобине, ох, он придет и опять нас бить будет.

– Так вас тогда большевики не бьют?

– Бьют, очень бьют.

– Так разницы нет?

– Есть разница, большевики всех бьют, а Петлюра только нас бьет.

По его рассказам, ходить по улице было опасно, потому что „всех бьют, если не красный". Получалось много опасней, чем в Москве. Но мне как-то не верилось. По его рассказам, уже тысячи были перебиты и Петлюрой и большевиками, тем не менее мы сидели позади его „цукерни", ели неслыханные угощенья, и он нас впустил, даже не спросив, кто мы такие. Когда я допытывался, что, может быть, не так опасно ходить по городу? – он только цокал языком и прибавлял: „ох, придут петлюровцы и большевики и всех нас побьют".

Я расспросил его, как попасть на Подвальную. Там будто бы жили двоюродные Володи. Они были орловские помещики Малоархангельского уезда, и Володина мать перед отъездом дала ему их киевский адрес. От них я надеялся узнать больше, чем от Темкиных, которые сами говорили, что они уже два года с Подола в Киев не ходили.

Мы поблагодарили Темкиных, заплатили невероятно дешево за еду и пошли. Теперь было довольно много движения. Мы опять надели наши красные звезды. Тут были трамваи.

Я спросил прохожую старуху, как попасть на Крещатик.

Она переспросила:

– Крещатик, говоришь? Так вон трамвай на Царскую площадь, там Крещатик. Царскую площадь, я говорю, Царскую, понял? – Она сказала вызывающе, подчеркнув „царскую". – Вы что, красные? – спросила она и плюнула.

– Нет, не красные.

– Ну, тогда с Богом.

На трамвае я сказал билетчику: „Крещатик". – „Слезайте на Царской площади". Странно, подумал я, судя по тому, что рассказывали Темкины, здесь хуже Москвы, но если бы в Москве была „Царская площадь", то никто бы не посмел ее вслух называть, а тут и старуха, и билетчик громко говорят: „Царская площадь".

Слезли. Крещатик.

– Да что нам Темкины наговорили? Смотри, ходят тут люди хорошо одетые, отхоленные, точно в старое время.

Магазины и рестораны открыты, извозчики, женщины в красивых летних платьях, совсем не Москва! Я посмотрел на витрину, вдруг увидел свое отражение в стекле и испугался:

– Боже, на что мы похожи!

– Я даже не подумал, – сказал Володя с ужасом.

– Я надеюсь, твои родственники не примут нас за бродяг.

Киев оказался гористый. Крутые улицы поднимались от Крещатика. Нашли Подвальную и адрес Жездринских. Оказался великолепный доходный дом. Вошли, лифт, на нем написано: „В бездействии". Это уже больше на Москву похоже. Полезли на третий этаж. Простояли перед дверью несколько минут, не решаясь стучать.

– Позвони! – сказал Володя.

– Да звонок, вероятно, не звонит.

– Ну попробуй.

Звонок не только звонил, но был слышен снаружи.

– Отчего мы шепчем?

– Не знаю.

Дверь приоткрылась, в ней появилась барышня, посмотрела на нас с недоумением и спросила:

– Кого вы хотите видеть?

– Да Зина, это я, Володя.

– Володя, – повторила она и посмотрела через плечо: – Мама, тут Володя приехал.

– Откуда? – послышался голос.

– Из Москвы.

– Из Москвы?

– Мы очень грязные.

– Это кто? – спросила высокая дама.

– Это Николай Волков, мы вместе приехали из Москвы.

– Ах, ну входите, вон ванная, можете вымыться.

Я почувствовал, что наш приезд был не особенно приятен Володиным родственникам. Я ожидал, что они расцелуются, что будут спрашивать – как и почему.

Пошли прямо в ванную. Мы разделись, вымылись и одели чистые рубашки.

– Я думал, что ты их хорошо знаешь.

– Да, да, я их очень хорошо знаю.

— Чего же они нас мордой об стол встречают?

— Я не знаю.

— Если нужно, можете занять бритву Игоря, мыло в шкапчике, — сказала дочь через дверь.

Ни я, ни Володя не брились по-настоящему, но решили побриться. Была горячая вода!

Мы вышли в столовую, стол накрыт для утреннего завтрака. За ним сидели мамаша с дочерью. Вошел сын, в халате.

— А, вы очень рано приехали, где вы остановились?

— Мы приехали сегодня утром, баржей, — сказал я, потому что Володя открыл рот, но посмотрел на меня вопросительно.

— Почему баржей? Почему не поездом?

— Поездов нет между Москвой и Киевом, из-за зеленых.

— Зеленых? Ах да, нам кто-то говорил о них. Володя, расскажи про семью.

— Мама шлет вам привет.

— Да, мы давно ничего не слышали от нее. У нас тут такие ужасы случались, сперва немцы ушли, потом эти ужасные большевики пришли. Бывают дни, когда даже мяса в лавках нет. Я не понимаю, как могут быть такие беспорядки?

— Да, это правда, — сказал я, не зная, что на это ответить.

Мамаша обратилась к Володе:

— Ты знаешь тетю Лизу, у нее реквизировали две комнаты и посадили каких-то людей, слава Богу, они милые, но бедная Лиза должна разделять с ними ванну.

Эти „невероятные несчастья" продолжали сыпаться на нас. Мне стало тошно слушать такую ерунду.

— Простите, который час? У нас назначение на Липках.

— Сейчас 9:30. Вы должны придти к обеду как-нибудь. В четверг у нас играют в бридж. Позвоните.

Мы поблагодарили и вышли на улицу. Меня охватил смех. Володя посмотрел обиженно.

— О чем ты?

— Да тебе разве не смешно? Мы, два дурака, являемся к твоим родственникам, бежав из Москвы через огонь, воду и медные трубы, а они тут умирают от ужаса, что иногда мяса нет, у бедной тети Лизы только полванны, но все же по четвергам в бридж играют. Какой ужас! Про Москву даже никто не спросил!

Володя засмеялся:

— Действительно смешно, они даже не знают, что поезда не ходят.

— В общем, это понятно, все зависит от собственных испытаний. В Москве про ванны уже давно забыли и про мясо тоже. Ну, слава Богу, что такие вещи все-таки кого-то еще шокируют.

Мы вышли на Крещатик. Магазины открыты, хвостов нет, разговаривают громко, вид почти что довоенный. Нашли Анненскую,

полезли в гору. Прекрасный дом. Большими буквами написано „Глав-Сахар. Департамент комиссариата снабжения".

Вошли в переднюю. Большая, чистая, маленький прилавок. Сидит девица. Я подошел, говорю:

– Нас из Москвы прислали, нам приказали сюда явиться. Вы нас направите?

Девица взглянула на нас без интереса, сказала: „Садитесь, вас вызовут".

Мы уселись на удобные стулья у стены. Какие-то девицы с бумагами шныряли из одной двери в другую. Несколько хорошо одетых мужчин проходили, останавливались, разговаривая друг с другом. На нас никто внимания не обращал. Несколько раз проходил очень элегантный молодой человек в военной форме. Раз остановился у девицы за прилавком, посмотрел на нас мельком и ушел. Над девицей – часы на стене. Когда мы пришли, было без пяти десять. Без четверти одиннадцать нас все еще никто не вызывал. Мы стали гадать, кто из проходящих чем занимается и стали придумывать им имена. Какой-то толстенький господин, мы его прозвали „Шарик", – вероятно, бухгалтер. Большой, обрюзглый – „Бегемот", элегантного молодца мы прозвали „Фанфарон".

Какая разница между киевским и московским Глав-Сахаром! Ни один из проходящих на чекиста не похож. Все чисто, выкрашено, не то что в Москве!

11:20. Что они, про нас забыли? Я встал и пошел к девице.

– Вы доложили, что мы приехали из Москвы?

– Да, это знают.

Я вернулся на место.

– Я не понимаю, Загуменный сказал, что это так важно, чтобы мы добрались до Киева, а тут на нас даже не смотрят, – сказал Володя в сердцах.

– Вы кто такие? – вдруг спросил „Фанфарон".

– Да мы из Москвы, Любощинский и я, Волков, специальной команды.

– А, идите за мной. Вы какой Волков, родственник гусара?

– Вы про Бориса или Льва говорите? Мой отец был Конного.

– Так вы Владимирович, брат Петрика?

– Да. Вы его знали?

– Знал, в Пажеском.

– А вы кто такой?

– Я Васильчиков, лейб-драгун.

Он нас провел в большую светлую комнату со створчатым окном, выходящим на балкон и сад. За большим столом сидел очень элегантный офицер, смуглый, с усами. Я подумал – ротмистр, капитан или полковник.

– Это Волков и Любощинский из специальной команды из Москвы, – сказал Васильчиков.

— А, мы вас раньше ожидали. Как вы проехали?

— Через Гомель.

— Гомель? Почему Гомель?

— Мы только до Брянска доехали, не было поездов. Мы попарно разбились, и я выбрал Гомель. Оттуда мы проехали пароходом в Киев, да не вышло. Пришлось через зеленых. Они нас посадили на баржу, и мы приехали сегодня утром.

— Через зеленых, вы говорите? — повторил полковник с изумлением.

— Да, они нас приютили.

— Зеленые?!

— Да, они нам все устроили.

Он покачал головой в недоумении.

— Разрешите спросить, остальные приехали?

— Нет, никого еще нет, вы первые.

— Они вряд ли доедут, это вам посчастливилось, — сказал Васильчиков.

— Они наверно доедут, — сказал я уверенно.

— Почему вы думаете?

— Потому что они все регулярные солдаты.

— Да, это верно, — сказал полковник.

Он встал и вышел на балкон с Васильчиковым. Мы не слышали, о чем они говорили. Когда они вернулись, полковник сел и долго думал о чем-то.

— Я хочу, чтобы вы поехали в Карловку, у нас там гарнизон. Это за Полтавой. Васильчиков даст вам проездную. — Он посмотрел на Васильчикова. — Когда сегодня поезд туда идет?

— Пассажирских нет, их остановили, есть военно-товарный в десять вечера. Я им скажу.

Что за ерунда, посылают нас в Киев и вдруг отсюда в какую-то Карловку шлют, зачем? Этим кончилась наша беседа. Васильчиков повел нас в свою комнату. Дал нам проездные и две бумажки, командирующие нас в Карловку, и два конверта. „Тут достаточно денег на проезд, на всякий случай."

Совершенно сбитые с толку, мы вышли из Глав-Сахара. Спросили, где железнодорожная станция. Дошли до Ботанического сада.

— Смотри, как это дерево расщеплено! — указал Володя.

— Это снарядом.

Мы повернулись и посмотрели на университет. Университетское здание выгорело, большие дыры были повсюду. Правду Юшкевичи говорили, что университет был осажден.

Дошли до станции. Нашли коменданта. Он или не знал, что идет поезд, про который говорил Васильчиков, или не хотел говорить. Он сказал, что никаких поездов на Полтаву нет. Пошли искать. Далеко на запасном пути на товарной станции стоял поезд. Мы спросили двух железнодорожников, этот ли поезд идет на Полтаву.

Они не знали. Зашли в какую-то будку. Тут сидели три человека. Спросили.

– Да зачем вам в Полтаву? Оттуда все драпают.

– Почему?

– Как почему? Белых боятся.

– Там никаких белых нет, – сказал другой.

– Как нет, на Донце есть.

– Так Донец же далеко.

– А може, не так далеко.

Все сидели, молчали. Наконец я спросил опять:

– Поезд этот идет на Полтаву? Нам в Карловку нужно.

– Да, идет, только он пустой.

– Когда ж он уходит?

– Да часов в десять, может, позднее.

– Верно, что раньше десяти не пойдет?

– Да. Но пассажиров он не берет.

– Мы не пассажиры, мы командированные.

– Ну, это другое дело, да мне это знать не нужно.

Вернулись в Киев, опять на Крещатик. Я заметил маленький ресторан. Написано снаружи: „Обеды и ужины, тоже поставляем чай и кофе, а также пирожные". Володя сомневался, стоит ли заходить.

– Ты не думаешь, что это какая-нибудь западня?

– Почему западня?

– Да большевики же не позволяют рестораны.

– Я думаю, что тут еще можно.

Вошли. Несколько человек сидят, едят. Подошли к нам с меню. Я посмотрел и глазам не поверил. Пять разных жарких! Одно из них – „венский шницель" с жареным картофелем и горошком. Я молча указал на это пальцем Володе. Заказали.

– Да это конина, наверно, – прошептал Володя.

Принесли. Телятина, и великолепно приготовленная. Вот-те Киев!

Поели замечательно, даже не дорого, и берут советские деньги.

– Ты знаешь, нам нужно карту Южной России, зайдем в этот книжный магазин.

Старый еврей в очках.

– Карту? Да я книги продаю, никто не покупает. Откуда вы, с луны, что ли? Географию уничтожили советчики, никаких карт нет.

Мы поблагодарили и стали уходить.

– Постойте, я не сказал, что у меня карты нет.

Он стал перелистывать какие-то старые альманахи.

– Это не карта, но все-таки города и железные дороги есть.

Он вырвал страницу из альманаха и дал мне. Я ее развернул, карта железных дорог.

— Сколько это будет?

— Сколько, зачем сколько? Вы альманах 1912 года покупать не будете?

— Отчего, куплю, интересно.

— Тогда 2 копейки.

— У меня копеек нет.

— Ну, у меня тоже копеек нет, я вам дарю.

Поблагодарили, пошли.

— У нас время есть, пойдем посмотрим Святую Софию.

Полезли в гору.

— Первый собор, построенный в России, — сказал Володя.

— На первый не похож.

— Да его перестроили в 18-м веке.

— Жалко.

Внутри пахло ладаном и воском. Кроме пышного иконостаса, остальное могло быть 11-го века.

— Знаешь, за иконостасом фреска Богоматери Нерушимая Стена, — сказал Володя.

— Откуда ты знаешь?

— Читал.

— Пойдем посмотрим.

— Нельзя, нужно специальное разрешение.

— Не говори глупости, тут же никого нет, Бог нам простит.

— Это не разрешается.

Володя был замечательно уважающий законы человек, пройти в алтарь ему казалось невозможным. Я толкнул боковую дверь и вошел. Он был прав, замечательная фреска Богоматери. Нет, это была не фреска, а мозаика.

— И смотри, Христос со всеми апостолами, тоже мозаика!

— Пойдем отсюда! — сказал Володя, стоя только в дверях.

Он, видимо, был потрясен моим „богохульством".

— Смотри, тут гробница Ярослава Мудрого!

Простая плита, без всяких украшений.

— Можешь себе представить, какая Россия была бы теперь, если бы не было татарского нашествия. Во время Ярослава Россия была гораздо культурнее, чем Европа. Сам князь был женат на Индигерде, дочери Шведского короля Олафа, а дочерей своих выдал замуж, по политическим причинам: Гаральду Норвежскому, королю Франции Генриху Первому и королю Андрею Венгерскому. И знаешь, он думал, что принес их в жертву варварам. Сохранились письма, где дочери плачутся, что он приговорил их к жизни среди дикарей.

Я ни разу не слышал от Володи такой длинной речи.

— Нет, подумай, какая бы теперь была Россия!

— Это, милый, если бы да кабы. А насчет татар, они нас заставили соединиться и принесли много новых идей.

– Не знаю, лучше бы без них. Смотри, тут гробница Владимира Мономаха!

– А святой Владимир тоже тут похоронен?

– Не думаю, некого спросить.

Мы пошли искать фрески, которые, как Володя уверял, были в каком-то проходе.

– А Мономах был женат на Гите, дочери короля Гарольда Английского.

Нашли фрески, они были на лестнице. Невероятные какие-то чудовища и рядом будто клоуны. Замечательно красиво.

– Да это какой-то цирк!

– Да, странно, что это в соборе.

– А может и не странно, жизнь тогда была более цельная, религия и обыкновенная жизнь были частью одного и того же, были гораздо ближе друг к другу, чем теперь.

Мы вышли наружу.

– Боже мой, какая красота! Недаром Аскольд и Дир выбрали это место!

Действительно, Киев был замечательно красивый город.

Пошли обратно, накупили провизии на Бессарабке и, когда стало темнеть, отправились на товарную станцию. Нашли открытую теплушку. Нашли соломы, на чем спать, и осмотрели задвижки.

– Какой-нибудь дурак пройдет, защелкнет щеколду, и мы будем в западне.

– Отщелкни на другой стороне на всякий случай.

Мы устроились и стали ждать. Было уже темно, когда поезд тронулся.

– Ну, дай Бог, идет в Полтаву. Судя по карте, дорога поворачивает направо за Днепром.

Мы уселись, свесивши ноги наружу, в открытых дверях. Пошли предместья, мигали огни. В темноте забелели какие-то большие здания. Лавра, наверно. Скоро мост.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Куда мы ехали и зачем – я никак себе не мог уяснить. В темноте проехали Днепр. Он казался бесконечным. Володя молчал. Я стал обдумывать все, что с нами случилось. Если действительно Глав-Сахар был заговором и большевики этого не знали, то наверное где-то высоко в нем сидели заговорщики, очень умные и храбрые. А может быть, ниже в организации были люди, которые каким-то манером устраивали побеги, а верхушка как раз об этом не знала. Загуменный, например, наверняка был не большевик, и в специальной команде большевиков не было. Да и в пополнении их

тоже не могло быть. Южный полк, безусловно, имел соглашение с зелеными, но здесь, в Западном, ясно, соглашения нет, иначе полковник не был бы так удивлен, что мы пробрались через зеленых. Приехали, нас отправляют в Карловку, – зачем? Почему нас не отправили в Южный полк? Возможно ли, что нас посылают перейти в Белую армию и предупредить, что Глав-Сахар, то есть Западный полк, не большевики? Но если белые еще не знают этого от тех, которые перешли раньше, почему они поверят нам? Да и никто в Киеве не поручал нам это прямо.

Я пришел к точке совершенного абсурда. Причины всему должны быть какие-нибудь? Я вернулся к началу.

Ясно, что если это заговор, то никто об этом говорить открыто не может. Но невероятно, чтобы кто-нибудь хоть раз не проговорился. А! Вот возможность! Заговор на том и построен, что каждый, кто думает драпнуть в Белую армию, не знает, что это заговор, и поэтому молчит. Он думает: вот возможность, никто этого не знает, а я, умный, ее вижу! Что касается Советов, то Глав-Сахар работает безукоризненно, а что охрана, бывает, дезертирует – это неважно, их все равно зеленые расстреляют. Все это не объясняло, однако, почему мы теперь ехали в какую-то Карловку.

За Днепром мы не останавливаясь прошли станцию, долго мигали огни, было какое-то очень большое селение.

– Мы идем на восток! – заявил Володя.

Я очнулся от моих размышлений.

– Как ты знаешь?

– Да ты сам меня вчера научил.

– На восток, да. Надеюсь, что не на Нежин.

Но скоро мы стали уклоняться вправо.

– Нет, мы все же идем на Полтаву. Сколько ты подсчитал по карте верст?

– Верст триста.

– Ну так мы можем спать спокойно, раньше полудня вряд ли приедем.

Я, должно быть, спал крепко, потому что когда Володя меня разбудил, солнце уже было высоко над горизонтом.

– Мы проехали какую-то большую станцию минут пять назад. Я не мог прочесть названия.

– Гребенская, вероятно, – сказал я, зевая.

– Совсем нет, последняя станция, на которой мы останавливались, была Ромодан.

– Ромодан?! Мы реку какую-нибудь переезжали?

– Да, переехали недавно.

– Посмотри на карту.

– Это, наверно, Миргород был... Река... река Хорол... а может, это был Псел.

– Так это в Полтаве!

– Нет, в Полтаве Ворскла.

– Сколько верст?

Володя пожал плечами:

– Верст 80, а может меньше.

Мы опять уселись в открытых дверях. Степь, то тут, то там рощи, видимо, дубовые или буковые. Поля обработаны, кукуруза, подсолнухи, пшеница, некоторая уже срезана, стоит в снопах. Люди работают в поле.

– Вот ерунда, тут пшеницу жнут, а в Москве голод.

Деревни вдали, белые мазанки, тополя, арбы, сизые волы с колоссальными рогами.

– Тут где-то Диканька, – Володя засмеялся. – Ах, смотри – это, наверно, Псел.

Мы сидели, любовались. Меня немного беспокоило, что поезд наш пустой. Куда он спешил? Может быть, железнодорожник в Киеве был прав, эвакуируют что-то. Полтаву? Вряд ли. В Киеве кто-нибудь сказал бы. Говорили о Донце. Так это очень далеко. Может быть, большевики врут в своих газетах, или сами не знают, где белые. Что если мы приедем в Полтаву и нас силою отправят обратно в Киев?

Я стал считать столбы. Наверняка я не знал, но думал, что они в 15 саженях друг от друга. Значит, 33-35 столбов на версту. По моим расчетам, мы двигались 25-27 верст в час. Значит, в Полтаве должны быть около полудня. Проходили какие-то станции, которых на нашей карте не было.

– Это гоголевская часть России, – сказал Володя.

– И Левицкий, художник, был из Миргорода.

Мы опять замолчали.

– О чем думаешь?

– Ммм... не знаю, о Полтавской битве... А ты о чем?

– Что мы будем делать, если поездов из Полтавы в Карловку нет.

– Смотри, какой курган!

– Мы должны быть уже очень близко от Полтавы.

... Восток горит зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый...

– Да не так начинается, – перебил Володя: – „Горит восток зарею новой"...

– Ты педант.

... Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит...

– Да, здорово раскатали шведов. Интересно, какие из теперешних полков были под Полтавой?

– Знаю только, что преображенцы и семеновцы были, и навер-

но наш Конный был, потому что он был с Шереметевым, а Шереметев точно был под Полтавой.

Стали мелькать предместья, и скоро поезд остановился в Полтаве. Мы соскочили сразу. Платформа была набита солдатами, и мы еле успели продраться, как они ринулись на поезд. Кто-то кричал: „это не ваш поезд!", но они продолжали нажимать. Мы выбрались на площадь перед вокзалом. Спрашивать о поезде на Карловку, ясно, было невозможно. Мы постояли в раздумьи. Что делать? Лучше посмотреть Полтаву, а потом вернуться на вокзал.

Перед нами стояли три извозчика. Я подошел к одному:

– Сколько довезти нас до города?

– Зависит. Деньги есть? Я московских не беру.

– У нас украинки.

– Они тоже ни к чему, но придется взять. 10 рублей. Куда вам?

– Да мы не знаем, в центр, вероятно.

– Так это Александровская площадь.

– Ну хорошо.

– Вы зачем приехали?

– Да нас в Карловку командировали.

– Поздновато это.

– Отчего поздновато?

– Да оттуда все бегут.

– Кто все, и почему?

– Да красные, – он повернулся и посмотрел на нас. – Да вы тоже красные?

– Нет, мы не красные.

– Чего ж вы звезды носите?

– Это для проезда.

– А! – он стегнул свою лошадь.

– Отчего все эти бегут, красные-то?

– Да от белых!

– А где белые?

– Они скоро тут будут.

На этот раз я сказал: „А!".

Мы встречали какие-то подводы, нагруженные всяким добром, и солдаты сидели на них.

– Вот сволочь, драпают! – процедил извозчик.

– А как далеко белые от Полтавы?

– Да не знаю. На прошлой неделе под Павлоградом были. Они так этой сволочи вдарили, что остановиться не могут.

– А тут что? Белых боятся?

Извозчик не ответил, повернулся к нам и улыбнулся.

Чем ближе к центру, тем больше солдат навстречу. Мы подъехали к Александровской площади, тут на одной стороне толкотня, грузовики, автомобили, военные повозки. Извозчик вдруг стегнул

свою лошадь, повернул в какую-то улицу и покатил, как ужаленный.

— Что там?

— Да сами видели, бегут.

Он поворачивал из одной улицы в другую и наконец замедлил ход.

— Поездов, вероятно, нету в Карловку. Как далеко она?

— Верст пятьдесят.

— Так мы пешком пройдем.

— Так это через реку, отчего вы здесь не подождете?

Я испугался. Неужели это так ясно, что мы к белым бежим?

— Мы все же пойдем.

— Ну, это ваше дело. Тогда накупите провизии дня на два-три и держитесь подальше от дороги.

Остановились у лавки.

— Вы лучше красные звезды снимите! — сказал извозчик.

Мы сняли.

В лавке чего-чего нету. Купили хлеб, чайную колбасу, яблок.

— Зачем вам это все? — спросил лавочник подозрительно.

— Да мы идем в Карловку.

— А... так это другое дело, так вы осторожно.

Поехали мимо Харьковского вокзала (там тоже толпились солдаты) на окраину. Мы слезли, и я дал извозчику 50 рублей николаевками. Он долго на них смотрел.

— Это, братец, не 10 рублей, которые я просил, а сто десять. Чего вы раскошелились?

— Потому что мы вам очень благодарны.

— Да не за что. Перейдете ручей и идите вдоль него. К дороге не подходите, там красные драпают. Вы до Карловки все равно не дойдете, вы их раньше повстречаете.

— Еще раз спасибо!

— Когда вернетесь, не забудьте, я вас даром возить буду!

Мы пожали ему руку и пошли.

Пошли по лугам вдоль речки. Тень от ив и кустарника по берегу защищала от жгучего солнца. Вдали, направо, тянулись столбы вдоль железной дороги или, может быть, большака. Наша карта такие мелочи не показывала.

— Смотри, пыль!

Действительно, столб пыли, в безветренности он двигался в направлении Полтавы.

— Ты думаешь, это красные отступают?

— Не знаю. Красные или белые, мы все равно к дороге пока подходить не будем.

Верстая, мы посмотрели назад, на Полтаву.

— Вот странно, когда были в городе, впечатление было, что он лежит на равнине, а отсюда как будто на утесе.

– Смотри, пыль-то, пыль-то, до самого леса доходит!

– Может быть, транспорт отступающих.

Мы прошли мимо рощи, речонка повернула на север, и мы оказались в открытой степи. Далеко впереди опять лес. И тут по дороге обозы тянутся.

Я сперва думал, может быть, какие-нибудь крестьяне в Полтаву едут, но это не то. Такое количество подвод только у армии. Действительно драпают.

– А где же, ты думаешь, белые?

– У, милый, они могут быть и верстах в 20 позади.

Мы теперь прошли верст 10. Трудно сказать, сколько еще верст до леска. От жары горизонт танцевал, точно отражение в воде. Я видел, что Володя очень хотел убедиться, действительно ли это обоз красных.

– Хорошо, когда дойдем до леска, проберемся, посмотрим. Я рисковать теперь не хочу.

Наконец мы на опушке. Подлесок густой. Я оставил Володю, он бесшумно проходить не умел. Очень осторожно я пробрался по кустам и вдруг окоченел: со всей моей осторожностью я почти что наступил на спящего солдата! Целая группа лежала в тени, отдыхая. Маленькая лужайка, на ней шесть запряженных полевых орудий. По дороге мимо тянулся обоз. На каждой подводе сидели или лежали солдаты. Я тихо повернул и пошел обратно.

– Фью! Я чуть не наступил на солдата. Это красные, дорогой, и действительно отступают. Там батарея. Как видно, вытягиваются, даже не распрягли.

По солнцу теперь было около шести часов. Мы пошли опять, уклонились подальше от дороги. Часа через полтора вошли в какие-то кусты. Обозы на дороге прекратились.

Из разговоров с разными людьми во время всего нашего путешествия я вывел, что красные дрались почти исключительно на дорогах. Боялись ли они от дорог отходить или просто предпочитали бои в деревнях и городах, я не знаю. Но по этой причине целые батальоны их бывали отрезаны белой конницей. Красные или не знали, или считали ненужными дозоры и разъезды, толпились по дорогам и разворачивались только, когда защищали какую-нибудь позицию.

Мы пробрались к дороге и залегли в кустах. В последние полчаса слышались раскаты где-то на север от нас.

– Это артиллерия, но совсем не на нашем фронте. Это в направлении на Харьков.

– Что это? – спросил вдруг Володя. – Слушай!

– Ничего не слышу.

– Ну, сейчас прекратилось, подожди.

Я прислушался. Где-то послышался звук мотора.

– Это далеко.

– Нет, не очень.

Звук прекращался, но каждый раз вновь начинался, ближе. Солнце теперь было у самого горизонта.

Вдруг на дороге появилась пыль и какой-то странный экипаж, не то грузовик, не то автомобиль. За ним – второй. Они приближались медленно.

– Это броневики!

– Чьи?

– Не знаю.

Они были серые, цвета военных судов. Поравнялись с нами.

– Это белые! – прошептал Володя.

На них были белые, синие, красные шевроны. На первом было написано белой краской: „Иоанн Златоуст", на втором: „Свободная Россия". Под шевроном: „Черноморский флот".

– Да это морской экипаж!

Был момент, когда я хотел выскочить и их приветствовать, но сразу себя остановил. В открытой башенке сидел в черном кожаном кителе лейтенант. Опасно, мог бы принять за красных. Броневики исчезли, и звук моторов стал слабей и слабей.

– Мм... просидим тут до сумерек.

Прошло еще с полчаса. Появились какие-то фигуры на дороге.

– Ну, если это белые, мы можем сдаться.

Но когда поравнялись, оказались красные, с роту.

– Да что ж это, сперва белые броневики, а тут опять красные.

Чем темнее становилось, тем опаснее было сдаваться, если бы и пришли белые.

– Пойдем опять, и подальше от дороги.

С темнотой наступила полная тишина. Мы шли степью по жнивью. Вдруг Володя исчез куда-то с полукриком, и почти тут же земля вывернулась из-под моих ног, я оказался на воздухе и брякнулся в какой-то куст, рикошетировал от него и покатился от куста к кусту, вниз, и наконец оказался на животе, среди высокой мягкой травы. Я не мог понять, что случилось, поднял руку к лицу, что-то текло по щеке. Кровь? Я попробовал привстать. Болели ноги, бока, руки. Встал. Ничего, как видно, не сломано.

– Володя, где ты?

– Здесь! – послышался слабый голос Володи.

– Ты цел?

– Не знаю.

– Как не знаешь? Ты себе что-нибудь сломал?

– Не думаю.

– Так ты встань.

Я его наконец нашел, он сидел и тер себе шею.

– Ничего не сломал?

– Шею вывернул, но теперь лучше. Что это такое?

– Не знаю. Дыра какая-то.

– Наверно, балка.

Я о балках мало знал, у нас были не балки, а овраги. Как мы ее не увидели? Мы уселись на траву. Идти дальше в эту темноту было бы глупо. К счастью, мы отделались легко. Лучше поспим до света.

Когда я проснулся, легкий туманец лежал на дне балки немного ниже нас. Я пошел искать воды. Но ручья внизу не было. Провел рукой по траве – мокровато. Положил платок на траву и затем потер лицо. Темно-коричневые пятна, наверно, запеклась кровь. Разбудил Володю, он тоже весь исцарапанный. Мы как могли прибрались. Поели. Стало довольно светло, чтобы видеть наше положение.

– Знаешь, нам посчастливилось, смотри, откуда мы рухнули!

Балка подымалась как стена.

– Нужно нам отсюда вылезти. Как это мы не потеряли наши мешки?

Мы решили подыматься наискось, цепляясь за кусты. Я чуть вновь не полетел вниз на половине дороги: мимо меня проскочил какой-то зверь и я от неожиданности отпустил куст. Это напугало и Володю, но он крепко держался за что-то.

– Что это?

– Полевой волк.

Мы посмотрели вниз, волк ловко спустился в балку и побежал.

У него были более короткие ноги, чем у наших волков, и пушистый хвост. Бежал, прижав уши.

– Может, это серая лиса?

– Нет, это волк.

Наконец мы вскарабкались наверх. Тут был кустарник. Нашли тропинку.

Мы только успели вскинуть мешки, как из-за куста вышел солдат. У меня сердце екнуло.

– Кто идет?

– Сво...и.

Мы оба автоматически подняли руки. У солдата погоны, значит белый.

– Гаврильчук, поди сюда, тут какие-то мальцы.

Из кустов появился младший унтер-офицер.

– Вы откуда?

– Из Киева. К белым бежим.

– Доказать можешь?

– Как я могу доказать?

– Федька, возьми их под арест, отведи в деревню.

Мы пошли. Я решил лучше не разговаривать. Деревня оказалась в полуверсте. Перед дощатым домом (вероятно школа) – значок и часовой. Провели в комнату, там сидели солдаты и унтер-офицер.

– Где ты их нашел?

– Да на охранение наткнулись.

Унтер-офицер вышел, скоро вернулся и приказал мне идти за ним. Вошли в комнату, за столом сидел подпоручик.

– Кто вы такой?

– Я Николай Владимирович Волков, сын Владимира Александровича, бывшего конногвардейца и предводителя дворянства Вяземского уезда Смоленской губернии.

– Вы это можете доказать?

– Нет, как же я могу? Мы бежали из Москвы с помощью Глав-Сахара. Единственный документ, который у нас есть, это выданный нам Глав-Сахаром в Киеве.

– Это ничего не доказывает. Что такое Глав-Сахар?

Это было очень трудно объяснить. Я совершенно не знал, кто заворачивал в Глав-Сахаре, какое отношение Глав-Сахар имел к Белой армии, было ли это случайно или в самом деле кто-то в Глав-Сахаре помогал людям бежать из Москвы. Может быть, я все это выдумал?

– Глав-Сахар – это отделение комиссариата снабжения. Они посылают людей на юг, на сахарные фабрики. У них, вероятно, какое-то соглашение с зелеными, и посланные туда дезертируют к зеленым, а оттуда... не знаю...

– Вы все это придумали очень ловко. Я никакого Волкова в конной гвардии не знаю и про Смоленскую губернию не знаю. Вы все это врете!

– Да как я могу доказать?

– Кто такие зеленые?

– Это крестьяне, которые поднялись против большевиков.

– Это все ерунда, я ничего о них не знаю, вы просто провокатор.

– Да спросите кого угодно...

Он меня прервал. Даже в этой душной комнате мне стало холодно. Это опять вроде Чеки. Советские газеты говорили, что белые пленных не берут, а расстреливают. Неужели это правда? И этот подпоручик просто белый чекист?!

– Если вы правду говорите, вы должны знать формы русской армии. К какому полку я принадлежу?

Большинство молодежи никаких форм не знало. Случайно я знал цвет фуражментов кавалерийских полков, только потому, что мой отец на Рождество делал из картона и цветной бумаги бомбоньерки, чтобы вешать на елку. Они были в форме фуражментов всех 18 гусарских, 17 уланских и 20 драгунских полков. Пехоту я совершенно не знал. На столе лежала защитная фуражка. Я помнил, что у гусар были зигзаги на погонах. У этого типа тоже были зигзаги и малиновая полоска. Они, ясно, были пехотинцы. Но черт его знает, кто именно! Малиновых с зигзагами я только знал лейб-гвардии Гродненский полк.

— Вы ж не гродненцы, а пехота, я пехоту не знаю.

Конечно, ничего хуже я сказать не мог. Пехотинцы почему-то не могли кавалерии простить, будто она чванится, что кавалерия, и презирает пехоту. Частью так и было, но конечно в шутку. В походе, обгоняя колонну пехоты, кавалеристы могли кричать пехотинцам: „Эй, пехота, не пыли!" Ясно, я подпоручика обидел. Он обрушился на меня, называя лгуном, коммунистом-провокатором, и крикнул солдату, чтобы меня вывести. Я решил, что, наверное, расстреляют, и почему-то меня охватило безразличие.

Я повернулся к двери, когда она открылась и вошел капитан. Он на меня посмотрел.

— Как вас зовут?

— Николай Волков.

Подпоручик встал и начал что-то говорить, но капитан его остановил.

— Какой Волков?

— Сын Владимира Александровича.

— Да вы меня тогда знаете.

Я подумал. Я никогда его раньше не видел.

— Когда вы были в Риме?

— Зимой 1908 года.

Это не мог быть кто-либо из Родзянок, друзей моего старшего брата. Он совсем на Родзянко не похож, ни на Сергея, ни на Виктора. Я стоял в недоумении. Кто был в Риме? Мне было всего шесть лет. Он, ясно, много старше меня.

— Нас было трое, младший мой брат с вами играл.

— Боже! Исаковы. Исаков? — сказал я нерешительно.

— Да.

— Сергей, Яшка и Николай?

— Как вы сюда попали?

Меня вдруг взорвало. Это была реакция. Я еще не состоял у них в армии, так что было все равно, какое я впечатление произведу.

— Этот подпоручик на меня кричал и нагрубил. Как он в офицеры попал — я не понимаю!

— Успокойтесь, он перед вами извинится.

— Если он так себя с перебежчиками ведет, не удивительно, что многие боятся переходить к белым!

— Турчанинов, извинитесь!

Подпоручик, красный как свекла, стал что-то бормотать, что он не знал, как он мог знать. Но меня это не угомонило, я так напугался, что теперь не мог остановиться. Сергей Исаков головой указал Турчанинову выйти. Убедил меня сесть. Спросил, кто был мой приятель.

— Володя Любощинский, он из тамбовских помещиков.

— Ну послушайте, это просто очень несчастный инцидент. Я

поговорю с Турчаниновым и он извинится по-настоящему. Теперь, раз вы в Белой армии, поступайте к нам в полк.

– А какой ваш полк?

– Мы только батальон гвардейского стрелкового полка. Это бывший 4-й стрелковый Императорской фамилии полк.

Я еще был очень потрясен.

– Нет, спасибо, я служить в одном полку с подпоручиком Турчаниновым не хочу. Мы вообще хотим служить в конной гвардии, она существует?

– Да, существует, сводный Конный полк с кавалергардами, синими и желтыми кирасирами в первой дивизии 5-го кавалерийского корпуса, на север от нас. Они идут на Ромны.

– Мы туда попасть можем?

– Сейчас нет, я даже не знаю, где они, они где-то на правом фланге. Поступите к нам, до Киева. В Киеве я узнаю, где кирасиры, и обещаю вас отпустить.

– Это если мы дойдем до Киева и никого не убьют.

– Я вам обоим дам расписку, что в Киеве вы можете перевестись куда угодно.

– Насчет Турчанинова...

– Не беспокойтесь, он только адъютант, он с вами никакого дела иметь не будет. Вы будете в моей роте.

Так мы оказались в стрелках. Нам нашили малиновые погоны. После завтрака было объявлено выступление на Полтаву.

Ч А С Т Ь Ш Е С Т А Я

БЕЛАЯ АРМИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ

Как ни странно, я не чувствовал, что путешествие наше окончено. Пока мы ели, Исаков сидел рядом и расспрашивал нас о ГлавСахаре. Он ничего не знал. Насколько мог, я ему все объяснил. Где находится Западный полк? Я не знал, но предполагал, что в Киеве. Я спросил о боях. Исаков сказал, что после взятия Павлограда, где красных разбили и взяли много пленных, больших боев не было, только стычки. Все большие бои были на Донце, до Павлограда. 5-й кавалерийский корпус перешел с левого фланга Гвардейской дивизии на правый, и двинулись на Галич и Ромны. Дальше направо шел Корниловский корпус генерала Кутепова. Наши стрелки были правым флангом Гвардейской дивизии корпуса генерала Бредова. Большинство солдат дивизии были из пленных красноармейцев. „Они вам все расскажут."

Я спросил про броневики.

– Ах, это экипаж черноморского флота с нами, у них шестнадцать броневиков. Они очень здорово дерутся.

Но вот выступили по дороге в Полтаву. С нами была батарея гвардейской пешей артиллерии и конный отряд разведчиков под командой штабс-капитана фон-Эндена.

Подобрали сторожевое охранение и с дозорами впереди и по бокам пошли колонной по дороге. Красной батареи, которую я видел в роще, конечно, уже не было и духу. Прошли последнюю рощу, и открылась Полтава, вся в густых садах.

Энден ушел со своими разведчиками вперед. При подходе к городу вестовой донес, что в нем никого нет. Одна из рот позади нас ушла направо занять Харьковский вокзал. Мы перешли Ворсклу.

Зазвонили повсюду колокола, и, закиданные цветами, на виду у всего населения мы прошли на Александровскую площадь. Остальные, по-видимому, привыкли к таким встречам, но на меня это про-

извело невероятное впечатление. Какие-то девицы в летних платьях кидались целовать солдат.

Несколько взводов прошли дальше, вероятно, чтобы занять Киевский вокзал. Мы поставили винтовки в козлы. На ступеньках большого дома толпились люди, говорили речи, которых не было слышно из-за гула толпы. Появились на зданиях русские флаги.

Я еще не знал, что происходило в гражданской войне. Мы попали в Белую армию и с ней вернулись на следующий день в город, который был не более 30 часов тому назад красным, полным красноармейцами и чекистами. Вдруг все переменилось без единого выстрела. Где-то на север от нас грохотали орудия. Кто-то действительно дрался там. Но мы – мы просто пришли, и нас встретили ликованием.

Пока мы ждали квартирьеров, прошел еще какой-то батальон, его целовали и забрасывали цветами так же, как и нас. Повзводно нас повели на стоянку. Володя оказался в пулеметной команде. В первый раз я увидел наше самое удачное оружие – „тачанку", у большевиков их не было еще год.

Тачанка – рессорная коляска южной России, обыкновенно запрягалась двумя лошадьми в дышло, но белые прицепили еще двух пристяжных, так что стала четверка. В спинке заднего сиденья был вырезан полукруг, через который торчало дуло Максимки, а колеса его стояли на сиденьи.

Судя по солдатам в моей роте, название „Добровольческая армия", как именовалась армия Деникина, к этому времени устарело. Добровольцев, кроме меня, было только с десяток. Остальные были пленные красноармейцы. Меня интересовало, во-первых, как они попали в Красную армию, а во-вторых, отчего с таким энтузиазмом служили в Белой армии.

Многие из солдат были регулярные, служившие в разных полках в момент революции. Эти остатки были просто названы сперва красногвардейцами, потом красноармейцами. Они были совершенно аполитичны. В большинстве случаев они были из северных и восточных губерний и, когда началась революция, сидели в окопах. Домой пробраться не могли и в то же время видели, что их в армии кормят лучше, чем обыкновенное население. Появились в этих полках какие-то новые командиры и политические комиссары, и их двинули на Южный фронт, где, им сказали, были немцы и разбойники. Они участвовали только в стычках и неприятеля толком не видели.

Вдруг на Донце и в Таврии они в первый раз были в настоящем бою и с удивлением увидели, что неприятель – в русских формах, с погонами. Они увидели, что их командиры и комиссары боялись этих „немцев-разбойников". Им же казалось, что это просто старая армия. У них не было никакого намерения сражаться со своими, и к тому же не было никакого уважения к своему начальству.

В боях они увидели, что белые дисциплинированы и дрались,

как настоящие солдаты. Тогда они стали сдаваться, хотя им начальство долбило, что если их возьмут в плен, то расстреляют. Вместо расстрела их стали спрашивать, в каких полках они служили. Никто не спросил, были ли они большевики или нет, спросили только, хотят ли они служить в белом полку. Поголовно все старые солдаты согласились. Молодежь пошла за ними.

Второй элемент была молодежь. Они никогда до Красной армии не служили. Их, они говорили, „забрали", то есть мобилизовали красные.

Теперь у белых эта смесь чувствовала себя боевой единицей. Они были гвардейские стрелки Императорской фамилии — и страшно горды этим. Дисциплина была строгая, но жизнь дружная. Им не разрешалось ни грабить, ни насиловать. Офицеры были настоящие, знали, что делали, смотрели за своими солдатами. Не любили потерь.

Опять политика никакой роли не играла, никто их не спрашивал, во что они верят. Они знали только, что дерутся против большевиков, потому что — они сами видели — красные разоряют и крестьян и города.

Старые солдаты рассказывали захлебываясь о довоенной жизни, и молодежь слушала их завистливо. Они все были убеждены, что если красных выкинуть, то все вернется к старому доброму житью. Результат был, что стрелки были надежные, великолепные солдаты.

Мне это все было очень приятно. Я попал рядовым в первый взвод под командой настоящего старшего унтер-офицера бывшего Апшеронского полка Горшкова. Взвод был опрятный, дисциплинированный и дружный. Мои соседи по взводу были Сивчук из-под Ахтырки, Абрамов из Костромской губернии и Лазарев из Владикавказа. Все трое были на фронте во время войны, Сивчук был раньше Перновского полка.

Наша ночная стоянка в Полтаве меня немножко удивила. Мы были квартированы в доме еврея-лавочника. Хозяева нас встретили с каким-то восхищением, которое было совершенно подлинным. Уставили стол всякими яствами. Ухаживали за нами, как будто мы им жизнь спасли. Сивчук, как старший, предложил заплатить за постой. В первый раз я увидел „добровольческие" деньги. Хозяева отказались наотрез.

Оказалось, что солдатам выдавались деньги и квитанции на постой, по рублю на человека в ночь. Я должен сказать, что не знаю, все ли платили. Когда я уже был в Конном полку, плата делалась квартирьером или старосте, или городскому голове. И я не уверен, что всегда платили. Но что всегда было, это плата за овцу или курицу и, вероятно, хлеб от булочников. На этом наши офицеры строго настаивали и брали расписки.

Я еще не привык к пехотному снаряжению, тяжелой винтовке, но мне все это казалось временным, только бы дойти до Киева!

Наутро мы выступили из Полтавы по направлению на Миргород. В авангарде у нас шел какой-то другой батальон. С ним шла батарея гвардейской легкой артиллерии. Когда она нас обгоняла, я заметил, что орудия были не наши трехдюймовки, а какие-то, которых я раньше не видел.

– Что это за пушки? – я спросил Сивчука.

– Это, брат, нам англичане поставляют. Дрянь какая-то, артиллеристы говорят – расстрелянные.

– Что это значит?

– Да не новые, вероятно, всю войну где-то пропукали.

На северо-восток от нас иногда вдали грохотали пушки, но на нашем фронте ни одного красноармейца не видели, только поломанные повозки. На второй день пришли в Миргород. Тут уже стоял 2-й батальон, но, несмотря на это, встречали нас опять толпы. Город был чистый, на вид просто уездный город, как будто революции никогда не было.

Мы прошли сторожевое охранение 2-го батальона. Теперь батарея шла за нами. Ни через Псел, ни через Хорол мосты не были взорваны. Шли мерно, но скоро, может быть, хотели нагнать отступающих красных?

Разъезды донесли, что в Лубнах никого нет. Какой-то вестовой принес донесение, что Ромны заняты нашей конницей. Меня это все очень удивляло. Где та „доблестная Красная армия", которая разбивала и уничтожала „разбойные белые шайки"?

В Лубнах нас нагнал обоз, мы его не видели с Полтавы. Он был маленький и легкий. Все наше движение было налегке. Батарея наша беспокоилась о снарядах. Слышал, как артиллерист говорил с нашими: „Вы захватите нам орудий настоящих, тогда мы и снарядами не будем дорожить, всегда у красных отбить можно."

В Лубнах появился батальон преображенцев, который наутро ушел куда-то вправо.

Я не понимал, что это за война. Неприятеля нигде не видно. Идем колонной по дороге, правда, с дозорами. Ни справа, ни слева никаких наших тоже не видно. Что если красные где-нибудь на нашем фланге засели и нас отрежут? Никто об этом не беспокоился.

– Они нас в Гребенской остановят, – заявил Горшков.

– Отчего в Гребенской?

– Да там железнодорожный узел. Что в Лозовой.

Но он был не прав. Когда мы подошли к Гребенской, там уже сидел наш 4-й батальон и рота Московского.

– Откуда они? – спросил я с удивлением.

– Да это 2-го сводно-гвардейского полка, они где-то справа от нас.

Как видно, кто-то командовал и все шло по какому-то плану.

На следующий день впервые мы догнали красных. Мы остановились на десятиминутный отдых.

— Смотри, смотри, вон там журавли!

Где-то далеко направо на ярко голубом небе появились вспышки и белые, точно ватные, облачки. Глухо громыхали орудия.

Вправо от нас появилась цепь.

— Кто это?

— Не знаю, один из наших батальонов.

Наши роты одна за другой рассыпались в цепь. Неприятеля не было видно. Впереди — поле, а вдали тянулись ивы поперек.

Одно время мы шли вдоль железной дороги, но теперь она куда-то исчезла, впереди не было ни города, ни деревни. Я был в первой цепи. Минут через десять высоко над второй цепью разорвался снаряд и белое облачко повисло в безветренном воздухе. Почти сейчас же три черных столба поднялись позади второй цепи. Затем стали падать ближе к нам. Где-то справа стрекотали пулеметы. Мы медленно двигались по направлению к ивняку. Вдруг откуда-то появился Энден, подскакал к Исакову, что-то ему сказал и ускакал вперед. Исаков ускорил шаг, вся цепь за ним. Направо от нас 2-я рота уже дошла до ив и залегла. Еще одна красная батарея открыла огонь. Восемь снарядов взрывались за нами, затем вдруг все восемь стали взрываться перед нами. Прицел артиллерии и пулеметного огня был плохой, цепь двигалась без потерь.

Наконец, ивы и кустарник, за ними речонка. Я оказался рядом с Горшковым.

— Кто это командует их сволочью, смотри, как засели. Перед нами шагов 200 мертвой земли.

Действительно, где они залегли, их было не видно. Перед нами за речонкой голый откос.

Появились Исаков, какой-то поручик и Энден, теперь спешенный. Остановились за Горшковым, Исаков спросил:

— Что, вброд перейти можно?

— Я сейчас попробую, ваше благородие.

— Нет, подождите, я пойду, — сказал Энден, спрыгнул с отвесистого берега к речке и пошел в воду. В середине вода доходила ему под мышки, он скоро выкарабкался на другой берег и стал махать.

— Ну, с Богом! — крикнул Исаков, и вся рота ринулась за ним.

Как видно, глубина разнилась. Некоторые солдаты исчезали с головой, но винтовки держали над водой, вылезали, откашливались и карабкались на тот берег. Исаков подождал, чтобы вся рота перешла, и рысцой повел ее вверх по откосу.

Вдруг впереди — невысокие брустверы, треск пулеметов и залпы винтовок. Грянуло „ура". Я только помню сухое горло, как видно, я тоже кричал, и мое удивление, что передо мной, видные только по пояс, с поднятыми руками — четыре красноармейца. Исаков на другой стороне окопов кричал что-то. Вторая цепь нас нагна-

ла. Наша цепь не остановилась, а продолжала наступление. Пули теперь свистели повсюду, ударяясь о землю и поднимая пыль. Снаряды лопались и впереди, и сзади.

Я абсолютно не помню, о чем я думал, вероятно, ни о чем. Страх, который меня охватил, когда мы ринулись в воду, куда-то пропал. Наступали молча, да если кто-нибудь и кричал, не было слышно от трескотни и уханья снарядов. Только помню, что посмотрел направо и между клубов пыли увидел всадников, идущих галопом в том же направлении. Помню, что подумал – наши это или красные? Мне отчего-то показалось, что время остановилось, что мы шли вперед бесконечно. Красные снаряды вдруг прекратились, но трескотня пулеметов и винтовок не унималась.

Вдруг впереди – толпа, повозки. Мы перескочили какие-то отдельные окопы, полные тряпьем и пустыми патронами. Несколько убитых лежало за окопами, и я подумал – странно, мы не стреляли, кто их мог убить? Толпа оказалась – красноармейцы и несколько мужиков у повозок. Очень быстро толпу выстроили в два ряда и наши унтер-офицеры равняли их. Лица у красных были серые, не знаю, от пыли или от испуга. Им, наверное, комиссары сказали, что белые их расстреляют. Их было человек 200-250.

Исаков прошел по рядам и осмотрел их. Наши солдаты нагружали винтовки и два пулемета на повозки. Исаков отступил несколько шагов и сказал:

– Кто вами командовал?

Молчание. Он выбрал солдата в правом ряду и вызвал его.

– Кто вами командовал? – повторил он.

– Двух убили, а другие убежали, ваше сиятельство.

– Кто из вас здесь довоенные солдаты?

Солдат посмотрел через плечо.

– Да есть несколько. Я сам довоенный, ваше сиятельство.

– Все довоенные выступите вперед.

Было какое-то замешательство, красные смотрели друг на друга. Наконец выступили 13. Один из наших унтер-офицеров стал их опрашивать и записывать что-то в черную книжечку.

– Теперь, кто из вас служил во время войны?

Выступило человек 150.

– Ну, ребята, вы теперь в Белой армии. Кто из вас служить хочет?

Все поголовно ответили, что они хотят. Подошел поручик и донес что-то Исакову. Исаков насупился. Потом оказалось, что шесть наших солдат было убито и шестнадцать ранено.

Исаков собрал офицеров и старших унтер-офицеров. Я только слышал, как он крикнул какому-то подпоручику: „Спроси Мирского, сколько ему нужно пополнения?"

Унтер-офицеры стали выбирать красных для своих взводов. Исаков обошел оставшихся, большинство была молодежь.

– Кто из вас местные?

Выступило человек 20.

– Кто из вас хочет служить в Белой армии?

Большинство согласились.

Я слышал, как Исаков сказал Горшкову:

– Нам достаточно бывших солдат. Отправьте остальных под конвоем в Яготин. Там их кто-нибудь возьмет к себе.

В наш взвод взяли только троих. В третий взвод, в котором было больше всего потерь, взяли одиннадцать. В нашем убитых не было, лишь два раненых.

Это первый раз я видел, как пополнялась Белая армия. Слышал, что вторая рота захватила два орудия и девять пулеметов. На ночь мы двинулись в Яготин.

Два дня спустя мы входили в Борисполь, уже занятый одним из наших батальонов. Тут прошел слух, что большевики укрепились на этой стороне Днепра и что мы будто бы будем ждать подкрепления, чтобы продолжать наступление. Говорили, что Киев всего в шестидесяти верстах и что красные собрали туда по крайней мере три дивизии. Откуда шли эти слухи, я не знаю.

Наутро пошли дальше, на Киев. В каждом городке и местечке, через которое мы проходили после Лубен, были признаки быстрого отступления красных. Они бросали все: поломанные повозки, снарядные ящики, во дворе в Борисполе даже две трехдюймовки с полными зарядными ящиками. Попадались и группы дезертиров, которые рассказывали небылицы, что никого между нами и Киевом не было. Разъезды тоже доносили, что никого перед нами не было. Это уверило солдат, что дезертиры были правы. Ни Горшков, ни Сивчук, как старые солдаты, этому не верили.

– Пусть думают, передумают, когда их по морде крякнут.

Первый раз остановились на ночь в поле на краю рощицы. Подъехали полевые кухни. Я слышал, как какой-то унтер-офицер говорил своим солдатам:

– Смотрите, ешьте на два дня, завтра кухни не подъедут.

Я проснулся ночью, недалеко от нас был слышен топот проходящих частей, стук колес и бряканье упряжи. Еще только посерело на востоке, как мы уже двинулись.

Я понятия не имел, где мы были. Нас обогнала сотня каких-то конных в черкесках, бурках, на иноходцах.

– Откуда эти? – спрашивали друг друга солдаты.

Я ничему теперь не удивлялся: какие-то броневики с морским экипажем – в сотнях верст от моря! Сотня будто бы из Дикой дивизии – полторы тысячи верст от Кавказа! Никто их раньше не видел.

На нашей дороге было много садов, огороженных плетнями, отдельные мазанки с тополями. Как видно, разъезды их осматривали до нас, это были прекрасные позиции для засад.

Часов в девять утра перед нами появилась не то деревня, не то местечко, крыши в садах. Кто-то сказал:

– Смотри, смотри, что это там поблескивает?!

– Э, брат, это Киев престольный!

– Киев? Киев! – повторяли голоса по всей колонне.

Но мы были еще далеко. Перед нами, оказалось, лежала Дарница.

Появились вестовые. Они шмыгали во всех направлениях. Нас обогнал какой-то штаб с красивым генералом в кубанке и светло-серой черкеске. И справа, и слева появились колонны. Проскакала мимо батарея, орудия прыгали на неровной почве.

– Смотри, смотри, там развернулись!

Далеко направо появилась цепь. Дошло и до нас. Через несколько минут и мы рассыпались в цепь. Перед нами, шагах в 200-х, лежал густой фруктовый сад.

Я часто изумлялся, как люди, принимавшие участие в боях, могли описывать весь бой так, как будто они были повсюду. Я абсолютно не знаю, что и как произошло под Дарницей.

Для меня все началось, когда мы перелезли через плетень. Цепь немножко сомкнулась, и мы с винтовками наперевес пошли через сад.

Вдруг забарабанил пулемет, второй, третий. Где-то далеко грянуло „ура". Через минуту завизжали снаряды, сперва редко, потом чаще и чаще. Трескотня винтовок. Пули шлепались в стволы. Вдруг я увидел какие-то фигуры между деревьями, увидел, как Сивчук на бегу открыл огонь по ним, тогда я стал стрелять. Крик, гам, визг пуль, свист снарядов и уханье их разрывов.

Я почти что споткнулся об лежащего на земле красноармейца: „Не убивай! Я сдаюсь!" Кровь текла по его рубахе и рассачивалась в большое пятно пониже плеча. Винтовка лежала рядом. Я ее подхватил. Секунду не знал, что делать. „Не двигайся, тебя подберут!", и побежал дальше, откинув его винтовку в кусты. Добежал до какого-то амбара. Тут был Горшков и несколько солдат.

Мы выбрались на какую-то улицу. Столбы пыли и летящих балок. Тут поперек улицы проволочное заграждение, за ним окопы.

– За мной, сюда! – крикнул Горшков.

Мы опять оказались в саду. Где-то налево от нас грянуло „ура". И когда мы бегом обогнули окопы и выскочили на ту же улицу – кроме одного убитого и кольта с торчащим к небу дулом, ничего не было.

Мы пошли вдоль улицы гуськом. Вдруг по нам из какого-то двора засвистели пули. Мы отступили, Горшков опять повел нас через сад, и мы появились в тылу у засевших во дворе. Перестрелка продолжалась только несколько секунд. Горшков крикнул „ура!", и через минуту человек 12 красных, двое из них раненые, стояли с поднятыми руками. Оставив двух солдат, мы опять выскочили на

улицу. К моему удивлению, посреди улицы стоял с тросточкой капитан князь Святополк-Мирский:

– Где капитан Исаков? – спросил он Горшкова.

– Не знаю, ваше благородие.

– Примкните к нам.

Мы нашли Исакова с большинством роты на какой-то площади.

– Где твоя рота? – спросил Исаков.

– Понятия не имею. Мы напоролись на проволочное заграждение, там я их потерял.

Красные громили соседнюю улицу. Вдруг откуда-то появилась рота семеновцев. Ротные переговорились, и мы снова двинулись вперед. Трескотня и свист пуль продолжались. Мы шныряли через какие-то дворы, сады, переходили улицы и вдруг оказались на шоссе. С нами была уже полусотня пленных, два пулемета.

Как видно, ротные знали, что они делали, потому что на шоссе стояли штаб, остальные наши роты, батальон 3-го стрелкового, две роты семеновцев, и одна преображенцев. После десяти минут разговоров между ротными, батальонными и штабом, мы первые двинулись по обеим сторонам шоссе. На подходе к мосту засели егеря. Они махали нам и что-то кричали. У самого моста был Энден со своим разведочным отрядом. Оказалось, что егеря и измайловцы прорвались к мосту с юга, что заставило большевиков быстро вытянуть свои батареи и оставшуюся позади бригаду. Один их полк почти целиком был взят в плен.

Все это было странно. Дарница была хорошо укреплена, и в ней большевики расположили целую дивизию и много батарей. Что на самом деле случилось, мы узнали только, когда вошли в Киев.

Все ожидали, что большевики засядут на правом берегу, на покрытом лесом крутом откосе. Мы пошли первые через мост, растянувшись по обеим сторонам, посередине моста шли только Энден с четырьмя всадниками, как будто приглашая красных открыть огонь.

Мост, с полверсты длиной, казался просто приманкой для засады. Впереди нашей линии шел Исаков, с другой стороны моста Мирский. На всех лицах напряжение. Артиллерия прекратила стрелять, и была повсюду тишина.

Я думаю, что все, как и я, напряженно вслушивались в эту необычную тишину. Когда мы прошли три четверти расстояния, все вдруг как один остановились, без всякого приказа: где-то далеко за Киевом глухо зарокотала артиллерия. Все слушали. Пошли дальше. Как только перешли, пеший разведочный отряд от роты Мирского полез по крутому обрыву, а мы, сформировавшись в колонну, пошли вверх по Николаевскому спуску. Подождав наверху остальные роты, мы шли вниз по Никольской и Александровской на Царскую площадь. Впереди шел Энден с отрядом. За ними тянулись остальные стрелки.

Тут наверху канонада звучала гораздо громче. Мы остановились у Арсенала. Разведки пошли в соседние улицы. Все поочередно гадали, кто это мог быть. Или кто-то бомбардировал подходы к Киеву или красные от кого-то отбивались. Говорили, что наши перешли Днепр ниже по течению, другие – что это армия Шиллинга из Одессы, третьи – что это поляки, и т.д.

Когда мы наконец двинулись опять, улица была пуста. Только на Царской площади вдруг высыпал народ. Стали кидать цветы, девицы целовали солдат, кричали „ура", махали русскими флагами.

Вдруг все замерло. Толпа прижалась на тротуарах. Энден с частью своего отряда разделился, поехал вперед по Крещатику, там вдали стояла колонна австрийцев в серо-голубых формах и кепи. На вид они были так же удивлены, как и мы. Сивчук прошептал:

– Да это австрияки, откуда они?

Подъехал батальонный. Все глазели на австрийскую колонну.

Энден медленно ехал по середине улицы по направлению к австрийцам. Мы смотрели в ожидании. Энден вернулся и громко сказал:

– Они говорят, что они украинцы, командует ими какой-то Петлюра.

– Да ну их к черту! – сказал Исаков.

Тем временем батальонный куда-то уехал и вернулся с генералом, которого я раньше не видел. Он что-то сказал Эндену, и тот поскакал к австрийцам или петлюровцам. Как видно, генеральское сообщение имело на них сильное действие, потому что они повернули и стали отступать по Бибиковскому бульвару. Куда эти петлюровцы потом делись, я не знаю.

Сейчас же возобновились крики „ура"', посыпались цветы, толкотня. Мы прошли до Бессарабки и остановились. Насколько помню, мимо нас прошли преображенцы, кексгольмцы.

Я решил получить от стрелков отпуск. Доложил Горшкову и пошел искать Исакова. Подъехали полевые кухни, и это помогло мне найти офицеров, которые собрались у памятника Богдану Хмельницкому. К счастью, мне не пришлось напоминать Исакову о его обещании. Он, увидев меня, подошел и сам спросил, не переменил ли я намерение и не останусь ли в стрелках. Я его поблагодарил, но настоял на том, что мы оба решили служить в Конной гвардии. Он согласился, младший брат его, Николай, служил в кавалергардах.

Он мне сказал, что до поступления в Белую армию он сам был в Киеве и что тогда довольно много общих знакомых жили тут. Он конечно, не знал, здесь ли они все еще, но дал мне их адреса. Между прочим, Дарьи Петровны Араповой, матери Петра.

Я нашел Володю, мы распрощались со стрелками и пошли обратно по Крещатику. Было трудно пробиться – толпа крутилась, смеялась, обнимали друг друга. Заметив наши погоны, нас обнима-

ли, целовали... Бедный Володя, красный как свекла, держался за мной вплотную и умолял меня выбраться из толпы.

– Эй, Николаша! Николай Волков!!

Я увидел в толпе Егорку Жедрина. Мы протолкались навстречу и обнялись, обкладывая друг друга от удовольствия.

– Когда ты сюда попал?

– Позавчера. А как ты в армию успел?

Мы выбрались на тротуар в какую-то кофейню. Я был необычайно рад видеть Егорку. Мы засыпали друг друга вопросами.

– А где Загуменный?

– Все тут, кроме двух. Да мы почти что пробрались до Полтавы, но пришлось повернуть на Киев. Большинство уже здесь, вчера Болотников с Махровым приехали.

– А где они все?

– Да мы в Глав-Сахар дернули, а там уже никого нет. Пошли искать да повстречались с нашими. Нашли кофейню на Крещатике и уговорились все там встречаться. Это дальше немного.

Мы протолкались к назначенной кофейне, но там никого не было. Условились встретиться там через два часа. Мы с Володей пошли искать Дарью Петровну. Она жила на Липках. Не зная Киева, мы скитались по улицам. Уже совсем близко от Араповых оказалась большая толпа, смотрящая на что-то через низкую стену. Я велел Володе подождать, а сам полез через толпу посмотреть. Я совсем не ожидал того, что увидел. Футов 15 ниже – большое пространство, точно подвал открытый с бетонным полом. На нем куча тел, мужских и женских, по крайней мере шести футов высотой. Стена напротив – точно оспой испещрена пулями. Я ахнул от неожиданности. Все стояли со слезами на глазах, никто не говорил. Я заставил себя спросить соседа:

– Когда это?

– Вчера, – сказала старуха и зарыдала.

Я почувствовал, что если не отвернусь, меня начнет тошнить. Быстро выбрался из толпы.

– Что там такое? – спросил Володя.

Целую минуту я не мог ответить.

– Расстрелянные там.

– Как расстрелянные? Много?

– Не знаю, человек сто, может больше.

Володя побледнел.

– Отчего?

– Не спрашивай меня. Отчего вообще большевики?

– Да кто они все?

– Как я знаю! Пойдем.

Меня продолжало внутренне тошнить. Как будто я не привык к безмозглой жестокости большевиков. Они расстреливали свои жертвы не потому, что они были опасны, или за то, что они будто бы

сделали, а просто когда те попадались им в облавах. Большинство были люди, которые никакой роли в прошлом не играли! Оказалось потом, что между расстрелянными был Суковкин, в прошлом всеми уважаемый и любимый смоленский губернатор. Он был другом моих родителей, вышел в отставку уже более десяти лет тому назад, ему было 80 лет. Другие были доктора, инженеры, чиновники, их жены и дочери. Я вспомнил наставление Петра Арапова: „Никогда не позволяй себе злиться на то, что ты видишь и слышишь. Злоба туманит твой ум и мешает бороться с неприятелем."

Он был, может, прав, но досада бессилия была очень остра.

Наконец мы нашли дом. Я посмотрел на него с недоверием, дом был большой особняк.

– Не может быть, чтобы Дарья Петровна жила в таком большом доме, да так близко к Чеке!

Я вдруг испугался: может, между этими трупами лежит и Дарья Петровна? Позвонил. Открыла дверь араповская няня.

– Что вам нужно? – спросила сердито.

– Няня, вы меня не помните?

– Отчего мне вас помнить?

– Да я Николай Волков.

– Так чего ж ты не сказал сразу?

– Что, Дарья Петровна дома?

– Чего ты оделся в солдатскую форму?

– Да мы в Белой армии.

– Белой, красной, синей... чего никто русской не называет? – она продолжала ворчать.

– Так Дарья Пет...

– Я ее позову.

У меня отлегло от сердца.

Через минуту вылетела Дарья Петровна и, не говоря ни слова, бросилась меня целовать.

– Душка, откуда ты? Входите, входите... А это кто?

– Это Володя Любощинский, мой друг.

Дарья Петровна бросилась и расцеловала Володю, который сильно покраснел.

– А что, Петр приехал?

– Нет, разве ты не знаешь о нем хоть что-нибудь?

– Так он бежал из Москвы раньше нас, я с тех пор ничего о нем не слышал.

Дарья Петровна залилась слезами, она вообще очень легко плакала.

– Это ничего не значит, многие из наших только вчера до Киева доехали, а мы уж давно до Полтавы добрались...

Дарья Петровна перестала плакать, стала расспрашивать.

Была какая-то странная разница между теми, которые испытали иго большевиков, и людьми, которые познакомились с ними не-

давно. Они совершенно себе не представляли силу большевиков, для них это были какие-то случайные разбойники, которые временно попадали в город. Они совершенно не представляли себе, что происходит в России.

К моему удивлению, весь особняк был снят Дарьей Петровной и княгиней Куракиной. Услышав ее имя, я испугался:

– Это не Таня Куракина?

– Да. Ты ее знаешь?

– Нет, не знаю, но мама и папа ее хорошо знают.

Я не мог добавить, что мои родители считали ее бестактной дурой и мой отец очень забавно имитировал смесь русского с французским, на которой она будто бы говорила с извозчиком.

Я спросил Дарью Петровну, может ли она поместить нас на несколько дней, пока не приедут в Киев представители от конных полков набирать добровольцев.

– Да мы пять человек можем поместить, приводи кого хочешь, кто бы они ни были, я так рада, что мы можем помочь, и приведи их всех обедать.

Но узнав о Тане, я совсем не был так уверен. Я объяснил Дарье Петровне, что хотел бы привести Загуменного и Егорку.

– Так что ж в этом?

– Я боюсь, что княгиня может их обидеть.

По правде сказать, и Загуменный и Егорка были, как крестьяне, настолько уверены в себе, что никакая дура их обидеть не могла. Обижен был бы я, а не они, если бы Куракина была с ними невежлива.

– Да, Николаша, не будь таким чопорным, она ж не дура. Приведи кого хочешь, приходите сперва к чаю, часа в четыре, а потом мы поужинаем.

Мы ушли, не видав Таню Куракину.

В кофейной сидели Загуменный, Егорка и Вадбольский. Я им рассказал, где мы были, и все, что с нами произошло с Брянска. Загуменный рассказал свои авантюры. Я передал им приглашение и предупредил о Куракиной. Загуменный и Егорка только посмеялись, но Вадбольский сразу же отказался.

– Да чего ты боишься?

– Это хорошо вам всем говорить, но она станет со мной говорить по-французски, а я ни слова не знаю.

– Так я тоже ни гу-гу не понимаю, – сказал Загуменный.

– Это другое дело, она с тобой по-французски говорить не будет!

– Так ты скажи ей, что не знаешь.

– Это неудобно.

– Эй, брат, Николай ее на место посадит.

Вадбольский наконец согласился. Позавтракали, посмотрели магазины.

– Ну, братец, они здесь еще большевиков не знают, посмотри, сколько добра в витринах! – сказал Егорка.

Я нарочно выбрал другой подход к дому, чтобы не проходить мимо чекистской бойни.

– Да это дворец какой-то!

– Да, дом большой, как видно, большевики до них еще не добрались.

Дарья Петровна приветствовала нас всех с открытыми объятиями. В большой гостиной восседала Таня Куракина, которая очень любезно всем улыбнулась, поцеловала меня в лоб и сразу же напала на меня по-французски с требованиями всех московских новостей и подробностей о моих родителях.

Я решил отвечать ей только по-русски и объяснил, что мы уже два месяца из Москвы, что мои родители были в Москве, когда я уехал, но что теперь я ничего о них не знаю. Она стала бурно сетовать, что родители мои совсем не пишут. Я подумал: что они здесь, все с ума сошли? Неужели они думают, что можно переписываться?

Мы вернулись в город, надеясь подобрать слухи о том, где кавалерия. Тут было довольно много гвардейской пехоты. Какой-то преображенец нам сказал, что гвардейская конница в Нежине и что будто бы железная дорога до Нежина очищена 2-м сводно-гвардейским полком. Он будто бы видел московца в Броварах, который поездом приехал из Носовки, и что там стоит эскадрон желтых кирасир.

Ужин прошел без всяких инцидентов. Дарья Петровна посадила Вадбольского и Егорку рядом с собой. Княгиня должна была говорить с одной стороны с Загуменным, а с другой со мной. Она постоянно обращалась к Володе мимо меня, и он отвечал без стеснения. С Загуменным она завела разговор о лошадях и о полках, которые она „знала". Когда он сказал, что он александриец, она заметила:

– Ах, да, я помню, что был такой полк, он, кажется, прозывался „кощейный".

– „Бессмертный", княгиня, „бессмертный".

– Ах да, я спутала, я знала, что он имел что-то общее с Кощеем.

Должен сказать, что о лошадях она знала довольно много.

После, когда мы пошли в свои комнаты, няня поймала меня на лестнице и стала ворчать:

– Что это ты привел каких-то солдат нам в дом, совсем не подходяще!

– Да няня, мы все солдаты.

– Это неприлично – бедную Дарью Петровну сажать рядом с мужиками.

– Няня, няня, один из них князь! – стал я ее дразнить.

– Князь?! Какой из них князь?

– Вот видите, сами не знаете.

Она ушла, ворча что-то про князей и солдат.

Было еще рано, и мне хотелось наконец узнать от Загуменного, что, в сущности, был Глав-Сахар и как это все случилось.

– Да ты, брат мой, не поверишь, как все началось. Помнишь 3-й кавалерийский корпус генерала Крымова? Корнилов боялся, что Керенский, будучи социалистом, не примет положительных мер против коммунистов. Ленин, Троцкий и многие другие, все были в Петербурге, и если что, там надежных войск нет. Керенский и сам просил войск. Корнилов приказал Крымову идти в Петербург. Крымов повел конницу и дошел до Луги. Керенский, дурак, испугался не большевиков, а кавалерии, говорили тогда, он боялся, что кавалерия устроит контрреволюцию и его сместят. Он обвинил и Крымова и Корнилова в предательстве. Корнилова арестовали в ставке, а Крымов почему-то застрелился, так и непонятно.

3-й корпус оказался без командира. Пошло брожение в полках. У нас в дивизии революцию вообще не любили. Некоторые хотели продолжать наступление на столицу, другие говорили, что без вожака идти глупо. Ни дивизионные, ни полковые командиры никак не могли решить, а Временное правительство решило полки расформировать. Это очень не понравилось эскадронным офицерам и большинству солдат. Раньше у нас никаких митингов не было, но тут вдруг стали собираться. Эскадронные старались уговорить всех не портить дисциплину. Были и у нас новобранцы, которые ни во что не верили и хотели уходить домой.

Ротмистр моего эскадрона Янковский собрал у себя на квартире всех наших унтер-офицеров и регулярных солдат. Объяснил нам положение и сказал: „У нас, ребята, сейчас не полки, а бардак. Ничего мы сделать не можем. Никто нас не ведет, я думаю, что лучше всего расходиться по домам. Я всех вас знаю и знаю, что если придет время и мы сможем что-то сделать, на мой клич вы все соберетесь. А сейчас валяйте домой!"

Жалко было расходиться, дружный был эскадрон. Ну, решили и стали разъезжаться. Но перед отъездом Янковский собрал у себя человек двадцать. Всех тех, кого он знал лучше всего. Между ними и меня, и нескольких еще, кого ты знаешь. Говорит нам: „Я хочу, чтоб каждый из вас записал бы адреса тех, кого вы считаете надежными, и дайте мне адреса ваши." Все согласились. „Я еще не знаю, что мы можем сделать, но мы теперь не офицеры, не солдаты, а просто русские." Все наши верили Янковскому и любили его.

Разъехались. Янковский и Кочановский уехали к себе в деревню в Саратовскую губернию. Штаб-ротмистра Кочановского тоже все очень любили.

Прошла зима 1917-18 года. Получил письмо от Янковского, он меня приглашал к себе. Поехал. Тут человек десять, не все наши и не все военные. Янковский говорит: „Я обдумал положение. Кор-

нилов собирает армию на Кубани. Мы бы все могли к нему примкнуть, но это мало ему поможет. В России сейчас тысячи против коммунистов, в одной Москве должно быть более тридцати тысяч военных. Их оттуда нужно вытянуть в Корниловскую армию. Я решил, что лучше всего всем нам стать коммунистами. Стать „хорошими" коммунистами, так, чтобы мы могли подняться в коммунистической партии." Все на него посмотрели с удивлением.

„Там, где нас знают, этого сделать нельзя. Придется поехать куда-нибудь, где нас не знают. Как только мы утвердимся в коммунистах в каком-нибудь городе, я и Кочановский поедем в Москву. Я еще не знаю, что мы там можем сварганить, но организуем какой-нибудь отдел. Большевики любят отделы на все. Мы что-нибудь придумаем, например, поставлять им с юга пшеницу или кукурузу, сахар или масло. У нас среди надежных есть тамбовские, орловские, курские, тульские. Повсюду там зеленые. Наши могли бы с ними связаться, чтоб пропускали только нас. Большевики этого сделать не могут. Согласны вы или нет?"

Все согласились. Устроили способ сообщения. Мне и унтерофицерам Болотникову и Махрову было задание найти наших, которые могли бы связаться с зелеными. Разъехались.

В сентябре 1918 года получил от Янковского из Москвы письмо, вызывающее меня. Он убедил комиссариат снабжения, что он сможет организовать поставку сахара в Москву. Он мне велел устроить через наших соглашение с зелеными.

Желая обезопасить работу, Янковский настоял, чтобы к Главсахару прикомандировали чекистов. Назначили Александрова и Курочкина. Отдел был открыт в Торговых рядах. Янковский убедил комиссариат, что нужно защищать сахарные заводы от зеленых, поэтому нужны специальные войска. Ему сразу дали разрешение. Так был организован Южный полк. Большевикам было безразлично, какие полк нес потери. Сразу же добровольцев набралось много из бегунов. Атаки на заводы устраивали каждую ночь. „Убитых" было много, они просто уходили к зеленым. И по дороге атаки на поезда устраивали. Посылали чекистов на заводы. Они боялись к зеленым попасть и сами докладывали, как опасно на заводах и по пути.

Бои стали больше и чаще. Не знаю, сколько людей на заводы посылали, но думаю, что так ушло больше двадцати тысяч. „Могил" там вокруг фабрики были тысячи. Но сахар приходил в Москву еженедельно. Правда, еще и по пути теплушки с сахаром отцеплялись зелеными, но это было уговорено.

Потом Александров споткнулся. Он со своими собратьями отцепил теплушку во Внукове. Наши доложили Янковскому. Янковский дал Александрову понять, что он это знает. Александров после этого, из благодарности, что Янковский на него не донес, стал смотреть на все сквозь пальцы. Курочкин был пьяница, да ты это сам видел, и его тоже поймали на спекуляции.

— У княгини много шарму, — вдруг сказал Володя ни к селу ни к городу.

— Ничего не шарм, она просто дура! — отсек я раздраженно.

— Эй, брат, Володя прав, ты слишком молод, чтоб это оценить, — улыбнулся Загуменный.

— Ну а потом что?

— Ну а потом я сам не знаю, что случилось. Еще в марте этого года Янковский решил вытянуть всех, кто были в Киеве и на западе. Я с этим ничего общего не имел. Организовали Западный полк, кто там был, я даже не знаю. Где-то в Носовке и около Ромен были заводы. Поставляли сахар, вероятно, в Киев и Могилев, не знаю. Но с Южным полком что-то случилось, его будто бы отрезал партизан Ангел. Мы с Егоркой пробрались в Глухов. Там все Ангела боялись, да и мы тоже. Это все.

— Но почему мы вдруг в Западный полк махнули?

— Это, брат, я не знаю. Меня вызвал Янковский. Его жена мне говорит...

— Жена? Какая жена?

— Да все эти машинистки были жены — Янковского, Кочановского, Деконского, Тушина и т.д. Жена его меня просит: „Вы убедите мужа ехать в Киев.” А он мне говорит: „Пока еще можно, берите свою команду и поезжайте в Киев, на фабрику уже слишком поздно.” Я его спросил, не лучше ли ему тоже в Киев ехать, но он ответил, чтобы я не беспокоился. Сказал, что и в Киев дорога вероятно отрезана, но что у меня команда отборная и пробиться смогут. Дал мне пакет денег и проездные.

— А кто были Копков и Тушин?

— Оба они гренадерского какого-то полка, стояли в Москве, друзья Янковского, кажется, тоже саратовские помещики.

— Как это кто-нибудь не проговорился?

— Да о чем?

— Как о чем? Да что через Глав-Сахар можно в Белую армию махнуть!

— Да никого же для этого не набирали. Каждый, который записывался, думал, что он очень умен, вот случай выбраться из Москвы, никто этого не знает, а он, хитрый, увидел возможность. А когда уже на фабрике, видит, что не он один. Видит, какая-то связь с зелеными, ну и ахти! Да ты и сам, брат, не знал, и попал ко мне по ошибке, а потом Егорка за тебя поручился.

На следующий день пошли опять в город. За утренним завтраком я спросил Дарью Петровну, знала ли она, что два дня тому назад расстреляли многих на их улице. Она была ошеломлена.

— На нашей улице?!

— Да, в этом открытом подвале.

— Да это рядом с Чекой. Каждую ночь была стрельба, говорили, что где-то разбойники были и оттого перестрелка.

Я подумал, вот странно, рядом жили и ничего не знали. Вероятно, это часто случалось.

В городе уже появились офицеры и солдаты разных полков. Многие из них, наверно, прятались и теперь надели погоны. На Крещатике мы встретили Васильчикова, которого мы видели в Глав-Сахаре. Теперь он был в форме поручика 2-го лейб-драгунского Псковского полка. Я к нему подошел и сказал, что все мои спутники главсахаровцы. Он обрадовался, и мы все вместе пошли в кофейню.

Он нам рассказал, что Подвойский, главнокомандующий войсками на Украине, слыша о наступлении белых и Петлюры, вызвал Западный полк как самый надежный из советских войск. Он ему поручил защищать Киев. Будто бы Западный полк разбил Петлюру под Васильковым, но Подвойский оттянул его в Киев, чтобы защитить город от белых. Вместо этого, когда красные были разбиты под Дарницей, Западный полк окружил штаб Подвойского. Какой-то полковник Тарновский связался с генералом Бредовым, и Киев пал.

Это оказалось правдой, но его описание боя под Дарницей, помоему, было преувеличено. Он уверял, что бой был гораздо большего размера. У большевиков будто бы была дивизия, и что с юга были рукопашные бои, укрепления и проволока. Что бой начался на рассвете и т.д. Все это, может, так и было, но я видал только действия нашего взвода. Я был даже немножко удивлен, как легко мы пробились, но это могло быть потому, что вся тяжесть сражения пала на 1-й Сводно-гвардейский полк, то есть на преображенцев, семеновцев, измайловцев и егерей и, может быть, на другие батальоны стрелков.

Он также рассказывал, что 1-я кавалерийская дивизия: Сводно-кирасирский, 2-й Дроздовский, 2-й Легкокавалерийский, Сводно-гвардейский и 16-й и 17-й Уланские, – дошла до Нежина-Бахмача, и что 2-я кавалерийская дивизия была под Конотопом.

Он оказался прав, но откуда он это узнал, сидя в Киеве, не понимаю. Уверял, что назавтра приедут в Киев офицеры из Первой дивизии рекрутовать, и что они остановятся в „Метрополе". Это тоже оказалось правдой.

Все же меня удивляло, как это случилось. Загуменный говорил раньше, что связи между Глав-Сахаром и Белой армией у Западного полка не было. Это безусловно было так, что касается стрелков. Когда мы перешли, Исаков и Мирский ничего о Глав-Сахаре не слыхали. Может, была какая-то связь с генералами Драгомировым, Лукомским и Бредовым?

Была еще одна очень странная вещь, которую я до сих пор не понимаю. Телефоны продолжали действовать. Кто за ними смотрел, я не знаю. Знаю только, что, когда я был уже в Конном и мы видели, что проволока телефонная оборвана, ее сейчас же чинили, и, повидимому, красные делали то же самое. Но кто платил телефонистам, я не знаю. Однажды я с разъездом был на маленькой станции,

позвонил на следующую станцию Плиска, занятую нами. Мне ответила какая-то девица. Она оказалась в Ворожбе. Сказала: „Я вас сейчас соединю", и через минуту я заговорил с каким-то типом, который оказался комендантом в хуторе Михайловском. Сперва ни он, ни я не могли понять, о чем мы толкуем. И вдруг оказалось, что он красный комендант. Когда я ему сказал, что хотел говорить с Плисками, он был очень вежлив. „Это вы не туда попали, до нас вы еще не дошли. Вы еще Конотоп не взяли. Ну, всего лучшего!" – и повесил трубку.

Мне кто-то рассказывал, как он для забавы попросил в Лубнах соединить его с Москвой, и Москва ему ответила и телефонистка извинилась, что телефон, с которым он хотел говорить, больше не действует.

В КАВАЛЕРИИ

На следующий день мы пошли в „Метрополь". Туда действительно приехал ротмистр Жемчужников Конного полка и представители других полков. Я спросил Жемчужникова о моем двоюродном брате Алеке Оболенском. Он, оказалось, был убит под Благодатным в Таврии, это тяжело было узнать. Другие родственники – Сергей Стенбок-Фермор и Андрей Стенбок – были в полку. Сергей командовал 1-м эскадроном, что меня очень удивило, потому что он был артиллерист. Про Петра Арапова Жемчужников ничего не знал, но Николай Татищев был у него во 2-м эскадроне. Почему-то он меня, будто бы из-за того, что я был 5 недель на фронте, произвел в младшего унтер-офицера. Взял Загуменного вахмистром в свой эскадрон, а Егорку тоже младшим унтер-офицером. Володю он взял в пулеметную команду. Борис Шереметев был взят кавалергардами. Болотников, как старший унтер-офицер, в 1-й эскадрон. Махров устроился в какой-то другой полк.

Всего в Конный записались 18 человек, все из Глав-Сахара. Вадбольский был очень удручен, что никто не знал о 13-й дивизии. Но ему посчастливилось, от 2-й гвардейской дивизии приехал Миша Печелау Гродненского полка и взял его к себе в полк корнетом. Миша был наш сосед и во время войны служил во 2-м лейб-гусарском Павлоградском полку.

Мы все сразу же пошли в магазины экипироваться всем, чем могли. Я даже нашел в одном магазине вензеля, что было кстати, так как я был назначен в 1-й лейб-эскадрон. Мы распростились со всеми и на следующий день выехали поездом в Носовку.

Носовка принадлежала родителям Романа Мусина-Пушкина, кавалергарда. Там был сахарный завод. Роман нам велел нагрузить в наши тачанки сахар, который очень пригодился. Снадбили нас ло-

шадьми, английскими кавалерийскими седлами, английскими палашами и бамбуковыми пиками и английскими же плоскими касками. Из всего этого оборудования только пики и каски были хорошие. Палаши были тяжелые, слишком длинные, и наверно из какого-то скверного металла. Седла были определенно изобретены идиотами: они состояли из двух досок, соединенных спереди и сзади согнутыми дюймовыми трубами и покрытых кожей. Трубы разгибались от веса седока, и доски врезались в спину лошади. Выдали и наши прекрасные карабины.

Я попал левофланговым в первый взвод и сразу же почувствовал недружелюбие моего взводного, князя Кантакузена. Он был кадет Одесского военного корпуса, был очень строгий дисциплинер, красивый малый, всегда опрятный и великолепный взводный. Как старший унтер-офицер он пришел с полком из Крыма. Я был новобранец и сразу получил два шеврона (оказалось — из-за Загуменного, который наговорил что-то Жемчужникову).

В первый же день произошел неудобный для меня случай. Сергей Стенбок-Фермор, услышав о моем приезде, вызвал меня к себе и, выходя со мною из дома, при Кантакузене, которого он не заметил, сказал:

— Ну, Николай, Андрей будет очень рад тебя видеть, да у тебя здесь и другие друзья есть — Николай Татищев, Дерфелден и Кирилл Ширков, сейчас их еще нет, но они приедут. Ты ничего о Петре не слышал?

— Нет, ничего с Москвы.

Я только тогда заметил Кантакузена. Он ко мне подошел и сказал обиженным голосом:

— Я не удивлен, что вас произвели в унтер-офицеры, у вас тут много знакомых.

Это меня рассердило, но тут еще появился откуда-то Николай Татищев.

— Эй, Николай, поди сюда, что ты о Петре знаешь?

Я сказал, что ничего. Оказалось, они где-то разошлись, и с тех пор никто о Петре ничего не знал.

После этого Кантакузен считал меня каким-то „любимцем" офицеров, это было совершенно не верно, с того момента я ни с Сергеем, ни с Андреем, ни с Николаем никогда не говорил иначе, как по службе. Но Кантакузен ко мне придирался, как мог. Он, конечно, был всегда прав, но мне от этого было не легче.

Мы выступили на следующее утро после моего приезда. Пошли на север, вслед за 2-м Дроздовским, в направлении на Чернигов. Но на следующий день повернули на Нежин. Какие-то красные части захватили опять город. Беспорядочный бой завязался на окраине. Генерал Косяковский, командующий нашим полком в семь эскадронов, бросил два эскадрона желтых кирасир с конной батареей кругом города, захватили станцию. Было больше шума, чем настоящего

боя. Мы и кавалергарды, спешенные, ворвались в город. Была сильная перестрелка. Город был большой, и, как видно, большевики вытянулись, потому что к вечеру стрельба угомонилась. Синие кирасиры захватили несколько пленных.

Наутро мы пошли вдоль железной дороги в направлении на Бахмач. Дорога была будто бы в наших руках. Я был в разъезде впереди, с десятком солдат. Это тут, дойдя до какой-то маленькой станции, я хотел говорить с Плисками, и по телефону связался с хутором Михайловским.

Обдумывая наше движение в те времена, я всегда удивлялся какой-то несвязанности и наших, и красных войск. У нас не было достаточно людей, чтобы оставлять гарнизоны. Не было никакой причины, отчего красные не могли бы занимать города в нашем тылу. Мы были слишком разбросаны, и сообщение между частями было совершенно случайное. Кроме того, я не понимал нашей стратегии. Мы теперь шли в какую-то глушь. Зачем? Направо от нас был Брянск. Отчего мы не концентрировали всю кавалерию, чтобы занять этот важный пункт?

Из Плисок мы пошли на Борзну. Я заметил, что тут нас встречали с большим удовольствием, но в то же время без всяких демонстраций. Они боялись, что как только мы уйдем, вернутся красные.

Погода переменилась, стычки стали ежедневные, ясно было, что почему-то большевики концентрируют свои силы на север от Борзны. Была ли это защита Чернигова или боязнь, что мы повернем на Брянск, я не знаю. Два или три дня мы мотались, высылая разъезды во все стороны, ища главные силы большевиков.

Были дни, когда солнце светило с утра до вечера, но на следующий день шел проливной дождь. Разъезды доходили до Десны и захватили железнодорожный мост. Несколько разъездов даже перешли Десну, но их отозвали, по-видимому, концентрация большевиков была где-то не там.

В один очень мокрый день мы, кажется, в третий раз перешли Бахмач-Гомельскую железную дорогу по направлению к Батурину. В то утро пришло сообщение, что Чернигов взят 2-м конным Дроздовским и (что оказалось потом старым известием) пал Льгов и Орел. Хотя еще было рано, тучи нависли и стало темнеть. Как и за последние несколько дней, мы главных сил большевиков не нашли. Постоянно были стычки с „червонными казаками". Что они собой представляли, кто они были, мы не знали. Они дрались хорошо, многие из них носили бурки, и лошади их были не донцы. Из-за бурок ли их называли казаками или кто-нибудь взял пленного, я не знаю. Мне кажется, что они были началом буденновской конницы. Ходили слухи, что мы искали целую пешую дивизию „Третьего Интернационала", которую нам было приказано истребить. Если это было правдой, то от нашего полка в 700 шашек ожидали очень многого. Красная дивизия, говорили, вся была из коммунистов. Един-

ственное усиление мы получили – 2-ю Горную гвардейскую конную батарею полковника Хитрово.

Когда уже стало темнеть в этот день, я шел с дозором-разъездом в семь человек довольно далеко впереди полковой колонны. Командовал тогда полком полковник князь Девлет-Килдеев, желтый кирасир. Полковник, когда я сменил разъезд кавалергардов, сказал мне название деревни, где мы будем ночевать, посмотрел на карту при свете спички и добавил:

– Это не более трех верст, дорога идет туда прямо, никаких поворотов нет.

Я сменил разъезд и пошел. Было довольно жутко, шел дождь и видно недалеко. Мы прошли немножко больше версты, когда вдруг дорога раздвоилась. Я остановился, не зная, какая из двух дорог была нашей, и послал обратно солдата узнать, какую брать. Подъехал Девлет с полком.

– Хмм... – Он стал чиркать спички. – Не понимаю, на карте этой вилки нет. Валите по правой, она прямее.

Я пошел опять рысцою, чтобы быть на правильном расстоянии. Слева был лес, справа какой-то кустарник. Вдруг совершенно неожиданно у меня в голове появилась картинка деревни. Дорога спускалась не круто, направо был лес. На горке стояла ветряная мельница, а деревня лежала в долине налево от мельницы. Это впечатление было так сильно, что я поднял руку и остановил разъезд. Я сейчас же послал солдата обратно к Девлету. Когда он подъехал, я доложил ему, что мы не на той дороге. Он посмотрел на меня и спросил:

– Как вы это знаете?

– Не могу ответить на это, господин полковник. Там на карте ветряная мельница есть?

– Нет... Вы когда-нибудь в этих краях были?

– Никогда, господин полковник.

– Ммм... это случается.

Я испугался, что если я не прав? Но уже было поздно, Девлет повернул колонну к вилке. Я рысцою пошел на левую дорогу. Я очень боялся, что зря понадеялся на какой-то непонятный призрак, хотя сразу же почувствовал, что это дорога мне была знакома. Я, например, точно знал, когда справа кончится лес. Дождь перестал, и стало светлее. Я отчего-то знал, что сразу за лесом откроется склон и впереди будет видна мельница.

Так и случилось. Деревня была немножко ниже налево. Я сейчас же послал солдата обратно, и через минуту эскадрон синих кирасир обогнал меня на рыси, а за ним рысцой пошли квартирьеры. Деревня оказалась большая, не помню, как она называлась. Когда мы в нее вошли, ничего знакомого для меня не было. Синие уже расставили сторожевое охранение, когда вестовой вызвал меня к Девлету.

– Вы действительно никогда здесь не были?

– Никак нет, господин полковник.

– Вы что, родственник Борису Волкову?

– Никак нет, он курский, мы смоленские, он дальний родственник.

– А, так вы родственник Евгению, генералу?

– Он полубрат моего деда, господин полковник.

– Ах да, тогда знаю, ваш дед рязанский, Волков-Муромцев!

– Так точно, господин полковник, но это по майорату, я просто Волков.

– Ну, ну, идите спать.

Это был единственный случай, что мне привиделось незнакомое место.

На следующий день дождь лил как из ведра. Грязь, по которой мы шлепали, была черная. Лошади уныло повесили головы, приложили назад уши, и гривы их висели какими-то сосульками.

Мы подъехали по большаку к деревне. Впереди пол-эскадрона кавалергардов лавой прошли к деревне и исчезли в ее садах. Мы пошли рысцой по краю деревни и выехали в поле, развернувшись лавой. Вдруг из долины грохнули орудия. Четыре снаряда разорвались близко. Дождь перестал. Где-то за облаками появилось жидкое солнце и на желтоватом небе – полосы дождя. Голубые огоньки орудий мелькали за кустами, и снаряды ложились между нами, подымая черные грибы. Затрещали пулеметы. Карьером мимо нас проскакал вестовой к Стенбоку. Стенбок быстро повернул, и вся лава направилась к деревне.

До сих пор помню: кадет Максимов, стоя в одной из наших тачанок с маузером в руке, кричал мне, когда я с ним поравнялся:

– Это что за пулемет, 18 выстрелов, где эта сволочь?

Мы вернулись на большак и сразу же спешились. Наши пулеметчики, неся „левисы" на плечах, побежали направо от дороги через черную грязь. Затрещали наши 8 пулеметов. Большак был окаймлен старыми березами, и коноводы отвели лошадей за них. Наша цепь растянулась перед березами. Крыли нас шрапом. Вдруг что-то хлопнуло меня по каске так сильно, что зазвенело в ушах и наверно я на минуту потерял сознание, потому что когда я пришел в себя и поднял голову, то ничего не видел и только через секунду понял, что ударился лицом в грязь и она мне залепила глаза. Надо мной стоял номер третий одного из наших пулеметов, Васька, десятилетний мальчишка.

– Убило Васильева и Кузку и расстреляли все барабаны!

Он держал 4 барабана. Я вскочил, схватил у него два барабана, и мы вместе побежали вперед. Васильев лежал ничком, а Кузка распластался на спине. Я попробовал надеть барабан, но ничего не выходило.

– Не так, не так, – сказал Васька, – ну, теперь!

Я никогда не стрелял „левисом". Он вдруг затрещал. Впереди, шагах может в 400-х, шла на нас цепь. Наши пулеметы наносили им

тяжелые потери, и они повернули обратно. И пулеметы отозвали. Ни Васильев, ни Кузка не были убиты, оба были ранены.

Я почувствовал себя молодым героем, но неожиданно получил невероятную головомойку от Стенбока, что я без приказа ринулся куда-то.

Большевики отступили. Но в этот момент появилась конница с другой стороны дороги. Она показалась из кустов в долине. Приказ был: „По коням!" Мы бросились к своим лошадям. В этот момент развернулась батарея полковника Лагодовского. Желтые и синие кирасиры построились во фронт, прямым углом к батарее, и батарея открыла огонь.

Это был первый раз, что я видел так ясно точность наших артиллеристов. Первые три снаряда лопнули в первой линии красной конницы, смяв ее. Четвертый снаряд оказался плохой, он вылетел из дула, ударился в грязь, в десяти футах от пушки и, кидая фонтаны мокрой грязи во все стороны, прорыл длинную канаву. Я никогда ничего подобного не видел. Лошади в линии задних кирасир, как одна, присели.

Линия красной конницы, расстроенная первыми снарядами, выпрямилась, но следующие четыре снаряда ахнули в нее опять. Большевики повернули и бросились к гати — направо гать была узкая. Первые кавалеристы доскакали до гати и были сброшены с нее снарядом, кавалерия смялась перед гатью, и три снаряда ахнули в их кучу. Тогда вся конница повернула обратно. Кирасиры двинулись по склону, но Логодовский уже вконец расстрелял красных, и они стали драпать, кто в кусты, кто вдоль кустов, налево... Когда кирасиры дошли до кустов, кроме 26 непобитых лошадей, которые скакали во все стороны, кроме убитых и раненых, никого из красных не было. Кирасиры поймали лошадей и вернулись. Мы тоже повернули и вернулись ночевать в нашу деревню. Это было 10-го сентября 1919 года.

Наше начальство решило, что мы наконец наткнулись на главные силы неприятеля. На следующий день погода исправилась. Разъезды были разосланы во все концы. Нужно было установить, что именно красные защищали, а также, ввиду того, что они были в большом превосходстве, попытаться узнать, где они хотели с нами сразиться. От нашего эскадрона было три разъезда, два из 1-го взвода и один из 3-го, было три и от 2-го эскадрона. Кантакузен взял 12 человек, я — 10, Феодоров остался с остальными. Полковник Топтыков, наш дивизионный, указал на карте положение. Большая деревня, где мы путались накануне, была Комаровка. Налево была другая большая деревня, Евлашовка, а между ними, несколько верст на север, — опять большая деревня, Британы. В этом треугольнике, как видно, были сконцентрированы главные силы большевиков. Ротмистр Жемчужников, который был тут же, пальцем указал на Британы и сказал:

– Вчера это был дивертисмент, я уверен, что главные силы большевиков в Британах.

Во всяком случае, наши два разъезда пошли между Комаровкой и Британами. Кантакузен ближе к Комаровке. После получаса я потерял его из виду. Я шел кустами, очень осторожно. Вдруг перед нами послышались голоса, но никого не было видно. Я и Шаронов спешились, пробрались через кусты. На лужайке стояла полевая кухня и в хвосте к ней человек 40 пехотинцев. Винтовки их все были сложены в козлы. Нам было приказано привести „языка", если можно. Я решил, что вот и возможность. Мы вернулись к разъезду, я объяснил положение. Мы решили выскочить на лужайку и в панике, которую мы бы произвели, захватить двух или трех пленных. Но вышло совсем не так. Мы полуокружили лужайку, но когда выскочили из кустов, – ни один из красных не бросился к винтовкам, а наоборот, весь хвост поднял руки. Мне ничего не оставалось делать, как скомандовать им: „Стройся! Вон там!" Они тут же стали равняться на дорожке, но как-то неуклюже. „Что, коммунисты среди вас есть?" Испуганные переглядывания, но никто не ответил. Они были вообще какие-то пуганные. Одеты неплохо, только один мальчуган иначе одет, в синих рейтузах. Он был белый как скатерть.

Большинство красных, которых мы брали в плен, были крестьяне, и, стало быть, не коммунисты, но попадались, конечно, и горожане, и интеллигенты. На этих смотрели косо. Им не предлагали, как всем, служить в Белой армии, если только за них не ручались их сослуживцы. Но тех, которых и сослуживцы мало знали, – тех допрашивали и отсылали в контрразведку. А сейчас носились слухи, что в округе – сплошь коммунистическая дивизия „Третьего Интернационала".

– Вы откуда? – обратился я к командиру.

– От Бахмача отступали...

– Какого полка?

– 142-го батальона, да мы отбились...

– Куда вы шли?

– Так мы... думали домой пробраться.

– Другие части тут есть?

– Да не знаем, мы никого не видели.

Мне показалось странным, что они, не зная, где другие части, так открыто расселись на дорожке, даже без сторожевого охранения. Видно, я не один сомневался, Аверкиев ко мне подошел и сказал тихо: „Что-то не то." Я кивнул головой.

Шаронов дважды свистнул двумя пальцами коноводам. Я никогда не умел так свистеть. Шаронов тем временам снял с винтовок штыки, связал их какими-то тряпками, поднял и разрядил винтовки и ремнями связал их по шести. Выбрал самых испуганных пленных и дал им под мышки. Мы тронулись по тропинке в обратный путь, скоро прошли кусты и вышли в поле.

Я ехал сзади с Шароновым, перед нами шел командир и тот мальчуган. Командир оказался бывший унтер-офицер военного времени Пензенского пехотного полка. Меня интриговал этот малец, он на других был не похож. Я подозвал его:

– А вы откуда?

Он ответил запинаясь:

– Я... из Ярославской губернии.

– Вас как зовут?

– Гр... граф Рос... топчин.

Что-то действительно не то. Какой он мог быть граф Ростопчин? Последний Ростопчин был московский губернатор в 1812 году. Позже уже никаких Ростопчиных не было.

– Кто был ваш отец?

– Полковник, он в отставке был, – сказал юноша тихо.

– Полковник? Какого полка?

– Лейб-гвардии Конно-гренадерского.

– Он жив?

– Не знаю.

В моем голосе вероятно ясно слышалось недоумение, Ростопчин сильно покраснел.

– Ну, идите вперед.

Шаронов со мной поравнялся:

– Кто этот малец?

– Да черт его знает, говорит, что он граф Ростопчин, да таких нет.

– Как нет, да тот, что Москву вспалил?

– Так это сто лет тому назад.

– Ну так потомок какой-нибудь.

– Да тот не женат был.

– Да ты же почем знаешь, кого он там обеременил.

– Такие потомки не графами были бы.

– Ну, значит, врет, каналья.

Мое удовольствие и возбуждение от захвата стольких пленных исчезло. Я вдруг сообразил, что нас совсем не за этим посылали. Расположения большевиков мы не нашли, а захватили каких-то третьестепенных пехотинцев, и что они там делали, тоже неясно. И Ростопчин этот меня покалывал. Если он не врет, то и доказать никак не сможет, документов-то у него, ясно, никаких нет. Он, может, никого не знает в армии. Я вот знал многих, и то поручик Турчанинов, императорский стрелок, мне не поверил, и если б случайно не вошел Сергей Исаков, меня б уж наверно отослали в контрразведку как большевистского шпиона. Мне стало не по себе.

Наконец дошли до сторожевого охранения. Какой-то синий кирасир крикнул: „Вы же в разъезд ходили, где столько сволочи набрали?" По пыльной широкой улице, в тени тополей, прислонившихся к заборам, сидели несколько наших солдат, играли в очко.

Перед крыльцом эскадронной хаты в полном безветрии висел не двигаясь на бамбуковой английской пике эскадронный значок. Построили пленных перед крыльцом и я пошел докладывать Стенбоку.

Сергей Стенбок, все говорили, очень милый. Я его мало знал раньше. Он был хороший, строгий командир эскадрона, но я никогда не видел его даже улыбающимся. Он отчеканивал приказы, говорил короткими фразами, и я его побаивался.

Я вошел к нему с докладом, он сидел за столом и писал. Он даже не поднял головы, наконец кончил, посмотрел на меня серьезно и спросил:

– Ну, что вы нашли?

Я отбарабанил все приключение. Он меня не перебивал.

– Так вы зря проездились? Вы не за пленными же ходили?

– Так точно, но мы на них наткнулись.

Он помолчал. Меня свербило, и я решился:

– Господин ротмистр, один юноша говорит, что он граф Ростопчин, сын полковника графа Ростопчина, конно-гренадера.

– Такого не помню. Вообще не слышал о графах Ростопчиных. Вероятно, врет. Идите.

Я повернулся и вышел. На крыльце встретил Андрея Стенбока. „Господин поручик, разрешите с вами поговорить?'' Рассказал ему все, что знал.

– Почему ты думаешь, что он настоящий?

– Да вот он сказал, что ярославский, я тогда спросил, кто был их губернский предводитель, – он без запинки ответил, и верно. Но я больше ничего не мог спросить, я Ярославскую губернию мало знаю.

Тут подошел Николай Татищев. Слух о Ростопчине уже дошел до него.

– О чем вы тут? О Ростопчине? Это, братец ты мой, он втирает. Никаких таких нет.

– Да может мы просто не знаем. Во всяком случае конно-гренадеров нужно спросить.

– Конечно, спроси.

Но конно-гренадеры были где-то в Конотопе, а мы завтра на заре, вероятно, выступаем. Судьба этого Ростопчина оборачивалась худо. Андрей почувствовал мое беспокойство.

– Ты знаешь что, я съезжу на станцию, позвоню во 2-й сводный. Хочешь со мной поехать?

Во 2-м сводном долго не могли найти конно-гренадера. Наконец подошел какой-то ротмистр. Говорили долго, я видел, как Андрей качал головой.

– Ну что?

– Он не знает.

– Как это может быть?

– Да очень просто, если меня бы спросили, был ли какой-нибудь Голицын или Одоевский в нашем полку в 1906 году, я б не знал.

Я был удручен. У меня стояло в ушах, как Турчанинов грубил, как он называл меня „лгуном” и „красной сволочью”. Мне страшно жалко стало мальчика-Ростопчина.

Подъехали обратно к нашей деревне. Поравнявшись со стоянкой нашей конной батареи, Андрей спешился и дал мне лошадь.

– Подожди здесь, я у Лагодовского спрошу, он всех знал.

Через несколько минут он вышел на крыльцо и сказал весело:

– Николай, привяжи лошадей, поди сюда!

В хате сидели полковник Лагодовский, Ника Мейендорф и еще два артиллериста.

– Это Волков.

– Знаю, – сказал Ника Мейендорф, – расскажите о Ростопчине.

Я рассказал, никто меня не перебивал. Полковник сказал улыбаясь:

– Так я вам скажу, что был такой полковник граф Ростопчин, конно-гренадер, ушел в отставку не то в 1904, не то в 1905. Сын ли его ваш пленник, не знаю, но вполне возможно.

У меня как воз свалился с плеч. Я почувствовал, что мне теперь не важно, что разъезд мой оказался плох, и что Кантакузен будет мне докучать.

– Что ты так о нем беспокоился, он тебе не родня, – улыбался Ника.

– Никак нет. Я о себе думал, меня тоже подозревали императорские стрелки.

– Да, чорт его знает, что с ним случилось бы, если б он к корниловцам попал.

Когда мы вернулись, Кантакузен был уже в деревне и тоже наслышан о Ростопчине:

– Ну что? Узнали?

– Да, говорят – настоящий.

– Ну, по крайней мере это уладили с вашими кузенами.

– Это не они, а полковник Лагодовский.

Кантакузен в первый раз мне улыбнулся.

– Да, ему повезло, хорошо, что к нам попал, это вам в плюс.

С этого времени он перестал ко мне придираться, мне стало веселее в эскадроне.

Этот случай напомнил мне две забавные истории. Первая касалась моего деда. В петровские времена канцлером и регентом во время путешествий Петра за границей был князь-кесарь Ромодановский. У него было только две дочери. Старшая вышла за двоюродного брата Петра, Алексея Волкова, вторая за Ладыженского. Мой дед, не знаю зачем, вдруг решил ходатайствовать у Александра III раз-

решение прицепить имя Ромодановского к своему, но опоздал на две недели. Оказалось, то же самое пришло в голову Ладыженскому, который на две недели его опередил и получил разрешение. Но все это оказалось недействительным, поскольку у князя-кесаря был брат, и род Ромодановских продолжался, но никто этого не знал. В 1913 году, во время 300-летия дома Романовых, пришли к Николаю II две старушки на прием. Их спросили, кто они такие, говорят – княжны Ромодановские. Принесли царю в подарок икону, которой Алексей Михайлович благословил князя-кесаря, когда он женился. Икона сохранялась в роду брата князя-кесаря, и эти старухи были захудалые помещицы из-под Торжка, его потомки.

Вторая история еще забавнее. В Петербург приехал из Пермской губернии мальчик пятнадцати лет поступать в Морской корпус. Спрашивают:

– Как вас зовут?

– Князь Сибирский.

– Как князь Сибирский? Таких никогда не было.

А он показывает документы. Действительно, князь Сибирский. Стали спрашивать историков. Оказалось, что Иван Грозный дал это прозвище потомкам Семеона Казанского, и никто об этом никогда не слыхал!

Ну, все это ни к селу, ни к городу. Как только я вернулся с Андреем, меня послали снова в разъезд. Пошли опять по направлению на Британы. Ничего мы не узнали, мотались до вечера, слышали где-то перестрелку, но красных не видали. Прошли справа от Британ и вернулись недалеко от Комаровки. Кроме восьми убитых красных, у одного из которых были хорошие бинокли, и пяти побитых лошадей, ничего не видели.

Разъезды 2-го эскадрона вернулись с гораздо более интересными сведениями. Британы были укреплены, ряд окопов с юга и запада оцепляли деревню. Были какие-то постройки на плетнях на краях садов. Разъезд желтых кирасир добавил, что они насчитали 36 пулеметных гнезд.

Наш первый разъезд наскочил на отряд „червонных", и в перестрелке трое из наших были ранены, включая Кантакузена. Взвод был принят Феодоровым. За два дня эскадрон потерял 16 раненых.

Не знаю, почему, но генерал Косяковский, который вернулся в этот день и которого все солдаты очень уважали за его храбрость, считался „несчастным" командиром. Поэтому, когда с ним приехал генерал Данилов, бывший синий кирасир, все страшно обрадовались. Я его никогда не видел до этого. Он был невероятно толстый, неуклюжий человек на лошади, которая напоминала битюга. Все солдаты решили, что на следующий день будет бой, что мы атакуем Британы и что командовать будет Данилов.

Наутро полк выступил в направлении Евлашовки. Во главе колонны были желтые, два эскадрона, затем два эскадрона синих, за-

тем наш 2-й эскадрон, затем мы и наконец эскадрон кавалергардов. Дорога шла в низине, и от Британов ее не было видно. Мы шли медленно, подымая невероятное количество пыли, и вот уж ее было, наверно, видно из Британов.

Колонна растянулась и вскоре, за исключением желтых, остановилась. Эскадроны спешились, отпустили подпруги. Через час оба эскадрона желтых вернулись на рысях, и клубы пыли поднялись перед всей нашей колонной. Мы смотрели с недоумением на странные маневры. Теперь синие кирасиры пошли рысцой в Евлашовку. Желтые медленно объехали полем и стали на свое прежнее место. Клубы пыли появились на север от Евлашовки, но приблизительно около одиннадцати синие вдруг появились позади нас и тоже вернулись на свое место.

Около полудня появились полевые кухни. Наши две батареи снялись после обеда и расположились в поле за нами и синими. У батарей наших были замечательные горные орудия, 2,7-дюймовые. Они были маленькие, легкие и очень точные. К тому же были действительно великолепные артиллеристы. Эти пушки у нас назывались „пукалки" из-за странного глухого звука выстрелов. Они как будто глухо кашляли. Мы были невероятно горды нашими батареями.

Спешенные дозоры доносили, что в Британах много движения, как будто красные не знали, с какой стороны будут атакованы.

Вдруг часа в два красные батареи открыли огонь по Евлашовке. Наши „эксперты" в эскадроне насчитали три батареи.

В первый раз я близко увидел Данилова. Он пешком грузновато прошел мимо нас с улыбкой. Остановился и очень мягким голосом сказал:

– Ну, ребята, там у большевиков много пулеметов. Не бойтесь, по кавалерии всегда стреляют высоко. Не останавливайтесь на окраине. Валите прямо, мы их разнесем.

И пошел дальше. За ним денщик вел генеральского битюга и свою лошадь.

Я не видел его возврата, и поэтому был удивлен, когда, уже в атаке, увидел генерала Данилова далеко впереди нашего 2-го эскадрона.

Было приблизительно 3 часа, когда эскадроны построились в две лавы. Офицеры выехали вперед. У полковника Топтыкова всегда было красное лицо. До сих пор помню его, с шашкой, висящей на темляке, с лицом, еще краснее обыкновенного. Он обернулся, спокойно посмотрел на наш эскадрон, поднял шашку, и лава шагом двинулась вперед. Его боготворили солдаты, он всегда был спокойный, только лицо его краснело больше. Замечательный был офицер.

Как видно, большевики нас не ожидали с этой стороны. Полковой значок, белый с красным квадратом в углу, еще висел нераскрытым в безветрии. Два-три выстрела из винтовок, как будто проснулись.

Я еше ни разу не видал всего полка, развернутого в поле. Какое великолепное зрелище! Вдруг Данилов пошел рысцой. Сейчас же весь полк перешел в рысь. Полковой значок развился, и на пиках развевались наши эскадронные значки. Направо – кавалергардские, алые с белым, наши синие, белые и желтые – синих и желтых кирасир. В этот момент мне даже не пришло в голову, что мы идем на пулеметы. Меня охватила невероятная красота конной атаки. Теперь мы пошли в карьер. „Ура” заглушило трескотню как будто сплошной линии огня перед Британами. Коричневые столбы наших снарядов на фоне садов. Красные снаряды визжали над головой.

Помню, я повернулся посмотреть назад. Там стояла пыль. Помню, промелькнуло у меня в голове, что Данилов был прав – стреляют высоко. Вторая лава шла полным карьером и как будто нас нагоняла. Я пришпорил лошадь. Вдруг передо мной насыпь. Я опять пришпорил, и лошадь сиганула через окоп. Помню два испуганных лица и пулемет. Алехин, из второй лавы, подскочил, и помню только, что я кричал будто не своим голосом: „Алехин, пулемет! Возьми!” И вдруг вспомнил „не останавливайтесь”. Передо мной плетень и справа дорожки между фруктовыми деревьями. Трескотня продолжалась, пули визжали повсюду. Какие-то пехотинцы бежали между деревьями. Останавливались, стреляли и опять бежали. Между ними появлялись наши конники и исчезали за листвой. Я шел полным карьером, ни о чем не думая. Вдруг дорожка между плетнями повернулась, и у меня захватило дух. Передо мной в нескольких шагах тачанка с пулеметом и за ним испуганное лицо красноармейца. Мелькнула у меня в голове мысль повернуть, но в этот момент раздался треск пулемета, и до сих пор помню какой-то ветер справа от меня. Я остановиться не мог, автоматически взмахнул саблей по голове пулеметчика, и он скатился с тачанки.

С разгону я налетел на круп одной из лошадей тачанки. Это была пристяжка. Кучер и второй пулеметчик старались вытянуть дышло, упертое в плетень. По-видимому, тачанка повернула слишком круто. Оба теперь стояли с поднятыми руками. Мой удар шашкой только искоса хватил пулеметчика по уху. Он теперь стоял, держа ухо рукой, с обиженным видом. Наш Жуков стоял рядом, держа карабин наперевес, так что мне нечего было делать. Я увидел желтого кирасира, спросил:

– Где наш эскадрон?

Он на меня посмотрел удивленно и ответил:

– Я и своего-то не могу найти.

Мы вместе поехали по какой-то улице. За углом встретили человек сто пленных под конвоем десятка синих кирасир. Дальше шла трескотня винтовок. Мы зарысили в том направлении. Из двора вдруг выехал Николай Татищев с шестью солдатами.

– Ты откуда? – и вдруг поправился: – Вы где были?

Я махнул вниз по улице.

– Ваш эскадрон там?

– Не видел, господин поручик.

– Тогда за мной!

Все, как видно, спуталось в деревне, эскадроны смешались. Мы объехали какие-то дома, уже сняли карабины и держали их поперек седла. Из какого-то сада перед нами появились пехотинцы. Мы по ним открыли огонь, и они опять исчезли в саду. Артиллерийская перестрелка прекратилась. Встретили взвод кавалергардов, кажется, не то с Иваном, не то с Андриком Толстым. ;„Там уже кончили." Повернули обратно. К нам пристали по дороге некоторые из наших эскадронов и Максимов-младший, желтый кирасир, с полувзводом своих.

Стало смеркаться, когда мы выехали из деревни. Помню красное небо заката и вдруг в полутьме затрубил трубач „сбор". Я до этого момента не заметил отчего-то, как я устал. Устали и лошади. Быстро стало темнеть. На пригорке стоял трубач на пегом коне и играл сбор.

– Это не наш! – я сказал Татищеву.

– А чей же?

– Не знаю, у нас пегих коней нет.

Но явно был наш, перед ним на фоне неба видна была грузная фигура Данилова на битюге. За ним уже сформировались несколько эскадронов. Когда мы подъехали, несколько солдат направляли подъезжающих к своим эскадронам. Когда мы проезжали мимо Данилова, он вдруг спросил Татищева:

– Вы Конного?

– Так точно, ваше превосходительство.

– Молодцы, мне сказали, вы захватили 14 пулеметов, это хорошо.

– Спасибо, ваше превосходительство.

– Мне говорят, ваш унтер-офицер Волков взял два пулемета, где он?

– Он со мной, ваше превосходительство.

– А! Как вы это сделали?

– Не знаю, ваше превосходительство.

– Как не знаете?

Я совсем забыл про первый пулемет в окопе во всей этой передряге.

– Я на него нечаянно наскочил, ваше превосходительство.

– Ну, ну, я с вами потом поговорю.

Мы вернулись в эскадрон. Татищев поехал в свой. Я подъехал к Андрею Стенбоку доложить, что я вернулся.

– А, к несчастью, Феодорова ранили, вы примете взвод. У нас, боюсь, большие потери. – Он нагнулся ко мне и добавил тихо: – Ты справишься?

– Справлюсь.

– Ну хорошо.

Но осталось всего 17 человек из взвода в 29. Утомленные, мы потянулись в Евлашовку. Подъезжая мы прошли через сторожевое охранение, кажется, роты не то Финляндского, не то Павловского полка. По крайней мере, никто из нас не должен был идти в охранение, уже это хорошо. Я совершенно забыл, что в эту ночь Феодоров был дежурный унтер-офицер, а так как он был ранен, пало на меня.

Перед моим отъездом из Киева, не знаю почему, Таня Куракина дала мне серебряное кольцо с черной эмалью, с именем Св. Варвары. Из-за того ли, что моя мать была Варвара, а они с детства друг друга знали, или потому, что святая Варвара была покровительница солдат, я не знаю. Она меня, кажется, не любила, да и я ее недолюбливал, так что вероятнее первое.

Но я всегда верил в святых, они мне помогали столько раз, что я очень дорожил этим кольцом. Квартирьеры расставили нас по дворам. Двух было достаточно для нашего взвода. В каждом был дежурный смотреть за лошадьми. За исключением меня и двух дежурных, все улеглись спать. Я сел с зажженной керосиновой лампой, вытянул пятидневную газету, которую я уже прочел, и стал ее читать снова. Чтобы не засыпать, я несколько раз выходил во двор. Меня клонило ко сну, и свежая, но теплая ночь была очень приятна. На третий мой обход я нашел обоих дежурных спящими. Сперва хотел их разбудить, но подумал – да ну, пусть спят, я сам лошадей посмотрю. У некоторых не было сена, пошел в сарай, достал охапку и положил в ясли. Вернулся в избу и вдруг с отчаянием заметил, что потерял кольцо. Оно, как видно, соскочило, когда я поднял сено. Меня это страшно удручило.

Не прошло и получаса, как вдруг затрубили тревогу. Я выскочил и заорал: „Седлай!" Мы гордились невероятной быстротой исполнения приказов, что, должен признаться, было результатом великолепной тренировки Кантакузена.

Взвод выкатил на улицу и построился чуть ли не до того, как я оседлал лошадь. Через несколько минут весь наш эскадрон и за нами 2-й уже стояли на улице. Был слышен топот других эскадронов в темноте и глухие команды унтер-офицеров.

Ко мне подъехал Андрей Стенбок и вполголоса сказал:

– Твои друзья Загуменный и Жедрин здоровы, я только что говорил с Загуменным. – И, понизив голос, добавил: – Ты знаешь, что твой взвод дежурный?

Я об этом забыл.

В темноте проехал Сергей Стенбок и, проезжая, сказал:

– Первый взвод, вы дежурные.

Мурашки пробежали по моей спине, хотя я не знал, что это в данном случае значило.

Прошло несколько минут. Где-то что-то начальство решало.

Лошади стояли смирно, еще, вероятно, усталые за последние три дня. Опять подъехал Андрей:

– Я с вами в разъезд иду.

У меня екнуло сердце.

Эскадроны распускались, только мы остались на улице. Андрей сказал:

– Мы идем в Комаровку. Пехота донесла, что деревня опять занята красными. Это может быть неправда, но мы узнаем. Пойдем тихо, без разговоров, и никто не должен курить. Ну, с Богом!

Мы вышли из Евлашовки на юг, повернули в поле и пошли собачьей рысцой. Раньше я не замечал, что в этих полях много камней. Но тут в полнейшей тишине копыта наших лошадей находили в как будто мягкой траве камни, которые невероятно звенели. И никто не замечал прежде, как громко бренчит и звенит сбруя. Я сказал об этом Андрею, рядом с которым ехал.

– Не беспокойся, еще много верст до Комаровки.

Когда мы наконец стали подходить к деревне, было еще темно. Дома разбросаны. Кажется, у третьего дома Андрей сказал мне шепотом:

– Возьми солдата, разбуди хозяина и спроси про красных.

Я взял Шаронова, спешились и вошли во двор. Долго никто не отвечал. Наконец приоткрылась дверь, и испуганная женщина спросила, что нам надобно. Вернулись ли красные?

– Да как я могу знать, я одних от других не отличаю.

– Кто-нибудь проходил тут вчера?

– Да, кто-то проходил вчера утром.

Мы ее поблагодарили. Но это ничего не прояснило. Андрей разделил взвод надвое, и мы пошли вдоль заборов, заглядывая в каждый двор по обе стороны.

Это второй раз, что я был в Комаровке, и мне казалось, что такой широкой улицы я раньше не видел, мы подъехали с какой-то другой стороны. Да и деревня казалась гораздо больше, чем я думал.

Дошли до моста через речку. Направо от моста стоял большой дом с очень большим двором.

– Это на вид школа, – сказал Андрей. – Поставь дозор на той стороне моста и два дозора здесь, один направо вдоль реки, другой налево.

Все это говорилось шепотом. Я расставил дозоры и вернулся к школе. Андрей сидел на ступеньках. Я уселся рядом с ним, убедившись, что никто из солдат не отпустил подпруги. Я чувствовал себя очень нервно и прислушивался к каждому звуку. Андрей, наверно, это заметил. Он стал очень тихо говорить о прошедшем дне. Я понятия не имел, что в сущности произошло. Единственное, что я знал, что во взводе мы потеряли 12 человек и что взяли, а потом оставили Британы.

— Да, потери наши были слишком тяжелые, эскадрон потерял 6 убитых и 27 раненых. 2-й потерял 5 убитых и 21 раненого. Это нехорошо.

— А что мы сделали?

— Трудно сказать. Мы красных, конечно, раскатали. Отбили у них 3 трехдюймовки, 48 пулеметов и взяли человек 500 пленных. Главное, важно, что это была бригада Третьего Интернационала, все коммунисты.

— А что случилось с другими?

— Ушли куда-то. Никогда такого количества пулеметов не видал, даже у немцев. Я думаю, мы все их пулеметы взяли.

Меня это мало утешило, я все думал о святой Варваре.

— Зачем тебя Данилов вызывал?

— Да он мне сказал, что я будто два пулемета взял. Ничего я их не взял, я перескочил окоп, в котором был пулемет, и наткнулся на тачанку нечаянно.

— Так, дорогой, это всегда так случается. Никто на дуло пулемета нарочно не идет.

— Ну, я даже забыл про первый, а второй я взял с испуга.

Андрей засмеялся.

— Ты, дорогой, дурак, я все время испуган, и слава Богу. Когда я отчего-то не боюсь, меня это всегда беспокоит.

— А я дрейфлю все время, это, по-твоему, хорошо?

— Да, конечно: когда боишься, все замечаешь.

Я решил, чтобы себя успокоить, проехать на ту сторону моста посмотреть на дозор. Один из дозорных, Хмелев, когда я подъехал, сказал:

— На этой стороне красные.

— Как вы знаете?

— Да послушайте. Слыхали когда-нибудь, что курицы ночью кудахчут и свиньи визжат? Это их кто-то гоняет.

Действительно, курицы кричали и свиньи визжали — вот она, разведка, надо учиться все замечать. Я быстро вернулся к Андрею и доложил. Стало светать. Теперь можно было видеть дозоры на той стороне моста. В этот момент появились дозоры справа и минутой позднее слева. Андрей быстро посадил взвод и послал меня снять мостовой дозор. Хмелев показал: „Смотрите!" Еще далеко на улице, налево, появилась сотня червонных. Мы все трое повернули и поскакали через мост. Червонные нас, как видно, увидели. Андрей стоял, нас ожидая, отправив взвод назад по улице. Мы бросились за ними. И вдруг, посмотрев назад, я увидел наш взводный значок. Не думая, я повернул и подхватил его. Андрей и дозор притянули лошадей, пока я их не догнал, я бросил значок Хмелеву, и мы поскакали вперед за взводом.

Когда мы выскочили из деревни, было уже светло. На скаку я обернулся, червонные были по крайней мере в 200 шагах за нами.

Мне послышалась где-то стрельба, я посмотрел налево. Цепь пехоты двигалась в нашем направлении.

Вдруг что-то хватило меня по каске, у меня промелькнула мысль, что это сабельный удар, и каска слетела с головы. Автоматически я поднял шашку, чтоб защититься от следующего удара. Но ничего не случилось, я повернулся и с удивлением увидел, что червонные были на таком же расстоянии, как и раньше. Я опустил шашку и заметил, что рука моя покрыта кровью. Посмотрел на рукав, он тоже покрыт кровью. Я ничего не мог понять, затем вдруг почувствовал, как что-то липкое стало залеплять мне правый глаз.

Моя первая мысль была – есть ли у нас в обозе каски?

Хмелев, на меня посмотрев, притянул лошадь и со мной поравнялся.

– Вы что, ранены? Где ваша каска?

– Не знаю, как видно, царапнуло.

– Да вы в голову ранены.

– Не думаю, ничего не чувствую.

В этот момент Андрей тоже притянул коня и велел второму дозорному скакать рядом со мной с другой стороны. Мы вероятно ушли от червонных, потому что следующее, что я помню, – Андрей на пригорке, смотрящий в бинокль, и за ним остальной взвод. Я слышал, как он крикнул, чтобы меня отвезли к санитарной повозке.

Но я был на лошади и если не считать того, что видел только одним глазом, чувствовал себя великолепно.

Мы втроем продолжали идти шагом. Вдруг я услышал звук команд и поднял голову. Я до сих пор помню, как это меня оживило. Насколько можно было видеть, через все поле полным галопом, с пиками наперевес, значки играли на ветру, летел весь полк лавой в атаку. У меня дух захватило. Я наших не видел, они, вероятно, были где-то на правом фланге. Мимо нас проскакали две прямые линии желтых кирасир с ротмистром князем Черкасским, с саблей поднятой высоко, на выхоленном блестящем черном коне. Красота!

Помню стоящую двуколку Красного креста и у нее в белом платье и повязке Мару.

– Что, тебе в голову вклеили, можешь слезть или помочь? – спросила Мара.

Мара всех на „ты" называла, от последнего солдата до Косяковского. Она была замечательно красива. Ее все обожали. Она была грубая, но с золотым сердцем. Ругалась по-солдатски, но была удивительно добра. Она сама говорила, что до войны была киевской проституткой.

Я слез с лошади и в первый раз почувствовал, что голова кружится. Облокотился на двуколку.

– Да тебя пуля через голову звякнула! – Она стала чем-то обмывать мне лицо и лоб и обкрутила мою голову бинтом несколько раз.

– Как еще стоишь, дурак? Грешной, знать, хорошего б в гроб уложила.

– Да, знать, грешной, только голова кружится.

– Это тебе в госпитале справят.

Солдаты подняли меня в двуколку, рядом лежал синий кирасир, и она сейчас же двинулась.

Оттого ли, что она была безрессорная, казалось, что скакали по вспаханному полю. Голова у меня вдруг заболела. Помню, что сказал санитару, который правил двуколкой:

– Да что ты по полю скачешь!

– Да по дороге, и не скачу, – ответил он обиженно.

После этого я ничего не помню.

Когда я пришел в себя, меня несли в носилках вверх по очень крутой насыпи. Пришлось держаться за носилки. На насыпи стоял длинный поезд Южной железной дороги, составленный из серых товарных вагонов, на двух четырехколесных тележках каждый, и большими белыми буквами было написано на каждом вагоне: „Красно-крестный поезд имени генерала Алексеева". На круглом белом пятне – красный крест.

ПОСЛЕ РАНЕНИЯ

Мои носилки подняли в один из серых вагонов. Тотчас два санитара переложили меня в гамак. Голова перестала болеть. Я осмотрел вагон. Две сестры копошились между гамаками. Лампы на потолке выбеленного внутри вагона были голубые, и весь вагон был освещен голубым светом. Меня заинтересовали койки. Они были натянуты между четырьмя веревками, идущими от пола к потолку. Я был в верхнем гамаке. Насколько я мог видеть, было приблизительно 18 или 20 гамаков.

Я, наверное, заснул, потому что когда я проснулся, меня несли два санитара по насыпи вдоль поезда и поставили в белый ярко-освещенный вагон. Оттуда сразу же подняли на какой-то металлический стол. Надо мной стоял доктор и две сестры. Стали резать бинты. Доктор мне сказал:

– Будет больно, возьмитесь за эти поддержки.

Действительно, было больно, когда снимали последний бинт. Доктор мне обрил волосы за ухом и что-то обмывал на правой стороне лба.

– Чем это вас хватило? Никогда такой чистой раны не видел.

Помню, как я сказал довольно глупо:

– Я думал, шашкой.

– Хороша шашка! Это меньше калибра наших пуль. Если б нашей, вы бы были на том свете. – И засмеялся.

Наконец он кончил перевязывать и вдруг сказал ворчливо:

– Вы мне поддержки стола согнули.

Понесли обратно в мой вагон. Голова нисколько не болела. Снаружи было темно.

Когда пошел поезд, понятия не имею. Проснулся среди бела дня, мои носилки стояли на платформе в ряду по крайней мере 50-ти других. Мелькали санитары и сестра, поднимали носилки и куда-то уносили. Наконец дошли до меня, подняли и снесли в автомобиль скорой помощи, в котором уже было трое носилок.

Я или заснул, или потерял сознание, потому что́ ничего не помню после этого. Очнулся в высокой, свежей, белой палате. Солнце светило в большие окна.

Я чувствовал себя очень хорошо и удивился: что я делаю в этой палате? Я обратился к соседу:

– Где это мы?

– Да кажется в Киеве.

– Вы какого полка?

– Третьего Интернационала.

– Третьего... Вы где были ранены?

– Под Британами.

– Когда?

– Два дня тому назад.

Я обратился к другому соседу:

– Вы давно тут?

– Да с неделю будет.

– Это что, мы в Киеве?

– Да Киев, наверное.

– Вы какого полка?

– Бугунского, ранен на Ирпени.

– Бугунского? Это что, 9-й дивизии? – (Я подумал, что он новобранец и по ошибке вставил „ун", что он 9-го Бугского уланского полка, но вдруг я вспомнил, что они где-то под Глузовым.) – Бугунского? – я повторил. – Это что, пехотный полк?

– Да, мы на Волыни сформированы.

– Так вы что, красный?

– Да, мы красноармейская бригада.

– А ваш сосед кто?

– Да тут налево все наши.

Вот-те, бабушка, и Юрьев день! – подумал я, – может, Киев большевики захватили, и я в плен попал? Я испугался. Повернулся к моему другому соседу.

– А с вами рядом откуда?

– Не знаю, он все спит. Кажется, наш. Эй, товарищ! – он обратился к спящему. – Вы что, Третьего?

– Да, Третьего, мы все тут Третьего, вместе с тобой нас привезли.

Меня схватила паника. Как я сюда попал? Ни санитаров, ни сестры не было видно. Госпиталь, как видно, хороший, может быть, и у большевиков хорошие госпитали? Я притих, не зная, что делать. Кто-то вошел, в халате и с палкой. Я не посмел даже посмотреть. Вдруг слышу:

– Николай, ты когда сюда попал?

Я отбросил одеяло и приподнялся. Передо мной стоял вольноопределяющийся унтер-офицер Борис Мартынов, кавалергард. Я с ним в последний раз разговаривал четыре дня тому назад.

– Борис, где мы?

– В Киеве. Тебя что, под Британами хватило?

– Нет, под Комаровкой, после Британов.

– Так ты к нам перейди, у нас свободная постель.

– Как я могу перейти?

– Подожди, я устрою.

– Да тут все красные.

– Так их тоже ранили! – сказал он и засмеялся. – Что с тобой?

– Да ничего, я думал, я в плен попал.

– Вот ерунду несешь, это тебя по башке брякнуло.

Он куда-то ушел, и через несколько минут пришел доктор, маленький еврей в пенсне, с очень красивой молодой сестрой.

– Что это вы жалуетесь? Отчего вы хотите, чтоб вас перевели?

– Я не жаловался, просто мой друг в другой палате.

– Ну, если можете ходить, я пришлю санитара. Вам не понравится там.

– Почему не понравится?

– Там казачий сотник, он очень грубый.

– Ну, у меня там друг, Мартынов.

Пришел санитар и принес костыли.

– Да у меня ничего с ногами нет.

– Это не для того, у вас голова будет кружиться.

Я встал, он был прав, без костылей и его помощи никогда б не дошел. Палата оказалась маленькая, на четыре кровати, с балконом. Сотник посмотрел на меня сердито и спросил:

– А вы кто?

– Я Николай Волков, унтер-офицер лейб-гвардии Конного полка.

– Хмм... Так что в этом специального?

– Ничего, просто регулярный полк.

Я решил сразу, что чинов среди раненых нет и, если он будет грубить, я ему отвечать буду так же. Он замолчал. И вдруг сказал:

– Я потерял обе ноги.

– А-а... Это очень несчастливо! Как это случилось? Как вы, казак, попали в киевский госпиталь?

– Хм... Вы называете это госпиталем? Это жидовская харчев-

ня. Какой это госпиталь! Привезли меня сюда, а эти жиды мне отрезали ноги!

– Да может, это вам жизнь спасло, может, у вас гангрена была?

– Так конечно была, да меня не спросили.

– Если б не ампутировали, так вы бы умерли.

– Да им какое дело!

Он продолжал разносить „жидов". Оказалось, что он терский казак, как он в Киев попал, так и не сказал.

Госпиталь оказался „Еврейским госпиталем имени Самуила Борисовича и Сары Борисовны Бабушкиных". Огромные десятифутовые фотографии их были на лестнице. Госпиталь был замечательно построен, прекрасно оборудован на шестьдесят кроватей.

Кажется, был он на Васильевской улице.

За нами смотрели две сестры, одна невероятной красоты, которую мы прозвали „Рахиль". Они обе были очень милые. Даже терский сотник совершенно размяк. Кормили нас великолепно. Я чувствовал себя очень хорошо, но был отчего-то очень слаб и шатался, если не брал костылей.

Сентябрь стоял великолепный, было жарко днем, солнечные дни шли один за другим. Рахиль ходила в город и приносила нам в подарок апельсины. Мы целыми днями сидели на балконе.

29-го сентября мы тоже сидели вот так, когда сотник вдруг сказал:

– Это что, гроза подходит?

– Не думаю, вероятно, ветер с запада.

Каждый день была слышна глухая канонада с Ирпени, где гвардейская пехота держала фронт против концентрации большевиков. Я никогда не понимал, отчего они там сидели, а не двигались вперед, на соединение с поляками.

Но к вечеру ясно стало, что это и не гроза и не на Ирпени, а гораздо ближе. Рахиль, вернувшись из города, принесла слухи, что большевики прорвались где-то под Фастовым и наступают на Киев.

На следующее утро Борис Мартынов решил пойти в город. После завтрака, часа в два, раскаты орудий были еще ближе. Я решил пойти и сам на своих костылях узнать, что происходит. Я вышел на улицу, поймал трамвай и проехал на Крещатик. С трудом проковылял на Липки к Дарье Петровне Араповой.

Она рада была меня видеть, но ничего не понимала, что происходит. О Петре она все еще ничего не знала. Таня Куракина с обыкновенной своей глупостью говорила: „Ну, если большевики опять придут, я поеду в Москву. Если хочешь написать письмо твоей матери, дай мне, я ей передам." Я, конечно, отказался, она со своей беспечностью легко могла бы подвести моих родителей. Однако я не сомневался, что при везении она, вероятно, добралась бы до Москвы.

Канонада становилась все ближе и ближе. К вечеру она утихла. Дарья Петровна вдруг сказала:

– Николай, завтра утром пойди в штаб Драгомирова, он в конце улицы тут, у тебя там родственники, твой дядя граф Гейден генерал-квартирмейстер, а Лукомский начальник штаба. Спроси их, что происходит.

Я плохо спал. Наутро, хотя ни минуты не надеялся, что, будучи рядовым, увижу начальника штаба или генерал-квартирмейстера, поплелся в штаб.

К отчаянию своему, увидел стоящие перед штабом автомобили и подводы, на которые грузили ящики и чемоданы. Дядю Митю я не видел с Пятнадцатого года, когда он на день заехал к нам в Хмелиту. Я был уверен, что он никак не может меня узнать.

Я пробрался в прихожую. Мимо носились солдаты с ящиками. Никто на меня внимания не обращал. Вдруг я увидел дядю Митю, спускавшегося по лестнице. Я попробовал встать во фронт и потерял костыль. На минуту дядя Митя остановился и спросил:

– Что вам надо?

– Я Николай Волков, ваше превосходительство.

Он на меня посмотрел.

– Ах, ты в конной гвардии?

– Так точно. Разрешите эвакуироваться на одной из ваших подвод?

– Нет, нет, они полны, у тебя тут Курчанинов, пойди к нему. – И пошел дальше.

Я вернулся к Дарье Петровне и рассказал ей, что случилось. Она рассердилась.

– Ну, хорошо, Курчанинов тут недалеко живет.

– Я его не знаю.

– Он штаб-ротмистр Конного полка, он тебя устроит.

Я проковылял к Курчанинову. Перед домом стоял автомобиль, набитый чемоданами и корзинками. Две старушки и Курчанинов суетились вокруг автомобиля. Я подошел, доложил Курчанинову, кто я, и попросил меня вывезти из Киева. Одна из старушек спросила меня, родственник ли я Софии Дмитриевой-Мамоновой. Я сказал, что она двоюродная сестра моего отца. Она бросилась мне на шею, чуть не сбила меня с ног: „Ах, тогда мы родственники!" – и расцеловала меня. Курчанинов указал мне, что места в автомобиле не было. Они все влезли и уехали. Я до сих пор не знаю, какая мне родственница была старушка. Во всяком случае, оставили меня на тротуаре.

Я решил попробовать доковылять до моста и перебраться на левый берег. Уже был слышен треск пулеметов и винтовок где-то внизу в городе.

Я пошел по Левашовской. Останавливался несколько раз отдыхать и думал, какая дурацкая история, пробрался с трудом из

Москвы, только немножко более шести недель в Белой армии, ранили, и никто из белых не помогает мне эвакуироваться от большевиков. Да ну их к черту! – подумал, – сам выберусь!

Вышел на Александровскую и пошел ковылять к Николаевскому спуску. Какая-то площадь, налево парк с решеткой, а напротив большой дом, как нос корабля между двумя улицами. Пошел по левой улице. Смотрю, на тумбе сидит офицер. Я к нему подошел, отдал честь, у него фуражка на обмотанной бинтом голове. Он встал, посмотрел на меня.

– Вы Конного полка?

– Так точно, господин ротмистр.

– Хмм... Куда вы прете?

– На мост, господин ротмистр.

– На этих костылях вы туда никогда не дойдете. Да зачем костыли? Вы же в голову ранены. Бросьте костыли, оставайтесь здесь. Я ротмистр Борзненко, улан Его Величества. У меня тут уже человек тридцать, они в арсенале ищут винтовки и амуницию. Они тоже все раненые. Мы тут засаду устроим, пока подкрепления не подойдут.

Не зная, что делать, я прислонил костыли к стене, покачался, но, вижу, могу стоять.

– Вот видите, совсем вам костылей не нужно.

Пока мы говорили, подошли еще человек семь. Не все раненые, некоторые, как видно, в отпуску. Я пошел, сперва качаясь, в арсенал. Там действительно несколько человек, большинство офицеры, перебирают винтовки. Молодой вольноопределяющийся, посмотрел, гусар 12-го Ахтырского полка. Подошел, представился ему. Он мне говорит:

– Вот я нашел пять винтовок наших, хотите одну взять? Да тут два ящика амуниции.

Никогда такого кавардака не видел. Винтовки, пулеметы кучами навалены на полу, почти что все австрийские. Нашли русского Максимку, ленты, но без патронов. Вытянули.

– Если еще патроны найдем, может пригодиться.

Мой новый друг оказался Забьяло. Не раненый, бежал из Чернигова, старался в свой полк пробраться, но застрял в Киеве.

Мы вытянули пулемет и винтовки во двор. Кто-то нашел ленты с патронами. Во дворе человек двадцать тащили две повозки, которые Борзненко велел опрокинуть поперек улицы. Через полчаса уже была баррикада из повозок, ящиков, мешков, наполненных землей. Работали все дружно под командой Борзненко. Чины исчезли. Среди этой новой команды был старый генерал, два полковника, офицеры и солдаты всяких полков. Кто-то выкатил со двора австрийскую трехдюймовку и зарядный ящик, полный снарядов, но к несчастью, не было ни одного артиллериста.

К этому времени нас было уже человек пятьдесят. Некоторых Борзненко засадил в окнах арсенала.

Люди из Киева продолжали приходить. Борзненко сформировал новый отряд под командою какого-то полковника, который почему-то был прозван „3-й офицерский отряд", и отправил его на левый фланг защищать какую-то „собачью тропу". Я не знал Киева, но будто бы это защищало фланг со стороны Бессарабки.

К двум часам у нас было человек 70, кроме 3-го офицерского отряда, который, говорили, был в 50 человек. Борзненко отправил человек десять в Лавру за водой и едой.

Как ни странно, я совершенно забыл о моем ранении и чувствовал себя великолепно. Стрельба в Киеве прекратилась. Мы продолжали приносить разную рухлядь со двора, чтобы укрепить нашу баррикаду. Перед нами была большая площадь, на другой стороне ее тянулась длинная решетка какого-то парка. К трем часам Борзненко послал меня и Забьяло направо посмотреть, что происходит на нижней дороге, вдоль Днепра.

Мы пошли очень осторожно через кусты к обрыву. Мы вдруг вышли на полковника, сидящего на тумбе и курящего.

– Простите, господин полковник, но что вы тут делаете?

– Сижу, молодой человек, и думаю.

Он оказался полковник Зайцев, Семеновского полка.

Оказалось, что две роты измайловцев были на Подоле. Запасной взвод семеновцев он только что поставил на нижнюю дорогу. Когда я объяснил, кто мы такие и что мы делаем, он сказал:

– Хмм... интересно... хромые и хилые защищают первопрестольную, а штаб сидит на другой стороне моста, положение, как говорится, у-ют-ное!

Узнав о присутствии семеновцев, хоть и запасных, на нижней дороге, мы пошли обратно.

– Ну и война, действительно! „Хромые и хилые" сидят за баррикадой, полковник сидит на тумбе, запасные на дороге, а противника нет, – что твой Кузьма Прутков! – сказал Забьяло.

Но дело было хуже. Только что мы вернулись и доложили Борзненко, как появилась от Александровской подвода. На ней сидело пять солдат. Борзненко достал бинокли. За подводой появилась другая и другая, на каждой сидели солдаты. Когда выехало подвод 20 или больше, Борзненко сказал: „Это красные, огонь!" Послышался залп и на площади произошла паника. Подводы повертывались, натыкались друг на друга, скакали в разные стороны. Залп за залпом превратили другую сторону площади в какой-то сломный двор. Те, которые могли, ускакали обратно по улице, на площади остались убитые лошади и люди, и поломанные повозки.

– Странно! – сказал Брозненко. Неужели они думали, что Киев эвакуирован, ни разъезда, ни дозора, кто ими командует?!

Но, как видно, кто-то ими командовал, потому что через полчаса они появились за решеткой и открыли сильный огонь по баррикаде. Кто-то пришел из арсенала и сказал, что они засели в большом

доме в начале Александровской. Борзненко не разрешал нам отвечать на их огонь.

Они, вероятно, решили, что мы или ушли, или были очень слабы, потому что через несколько минут появилась цепь, затем вторая. Цепь разворачивалась очень точно. Мы молчали. Цепь начала двигаться в нашем направлении, медленно.

Посмотрев на других, я увидел, что атмосфера у нас была очень напряженная. Борзненко стоял не двигаясь за опрокинутой повозкой. Когда цепь прошла половину расстояния, он приказал открыть огонь. Заговорил и наш пулемет. Цепь быстро поредела, но не остановилась, а с криками „ура" бросилась вперед. Залп за залпом наконец остановили ее в 50 шагах от нас, и оставшиеся побежали зигзагами обратно.

– Кто они, не знаю, но это, брат ты мой, пехота, и не заурядная, – сказал Борзненко, ни к кому не обращаясь. – Не тратьте пули, они вернутся.

Действительно, через двадцать минут, после ураганного обстрела нашей баррикады из-за решетки, там было по крайней мере 6 пулеметов, цепь снова появилась.

Хотя щепки летели во все стороны, только один из наших был убит и трое ранено. Эта новая цепь действовала совсем иначе. Она двигалась медленно, останавливалась, двигалась опять и, когда прошла полдороги, залегла, больше всего за убитыми. Было трудно сказать, кто из лежащих принадлежал к цепи, а кто был убитый или раненый. Раненые продолжали лежать на площади. Живые стреляли лежа, перебегали, так что трудно было заметить, определить, докуда дошла цепь. Пулеметы продолжали стучать. Борзненко не разрешал нам открывать огонь. У нас еще трое были убиты и несколько ранены.

Вдруг нападающие поднялись и бросились в атаку. Мы открыли огонь, и опять они остановились и стали отступать. Снова их потери были тяжелые.

Какой-то капитан рядом со мной сказал: „Они больше не полезут." Но оказался неправ. Не прошло и получаса, как кто-то заметил движение на их левом фланге. Борзненко быстро отделил человек пятнадцать и послал их назад и направо от нас, в кусты. После сильной перестрелки это фланговое движение отступило.

Вдруг загудели снаряды. Откуда красные стреляли, мы не знали. Снаряды лопались где-то за арсеналом. Только два или три заухали над нашей головой и разорвались рядом в кустах, сильно.

– Это тяжелые, – заметил мой сосед.

От нас не было видно разрывов, но звук их полета был необычный. „Тю... тю... тю..."

– Шестидюймовки, – кто-то сказал.

– Да это не по нам бьют, – заметил третий.

Стало смеркаться. Труднее и труднее было различить движение

на той стороне. Меня стало беспокоить, что могут подкрасться в темноте. Как будто в ответ на мое волнение Борзненко сказал:

– Господа, большевики ночью не действуют, но это не значит, что мы не должны быть начеку.

Как только солнце село, стало холодно. Борзненко перевел человек десять из арсенала на место наших потерь. Раненых отнесли в Лавру. Ночь оказалась гораздо светлее, чем я ожидал.

Ко мне подошел Борзненко. Он неутомимо ходил взад и вперед.

– Я вам дам четырех человек. Пройдите через кусты до обрыва. Я не думаю, что красные растянулись дотуда, но никогда не знаешь. Вы там были и знаете территорию, только осторожно.

Мои четверо оказались Забьяло, капитан, поручик и студент. Мне было очень неудобно иметь под своей командой двух офицеров, но они приняли это без протеста, только студент стал ворчать.

Мы пошли той же дорогой, по которой наткнулись на полковника Зайцева. Вдруг студент вскрикнул. Я бросился назад к нему и нашел его стоящим над какой-то фигурой, съеженной на земле. Винтовку свою он приставил к ее голове.

Оказалась женщина.

– Это шпионка! – сказал студент возбужденно.

– Возвращайтесь на свое место.

Он неохотно отошел. Я нагнулся и спросил тихо:

– Что вы тут делаете?

Она не отвечала. Я ее приподнял и опять спросил.

– Я сестра милосердия.

– Как вы сюда попали?

– Я убежала. Я с красными была.

Я ее вывел туда, где мы заняли позицию, и стал тихо допрашивать. Отвечала очень осторожно. Она из Могилева. Ее послали в полк и в Киеве она убежала. Ответы ее были правдоподобны, и в то же время она вполне могла быть шпионка. Я решил ее свести обратно. Если она шпионка, что она может узнать? Что какая-то хилая команда с австрийскими винтовками сидит за баррикадой?

Ко мне подошел Забьяло.

– Смотрите, пожалуйста, за ней, этот сумасшедший студент может ее пристрелить.

Я взял поручика, и мы вдвоем пробрались до решетки. Там никого не было. Через несколько минут мы связались с дозором семеновцев, которые заняли верхушку обрыва.

Ясно было, что Борзненко прав: красные до обрыва не растянулись. Как всегда, большевики побаивались кустов.

Мы вернулись мимо нашего флангового отряда, где тоже с первой вылазки не видели красных.

Борзненко был очень доволен, что мы привели сестру. На мое замечание, что она, может быть, шпионка, он ответил:

– Пусть шпионит, она тут раненых перевязывать может.

Стало рассветать. Студент уже успел всем рассказать, что он поймал шпионку, и на нее все смотрели искоса. В Белой армии было много левых социалистов, которые, к несчастью, были убеждены, что все переходящие от красных – были коммунисты. Это совсем было неверно. Большинство наших солдат были из пленных красных, и они были гораздо толковее и надежнее городских добровольцев, среди которых было много студентов. Правда, в нашем полку, как и вообще в регулярных полках, их было очень мало. Отчего они были так подозрительны к переходящим, трудно было понять, но мне говорили, что в чисто добровольческих частях иногда расправлялись с пленными так же, как и красные.

Я лично этого никогда не видел. Когда сдавались красные части, коммунистов там уже не было, их расстреливали сами сдающиеся. У меня в эскадроне был рабочий с Обуховского завода. Он не скрывал, что в 1918 году был красногвардейцем. При переходе к нам он откровенно сказал Жемчужникову, что был коммунистом, но разочаровался и хочет служить в Белой армии. Жемчужников его принял, и он попал в мой взвод. Он был одним из лучших солдат в полку и, к несчастью, был убит годом позднее.

Ночью наши вылезали и подобрали трех раненых красных. От них узнали, что перед нами Таращанский полк. Он вместе с Бугунским прорвался на Верхней Ирпени.

Сестра наша, звали ее Алла, оказалась премилая, не уставая перевязывала раненых до тех пор, пока саму ее не ранили.

На второй день до полудня красные два раза попробовали атаковать баррикаду, на этот раз почему-то в сомкнутом строю, что стоило им еще больше потерь, и мы их отбили сравнительно легко.

Жара была невероятна для октября. Но трупы лежали довольно далеко и ветер был с востока. После полудня был только сильный обстрел из-за решетки, но красные не появлялись. Положение наше становилось довольно критическим. С ,,собачьей тропы'' донесли, что их атакуют большими силами, но что они еще держатся. У нас уже было 6 убитых и 19 раненых. Припаса было не много.

Какой-то поручик предложил Борзненко зарядить и выстрелить из нашей пушки. Борзненко отказался. Стрельба со стороны красных усилилась, у нас было убито еще трое, включая Забьяло, и шесть человек ранено. К нам на помощь подошли два взвода Московского гвардейского полка. Один был сейчас же отослан на ,,собачью тропу", второй усилил нас. Но что было еще лучше – наконец откликнулись с другой стороны моста, и пришла подвода с русскими винтовками и патронами.

Как раз перед началом темноты, после сильного обстрела вдруг ринулась цепь. Борзненко разрешил поручику выстрелить из пушки. Выстрел напугал нас, я думаю, больше, чем большевиков. Я не знаю, как это случилось, но после выстрела, снаряд которого как будто

прыгнул по мостовой, смешал цепь и разорвался, ударившись о кирпичную стенку решетки, орудие вдруг снялось, разогнало наших, покатилось назад по мостовой, ударило и снесло тумбу, и наконец повернулось дулом к арсеналу. Паника у нас была равная панике красных, которые быстро исчезли. Даже стрельба их прекратилась.

Но вдруг оказалось, что сестра ранена в пах. Я только что перевязал руку повыше локтя какому-то подпоручику, стоял держал бинт, как кто-то мне сказал:

– Сестру ранило, перевяжите.

Я пошел к ней.

– Куда вас ранило?

– В ногу.

Я посмотрел, ничего не вижу.

– Нет, выше, выше.

Я ахнул. Перевязывать ногу или руку легко, но тут я совсем смешался.

– Да как я вам перевяжу?

К счастью, она была спокойна и рана была чистая, навылет, но кровь текла сильно. Под ее наставлением и с помощью московца я ее забинтовал, грубо кругом ноги и талии, и наши санитары понесли ее в Лавру, как и всех остальных наших раненых. Четыре санитара с носилками были из Лавренской больницы, они работали не унывая.

Ночь прошла тихо. На разведку пошли другие, и я прикорнул за грудой мешков. Проснувшись, я переслышал разговор моих соседей. Один говорил:

– ...Вряд ли у красных общее командование. Командуют командиры частей.

– Да это и у нас тоже.

– У нас нечем командовать.

– В Киеве же был штаб Драгомирова.

– Да где он?

– Черт его знает!

– Слышно, что у них есть артиллерия, я несколько раз слышал ее вчера. Если б кто командовал, они могли бы разнести нашу бригаду.

– Да почем вы знаете, что это их артиллерия?..

Я встал и пошел вымыться под краном во дворе арсенала. К моему удивлению, там стояла полевая кухня и повара копошились вокруг нее. Я подошел спросить, откуда они появились. Оказалось, кто-то прислал их с той стороны моста, они были петербуржцы. Час спустя по очереди вся наша смешанная команда и группы с „собачьей тропы" вытянулись в хвост у кухни.

Все утро слышалась сильная стрельба и артиллерийская пальба где-то в Киеве и на „собачьей тропе". Говорили, что бой идет на Подоле.

Часов в одиннадцать появился взвод, оказалось кексгольмцы, пришли с той стороны моста. Говорили, что скоро подойдут остальные части роты.

Настроение у всех поднялось. Борзненко продолжал командовать всеми частями. Пришел и полковник Зайцев. Его флегматичная манера имела замечательно успокоительное влияние на защитников.

– Хмм... Смотрите, сколько они оставили убитых. Вы их и без пополнений держали. Скоро нужно будет из дворцовых садов выкинуть. Они мозгами не шевелят. Жалко, хорошая у них пехота, и смотрите, как они ее растратили.

Окола часа опять появилась цепь. Как и раньше, они подготовили атаку ураганным огнем. Борзненко не было, он пошел на „собачью тропу". Как и за два прошедшие дня, мы огня не открывали. Они двигались медленно, меняли направления и вдруг бросились в атаку. Наш огонь их сперва не остановил, и первая поредевшая цепь уже была меньше чем в пятидесяти шагах от нас, когда с нашего правого фланга кексгольмцы бросились в штыки. За ними пошли и мы, и московцы. Но цепь их смялась, вторая цепь сначала двигалась вперед, потом вдруг повернулась, их пулеметы открыли огонь в смешанную кучу и били не только нас, но и своих.

Наши стали отступать, но и красные бежали. Как ни странно, у кексгольмцев был всего только один убитый и четыре раненых. У нас и московцев было только два раненых. Таращанцы опять оставили больше 30 на поле сражения.

На площади теперь было 216 трупов. Ветер перешел на юг, и вонь усиливалась.

К трем часам подошли три взвода кексгольмцев и два взвода петербуржцев. Эти два были отправлены на „собачью тропу".

Борзненко и командиры пришедших частей пошли на двор арсенала, как видно, советоваться. Большевики больше в этот день не появлялись. Три взвода кексгольмцев куда-то ушли.

Когда стало темнеть, вдруг раздалась пулеметная стрельба, но не по нам, и раздалось „ура" где-то справа. Борзненко выскочил за баррикаду и повел нас в атаку. В полутьме трудно было сказать, что происходило. Мы бежали, спотыкаясь о трупы, по направлению к решетке. Пули свистели повсюду. „Ура" раздавалось со всех сторон. Решетка оказалась поломана. Через минуту мы были в саду. Куда красные делись, я не знаю. Мы прошли шагов пятьдесят,и цепь наша остановилась. Мой сосед оказался кексгольмец. Я его спросил, откуда он. „Мы справа обошли."

Мы лежали за каким-то пригорком, и в темноте, усиленной деревьями, впереди ничего не было видно. Пули свистели откуда-то. Потом все затихло.

Трава была мокрая, и стало холодно. Не знаю, сколько времени прошло. Какой-то офицер остановился за мной и говорил с кем-

то, кого я не видел, тихим голосом. Единственное, что я слышал, когда он уходил: „Ну, подождем до рассвета".

Я очень устал и задремал. Просыпался несколько раз. Была тишина. Рядом лежал кексгольмец, а с другой стороны один из наших, капитан. Когда я увидел, что он не спит, я его спросил:

– Что это мы делаем?

– Не знаю, завтра наверно ударим в Киев.

– А куда красные делись?

– Да Бог их ведает! Наверное, где-нибудь в саду засели.

Мы поговорили о последних трех днях.

– Ммм... нам посчастливилось, ротмистр Борзненко выбрал великолепную позицию, а большевики сдурили.

Капитан оказался по имени Казанович, Вятского пехотного полка. Он лежал в госпитале в Киеве с раной в ногу. Как и я, старался выбраться из города и встретил Борзненко. Он мне стал рассказывать про Борзненко. Оказывается, Борзненко, когда пришли большевики, был арестован. Его и многих других повели на расстрел на край обрыва. В момент, когда чекисты открыли огонь, он решил, что все равно умирать, и бросился с обрыва. Падая, зацепился за какой-то куст и замер. Когда чекисты ушли, он очень осторожно слез со скалы, хотя и повредил себе ногу и руку, и укрылся до прихода белых.

Как только стало рассветать, мы начали двигаться вперед. Сперва шли через парк, затем свернули и оказались на Александровской. Тут никого не было, но мы остановились и стали бесконечно кого-то или чего-то ожидать. За нашей спиной вдруг открылась стрельба, это где-то было в дворцовом саду, там были кексгольмцы.

Я был страшно голоден и промерз. Время шло, и ничего у нас не случалось. Вдруг по направлению Липок разыгрался бой. Только потом узнали, что 3-й офицерский отряд с московцами и петербуржцами, поддержанные еще какими-то отдельными частями, перешли в наступление. Загремели орудия, чьи не знаю, и в то же самое время с Подола послышалась трескотня пулеметов и винтовок.

Вдруг вниз по Александровской покатил мимо нас броневик, и пять минут спустя – открытый автомобиль, в котором стоял очень красивый моложавый генерал в серой кубанке, и светло-серой черкеске с белым бешметом.

– Кто это? – спросил я московца.

– Генерал Неледин, он бригадой командует.

Все было непонятно и удивительно. Сейчас же после этого мы пошли шеренгой по обе стороны Александровской на Царскую площадь и повернули на Крещатик. Тут летали пули, и впереди перебегали от дома к дому красные. Мы не отвечали на их огонь, а продолжали двигаться вперед. Дойдя до Бибиковского бульвара, мы вдруг оказались под перекрестным огнем, стреляли в нас и со стороны

Бессарабки и с Бибиковского бульвара. Тут мы засели. Вдруг из Бессарабки посыпались красные. Теперь они оказались под перекрестным огнем и стали сдаваться. Скоро за ними появились 3-й офицерский и гвардейцы. Но большинство красных вытянулись и самое сильное сопротивление оказали на бульваре. Тут они цеплялись за каждую возможную позицию, оставляя ее, только когда мы ее обходили или выбивали штыками.

Я абсолютно не знаю, было у нас к тому времени центральное командование или все действовали сами по себе. Например, куда делся генерал Неледин в своем автомобиле и куда делся броневик. Почему у нас не было никакой артиллерии и даже пулеметных команд, тоже было непонятно.

К четырем часам мы были уже на Брест-Литовском шоссе. Перед нами была какая-то площадка и на той стороне, на углу, еврейское кладбище. Красные засели за стеной. Одна из наших частей пошла в обход.

Мы бросились в атаку через площадку, более как дивертисмент, и сразу же отошли. Во второй полуатаке вдруг что-то хватило меня в живот и сбило с ног. Было страшно больно. Я лежал лицом к мостовой и одним глазом видел отходящих наших. У меня в голове промелькнуло: неужели оставят меня тут?

Я решил лежать не двигаясь. Я заметил, что рука, которая была подо мной, в крови. Моя фуражка, которая каким-то образом очутилась в госпитале, хотя, когда меня ранили под Комаровкой, была в моем отдельном вьюке, теперь лежала на земле футах в шести. Пули визжали над головой. Неужели про меня забыли? Неужели думали, что я убит? Я боялся потерять сознание.

Мне показалось, что прошло по крайней мере час или два. Трескотня вдруг перестала. Я приподнял голову — никого не было. Я испугался, хотя должен признаться, что дрейфил все это время. Вдруг услышал голоса. Я приподнял голову, и сейчас же два человека подняли меня и положили на носилки на спину.

Было невероятно больно, и я подумал, что мне разорвало кишки. Увидел, что надо мной стоят два санитара с красно-крестными повязками на рукавах. Один из них расстегнул мне рейтузы и поднял рубаху. „Это ничего", — и понесли. Через минуту я был в автомобиле скорой помощи. Покатили куда-то.

Я не помню, как мы приехали, как меня перевязали. Пришел в себя в маленькой палате. Горели электрические лампы. Подошла очень красивая, стройная, молодая сестра.

— Вы что, Конного или Кавалергардского полка? Как вас зовут?

Я посмотрел на нее с удивлением.

— Почему вы знаете, что я одного из этих полков?

— Очень просто, — сказала она засмеявшись. — По погонам. Мой брат — желтый кирасир.

— Где это я?

— В Лавренской больнице. Вам посчастливилось, очень легкая рана.

Мне вдруг стало досадно.

— Отчего тогда так больно?

— Да потому что пуля скользнула и порвала вам мускул.

Вот глупо, в голову ударило — не заметил, а тут поверхностная рана и болит.

— Вы брата моего знаете? Доливо-Ковалевский.

— Знаю, — сказал я обиженным голосом.

Живот болел очень сильно, я мечтал заснуть. Наутро живот не болел уже, но ныл. Меня понесли на перевязку.

— Ну, это ерунда, через несколько дней сможете выписаться, — сказал доктор.

Действительно, через день и ныть перестало.

Сестра была очень мила. Часто приходила поговорить. Остальные в палате все были или наши, или гвардейцы. Я вдруг вспомнил нашу сестру милосердия. Я знал только, что ее звали Алла. Только я хотел спросить, где она, как в палату вошла моя тетка Стенбок. Она пришла навещать раненых и меня сперва не узнала. Последний раз я ее видел в Петербурге, когда мне было 12 лет. Она обрадовалась, когда я к ней обратился. Стала расспрашивать про своих племянников, сын ее, Иван Стенбок, в полку нашем тогда не был.

Я ей рассказал про Аллу и попросил узнать, где она. Позже вошла какая-то сестра и говорит:

— Вы спрашивали про сестру Погорельскую? Она здесь. Она большевичка, она в отдельной палате.

— Она совсем не большевичка, она к нам перешла.

— Не знаю, мы нашли документы на ней, она с красными была.

— Так это ничего не значит.

— Ну, это нас не касается. Как выздоровеет, мы ее передадим военным, они там разберутся.

Это мне очень не понравилось. На следующий день я встал и пошел искать Аллу. Нашел комнату и постучал. Никто не откликнулся. Я тихо открыл дверь. Она лежала, натянув одеяло на голову. Я подошел и сказал тихо:

— Алла, вы спите?

Она стянула одеяло и посмотрела на меня испуганно, как видно, не узнала.

— Я Николай Волков, я вас перевязывал, когда вас ранили.

Она тогда вспомнила, уставилась на меня, но не сказала ни слова.

— Как вы себя чувствуете?

— А вы почему тут?

— Меня ранили.

– Зачем вы ко мне пришли?

– Да я хотел узнать, как вы.

– Да вы для меня ничего сделать не можете.

– Я не знаю.

Слезы показались на ее глазах. Мне стало ее жалко.

– Простите, но отчего вы так беспокоитесь?

Она ничего не ответила.

– Пожалуйста, не плачьте.

– Они говорят, что я большевичка.

– Так это ерунда.

– Они мне не верят.

– Так я могу удостоверить, что вы с нами были.

– Они вам не поверят.

Я действительно не знал, как я мог бы доказать, что Алла не красная. Мне вдруг пришло в голову, что если тетка Стенбок приходит навещать раненых...

– Подождите, я подумаю. Я приду завтра.

Я нашел сестру Доливо-Ковалевскую, попросил ее снестись с тетей Маней.

На следующий день тетя пришла, и я ей объяснил про Аллу.

– Да что ты о ней беспокоишься? Когда ее выпишут, военные разберутся, кто она такая. Если она не большевичка, ее отпустят.

– Да как она может доказать?

– Не знаю, они там как-то разбираются.

Я тогда ей рассказал, что произошло со мной и стрелками.

– Если б Сергей Исаков не вошел, меня б расстреляли как шпиона.

Это ее убедило.

– Ну что ты хочешь, чтобы я сделала?

– Возьми ее под свое покровительство, тебе поверят.

Она согласилась. Я ее повел к Алле.

– Послушайте, это графиня Стенбок-Фермор, она за вас будет хлопотать.

Я увидел, что Алла не слишком этому поверила. Тетя Маня обещала ее навестить на следующий день.

Теперь я стал проводить много времени с Аллой. Она была очень мила и повеселела. И отношение госпиталя к ней тоже исправилось. „Графиня сказала... графиня предложила..." Тетя Маня предложила, когда Аллу выпустят из госпиталя, взять ее к себе.

Через несколько дней меня выпустили. Я пошел сразу же к Дарье Петровне. Она только что получила известие, что Петр Арапов в Лубнах, в запасном эскадроне. Я было думал вернуться к себе в эскадрон, но никто не знал, где наша дивизия. Погода испортилась, и у меня не было шинели. Мне вымыли в госпитале мою рубаху, но она была летняя. Я решил ехать в Лубны, там наверное знают, где наш полк, и в то же время я очень хотел повидать Петра.

Попрощался с тетей Маней, она мне дала бурку своего сына, чтоб ему передать. Сходил в госпиталь, простился с Аллой, и сел в поезд на Лубны.

Я совершенно не ожидал того, что увидел в Лубнах. Город был переполнен запасными эскадронами гвардейской конницы. Я нашел Петра. Он совсем не был удивлен моим появлением.

— Где ты мотался?

Я ему объяснил, что со мной произошло.

— Ну, это великолепно, ты ветеран, ты можешь мне помочь. Я командую учебной командой, никто из них пороха не нюхал.

В Лубнах было много знакомых, между ними полковники Дерфельден и Фелейзен, ротмистры Ширков и Жемчужников, но Ивана Ивановича Стенбока не было. Знал также многих из других полков.

3-й эскадрон, под командой Андрея Старосельского, уходил на фронт. Я Старосельского не любил и решил с ним не ехать. 4-й эскадрон Ширкова должен был тоже скоро уходить.

Тем временем я прикомандировался к учебной команде. Командовал запасом полковник князь Гедройц. Я его не знал, и Жемчужников меня ему представил. Это был несчастный случай: Гедройц Жемчужникова терпеть не мог, и его ненависть перешла на меня.

Гедройц был малюсенький. Он вряд ли был выше 5'4" и терпеть не мог всех высоких, хотя почему он так не любил Жемчужникова, который был среднего роста, я не знаю. Говорили, что когда он вышел в полк в 1906 или 1907 году, он сразу же заказал себе „супервест". Это была безрукавка, которую носили офицеры Конного и Кавалергардского, когда на парадных оказиях они стояли часовыми при Государе. Но выбирали для этой службы всегда высоких офицеров. Возможно, что кто-нибудь из молодых тогда над ним посмеялся, но результат был, что он высоким никогда не мог простить их роста. Но он вообще был очень неприятный человек, злобный и очень не популярный, его не любили ни офицеры, ни солдаты.

Меня сразу же обмундировали. В это время появились в Полтавской и Екатеринославской губерниях шайки разбойников. Стали ли они разбойниками, сперва бывши зелеными, или просто разбойничали, не знаю. Зеленые были местные и защищали свои деревни. Эти же были конные и шатались по всей губернии, громя и города и деревни. Они были против и белых и красных. В треугольнике Прилуки-Ромны-Миргород шаталась шайка какого-то Шубы. В Екатеринославской губернии был Махно, на север от Ромен — Ангел.

Шуба появился на Суле на север от Лубен, и послали учебную команду его или поймать, или разбить.

Я Южной России совершенно не знал, и думал, что климат здесь гораздо теплее нашего смоленского. У нас очень редко выпадал снег до первой недели ноября, но тут числа 20-го октября вдруг пошел снег.

Мы выступили с командой в 33 человека и пошли вдоль Сулы. Петр, как всегда, словами не мешкался. Он заставил меня ехать с ним рядом и говорит:

– Эта зеленая молодежь за нами даст такого драпу, если выскочит на нас Шуба, что только пыль будет видна!

– Так зачем же мы их взяли?

– Приучить нужно.

Я, откровенно, этого сам побаивался.

Прошли несколько деревень. Шуба был. В одной деревне повесил двоих, потому что они отказались заплатить ему „дань". Куда он ушел, не знали или боялись сказать.

Снег выпал. Было очень холодно, но мне в бурке тепло. Сколько у Шубы человек было – разнилось. Некоторые говорили, что более ста, другие – человек семьдесят. Пулеметов у него не было. К нам в последний момент приставили две тачанки с пулеметами 4-го эскадрона. Шуба ушел из последней деревни до снега, так что следов не оставил. Выбор наш был идти или на Пески и Галич, или на восток на Камышню. Петр решил последнее.

Была вторая ночь нашего похода. Зная английские седла, я осмотрел расседланных лошадей. Две были сильно набиты, две или три полегче. Пришлось насыпать йодоформом. Худшие две расседлать и посадить солдат в тачанки. Нашли войлок для других.

Здесь произошел случай, который меня очень удручил. Когда допрашивали местных о Шубе, они проявили какую-то ненависть к одному из жителей. Трудно было понять, на чем она основывалась. Вряд ли он был шубинцем, по крайней мере Петр этому не верил. Крестьяне говорили загадками, к которым я вообще привык, но тут уяснить ничего не мог. Это был малорусский говор, который не только словарно, но и философски разнился от нашего великорусского. Я стал подозревать, что деревня от него хотела отделаться, но сами на это решиться не могли. Может, он был коммунист? В первый раз я видел, что Петр не мог решить, как поступать.

– Пойдем с ним поговорим?

– Мы не коммунистов ищем,– ответил Петр коротко, но в конце концов согласился.

Пошли. Дома только жена и двое детей. Стали ее спрашивать. Ясно, она ничего не говорила и не могла объяснить, отчего мужа ее так не любили в деревне.

– Это мы время теряем, глупо было ожидать, что мы какую-то деревенскую междоусобицу сможем разобрать! – сказал Петр раздраженно.

– Откуда этот дым? – кто-то из наших открыл дверь в соседнюю комнату и шарахнулся обратно.

Комната пылала.

– Ведра! Залей, где вода?! – крикнул Петр.

Кроме бочки с водой и двух ведер, ничего не было.

– Неси снег! – крикнул Петр.

Но было уже поздно. Дом горел как костер.

Успели только вывести жену, детей и всякую домашнюю рухлядь. На улице собралась толпа, но ни один гасить пожар не пробовал. Жена и дети голосили.

Как загорелось, кто был в том виноват, невозможно было сказать. Петр был разъярен.

– Отчего, дурак, я тебя слушал, – процедил он сквозь зубы. – Смотри, что случилось, это именно то, чего они хотели.

Я стал извиняться.

– Да, но это моя ответственность, и мы попали в их западню, – ответил Петр сердито.

Дом сгорел. Остались только печка и труба. Мы вышли на окраину деревни, поставили дозоры и устроились в сарае. На рассвете выступили в Камышню. Петр был в очень плохом настроении. Пошел снег, поднялся ветер. Вьюга нас заставила остановиться на хуторе. Хозяин, маститый старик, был очень доволен нашим приходом, но был убежден, что мы Шубу никогда не поймаем.

– Тут все его боятся, никогда вам не помогут.

Как только вьюга прошла, взошло солнце. Снег сверкал. Дух у всех поднялся. Вдруг кто-то крикнул: „Смотрите! Смотрите! Заяц!" Он скакал параллельно нам и, видимо, хотел проскочить перед нами. Не теряя секунды, Петр бросился в галоп, и за ним поскакала вся команда. Суеверие о зайце, проскакивающем перед колонной, было очень сильно, это считалось предречением несчастья.

Этот галоп спас нас от засады: кто-то из деревушки открыл по нас огонь издалека. Мы раскрылись в лаву. Петр бросил меня с частью команды вправо, чтоб обхватить деревушку, но я повернул слишком рано. Мы перепрыгнули низкий плетень и оказались на улице. Через безлистные деревья садов я увидел верховых, драпающих в поле. Нагнать их было невозможно. Пули свистели из-за домов. Почти тут же появился Петр. Я уже спешился и пробовал отрезать стреляющих.

Я думал, что Петр на меня обрушится за то, что я не отрезал конных. Но он только сказал, что мое появление на улице в тылу заставило партизан драпнуть.

– Ты ничего бы не смог сделать, их было слишком много.

Мы обшарили дома и сараи. Нашли одного убитого и двух раненых. Может быть, в деревушке остались еще несколько шубинцев, но искать их было невозможно. Мы подобрали восемь карабинов и шесть лошадей, оседланных казачьими седлами. Лошади были великолепные.

Эта стычка с шубинцами показала нам с очевидностью, что у нас не было достаточно сил. Ясно, что мы повстречали только часть главных сил Шубы, и то они были намного сильнее нас.

Петр решил возвращаться в Лубны. Потом оказалось, что в

сгоревшем доме погиб хозяин, который залег на печке и задохся там. В Лубнах учредили розыск, как это случилось. Никто не знал, как начался пожар, но Петр был прав, ответственность за пожар и смерть хозяина была положена на нас, – именно то, чего деревня хотела. Гедройц, конечно, винил Петра. Но Петр меня больше не укорял. Правду сказать, и я после этого уж советов не давал.

На возврате в Лубны я в первый раз услышал, что произошло на сахарной фабрике. Наступая на Орел, левый фланг корпуса Кутепова подошел к фабрике. Копков отослал комиссара в Москву, „прося подкрепление". Зеленые отрезали фабрику от Брянска, и Южный полк „после геройской защиты" был уничтожен. В действительности он весь перешел к белым, надел погоны корниловцев и превратился не то в полк, не то, некоторые говорили, в дивизию Корниловского корпуса. Их достаточно было на дивизию. Копков был произведен в полковники, но скоро после этого убит. Подробностей я не знаю, хотя потом встречал нескольких корниловцев, которые прежде были Южного полка.

ПОЕЗДКА НА ЮГ

Если бы я уже тогда, во время гражданской войны, занялся записками, вероятно, я бы мог узнать многое и о Глав-Сахаре, и о самой войне, сверх того, что сам испытал. Расспросил бы, например, Петра Арапова о том, как он перешел к белым. Но тогда это мне казалось маловажным. Петр мне, может, даже и рассказал, но вошло в одно ухо и вышло в другое. Знаю только, что он был „убит" за неделю или две до перехода. Попал к зеленым и оттуда – в Белозерский полк.

Это теперь мне очень досадно. Петр мне говорил, что не то Белозерский полк, не то вся дивизия (в таком случае, еще три полка, имен которых я не знаю) были единственными, которые были императорской армии целиком. И командир, и офицеры, и солдаты с фронта, когда фронт рассыпался, ушли в Белую армию.

Петр прослужил там месяц, услыхал, что Конная гвардия в Лубнах, и перевелся. Белозерский полк был и у Врангеля, помню, кто-то о нем говорил под Каховкой, в корпусе генерала Скалона.

Сейчас в Лубнах Петр перевелся из запасной команды в 4-й эскадрон ротмистра Кирилла Ширкова. Ширков меня знал с детства. Его сестра была замужем за князем Мещерским, который жил в Дугине. Мой отец князя терпеть не мог, и он у нас никогда не бывал. Кирилл же, когда приезжал гостить в Дугино, постоянно навещал нас.

Кирилл настоял, чтобы я жил на квартире, которую они с Петром занимали.

К этому времени наступление на Москву прекратилось. Отчего это случилось, я не знаю. В один момент фронт, если его можно назвать фронтом, был приблизительно следующий.

На западе, на правом берегу Днепра: Винница-Казатин-Фастов и вдоль Ирпеня до Днепра. На этом фронте была гвардейская дивизия Бредова и „армия" генерала барона Шиллинга, которая начала наступление из Одессы. Что это армия собой представляла, я понятия не имею, и какие в ней части были, я тоже не знаю.

На восток от Днепра, от Киева до Конотопа, часть армии генерала Драгомирова (в которую включалась и дивизия Бредова). Эта армия была очень жидко разбросана. К ней принадлежал 5-й кавалерийский корпус и какие-то пехотные части, включая белозерцев.

Когда я еще был в полку, 2-й Дроздовский конный полк, наш однобригадный, занял Чернигов, но, думаю, оттуда скоро ушел. После Британов говорили, что наш Сводно-кирасирский полк пошел и взял Новгород-Северск. 2-я бригада, полк гвардейской легкой кавалерии (без лейб-гусар, но с эскадронами улан Его Величества (варшавских) и Гродненского гусарского), а также и Сводно-уланский полк (из 16-го Новоархангельского и 17-го Новомиргородского) были в районе Бахмача-Конотопа. Там же где-то была и 2-я дивизия (сводные полки 2-й, 8-й, 9-й, 10-й дивизии). Направо от них была пехота.

Я совсем не уверен, действовал ли и где пятый корпус в октябре и начале ноября 1919 года, и пишу только то, что слыхал. Говорили, что наш полк был в Глухове и весь корпус двинулся на Брянск.

Тут будто бы произошел случай, за который я не могу ручаться, но слышал от многих, из разных полков. Корпус подошел к Брянску и был в нескольких верстах от него. В Брянске было восстание рабочих, и они прислали делегацию, прося помощи. Корпус приготовился выступить, когда получил приказ от главнокомандующего отойти к хутору Михайловскому.

Тем временем армия генерала Май-Маевского, в которой были Корниловский, Дроздовский и Марковский корпуса, занимала позиции от Карачева-Мценска-Ельца. Направо от них была армия генерала Богаевского (Донская). Тут же где-то были и кубанцы генерала Шкуро. Где был „фронт", не знаю, но в газетах мелькали Липецк, Тамбов, Кирсанов.

Тамбов и Козлов упоминались, впрочем, еще в авѓусте, когда Донская дивизия генерала Мамонтова прорвалась на север глубоко в тылы красных около Тамбова. Они шла почти что без сопротивления уже и на Рязань. По дороге к ней приставали крестьянские ополчения. Но тут Мамонтов получил приказ от главкома возвращаться, что он, к несчастью, и вынужден был сделать.

О силе переполоха у красных. Моя мать, бывшая тогда в Москве, рассказывала, что в начале ноября к ней в панике пришли из-

вестная коммунистка доктор Фельдман и на следующий день — жена Лундберга, который тогда служил в комиссариате образования, с просьбой их спрятать, „когда придут белые, которые в Серпухове". Моя мать очень любила и докторшу, и Лундбергов и обещала за них постоять. Паника в Москве была такая, что поговаривали об эвакуации государственных учреждений во Владимир и Ярославль. Потом, через неделю, все успокоилось.

Направо от донцов-кубанцев была армия генерала барона Врангеля. Она заняла Царицын и Камышин. Армия Врангеля (Кавказская армия) заключала в себе пехотную дивизию Алексеевцев, терских и астраханских казаков, Дикую дивизию и какие-то сводные полки кавалерии.

Генералитет у Деникина, начальником штаба которого был генерал Романовский, хромал. У него были генералы Плющик-Плющевский, Май-Маевский, Шиллинг, правда и Драгомиров. Командование корпусами и дивизиями было великолепным, можно назвать таких, как Бредов, Кутепов, Скоблин, да как Павлов, Абрамов, Назаров и т. д.

Но за Деникиным сидело невероятное правительство из всяких дискредитированных политиканов — всяких социалистов, Милюкова, бывших министров Керенского и всякой другой швали. Генерал Романовский сочувствовал социалистам. Правительство выпускало декреты об Учредительном собрании, о „России единой, неделимой" и в то же время — о „федерации народностей". И другую политическую чепуху.

В армии никто политикой не занимался. Думали только о том, как разбить большевиков. Никто не знал и не думал о том, что последует. Цель была только одна — уничтожить коммунизм. Никто о монархии не говорил. Если кто и думал о будущем, то думали, что будет военное управление, пока все не успокоится. Я не знал ни одного помещика, который думал о возвращении своих поместий. Некоторые говорили: „Ну, если вернут, вернут, это от крестьян зависит." Появилась какая-то новая философия, построенная на возрожденной церкви и на традициях русских военных сил и истории.

Но правительство Белой армии боялось реакции больше, чем большевиков. Они, например, считали донское казачество „реакционерами". Ненавидели старые императорские полки, думали, что они, как только разобьют большевиков, восстановят монархию. Кого, они могли думать, монархисты посадят на престол — совершенно непонятно. Незапятнанных и достойных кандидатов среди Романовых не сохранилось.

Тем не менее, в армии говорили и так, что конницу от Брянска и Мамонтова от Рязанской губернии отозвали из-за страха, что они, дойдя до Москвы, объявят военную диктатуру и бывших политиканов пошлют к черту.

В этом была искра правды. Армия не любила большевиков,

но, выбирая между большевиками и социалистами-либералами, предпочитала, или скорее имела больше уважения к большевикам.

Деникин сам, говорят, был честный, хороший дивизионный генерал. Командовал очень удачно во время войны „железной" дивизией и был очень популярен в своей дивизии. Потом успешно – и 8-м корпусом. Но уже в начале Гражданской войны Корнилов, Алексеев, Дроздовский, Марков были или убиты, или умерли, и вокруг Деникина собрались второстепенные генералы.

Исключением в военном смысле был Врангель. Я его знал очень мало и односторонне. Знал баронессу лучше, но об обоих слышал от Петра Арапова, который был его племянником. Знал через Петра, что Врангель терпеть не мог всю правительственную и военную камарилью вокруг Деникина.

Был бы Врангель как главнокомандующий лучше? Думаю, что, вероятно, да. Он был очень популярен среди офицеров и солдат, но это не значит, что он был стратег. Петр мне говорил, что Врангель в июне 1919 года предложил собрать всю конницу и казаков, со всей конной артиллерией и броневиками, и соединяться с сибирскими белыми силами. Как Петр говорил, у южных войск была бы „формидабельная" сила. По крайней мере, 6 дивизий регулярной конницы, 4 дивизии донцов, 3 дивизии кубанцев, 1 дивизия терцев, 1 дивизия астраханцев и 1 дивизия туземцев (Дикая) – это 16 дивизий, приблизительно 40 тысяч конницы. По крайней мере 250 орудий, 1000 или больше пулеметных тачанок. Конные саперы и легкий обоз. Такая сила тогда бы могла прорваться через еще плохо организованную оборону Красной армии. Но Деникин отказался наотрез. Вероятно, не он, а его окружение, по политическим причинам.

Врангель был кавалерийский генерал. Как ротмистр, в 1914 году он командовал 3-м эскадроном лейб-гвардии Конного полка и под Каушеном в Восточной Пруссии повел эскадрон на немецкую батарею, которая отстреливалась картечью, и ее взял. Командовал потом кавалерийским полком, потом дивизией оренбургских казаков. Отличался повсюду. Когда он принимал командование в 1920 году, войск у него почти что не было, но об этом позднее.

Деникин, с другой стороны, и его сотрудники еще мыслили стратегией 1914-17 годов. Они думали о „фронте", но войск для этого было недостаточно. Думали о престижных городах – это был Киев, Харьков, Орел и т.д. Из-за этого очень растянули фронт на Запад, к Киеву.

Как и почему в ноябре 1919 года „фронт" белых вдруг рухнул, не знаю. Вооружения и амуниции у Красной армии было вдоволь. У белых этого не было. Англичане всегда плохо снабжали Белую армию и к концу 1919 года прекратили. Организация в тылу была ужасная. В общем, тыла не было.

Отступление, которое началось в конце ноября, было не отступлением, а драпом. Никто не знал, где кто.

Кроме этого появились две новые проблемы. Организовалась конница Буденного и появился в тылу атаман Махно с сотнями пулеметных тачанок. Говорили, что они были петлюровцы и „независимые" украинцы. Но в то же время и социалисты.

На Кубани появился некто Рябовол, который агитировал за какую-то „независимую Кубань".

Во всяком случае, „фронт" откатывался с невероятной быстротой.

Не помню числа, но в один прекрасный день Кирилл Ширков меня спросил, был ли я после двух ранений в отпуске? Я ответил, что нет. Тогда он мне предложил отпуск на три недели.

– Послушай, ты можешь в Крым поехать, но по дороге подбери мою жену и дочку и эвакуируй их в Ялту. Они сейчас в Харькове у Мани Стенбок.

Я сразу же согласился. И обрадовался, что смогу узнать от тети Мани, что случилось с Аллой.

В тот же день я поехал поездом из Лубен в Полтаву. Со мной поехал Петр по каким-то делам полка. Мы приехали в Полтаву морозной ночью. Поездов на Харьков уже не было. Единственное, что я нашел, был товарный поезд, который уходил через час. Он стоял на запасном пути, оказалось потом, что он не товарный, а санитарный, битком набитый солдатами и офицерами в тифу.

– Смотри, не поймай тиф! – сказал Петр.

Я об этом как-то не подумал. Сейчас я впервые услышал о тифе в Белой армии. Еще в Москве он свирепствовал перед тем, как я уехал, но я отчего-то его не боялся.

– Ничего, не поймаю!

Я помню, как Петр провожал меня до поезда. Мы стояли на платформе, прислонившись к теплушке. Петр, как часто, стал философствовать.

– Смотри, как ярко светят звезды. Если хочешь сойти с ума – то только постарайся понять две вещи: „время" и „бесконечность". Ни то, ни другое человеческий ум не может объять!

Я влез в теплушку перед самым отходом и только тогда узнал, что и она набита тифозными. Весь поезд был тифозный. На нем, оказалось, был только один санитар, две сестры и доктор, который уже бредил, но еще старался на остановках вылезать. Ничего никто из них сделать для больных не мог, только давали пить воду, которую набирали на станциях. В результате я превратился в санитара и с крынкой воды лазил по полатям, стараясь утолять жажду больных. Но и тогда мне не пришло в голову, что могу схватить тиф.

Куда шел этот поезд, я понятия не имел. Во всяком случае не в Харьков. Он дошел до Люботина, и там сказали, что он поворачивает куда-то в сторону. Говорят, до Харькова верст 30. Я пошел на станцию узнать, есть ли поезда. В станционном зале, набитом людьми, большей частью женщинами, сидящими на узлах, произошла не-

вероятная встреча. Всю жизнь меня удивляло количество совпадений, случавшихся со мной.

Я о Люботине раньше и не слышал. Случай меня привел сюда. И вдруг:

– Николаша, что ты тут делаешь?

Посмотрел – тетя Соня Дмитриева-Мамонова, двоюродная сестра моего отца. Имение у нее было в Тульской губернии, что она делала в Люботине?

– Тетя Соня, а ты что тут делаешь?

– Да у меня тут имение.

– Имение?

– Да, недалеко, рядом с Голицыными.

– Какими Голицыными?

– Да Вера, двоюродная сестра твоей бабушки Дондуковой.

– Я и не знал об этом.

– А ты зачем здесь?

– Да еду в Харьков эвакуировать Эллу Ширкову.

– Да туда поездов нет.

– Ну, как-нибудь проберусь.

Пошли к начальнику станции. За мной идет какой-то поручик. Я спросил у начальника про поезда. Он и слушать не хочет. Повернулся, поручик мне говорит:

– Мне тоже нужно в Харьков, пойдемте возьмем паровоз.

– Как возьмем паровоз?!

– Просто, – он указал на свой наган.

Пошли. Нашли какой-то маленький паровозик. Машинист говорит:

– Я с этой станции никуда не хожу, в Харькове никогда не был.

– Ну слезайте, я железнодорожного батальона, сам справлюсь.

Я стал кочегаром. Не трудно, что в печку дрова подкидывать. Но дров мало. Переменили стрелку, проехали и стрелку обратно поставили. Поручик мой все знает. Я его спрашиваю:

– Достаточно дров?

– Да не знаю, сколько этот самовар жрет.

К удивлению всех на платформах, проехали несколько станций или полустанков. Одна, кажется, называлась Новая Бавария. Дров все меньше и меньше.

– Не доедем, придется пешком переть.

Действительно, все меньше и меньше пара.

Какой-то запасной путь, и вдали уже виден Харьков.

– Бросим этот самовар, быстрее пешедралом до Харькова дойти.

Свели паровоз на запасной путь и пошли пешком. Версты четыре до окраины. Пошли по полю. Снег хрустит под ногами. Дошли до какого-то предместья. Большой город. Наконец нашли извозчи-

ка. Приехали. Поручик пожал мне руку, спросил, есть ли чем заплатить. Денег у меня было достаточно.

– Ну, приятной эвакуации, я вам не завидую, тут уже паника. – И слез.

Я поехал на извозчике дальше. Город современный на вид. Пяти-шестиэтажные доходные дома. Приехал. Большой квартирный дом. Большая передняя, швейцар и центральное отопление. Тепло. Лифт действует. На третьем этаже квартира. Звоню. Открывает дверь горничная. Спрашивает: „Вы что, к графине?" Все, как будто, нормально.

Тетя Маня обрадовалась.

– Как? Почему?

– Приехал за Эллой Ширковой, в Крым ее везти.

– Да милый, она больна, и девочка слишком маленькая, чтобы ехать.

– Мне приказано их вывезти.

– Это совершенно невозможно. Подумай, все отсюда бегут, поезда набиты, в коридорах, на крыше, как Элла может путешествовать?

Эллу я не видал, она была в кровати. Меня накормили. Тут были какие-то две старушки, которые будто бы знали меня, но я теперь не помню, кто они были. За столом я спросил тетю Маню про Аллу.

– Ах, я ее устроила в какой-то полевой госпиталь, где она теперь, не знаю.

Я решил разузнать про поезда. Пошел на улицу, нашел извозчика и поехал на станцию. Там невероятный кавардак. Залы и платформы набиты народом, сидящим на узлах. Но, удивительно, масса офицеров и солдат. Если действительно красные наступают, отчего они не на фронте?

Вокзал колоссальный, лучше московского. Поезда на каждой платформе, уже набитые. Я пошел к коменданту. Пробраться к нему было трудно, не пускают.

Спрашиваю:

– Когда поезда идут на Крым?

– В Крым? Да вы что, с ума сошли? В Крым только военные поезда идут. Последний пассажирский ушел сегодня утром.

Я, конечно, объяснил, что не для себя справляюсь, а везу даму с ребенком.

– Это никак!

Но узнал, что на следующее утро в 9 часов отходит, вероятно последний, пассажирский поезд в Ростов.

Поехал обратно. Заказал извозчика к 6 утра, думал, что если приеду заранее, как-нибудь устроюсь. Сказал тете Мане. Она на меня обрушилась. Я ей говорю, что хочу видеть Эллу.

– Это невозможно, она спит.

Я настоял, и ее разбудили. Я нервничал, зная, что Элла рожденная Звегинцева. Хотя я лично Звегинцевых не знал, мой отец и мать их знали хорошо, и я вырос с представлением, что Звегинцевы упрямые и могут быть очень неприятными.

Наконец появилась Элла в халате. Она мне очень понравилась. Привлекательная и совсем не то, что я ожидал. Я ей объяснил, зачем приехал, она сразу же сказала, что поедет, и, несмотря на протесты всех присутствующих, просила помочь ей уложиться. Было тогда 11 часов ночи.

Тетя Маня убедила меня прилечь и говорит:

– Вот комната, там три кровати, там двое из твоих спят, они тоже завтра утром едут. Николай Татищев и Димка Лейхтенбергский, они оба ранены.

Я обрадовался, по крайней мере я не один.

Они, конечно, спали, и я их не трогал.

Разбудили нас троих в пять утра. Мы все обрадовались друг другу.

– Что ты тут делаешь, тебя же убили под Британами!

– Как видишь, еще жив.

– Так тебе же мозги вышибли!

– Нет, немного оставили.

Поели, Элла уже была готова, с бесконечным количеством багажа, спиртовкой, термосами, бутылками молока и т.д. Я смотрел на все это с ужасом. К тому же бедная Элла действительно была больна.

С трудом все это уложили на извозчика и поехали на вокзал. Слава Богу, были еще носильщики. На левой стороне платформы стоял ростовский поезд, на правой – тоже пассажирский, с красными крестами, в Севастополь. Я ахнул, когда увидел ростовский поезд. Он был набит так, что и спичку уронить невозможно. Напротив стояли Николай и Димка, как видно, нашли себе место в краснокрестном поезде. Я был в отчаянии.

Мне вдруг пришла в голову идиотская мысль. Даже в России был невероятный снобизм среди чиновников. Я подошел к Димке и говорю:

– Послушай, могу я твою фамилию употребить у коменданта, помочь мне найти место?

– Да, конечно, если это поможет.

Я на это не слишком надеялся, но попробовать нужно. Пошел. Вчера меня к коменданту не пускали. На этот раз я прошел прямо к нему.

– Простите, я к коменданту от герцога Лейхтенбергского.

– Ах, пожалуйста, пожалуйста.

– Господин полковник, я от его высочества герцога Лейхтенбергского. – Я надеялся, что он не знает, что тот не высочество. – Мне необходимо купе первого класса в ростовском поезде.

Он на меня посмотрел с удивлением.

– Для герцога?

– Никак нет, для его семьи.

– Да, да, конечно, я сейчас очищу вам купе. Лучше поближе к концу, ближе к уборной, вы с ними едете?

– Так точно, меня назначили их конвоировать.

– Да, сейчас, сейчас.

Я был так ошарашен этой удачей, что не верил своему счастью.

– Я вам дам ключ, так что вы сможете запереться в купе.

Я оказался с подпоручиком и двумя солдатами. Они вошли в вагон, очистили купе, погрузили весь багаж, посадили Эллу с Еленкой и поставили часового в коридоре.

Я был совершенно изумлен.

Поезд пошел. Но тут у меня началось второе беспокойство. Бедная Элла была сильно больна. Нужно было кормить девочку, ей, кажется, только два месяца было, менять пеленки, укачивать. Я за эту поездку научился многому: и температуре молока, и смене пеленок, и всяким другим неизвестным для меня няньческим тайнам...

Поезд шел очень медленно, кажется, через Изюм, Славянск и Таганрог. Приехали мы в Ростов на следующий день. Нужно было узнать, есть ли поезд на Новороссийск. Если нет, у меня адрес Сони Кочубей, нужно было туда отвезти Эллу.

Я вышел на платформу. В конце платформы группа военных, идущих мне навстречу. Господи Боже мой, Петр Врангель. Я испугался, я его не знал и побаивался. Стал во фронт. Он вдруг остановился передо мной. На моих погонах были вензеля.

– Вы Конного?

– Так точно, ваше превосходительство.

– Лейб-эскадрона?

– Так точно, ваше превосходительство.

– Как вас зовут, молодой?

– Николай Волков, ваше превосходительство.

– Что вы тут делаете?

– Провожаю жену и дочь ротмистра Ширкова, ваше превосходительство.

– Передайте привет Элле.

– Так точно, ваше превосходительство.

Он повернулся и пошел дальше.

Поезда в Новороссийск, конечно, были, но опять набиты. Дурак, почему я не спросил Врангеля, он, может, что-нибудь устроил бы. Да нет, я никогда бы не посмел.

Значит, нужно ехать к Соне. Нашел извозчика и поехали. Я Соню с детства не видал, она меня старше была на пять лет. Слава Богу, у нее большая квартира, и Эллу устроили.

Теперь нужно было найти способ проехать в Новороссийск.

Оказалось, что Английская военная миссия в Таганроге имела для своих офицеров задержанные купе. Генерал Швецов был в Таганроге, и дочери его, Татьяна и Соня, теперь работали у англичан. Я их знал по Глав-Сахару. Знал и брата Игоря.

Поехал в Таганрог. Швецовы были очень милы. Через англичан получил купе и повез Эллу в Новороссийск. Узнали, что там забастовка портовых рабочих и никакие пароходы в Крым не идут.

В Новороссийске уже было столько народу, ожидающего пароходов в Крым, что найти каюту и заказать ее не было возможности.

Я опять стал изыскивать способ. К моему удивлению, генерал-губернатором Черноморской области, то есть Новороссийска и окрестностей, оказался дядя Женя Волков, младший брат моего деда Волкова-Муромцева. Он с тетей Верой (Свечиной) жили на Цементной фабрике к югу от Новороссийска. Я поехал туда, но от дяди Жени никакого толку добиться не мог.

Я совершенно не знаю, каков климат Новороссийска летом, но зимой – сам дьявол, должно быть, его выдумал. Никогда таких холодных и такой силы ветров не встречал. Это даже не был обыкновенный ветер, который то усиливался, то падал, – нет, норд-ост дул как из трубы, все время с той же силой.

Я не помню теперь названий улиц, но одна из них, с севера очень крутая и широкая, кончается на набережной, вдоль которой тумбы. С трудом и цепляясь за что попало, я поднимался по тротуару. Вдруг из дома вышел впереди меня маленький толстый человечек. Его подхватил ветер и понес вниз по улице. Его ноги мелькали, как поршни. Если он кричал, то из-за ветра не слышно было. Было и смешно, и страшно за него, потому что его несло прямо в воду. К счастью, или сам он, или ветер направил его прямо на тумбу, и он там повис, точно горестный Пьеро.

Никто ничего о конце забастовки не знал. Я пошел на набережную, где были привязаны два парохода черноморского добровольного флота, „Лазарев'' и „Ксения''. В небольшой будке сидел человек лет пятидесяти в форменной фуражке. Я постучал и вошел. Он, оказалось, был ответственен за рабочих, которые грузили пароходы. Но его рабочие не бастовали, бастовали те, которые грузили уголь.

– Без угля, братец, никуда эти пароходы не пойдут, а мы тут сидим, деньги теряем. Правительство восстановило трудовые союзы, а заворачивают ими красные.

Он мне предложил чаю, и мы долго сидели и разговаривали. У него много было, о чем беспокоиться. Он боялся прихода большевиков.

– Всем плохо будет, но нам, рабочим, хуже всего. „Вы с белыми работали, так мы вам гири на шею привяжем и в море!'' – вот что скажут. А у меня дочка ожидает, а муж-то ее ушел в солдаты с полгода тому назад, и ничего от него не слыхали.

Я ему объяснил свое положение.

– Ну, братец, когда время придет, посмотрим. Что вам по городу шататься, заходите к нам чайку попить, поговорим.

Я пошел в город. Как все портовые города, Новороссийск был полон трактирами и кофейными. Пьяных было мало, потому что продажа водки и вина была запрещена со времени начала войны 1914 года. Но, конечно, хотя водки было по малости, вина в Новороссийске было много. В нескольких верстах всего был Абрау-Дюрсо с виноградниками на всех склонах. Подавали вино в чайниках, пили из чашек, точно чай.

Норд-ост дул повсюду. Казалось, безразлично, в какую сторону улицы идти – ветер всегда дул прямо в лицо. Согнувшись, я пыхтел против ветра, когда на углу какой-то улицы в меня влетел человек и чуть не сбил с ног. По форме он был англичанин, офицер, маленький, в очках. Мы оба извинились, он по-русски, я по-английски.

– Вы что, англичанин? – спросил он меня по-английски.

– Нет, но у меня много английских родственников.

– Разрешите представиться, армейский доктор Бутчер, но с крейсера „Grafton". Он там валяется, – прибавил он по-русски.

Мы вместе уселись в кафе, стали разговаривать. Он оказался очень милый. Мы друг другу рассказали все, что делали последние месяцы, пофилософствовали о революции, гражданской войне. Он, оказывается, знал моего двоюродного брата Юрия Дондукова, который только что уехал из Новороссийска. Мы с ним подружились. Решили пойти обедать в станционный ресторан. Тут была масса военных. Я узнал, что пришел поезд со штабом Драгомирова. Что мог штаб западного фронта делать в Новороссийске? Но я вдруг вспомнил, что дядя Митя Гейден должен быть с Драгомировым. Я сказал об этом Бутчеру.

– Так отчего вы не пойдете его попросить вам помочь, каюту для госпожи Ширковой заказать?

– Я его уже раз просил меня эвакуировать из Киева, я тогда был ранен, но он ничего не сделал.

– Может быть, на этот раз он что-нибудь сделает.

– Вряд ли.

Мы договорились встретиться в том же ресторане на следующий день.

– Что ж, были вы у вашего дяди?

– Нет, не был.

– Да попросить-то вреда никакого нет, а возможность, что поможет, есть.

Мы пошли искать поезд. Нашли его, стоит на запасном пути. Часовые у подножек. С трудом убедил какого-то унтер-офицера доложить генералу, что я хочу его видеть. Наконец он вернулся. Генерал решил меня принять. Бутчер сказал, что подождет меня снаружи.

Меня провели в салон-вагон. Дядя Митя, ясно, не был рад меня видеть.

– Что тебе теперь нужно?

Я быстро ему объяснил мою проблему.

– Я никогда исключений ни для кого не делаю, и, во всяком случае, в Новороссийске я никакого влияния не имею.

Я большего не ожидал и поэтому не огорчился. Бутчер же был очень удивлен.

– Я в Англии такого случая себе представить не могу. Чтоб дядя отказал своему племяннику в помощи, это невероятно!

– В России это совершенно обыкновенно. Если б это было не в убыток кому-нибудь другому, он, может быть, что-нибудь сделал. И я не должен был просить об исключении. Но я совершенно бессовестный, я, конечно, стараюсь другим нарочно не вредить, но если женщина или дитя на моей ответственности, то я совершенно без совести.

– Вы прямо из средних веков!

Мы пошли через запасные пути. На одном из них стоял поезд, которого вчера не было. Крыша его была покрыта инеем, и сосульки висели даже под вагонами.

– Странно, я знаю, что морозит с этим невероятным ветром, но почему сосульки? – сказал Бутчер удивленно.

– Так поезд, вероятно, с Кубани пришел.

– Да, да, но смотрите, красные кресты... Пойдем посмотрим.

Я с трудом открыл дверь вагона третьего класса, она как будто примерзла, вошел и остолбенел. Вагон был полон скрюченных фигур. Бутчер, за моей спиной не видя, спросил:

– Что вы остановились?

– Да они все мертвые...

– Кто мертвый?

– Вот, смотрите.

Бутчер ахнул:

– Не может быть, что они все мертвы! Посмотрим!

Но живых не было. Мы пошли в другие вагоны, то же самое. Бутчер был в ужасе. Я старался разглядеть, были ли там знакомые лица, но узнать было трудно. Только одну сестру милосердия узнал, это была Ольга Деконская, тетка одного из наших вольноопределяющихся.

Я был потрясен, но не так, как Бутчер. Он все повторял: „Как это могло случиться?!'' Я дошел до того, что ничему не удивлялся. Оказалось, что поезд, набитый тифозными и ранеными, застрял в заносах степи где-то около Крымской. Отопление сломалось. После четырех дней их выкопали. Только машинист и кочегар были живы.

Бутчер был страшно удручен. Чтобы его утешить, я его повел на набережную к моему другу старшине. Когда мы пришли, он как раз собирался уходить, искать доктора. Дочь его рожала, но что-то

было не так, прибежал мальчишка его звать. Я ему быстро представил Бутчера и говорю: „Он доктор, он вам поможет." Мы все побежали к дочери его на квартиру.

Хотя Бутчер и говорил по-русски, но плохо в критическом положении. Жена старшины помогала, но мне нужно было ей переводить. Были какие-то осложнения, которых я не понимал. Я только знал отеление коров, но тут многому научился.

Пять часов Бутчер бился, и наконец родился сын, и молодая мать, хотя израненная, была вне опасности. Мой друг и его жена были невероятно благодарны Бутчеру. Пригласили нас обедать, хотели доктору заплатить, но он, конечно, отказался. Просили его заходить к ним, когда он сможет.

Бутчер был очень тронут их сердечной благодарностью и обещал приходить навещать их дочь и внука.

Время шло, а забастовка не кончалась. Наконец норд-ост прекратился и вышло солнце. Новороссийский рейд даже показался красивым. На нем лежали английский броненосец „Empress of India", старый крейсер „Grafton" и три эскадренных миноносца. Лежали и два русских эскадренных миноносца – „Беспокойный" и „Дерзкий". Направо торчали из воды мачты потопленных кораблей. Оказалось, что большевики, когда немцы заняли Крым, увели новый броненосец „Екатерину II" и четыре только что законченных эскадренных миноносца и затопили их в Новороссийске. Говорили, что один из миноносцев назывался „Килиакрия", другой „Феодосия", но ни то, ни другое имя в военно-морских книгах не упоминается.

Слухи пошли, что забастовка кончается. Я пил чай у старшины, когда он мне вдруг сказал:

– Я вам каюту на „Ксении" занял.

Прибавил, что „Ксения", вероятно, уходит на следующий день в Феодосию, Ялту и Севастополь. Я сейчас же пошел к Элле и предупредил, чтобы она была готова. Ее здоровье поправилось за время пребывания в Новороссийске.

Оказалось, „Ксения" уходила в 3 часа. Я привез Эллу на набережную. Тут были уже сотни пассажиров, которые хотели ехать. Между ними увидел Любу Оболенскую со всей ее бесконечной семьей, казалось, еще большей, чем раньше. В Москве их было семь, здесь, кажется, девять. Провожал ее Андрей Гагарин, которого тоже видел перед отъездом в Москве. Не успел спросить его, когда он выбрался, потому что мой друг старшина и трое рабочих подхватили Эллу и ее пожитки и понесли на пароход. Мы оказались в двойной каюте. Пароход отчалил и пошел вниз по заливу. Море было тихое, и мы шли вдоль северного берега. Мой морской опыт заключался исключительно в переходе на адмиралтейской яхте „Нева" из Петербурга в Кронштадт по зеркальному морю в 1914 году. Я понятия не имел, хороший ли я моряк или нет. Но скоро узнал.

Элла заняла нижнюю койку, а я пошел на палубу посмотреть

вид. Проходя через набитую кают-компанию, я увидел довольно красивую даму, которая полусидела на каком-то уступчике и охала. Как первостатейный дурак, я предложил ей свою койку. Когда я позже пришел узнать, нужно ли что Элле, моя дама вдруг стала меня расхваливать и петь из Сильвии „Красотка, красотка, красотка кабаре..." Она оказалась певицей из кафе-шантана. Элла после этого дразнила меня безжалостно, что я влюбился в эту певицу, да так сильно, что уступил ей свою койку.

Результат все-таки был тот, что я очутился на палубе. Через четверть часа после нашего выхода в открытое море все изменилось. „Ксения" зарывалась носом, переваливалась со стороны на сторону, и не прошло пяти минут, как я твердо знал, что я не моряк.

Ветер дул как будто отовсюду. Стемнело и стало очень холодно. Стоны и рвота кругом. Я прибился в какой-то уголок, но ничто не помогало.

К середине ночи я так простыл, что решил идти внутрь корабля. Но не посчастливилось. В проходах, набитых народом, темнота была кромешная. Я вдруг наткнулся на группу женщин, которые стонали, кричали, я ничего не мог понять. К счастью, за мной появился матрос с фонарем. При свете фонаря мы разглядели шестерых женщин, распластавшихся в проходе.

– Что тут происходит? – спросил матрос.

– Ох, батюшка, рожает, и нет никого помочь!

Матрос посмотрел на меня вопросительно.

– Вы доктора найти можете?

– Не знаю, посмотрю. Во всяком случае нужна горячая вода да второй фонарь.

Меня удивило, что ни одна из остальных пяти женщин не предложила помощи. Я полез в темноте, через тела лежащих, в кают-компанию. Я заметил, что теперь, когда я стал занят, меня перестало тошнить.

В громадной кают-компании горела только одна лампочка. Стоны и оханье, вероятно, многие, как я, в первый раз на море.

– Пожалуйста, есть тут доктор?

Никто не отозвался.

– Есть тогда фельдшер или сестра милосердия?!

Никакого ответа. Я повторил вопрос два или три раза, но ответа не было.

В отчаянии я пошел обратно. По дороге зашел в каюту. Элла спросила меня, что происходит.

– Да там какая-то женщина рожает, а я доктора найти не могу.

– Да вы сами справитесь, смотрите, как вы за Еленкой ходите, – сказала она в шутку.

Я зашел в каюту только потому, что оставил там шашку, на ножнах которой был приклеен санитарный пакет, который, я думал, мог бы доктору или кому-нибудь другому пригодиться. Неужели

среди всех этих людей нет акушерки? Но вернулся и нашел только матроса с двумя фонарями и ведром горячей воды.

– Это не очень чистая, – он сказал. – Нашли кого-нибудь?

– Нет, не нашел.

– Так что ж мы будем делать?

– Мы вдвоем справимся.

Я знал, что в санитарном пакете были марганцевые кристаллы. Женщина, которая рожала, была лет 35-36. Я ее спросил:

– Это что, ваш первый ребенок?

– Нет, нет, четвертый.

– Да вы знаете, что делать? – спросил испуганно матрос.

– Да, знаю, – солгал я, видя, что никто не помогает.

Только несколько дней тому назад я присутствовал на родах дочери старшины, да видел достаточно отелений с детства. С Божьей помощью как-то справиться нужно. Я вдруг вспомнил, что Бутчер потребовал чистые полотенца и нитку шелка. У него был какой-то пакетик, из которого он вынул скальпель. Ничего такого у меня не было. Вдруг вспомнил перочинный ножик.

Женщина стонала, вскрикивала, соседки рядом охали. Две из них нашли какие-то чистые тряпки. Одна стала вытягивать нитки из, как она говорила, шелковой шали.

Вода с марганцем превратилась в малиновую жидкость. И вдруг, под оханье соседей, появилась голова ребенка. Я был удивлен, как быстро после этого выскользнуло все тело. Я стал действовать совершенно механически, повторяя то, что делал Бутчер. Моя робость незнания исчезла только потому, что нужно было действовать. Потом я удивился, как просто все вышло, даже стало смешно.

Матрос и я на корточках, при двух фонарях и парующем ведре, женщина с раскинутыми ногами, три освещенных испуганных лица соседок и ребенок в смеси воды и крови, какую картину мог бы написать Рембрандт!

Все пошло как будто по заказу. Мой нож над зажженной матросом спичкой, перевязка пуповины шелковой нитью... Я поднял девочку, и сразу же одна из женщин пришла в себя:

– Не так, не так, дайте сюда.

Взяла за ноги и потрясла, девочка закричала.

Как видно, я был напряжен, потому что как только я передал ребенка, обозлился:

– Так если вы знали, чего же не помогали?!

Что она ответила, не помню.

– Так теперь вы приберите и смотрите за матерью.

Мы с матросом встали.

– Это вы умно сделали! – сказал он с уважением.

– Ничего не умно, вы сами могли бы это сделать, но что эти дуры в углу сидели и нас в акушеров превратили, вот сукины дочери...

Мы вышли с матросом на палубу. Единственно, чем я был доволен, что вся эта катавасия меня вылечила от морской болезни. „Ксению" продолжало качать, но на меня это уже не действовало.

Перед вечером мы пришли в Феодосию. К моему удовольствию, „пациентка'' моя спускалась по сходням, неся на руках ребенка. Спустилась и моя кафе-шантанная дама. Теперь койка была свободна, и я проспал до самой Ялты.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЕНИКИНА

Мы приехали в Ялту. Я отвез Эллу к ее кузине, урожденной Раевской, жене ее брата „Барбоса", и поехал в „Здравницу'', на Никитской дороге. Это был санаторий, взятый для раненых. Откровенно говоря, я был там на сомнительных основаниях. Сказать, что я ранен, было в то время совсем не правда, но там были Николай Татищев и Димка Лейхтенбергский, и меня приняли как раненого.

Но скоро все переменилось. В Ялте жила масса знакомых, и через неделю мы все трое переехали к Софии Дмитриевне Мартыновой, у которой была вилла на Аутской. Ее отец Трепов командовал эскадроном моего отца, когда тот был в полку. С ней жила ее кузина Вера Викторовна Тучкова, две дочери Софии Дмитриевны – Люба и Соня Глебовы, от ее первого мужа, и младшая дочь Мартынова.

Было столько знакомых – Барятинские, Щербатовы, Мальцевы и т.д., что, можно сказать, нельзя было пройти два шага, чтоб не наткнуться на кого-нибудь, кого знал.

Но мой отпуск кончался, нужно было ехать обратно в полк, который тогда стоял под Ростовым.

В Ялте постоянно стояли английские эскадренные миноносцы. Мы подружились с английскими офицерами. Это было очень полезно, потому что они устраивали нам поездки в Феодосию и Новороссийск.

„Seraph" как раз шел в Новороссийск, я доплыл на нем и оттуда поездом в Тихорецкую и Батайск. Полка я не узнал. Знакомых почти никого не осталось. Сергей Стенбок-Фермор был убит за несколько дней до моего приезда. Полк стоял в Батайске. Каждую ночь тяжелые батареи большевиков через Дон обстреливали какуюнибудь часть Батайска. В результате, когда не были на передней линии, то есть у Дона, в окопах, меняли квартиры на другие, в уже обстрелянной части. Жителей почти что не было. Мы сменяли Новочеркасский военный корпус мальчишек-кадетов, которые, когда большевики заняли Ростов, остановили переход их через Дон. Я много мальчиков видел в Белой армии, но никогда не видел таких дисциплинированных, как эти кадеты. Потери у них были колос-

сальные, но они упорно держались в своих окопчиках, несмотря на артиллерийскую бомбардировку и постоянные атаки через лед. Некоторые были десяти или одиннадцати лет, и командовали ими кадеты пятнадцати-шестнадцати лет.

Кажется, через неделю после моего приезда приехал Деникин, и за Батайском в поле был смотр нашей дивизии. Дивизия, хотя и сильно побитая и состоящая из частей, которых я раньше не видел, представляла себя великолепно. В нашем полку теперь было семь эскадронов, конная гвардия, желтые кирасиры, синие кирасиры, конногренадеры, уланы Ея Величества – гродненские гусары, лейб-драгуны, уланы Его Величества. Ни кавалергардов, которые ушли прямо в Крым, ни лейб-гусаров не было, один из их офицеров, Андрей Кисловский, был в нашем эскадроне.

Меня вызвал Жемчужников. Первое, что он спросил:

– Когда вас представили к Георгию?

– Простите, господин ротмистр, я об этом ничего не знаю.

– Ну, у меня тут приказ, в нем сказано, что генерал Данилов представил вас за действие 12-го сентября прошлого года. Это что было, Британы?

– Так точно, господин ротмистр.

– Вас украсит сам Деникин, так что когда вызовут, выезжайте вперед. Поняли?

Я, конечно, был страшно польщен, но в то же время мне было очень неудобно. Из всего эскадрона только двое были в бою под Британами. Остальные в эскадроне не знали даже, кто я. Я только что приехал в полк, и вдруг меня вызывают! Для остальных Британы были древней историей, а прошло только четыре месяца!

Деникин объехал полки со своим штабом. Потом стали вызывать. Подъезжая к Деникину, я подумал, сколько должно было быть действительных героев, которые были или убиты, или ранены, или лежали где-нибудь в тифу. Потери наши были колоссальные. Те, кто там были, под Батуриным, Сумами и Павлоградом, рассказывали, как во время отступления большинство потерь было от отсутствия госпиталей, даже легко раненые были принуждены идти с полком, мерзли, отмораживали себе руки и ноги и их оставляли на попечение крестьян. Тиф уносил многих. Больших сражений было мало, но постоянные стычки кавалерии, прикрывающей отступление пехоты, и отсутствие настоящих ночевок изнурили лошадей и людей.

Пропал и Володя Любощинский. Рассказывали, что он так был изнурен, что в какой-то деревне заснул, сидя за столом, и так заспал себе руку, что она у него отнялась. Что с ним дальше случилось, никто не знал.

Деникин что-то пробормотал. Спросил, сколько мне лет, и, прицепив Георгия, сказал: „Молодец!". Я совершенно не чувствовал себя молодцом.

Настроение у всех было подавленное. Никто никак не мог по-

нять, отчего мы в прошлом году были на полдороге к Москве, а теперь вдруг старались как-нибудь удержаться на Дону. Боев, в которых Белая армия была разбита, совсем не было. Красная армия улучшилась, но не настолько. Батальон белых мог всегда состязаться с полком красных и их разбить. Но где была наша пехота? Где была Западная армия? Где была Кавказская армия? Что случилось с нашими 3-м, 4-м и 5-м эскадронами? 3-й со Старосельским ушел на фронт из Лубен. 4-й и 5-й были еще там, когда я уехал. Куда они делись? Было некого спросить. Разговаривая с солдатами, некоторые из которых были 3-го и 4-го эскадронов, я ничего не мог понять, все рассказывали разные истории. Никто не знал, что случилось со Старосельским, Ширковым, Петром Араповым и с остальными офицерами. Кроме Жемчужникова, в полку теперь был ротмистр князь Накашидзе, штаб-ротмистр Кисловский (гусар), корнет Штранге и эстандарт-юнкер Протопопов. В пулеметной команде, теперь полковой, под командой синего кирасира полковника Одинцова, был наш корнет Меллер-Закомельский. Командовал полком полковник Кушелев. Но я их не знал.

Настроение было совершенно другое. Энтузиазма не было. Все делалось механически. В прошлом году люди верили в высшее командование, ворчали иногда, что „кто-то" дурит, но это не отзывалось на энтузиазме. Теперь никто в высшее командование не верил. Даже не знали, существовало оно или нет.

Дивизия иногда снималась и шлепала через черную грязь или замерзшие поля, резавшие ноги лошадям. Шли на север вдоль Дона отбивать какие-то переходы красных через реку, но редко сталкивались с противником. Встречались с донскими казаками, которые недавно были под Урюпинской. Там, на севере, бились донцы Богаевского. Про кубанцев мы мало слыхали. Донцы говорили, что они „самостийничают". Тут встречались с нашей пехотой, алексеевцами, с их белыми и синими фуражментами.

Помню, я долго думал, как все это произошло. Некого было спросить. Тактически мы были в превосходстве. Что случилось с нашей стратегией? Я вспомнил разговор с Андреем Стенбоком в сентябре. Он тогда говорил:

— Боюсь, что мы попадем впросак. Мы какими-то веерами наступаем. Веером от Киева, веером от Харькова, веером от Борисоглебска. А что между этими веерами? Какие-то кавалерийские разъезды. Если у большевиков есть высшее командование, они просто ударят в эти пробелы и отрежут нам все снабжение.

Так, я думаю, и случилось. Снабжение у нас вообще было построено на „авось". Тыла не было. Дивизии надеялись на то, что могли захватить у красных. Говорили, что будто бы были склады в Ростове, в Таганроге, но мы оттуда никогда ничего не получали. Да какие там склады могли быть? Откуда? Я встретил, когда был в Таганроге, нашего ротмистра при английской миссии. Он говорил,

что англичане присылали мало, и многое из того, что приходило, было изношенное обмундирование, оставшееся после великой войны. Да я сам это видел, когда еще был при стрелках. Изношенные орудия, винтовки, даже формы, шинели и рейтузы.

Да, как будто разбила нас не Красная армия, а наша собственная стратегия. Население нас поддерживало везде, но мы им не помогали, мы проходили, не оставляя гарнизонов, у нас не хватало людей.

У нас не было ни войск, ни организации оборудовать тыл. Полиции, например, совсем не было. Проходили через город или деревню, находили там или бывшего городского голову или старшину и говорили: „Ну, вы теперь будете ответственный." Что он мог сделать? Какой-нибудь Шуба, Махно или Ангел, просто разбойники, громили их, и не было никого им помочь. Только там, где стояли запасные части, город жил нормальной жизнью. Настоящих гарнизонов нигде не было.

Меня интересовало, была ли где у нас политическая организация, какая-нибудь политика? Я ее не видел. Где-то наверху издавались „декреты", которые появлялись в газетах, но это было бесцельно. Все говорили о Всероссийском Учредительном Собрании – в будущем. Впечатление было, что заворачивали всем какие-то бывшие политиканы Временного правительства, дискредитированные либералы и социалисты. Церковь не играла никакой политической роли.

Нас просто обошли и подсидели, и теперь армия моталась без всякой цели по донским степям.

Я говорил, что Красная армия мало улучшилась, это не совсем верно. Во-первых, у Красной армии утроилось количество артиллерии. Во-вторых, они переняли у нас идею тачанок, и поэтому у них теперь с частями были быстро движущиеся пулеметные команды. В-третьих, количество пехоты у них тоже утроилось. В 1919 году у них было приблизительно трое на нашего одного. Теперь у них было по крайней мере десять на каждого нашего. Впрочем, качество пехоты мало исправилось. Они действовали тактически так же скверно, как и раньше.

Но у них вдруг появилось качество в кавалерии. Кавалерия Буденного была такого же высокого качества, как наша. Они научились действовать кавалерией, армиями, то, что мы вдруг забыли. Ими командовал, конечно, не Буденный, а генерал Далматов, замечательный кавалерист и стратег. В состав кавалерии он включил великолепную 4-ю кавалерийскую дивизию почти что полностью, мариупольских гусар, харьковских улан и, кажется, новотроицких драгун. Командовал ли Далматов этой дивизией во время или до войны, не знаю, и как он стал красным, тоже не знаю.

У нас тем временем кавалерия сильно пострадала. От 5-го корпуса осталась одна только дивизия. У донцов, говорили, было 8

дивизий, у кубанцев — 3. Но были ли они полные или только остатки, не знаю. Была сводная Терско-Астраханская дивизия. Что случилось с Дикой дивизией, я совершенно не знаю. Командование было отдельное. Регулярной конницей командовал какой-то генерал Павлов, нашей 1-й дивизией командовал бывший ингерманландец генерал Барбович.

Отчего началось отступление с Дона, точно никто мне сказать не мог. Мы сперва отступали вдоль Владикавказской железной дороги. Конная артиллерия шла с нами, но снарядов у нее не было.

Пришли наконец в громадную станицу Екатериновскую, туда же за нами пришли и донцы. Кубанцы, кажется генерала Фостикова, уже были там. Думаю, что никогда такого сбора белой конницы ни раньше, ни позднее не было. Говорили, я за это совсем не ручаюсь, было двадцать тысяч донцов, двенадцать тысяч кубанцев, три тысячи терско-астраханцев и шесть тысяч регулярной конницы, то есть более сорока тысяч сабель.

Первые вышли из станицы донцы и пошли к Манычу. Говорили тогда, что между Манычем и железной дорогой была конница Буденного. Наутро пошли мы, обе дивизии и дивизия терско-астраханцев. За нами должны были идти кубанцы.

Я совсем не знаю цели этого маневра. Судя по тому, что случилось, ясно было, что наши разъезды или искали Буденного не в том направлении, или были не достаточно впереди нашей конницы.

Совершенно непонятно, отчего наши дивизии пошли лавой, как будто ожидали пехоту неприятеля. Степь была замерзшая, посыпанная мелким снегом. Низкие тучи висели до самого горизонта. Насколько можно было видеть, всюду, налево и направо, тянулись наши лавы. Слева от нас были терско-астраханцы. Мы то спускались в широкую долину, то поднимались на волнистую возвышенность. Степь была как зыбь утихающего моря.

Вдруг где-то справа произошло какое-то замешательство. Лава стала перестраиваться в конный строй. До нас это еще не докатилось, когда вдруг с пригорка мы увидели длинную колонну буденовской конницы. Она, как видно, нас не ожидала. Где были их и наши дозоры, я не знаю.

Сигнал к атаке был дан сразу же. Пошли в карьер, перестраиваясь на скаку. Замешательство произошло и у красных, но, по крайней мере, они были в колонне и поворачивались поэскадронно.

Никогда более глупого с нашей стороны столкновения не было. Сечка, кружение на месте, совершенно не зная, кто где. Лошади без всадников, раненые или убитые под ногами, вертополох, крики и звон сабель о сабли... Не будучи мастаком в сабельном бою, я только отбивался. Вся масса кавалерии двигалась сперва медленно, потом все быстрее и быстрее в нашу сторону. Видно было, что мы отступали. Я попробовал выбраться из кружащейся кучи, но оказался между двумя буденовцами. Лошадь без всадника спасла меня от

буденовца справа, проскочив между нами. Всадник слева почти что сбил меня, но, к счастью, в этот момент подскочил к нему желтый кирасир и выбил его из седла. Вдвоем мы выскочили в открытое пространство. Впереди наши отходили полным карьером, преследуемые буденовцами. Я вдруг увидел князя Накашидзе, отбивающегося от трех буденовцев. Кирасир бросился ему вслед, и я пошел за ним. Он снес одного и наскочил на второго. Накашидзе, повернувшись в седле, снес буденовца слева. Странно, как замечаешь в такие моменты всякую мелочь: у Накашидзе правый рукав шинели был в лохмотьях.

Вся масса кавалерии двигалась карьером, мы драпали, но почему-то было все меньше и меньше буденовцев. И вдруг они стали поворачивать. Заметил, что справа от меня появились астраханцы на своих маленьких лошадях. Сколько времени шел бой, я совершенно не знаю, казалось мне, что бесконечно, но вероятно не более 15 минут. Когда я посмел повернуться, бой уже кончился.

Буденовцы кружились, уходя в сторону. Наших впереди было очень мало. Трескотня не то пулеметов, не то револьверов доносилась справа, и вдруг расстояние между нами и красными растянулось на версту или больше. Отходили и терско-астраханцы. Остатки наши собирались и наконец остановились на пригорке. Буденовцев уже не было видно, только лошади их носились без всадников.

Что именно произошло под Егорлыком, трудно сказать. Что нас раскатали большевики, было ясно, но как мы ввязались в этот бой, было непонятно. Как могло случиться, что ни мы, ни буденовцы не знали, что мы так близко друг к другу? Отчего мы были в лаве, а не в сомкнутом строю?

Еще страннее то, что буденовцы оставили на поле сражения три полных батареи с перерезанными постромками. Их подобрали донцы, которые возвращались с рейда. Говорили, что буденовцев не видали нигде, и привезли с собой несколько наших раненых.

Потери наши были невероятные. Говорили, что полк потерял 370 человек убитыми или пропавшими. В нашем эскадроне из 113 осталось только 16 человек не раненых. Накашидзе получил дюжину сабельных ударов. После этого боя офицеров у нас не осталось, Кисловский и Штранге были убиты, – и нас прикомандировали к желтым кирасирам, у которых, по крайней мере, остался офицер. У синих кирасир был убит мой троюродный брат Юрий Гейден. Да и во всем полку почти не осталось офицеров. Жемчужников, который был ранен раньше, вернулся в полк спустя несколько дней с 40 запасными. Говорили, что в Новороссийске было еще человек 20 наших раненых, и меня послали туда их подобрать.

Отступление продолжалось. Слухи ходили, что мы будем отступать в Любинскую область и на Майкоп. Но в это время Деникин со штабом и правительством эвакуировались в Константинополь. Он сдал кому-то командование.

Я уже сказал, что кубанцы в день Егорлыка из Екатериновской не выступали. Отчего это произошло, я не знаю. В Екатеринодаре они сформировали „Раду" под каким-то Рябоволом и объявили „Самостийную Кубань". Насколько я знаю, кубанцы Фостикова ушли на Лабу, во всяком случае, я их больше не видал.

Из Новороссийска я вернулся в станицу Крымскую. Тут произошел один неприятный случай. Остатки нашей дивизии были частью в Тунельской, частью в Крымской. Генерал Барбович, который отчего-то ненавидел гвардию, будто бы послал вестового в Крымскую с приказом к Жемчужникову. Вестовой там не появился. Барбович, пришедший с остальной дивизией в Крымскую, обвинил Жемчужникова в невыполнении приказа, арестовал его и отдал под военный суд. Ночью более половины эскадрона, который боготворил Жемчужникова, схватили его из-под ареста и ушли с ним в горы. Наутро Барбович, услышав об этом, построил оставшихся и разнес их на все четыре стороны, обвинив нас в мятеже, хотя мы были не при чем, и прикомандировал нас к желтым кирасирам.

После этого мы стали отступать на Новороссийск. Пехота и артиллерия уже эвакуировались в Крым. Кажется, эвакуировались и донцы. Остались только маленькие пехотные части и наша дивизия.

Когда мы спускались с гор, уже в виду Новороссийска, на рейде лежал английский броненосец „Empress of India" и пять или шесть миноносцев.

Новороссийск был полон расседланных лошадей, подвод и броневиков, которые взрывали оставшиеся саперы. У пристани стоял только один пароход „Violetta", не знаю, какой национальности. Нам приказано было расседлать лошадей, взять седла и уздечки и грузиться на него.

Во время погрузки появились большевики и стали обстреливать порт и рейд. Стреляли плохо. Снаряды ложились вокруг английских судов, но ни одного удара я не видел. В порту они были более успешны. Снаряды ложились на набережной, но потерь от них было мало. В „Виолетту" ни одного снаряда не попало. Погрузившись, мы стали отчаливать. Пароход был переполнен.

Английские суда уже снялись с якоря и ушли до того, как мы отчалили. Остался лишь наш миноносец „Дерзкий". Он открыл огонь по красным батареям и даже, кажется, заставил одну замолчать. Тут произошел один инцидент, который поднял дух всех наших на „Виолетте". Мы только что отчалили, как вдруг на каком-то маленьком молу появились человек 50 пехотинцев. Они кричали и махали руками. „Дерзкий", который уже прошел этот мол, повернул. Снаряды падали вокруг него, но он осторожно подошел к молу, и через несколько минут пехотинцы были на его палубе. Перегоняя нас, он загудел своими сиренами, и с „Виолетты" послышалось громовое „ура". В миноносец ударило два снаряда, но матросы его ответили нам тоже „ура".

Через минут пятнадцать мы были вне диапазона красных снарядов и вышли в море.

К счастью море было гладкое. Мы шли вдоль берега, мимо Анапы. Солдаты гроздьями висели на старой „Виолетте". „Дерзкий" шел между нами и берегом, но большевиков там еще не было.

Пришли в Феодосию и стали разгружаться. Никто не знал, что произойдет в будущем. Никто нас не встречал. Единственный, кто приехал, был наш полковник Дерфельден, он взял наших в Кьянлы, 18 верст от Феодосии. Увидев меня, он сказал, что я мог бы ехать в Ялту, так как делать в Кьянлах сейчас нечего. Там был Гедройц, который старался сформировать эскадрон, но еще ни офицеров, ни солдат здоровых достаточно не было. Петр Арапов лежал в тифу. Кроме того было еще человек двести наших, все в тифу.

Я сейчас же взял билет на „Гурзуф", который, как и „Алупка", поддерживал сношения между Феодосией и Ялтой. Эти два пароходика с открытой палубой и маленькой будкой на десять человек, которая громко называлась кают-компанией, были построены в 1878 и 1879 годах. Николай Татищев их называл „пироскафами", как называли и пароходы времен Николая I.

Положение в Крыму было совершенно хаотичным. Никто не знал, сколько эвакуировали войск, кто ими командовал. На Перекопе и на Сиваше стояла „армия" генерала Слащева. Это те силы, которые были в Крыму до прихода Врангеля и белых сил, отступивших с Кавказа. „Армия" Слащева состояла из трех-четырех тысяч сборных войск. Однако они сумели оборонить Крым от Махно и Красной армии – до прихода Врангеля.

Слащев оказался одним из тех типов, взброшенных революцией, которые никаким манером не походили на обыкновенных военных. Говорили даже, что до Гражданской войны он был не генерал, а чуть ли не капитан. Потом стало известно, что он был кокаинист. Он сам изобрел для себя форму, носил какой-то псевдогусарский кивер, белый с золотом гусарский доломан, ярко-лиловые рейтузы, гусарские сапоги и саблю, которая брякала по земле.

Позднее, когда кто-то говорил Врангелю, что это невозможно, чтобы генерал выглядел, как какой-то тенор из комической оперы, Врангель отвечал: „Какое вам дело? Если он даже воткнет павлинье перо себе в задницу, но будет продолжать так же хорошо драться, это безразлично."

Слащев, может, и был самодуром, но он держал Крым, и держал очень удачно. Я думаю, что он уверил большевиков, что у него были гораздо большие силы, чем в действительности.

Он вдруг атаковал с Арбатской стрелки Геническ, захватил его и вышел в тыл красным на Сиваше, затем также быстро ушел. Я ни на минуту не думаю, что он собирался наступать, это был просто маневр, чтоб напугать большевиков. Мне очень жалко, что я никогда не видел Слащева.

Тем временем вдруг было объявлено, что назначен новый главнокомандующий генерал Махров. „Махров? Кто такой Махров?" — был вопрос у всех на устах. Слухи ходили, что он раньше был у барона Шиллинга, другие говорили, что он командовал какой-то частью под Деникиным. Во всяком случае с его появлением хаос прекратился. Частям были отведены стоянки. Была сделана перепись всего существующего вооружения и амуниции. Скоро вышел приказ от Махрова, что он послал делегацию к барону Врангелю, прося его принять высшее командование.

Я остановился опять у Софии Дмитриевны Мартыновой, где были и Николай Татищев, и Димка Лейхтенбергский.

В это время произошло совершенно невероятное какое-то восстание в Крыму. Кто эти люди были и за что они стояли, никто наверняка не знал. В Ялте пошли слухи, что кто-то в Симферополе объявил морского капитана герцога Лейхтенбергского — царем! Кто это мог быть и почему Лейхтенбергского, никто не понимал. Это было так смешно тем, кто его знали, что никто это серьезно не принял. Я этого Лейхтенбергского не знал. Вдруг к его имени прибавилось другое, какого-то Орлова, говорили, что полицейского начальника.

В Ялте всю эту орловско-лейхтенбергскую историю приняли за шутку, когда вдруг появились „орловцы" в горах со стороны Массандры. Паника охватила ялтинскую комендатуру. Войск в Ялте не было, так что пришлось мобилизовать всех военных, известных комендатуре, которые были в отпуску.

Мы, как видно, не были им известны, и нас никто не тревожил. На набережной построился отряд человек в сто из офицеров и солдат, и они пошли по направлению на Массандру. В то же время из Севастополя пришла вооруженная яхта „Алмаз" и открыла огонь из своих 4,7-дюймовых орудий по долине, поднимающейся над Массандрой. В Ялте была слышна трескотня винтовок, которая вместе с обстрелом „Алмаза" продолжалась часа два, потом все затихло.

Все это была какая-то бутафория. Мы скоро после этого все трое уехали в Кьянлы, где формировался эскадрон. Мой приезд был встречен полковником Гедройцем совсем не радушно. В его глазах я был связан с „мятежником" Жемчужниковым. История Жемчужникова в Крымской и будто бы мятеж, который его спас от военного суда, Гедройц объявил позором всего эскадрона. Все, бывшие в Крымской, теперь здесь были в опале.

К счастью, появился Петр Арапов, который встал после сперва брюшного, потом сыпного тифа. Гедройц побаивался Петра по той причине, что тот был племянником Врангеля, а Врангеля он очень боялся.

Наконец в Севастополь приехал Врангель и взял на себя главное командование. С его приездом все повеселели. Все больше и больше солдат вставали от тифа. Наш эскадрон пополнился, но ло-

шадей, конечно, не было. Эскадрон в 150 шашек, под командой полковника Топтыкова, с ротмистром Германом Стенбоком, штаб-ротмистром Араповым, поручиком Татищевым и корнетами Лейхтенбергским, Артамоновым и Мошиным погрузился в поезд на Джанкой. Оттуда в пешем строю пошли на Магазинку и оттуда на Сиваш.

Мне это было очень приятно. В эскадроне теперь были люди, которых я знал со времен до Британов, знал и всех офицеров и многих, которое были в Лубнах. Дух эскадрона был очень высокий. С нами шли и желтые, и синие кирасиры, которых мы знали. Нас великолепно снарядили. В нашем полку были и эскадроны 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Единственно, чего не хватало, это наших батарей, у них были орудия, но не было снарядов. Весь полк был спешенный.

Наша дивизия теперь была совершенно иначе сформирована, чем раньше. В нее входили 1-й сводный полк, кажется, в нем были эскадроны 2-го Павловского гусарского, 2-го Курляндского уланского, 2-го Псковского драгунского, 11-го Изюмского гусарского, 11-го Чугуевского уланского и еще какой-то эскадрон. Во 2-м полку, я не знаю, кто был, кажется, полки 8-й и 9-й кавалерийских дивизий. В 3-м полку были эскадроны 10-й и 12-й кавалерийских дивизий. Насколько я знаю, даже тогда они были на лошадях.

Полком нашим опять командовал Косяковский и бригадой Данилов.

Мы стали в окопах на Сиваше. Было непонятно, кто сидел в этих окопах до нашего прихода. Когда мы пришли, никого там не было. Большевики были приблизительно в двух верстах от нас по ту сторону Сиваша. Сиваш сам мог быть преградой. Если ветер дул с запада, то воды в нем почти не было. Дно было покрыто каким-то светло-желтым илом. Он был такой скользкий, что по нему можно было скользить босыми ногами, как на коньках. Но стоять на нем нельзя было. Эта поверхность была только 2 дюйма в глубину, под ней была черная вонючая грязь, в которую утопали, она засасывала.

С западным ветром было бы легко перейти Сиваш, но почему-то большевики не пробовали. Иногда большевики забрасывали нас снарядами. До нашего прихода, они, как видно, знали, что нет никого, потому что воронок от снарядов не было.

Никто из нас не знал даже приблизительно, сколько было войск в Крыму. Говорили, что какие-то части были эвакуированы из Одессы. Сколько из деникинской армии осталось, никто не знал. Петр говорил: „Думаю, у нас тысяч 40, не больше." Мы, во всяком случае, были растянуты довольно жидко. „Фронт" тянулся верст на девяносто. Как Слащев его держал со своими тремя тысячами, совершенно непонятно.

Было очень жарко на Сиваше. Каждый день на той стороне появлялся мираж — белая церковь, белая ветряная мельница и не-

сколько белых домов, но в действительности там было только два дома.

Через бинокль были видны на той стороне довольно большие части, которые открывали огонь, когда мы купались или скользили по илу. Но стреляли плохо. У многих из нас отчего-то были нарывы на ногах и спине. Играя, сбросили кого-то с нарывами с маленького утеса в Сиваш. Он сразу же провалился через ил в черную грязь. Смыть ее было нечем, соленая вода только оставляла соль. На следующий день его нарывы стали исчезать, и через два дня они пропали. Тогда все стали себя мазать черной грязью, у кого были нарывы, у всех пропали. После купания в Сиваше ходили на хутор, версты четыре, где был артезианский фонтан и пруд.

Посередине Сиваша были островки, покрытые лозняком. Туда доходили и красные, и наши дозоры. Только раз ночью мы оказались на одном островке с красными и захватили двух пленных. Они говорили, что Таврия кишела красными войсками.

ВРАНГЕЛЕВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Раздумывая о том, что случилось в 1920 году, я теперь не могу себе представить, какие надежды мы могли иметь на удачу. Мы были в положении гораздо худшем, чем при Деникине. Мы были закупорены, как в бутылке, в Крыму. Надежд на снабжение снаружи уже не было. Ни англичане, ни французы не интересовались свержением большевиков. Местного снабжения у нас никакого не было. Войск, тысяч 40, в лучшем случае 50, было мало, чтоб разбить теперь уже довольно хорошо организованную Красную армию. На что же мы надеялись?! Я теперь не знаю.

Тем не менее, дух войск был хороший, во Врангеля верили. Помню, говорили тогда, что может будет восстание на Дону и Кубани. Если бы мы тогда подумали серьезно: как же это могло случиться? Уже при Деникине кубанцы „самостийничали". Какие-то дураки уверяли их, что они не русские, а отдельный народ. Что это значило? Они, как и все русские, были смесью славян, варягов, литовцев, татар и т. д. Как и украинцы — никогда не были независимыми: были и под татарами, и под турками, и под литовцами и поляками, и наконец вернулись к России.

Донцы, с другой стороны, были очень горды быть русскими. Они были действительно русскими, независимыми, гордыми, лихими. Они бунтовали против русского правительства, как бунтовали новгородцы, и псковитяне, но это была местная междуусобица. На донцов всегда можно было положиться, когда грозили враги. Может быть, и тогда можно было ожидать их помощи, но положение их было корявое. У них тоже не было арсеналов.

На крестьян тогда уже трудно было надеяться. Крестьяне многих губерний всею силою поддержали Деникина, но он их подвел. Большевики с ними расправились. Рискнуть второй раз они вряд ли бы посмели.

Большинство пополнения деникинской армии было из пленных. Теперь у красных была такая большая армия, что они могли выбирать части, которые бы не так легко сдавались. На что же мы все-таки надеялись? Не знаю.

Была очень жаркая ночь. Я долго не мог уснуть, лежа на бруствере окопа. Пришел Петр Арапов и растянулся рядом. Мы часа два философствовали о разных вещах. Петр пошел проверить дозоры, а я заснул. Помню, как сейчас, сон. Было яркое небо, светило солнце, и мы колонной входили в Москву. Колокола всех церквей звонили, и толпы людей по обе стороны дороги приветствовали нас криками „ура". Вел наш полк не Косяковский, а Девлет-Килдеев. Нас засыпали цветами...

Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясет. Я поднялся и широко раскрыл глаза. Небо против нас было красное, и иногда сверкали точно какие-то звездочки. Стоял гул.

Надо мной стоял Петр.

– Что это такое? – спросил я удивленно.

– Это наши лупят.

– Откуда у нас снаряды взялись?

– Не знаю. Наверное, мы в наступление перешли. Вероятно, и мы двинемся через час.

Петр был прав. Приблизительно через час мы двинулись вдоль Сиваша по направлению к Перекопу. Стало светать, эскадроны шли бодро. Я шел рядом с Петром.

– Что ты думаешь, Перекоп уже перешли?

– Перешли.

– Что же мы будем делать?

– Мы оттуда веером пойдем, к Днепру.

За нами тянулись кавалергарды, кирасиры и остальные эскадроны полка. Гул справа продолжался. Вышли на перешеек. Дух у всех был настолько повышенный, что никто не заметил, как мы прошли сорок с лишним верст, и никто не устал. Полевые кухни нас кормили только похлебкой, и никто не ворчал. К вечеру прошли через пролом сквозь вал и вышли в степь. Впереди нас лежал хутор.

За валом в первый раз увидел „танк" Он стоял обгорелый, с открытой дверью. Как видно, трехдюймовый снаряд ударил его. Все внутри выгорело, и были обгорелые тела команды. Шагах в 500 спереди была красная трехдюймовка, полувкопанная и разбитая снарядом, кругом нее лежала перебитая команда. Наверное это орудие разбило танк. Тут повсюду были окопчики с проволочным заграждением, но неглубокие и, очевидно, наша артиллерия пристреля-

лась, потому что почти все окопы и заграждения были разбиты, и воронки были глубже окопов.

Я был послан вперед в хутор с пятью солдатами, вроде дозора. Никто не ожидал там красных, но на всякий случай нужно было быть начеку. Еще издали были видны наши танки, которые стояли в тени фруктового сада. Многие хутора тут, как и в Крыму, принадлежали молоканам-немцам, которые приехали сюда в начале прошлого века. Все они обрусели, хотя еще говорили дома каким-то ломаным немецким языком. Этот хутор принадлежал русским.

Мы нашли в доме старика, его невестку и двоих детей. Они все заливались слезами, и я сперва не мог понять, что случилось. Наконец, добился от старика. Сын его ушел в Крым с белыми. Два месяца тому назад какой-то коммунистический полк основался в хуторе. Ушли только вчера. Хотели взять старшего внука с собой. Ему было 12 лет. Он ускользнул и спрятался. Они его нашли и при матери пристрелили.

Меня ничто к этому времени уже не удивляло, но это меня потрясло. Мальчик лежал у сарая с разбитой головой. Мы его похоронили.

Четыре танка с командами моряков черноморского флота стояли под деревьями. Они, оказывается, с марковцами штурмовали вал и встретили сильное сопротивление. Говорили, что большевики отступили на Чаплинку и что там идет сильный бой.

У меня карты Таврии не было, и я понятия не имел, где это было. Думаю, что и командование наше было тоже в тумане. Уже стало смеркаться, когда весь полк расположился в большом фруктовом саду. Какой-то эскадрон ушел в сторожевое охранение. Перед тем как заснуть, я поговорил с Николаем Татищевым. Если он и не знал, что происходило, его живое воображение всегда описывало картину, точно он главнокомандующий. Он меня уверял, что наутро мы прижмем красных к Днепру и уничтожим.

У него единственного был фотографический аппарат. Он снимал все интересное, у меня были замечательные его снимки, но, к несчастью, у меня их украли в Константинополе.

На рассвете степь, которая подымалась перед нами, как колоссальная подкова, пришла в движение. Мы сперва думали, что это наши наступали цепью на восток. Была сильная трескотня пулеметов, гремела откуда-то артиллерия.

Мы выступили и сразу же рассыпались в цепь. Минуту спустя мотоциклист появился на горизонте справа и под сильным огнем зигзагами старался выскочить из-под обстрела. Через несколько минут и мы оказались целью артиллерии и пулеметов. Цепь, которая сперва двигалась на восток, повернулась на нас. Расстояние между ними и нашей цепью становилось все меньше и меньше. Я помню, как у меня в голове вертелся вопрос, что случится, если мы встретимся? У нас были только карабины без штыков, у красных штыки.

В этот момент над нашими головами вдруг раздался непривычный гул „уух... уух... уух", и среди красной цепи поднялись невероятные фонтаны черной земли. Они на вид поднимались на 80-100 футов в воздух и превращались в колоссальные грибы.

Я повернулся посмотреть назад, откуда они летели, и увидел броненосец „Генерал Алексеев", лежащий в бухте. По очереди тявкали его 12-дюймовые орудия. Блеск и дым после каждого выстрела. Красные цепи покачнулись и побежали. Пули продолжали свистеть над головами, но уже меньше. И артиллерия их тоже притихла. Перед нами вдоль фронта проскакал Косяковский с вестовым, держа полковой значок – большой белый флаг с алым квадратом в углу.

Мы продолжали наступать на север, но большевиков уже не было. К полудню мы остановились. В первый раз я увидел план поселения времен Потемкина. История почему-то всегда посмеивается над Потемкиным, над его так называемыми „потемкинскими" городами, деревнями, хуторами, которые были будто бы бутафорией, чтобы произвести впечатление на Екатерину. Может быть, часть их и была бутафорией, но он привез эмигрантов из Вюртемберга и из Центральной России (вероятно, тех казенных крепостных, которых Екатерина освободила в пример собранному ею Всероссийскому Собранию; она поручила ему освобождение крепостных, но Собрание, проработав два года, 1766-67, выработало более 1500 разных планов, да на том и заглохло). Во всяком случае, Потемкин заселил всю Таврию по выработанному им плану. Степь была разбита на участки, приблизительно по 1000 десятин, и хутора были расположены по линиям в шахматном порядке. Когда появились большие деревни, как Старые Сырогозы, Агайманы, Феодоровка, Лихтентал и т. д., я не знаю. Земли было масса, все чернозем, и жители в Таврии были невероятно богаты. Дома у них были прекрасные, повсюду электричество, почти у всех хуторян были автомобили. В Центральной России только самые большие помещики могли жить так, как жили эти хуторяне. Пшеница и баштаны дынь и арбузов объясняли часть этого богатства, фруктовые сады, даже в наше время, там были невероятные. Такого качества яблок, груш и других фруктов я нигде не встречал, они, наверно, приносили им большие доходы. Вероятно, было и великолепное скотоводство, которого мы уже не видели, красные угнали почти весь скот. Постройки были замечательные. Чем ближе к Днепру, тем было больше виноградников. Теперь однако почти ничего не было засеяно, фрукты висели на деревьях и гнили на земле, никто садами не занимался.

Большевики встречались все реже и реже, мы повернули на юго-запад и часам к пяти вошли в деревню Колончак. Тут уже были два эскадрона 2-й кавалерийской дивизии на лошадях. Мы их не знали, говорили, что их эвакуировали из Одессы. Командовал дивизией генерал Морозов.

Я никак не мог понять, как они туда, в Колончак, попали, мы их на Перекопе не видели. Солдаты рассказывали, что они перешли через Каркинитский залив будто бы вброд. Мы им не поверили, думали, что они втирали нам очки. Переход был более 30 верст. Но они настаивали, что ветер дул с востока, что воды, как в Сиваше при западном ветре, не было, и что они шли по пескам. Если это было правдой, то это была невероятная история, точно как пушкинские 33 богатыря, „расплескалось в шумном беге и оставило на бреге"... А ведь я своими глазами видел броненосец „Генерал Алексеев" в Каркинитском заливе, с осадкой на 27 футов. Неужели глубина залива разнилась настолько?

Мы переночевали в Колончаке. Даже тут был слышен гул боя под Чаплинкой. Наутро мы пошли на Большую Маячку. Деревня огромная, но другого рода. Это была настоящая богатая украинская деревня, с мазанками, садами, тополями... В нескольких вер-
ская деревня, с мазанками, садами, тополями... В нескольких вер-
стах Большая Каховка и Днепр. Николай Татищев был неправ, ни-
Каховка была не деревня, а местечко. В ней были магазины, даже парикмахерская. На набережной большие пятиэтажные склады, зерновые элеваторы и подъемные краны. Население было пуганное и сидело по домам.

Напротив, на высоком берегу, стоял Береславль, красивый издали городок, с церквами и белыми домами. Большевики как будто пропали.

На следующий день дух у всех поднялся. Говорили, что в Большой Маячке мобилизация лошадей, и все были уверены, что нас наконец посадят. Меня отправили с пятнадцатью солдатами в Маячку помогать мобилизации. К моему удивлению, жители приводили лошадей охотно. Платили за них хорошо, но на нашу долю выпало всего 25 лошадей. Мы их привели обратно в Каховку, и оказалось, что они не для нас. Кому их отдали, не помню. „Мы последние, которые получат лошадей, – говорил Татищев. – Мы „привилегированные", Врангель, наверно, издал приказ, чтоб нас поставили в конец хвоста, чтоб никто не думал, что он нас предпочитает."

Был устроен смотр, почему, никто не знал. Мы выстроились на главной улице Каховки, широкой, но немощеной. Появился какой-то генерал Георгиевский со своей свитой. Он был маленький, толстый, про него мы никогда ни раньше, ни позднее не слыхали. Он, как видно, редко сидел на лошади, и ехал очень осторожно. Вдруг из подворотни выскочила свинья прямо под ноги его лошади. Лошадь споткнулась, и генерал полетел в пыль перед строем. По строю прошел подавленный смех. Визг свиньи и фырканье офицеров и солдат, пока адъютант поднимал своего генерала, превратили смотр в комедию. Генерал решил смотр кончить и куда-то уехал.

Мы оставили синих кирасир в Каховке и пошли вниз по Днепру, через Малую Каховку, в селение Основу. Нашему эскадрону бы-

ло назначено охранять Днепр, версты три, как сторожевое охранение. В Основе было всего домов 25, лежащих среди великолепных садов над Днепром. Дома были очень большие, очень удобные, с верандами, великолепно меблированные, с ваннами. У нас бы помещики гордились такими домами. Население было смешанное. Был мсье Бенуа, француз уже третьего поколения, но и он, и его две очень привлекательные дочери говорили хорошо по-французски, два швейцарца, два немца, остальные русские. Все были хорошо образованы. Кормили нас великолепно и принимали радушно.

У них были колоссальные виноградники и фруктовые сады, в особенности абрикосовые. Я квартировался у Бенуа, и помню, как извинился, что без позволения сорвал несколько абрикосов и съел. Он на меня посмотрел удивленно и сказал: „Вы ели абрикосы?! Мы растим их только, чтоб кормить свиней."

Посреди Днепра лежал длинный остров, который был ближе к нашему берегу, чем к красному. Эти острова – а их было несколько на нашем участке – иногда занимались красными как наблюдательные посты. Что они могли наблюдать, я понятия не имею, но когда там появлялись меткие стрелки, их нужно было выбить.

Решили ночью послать две лодки с солдатами на один из таких островов. Я был во второй лодке, сидел на корме. Была кромешная тьма. Мы отчалили. Лодку впереди не было видно. Сколько времени мы гребли, не знаю, но впечатление было, что мы идем вдоль нашего берега. Вдруг кто-то из солдат прошептал:

– Лодка полна воды.

Я не заметил, окунул руку в лодку – действительно, полно.

– Мы тонем, – прошептал солдат.

Через минуту вода была в двух дюймах от борта. Я попробовал повернуть к берегу, но руль уже не действовал. Я испугался, плавал я очень скверно, да тут еще шашка, револьвер и карабин через плечо. Думаю, мы не больше двадцати шагов от берега, как-нибудь справлюсь. Все солдаты плавают хорошо. Вылезать из лодки не нужно, сама пошла ко дну. Мы все поплыли к берегу. Казалось, берег рукой подать, а его все нет. Страшно испугался, шашка цепляется за ноги. „Святой Николай, выведи!" Берег должен быть тут. Но его нет. Только надежда, что каждую минуту ноги ударятся о дно, держала меня. Показалось, что я плыл по крайней мере 20 минут, когда наконец рука ударила в камыши. Я опустил ноги, они тронули дно. Я выкарабкался. Тут уже сидели солдаты.

– Спасибо, святой Николай, что спас!

– При чем тут святой Николай? – спросил кто-то.

– Как при чем? Я больше двадцати шагов никогда не плавал, и то голым.

– Эй, братец, врешь, ты только что проплыл больше ста шагов.

– Ста?! Так не даром я святого Николая благодарю, если бы я знал, то как камень ко дну пошел бы.

Дня через два, не подумав, я невероятного дурака свалял. Многие из наших купались. Мы с Аверченко взяли лодку и поплыли к концу нашего острова. Зачем, я сам не знаю. По крайней мере на этот раз мы были голые. Обогнули остров. Вдруг слышим, кто-то кричит с другой стороны Днепра. Мы стали прислушиваться. На песке вдали стоит фигура.

— Это какой-то мальчишка! — говорит Аверченко.

Не слышно, что он кричит. Я, как дурак, повернул лодку к красному берегу. Никого там, кроме мальчика, не видно. Мы подошли поближе. Мальчик кричит, что он из Маячки, подводу его реквизировали, хочет домой. Мы подошли поближе. Кричу ему:

— Ты плаваешь хорошо?

— Хорошо!

— Плыви тогда!

Он бросился в воду. Только тогда я заметил, что человек шесть бегут по мели в нашем направлении, и понял мою глупость. Мальчишка плыл, мы шли ему навстречу, и наконец подобрали. В этот момент красные открыли огонь. Я пересел рядом с Аверченко, взял одно весло и мы зигзагами пошли обратно. Пули шлепали в воду вокруг нас и две или три ударили в лодку. К счастью, наши на берегу схватили карабины и стали стрелять. В конце концов красные ушли.

Я вообразил, что мы герои, спасли мальчика, но когда мы причалили, там стояли Андрей Стенбок и Петр Арапов и сейчас же разнесли меня на все четыре стороны. Слава Богу, они Аверченко не винили. Петр на меня кричал:

— Я знал, что ты дурак! Что ты думал — тебе Георгия за это дадут? Где твои мозги? Выбили под Британами? — и т.д. и т.д.

Было очень стыдно быть так обложенным перед всеми, но, к счастью, Петр скоро успокоился и даже извинился, что так меня обкладывал.

Во всяком случае, через два дня все это было забыто, потому что нас срочно вызвали в Каховку. Мы прошли форсированным маршем 18 верст, не зная что случилось.

Это было 17-го июня 1920 года. Мы пришли в Каховку в 3 часа пополудни. Было совершенно тихо. Последние две версты шли открытым полем. Обыкновенно, там где дорога была видна с того берега, большевики открывали артиллерийский и пулеметный огонь, но на этот раз никто на нас внимания не обратил.

Это затишье продолжалось недолго. Я только пошел к парикмахеру постричься и побриться, как вдруг загремели красные пушки. Откровенно говоря, я больше боялся, что парикмахер мне перережет горло: каждый раз при разрыве снаряда он подскакивал и два раза уронил бритву.

Когда я вернулся к эскадрону, все сидели на тротуаре, спиной к домам, и Николай Татищев все бегал от одного снаряда к друго-

му, стараясь снять фотографию разрыва. Он все опаздывал. Снаряды посвистывали над нашими головами или падали за нашими спинами. У большевиков, кроме полевых батарей, которых было пять, наши эксперты их насчитали, были две батареи шестидюймовых габиц, по три орудия, одна с каждой стороны Береславля, и одна восьмидюймовая, тоже в три орудия.

Мы стояли разговаривали, как вдруг тяжелый снаряд запшикал над нашими головами. Все в один момент: разрыв снаряда, из подворотни вылетела визжащая свинья и полет в нашем направлении балки, верхушки ворот. На фотографии потом вышла замечательная картина — часть дома, фонтан пыли, в котором летели какие-то куски, на переднем плане свинья с торчащими вверх ушами и поперек на откосе бочка.

Мы сидели и сидели, не понимая, зачем нас вызвали. Бомбардировка продолжалась несколько часов. Пришел ротмистр Кожин, синий кирасир. Оказалось, что кирасиры растянулись где-то по набережной в складах и других постройках. Мы были просто резерв, в случае, если большевики решат переправляться. Петр не мог понять, отчего бы красные выбрали Каховку для переправы. Река тут была очень широкая и открытая. Кожин говорил, что через бинокль ни одной лодки видно не было. С другой стороны, в Малой Каховке, налево от нас, были широкие плавни. Там были желтые кирасиры и части Марковской пехотной дивизии, которая стояла выше по Днепру. В Малой Каховке была дорога, которая спускалась на плавни, и там был отведенный на ту сторону понтонный мост. Кожин говорил, что с четвертого этажа склада было видно, как красные батареи против Малой Каховки лупили по плавням.

У нас снарядов было мало, за Малой Каховкой в лесу стояла Гвардейская пешая полевая батарея, которая молчала. Других батарей, очевидно, не было.

К вечеру бомбардировка Каховки прекратилась. Подошли полевые кухни, и мы поужинали. Как только стемнело, полуэскадрон Андрея Стенбока отправили на смену синим кирасирам, а наш полуэскадрон Арапова пошел через Каховку занять сторожевое охранение на утесе на север от Каховки.

Ночь прошла спокойно. Было достаточно светло, чтобы видеть вверх по Днепру. До девяти часов утра ничего не случилось. Уже было очень жарко, и я, взяв две фляги, спустился с утеса наполнить их водой. Когдя я карабкался обратно, красные вдруг по мне открыли огонь. Я испугался и полез скорее, и тут пуля хватила в низ одной из фляжек, и вода вся вытекла. Когда я вернулся, это развеселило всех. Но я второй раз не полез.

В этот момент кто-то заметил, что за версту выше нас появились на той стороне лодки. Мы не знали точных позиций 3-го Марковского полка. Петр перестроил наш полуэскадрон так, чтобы мы могли открыть огонь по лодкам, и послал меня обратно в Каховку,

в штаб, который сидел в одном из складов, спросить, где марковцы. Петр предложил подвести полуэскадрон ближе к переправе.

Я только что отошел от наших, как вдруг большевики открыли ураганный артиллерийский огонь по Каховке. Петр мне крикнул:

– Смотри, не попадайся под снаряды!

Но мне посчастливилось. Большевики почему-то лупили тяжелыми по задней части Каховки, а полевыми по набережной. Нигде около меня не разорвался ни один снаряд. Я повернул в улицу, которая вела к набережной. Тут была совсем другая картина. Приходилось карабкаться через груды кирпичей, балок и разбитого стекла. Я ни души не видел. Прошел вдоль полуразрушенной кирпичной стены к воротам большого склада. Около ворот стоял часовой синий кирасир.

– Что, штаб тут? – крикнул я через гул рвавшихся снарядов и раскатов с той стороны.

Часовой кивнул головой и показал четыре пальца. Я вошел во двор и поднялся несколько ступенек к двери. Гул и треск заставляли воздух дрожать. На ступеньке я остановился на секунду. Грохот и треск, точно кто-то рвал ситец, и волна воздуха, полная пыли, рванулась из двери, и тут же ворота, через которые я только что прошел, рухнули. На секунду я застыл. Что случилось с часовым? Я бросился обратно к воротам, но часового не было, груда кирпичей и оторванная нога на другой стороне улицы. Я бросился в склад.

Широкая бетонная лестница, покрытая осколками кирпичей. Я побежал, беря две ступеньки зараз. На втором этаже я проскочил мимо двери, когда косяк с треском рухнул на площадку и посыпались кирпичи.

Наконец я добрался до четвертого. В колоссальной комнате я увидел широкую спину генерала Данилова, смотрящего через большую дыру в бинокль, за ним стояли три офицера.

Я пробирался через кирпичи на полу, когда Данилов обернулся к адъютанту и увидел меня.

– А! Волков, что вы тут делаете?

Я быстро доложил, зачем пришел, и прибавил:

– Ваше превосходительство, часовой ваш в воротах убит.

– Наверно? Или ранен?

– Я только ногу его оторванную видел, ваше превосходительство.

Данилов обратился к адъютанту:

– Посмотрите быстро, жив он еще или нет.

Затем повернулся к Днепру и посмотрел вверх по течению.

– Я их уже видел. Передайте Арапову, чтоб он перевел полуэскадрон кругом Каховки, вот, смотрите! – Он сунул мне карту и указал квадрат, на котором было напечатано „Еврейское кладбище". – Вот сюда, 2-й полуэскадрон тут. Скажите, чтоб не беспокоился насчет переправы, это диверсия, с ними марковцы справятся.

Атака будет отсюда. – Он указал место между Малой и Большой Каховкой. – Скажите, что красные уже перешли и, вероятно, уже заняли Малую Каховку. Идите осторожно, – и улыбнулся.

Я побежал вниз по лестнице. На дворе встретил адъютанта.

– Боюсь, что наповал. Смотрите, осторожно, хотя от снарядов не укрыться. Валите с Богом.

Я побежал, прыгая через груды кирпичей. Снаряд ударил в соседний дом и осыпал меня осколками. Наконец выбрался на главную улицу. Тут снаряды не падали.

В поле пули визжали над головой и шлепали в землю, подымая маленькие фонтаны черной пыли. Я спустился в долинку. Полуэскадрон был рассыпан на пригорке и скупо стрелял по лодкам, которых я не видел. Петр Арапов стоял, глядя в бинокль.

– Ну что?

– Генерал Данилов приказал, чтобы мы обошли Каховку, вот сюда. – Я указал на карте Петра еврейское кладбище. – Наступают красные из-за Малой Каховки. Про этих не беспокойся, марковцы справятся, это диверсия.

– То, что я говорил с самого начала.

Через несколько минут мы были вне диапазона красной стрельбы. Построились в колонну и пошли вокруг Каховки. До этих пор не было у нас ни одного убитого или раненого.

Вот и длинная стена, огораживающая кладбище. Тут направо от нас оказался второй полуэскадрон. За нами верстах в полутора степь подымалась на гребень, на котором лежал хутор с рощей и фруктовыми садами.

Мы пошли через кладбище к стене на другой стороне и залегли за ней. Она была построена как медовые соты, с пробелами между кирпичами. Пришел Андрей Стенбок, поговорил с Петром, перевел свой полуэскадрон на наш левый фланг. Пришел и Кожин. Синие кирасиры лежали справа от нас во фруктовом саду. У них уже потери были довольно большие. Кожин уселся спиной к стенке рядом со мной.

– Я не понимаю, что мы тут делаем.

Я ему объяснил, что приказал Данилов.

– Да, это все очень хорошо, но у нас тут только два эскадрона. Сколько у вас?

– Да человек 120.

– Ну, у нас сотня наберется теперь. Я слышал, что красные дивизию двинули в Малую.

Нам недолго пришлось ждать. Между двумя Каховками появилась цепь, за ней другая. Они были еще далеко. В бинокль – хорошо обмундированная пехота. Двигалась она не на Большую Каховку, а на гребень за нами. Где-то далеко слышалась трескотня пулеметов и винтовок. Красная артиллерия отдыхала.

Цепи наступали наискось от нас. Только их левый фланг нас бы

зацепил. У нас было два „левиса”, которые мы перевели на наш левый фланг. Теперь цепь против нас была не более чем в ста шагах, и Петр приказал открыть огонь. Цепь остановилась, как будто от неожиданности. Она помялась на месте и потом бросилась на нас в „ура”. Затрещали наши пулеметы и залпы карабинов. Цепь приостановилась и отхлынула. Мы им большие потери нанесли.

Но это заметили и с другой стороны, из Береславля. Через минуту на нас обрушился ураганный огонь их артиллерии. Отхлынувшая пехота перестроилась и опять бросилась в атаку, и опять мы ее отбили.

Что творилось у нас на кладбище, трудно описать. По крайней мере 30-40 снарядов разрывалось каждую минуту, легкие, тяжелые лупили по нашей стенке, по каменным памятникам, осколки снарядов, смешанные с осколками памятников, визжали над нашими головами. Раненых и убитых было все больше и больше. Какая-то красная батарея перешла на шрапнель.

Цепи красных опять перестроились и бросились в атаку. Мы продолжали их отбивать. Вдруг, после сорока минут, артиллерия замолчала. Цепи, которые последний раз подошли на 30 шагов, откатились.

В первый раз мы стали считать наши потери. Кладбище теперь выглядело как вспаханное поле, покрытое воронками и белыми остатками памятников.

У нас было убито 11 человек и 38 раненых, которых мы отнесли за заднюю стенку. Передышка дала нам возможность заполнить пробелы. Взводы стали из-за этого смешанные. Корнет Мошин — пример замечательного совпадения. Он был ранен в грудь 18 июня 1919 года. Пуля вошла над сердцем в тот момент, что сердце сжалось. В результате рана считалась легкой. Теперь 18 июня 1920 года он опять был ранен в грудь. Пуля вошла в то же место, когда сердце его сжалось, только вышла на дюйм ниже.

Помню ясно передышку. Я лежал за остатками стены. После какофонии вдруг воцарилась тишина. Помню, как посмотрел на покрытую пылью траву рядом со мной. В ней была узенькая дорожка, по которой взад и вперед бегали муравьи. На былинке травы сидел маленький зеленый кузнечик и стрекотал. Я подумал — вот замечательно, вся эта катавасия на них не произвела никакого впечатления. Может быть, убьют меня, а муравьи будут продолжать бегать и кузнечики стрекотать, и все, которые останутся в живых, поведут обыкновенную жизнь, а я буду смотреть на это все сверху, и жизнь на земле будет идти все так же.

Я приподнял голову и увидел Петра, стоявшего облокотившись на единственный оставшийся памятник. Неужели он не боится, как я? Я знал, что это не так. Нет, он стоял там, чтобы поднять дух у нас, которые, съежившись от страха, распластались за стеной.

Я высунулся посмотреть, куда исчезли красные.

– Что ты смотришь, мы же их отбили, – сказал Петр, подошел и сел рядом со мной.

– Они сейчас вернутся. Наверно, охлаждают свои орудия после такой вагнеровской увертюры.

– Я три года в окопах сидел в Великую, но никогда такой бомбардировки не видел, – сказал один из наших солдат.

– Да это понятно, кладбище сравнительно маленькое, а они сюда все свои орудия направили, – ответил Петр.

– И сколько, вы считаете, у них орудий-то?

– Кто-то говорил, что 29, не знаю, не считал.

– Эти тяжелые я не люблю, засыпают прямо.

– Я никакие не люблю, – усмехнулся Петр.

Затишье продолжалось с полчаса. Было теперь около часу дня. Вдруг большевики опять разъярились. Снаряды вновь посыпались в развороченное кладбище, но пехота еще не появлялась. На этот раз бомбардировка с короткими перерывами продолжалось часа два. Два раза пехота пробовала взять кладбище штурмом, но мы их отбили. Теперь меньше летело осколков от каменных памятников, их уже не было.

– Не понимаю, что мы тут делаем, проще было б отойти за гребень позади, пока не подойдут подкрепления, – сказал Петр, пройдя вдоль всей линии и опять усевшись около меня.

В половине четвертого в степи за нами появилась фигура на лошади. Она шла шагом. Как видно, ее заметили и большевики. Огонь двух батарей перенесся на нее. Были минуты, когда ее не было видно из-за столбов пыли, поднимаемых снарядами.

– Эй! – крикнул кто-то. – Это генерал Данилов!

Через несколько минут Данилов слез с лошади и медленно, грузно пошел через кладбище в нашем направлении. Петр вскочил и пошел ему навстречу. Снаряды разрывались вокруг них, но Данилов даже не нагибался. Через минуту Петр вернулся:

– Мы отходим. Отходить цепью шагом, поняли?

Кого-то послали к синим кирасирам.

Скоро все, что осталось от эскадрона, вытянулось в цепь. Я был удивлен, что раненых за стеной не было. Их, оказывается, отнесли за Каховку и там подобрали на подводы. Только двое легко раненых остались. Одного, раненного в ногу, Данилов посадил на свою лошадь, а второй, поддерживаемый товарищами, пошел пешком.

Эскадрон здорово поредел – 18 было убитых и 59 раненых.

Большевики или не заметили, что мы ушли, или думали, что только часть из нас ушла. Только когда мы стали подниматься на гребень, артиллерия их замолчала. Но не прошло и нескольких минут, как затихли полевые орудия, а уже загудели над нами тяжелые. Колоссальные столбы пыли поднимались перед нами. Но они не пристрелялись, и за все отступление была только одна потеря. Мы уже

почти дошли до верхушки гребня, когда разорвался восьмидюймовый. На верхушке гигантского столба пыли на минуту появилась распластанная фигура Димки Лейхтенбергского, затем исчезла. Я боялся, что его убили, – нет, он был сильно контужен, но жив.

Тут в Таврии темнело невероятно быстро. За хутором стояли кухни, мы поужинали. Какой-то эскадрон пошел в сторожевое охранение, а мы, усталые, разлеглись на траве за фруктовым садом. Я сразу же заснул.

Проснулся, была тревога. Несколько пуль просвистало над головой. Мы быстро построились. Какая-то батарея стояла на дороге. Чей-то голос в темноте сказал:

– Вот сволочи, ночью никогда не дерутся, а тут пробрались, желтого кирасира убили.

Ко мнс подошел Николай Татищев.

– Вот оказия, батареи наши молчат, а теперь, пожалуйста, мы их конвоировать должны.

Батарея тронулась, и мы пошли за ней.

Прошли, я думаю, с версту и остановились в поле. Залегли в канаве. Опять появился Николай:

– Возьми кого-нибудь и пойди, там дорога из Малой Каховки и хутор, отсюда с полверсты. Узнай, прошли ли красные по ней.

Мы пошли через прошлогоднее жнивье. Ночь была тихая. Мы прислушивались к разным ночным звукам. Когда подходили к хутору, осторожно посмотрели во двор, там никого не было. Подкравшись к дому, тихо постучали. Долго никто не открывал, потом женский испуганный голос спросил:

– Кто там?

– Мы входить не хотим, скажите, проходили тут красные?

– Я не знаю, я никого не видела.

– Спасибо.

В этот момент послышался на дороге размеренный топот лошадей и бренчание сбруи.

Мы притаились. Взвод или полуэскадрон прошел очень близко от нас. Это были свои, с погонами, какие-нибудь гусары, уланы или драгуны. Как видно, большевиков не было, они шли без ночных дозоров. Мы повернули обратно. Низкая дымка затянула поле. Я доложил, что красных нет. Стало светать. Вдруг из дымки с другой стороны появились всадники. Артиллеристы вмиг сняли орудия и повернули в их сторону, первое орудие выстрелило.

– Не стреляйте, не стреляйте! – кричал Татищев. – Это наши!

Снаряд разорвался в тридцати шагах от лавы. Лава медленно продолжала подходить. Оказался эскадрон 10-го Новгородского драгунского.

– Что вы, с ума сошли! – кричал артиллерийский полковник на драгунского ротмистра. – Ночью лавой двигаться!

Я только слыхал его ответ:
– Это не ночь, а утро!
Они продолжали спорить, а я заснул в канаве.

МАЛАЯ КАХОВКА И ЖЕРЕБЕЦ

Помню, как проходили через сосновый лесок, и под ногами был вереск. Меня это очень удивило. Потом подумал, что и сосны не подходят к местной открытости. Наверно, заметил это вслух, потому что, помню, кто-то ответил:

– Да на этом песке ничто другое не росло бы.

Действительно, мы были на островке песка среди чернозема. Через несколько минут стало ясно, что это дюны. Как они туда попали? Перед дюнами с версту до Малой Каховки расстилались виноградники на черноземе. Сама Каховка стояла на утесе ста или больше футов вышиной, затем с версту шириной плавни, а затем только Днепр.

Остаток эскадрона, 39 человек, растянулся вдоль дюн. Направо от нас появились остатки эскадронов улан Ее Величества и гродненских гусар. У них тоже были тяжелые потери, было всего человек 70. Я знал ротмистра Коптева, гродненца, еще по Москве. Он пришел со мною поговорить и я в первый раз услышал, что происходило на других фронтах.

Он мне рассказал, что наша пехота после занятия Мелитополя, где теперь была ставка, была под Бердянском, Большим Токмаком, Зёленым Гаем и на Днепре, на юг от Никополя. Что донцы под командой генерала Назарова были между Токмаком и Бердянском. Что будто бы на Кубани было восстание. Что сформирована не то дивизия, не то бригада гвардейской пехоты под командой Мики Скалона. Она была на Днепре против Херсона.

Кроме Петра Арапова и Николая Татищева, офицеров у нас больше не было. Андрей Стенбок уехал за пополнением, которое, говорили, было в Маячке. Несмотря на наши тяжелые потери, настроение было высокое. Малая Каховка лежала перед нами, как латинская буква „L”. Нижняя часть буквы лежала параллельно нам, перпендикулярная, с фруктовыми садами, торчала направо, в степь.

На правом фланге улан никого из наших не было. Подошел Петр, я его познакомил с Коптевым, и мы сидели разговаривали, когда в первый раз из Каховки затрещали пулеметы. Их было много. Петр сейчас же повернулся на живот и стал смотреть в бинокль. Коптев вернулся к своему эскадрону.

– Вот сволочи, я думал, они нам передышку дадут.

– У нас справа никого нет, они могут нам во фланг ударить.

– Ударят. Мы наши два „левиса” к уланам на фланг поставим.

Не прошло и десяти минут, как первая цепь появилась из фруктовых садов. Она наступала на сосновый лесок за нами.

– Хмм... батальон, может, больше, смотри, как густо идут.

– Это только первая цепь.

У меня сильно билось сердце. Если они дойдут до леска, мы отрезаны.

– Вот и вторая. Эй, и третья!

Они были еще вне досягаемости наших и уланских пулеметов. Ротмистр Лишин, лейб-улан, перестроил уже свой эскадрон углом, когда вдруг из леска вылетели два эскадрона 2-го Лейб-Павлоградского полка. Они были в цветных синих и зеленых фуражментах, в белых рубахах и алых рейтузах. Как водопад, они обрушились на первую линию красноармейцев. Не останавливаясь, смявши первую, они бросились на вторую. Все три цепи бежали врассыпную, бросали винтовки, увертываясь от сабель гусаров. Все это случилось так быстро, что заняло не более нескольких минут. Павлоградцы возвратились с десятками пленных и опять исчезли в леске.

Большевики, вдруг проснувшись, открыли английский огонь по месту, где недавно была их передняя цепь. Перенесли огонь и на нас. Как видно, где-то в Каховке или за ней было две батареи, потому что ложилось по 8 снарядов. Они поддерживали огонь более двух часов. Интересно, как мало опасности было от этих снарядов, ударяющихся в сыпучий песок: кроме песочного дождя, мало что происходило.

Положение наше на дюнах было хорошее, видно всю окрестность, но был один недостаток. Хотя перед самой Каховкой была довольно широкая полоса открытого поля, но ближе перед нами лежали виноградники. Если бы красные ночью пробрались под их покров, легко могли бы подойти к нам незаметно. Петр решил выставить три дозора, и уланы сейчас же последовали нашей инициативе.

Я только что вернулся с расставления дозоров, взял у Петра бинокль и лег на верхушку дюны посмотреть, видны ли пулеметные гнезда большевиков. Передо мной был маленький кустик травы, которая, я по глупости решил, делала меня невидимым.

Вдруг какой-то беззвучный голос мне сказал: „Двинься налево, быстро.” Я сейчас же прокарабкался футов пять налево. Пулеметные пули, которые визжали над головой или ударялись в песок, вдруг точно снесли косой кустик травы. Я перекрестился: „Спасибо, Богородица и святая Варвара!” Мне всегда казалось, что чудеса случаются часто, но что мы их как-то не замечаем и говорим себе, что это совпадение. Но то, что мы небрежно называем совпадением, в действительности, я думаю, дело ангела-хранителя, может быть, Богородицы, святой Варвары или святого Николая, или кого-нибудь, назначенного за нами смотреть. Легко положить, что это судьба или рок, но это само по себе доказывает, что наша жизнь зависит от небесных сил.

К трем часам появились наши подкрепления. Их было более семидесяти человек с Андреем Стенбоком и Сергеем Артамоновым. Эскадрон опять был не совсем по штату, но почти что полный.

Но большевики решили сбить нас с дюн и начали наступление через виноградники. Дозоры донесли об этом заранее. Артиллерийский обстрел усилился. Пулеметы трещали, не переставая. Песок вокруг нас кипел, что сковородка на печке. В виноградниках красных было трудно видеть. Дозоры отошли. Мы сидели и ждали появления красных на краю виноградника, но они где-то застряли. Вдруг шагах в пятидесяти они ринулись. Тут дюны сыграли гораздо большую роль, чем наш огонь. Сыпучий песок так затормозил красных, что мы сбивали их по одному. Они все лезли, скользили и падали, но наконец отхлынули обратно в виноградник. Не теряя минуты, мы перешли в контратаку, ныряя между рядами, но большевики уже бежали. Даже Петр, который сам о себе говорил: „я и в корову в пяти шагах промахнусь", – сбил двух или трех.

Потери у красных были большие. Мы тут же похоронили 68 убитых и подобрали 27 раненых. У нас всего было двое легко раненых, но у бедных улан, у которых дюны были ниже, было 5 убитых и 11 раненых. Убит у них был командир эскадрона ротмистр Лишин.

Мы опять поставили дозоры, но большевики больше не пробовали атаковать.

Скоро после этого произошел странный случай. Маленького Врангеля, эстандарт-юнкера по прозвищу „Анютка", послали на единственной нашей лошади узнать, кто у нас был на правом фланге. Он поскакал через поле направо и исчез. Когда он появился опять, большевики осыпали его снарядами. Он шел карьером, когда снаряд разорвался под его лошадью. Они взлетели в воздух. Мы все ахнули. Но когда пыль рассеялась, стоял Врангель на ногах и держал лошадь. Он быстро влез и прискакал. Ни он, ни лошадь не были ранены. Справа оказались синие и желтые кирасиры.

К вечеру все затихло. Ночь опять была темная, но очень теплая. Мы лежали на обратной стороне дюны, на еще теплом песке. Петр проходил вдоль линии, остановился и уселся. Как всегда, стал философствовать. Отчего-то разговор пошел о популярности, почему некоторые люди популярны, а другие нет. Одни, он говорил, не делали никаких усилий, чтобы быть любимыми, и, тем не менее, их все любили. Другие наоборот, были со всеми любезны, вели себя прекрасно, а их отчего-то не любили. Я вдруг понял, почему он поднял этот вопрос, хотя он никого не называл.

– Что ж, и очень хорошему человеку может чего-то не доставать, тем не менее такой человек может быть всеми уважаем.

– Да на чем это все основано?

– Трудно сказать, но думаю, что человека искреннего всегда любят больше.

– Но что, если человек сдержанный или был воспитан очень

строго, или у него комплекс неполноценности и он боится сделать ошибку, или просто скромный? — сказал Петр.

— Да все это возможно, но люди не разбираются и могут думать, что человек неискренний.

— Ты прекрасно знаешь, о ком мы говорим.

— Да, знаю, он очень хороший человек, но мне с ним разговаривать трудно.

— Я тоже говорить с Сергеем не могу.

— Разве это важно — быть популярным?

— Может быть, не важно, но это помогает солдатам. Что они о нем думают?

— Говорят, что он никогда не ругается, в карты не играет, не пьет, не курит и за девками на таскается, значит, будто бы что-то скрывает. И ты и я знаем, что он просто так воспитан.

— Но, тем не менее, мы оба с ним говорить не можем.

— У меня ничего с ним общего нет, о чем...

— Шш... молчи... слушай...

— По звуку — кавалерия.

Петр поднял бинокль и стал смотреть в темноту.

— Вот, смотри... туда...

Я взял у него бинокль и посмотрел. Я был удивлен, что можно видеть так далеко во тьме.

— Это конный разъезд.

— Это я вижу, но чей?

Петр обошел дозоры, удостовериться, что не спят. Он, как видно, ожидал пешей разведки.

На рассвете появилось какое-то командование. Появились полевые кухни. Пришел Петр, в серьезном настроении:

— Через час мы переходим в наступление. Нам приказано выбить красных из Малой Каховки. — И пошел дальше.

Но скоро приказ был отменен. Опять большевики открыли артиллерийский огонь и затрещали пулеметы. Они никак не могли найти дальность, и большинство снарядов ложилось далеко за нами. Мы не двигались.

В половине третьего мы увидели перебегающих от Каховки к винограднику красных, и вдруг по ним затявкала наша батарея. Это первый раз, что наша батарея открыла огонь, с тех пор как мы вышли из Крыма.

Вот тут был дан приказ наступать. Мы бросились в виноградники. Красная артиллерия укоротила дальность и теперь била перед нами по своим же, что обратило их в бегство.

Петр послал кого-то назад к нашей батарее, прося их перенести огонь на красные пулеметы. Мы уже вышли из виноградников и теперь шли бегом по открытому полю через красные снаряды и пулеметный огонь. Я увидел бежавшего впереди Петра с тросточкой в одной руке и парабеллумом в другой; Николая, размахивающего

шашкой, и Андрея Стенбока, за ними – линия нашего эскадрона... Вдруг я почувствовал, что меня ударило, точно подушкой, и швырнуло вверх. Я пришел в себя, но было темно.

Наверно, убили – проскользнула мысль. Попробовал поднять голову... светло... нет, еще жив. Привстал, ноги действуют, а наша цепь всего в десяти шагах впереди меня. Побежал за ней.

Слева из Основы полным карьером шли ахтырцы. Их коричневые и желтые фуражменты ясно были видны. Пулеметы замолчали, и мы стали перебираться через плетень на дорогу. Кроме убитых и раненых большевиков, около пулеметов никого не было.

Наши потери до этого момента были сравнительно небольшие. Мы потеряли 19 раненых из 1-го, 2-го и 4-го взводов, в 3-м никого не тронуло. Сергей Артамонов с ним спустился на плавни. Была сильная стрельба в самой Каховке.

Вдруг от моста вверх, по зеленому откосу поскакала красная батарея. Были видны все четыре пушки, когда наша батарея открыла по ним огонь. Мы всегда знали точность наших конных батарей, но не знали эту Гвардейскую пешую. Первые четыре снаряда разбили два передних орудия. Еще семь снарядов покончили с остальными двумя. Красные резали постромки еще живых лошадей и рассыпались по откосу. Но мало кто ушел. Мы вернулись на дорогу. Петр, Андрей, маленький Врангель и я уселись на приступок дома. Николай Татищев сейчас же вытащил свой аппарат. Петр рисовал тросточкой план Каховки на пыли, объясняя что-то вахмистру нашему, Глобе. Фотография потом вышла великолепная.

Меня почему-то стало тошнить, и я ушел за дом. Когда я вернулся, Андрей спросил, что случилось с моими сапогами и рейтузами. Я посмотрел и ахнул.

– Вот сволочи! Испортили!

И сапоги, и нижняя часть рейтуз были как решето. Я продолжал ругаться от досады.

– Да это снарядом, который в тебя ударил, – сказал Врангель.

– Врешь ты, меня просто сшибло с ног.

– Совсем не вру, я видел, снаряд разорвался у тебя в ногах.

– А, вот почему тебя рвет, тебя контузило, – сказал Андрей.

– Да я себя прекрасно чувствую!

Николая Татищева не было. Он взял нашу единственную лошадь и поехал посмотреть, что делалось в деревне. Там продолжалась невероятная трескотня. Он скоро вернулся и остановился перед нами.

– Там уже справились, там и синие кирасиры, и желтые, и ахтырцы с белогородцами, и, кажется, марковцы. Они уже на плавнях. И пленных там много, и целая батарея.

– Так что же сидишь на лошади, слезай! – сказал Петр.

– Я не могу.

– Как не можешь?

– Меня в колено ударило.

Николая сняли и посадили на приступок.

Раненых всех принесли на дорогу и положили на траву для перевязки. Между ними был мой троюродный брат Дорик Гейден, он был штаб-ротмистром в ахтырских гусарах.

Откуда-то появились подводы. Стали нагружать раненых. Андрей Стенбок настоял, чтобы я ехал с ним в полевой госпиталь в Большую Маячку.

Когда все уже были погружены, появился кто-то из 3-го взвода: Сергей Артамонов убит, и у них вообще были большие потери при штурме предмостного укрепления. Захватили батарею и много пулеметов.

Ко мне подошел Петр.

– Мы зря о Сергее говорили вчера, он был хороший офицер, а популярный или нет, значения не имело.

Он был прав.

В Маячку мы приехали поздно ночью. Перевязочный пункт был в школе. Оттуда всех везли в Мелитополь, а затем поездом в Крым.

Я не был ранен и сидел в приемной, пока не кончили с ранеными. Вдруг прошла сестра.

– Алла! Это вы?

Она повернулась и бросилась мне на шею. Мы расцеловались. Я был невероятно рад ее видеть. Разговорились, как, что, где кто был. Она посмотрела на мои сапоги:

– Душка, да их нужно снять!

Мы вдруг оказались на „ты”. Она повела меня в какую-то комнату, я снял сапоги и рейтузы и был ошеломлен. Ноги мои от колена до щиколотки были черные. Я сперва подумал, что они просто грязные, но, когда вымыли, ноги оказались в черных пятнах.

– Это все осколки и чернозем, его силой разрыва пробило через кожу, – сказал фельдшер, вынимая пинцетом некоторые осколки.

Алла мне их собрала. Все ноги покрыли какой-то мазью и забинтовали. У меня была другая пара сапог в обозе, но где обоз, я не знал. Во всяком случае натянуть их было бы невозможно. Мне дали какие-то туфли. Я не знал, что делать. Назвать это ранением нельзя, но и возвращаться в полк тоже нельзя. Мне было стыдно оставаться в госпитале.

– Ах, душка, что ты морочишь, оставайся со мной, у меня комната хорошая.

Она свела меня к своей хозяйке, которая меня накормила. Я остался у Аллы. Каждый день нужно было ходить в госпиталь на перевязку, и каждый день на бинтах было все больше осколков, которые Алла собирала для меня. Ни одного крупнее четверти дюйма не

было, точно нулевой дробью в ноги ударило. Цвет ног тоже стал возвращаться, ноги стали сперва багровые, затем начали линять, точно оспой покрыты.

Что происходило в полку, я понятия не имел. Наших всех отправили кого в Крым, кого в Новоалексеевку, где был большой госпиталь. Раненых привозили из других полков.

Я провел с Аллой девять дней, когда услышал, что полк движется на центральный фронт на Молочную. Распрощался с Аллой. Жалко было расставаться. Настроение у меня в первый раз было подавленное.

Петр надо мной трунил, что я сидел в Маячке только из-за Аллы, кто-то ему сказал, что я у нее жил. В ответ я ему показал замшевый мешочек, я его носил с крестом вокруг шеи. В нем были все осколки из моих ног. Мне еще очень трудно было снимать и надевать сапоги.

Мы прошли через Агайманы к реке Молочной. Что происходило на фронте и даже где он – мы не знали. Остановились на утесе над Молочной. По ту сторону реки расстилались заливные луга.

Подошли кухни. Мы сидели на краю и ели. Солнце было еще высоко. Над головами нашими вдруг появился аэроплан. Кто-то сказал:

– Ишь ты, сукины дети, летают, а пользы от них нет.

– Да они нашим пушкарям помогают.

– Что им помогать-то, у них все равно снарядов нет.

– Ну, чтобы не тратили, какие есть.

Вдали появились клубы пыли.

– Это, брат, конница!

– Да не наша, у нас столько лошадей нет.

– Смотри, смотри, разворачиваются.

Направо в изгибе реки деревня.

– Смотри, они туда прут!

У меня екнуло сердце. Боже, сколько их. В первой линии 12 эскадронов, а за ними пыль еще шире. Петр Арапов глядел в бинокль.

– Кто это такие, господин ротмистр?

– Думаю, буденовцы, – сказал Петр спокойно.

Они шли шагом.

– Там бригады четыре, может, больше, процедил Петр.

В этот момент загремела артиллерия. Низко над красными стала рваться шрапнель.

– Это наши! Это наши!

И вдруг из деревни выскочила конница. Эскадроны в сомкнутом строю обрушились на фланг красных. Мы сидели, разинув рты. Даже до нас доносилось „ура". Смешавшиеся эскадроны крутились на месте. Часто вырывались, поворачивали на карьере и бросались обратно в толкотню. Аэроплан кружился над полем, нырял и тогда

слышна была трескотня. Все новые и новые части разворачивались, повертывали и ударяли в смешанную кучу. Пыль стояла невероятная.

Лошади без седоков сотнями носились по равнине. И вдруг вся эта масса конницы стала уходить дальше и дальше.

– Мы их разбили! – воскликнул кто-то удивленно.

Но не прошло и нескольких минут, как они снова появились, ближе к Молочной. Из деревни опять вырвалось эскадронов шесть и обрушились на уже бескомандную толпу. Мы увидели сдающихся. Они выскакивали с поднятыми руками и спрыгивали с лошадей.

Наш привал растянулся. Все сидели, как в театре, глядя на бой в изгибе реки Молочной. Мы были потрясены видом боя, как зрители. Была колоссальная разница – быть в бою самим или обозревать побоище с бельэтажа. Напомнило мне цветную гравюру Лейпцигского сражения у нас дома, только тогда люди еще заботились, как они выглядят: полки были одеты в цветные формы, и легко было отличить товарищей от неприятеля. Теперь единственная разница была – погоны и кокарды, в пылу боя трудно и различить.

Бой кончился. Ясно, наши разбили неприятеля, отомстили за Егорлык.

Мы спустились через мост в Лихтентал. Это была большая молоканская деревня, с широкими улицами, прекрасными домами во фруктовых садах. Когда мы вошли, вся улица была набита конницей, и это была только часть тех, кто был в бою.

Моя подвода остановилась против коновязей эскадрона 16-го Иркутского гусарского полка. Они были в великолепном настроении. Узнав, что мы спешенная конница, они хвастались, что довольно для нас лошадей набрали.

Я пошел по дворам посмотреть на захваченных лошадей. Они были выхоленные, седла хорошие. Конечно, как всегда, все участники рассказывали свои истории, друг с другом не совпадавшие. У красных было 5000, 7000, 10000, 15000 и т.д. Командовал ими „сам Буденный", „Антонов", „Жлоба", „Крыленко" и т.д. Захватили 5000, 7000 лошадей, 6 батарей, 8 батарей, 3000 пленных и т.д.

Наша дивизия уже ушла на север, и 2-я вытягивалась ей вслед.

Только на второй день, встретив Андрея Стенбока, узнал, что произошло. Конница, оказывается, была Жлобы, всего 5 бригад (вероятно, тысяч шесть) с семью конными батареями и приблизительно 300 тачанок.

По приказу Врангеля пехота открыла фронт под Михайловской и пропустила Жлобу к Молочной. Тут Жлоба сделал ошибку, он повернул только одну бригаду в тыл нашей пехоте, которая их поджидала, а сам с двумя дивизиями пошел на Мелитополь. За Лихтенталем лежали наша первая и вторая конные дивизии. Он не успел развернуться фронтом, когда его ударили во фланги, смяли его передовые отряды. Разбитый, он попробовал отойти и переформироваться,

когда на него выскочили части второй нашей дивизии. Тем временем бригада, которую он послал в тыл нашей пехоте, была вдребезги разбита корниловцами и отхлынула на главные силы Жлобы. После этого силы жлобинской конницы вовсе не могли сформироваться. Новые части 2-й дивизии совершенно смяли оставшихся, и они стали сдаваться.

Захвачено было более 2500 пленных, прорваться обратно удалось, говорили, только нескольким сотням. Почти что три с лишним тысячи лошадей, все семь батарей и большинство тачанок оказалось в наших руках. Это, действительно, было отмщение за Егорлык.

Нашему полку отвели 700 лошадей, но у нас стольких людей не было, ожидали пополнения, за ним поехал Петр.

Странно было опять оказаться конницей. В нашем эскадроне всего было человек 70. Появились кавалергарды. Весь полк был не более 400-430 шашек. Мы сейчас же вышли вслед за дивизией.

Андрей Стенбок мне говорил, что Врангель переменил и стратегию и тактику Белой армии. Он считал, что с теми маленькими средствами, которые он имел, и при отсутствии арсеналов не было возможности наступать, как это делал Деникин. Он считал, что у большевиков было сравнительно мало надежных полков, то есть коммунистических частей. Латышей мы уже не встречали. Были две дивизии отборной пехоты, которые включали венгерских коммунистов, китайских наемных бойцов и смешанных европейских коммунистов. Были довольно хорошо дисциплинированные русские полки, со старыми офицерами. Все это пополнялось многими ненадежными полками, типа тех, которые дрались против Деникина. Но конница у них была великолепная и насчитывала до 50.000. Не вся эта конница была на южном фронте, часть ее воевала против поляков. Ненадежные против нас полки однако великолепно дрались против поляков.

Поэтому Врангель решил, что единственный способ, которым он мог преодолеть большевиков, это уничтожение их надежных полков.

Это была очень опасная стратегия. Нужно было пропускать несколько красных частей в наш тыл, в мешок, завязывать его, отрезая от главных частей, и уничтожать в приготовленной засаде.

Действие против Жлобы было мастерское действие, в особенности корниловцев, Барбовича и Морозова.

Но через несколько дней после жлобинской операции вторая такая засада почти что кончилась трагедией. Наш полк потерял более половины состава, правда, уничтожил весь венгерский коммунистический полк имени Белы Куна.

На этот раз дроздовцы пропустили венгров где-то в Гуляй-Поле. Приготовленная засада оказалась не в том месте, куда двинулись венгры. Они куда-то исчезли, разъезды их потеряли.

А наш полк шел на соединение с дивизией в Жеребец. Степь

тут была изрезана балками. Наше полковое командование, видно, не знало о близости неприятеля. Дозоры ниши заметили венгров уже слишком поздно.

При виде нас венгры сразу же перестроились в квадрат. Мы рассыпались в лаву и пошли в конную атаку. Расстояние было сравнительно короткое. Мы рухнули в сомкнутый строй пехоты. Я увидел Андрея Стенбока, как раз перед самой стычкой падающего с лошади. Помню штык, который сверкнул около моей правой ноги, и как я с размаха хватил шашкой по голове пехотинца, штык исчез. Видел пронзенного пикой солдата и помню, как задняя часть пики хлестнула мою лошадь в бок. Видел на секунду Николая Исакова, у которого шашка висела на шишаке, а в руке его был револьвер, которым он свалил подряд двух красных. Венгры не сдавались, рубка продолжалась. Был момент, когда близко ко мне никого не было, стояла распряженная тачанка и за ней трое красных отбивались от двух наших. Я завернул кругом тачанки, и тут моя лошадь рухнула, я полетел из седла. Лошадь как-то перевернулась и придавила меня к земле. Боль в правой ноге была страшная. Я упал на дышло тачанки. С трудом вытянул ноги и попробовал встать. Нога ныла, и вес ее казался колоссальным. Поволочил ногу к тачанке, облокотился и стал зрителем побоища. На всякий случай я снял карабин, но рубка отхлынула дальше.

Ко мне подъехал какой-то желтый кирасир. Кровь у него текла по руке повыше локтя.

– Вы ранены? – спросил он меня.

– Нет, лошадь убило.

– Меня в руку, перевязать нужно.

Он слез с лошади и снял санитарный пакет, я завернул ему рукав и перевязал.

– Я вам лошадь поймаю.

Через несколько минут он вернулся, ведя лошадь на поводу. Я попробовал влезть, но не мог поднять ногу.

– Да вы ее сломали!

– Может быть.

– Подождите, – и уехал.

Стрельба, крики продолжались еще с полчаса, может, больше. Я не помню другой битвы, где у противника оставалось всего человек 20 в живых. Полк их состоял из двух тысяч. Они просто не сдавались. Но и у нас потери были огромные. В нашем эскадроне осталось всего несколько не раненых, включая меня. Нога моя не была сломана, а просто ушиблена, от бедра до щиколотки она распухла и посинела. Я не мог ею двигать. Меня подняли в седло и опустили стремя на всю длину. Двадцать наших взял князь Черкасский к своему передовому эскадрону желтых. Мы собрали всех наших раненых и убитых, погрузили на тачанки и обоз венгров, и я с ними пошел обратно в Лихтентал.

Со мной рядом ехал Николай Исаков. Его послали искать штаб нашей дивизии.

Андрей Стенбок был убит наповал.

Приехали мы уже в темноте. Было страшно жарко. Здесь стоял наш обоз, и я их попросил найти гробы для наших убитых. У нас было братское кладбище в Ялте, куда всех, кого можно было, везли хоронить. Отправляли гробы в Севастополь, а оттуда морем в Ялту. Там уже было более двухсот могил.

Слезть с лошади я не мог. Нога совершенно не действовала. Помогли слезть, и я только мог волочить ее, опираясь на карабин. Она теперь здорово болела. Добрался до дома, и там оказался Мастик Мусин-Пушкин, вольноопределяющийся в кавалергардах. Я его давно уже знал, но никогда не дружил. Я боялся, что если усну, то на рассвете не смогу подняться. Хозяйка очень мило поставила самовар, и я решил просидеть за столом до рассвета. Предложил Мастику играть в карты. Он сказал, что не умеет, и стал уговаривать заняться какой-то доской с буквами по краю.

– Для чего это?

– Как для чего? Мы перевернем блюдечко со стрелкой, поставим пальцы на него и оно станет двигаться от одной буквы к другой.

– Так это что, магия какая-то?

– Да не магия, а предсказывает.

– Ну нет, я совсем не хочу знать будущее.

– Да это же только игра.

– Все равно, я не люблю играть с волшебством.

– Да это не волшебство, это просто для забавы.

Я наконец согласился. Мы начали эту „игру". Долго ничего не случалось. Потом вдруг блюдечко стало скользить от одной буквы к другой. Оно скользило так быстро, что я только успевал записывать буквы. Потом вдруг остановилось.

– Ну, вот тебе смешанный алфавит, безо всякого смысла.

– Я тебе говорил, что это игра, иногда очень смешно.

Но вдруг среди всей этой смеси букв я увидел слово „Николай" и испугался. Провел черточки с двух сторон и вижу, что следующее слово „Исаков".

– Что ты смотришь?

– Не знаю, что, вот – Николай Исаков.

– Отчего Николай Исаков?

– Да как я знаю?

Стал разбирать. Что-то „моим", ах, „передай моим". Мы стали выбирать слова. Не помню теперь всего, но разобрали, что он „убит". Я не знал, верить или не верить, но было очень неприятно.

– Во всяком случае, это ерунда, я его в 3 часа видел, он не на фронте был, а далеко за ним.

– Ну, иногда и выходит такая ерунда! – Мастик засмеялся.

– Ничего тут смешного нет, не даром я отказывался играть.

– Да что ты, дурак, к сердцу принял? Сам говоришь, что это неправда!

Вскоре я собрал конвоиров, с трудом влез на лошадь, и пошли с телегами на Мелитополь. Уже в виду Мелитополя встретили эскадрон. Вел его Петр Арапов.

– Что это ты, раненых наших везешь? Как Андрея убило?

– Откуда ты знаешь?

– Только что был в ставке. Там уже все знают. Жалко Николая Исакова, убило даже не в бою.

– Как убило?!

– Не знаю, говорили, что он в штаб ехал и у самого штаба его убило шальным снарядом.

– Я его в 3 часа видел.

– А нога твоя как?

– Откуда ты знаешь?

– Да кажется Черкасский с кем-то по телефону говорил.

– Это что, полный эскадрон ведешь?

– Почти что, 102. А ты куда? Поезжай в Ялту, пока нога не поправится. Я тебе проездную дам. Я временно эскадроном командую, пока Жожо (Жемчужников) не вернется.

– Жожо?! Что Гедройц говорит?

– Ничего, он Врангеля боится. Ты, когда раненых погрузишь, пойди в ставку и попроси Ляхова тебе трехнедельный отпуск и проездную дать.

– Я Ляхова не знаю.

– Он знает о тебе, он лейб-казак, он сам мне о тебе рассказывал.

– Ну ладно.

Мы распрощались, и Петр с эскадроном ушел на север.

Я ожидал в ставке бурную деятельность и множество бегающих офицеров, но ничего подобного не нашел. Какой-то казак меня спросил, кого я хочу видеть. Я сказал, что сотника Ляхова. „Ах, адъютанта, так стучите в эту дверь." Я нашел себе палку, и опираясь на нее, мог волочить свою ногу гораздо легче. Постучал.

– Войдите!

Вошел. Я попробовал отдать честь, но потерял равновесие. Ляхов вскочил и поймал меня за локоть.

– Садитесь, вы вероятно Волков?

– Так точно, господин сотник.

Я ему передал то, что Петр мне велел.

– Это я вам сейчас сделаю. – Он открыл дверь и крикнул: – Короченко! Закажите тачанку и кого-нибудь, чтоб посадить Волкова на поезд.

Я был удивлен, как это все просто. Ляхов стал заполнять какие-то формы, когда дверь отворилась и вошел Врангель. Я испугался и попробовал вскочить, но Врангель сказал:

– Сидите. Я где-то вас видел.

– Так точно, ваше превосходительство, в Ростове.

– Ах да, вы Эллу Ширкову везли. Как убили Андрея?

– В атаке, ваше превосходительство, наповал.

– Зря! – сказал он громко, повернулся и ушел.

– Как это случилось? – спросил Ляхов.

Я попробовал ему объяснить, но я сам толком не знал. Он покачал головой и вздохнул.

– Как их туда пропустили? Совсем не то вышло. Главком очень сердит, мы не можем такие потери нести.

Он дал мне бумаги и помог встать.

– Ну, поправляйтесь.

Тачанка отвезла меня на вокзал, и через полтора часа я сидел в поезде, идущем в Феодосию.

В Феодосии мне посчастливилось. Старая „Алушта" уходила в Ялту через час. Переход был прекрасный. Было одиннадцать часов утра и воскресенье. Я взял извозчика и решил ехать в церковь.

Когда я приехал, обедня уже кончилась и служили какую-то панихиду. Было много знакомых впереди, но я остался у двери. Стал слушать имена. „В Бозе почившего Ивана, Феодора, Андрея", все наши убитые, „Николая, Егора..." Николая? Должно быть, Николая Исакова, но странно, отчего вдруг кавалергарда поминают среди наших, они свою панихиду отслуживают.

Панихида кончилась, стали выходить.

– Господи Боже мой, мы по тебе только что панихиду отслужили! – Софья Дмитриевна Мартынова остановилась передо мной в недоумении. – Да нам сказали, что тебя убили!

– Нет, еще жив.

Стали меня обнимать, расспрашивать.

– Да я даже не ранен, только ногу разбило.

Меня повезли к Зесту праздновать мое спасение. Настроение у меня было совсем не праздничное после панихиды.

– Да, душка, это же страшно счастливо присутствовать на своей собственной панихиде.

– Если так, то слава Богу.

Все уверяли, что это очень, очень счастливо.

Даже Зест с женой меня приветствовали. У него был великолепный ресторан в Ялте. Бывший шеф яхт-клуба и великого князя Алексея Александровича как-то утаил столетнюю водку, и пили мое здоровье. Я даже повеселел.

Доктор сказал, что ни одна из моих костей не была сломана. Опухоль и синяк от бедра до щиколотки были просто от удара по мускулам, и это парализовало мне ногу.

– Это пройдет. А вашу головную прошлогоднюю рану не понимаю. Она должна была вам парализовать всю левую сторону, но ничего не случилось, а теперь этот глупый синяк!

Настроение в Ялте было совсем не приподнятое. Многие говорили, что возможность победы упущена. У Врангеля не было достаточно войск, ни снарядов, ни оружия. Никто из союзников теперь не помогал даже второстепенным снабжением. Англичане переговаривались с большевиками. Французы говорили с симпатией, но их интересовала только Польша.

У Врангеля наконец было приличное правительство, возглавляемое Кривошеиным. Министром иностранных дел был Струве, но все это было слишком поздно. Многие думали, что второй зимы в таких условиях выдержать невозможно и решали эвакуироваться к „братушкам", то есть в Сербию и Болгарию. Кривошеин этому не противился. Было слишком много в Крыму людей, которые борьбе не помогали, только ели сравнительно скудные припасы. Если хотели уезжать – „скатертью дорога".

Я не знаю, когда ушел очень большой пароход „Петр Великий", на нем было более тысячи человек. Пошел он на Варну, но наскочил почти у самого порта на мину и погиб. Говорили, погибло более 300 человек. Уходили пароходы и в Константинополь. Сколько людей эвакуировалось, не знаю.

Нога моя оказалась хуже, чем я думал. В конце трех недель я все еще не мог ходить без палки. Она продолжала ныть, опухоль почти исчезла, но синяк не исчезал. Я пошел к доктору.

– Ни в коем случае вы возвращаться в полк не можете, это было бы просто глупо.

Пошел в комендатуру продлить свой отпуск еще на неделю. Пришел и ахнул. За столом сидел не кто иной как поручик Турчанинов.

– Ах, это вы опять!

Я протянул предписание врача.

– Я не вижу никакой причины продлить вам отпуск.

– Простите, господин поручик, но я вам дал докторское свидетельство.

– Это ничего не значит. Пароход идет завтра.

Я ушел и вдруг решил, что останусь без позволения. Пусть попробует меня арестовать, я ему такого закачу через Ляхова, что он забудет собственное имя. И остался.

Через восемь дней шла английская подводная лодка из Ялты в Феодосию. Через английских офицеров устроился идти на ней. Море было очень бурное, но мы, выйдя из порта, погрузились. Это была очень большая лодка, почти 2000 тонн, и, к моему удивлению, с одним 12-дюймовым орудием, точно какой-то монитор. Для чего это было, я не понял. Когда я спросил командира, он засмеялся и сказал:

– Пока я командир, никто из этого орудия стрелять не будет. – Потом, подумав, добавил: – Стрелять мы будто бы должны, когда лодка под водой, а дуло и перископ торчат в воздухе. Вероятно, выстрел бы нас затопил. – И засмеялся.

Места было много, совсем как большой миноносец. После погружения машины тихо гудели и совершенно не качало.

Пришли в Феодосию. Там тогда были Маша Суворина, Нюра Масальская и Саша Макаров, лучшие цыгане из Старой деревни. Маша всегда была очень мила ко мне, когда я был в Ялте. Я пошел ее навестить, и она меня пригласила на вечер с цыганами. Был там тоже Ника Мейендорф и многие другие знакомые. Мы пропировали до 6 часов утра, когда мне нужно было поймать поезд на Мелитополь.

В Мелитополе я пошел в ставку. Тут все были очень заняты. Какая-то большая операция занимала всех. Ляхов послал мне через вестового сообщение, что он очень занят, чтоб я пришел в одиннадцать на следующий день.

Мне некуда было идти. Я никого не знал, нашел себе ночевку и пошел шататься по городу. Вдруг меня кто-то ударил в спину. Я повернулся: наш полковой врач, доктор Лукашевич.

– Что вы, молодой, делаете в этой яме?

– Приехал из отпуска, господин доктор.

– Откуда?

– Из Ялты.

– Ну и дурак же вы, чего вы из красивого, уютного места вернулись сюда? Вы завтракали?

– Никак нет.

– Пойдемте в цукерню, тут кофе из желудей „сервируют".

Пошли, какое-то маленькое кафе, уселись. Он стал спрашивать про мое прошлогоднее ранение в голову.

– Да я про это забыл.

– Странно, должно было убить наповал, чего вы лезете опять?

Я его немножко побаивался. Он был великолепный доктор, но когда к нему приходили, он обыкновенно стоял спиной к двери и кричал громким голосом, не глядя на вошедшего:

– Зачем вы пришли?

– Да я хотел вас спросить, господин доктор...

– Что с вами такое?

– Да я хотел...

– Если вы сами не знаете, каким макаром я могу вам сказать?

– Да я думал...

Тогда он поворачивался, смотрел жгучими глазами и спрашивал:

– Голова есть? Руки есть? Ноги есть? Чего не хватает?

Такая встреча вылечивала большинство недугов. Но тогда он садился, смотрел вам в глаза и обыкновенно говорил без осмотра то, за чем вы пришли. Со мной теперь ничего не было, но он сказал:

— У вас головные боли.

— Да, не все время.

— Это я сам вижу.

— Да я на них не жалуюсь.

— Это не от ранения. Вас наверно контузило?

— Да не знаю, подо мной разорвался снаряд, но только в ноги ударило.

— Это неважно. Вас тошнило?

— Да, только через полчаса, а потом прошло.

— Контузило, оттого и голова.

Я хотел знать, где полк.

— Наши под Основой потеряли много. Теперь Слащев Днепр держит, а наши ушли.

— Куда?

— На север, они теперь с Бабиевым на той стороне Днепра.

— Кто такой Бабиев и как они Днепр перешли?

— Ах, он кавалерийским корпусом командует. Не знаю, кто он, наверно, ингуш или татарин. Хороший генерал, говорят.

— Да что они за Днепром делают?

— Не знаю, перешли где-то у Александровска и на Никополь пошли, наверно, в тыл красным.

Он говорил о наших потерях, никто из полковых офицеров не был убит или ранен, но убита была под Основой сестра милосердия.

— Какая сестра?

— Кажется, Погорельская ее звали.

Я, как видно, побледнел.

— Вы что, ее знали?

— Знал, да, очень хорошо.

Меня как обухом ударило.

— Она...

Я не слышал, что он сказал.

Когда я очнулся, он говорил очень тихим голосом:

— Пойдемте ко мне, у меня водка есть.

Помню, сидели в его комнате и я отмахнул два стакана водки. Он говорил о чем-то.

Я думал, что привык слышать о смертях моих друзей и родственников, но эта смерть потрясла меня более, чем чья-нибудь.

На следующий день я пошел к Ляхову. Он был очень занят. Я спросил про полк.

— Сейчас вы никак в него попасть не можете. Завтра идут пополнения в Феодоровку, полк вернется туда. Я вам достану лошадь и карабин, вы к ним прицепитесь.

Настроение мое пало ниже нуля. Не у меня одного, все были удручены. Положение армии было безвыходное. У большевиков становилось все больше и больше конницы и снарядов. У нас резервов почти не было. Шел дождь, мы шлепали по грязи пустых полей.

Только баштаны, с которых собраны были все арбузы и дыни, зеленели по дороге. Все было пусто, ни скота, ни овец. Это была ошибка с моей стороны – уезжать в отпуск, я должен был остаться на месте, тогда бы привык к перемене настроения и ухудшению снабжения. Мало кто теперь шутил. Тяжело было на сердце.

На третий день из Мелитополя, мокрые и голодные, мы повстречались с полком в Михайловском. Вид эскадрона был плачевный. Лошади усталые, люди приунывшие после долгих походов, проливной дождь.

Петр удивился моему появлению.

– Как твоя нога?

– Да прошла, ноет немножко.

– Зачем ты вернулся?

– Как зачем? Не мог же я сидеть в Ялте.

– Дурак, мы теперь все равно ничего полезного не делаем.

Это странное настроение Петра меня поразило.

– Зачем ходили за Днепр?

– Да это была хорошо разработанная операция, но она не вышла. Мы должны были ударить буденовцев под Бериславом, но тут Махно подвернулся, и вся их конница на Кривой Рог ушла. Смысл всей операции полетел в трубу. Только на какую-то бригаду наткнулись и раскатали.

Может, это было мое собственное удрученное состояние, но мне казалось, что никто теперь в победу не верил. Я спросил Петра, что от нас ожидали в будущем. Он пожал плечами:

– Зависит от того, сможем ли мы уничтожить хорошие части большевиков. У них тоже есть проблемы. Им набирать надежные части трудно. Им кавалерию устроил Далматов, она у них великолепная, но если верить пленным, Далматова они убрали. Думают, вероятно, что сами научились. Это, может быть, ошибка. Насчет пехоты трудно сказать. У них много войск на разных фронтах. Здесь пока пехота их с нашей совсем не равняется.

Я узнал от Петра, что мы так и не выбили большевиков из Каховки. Они и до сих пор там сидят. Операция по ту сторону Днепра была гораздо больше, чем я думал. Была перекинута туда и наша пехота. Но ничего не вышло. Все откатилось обратно.

Он теперь говорил серьезно:

– Наша единственная возможность – это поймать всю конницу Буденного в мешок, так, как случилось с Жлобой. Но ты видел, в каком состоянии наша конница?

Генерал Бабиев был убит снарядом за Днепром.

– Поляки мир заключили с большевиками, значит, все войска с того фронта будут брошены против нас.

Через три дня мы выступили в направлении на Сырогозы. Обычной еды уже больше не было, ели что попало. Останавливаясь на баштанах, все ели зеленые арбузы от голода. У всех был понос.

В деревнях оставалось сало, но даже не было хлеба.

У меня понос начался только на третий день. Это очень ослабляло. Шел проливной дождь, было холодно. Уже не было овса для лошадей. Лошади стали понурые и тащились по глубокой грязи медленно.

— Ну и климат! — сказал я Петру.

— Ты что думал, раз юг, то солнце все время светит?

— Нет, но думал, что в октябре теплее, чем у нас.

— У нас октябри, может быть, морозные ночью, но днем солнце светит, а тут уже целый месяц дождь идет.

Мы повстречались с кубанцами генерала Улагая, которые шли на север. Ставка оставила Мелитополь и была переведена в Севастополь. Как видно, Мелитополь был в опасности от большевиков. А мы шли на юго-запад.

За мое отсутствие многое переменилось, новые имена, новые части, о которых я никогда раньше не слыхал. Кто был генерал Драценко? Кто был генерал Наумов? Откуда вдруг взялись пластуны? В Императорской армии пластуны были кубанской пехотой, а тут вдруг терские пластуны. Спешенные терские казаки? Откуда они взялись? Генерал Улагай, как видно, перешел с кубанцами с Таманского перешейка.

Петр не знал, только гадал. И вдруг наши передовые части наткнулись на буденовцев. Откуда они взялись? Дождь перестал, вышло солнце и вдруг — жара! Ну и климат!

С солнцем поднялось и наше настроение. Единственное, что не переменилось, это понос и голод.

Тут произошел случай, после которого меня долго дразнили. Наш полуэскадрон был в разъезде, наблюдать за передвижениями буденовцев. Мы заняли какой-то пустой хутор. В первый раз за несколько дней нашли провиант. В амбаре обнаружили два мешка пшеницы и сварили кашу. Второй мешок положили на тачанку. Пока разводили костер, я с пятью солдатами пошел в дозор.

Вдали был такой же хутор. В бинокль я увидел движение. От жары хутор выглядел, как мираж, воздух танцевал точно летом. Я долго смотрел. Там стояла тачанка, на вид это был красный разъезд. Я послал вестового к Петру с донесением. Через несколько минут вышел наш отряд. Мы растянулись в лаву и пошли на красный хутор.

Только когда мы были совсем близко, мы увидели, что моя тачанка — это бочка на колесах, а красный разъезд — телята во дворе. Тут был, по крайней мере, хозяин, у которого мы купили яиц и муки. Вернулись к своей каше и разбили в нее яйца. Надо мной смеялись, что я телят за лошадей принял, но все же это был первый день, что мы не голодали.

Но вернувшееся лето продолжалось только три дня. Опять пришли дождь и холод. Теперь мы стали встречать буденовцев все чаще

и чаще. Стычки были пока эскадронные. Мы никак не могли понять, откуда они шли.

В один прекрасный день (прекрасного в нем ничего не было, было серо и холодно), проходя между двумя хуторами, наши дозоры попали под обстрел с одного из них.

Наш эскадрон пошел лавой, а эскадрон желтых пошел в обход отрезать отступающих. Хутор был такой же, как все остальные. Дом, большой двор, амбары и навесы, башня мельничная для электричества. С одной стороны — большой фруктовый сад и пруд.

Мы теперь стали гораздо осторожнее подходить к таким засадам. Конная батарея снялась и пустила несколько снарядов в сад, откуда стреляли. Мы должны были беречь и людей, и усталых лошадей. Мы были еще далеко, когда из хутора затрещали пулеметы. Рядом были две большие скирды, мы спешились за ними и пошли цепью.

Помню, как все переменилось. Я отвык от пешей атаки и вспомнил мою последнюю под Малой Каховкой. Я всегда боялся, но тогда был какой-то подъем, теперь его не было. В конной атаке забывалась опасность, не было времени думать.

Помню, как посмотрев направо, увидел желтых кирасир, рысцой идущих вокруг хутора, и позавидовал им. Петр передо мной махнул своей тросточкой и побежал вперед. Цепь бросилась за ним. Помню, как мало из наших падали. Мы уже добежали до какой-то стенки, когда услышали „ура", но не наше, а желтых. Они ворвались в хутор с другой стороны. Стрельба продолжалась в саду, вокруг зданий. В саду красные отстреливались, отступая. Их пришлось выбивать из каждого здания, из-за каждой стенки.

Давно уже такого упорного сопротивления мы не встречали. Наконец, они сдались. Им некуда было отступать. Я оказался у крыльца дома, в который наши только что ворвались. Я вошел за ними. За столом сидел офицер лет сорока пяти. Он спокойно облокотился на стол, рассматривая наших солдат, которые стояли неуверенно и как будто не зная, что делать. Когда я вошел, красный офицер спокойно спросил ближнего солдата:

— Вы какого полка?

— Лейб-гвардии Конного полка, ваше благородие.

Я остановился в дверях в недоумении. В этот момент вошел Петр. Офицер встал. Он был среднего роста с поседелыми усами.

— Простите, господин ротмистр, что не могу вам ничего предложить, мое имя полковник (что-то вроде Томашев или Толмачев), я №-ского (не помню) Западно-Сибирского полка. Из бывшей армии генерала Пепеляева.

Петр обратился ко мне.

— Возьмите ребят и обыщите дом.

— Так точно, господин ротмистр.

Петр подсел к столу, когда мы выходили. В доме никого не

было, но во дворе уже были собраны пленные, человек семьдесят, между ними два офицера. Под навесом на соломе лежали раненые, наши и красные, наш фельдшер и несколько солдат перевязывали их. Убитых у нас не было.

Потом мне Петр объяснил, кто они были. Оказывается, армия Пепеляева была колчаковская на южном Урале. Когда союзники предали адмирала Колчака красным на расстрел, Пепеляев через отвращение снесся с красным командованием, перешел к красным, и попросил, чтобы его войска были отправлены сражаться против поляков, что красные и сделали. Полковника этого с остатками его батальона перевели на наш фронт. Он почему-то думал, что на нашем фронте дрались англичане и французы, и был очень удивлен, что не только их войск не было, но они нас даже не поддерживали. Он говорил, что после испытания в Сибири, он никакой разницы между немцами, французами, австрийцами, англичанами и американцами не видел. Они все Россию не любили, хотели ее разрухи, русскую армию предали, поэтому он поддерживал большевиков.

Появление пехоты в этих местах было совершенно неожиданно. Эта рота шла из Каховки на соединение с пехотной бригадой где-то у Сырогоз. Это было донесено штабу, и мы тоже пошли на соединение с нашей дивизией в Сырогозы.

Погода опять немного исправилась. Я чувствовал себя очень плохо, кроме поноса у меня вдруг сделалась желтуха.

Когда я стал уже плохо держаться в седле, Петр сказал:

– Как только дойдем до деревни, поезжай в госпиталь. Ты похож на какого-то китайца.

Перед отъездом из эскадрона Петр заставил меня поменяться с одним из наших лошадьми. Это была захваченная буденовская лошадь с казачьим седлом.

– Если потеряешь сознание, не так легко из него скатиться на землю, – сказал он, смеясь. Он был прав, я сидел как в кресле.

Обоз с ранеными шел медленно. Две ночи провели в дороге. Наконец, дошли до железной дороги и пошли вдоль пути. Мы проходили мимо бронированного поезда. Я на него посмотрел с интересом. Впереди был длинный железный угольный вагон, как огромный желоб на колесах. Из него торчали дула двух морских орудий, наверно, 4-дюймовых. За ним был бронированный вагон, вероятно, для команды, бронированный паровоз, второй желоб с пушками и бронированная теплушка с пулеметными гнездами. На поезде были бело-сине-красные шевроны и какое-то имя.

Некоторые из команды поезда смотрели на нас без интереса через край желоба. Вдруг я услышал:

– Эй, Богдан Хмельницкий! Куда ты едешь?

Я остановился. Только один человек называл меня „Богдан Хмельницкий" – Женя Печелау, наш сосед по Хмелите. Последний раз я его видел в Москве в начале 1919 года.

Мы были друзьями. Еще маленькие, мы очень как-то спорили, о чем-то историческом.

– Что ты выдумал – Богдан Хмельницкий! Это ты Болван Хмелитский, а то был Болотников.

Так и осталось, он меня называл или „Богданом Хмельницким" или „Болваном Хмелитским".

Действительно, Женя Печелау!

– Ты куда это прешь?

– В госпиталь.

– Так я тебя там найду.

Поезд двинулся.

В госпитале мне прописали какое-то лекарство, точно зеленое молоко, чтобы вылечить понос.

– А насчет желтухи поздно теперь, она вас в самом деле хватила, не ешьте ничего жирного, вероятно, через месяц или два пройдет.

Это меня разозлило. Зачем я в госпиталь приехал?! В госпитале места нет. Нужно искать квартиру. Вышел, а тут Гарфильд подвернулся, вольноопределяющийся лейб-драгун.

– Пойдемте к нам, у нас квартира хорошая.

Я оставил адрес в госпитале и пошел.

Привел лошадь, поставил во двор, вхожу, а тут опять Мастик Мусин-Пушкин. Ну, ничего не поделаешь. Еще какой-то лейб-драгун, и еще кто-то. Я Гарфильда мало знал, он был московский англичанин и какой-то странный. Про него говорили, что он маг и чернокнижник. Подумал, ну и компания, один с какой-то доской пророческой играет, другой магией занимается, но делать нечего. По крайней мере хозяйка кормит, не ахти как, но можно сала не есть. На улице опять холодно, а тут печка. Стали в карты играть. Вдруг Мастик предложил:

– Давайте сеанс устроим.

Я говорю:

– Ну, вы можете что хотите устраивать, я магией заниматься не буду.

Они лампу потушили, только одну свечу оставили у кровати, на которую лег Мастик. Гарфильд стал ворожить. Я не знаю, в чем это заключалось, по-моему, он просто стал Мастика гипнотизировать. Во всяком случае, скоро тот побелел, точно труп, и лежит с открытым ртом. Это мне очень не понравилось. Гарфильд стоял в середине комнаты, и вдруг кругом него на полу появился круг синего пламени, дюймов шесть в вышину, точно блуждающий огонь на болоте, и Мастик заговорил каким-то странным голосом, не двигая губ.

Откровенно говоря, я испугался, встал и хотел выйти прочь. Но меня кто-то остановил и прошептал:

– Не двигайтесь, это опасно.

Гарфильд задавал Мастику вопросы, и он отвечал. Вдруг Мастик начал описывать какую-то процессию при Иоанне Грозном. Я до тех пор почти не слушал, но это меня заинтересовало. Когда я в Москве работал в архиве у Ельчанинова, я много узнал о времени Иоанна Грозного. Если все это какая-то фанфарония, они конечно будут делать ошибки в одеянии и вооружении. Первое, что меня удивило: Мастик сказал о ком-то – „боярский сын Яшка Грязной". Гарфильд его спросил:

– Какого боярина он был сын?

– Никакого, он был сын боярский.

– Значит, он сын боярина.

Это была ошибка, которую даже наши историки продолжали делать. Я сам так думал, пока Ельчанинов не указал мне документы, из которых было ясно, что „сын боярский" значило в те времена то же, что „столбовой дворянин". „Сын боярский" мог быть и боярином, и воеводой, и просто помещиком. Боярин был не титул, а ранг, как после Петра Великого – сенатор.

– Нет, – сказал Мастик, – его отец был стольник.

После этого было еще два или три случая, когда он был прав. Гарфильд поправлял его, но Мастик продолжал настаивать на своем, например, войска он называл „рынды", и когда Гарфильд, его не поняв, спросил: „стрельцы?", тот ответил: „не почню того". Говорил он не церковно-славянским, а каким-то старо-русским, совершенно понятным, но странным языком, например, „болярин", „яко бысть тому".

Круг синего пламени стал замирать и вдруг исчез. Гарфильд тогда разбудил Мастика. Я почти убежден, что ни Мастик, ни Гарфильд не знали хорошо историю времени Ивана Грозного.

На следуюший раз, что они держали „сеанс", я отказался и ушел. Все это было очень странно.

Женя меня нашел, и мы долго гуляли и вспоминали прошлое. Он не знал, что его старший брат Миша был в Белой армии и что я его видел в 1919 году.

Понос у меня прошел, но я был очень слаб и чувствовал себя отвратительно. Алексеевка тогда полна была слухов, один хуже другого. „Пехоту нашу отрезали", „наша кавалерия разбита под Агайманами", „донские казаки ушли на Дон и не могут вернуться", „большевики взяли Перекоп" и т.д., и т.д. Раненых эвакуировали в Феодосию и Симферополь. И вдруг все эти слухи превратились в правду.

Началось генеральное отступление. Я решил ехать в Крым. Где-то недалеко грохотали пушки. Я не знал, что нашего эскадрона уже в полку не было. Разбитый, осталось не более взвода, он был взят Врангелем себе в конвой.

Крым был всего в 30 верстах. Я поехал один. Набил себе в переметные сумы что мог купить из еды, у меня было 20 обойм патронов — и пошел. Пришел в Медведевку и нашел там сотни три кубанских казаков.

Стал расспрашивать, видели ли они где нашу дивизию? Никто ничего наверняка не знал. Некоторые говорили, что вся конница на Перекоп ушла, другие, что они под Мелитополем. Подумал, что кто-нибудь на железной дороге знает. Поехал к Соленому озеру, там полустанок и должен быть телефон.

Приехал, уже стало темнеть. На полустанке один стрелочник.

— Ох, братец, ты зря сюда приехал. Там еще бьются по ту сторону моста. Проходили тут части с час тому назад, по шпалам лошадей провели, да зачем, смотри, Сиваш замерз, по льду могли бы.

Я расспросил, куда пошли.

— Да на Джанкой, думаю.

Я поел, накормил лошадь, отдохнул часа три и пошел опять, на Джанкой. Нагнал всадника. Он оказался желтый кирасир. Я обрадовался, подумав, что он отстал от полка и что мы его найдем в Джанкое, но оказалось, что, как и я, он тоже страдал желтухой и тоже выехал из Новоалексеевки. По крайней мере, был товарищ по несчастью.

В Джанкое был кавардак отступления. Все улицы набиты обозами. Пехотинцы смешанных полков тянулись к станции. Все выглядели усталыми и безнадежными. Какой-то дроздовский офицер меня остановил и спросил, видел ли я где-нибудь дроздовцев. Я ему ответил, что никого, кроме кубанцев, не встречал, и в свою очередь спросил, видел ли он кавалерию.

— Эх, дорогой, они на лошадях, куда хотят могут уйти, это мы пешедралом тащимся. — Махнул усталой рукой и добавил: — Вряд ли мы до Севастополя доберемся.

— Ну, поезда еще отсюда есть.

Он пожал плечами и пошел в направлении станции.

Нужно было где-то ночевать. Мы поехали на окраину и постучали в дом, у которого на дворе были сараи. Открыла дверь крымская татарка. Попросили приютить на ночь. Она гостеприимно пригласила нас войти. Ее муж взял наших лошадей и поставил на конюшню. Они были невероятно милы. Накормили нас и явно за нас беспокоились.

— Ох, нехорошо, поезжайте в горы, там наши, они вас приютят.

— Да когда большевики придут, и в горах будет опасно.

— Их туда не пустят наши, мы сами туда уйдем.

Я не верил этому оптимизму. Мы уже решили, что хотя Феодосия дальше, чем Симферополь, мы пойдем туда. Татарин покачал головой:

— Ох, это очень далеко, ну, если что — в горы махните.

Мы у них купили овса, за еду они отказались брать деньги. До рассвета мы выехали и пошли в версте от железной дороги в направлении на Феодосию.

Было очень холодно. Северо-восточный ветер нес игольчатую крупу, которая жгла нам лица, лошади, понурив головы, звякали по замерзшей земле.

– Ай-яй-яй, смотрите на эти тучи, засыпет нас сейчас. Не лучше ли нам поближе к железной дороге идти?

– Это опасно. Если красные прорвались, то пойдут вдоль дороги.

Но было слишком холодно для настоящей метели. Сильные порывы ветра несли крупу все гуще и гуще. Иногда телеграфные столбы вдоль дороги исчезали из виду.

– Эй, смотрите! Там станция, давайте отдохнем.

Мы рысью подъехали к станции, и я соскочил. В здании был только один человек.

– Что, конница тут проходила?

– Да-да, с полчаса тому назад красный разъезд, человек 50. Пошли вдоль дороги.

– Спасибо, что сказали!

Я быстро вскочил, и мы рысцой пошли от станции в поле.

– Эй, братец, нам посчастливилось, на полчаса раньше нам был бы каюк!

– Так теперь что?

– Пойдем подальше от дороги.

– Мы потеряемся.

– Ничего, на юг от нас горы.

После полудня ветер стал немного теплее и пошел снег. Все наши надежды на то, что попадется хутор или деревня в течение дня – провалились. Лошади устали, да и мы еле держались в седлах. Я благословлял Петра, что он меня заставил взять лошадь с казачьим седлом. Нужно было думать о ночевке.

Вдруг, как будто в ответ на наше желание, мы очутились в балке, по дну которой шли телеграфные столбы. Из-за снега дороги было не видать, но куда-то столбы должны были идти. Стало темнеть. Увидели хутор.

Постучали. Дверь открыли очень осторожно, но увидев нас – распахнули.

– Ах, входите, входите, слава Богу, наши! – сказал кто-то громко.

Из соседней комнаты высунулась голова молодого человека.

– Степка? Да ты откуда? – сказал он, увидев моего товарища.

Оказался желтый кирасир, раненный под Агайманами. Отец был в особенности доволен нашим приездом: сын его на следующее утро собирался в Феодосию.

Хозяин, посмотрев на нас и наше состояние, сказал:

– Ох, Феодосия далеко, не доедете вы, лучше бы вы к татарам в горы ушли.

– Эх, распутья бояться, так в путь не ходить. Нет, пойдем на Феодосию.

Хозяйка дала нам еды на три дня. Перед рассветом все трое выехали. Коновалов, наш новый спутник, знал дорогу и окружающую местность. Скоро солнце вышло, и вчерашний снег сверкал и хрустел под ногами. Лошади оживились после ночи в теплой конюшне и двух гарнцев овса.

Шли на юго-восток в направлении на Старый Крым. Никогда я не ожидал такого холода в Крыму. Даже реки замерзли.

– Редко бывает так холодно, даже не припомню такого года, – говорил наш спутник.

Теперь мы останавливались в хуторах, которые Коновалов знал. Встречали нас повсюду гостеприимно. Почти что все знали, что красные прорвались в Крым, и чем ближе мы подходили к горам, тем больше они знали. Говорили, что только красная конница оперирует вдоль железной дороги, что красная пехота уже заняла Джанкой. На вопрос, от кого они все это знали, ответ был всегда один – от татар.

Я откровенно боялся опоздать. Что если мы приедем, а все уже ушли и ни одного судна нет.

Прошли в Старый Крым. Здесь услышали, что вся наша кавалерия ушла через Яйлу в Ялту и уже погрузилась. Это меня удручило. Если они уже ушли, а они прикрывали отступление, то какие у нас были шансы добраться до Феодосии и найти там еще суда? Но выбора не было.

Ночевали на хуторе в десяти верстах от Феодосии. На рассвете, пока мы седлали лошадей, на севере была слышна канонада. Кто-то еще дрался!

– Откуда эта канонада?

– Это под Владиславовкой бой идет.

– Значит, мы еще не опоздали.

Мы пошли рысцой. Бог его ведает, кто там дерется, может быть, кого-нибудь отрезали. Скоро мы были в предместье города. Я Феодосию более или менее знал и решил обойти ее с юга.

Чем ближе мы подходили к порту, тем больше было брошенных повозок, расседланных лошадей и тучи мальчишек, которые копошились вокруг нагруженных телег. Не было видно ни одного солдата, ни взрослых. Двери и ставни все были заперты.

Наконец мы вышли на набережную и ахнули: на первый взгляд порт был пустой!

Я снял переметные сумы, мы привязали лошадей и пошли по набережной.

Вдали на молу стоял человек, мы шли в его направлении.

— Ах, смотрите, на той стороне стоит пароход.

Действительно, там стоял большой транспорт. Далеко, почти что в конце мола, была привязана шхуна. Вне порта стоял на якоре пароход.

— Ну, это не так плохо, кто-нибудь нас возьмет! — сказал я, повеселев.

Фигура на молу оказалась Андреем Гагариным. Он стоял, понурив голову, и смотрел в море.

— Вот замечательно, я отчего-то вас всегда встречаю на набережной.

— Да, это забавно, последний раз в Новороссийске.

— Что вы тут, князь, делаете?

— Смотрю, — сказал он медленно.

— Да пароход на той стороне, пойдемте туда!

— Я уже там был, туда никого не пускают, там казаки, берут только своих.

Я удивился, большой транспорт, неужели одного человека не могут взять?

— А что насчет этой шхуны?

— Пробовал, там часовые стоят, поперек мола заграждение, никого не пускают.

— Там же какой-нибудь офицер есть, вы с ним говорили?

— Говорил, но не пускают, говорят, что шхуна для их собственной части. Не понял, кто они, еще дерутся где-то.

Действительно, где-то потрескивали пулеметы и винтовки. Странно все это было, неужели люди могут отказывать одному человеку? Какая разница для транспорта в восемь с лишним тысяч тонн или даже для шхуны в триста тонн? Такие же люди недавно рисковали жизнью, чтобы спасти какого-нибудь незнакомого раненого в бою. Что с ними вдруг случилось?!

Теперь нас было четверо, было гораздо труднее. Гагарин был штабс-капитан конной артиллерии, следовательно, старший по рангу, но в его удрученном состоянии решать нашу участь не мог. Меня поддерживала только паника, боязнь быть захваченным большевиками. Что-то нужно было делать.

Я пошел обратно по молу, кирасиры за мной. Пошел и Гагарин. Мы прошли мимо наших лошадей и вдруг на набережной — штук десять носилок. На них не то раненые, не то больные. Я подошел. Они были кто без памяти, кто в бреду. Один из них — эстандарт-юнкер, лейб-драгун, с которым я харчевал в Алексеевке. Не помню его имени. Он полубредил и, увидев меня, сказал:

— Вы нас тут не оставляйте, нас убьют.

Не думаю, что он меня узнал.

— Нет, нет, конечно, не оставим, — и пошел дальше.

Подумал, что я вру: мы сами не можем выбраться, а обещаю не оставить!

Вдруг навстречу нам появились три фигуры, я узнал нашего корнета Сабриевского. За ним шли два синих кирасира. Один из них – Николай Гейден, мой троюродный брат.

Я не помню, когда бы я так радовался, как при виде Сабриевского.

– Ах, Волков, куда вы идете?

– Не знаю, господин корнет.

– Нужно обдумать.

Сабриевский был замечательный человек. Он начал свою карьеру рядовым в Конном полку до Великой Войны. Он был крестьянин одной из северных губерний. Во время войны он отличился, получил Георгия и кончил войну старшим унтер-офицером. Во время Гражданской войны он был произведен в корнеты. Он был очень высокий, ладно скроенный человек, и был страшно популярен среди офицеров и солдат. Он был простой и веселый. У него была забавная манера – перед тем как протянуть кому-нибудь руку, вытирать ее об свою задницу. Он сам над этим смеялся и говорил: „Э, брат, старые привычки не так легко забыть!" Он был милейший человек, великолепный офицер, храбрый и радушный, и его все уважали.

Его появление мгновенно переменило мое настроение.

– Господин корнет, штабс-капитан князь Гагарин уже пробовал попасть на транспорт и на шхуну, но туда не пускают.

– Да, „Дон", я сам там был, там казаки, нашу шваль там не хотят. Это понятно, только своих берут. Да мы сами справимся.

– Как?

– Подумаем.

Отчего-то я сразу ему поверил. Он посмотрел на понурые лица солдат и Гагарина и прибавил:

– Мы, брат, с вами не в таких оказиях бывали.

– Я не вижу никакой возможности выбраться, – сказал Гагарин.

– Да что вы так приуныли, князь, вон, смотрите, там пароход на рейде стоит.

– Да это две версты отсюда, что мы к нему, пешком пойдем?

– Не знаю, может быть, плот построим.

Мы пошли обратно на мол. Сабриевский остановился у носилок.

– Смотрите, вот их положение гораздо хуже нашего, они никакой себе плот построить не могут.

– Господин корнет, смотрите, там лодка посередине порта.

– Вижу, брат, вижу. Кто из вас тут на море жил, ее что, прибьет?

– Да, – сказал синий кирасир, – я из Керчи.

– Ну, моряк, куда ее прибьет и когда?

– Не знаю, ее к набережной несет.

Лодка действительно двигалась, но медленно.

– Это только шлюпка, больше пяти не возьмет, – добавил кирасир.

– Я все равно не поеду, я домой вернусь, – сказал Николай Гейден.

У матери его была квартира в городе.

– Это глупо, граф, вас тут расстреляют, – сказал Сабриевский.

– Разницы мало – или тонуть, или рисковать.

Я сразу же подумал: он не такой дурак, мать его урожденная Кропоткина, сестра „героя революции" князя Кропоткина, может быть, это ему поможет.

– Я в Москву еду, – вдруг сказал Гагарин.

– В Москву? Да вы с ума сошли! Как вы сможете в Москву пробраться? – сказал Сабриевский.

– Я проеду. До свидания. – И Гагарин ушел, за ним пошел Гейден.

Сабриевский, как видно, не поверил Гагарину, что на шхуну не пустят. Мы пошли по молу к заграждению. Тут стояли двое часовых и поручик. Сабриевский обратился к нему и спросил, могут ли они нас взять.

– Мой приказ никого не пускать, кроме наших.

– Да какая разница пять лишних человек?

– Мой приказ никого не пускать.

– Там на набережной человек десять раненых на носилках, по крайней мере их возьмите.

– Мой приказ никого не брать.

– Я не верю, господин поручик, вы русский офицер, мы раненых никогда не оставляем.

Поручик покраснел и замялся.

– Это зависит от моего командования.

– Передайте тогда вашему командованию, что стыдно оставлять раненых.

Поручик отвернулся.

– В императорской армии это был вопрос чести полка, теперь, как видно, честь не играет роли, – громко сказал Сабриевский и отвернулся. – Пойдемте обратно.

Пулеметы и винтовки теперь трещали гораздо ближе.

Вдруг из города на мол выступила команда, приблизительно в роту. Шла она в ногу и отчеканивала шаги.

– Вот вам хозяева шхуны, – сказал Сабриевский.

Впереди шел капитан, и Сабриевский его отозвал. Я стоял, смотря на проходящую часть. Вдруг знакомое лицо. Не может быть! Огнев.

– Огнев! Как вы сюда попали?!

– Через Англию! А вы как?

Но часть продолжала свой марш. Я пошел с ними. Последний раз я видел Огнева в начале июля 1918 года, когда я работал в YMCA. Он ездил с нами в Вологду. На обратном пути он соскочил с поезда ночью перед Звонкой с намерением пробраться в Мурманск. И вдруг он оказался рядовым в каком-то полку в последний мой день в России на феодосийском молу. Сабриевский меня отозвал, и я не успел расспросить, как это случилось.

– Капитан обещал подобрать раненых. Смотрите, лодка гораздо ближе, нам нужен багор.

Море прибивало обломки ящиков, балки и всякую рухлядь. Кирасиры побежали искать багор. Лодку прибивало все ближе и ближе, и мы должны были приближаться к городу. Сабриевский посматривал иногда на приморскую набережную, за которой теперь уже в городе слышалась трескотня винтовок. Кирасиры принесли что-то вроде багра, длинную жердь со вбитым в один конец большим гвоздем.

– Ой! Смотрите, в лодке только одно весло!

– Ищите среди обломков другое, – сказал Сабриевский спокойно.

Мы все разбежались вдоль мола искать весло.

– Нашел! Нашел! – закричал кирасир.

Мы побежали смотреть. Шагах в десяти от мола плыло среди обломков весло. Через несколько минут его багром притянули к молу. Наконец и лодку осторожно притянули к одной из каменных лестниц. Это действительно была шлюпка. Сабриевский мне приказал сесть на нос. Двое из кирасир сели на весла. Одно оказалось гораздо длиннее другого. Сам Сабриевский с керченцем сели на корму. Наш вес углубил шлюпку так, что борт был не более 12-ти дюймов над водой.

– Нам нужны черпаки, – сказал Сабриевский.

Кирасиры опять вылезли и побежали искать. Через четверть часа они вернулись с какой-то кастрюлей и двумя плошками.

– Ну, теперь с Богом! – сказал Сабриевский, и мы отчалили.

В порту все шло хорошо, но как только вышли за мол, ветер задул и маленькие волны стали захлестывать воду в лодку. Стали вычерпывать воду. Лодка постоянно отклонялась от курса. Пароход казался все так же далеко.

Наконец мы приблизились настолько, что могли прочесть – „Петр Регир". Вдоль перил и на каждом выступе над палубой гроздями висели солдаты. Сходни были приподняты наполовину, слишком высоко, чтобы за них уцепиться.

Уже когда мы подходили к борту, начались крики с палубы: „Нет места!" „Уходите!" „Мы переполнены!" „Уходите прочь!"

– Спустите сходни! – крикнул Сабриевский.

Вверху на сходнях стояли двое часовых. „Не пускайте их!" „Нас и так много!"

Никто к сходням не двигался. Я с ужасом увидел, что цепь якоря начала подыматься.

Сабриевский продолжал кричать солдатам спустить сходни. В его руке был наган, но никто на него внимания не обращал. Вдруг я увидел над палубой какой-то мостик. На нем в толпе стоял корнет Кавалергардского полка Николай Герард. Я крикнул:

– Николай, ради Бога, спусти сходни!

Тут же он соскочил в толпу на палубу и вдруг появился около часовых с револьвером в руках. Он что-то кричал. Часовые исчезли, и кто-то стал спускать сходни. Вдруг забурлило у кормы парохода. Сабриевский крикнул:

– Волков! Уцепитесь за сходни, помогайте ему!

Сходни были уже достаточно низко, чтобы за них ухватиться. Лодку куда-то тянуло, но рука кирасира вслед за мной тоже ухватилась. Какой-то солдат кричал: „Привяжите!", но я не смел отпустить сходни.

– Лезьте! – сказал я ближнему кирасиру.

Через секунду он был на сходнях и держал меня за запястье. Второй кирасир, затем третий, прокарабкались мимо меня.

– Теперь вы лезьте! – сказал Сабриевский за моей спиной, но у меня руки застыли. Рука Сабриевского с веревкой протянулась мимо меня, кто-то ее схватил, и я почувствовал себя на воздухе, затем на коленях на сходнях. Кирасир меня тащил, а кто-то толкал сзади.

Взглянул вниз на полдороге – лодка качалась пустая. Через минуту я был на палубе в толпе. Помню Герарда, говорящего с Сабриевским. Помню, что успел сказать: „Спасибо", и как меня проталкивал Коновалов через толпу.

– Ваши вьюки, – сказал Коновалов и дал мне мои переметные сумы.

Мы дошли до какой-то железной лестницы и стали спускаться. Внизу стояли мой спутник и синий кирасир.

– Мы сюда пробрались, тут теплее.

Все четверо мы устроились на полу в трюме, среди лежащих, как сардинки, солдат.

Я не знаю, от изнурения или от того, что у меня уже начался тиф, но я почти не помню четырехдневной поездки в Константинополь. Помню, что Коновалов раза два подавал мне открытую жестянку воды, которая по вкусу была из котлов.

Наверное, я проспал большую часть четырех дней. Мой сосед говорил, что была сильная буря, но я ее не помню, что во время бури погиб наш миноносец, кажется „Свирепый", переполненный людьми.

Следующее, что я помню, – как стоял на палубе, поддерживаемый двумя кирасирами. Спуск по каким-то другим сходням и английская речь, и вот я лежу в койке краснокрестного автомоби-

ля. Меня кто-то нес на носилках, и повсюду был снег. Положили на матрасе на землю в палатке. На минуту я пришел в себя и помню ясно, что надо мной стояла сестра милосердия в какой-то странной форме. Как видно, услышав английский язык, я обратился к ней по-английски и попросил дать мне мою шинель и сумы. Она была очень удивлена и сразу же дала мне то, что я просил. Я снял с эполет мои вензеля, вытащил все, что мне было нужно и дорого из сум (там была и пачка великолепных снимков боев, сделанных Николаем Татищевым), и попросил ее положить мне под подушку.

После этого я ничего не помню. Когда я пришел в себя, я не знал, сколько дней прошло. Оказывается, у меня был тиф, и очень сильный. Но когда я проснулся, я чувствовал себя великолепно. Сестра мне сказала, что у меня температура поднялась до 41 градуса, и это совершенно сожгло желтуху.

Но меня ожидало несчастье. Вокруг шеи у меня было две цепочки. На одной – два крестильных креста, один маленький, золотой, от моего крестного отца, деда Петра Александровича Гейдена, другой от крестной матери, моей тетки Натальи Модестовны Фредерикс. Это был серебряный крест, греческий, найденный в раскопках Херсонеса. На второй цепочке был большой черный аметист, данный мне на счастье Софией Дмитриевной Мартыновой, и мешочек с осколками из моей ноги. Это все пропало, как исчезли из-под подушки все мои вещи и вензеля.

Я был шокирован и спросил сестру. Она очень покраснела, позвала доктора, который мне нагрубил и сказал, что я должен быть благодарен, что меня взяли в госпиталь и что мои вещи его совершенно не интересуют.

Я, к несчастью, еще был слишком слаб с ним спорить. Через два дня в английских военных пижамах, босиком, меня с еще тремя русскими вынесли на носилках в санитарный автомобиль и повезли куда-то. Английский военный госпиталь в палатках был в Харбие, на север от Пера. Ехали более часа. Все было покрыто снегом. В самом начале поездки носилки подо мною сломались и часть их воткнулась мне в ногу. Было очень больно. Я стал кричать санитару, но он никакого внимания не обращал. Наконец мы приехали куда-то, оказалось – французский военный госпиталь. Он был не в палатках, а в длинных деревянных бараках.

Вынесли наши носилки, заставили нас встать, снять пижамы и толкнули в комнату, где нам дали холодный душ. Сунули полотенце вытереться, а затем велели идти через снегом покрытый двор босиком.

Я наотрез отказался. К счастью, я говорил по-французски. Я накричал на санитара, тогда он меня снес на спине в барак.

Барак, в который я попал, был большой, в нем стояло не меньше сорока коек. Все раненые и больные были наши: корниловцы, марковцы, дроздовцы и разных пехотных полков, да человек пять

из кавалерии и артиллерии. Было невероятно холодно, многие окна разбиты, и только одна маленькая железная печка посередине барака. Было по два тоненьких одеяла на койке. Одна французская сестра милосердия и один санитар на барак.

Моя койка была через две от печки, так что мне посчастливилось. Многие из солдат бредили, вскрикивали. Разговоров было мало. Отчего-то у меня стали сильно болеть ноги.

На следующий день пришел французский военный доктор. Ни он, ни сестра, ни санитар не говорили по-русски. Как видно, никто кроме меня не говорил по-французски. Доктор пришел, остановился у одной койки в конце барака, что-то сказал сестре, потом прошел, не глядя, по палате и ушел.

Эта утренняя прогулка по бараку оказалась его ежедневным визитом. Он не останавливался и ни на кого не смотрел. На четвертый день я его позвал, когда он проходил.

– Отчего вы говорите по-французски? – спросил он сердито.

– Оттого, господин доктор, что меня ему учили.

– Что вам нужно?

– У меня почему-то болят ноги, вы можете что-нибудь сделать?

– Зачем вы тут?

– У меня был тиф.

Он пожал плечами и пошел дальше. На возвратном пути я его окликнул опять.

– Что вам нужно? – огрызнулся он.

– Господин доктор, здесь очень холодно, нельзя ли починить окна, я уже просил сестру.

– Как вы смеете жаловаться! Вы должны быть благодарны, что вас всех сюда пустили! Вы заключили с немцами мир и удрали сюда!

Я разозлился.

– Простите, господин доктор, мы никакого мира с немцами не подписывали, подписали большевики, мы против них сражались!

– Разницы никакой, вы все предатели!

И ушел.

На следующий день он до меня даже не доходил.

Еда была немногим лучше лубянской и бутырской.

Я попробовал встать и обойти барак, надеясь найти кого-нибудь знакомого, но не удалось, ноги подкашивались и сильно болели. Уборная была невероятно грязна.

Только раз в три дня санитар обходил палату с ведром холодной воды, малюсеньким куском мыла и одним полотенцем. Все должны были мыться в той же воде и утираться тем же полотенцем.

Я не мог себе представить, чтобы Врангель знал о состоянии этого госпиталя, и решил ему написать. Но как это сделать? У меня не было ни бумаги, ни пера, ни копейки денег. Но мне опять по-

счастливилось. В палату пришел навестить своих солдат корниловский офицер. Он был в русской оборванной форме, сильно хромал и ходил с палкой. Когда он проходил мимо моей койки, я его спросил, как ему удалось сохранить форму. Он сел на мою койку разговаривать. Оказалось, что в его бараке было так же плохо, как и в нашем, но теперь его выписали. У него в кармане оказался кусок бумаги и карандаш. Я ему сказал, что хочу сообщить о нашем положении Врангелю.

– Эй, братец, да как я до него доберусь? Да и что он может сделать?

– Не знаю, но попробовать надо.

Тут мне пришла другая идея. Я Врангеля лично не знал, но знал баронессу. Вспомнил, что в Крыму она была во главе Красного креста, и решил написать ей.

– Ну, я как-нибудь письмецо ваше ей передам. Вряд ли что изменится, нас тут за людей не принимают. Мы же для союзников хлам какой-то, который высыпали им на голову.

Он пошел искать своих солдат. Я тем временем написал баронессе письмо. Описал барак, холод, еду, медицинское попечение и просил ее что-нибудь сделать. Офицер взял мое письмо и отковылял. Перед уходом я спросил его, где мы.

– Не знаю, братец, говорят, это Бьюк Халкале.

– Да как вы в Константинополь доберетесь?

– Тоже не знаю, говорят, 20 километров отсюда. Я пешедралом дальше ходил, как-нибудь доковыляю.

Откровенно сказать, я никакой надежды на мою жалобу не возлагал. Но однажды во время нашего обеда сделалась невероятная суматоха. В барак прибежали пять сестер и три санитара. Стали оправлять наши одеяла, подложили дров в печку. Санитары принялись мести палату.

Дверь открылась, и вошла баронесса. За ней какой-то маленький французский генерал, адъютант, два военных доктора и за ними наш доктор.

Баронесса долго молча оглядывала барак и наконец подошла ко мне:

– Я получила вашу записку, Николай. Это гораздо хуже, чем вы описали.

Она повернулась к генералу, который стоял с багровым лицом, и обрушилась на него.

– Я ничего подобного не видала! Даже во времена Людовика XIV, наверно, таких отвратительных условий в госпиталях не было. В этой палате только одна сестра и один санитар. Окна разбиты, холод собачий. Доктор никакого внимания на больных не обращает. Это обычная еда? – Она попробовала наш водяной суп. – Это вы называете едой?! Вы это попробуйте! Как вы смеете наших солдат держать в таких условиях?

Генерал очень неохотно взял ложку и попробовал суп. Он обернулся к старшему доктору и стал кричать на него. Я никогда не видел таких пристыженных багровых лиц. Наш доктор трепетал и что-то вполголоса объяснял своему старшему.

Баронесса опять обратилась ко мне и стала расспрашивать подробности. Я ей рассказал, что со мной случилось, сперва в английском госпитале, потом по приезде сюда. Я говорил с ней нарочно по-русски.

– Когда отсюда выписывают людей, как они отправляются в Константинополь?

Генерал, конечно, не знал, спросил доктора. Было замешательство, никто не знал ответа.

– Так я вам скажу. Ко мне вчера приковылял один из раненых, которого вы выписали, и он пешком пришел в Константинополь. Как вы смеете так обращаться с больными?!

Генерал все кричал на докторов. Я еще не кончил. Я сказал, что у меня отобрали все мои вещи и, если меня выпустят, то у меня кроме пижамы ничего нет. Что деньги мои пропали (если бы у меня даже были мои деньги, они были бы ни к чему, потому что были „белые"). И кроме того доктор сказал мне, что мы все предатели. Последнее я сказал по-французски, чтобы генерал слышал.

Генерал обрушился на доктора, но баронесса сказала ему, что ответственность его. Он стал извиняться. Перед уходом баронесса обещала, что пришлет мне форму:

– Я Петру скажу, чтоб приехал вас повидать.

Уходя, баронесса обещала опять приехать, и если все не будет в порядке, она снесется с французским правительством.

Генерал оказался французский главноначальствующий в Константинополе.

Результат был совершенно невероятный. Через полчаса после их ухода вставили все разбитые стекла. Появились две новые печки, два лишних одеяла на кровать, уборная была вычищена и продезинфицирована. Мы получили второй обед, состоящий из холодного мяса, картофеля и капусты. Появились три сестры милосердия и два санитара.

Продолжалось ли это так, я не знаю, но думаю, да. Рано на следующее утро мне принесли форму, шинель, кубанку, сапоги и тридцать турецких лир. Дали мне костыли и тут же, без докторского осмотра, выписали. Одевшись, я вышел из барака. Стоял французский военный автомобиль. Санитары посадили меня в него, и мы поехали по скудной, покрытой редкими кустами равнине, через какие-то маленькие деревушки, пока не доехали до трамвайной линии.

Здесь меня высадили, шофер сказал, чтобы я попросил билет на Стамбул. Снег уже исчез. Старый трамвай долго кряхтел через какие-то селения и наконец очутился в Стамбуле. Линия кончалась

у Галатского моста. Я должен был вылезать. Было очень красиво, Золотой Рог и мечети Стамбула.

На костылях я добрался до моста. Погода была весенняя. В начале моста стоял турецкий полицейский. Я его спросил по-французски, где русское посольство. Он понял только название посольства и очень любезно указал жестами, как к нему пробраться на Пера.

Я вышел на мост и вдруг увидел продавца апельсинов. Пирамида апельсинов на тротуаре, и все корольки. Вспомнил, как в детстве, в Хмелите, мы видели апельсины единственный раз в год на Рождество. Мы искали среди них корольки, они редко попадались, и отчего-то мы их больше любили. Даже не помню, был ли у них другой вкус. Я купил два и пошел медленно через мост.

Со многими отдышками влез в гору и дошел до посольских ворот. Тут стояли двое часовых из нашего эскадрона. Петр был удивлен, что я появился.

– Я к тебе собирался ехать сегодня. Ну, хорошо, можешь остаться в посольстве, у нас в комнате есть свободная кровать.

Положение русских в Константинополе было какое-то странное. Врангель с частью своего кабинета сидел в русском посольстве, охранявшемся нашим полуэскадроном. Те, у которых были деньги (и таких было много, хотя откуда они взялись, я понятия не имею), жили в разных частях Константинополя. В первый раз я услышал слово „валюта", у некоторых она была, у некоторых нет. В Константинополе было много русских евреев и греков, которые хорошо устроились, может быть, они помогали русским приезжим.

Через неделю я встретил на Пера, к моему большому удовольствию, Раису Юшкевич из Гомеля. Она была замужем и собиралась уезжать в Америку.

Я спросил Петра, что случилось с армией? Ясно было, что ее в Константинополе нет. Петр сказал раздраженно, что всех отправили в лагеря.

– Какие лагеря?

– Да к черту на рога!

– Куда это?

– Кавалерия в палатках в Галлиполи, пехота тоже в палатках на Лемносе. Там же, кажется, и казаки. Кого-то в Египет. Черт его знает, что наши союзники придумали.

– Да кто их там кормит?

– Да будто бы союзники. Врангель ездил туда и был в отчаянии.

Оказалось, что в обоих случаях палатки стояли в пустыне. Части голодали и мерзли. Петр был возмущен. Говорил, что Врангель снесся с женой одного из сербских князей (она была сестра великого князя Иоанна Константиновича, нашего офицера) и просил ее устроить с сербским правительством, чтобы сербы приняли наших из лагерей. Кроме того, Король Испанский взял всех офицеров и

солдат 7-го Ольвиопольского уланского полка, шефом которого он был. Врангель написал и шефам других полков, обратился и к Георгу V Английскому, взять полк Литовских улан, — но никто не откликнулся.

Маклаков в Париже доставал визы для некоторых, но это все было в десятках, а не в тысячах. Единственные, кто давали свободно визы русским, были сербы и немцы. Турки тоже хорошо относились к нашим. Кемаль Ататурк взял большинство наших горцев к себе в армию. Но положение было критическое. Ни французы, ни англичане, ни американцы не хотели нас принимать. У нас не было ни паспортов, ни национальности. Временные паспорта, выданные нашим посольством, никто не признавал.

Вскоре после того, как я попал в посольство, меня вдруг вызвал Нератов, который тогда заправлял иностранными делами, и сказал, что меня хочет видеть сэр Чарльз Харрингтон, английский главноначальствующий. Меня это не только удивило, но испугало. Зачем английский генерал, о котором я никогда не слыхал, хотел меня, унтер-офицера, видеть? Я с трепетом пошел к нему в штаб.

Он сейчас же меня принял, и очень любезно. Оказалось, что баронесса рассказала Харрингтону об английском госпитале. Я ему повторил все, что видел, и что меня в госпитале обокрали. Он меня слушал, не говоря ни слова, затем вскочил и извинился за происшедшее. Он выглядел разъяренным. Сказал, что сейчас же начнет расследование, и обещал найти мои вещи. В конце, наверное говоря свои мысли вслух, сказал:

— Что произошло с нашей армией в эту войну?! Откуда взялись все эти негодяи?!

Конечно, никаких вещей никто мне не вернул.

Петр меня убедил в эскадрон не возвращаться.

— Какой смысл? Это же только временное устройство, через несколько месяцев нас отсюда наши добрые союзники высадят. Пока у нашего правительства есть деньги, нас еще терпят. Мы же оплачиваем союзникам пропитание наших войск. Деньги вытекут — и, увидишь, нас к чертовой матери пошлют.

Мне жизнь в посольстве ничего не стоила. Я получил в турецких лирах мое прошедшее жалование с июня, так что у меня были кое-какие деньги, но нужно было найти работу.

Ноги у меня прошли, и чувствовал себя великолепно. Я шел по Пера, когда ко мне подошел ротмистр, очень высокий, сильно сложенный, с белокурыми волосами и длинными усами.

— Вы Волков?

— Да, господин ротмистр, — сказал я удивленно.

— Мне вас кто-то указал. Я Муромцев. Я вам родственник.

Мне стало очень неудобно. Двоюродный дядя моего деда Волкова поссорился со своим сыном и оставил семейное имение Муромцевых, Баловнево Рязанской губернии, моему деду, и сделал его

майоратом с условием, чтобы он прибавил имя Муромцева. Этот Муромцев был его внук. Я не знал, что сказать. Теперь это, конечно, было все равно, и все же мне было неловко. Но он был мил и пригласил меня в кофейную. Баловнева он никогда не видал, но оказалось, что у Муромцева были другие большие имения, которые перешли этому внуку. За кофием он мне сказал, что устроился тут у американцев в YMCA. Я его спросил, кто из американцев тут был. Оказалось, что во главе отдела – мой бывший московский начальник.

Я к нему пошел, и он сразу предложил мне место – не в Константинополе, а переводчиком на американском миноносце.

– На какой язык я должен переводить?

– На французский.

– А что американский миноносец имеет с французами?

Оказалась странная история. Все союзники держали военные суда в Средиземном море. Они все имели определенные базы, но постоянно навещали другие порты. Французы стояли в Сирии, англичане в Палестине, греки в Смирне и т.д. Кроме как с англичанами, американцы ни с кем не могли сообщаться. Греки и турки говорили по-французски. Скоро выяснилось, что все союзники огрызались друг на друга. Были постоянные ссоры, и оказалось, я должен был их как-то умирять.

Мы сразу же пошли в Смирну, оттуда в Родос, Александрию, Хайфу, Яффу, Порт Саид, Кандию, Пирей. Это было очень интересно. На возвратном пути я попросил через офицера, с которым я подружился, зайти на Лемнос.

Лагеря я не видал, но видел в порту и на берегу сотни сидящих изможденных оборванных солдат. Плачевное их было положение, меня это потрясло.

Вернулись в Константинополь, я передал мое впечатление Петру для Врангеля. Через два дня мы опять ушли в Смирну. Там был слышен грохот артиллерии, порт набит греческими солдатами, и говорили, что турки в нескольких верстах. Началась эвакуация, но мы ушли в Родос и Мессину.

За эти переходы мне удалось посмотреть многие замечательные места, например, храм Дианы в Эфесе, мавзолей Мосула, пирамиды. Американские офицеры проводили больше времени в поездках по суше, осматривая достопримечательности, чем на своих кораблях. У них было какое-то странное представление об истории. Понятие времени для них совершенно не существовало. Немногие имена исторических фигур, которые они знали, в их восприятии как бы жили в одно и то же время. Юлий Цезарь, Рамзес II, Ахилл и Ричард Львиное Сердце вместе с Елизаветой I Английской жили более или менее одновременно, определенно только, что до Американской революции.

Мы вернулись в Константинополь и спустили якорь в Босфоре.

Абсолютно ничего не зная о навигации, я заметил одному офицеру, что они выпустили слишком длинную цепь, потому что в Босфоре видно было сильное течение. Меня беспокоило, что миноносец разворачивало течением, и цепь может запутаться в пропеллерах. Он совершенно верно сказал, что я ничего в корабельном деле не понимаю. На следующее утро так и случилось, они сняться с якоря не смогли, пустили машины, чтобы выпрямиться, раздался невероятный треск и потеряли пропеллер. Этим кончились на время наши путешествия, и я был разжалован.

Я вернулся в посольство. Николай Татищев сейчас же прозвал меня „Одиссеем" и расспрашивал обо всем, что я видел.

Несколько дней спустя мне передали из канцелярии письмо. Я его открыл при Петре и Николае. Это было приглашение на обед на флагманский броненосец английского флота „Аякс" с подписью: „Адмирал де Робек".

Николай и Петр стали надо мной трунить.

– Вот видишь, Одиссей, англичане, наверно, прослышали, что ты эксперт по спусканию якорей, и хотят, чтобы ты их научил, как это делать!

Сперва я думал, что, может быть, какой-нибудь английский офицер, которого я знал в Ялте, служит на „Аяксе", – но как он знал, что я в Константинополе, и при чем тут адмирал? Потом я подумал, что один из моих троюродных братьев-англичан, служивших в английском флоте, как-то обо мне узнал. Все догадки казались глупыми.

– Может, тебя, Одиссей, хотят назначить командовать флотом?

Я написал письмо, принимая приглашение, и передал его в канцелярию. Обед был на следующий день, и будто бы катер меня будет ожидать у пристани Топфане. Я пошел. Действительно, стоял катер и гардемарин мне сказал, что меня ожидают.

Я полез на сходни. Какой-то офицер, спросив мою фамилию, повел меня к адмиралу. Я заметил, что он был очень удивлен.

– Вы Волков? – спросил он меня с неудовольствием. – Отчего английское адмиралтейство меня наставляет вас отправить в Англию?

– Я совершенно не знаю.

– Сколько вам лет?

– Восемнадцать.

– Кого вы знаете в английском адмиралтействе?

– Я никого не знаю и не понимаю, как кто-либо мог узнать, что я в Константинополе.

– Вы с кем-нибудь в Англии связались?

– Да нет.

Он явно был недоволен.

– Мне дали приказ отвезти вас на следующем военном судне,

которое возвращается в Англию. Такого судна нет. Я вас посажу на военный транспорт, который уходит через два дня.

Я был совершенно потрясен. Адмирал передал меня адъютанту, который меня повел в кают-компанию и представил нескольким офицерам. Я чувствовал себя очень неловко. К счастью, все офицеры хотели знать о Белой армии и засыпали меня вопросами. После обеда мы вышли на палубу, и опять вокруг меня собралось много офицеров, задававших вопросы. Кто-то спросил, курю ли я английские папиросы, я сказал, что да.

– Я вам подарю 50, их в Константинополе нет.

Какой-то гардемарин, стоявший на краю кружка, сказал:

– У меня были родственники в России.

Я только успел сказать: „Ах, да?", как кто-то из офицеров повернулся к нему:

– Георг, достаньте жестянку папирос нашему гостю.

Тот побежал, принес, я только что хотел спросить, кто его родственники, как он исчез. Я тогда спросил, как его фамилия, думая, что, может быть, я о них знал.

– Ах, это принц Георг, сын нашего короля.

– Боже мой, это он про Государя говорил!

Мне стало совсем не по себе. К счастью, подошел катер и я уехал.

Через два дня, простившись со всеми, я поехал на транспорт. Мне из канцелярии выдали денег купить штатский костюм, и я отправился в путешествие как шпак, совершенно не зная, куда и к кому я ехал.

Я сразу же подружился с шотландским офицером Мером Мюрреем, адъютантом генерала Гамильтона, который командовал английскими войсками в Галлиполи. Он мне стал рассказывать всю их кампанию, что было очень интересно.

Я в жизни не слыхал о такой безурядице и кавардаке, как Галлипольская кампания. Например, высадили целую дивизию, то есть 15000 человек, на мель, не более полуверсты длиной и в 20 футов шириной. Дивизия была не регулярная, то есть добровольческая, из штатских, которые никогда под огнем не были. Высадили их ночью и послали в наступление сейчас же. Территория перед ними была вся в маленьких балках. Через несколько минут части потеряли связь друг с другом, подверглись артиллерийскому огню и отхлынули на мель, куда турецкая артиллерия сосредоточила весь огонь. К рассвету дивизия потеряла больше половины своего состава убитыми, ранеными и пленными. Они так и не оправились.

Мы пришли в Ногару в Дарданеллах. Тут мы должны были принять на транспорт целый английский кавалерийский полк. Погрузка была очень медленная, лошадей и людей перевозили на маленьких баржах.

Мюррей устроил поездку на Галлипольский полуостров, он хо-

тел посмотреть турецкие позиции, и пригласил меня. Я надеялся, что увижу лагерь нашей кавалерии, но оказалось, что он был гораздо ближе к Константинополю.

Полуостров – сплошная пустыня, изрезанная балками. Мюррей мне говорил, что держала Галлиполи только одна турецкая бригада под командой Кемаля. Англичане высадили почти что двести тысяч человек, которые так густо занимали позиции, что при обстреле потери были колоссальные. Только потом узнали, что один турецкий батальон держал позицию против целой дивизии.

Из Дарданелл ушли в Александрию разгружать кавалерию и грузить пехоту, которая возвращалась в Англию. Оттуда пошли на Мальту, Гибралтар и наконец в Плимут.

К моему удивлению, меня встретил высокий штатский, который представился как господин Фергюссон. Он оказался братом гувернантки моей младшей сестры, которая, когда я уехал из Москвы, была еще там, но теперь уже в Англии. Она попросила меня встретить. Он дал мне билет в Лондон, деньги и адрес моего дяди Николая Александровича Волкова, который был при царском правительстве морским атташе в Лондоне. Я совсем о нем забыл.

Оказалось, все закрутилось из-за моего письма баронессе Врангель из французского госпиталя. Замешан был Нератов: когда он писал моему другому дяде, Гавриилу Волкову, первому секретарю посольства в Лондоне, он упомянул, что в Константинополе находится Николай Владимирович Волков. Дядя Гавра передал это дяде Коле, который был другом адмирала Леймура, тогдашнего первого лорда адмиралтейства, и тот послал де Робеку приказ отправить меня в Англию.

Мой приезд временно заинтересовал бесконечных моих английских родственников. В довоенное время семьи братьев и сестер моей бабушки Алисы Гор, которых было множество, четыре брата и четыре сестры с большими семьями, были польщены приглашением в Баловнево, куда они приезжали на лето. Я никого из них не знал. Теперь, конечно, все переменилось, я был бедный родственник, к которому они могли относиться свысока. Меня это совершенно не беспокоило.

Меня только беспокоила необходимость найти работу. Это оказалось гораздо труднее, чем я думал. Уже было много безработных. Квалификаций у меня никаких не было. Единственное, что я знал, было земледелие, родившись и живши всегда в деревне, я знал все, что касалось посевов, скотоводства и т. д.

Англичане никак не могли принять, что я хотел работать на ферме.

– Да вы не можете работать руками!

– Отчего? Доить умею, смотреть за скотом умею, пахать умею, за лошадьми ходить умею, свиней знаю.

– Но такую работу делают только рабочие.

Когда я спрашивал, почему я не могу быть рабочим, они отвечали, что это „непристойно". Они, например, никак не могли понять, что я в Белой армии был не офицером, а рядовым.

– Да как я мог быть офицером, мне было 16 лет, ни в какой офицерской школе я не был и не мог быть.

– Но вы же образованный и сын помещика.

– Да отчего бы меня это делало офицером?

Они думали, что у меня непременно должны были быть какие-то привилегии. Когда я им старался объяснить, что никаких привилегий у меня не было, что я был в местной гимназии, с сынами крестьян и горожан, они раскрывали рты и не верили.

Я тогда подумал – вот тебе демократия! А у нас в России либералы настаивали, чтобы мы подражали европейской демократии. Меня это раздражало, но нужно было привыкать.

Мое первое впечатление от Англии было, что война на них мало повлияла. Жизнь была нормальная. Они говорили, что страшно страдали во время войны, „даже масло было по пайкам", и „мы должны были растить свои собственные овощи". Это, как видно, считалось трагедией.

Объяснять им то, что случилось в России, было бесполезно. Они заранее знали все ответы на свои вопросы.

Их удивляло, что я не жаловался на свою участь. На обедах, как только слышали, что я „бежал" из России „от этих ужасных bolsheviks", они немедленно принимались мне объяснять, почему в России произошла революция. „Это нужно было ожидать, что ваши крепостные возмутятся против помещиков, как это случилось во Французскую революцию." „Это не удивительно, что „moujiks" (мужики), когда их повсюду хлестали кнутами, восстали и убивали помещиков".

Когда я пробовал объяснить, что в этом случае „крепостных" не было, что земли были крестьянские, помещикам не принадлежали (это они никак не могли понять, потому что в Англии почти вся земля принадлежит помещикам или компаниям, а фермеры только арендаторы), что во время революции из всех сословий помещики пострадали меньше всех, – они мне не верили.

И так я скоро понял, что объяснить революцию англичанам, которые никогда не жили в России, невозможно.

Я прожил в Англии очень долгую жизнь, не загасившую однако ясной памяти о детстве и юности моих в России. Эту память я кладу теперь перед соотечественниками.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ – ГЛАВ--САХАР

ЧАСТЬ ПЯТАЯ – В ЦАРСТВЕ ЗЕЛЕНЫХ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ – БЕЛАЯ АРМИЯ

Imprimerie de la Manutention à Mayenne - 16 décembre 1983 - N°8479

Серия "Наше недавнее"

Выходят из печати:

1. Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н. А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.

Готовятся к печати:

3. О. А. Хрептович-Бутенева. Из Польши в Сибирь.
4. А. В. Герасимов. На лезвии с террористами.

I.S.B.N. 2-85065-037-4